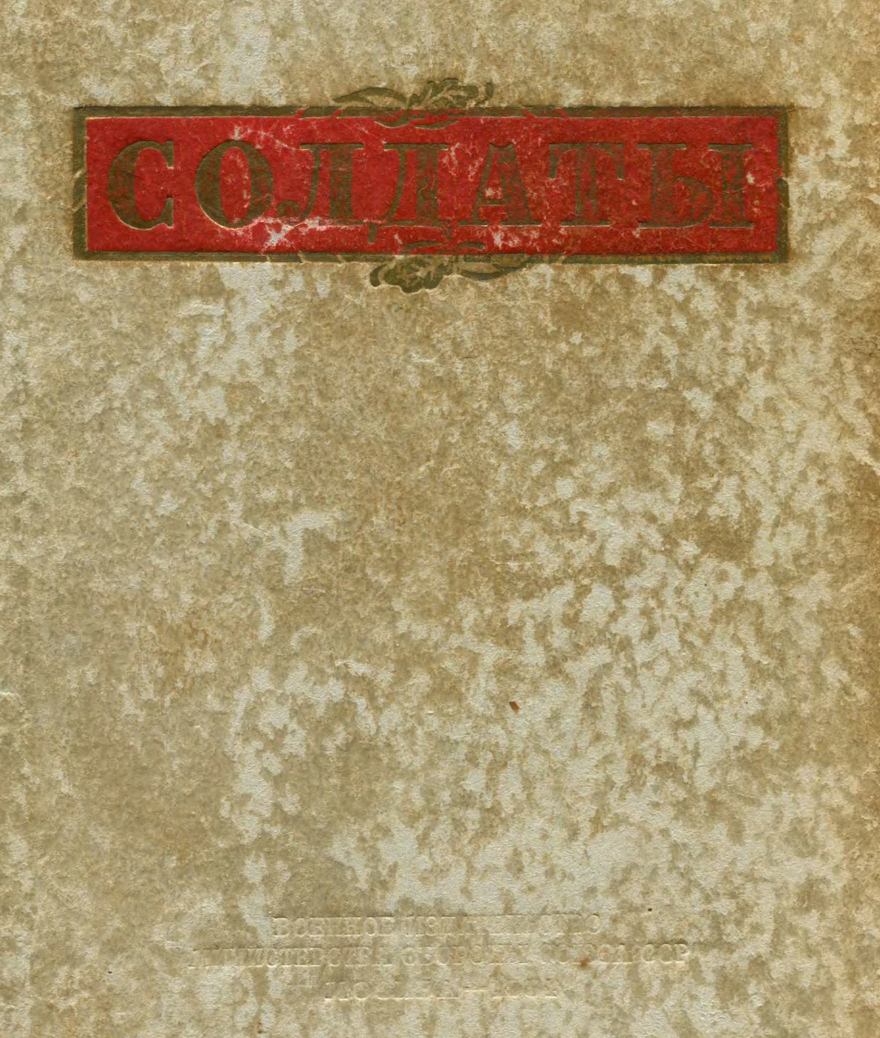
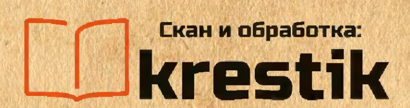
МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВ

СОЛДАТЫ



ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР
МОСКВА


Скан и обработка:
krestik

Михаил Алексеев

СОЛДАТЫ

Роман

КНИГИ
ПЕРВАЯ И ВТОРАЯ

Военное Издательство
Министерства Обороны Союза ССР

МОСКВА
1954

Книга первая

ГРОЗНОЕ ЛЕТО

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Над Донцом висела реденькая пелена тумана. Недалеко, севернее, за рекой, подернутые дымкой, проступали очертания Белгорода. Редко и лениво ухали пушки, точно глубокие вздохи пробуждавшейся земли.

В неглубоком окопе боевого охранения стояли два солдата. Один из них, широкоплечий, смуглолицый, жмурясь от солнца и сдвигая черные брови, всматривался за реку, в сторону неприятеля, и изредка что-то говорил своему товарищу. Тот не отвечал. Это, очевидно, не нравилось смуглолицему, и он сказал уже громче:

— Аким, ты что, не слышишь?.. Почему не записываешь? Ерофеенко!..

— Что?.. Ах, да... — спохватившись, ответил Аким и торопливо поправил очки на своем ястребином носу.— Собственно, что ж тут записывать?

— Как что? Не видишь — минометная батарея!

— Где это ты ее увидел?

— Да вон же! Гляди прямо перед собой. Видишь — рядом с кустарником торчат стволы.

Аким посмотрел на кусты, видневшиеся сквозь пелену тумана, и вдруг рассмеялся.

— Друг ты наш Уваров! Ну какая же это батарея? Эх ты, сапер-разведчик! Макеты, брат, это, а не батарея! Неужели не видишь?

— То есть... я не понимаю тебя, Аким.

Ерофеенко снова усмехнулся.

— А тут и понимать-то нечего. Всмотрись хорошенько. Немцы вместо минометов бревна выставили. Правда, немножко глуповато они поступили — хоть замаскировали бы для виду.

Пораженный, Уваров не мог оторвать удивленного взгляда от Акима. «Вот он, оказывается, какой — этот тихий, задумчивый, рассеянный и немножко смешной Аким! Умница!..»

— А почему ты такой невеселый, скучный? — вдруг вырвалось у Якова.

Аким чуть заметно вздрогнул.

— Ничего, Яша. Просто так... Наблюдай внимательно и записывай сам.

— Странный ты какой-то, Аким. Не понимаю я тебя.

Аким не ответил. Продолговатое лицо его стало опять задумчивым. Кроткие голубые глаза беспокойно поблескивали за стеклами очков. Он напряженно всматривался за Донец, будто видел там то, что другой не мог заметить.

Уваров не стал мешать Акиму. Он начал старательно записывать данные наблюдения в свой потрепанный блокнот. Лицо его все время морщилось. Огрызок карандаша выскакивал из больших, обожженных кресалом пальцев и то и дело падал под ноги, в желтовато-серую грязь. Солдат с трудом нагибался, долго отыскивая карандаш, чертыхаясь вполголоса.

Найдя карандаш, боец снова принимался писать. Грязные струйки пота бежали по щекам из-под ушанки. Уваров растирал их рукой, забыв, что она вся измазана химическим карандашом.

— Так, — говорил он. — Два пулемета. Один станковый. Проволочное заграждение в три кола. Но ничего, пройдем как-нибудь.

— Не два пулемета, а три, — неожиданно поправил его Аким, и Яков снова с удивлением и любовью посмотрел на этого странного бойца, погруженного в какие-то

думы и вместе с тем успевающего заметить то, чего он, Уваров, не мог обнаружить.

Уварову очень хотелось поговорить сейчас с этим солдатом, узнать о нем побольше, но он боялся помешать Акиму.

Вынул кисет. Закурил. Раздувая ноздри, жадно вдохнул вместе с горьковатым дымом махорки пряный, дурманящий воздух, напоенный речной прохладой и здоровым сосновым запахом. Задумался. Уварова тревожил неожиданный поворот в его фронтовой судьбе. Он до сих пор не понимал, почему именно его выбрали из всего саперного батальона для участия в предстоящей операции. Особых подвигов он как будто не совершал, да и наградами не богат: только две потертые медали украшали его широкую грудь — «За отвагу» да «За оборону Сталинграда» — и все. И потом — для чего это комдиву понадобилось так далеко посылать бойцов в разведку, да еще сжигать мост в тылу врага? Неужели немцы что-то замышляют?..

Сейчас правый берег реки выглядел совсем мирно и даже приветливо. Ни единого движения. Зеленая стена рощи молчаливо стояла на горизонте. Извилистые овражки сбегали к воде. В одной далекой балочке, если посмотреть в бинокль, даже паслось несколько пестрых коров-холмогорок.

И этот тихий светлый город. Ничем особенно не отличающийся от сотен подобных ему городов, разбросанных по необъятным пространствам великой нашей земли, он с давних времен стоит на правом берегу реки. От него на север и юг бесконечными цепочками тянутся селения, большие и малые, с типичными русскими названиями — Александровка, Крапивка, Безлюдовка, Марьевка, Ивановка, Петровка, — обыкновенные села, что жмутся друг к другу темными массивами сосновых рощ и густых колхозных садов, а в звонкие и теплые июньские ночи прислушиваются к милому пению родного курского соловушки.

Тут всего лишь несколько дней назад шли жаркие бои между немцами, переправившимися через Донец, и советскими полками, спешно переброшенными сюда из-под Сталинграда, где только что отгремело великое побоище. Неприятель был отброшен стремительной атакой сталинградцев, и теперь, в раннюю весну 1943 года, Донец,

строгий и неприступный, разделял обе стороны — нашу и немецкую. Город и села стояли безмолвные, притихшие и, оцепенев, ждали неотвратимого...

На белгородском участке фронта установилось то привычное для фронтовиков беспокойное затишье, когда противник хоть и не предпринимает сильных атак, но докучает частыми ночными вылазками, действиями патрулей, бомбежками, внезапными и потому особенно коварными артиллерийско-минометными налетами. Так было в ту пору здесь, у Белгорода, так было, должно быть, и на тысячах других боевых участков, тянувшихся от Северного Ледовитого океана до Черного моря. Кто мог подумать в те весенние дни 1943 года, что здесь, у Белгорода, и у этих безвестных селений, что значатся разве только на командирских километровках, — именно тут через каких-нибудь два с лишним месяца развернутся грозные и величественные события.

Есть на земле маленький городишко Канны. Он вошел в историю. Но довелось ли Каннам видеть хотя бы сотую долю того, чему стали скоро свидетелями Донец, спокойно кативший свои светлые воды, и эти тихие селения, и этот дрожащий в текучем мареве древний русский город?..

Впрочем, наши солдаты не думали тогда об этом. Пока что все они были заняты своими будничными фронтовыми делами: и вон те два бойца-пехотинца, что так заботливо и даже любовно оправляют только что отрытый ими окоп; и разведчики, друзья Акима Ерофеенко и Якова Уварова, неторопливо облачающиеся в маскировочные халаты, будто готовясь не к походу в неприятельский тыл, а на вечернюю прогулку; и связист, тянувший по траншее «нитку» до наблюдательного пункта командира батареи; и тот сапер, что в ночную пору ползает по сырой земле, разгребает окоченевшими руками мерзлые комья, ставя противотанковые мины; и вот этот бывалый сталинградец-пулеметчик, в ушах которого, должно быть, до сих пор не угомонился шум недавнего сражения, — он присел у своего верного «максимки», прикрытого плащ-палаткой, и равнодушным взглядом провожает пролетающие над ним огненные строчки трассирующих пуль — этого ничем не удивишь и не испугаешь — пулеметчик видывал не такое; и те, что, отбив очередную вражескую вылазку, сейчас, сосредоточенно-

суровые, хоронят павших в этом бою товарищей, с которыми искурили не одну общую самокрутку; и вон тот пехотный старшина, что при свете коптилки, сделанной из снарядной гильзы, чумазый и озабоченный, в пятый, кажется, уж раз пересчитывает и сортирует драгоценные комплекты нового летнего обмундирования, чтобы на зорьке выдать его бойцам, тем, что в недремлющей тиши окопов бодрствуют у своего оружия.

Солдаты эти сделали свое большое дело там, у берегов Волги. Если потребуется, они сделают столь же великое и тут, на берегах Донца, — всё испытавшие и готовые ко всему...

Яков взглянул на Ерофеенко. Тот продолжал наблюдать.

«А что сейчас делают наши саперы?» — вдруг с легкой грустью подумал Уваров и тут же вспомнил, как им не хотелось отпускать его. Особенно Васе Пчелинцеву, его старому дружку.

— Возвратишься с задания, скорее к нам, в батальон, — напутствовал Пчелинцев, не выпуская из своих маленьких рук руку Уварова. — Смотри, Яшка, береги себя!.. — добавил он дрогнувшим голосом, и его веснушчатое худенькое лицо побледнело.

Мысли Уварова прервал генерал, командир дивизии,— он неожиданно появился в сопровождении адъютанта из-за поворота траншеи. Яков не успел даже предупредить Акима, как комдив уже подошел к ним. Уваров дернул разведчика за рукав. Аким обернулся, увидел генерала и, повидимому, в замешательстве стал зачем-то поправлять свои очки.

— Здравствуйте, товарищи разведчики! Наблюдаете?

— Так точно, товарищ генерал! — доложил Уваров.

— Ну, и что же вы увидели там? — генерал почему-то долго и пристально посмотрел на Акима. Яков заметил это.

Ерофеенко начал докладывать. Он говорил подробно обо всем замеченном, обнаруживая при этом такое знание местности, будто уже много месяцев вел здесь наблюдение. Генерал внимательно слушал. Якову показалось, что и комдив с каким-то удивлением смотрит на этого в сущности самого обыкновенного солдата с плохо

подогнанным обмундированием, с пилоткой, блином прикрывавшей его русую большую голову.

Затем генерал спросил о задаче разведчиков в предстоящей операции, решив, очевидно, проверить, как ее усвоили рядовые солдаты. И об этом Аким рассказал со всей подробностью. Задача эта сводилась к следующему: группа бойцов-разведчиков вместе с одним сапером должна проникнуть в ближайшие тылы противника, разведать там его силы и уничтожить мост, по которому немцы перебрасывают свежие части.

В продолжение всего доклада лицо Акима Ерофеенко оставалось строгим и задумчивым.

Генерал вдруг повернулся к Уварову (он много раз видел этого сапера при оборудовании командного и наблюдательного пунктов) и, улыбнувшись, спросил:

— Не обижают вас разведчики? Народ они — озорной. А?

— Что вы, товарищ генерал! Хорошие ребята.

— В таком случае — все в порядке. Продолжайте наблюдение.

Распрощавшись с Акимом и Уваровым, комдив пошел дальше по траншее, останавливаясь чуть ли не у каждой стрелковой ячейки: генерал с самого утра осматривал свою оборону.

Дивизия, которой командовал генерал Сизов, совсем недавно прибыла на Донец, под Белгород, из-под Сталинграда и теперь вела усиленные земляные работы. Подразделения основательно окапывались. Улицы в обеих деревнях, что располагались возле реки, южнее Белгорода, были так изрыты, словно в них проводили канализацию. Пехотинцы, как кроты, все глубже уходили в землю. Для каждого солдата отводилась суточная норма земляных работ. Листовки-«молнии» и «дивизионка» прославляли тех, кто эти нормы перевыполнял,— точь-в-точь как на большом строительстве. Саперы изощрялись в наилучшем оборудовании блиндажей для дивизионного и полкового начальства, а ночью пропадали у Донца, ставя мины и проволочные заграждения. На переднем крае возникали все новые и новые полевые укрепления — дзоты, бронеколпаки, бетонированные пулеметные гнезда, эскарпы, контрэскарпы. Строительный пафос охватил всех. Минометчики укрывались в балках да на глухих лесных полянах, артиллерийские батареи —

на опушках рощ, противотанковые закапывались в боевых порядках пехоты. На открытых местах были расставлены чуть-чуть замаскированные макеты орудий — для обмана немецких летчиков. От Шебекинского леса, где теперь размещался штаб дивизии, к Донцу уже побежали через зелень лугов телефонные шесты. Передний край полностью обозначился и принял свою привычную форму. Запетляли свежие траншеи и окопы. Все обжито, все на месте, как положено в обороне; ходы сообщения уже высветлены шинелями бойцов, на блиндажах — по два-три наката, за передним краем — колючая проволока в три кола, вьются паутиной вдоль реки МЗП — малозаметные препятствия; чаще появляются в окопах представители вышестоящих штабов, — лекции, беседы; и баня, баня без конца, будто людей готовили к длительному и тяжелому походу, где уже ни помыться, ни отдохнуть не удастся; а в командирских блиндажах нехитрый фронтовой уют — скрипучий, заигранный и затасканный патефон с единственной пластинкой: голосом Шаляпина Козловский поет романс «Тишина». Стрельба — ленивая, редкая, словно берега притаились и чего-то ждут...

Уже темнело, но Аким продолжал наблюдать.

Яков ждал, когда тот устанет и передаст ему бинокль, но так и не дождался. Вспомнил первую встречу с разведчиками, свое знакомство с ними и почему-то улыбнулся.

2

А было это так... Уварова неожиданно откомандировали из саперного батальона в распоряжение командира разведчиков. Все шло, как положено по уставу: Яков прежде всего представился лейтенанту Марченко, затем им занялся старшина, и уж только после этого он направился в блиндаж, в котором обитала небольшая группа разведчиков, выделенная для рейда в тыл неприятельских войск.

В блиндаже было так накурено, что Яков не сразу различил, кто в нем находится. Присмотревшись, он увидел пожилого бойца с добродушно-умным лицом. Потеребив обвислые усы, разведчик стал пробираться к двери, навстречу Уварову.

«Это, должно быть, и есть сержант Шахаев — командир группы», — пытался отгадать Яков. Но тот, кого он принял за Шахаева, пробормотал:

— Що ж, будем знакомы. Пинчук! — и повернулся к друзьям, лежащим на земляных нарах. — Какого ж биса вы лежите? Подойдите до хлопця! Це ж наш новый разведчик-подрывник. Вместо Вакуленка. Товарищ сержант!..

С нар сполз низкий, коренастый младший командир. Поняв, что это Шахаев, Яков доложил:

— Рядовой Уваров. Сапер. Прислан в ваше распоряжение.

— Сержант Шахаев. Командир группы разведчиков, — сказал коренастый и почему-то застенчиво улыбнулся. Потом добавил: — Вот и хорошо, что прибыли. Знакомьтесь с бойцами.

Третий разведчик, должно быть самый молодой — больше двадцати не дашь — белобрысый, с озорными, навыкате, светлыми глазами, в трофейной плащ-палатке, пятнистой, как шкура африканской саламандры, быстро сунул свою шершавую ладонь в руку Уварова. Затем бросил на него оценивающий взгляд, словно покупатель, толкнул упругим кулаком в грудь, торжествующе заключив: «Наш!» — оскалил крепкие зубы и, театрально изогнувшись, доложил:

— Семен Ванин! Лихой разведчик, мастер ночного поиска. Десять раз ходил за «языком» — и все безрезультатно. В одиннадцатый — чуть было свой не оставил...

— Не велика была б потеря, — перебил четвертый, появляясь откуда-то из темного угла. Высокий и тонкий, он пригнулся, чтобы не задеть потолок своей головой, поправил очки на длинном с горбинкой носу.

— Аким Ерофеенко. Будем знакомы. Откуда к нам? Какими судьбами? Собственно это я зря спрашиваю...

— Зря, зря, Акимушка, — в свою очередь перебил его Ванин.

Но Аким, не слушая его, продолжал:

— Об этом поговорим потом. Присаживайтесь на нары, будьте, как дома.

Ванин стоял рядом, щурился, следя за Акимом. Ему, повидимому, хотелось во что бы то ни стало развеселить Ерофеенко. Белые ресницы разведчика часто мигали. Он

что-то быстро соображал. Вдруг его физиономия сделалась пресерьезной. Он посмотрел в глаза Акима и сказал испуганным голосом:

— Аким!

— Ну что тебе, Семен?

— Очки!..

— Что очки? — встревоженно спросил Аким, хватаясь за переносицу.

— На носу, — спокойно объявил Ванин.

Но и это не помогло: Аким не рассмеялся. Какая-то забота беспокоила его. Да и самому Сеньке, если честно признаться, не особенно хотелось сейчас балагурить: он хорошо знал, чем тревожились сердца его товарищей. То, что предстояло им сделать, было не совсем обычным даже для них, опытных разведчиков, — и это волновало. Может быть, именно поэтому Сеньке и хотелось развеселить друзей. Во всяком случае он сделал еще одну попытку.

— Тебе, Аким, профессия разведчика противопоказана, — вдруг начал он убеждать Ерофеенко, употребляя медицинский термин, услышанный им в армейском госпитале. — Ну какой из тебя разведчик? Высок, как колодезный журавель, тебя же за версту видно. Траншею трехметровую нужно. Противопоказано для разведчика? Противопоказано. Ты, наконец, в очках. По их блеску тебя сразу немцы обнаружат — для немцев готовенький «язычок». И вот сейчас собираемся ведь... — Но Ванин почему-то осекся, не стал говорить о предстоящем.— Нет, не выйдет из тебя хорошего разведчика...

— Видишь ли, Семен, — спокойно возразил Аким, — кому что дано природой, тот тем и располагает. Тебя, например, глаза выручают, ну, а меня...

— Голова, скажешь?

— Допустим. А потом, что ты ко мне привязался? Нашел время для болтовни. И что собственно тебе от меня нужно?

— Вот опять «собственно»! Когда ты оставишь это глупое словцо, Аким? Ты бы лучше послушал, что умные люди говорят...

— Это не себя ли ты умным-то считаешь?

Но Ванин пропустил это мимо ушей.

— Я бы вот что посоветовал тебе, Аким. Подавайся-ка в наградной отдел. Самое подходящее для тебя место — писарем там работать.

— Почему собственно в наградном? — удивился Аким, явно заинтересованный этой новой выдумкой Сеньки.

— А потому, ученая твоя голова, что наградные листы будешь на меня заполнять. Писарь из тебя выйдет в самый раз. И почерк у тебя недурной, и в грамматике ты силен.

Аким улыбнулся. В сущности ему, как и всем, нравилась сенькина болтовня. Как бы там ни было, а он любил этого белобрысого пустозвона. Аким преотлично понимал Ванина: всякий раз, когда разведчикам предстояло сделать что-то очень серьезное, связанное с большим риском, Сенька начинал балагурить. Особенно любил подтрунивать Сенька над Акимом. Пинчук, например, всегда с удовольствием прислушивался к их перепалке. Сейчас он от души хохотал, толкая в бок Шахаева, который молча скалил белые зубы и поблескивал маленькими черными глазками. Иногда, увлекшись, Семен задевал и Пинчука, но быстро укрощал себя — подтрунивать над Петром Тарасовичем было неудобно: и возраст у него уже солидный, да и человек-то он степенный. Сенька знал, что до войны Пинчук управлял большим колхозом и даже был депутатом районного совета.

Почтительное отношение Ванина к Пинчуку Уваров заметил уже в первые минуты своего знакомства с разведчиками. Балагуря, Сенька нет-нет да взглянет мельком на Пинчука — не осуждает ли тот его. Вот и в ту минуту, заметив, что Тарасович перестал смеяться, Сенька приумолк, притих, насторожился и молча полез на нары — может быть, ему просто и самому уже надоело молоть языком. Кто знает...

Яков присматривался к разведчикам. Все они показались ему совсем разными людьми. И в то же время было видно, что разведчики связаны крепкой боевой дружбой и, повидимому, не дадут друг друга в обиду. Первые минуты Уваров чувствовал себя неловко. Молчаливый и угрюмый по своей натуре, Яков с трудом выдавливал слова. Это не понравилось всем, а Семену в особенности.

— Так не пойдет! — категорически заявил он. В его руках появилась фляга в сером чехле. Он встряхнул ее. Прислушался: — Есть! Сейчас ты у меня заговоришь! Аким, ну-ка открой баночку!

Ерофеенко достал большую банку консервов, долго возился с ней. Ванин искоса поглядывал на него, злился.

— Эх, горе ты мое, — вздохнул он притворно и взял у Акима банку. Открыл ее быстро, налил в жестяную кружку водки и поднес Уварову. Тот покачал головой и глухо выдавил:

— Не пью.

Сокрушенно свистнув, Ванин недружелюбно посмотрел на новичка и сердито заметил:

— Ну, сельтерской у нас для тебя нет.

Уваров промолчал. По настоянию Шахаева, он все же рассказал немножко о себе.

Вспомнил свой колхоз на Курщине, в котором работал трактористом, первое ранение на фронте, госпиталь, медицинскую сестру, в которую влюбился ненароком, да так и не признался ей в этом.

— До войны дела шли хорошо. Мы с отцом работали, мать дома, по хозяйству, сестренка училась. Последнее время и я стал учиться на механика, да война помешала.

— Она всем помешала, — мрачно пробормотал Ванин. — Я вот тоже токарем на шарикоподшипниковом заводе в Саратове работал.

— Инженером, небось, думал стать?

— Конечно, думал. И стал бы им, — ответил Семен. Потом, подумав, добавил убежденно: — Я еще буду инженером. Вот войну закончим, и буду.

Все замолчали и как-то тихо, раздумчиво посмотрели друг на друга.

— У тебя все готово, Пинчук? — вдруг спросил Шахаев, нарушив молчание.

— Всэ, товарищ сержант!.. — быстро ответил Петр и, потрогав свои усищи, пояснил: — Вчера еще всэ було готово.

До этой минуты Пинчук молчал. Но по выражению его лица Шахаев видел, что Петр внимательно прислушивался к солдатскому разговору. О чем он думал? О предстоящей ли операции, о своем ли колхозе, или о том и о другом вместе? Есть о чем вспомнить Пинчуку! Как-никак, а он «головой колхоза был, да какого колхоза!» Сколько таких вот замечательных парней воспитал он в своей артели! Где они сейчас? Может быть, вот так же сидят в блиндажах и готовятся уйти в тыл врага? Или идут в атаку? И все ли живы-здоровы?..

Пинчук шумно вздохнул.

— Оце ж вы, хлопци, дило кажете, — не выдержал все-таки и он.— Писля вийны нас всих заставят вчитыся. Велыки дила будем делать! — и снова пригладил, многозначительно хмурясь, свои тарасовы усы.— А зараз хрица надо бить сильней!..

Сказав это, он принялся пробовать у самого сенькиного уха свое новое кресало. Искры летели во все стороны, а фитиль не загорался. Пинчук отчаянно дул на него.

— Брось ты эту гадость, Петр Тарасович! — дружески посоветовал ему Ванин. — То ли дело — зажигалка! Чирк — и готово!

И чтобы подтвердить свои доводы, он вынул из кармана «бензинку». К величайшему смущению Сеньки, она не загорелась.

— Кресало надежней, — убежденно заговорил Пинчук. — А зажигалка — что? Высох, испарился бензин — и ты ее хоть выброси. В наш рейд лучше с кресалом. Трут, камушек в карман — и все.

Замолчав, Пинчук решил заштопать дырку в гимнастерке. Но тщетно пробовал он просунуть нитку в ушко иголки. Слюнявил ее, заострял кончик грубыми пальцами, а совал все мимо.

— Ты Акима на помощь позови. Он в очках, — смеялся Ванин.

Отчаявшись, Пинчук попросил Сеньку. Тот всегда был готов удружить голове колхоза. Взял из рук Пинчука иголку и нитку, быстро продел ее в ушко.

Пинчуку, как самому рачительному человеку, Шахаев поручил ведать хозяйством группы. И он отменно справлялся с этими обязанностями. Наибольшее предпочтение, с общего согласия, он отдавал табаку. Пинчук утверждал, что без хлеба и воды на войне прожить еще можно, а без табака — никак. И он аккуратно завернул пачки с махоркой в пергаментную бумагу, уложил их в мешок. По десять пачек на брата. Пять пачек — НЗ [1].

Когда солдаты достаточно перезнакомились, Шахаев дал первое задание Уварову — выйти вместе с Ерофеенко в боевое охранение и наблюдать за передним краем противника.

---

[1] Неприкосновенный запас.

Шахаев отдавал свое распоряжение на чистом русском языке. Говорил он без всякого акцента, и это удивило Уварова. Яков сказал об этом Акиму.

— Бурят, а говорит по-русски лучше нас. Странно.

— Ничего тут странного нет,— пояснил Аким и рассказал, что Шахаев родился после революции, учился в советской школе и принадлежит к народу, который только в наше время стал по-настоящему свободным и равноправным. Свободу эту он завоевал с помощью русского народа. Это хорошо знает Шахаев, как все бурят-монголы. Отсюда у них такая любовь к русским, к русскому языку. И естественно, что они хотят знать его в совершенстве. Сержант Шахаев — человек новой, советской формации, и он, конечно, старается овладеть не только русским языком, но и великой русской культурой. Он много читает. Даже на фронте. Удивительный человек!..

Уваров промолчал. Повидимому, Шахаев пока что не произвел на него большого впечатления.

...На другой день вечером в боевое охранение пришли лейтенант Марченко, командир разведчиков, и сержант Шахаев. Взяв у Якова и Акима сведения о противнике, они отослали их в штаб, а сами остались для ночного наблюдения. В эту ночь саперы должны были сделать для разведчиков проход во вражеском минном поле, по ту сторону Донца.

У самого Шебекинского урочища Аким и Яков повстречались с саперами, уходившими на это задание. Среди них был и Вася Пчелинцев — старый дружок Уварова. Солдаты обнялись, о чем-то сбивчиво поговорили — и разошлись молча в разные стороны.

Ни тот, ни другой не знал, что это была их последняя встреча.

3

Накануне ухода разведчиков в тыл противника в генеральском блиндаже более часа шло совещание. К командиру дивизии были вызваны офицер разведки майор Васильев, лейтенант Марченко, сержант Шахаев и командир полка подполковник Баталин. Здесь же находился и начальник политотдела полковник Демин.

Генерал-майор Сизов, высокий, сухощавый, уже пожилой человек, с быстрыми и вдумчивыми глазами, внимательно выслушивал каждого. Он никого не переби-

вал,— вот так же выслушивал он Акима, там, в боевом охранении; по выражению лица комдива трудно было определить, доволен ли он тем, что уже сделано для выполнения предстоящей операции. Лишь в начале совещания генерал предупредил, строго взглянув на присутствующих:

— Задание надо выполнить. Понимаете? — и, сделав паузу, кинул в сторону Васильева: — Докладывайте.

Последним говорил подполковник Баталин. Он получил приказ провести бой силами батальона левее того пункта, где разведчики должны были перейти линию фронта.

— Усильте батальон полковой артиллерией и минометами. Обратите особое внимание на организацию боя,— предупредил комдив и перевел взгляд на разведчиков. — Вы подробно докладывали о многих деталях — маленьких и больших. Но почему-то забыли сказать о главном — о людях, о солдатах, как они подготовлены к операции,— сухое лицо комдива стало еще строже; из-под седеющих, сдвинутых бровей поблескивали быстрые черные глаза — теперь уж он совсем напоминал учителя, делавшего замечания своим ученикам. — В конце концов солдаты... они будут решать дело. Марченко! — обратился Сизов к молодому офицеру, во всей фигуре которого чувствовалась стремительная готовность. — Забаров идет в рейд?

Новые ремни на лейтенанте беспокойно скрипнули.

— Забаров... ранен, товарищ генерал.

Комдив, будто обожженный, быстро отошел от стола, метнул взгляд в сторону молодого офицера, но ничего не сказал. Некоторое время в блиндаже было тихо. Сизов ходил хмурый и, казалось, злой. Но вот он остановился, приблизился затем почти вплотную к Марченко и спросил глухо:

— Тяжело ранен?

— В плечо, задета кость, товарищ генерал.

— Когда?

— Ночью на Донце. Вместе с саперами переправлялся.

— Так...— задумчиво сказал комдив. Почти сросшиеся брови генерала теперь совсем сошлись в одну линию.

«Сколько людей погибло на глазах этого сурового человека, сколько видел он раненых, — подумал Шахаев,—

неужели всякий раз он так тяжело переживал эти потери? А может быть, Забаров ему особенно дорог?..»

После совещания генерал Сизов беседовал с полковником Деминым.

— Жаль... Каких людей теряем! — комдив поморщился. Лицо его вдруг стало опять сумрачным и усталым.— Вы знаете, Федор Николаевич, как нужен был Забаров для этого дела. Именно Забаров!..

— Знаю, — тихо сказал Демин.

— Вы бы, Федор Николаевич, навестили его, посмотрели, как его лечат.

— Я уже был у Забарова, — все так же тихо и спокойно ответил Демин.

— Благодарю вас, Федор Николаевич, — взгляд Сизова вдруг потеплел. Так бывало всегда, когда он начинал говорить с Деминым — этим спокойным, с усталыми глазами, умным человеком. — Такие, как Забаров, нам очень нужны! — генерал немного помолчал. Потом сказал задумчиво и тихо: — Быстро растут солдаты. Этим, пожалуй, не потребуется тридцати лет, чтобы стать генералами. Как вы думаете?

— Думаю, что не потребуется, — Демин улыбнулся. Он хотел еще что-то сказать, но зазвонил телефон.

Генерал поднял трубку.

— Когда заметили?.. Двадцать минут назад?.. А почему так долго не докладывали?.. Ах, так! Продолжайте наблюдение и обо всем замеченном сообщайте мне немедленно. Говорите, скрылись за Лысой горой? Это что за белым камнем?.. Хорошо, наблюдайте!..

Сизов положил трубку и, обращаясь к Демину, предложил:

— Поедем к Баталину. Там из боевого охранения очень важные сведения сообщают. Кажется, новые части у немцев появились. Надо это уточнить на месте.

Когда Сизов и Демин уже направились было к выходу, на столе вновь зазвонил телефон. Генерал вернулся. До Демина долетели слова комдива:

— Да, сейчас буду!

4

Вечером разведчики выстроились у своего блиндажа.

— Сдать документы старшине! — приказал Марченко.

Уваров ждал этой минуты с какой-то смутной тревогой. Ему впервые приходилось расставаться со своим комсомольским билетом, и это было очень тяжело. Без него он вдруг почувствовал себя каким-то опустошенным, невольно хватался за грудь и не находил там привычной маленькой книжечки.

Сдали свои партийные билеты Шахаев и Пинчук. Аким отдал дневник и красноармейскую книжку: больше у него ничего не было. Сенька тоже передал свой комсомольский билет. Теперь все были сосредоточенно-серьезны. Даже Семен. Разумеется, настолько, насколько может быть серьезной его курносая физиономия.

Поправив за спинами мешки, взволнованные и молчаливые, разведчики тронулись в опасный путь.

Старшина долго смотрел им вслед. Взгляд его остановился на документах, еще теплых от солдатских рук. Он бережно положил документы в полевую сумку и еще раз посмотрел вслед уходящим разведчикам.

Темнело. На небе появились первые звезды. Стрельба на передовой, как всегда к ночи, усиливалась. Где-то, у генеральского блиндажа, рассыпался гортанной трелью неисправимый оптимист скворец. А ведь пострадал и он, насмешник горластый. Прилетел к пустому месту: ветлу, к вершине которой был прикреплен его домик, спилили дивизионные саперы. Теперь певун устроился где-то в дупле.

Траншеи глубокие — можно было итти в полный рост. Но для Акима и они были мелки. Тот и сейчас шел пригнувшись. Это очень неудобно — болела спина. Порой терпение покидало Акима, и тогда его голова в каком-то облезлом кроличьем малахае (перед тем как пойти в рейд, разведчики переоделись во все гражданское) медленно плыла над брустверами траншей. Акима окрикивали. Он смущался, наскакивал на какие-то ящики, падал.

— Скоро, что ли, будет конец этим траншеям? — ворчал Ванин, обращаясь к шедшему впереди него Уварову. Но тот промолчал. Это еще больше раздосадовало Сеньку. — И что ты молчишь все время? — всердцах сказал ему Ванин. Не любил он людей неразговорчивых и, как говорил Пинчук, «сумных». Сенька нередко фило-

софствовал на этот счет: «Молчит с важным этаким видом. Будто все знает, да не хочет зря языком трепать. А раскуси такого — просто язык у него еловый. — И заключал: — Не люблю молчунов».

Обыкновенно в таких случаях Сенька искал сочувствия у Акима. Тот, чтобы не обидеть Ванина, обычно соглашался с ним. В конце концов Сенька был в известной степени прав. На войне люди часто искали свой отдых в веселых беседах. Не о смерти же им думать, когда она и так всем глаза намозолила. Как хорошо, если в вашем отделении заведется такой неутомимый весельчак, вроде Сеньки! Он в горькую минуту заменит вам и письмо от родных и даже такую драгоценность, как табак.

Но сейчас Аким заступился за сапера:

— Собственно ты зря, Семен, ворчишь на Уварова. Яков, должно быть, толковый парень. Не пошлют же на такую операцию плохого солдата. Только Уваров еще не привык к нам.

Траншея изгибалась, вела, вела, вела. Все слышнее были выстрелы. От реки повеяло сырой прохладой. Пули свистели над головами, с шипением шлепались в песок и сворачивались там в горячие свинцовые комочки. Где-то, далеко за Донцом, ухнуло орудие. В ту же минуту «ш-ш-ш-ш-ш» и трах!.. Теплая сухая волна охватила Акима, сорвала с головы малахай. Он со всего размаха упал на дно траншеи. Уткнувшись в холодную, сырую землю, ждал второго разрыва. Оглушительный треск прокатился над самым бруствером. Аким почувствовал боль в позвоночнике и испугался — неужели ранен? Боец забыл, что на нем лежал мешок с взрывчаткой.

Вскочил на ноги, инстинктивно ощупал очки — целы! Кто-то рядом отчаянно бранился. Аким оглянулся. Перед ним стоял низкорослый человек в фуфайке, с широким лицом, заляпанным грязью. Он стоял на цыпочках и совал под нос Акиму дуло «парабеллума».

— Что ты тут шляешься?! Демаскируешь оборону!..

Аким ничего не понимал. Согбенный своей ношей, он смотрел на человека с удивлением и не знал, что делать. Но неизвестный начальник, — а то, что это был начальник, Аким не сомневался, — почему-то быстро остыл и спокойно удалился в свой блиндаж.

— Носит вас тут... — услышали разведчики его ворчание.

— Кто это у вас такой крикливый? — спросил Ванин бойца, стоявшего у станкового пулемета, накрытого плащпалаткой.

— Старшина роты Фетисов. Он вовсе не крикливый. А человек настоящий, — не любит беспорядков на передовой!..

Старшина на минуту показал голову из блиндажа, кому-то погрозил кулаком и снова исчез.

Недалеко от берега, там, где скрещивалось несколько траншей, стояли Марченко, Шахаев и Уваров. В траншее было темно. Марченко с трудом читал надписи на указателях: «БО» — боевое охранение. Навстречу шел какой-то боец в старой, измазанной в глине шинели.

— Посыльный от командира взвода, — отрекомендовался он и попросил следовать за ним.

Разведчики спустились к реке, в прибрежные заросли, где их уже ожидали саперы с тремя рыбачьими лодками.

Было одиннадцать часов ночи. Огромная туча, выползшая из-за Шебекинского урочища, закрыла луну. Над головами разведчиков скрещивались и рвали темную ткань неба пунктиры трассирующих пуль. Ни на минуту не угасали трепетные зарницы. В наступившей темноте немцы вели себя беспокойней.

— Вот сейчас в самый раз бы итти. Темень-то какая! — проговорил Ванин.

— Время еще не подошло. Баталин ждет условленного часа, — сказал Марченко.

— А может, позвонить ему и попросить, чтобы начинал сейчас, — предложил Шахаев.

— Зачем же это? Он знает свое время, — возразил лейтенант, всматриваясь в темноту своими зоркими, рысьими глазами.

Аким прислушивался к разговору разведчиков, а сам нетерпеливо ходил и ходил по траншее, поминутно посматривая на светящийся циферблат часов. Время тянулось мучительно долго. Скорее бы, скорее!.. Хоть бы Сенька подошел, что ли, к нему да заговорил... Но нет. Ванин неподвижно стоял в стороне и думал о чем-то своем. Кто знает, какие мысли теснились в его озорной голове в такой час! Аким отыскал глазами широченную фигуру Пинчука. Тот тыкал вверх кулаком, что-то говорил Шахаеву.

Аким тоже посмотрел вверх и — вздрогнул: из-за уплывающей тучи кособоко и нахально вывалился серп луны...

И когда загремели первые залпы наших батарей, молодой, будто умытый, месяц, расставшись с тучей, вырвался на простор и озорным, веселым парнем побежал меж мерцающих звезд, заливая землю зеленовато-ярким светом. Донец засеребрился.

Марченко с горечью подумал, что в эту ночь перейти немецкую линию обороны разведчикам не удастся. Прекратилась стрельба и левее — видимо, Баталин и сам понял, что сейчас эта стрельба уже не может помочь разведчикам.

Лейтенант вернулся со своими бойцами в боевое охранение. Здесь и расположились.

Утомившись, солдаты присели где кто мог.

Семен забрался в нишу окопа и тотчас задремал. Аким всматривался в темный горизонт. А сам все молчал и молчал.

— О чем ты все думаешь, старина? — очнувшись и вытягивая онемевшие ноги, спросил его Сенька.

— Так. Потом скажу когда-нибудь...

Сенька опять закрыл глаза.

«Хороший ты парень, Аким, но только уж очень странный», — думал он, поворачиваясь на другой бок.

5

Рано утром Демин поспешил к генералу. Комдив только что вернулся с наблюдательного пункта. Поздоровались. По лицу Демина генерал понял, что начальнику политотдела уже все известно. Шевеля седыми бровями, высокий и прямой, генерал, размышляя, говорил. Голос его был ровный, чистый:

— Мы окажемся близорукими начальниками, если допустим, что Баталин непогрешим... и учиться ему уже нечему...

Начальник политотдела посмотрел на генерала с некоторым удивлением: ведь примерно о том же самом думал и он, Демин, идя к Сизову. Полковник сказал:

— Совершенно верно, Иван Семенович,— он с минуту помолчал, его умные усталые глаза пристально смотрели на комдива. — Я думаю, Иван Семенович, мы с вами в известной степени уже проявили эту близорукость.

Демину показалось, что последние его слова немного встревожили генерала. Сизов нахмурился. Демин, однако, повторил еще уверенней:

— Да. Уже допустили близорукость. Мы вели свою работу главным образом с новичками, с людьми менее опытными. Это, разумеется, очень хорошо. Но плохо то, что мы совершенно забыли о наших «старичках», людях прославленных. А вот теперь убедились, что с ними нужно также много работать. Взять хотя бы Баталина. Офицер он, безусловно, одаренный, смелый, решительный. Но не кажется ли вам, Иван Семенович, что вы немного избаловали Баталина, что вообще-то на вас мало похоже?

Генерал не успел ответить: вошел адъютант и сообщил о прибытии командира полка.

— Пусть войдет.

Тяжело дыша, в блиндаж поспешно вошел Баталин. Комдив поздоровался с ним и, прищурившись, сказал:

— А здорово вы вчера ударили по немцам, а? Наверное, так бы и продолжали молотить, если б я не приказал прекратить огонь?

— Артиллерийская подготовка должна была длиться двадцать минут, а я вел ее всего лишь пять, — ответил Баталин.

— А почему вы не начали ее раньше?

— Мы не были готовы, товарищ генерал.

— Не были готовы, — с оттенком раздражения повторил комдив.

На этот раз Баталин не совсем понимал командира дивизии: ведь он, Баталин, точно выполнил приказ — открыл огонь в условленное время. Не виноват же он, что появилась эта проклятая луна и помешала разведчикам проникнуть через передний край противника...

Генерал внимательно посмотрел на него, затем взял со стола красную книжку и привычным движением раскрыл заложенную страницу. «Боевой устав пехоты», — успел прочесть Баталин.

— Вот посмотрите сюда, — тихо предложил Сизов.

Роняя с широкого лба капли пота, Баталин стал читать. Подчеркнутая комдивом статья устава говорила об инициативе командира в бою. Огромный, с суровым, свинцово-тяжелым блеском в глазах, Баталин как-то вдруг ссутулился и покраснел: ему была хорошо известна не-

преклонная строгость генерала, хотя на себе он ее редко испытывал. Вот сейчас генерал не ругал его — и это было еще тяжелее.

— Возьмите... На память от меня, — комдив указал на устав. — И почаще заглядывайте в эту книжку. Полезно! А теперь идите.

Подполковник повернулся и, медленно переставляя свои толстые ноги, тяжело вышел из генеральского блиндажа. На улице было прохладно. Но Баталин расстегнул ворот гимнастерки. Подошел к коню, привязанному у дерева, с трудом перекинул в седло свое большое, грузное тело. С озлоблением пришпорил. Конь присел, дико всхрапнул и, выбрасывая себе под брюхо песок, шибкой, тряской рысью помчался в сторону Донца, закрытого густой завесой тумана.

Устало опустившись на стул, генерал взял из стопки книг, аккуратно сложенных у него на столе, еще какой-то устав. Листая его, он как бы размышлял вслух:

— Самое страшное в том, что Баталин до этой минуты даже не чувствовал никакой вины за собой. Нужно было разбить это убеждение. Инициатива офицеров и солдат в бою нам необходима. Наш Боевой устав со всей силой подчеркивает это. Я вот уже статью об этом написал для нашей газеты, — Сизов раскрыл полевую сумку, вынул оттуда конверт. — Прошу вас, прочтите... скажете потом свое мнение и передайте, пожалуйста, редактору, — добавил он, отдавая конверт Демину.

Слушая Сизова, полковник удивлялся, как это сидевший против него такой пожилой человек, обремененный сложными обязанностями, успевал не только прочитывать все эти книги, аккуратно собранные и сложенные на столе, но и писать еще статьи в газету, — где находил он для этого время? А перед встревоженным воображением уже вставал образ другого человека, куда более занятого, который все-таки находил время для чтения всевозможных книг...

— Вам надо отдохнуть, Иван Семенович,— участливо сказал полковник.

— Вот как раз сейчас этого и нельзя делать. Разведчики еще на этом берегу. Надо подумать, как бы их получше переправить. Эта операция для нас очень важна!.. Немецкое командование подбрасывает на наш участок все новые и новые силы. Это неспроста...

В дверях появился адъютант и сообщил, что пришли танкисты.

— Зовите их быстрее!.. — оживился генерал. — Ну вот, а вы говорите — отдыхать! Нет, Федор Николаевич, отдыхать сейчас не время. Останьтесь. Посидите. Танкисты — народ интересный.

— С большим бы удовольствием, Иван Семенович, но должен спешить на совещание с парторгами. Они, наверное, уже ждут.

Демин вышел из блиндажа, остановился на опушке леса. Осмотрелся. Справа, километрах в девяти, виднелся подернутый сизой, трепещущей дымкой, занятый врагом Белгород, слева, подальше, — Волчанск; прямо за Донцом, окруженная дубовой рощей, белая, как плешь древнего старика, грелась на солнце меловая гора; от горы перепутанной зеленой бородой сбегал по извилистому овражку разномастный кустарник. По эту сторону вдоль реки вытянулись полуразрушенные села. То там, то сям вихрились султаны разрывов. Позади, в трех-четырех километрах, отделенный от Донца поляной и небольшими сосновыми рощами, могучей ровной стеной стоял темный и сырой Шебекинский лес.

Зеленый ковер покрывал обласканную теплыми лучами землю. И только там, где разрывались снаряды, ковер этот был порван, издырявлен черными воронками, испятнан минами. Чем ближе к переднему краю, тем больше виднелось этих безобразных пятен, словно тут паслось огромное стадо кабанов. Воздух был чист и прозрачен.

6

Разведчикам удалось, наконец, снова отправиться в путь. На этот раз вместо неожиданно заболевшего лейтенанта Марченко с группой пошел сержант Шахаев.

Полк Баталина вел бой уже в другом месте. Операцией руководил сам командир полка. Бой сложился удачно: стрелки выбили противника с одной прибрежной высоты и удерживали ее в течение трех часов. Под звуки отдаленного боя разведчики относительно легко переправились через Донец. Только один раз над их лодками прошепелявила длинная пулеметная очередь. Труднее было преодолевать передний край противника. Немцы

уже успели соорудить достаточно укреплений. Особенно много было колючей проволоки и минных полей. Проделанный саперами проход был узок, и двигаться по нему требовалось с величайшей осторожностью. Малейшее отклонение в сторону — и взлетишь на воздух. Немцы беспорядочно стреляли, как делали они всегда по ночам. Стрельба эта была бесцельной, но и шальные пули могли зацепить бойца. В одном месте, недалеко от Акима, почему-то взорвалась пехотная мина, — должно быть, натяжного действия. Воздух мгновенно раскололся яростной стрельбой.

— Ложись! — взмахнул руками Шахаев.

Припав к земле, разведчики пролежали с полчаса. Знакомое чувство ожидания вражеских ракет овладело ими. Затем стали снова продвигаться вперед — тихо и осторожно. Проползут немного — остановятся, послушают. Еще чуть продвинутся, и опять прислушиваются. Звенело в ушах; в коленях — расслабляющая боль, как после многих приседаний. Это состояние было также знакомо разведчикам. Вспорхнувшая поблизости ракета заставила прижаться к земле и ждать. Казалось, она висела в воздухе целую вечность. Потом наступила кромешная тьма. Попрежнему поползли, словно искали на земле что-то. Шахаев — впереди, за спиной — товарищи. Как хорошо ощущать их около себя! Одна-единственная мысль беспокоила теперь сержанта: правильно ли определил расположение вражеских окопов, не ведет ли он сейчас разведчиков навстречу смерти? Шахаев чувствовал, как мышцы его дрожали. Сильное давление крови стесняло грудь. Такое же тяжелое дыхание он слышал позади себя. На минуту остановился и оглянулся. К нему ползли все четверо. Вот этот, впереди, — Пинчук. Сопит сильнее других — у него самый тяжелый груз, да уж и не молод он, чтобы ползать по-пластунски. Чуть позади, правее, — Аким; рядом с ним — Сенька, извивается по-ящериному. Уваров — слева. Движения его спокойны, уверенны, темным квадратом перемещается его короткая фигура; видно, не раз приходилось саперу с минами ползать на животе перед вражеским передним краем. Шахаев снова пополз вперед. Настойчиво работал руками. Наконец, почувствовал, что неприятельские окопы где-то позади. Махнул рукой разведчикам, вскочил. До балки бежали, как по раскаленным углям.

Но вот, наконец, и балка. Здесь можно было итти уже в полный рост. Позади осталась вершина меловой горы. Теперь — душевная разрядка. Но нельзя поддаваться слабости. Надо итти не задерживаясь. Это понимал каждый, никто не требовал отдыха.

Все дальше и глуше шаги.

К рассвету разведчики были уже километрах в десяти от линии фронта. На лесной поляне остановились отдохнуть.

Выставив часового, Шахаев лег на живот, разложил на росистой траве карту, вынул компас. Подозвав к себе солдат, сержант еще раз повторил задачу.

— Все поняли?

— Все, — ответили хором.

Уваров, стоявший часовым, вдруг позвал Шахаева.

— Посмотрите, товарищ сержант, — сказал он, когда тот подошел.

Они оба наклонились, рассматривая что-то на просеке.

— Танк прошел. Совсем недавно.

На земле глубоко отпечатались лапы гусеничных траков.

— Да. Но какой танк, товарищ сержант?.. Видите — ширина гусениц какая! Около метра. Таких я еще ни разу не видел...

Шахаев поднял на Уварова глаза и внимательно посмотрел на него.

— Значит, новые появились? Прав был наш генерал, когда говорил об этом.

— Конечно, — убежденно подтвердил Уваров.

«Умен», — мелькнуло в голове сержанта. Он нагнулся еще раз и, растопырив пальцы, смерил ширину гусениц. Записал в блокнот. Затем срисовал отпечаток траков.

Подошел Сенька.

— Над чем это вы колдуете?

Ему показали необычный след.

«Эх, чертяка!..» — и Семен тихонько свистнул.

— А теперь обойдите вокруг — нет ли тут поблизости немцев,— приказал Шахаев Сеньке и Якову.

Минут через двадцать они вернулись и доложили сержанту, что никого не обнаружили.

— В таком случае — отдыхать! — распорядился Шахаев.

Бойцы расположились на поляне. Только Аким не отдыхал: по заданию сержанта он пошел в разведку.

Ванин прилег рядом с Уваровым.

— Забыл тебе сказать, Яша, — вчера утром сапер Пчелинцев прибегал из вашего батальона. Тебя спрашивал. Вы что с ним, дружки?

Скупая улыбка тронула плотно сжатые губы Уварова.

— Дружки. Да еще, брат, какие!..

— Он за письмами на почту не ходит, случаем? — неожиданно спросил Ванин, сузившимися кошачьими глазами взглянув на Уварова.

— Ходил раньше. А сейчас как будто нет. А что?

— Ничего. Так просто... — Ванин нахмурился. — И давно вы с ним встретились?

— Еще в сорок втором.

— Каким же образом? Интересно.

— Самым обыкновенным.

Уваров говорил правду. Знакомство его с Васей Пчелинцевым произошло при обстоятельствах, какие часто бывают на войне.

Было это в августе 1942 года. Отходили от Дона. Шли по безлюдной, голодной Сальской степи, с ее обожженными лысинами скифских курганов. Гонимые ветром-суховеем, мчались по ней серые шары «перекати-поле». Тускло поблескивали каски под прямыми лучами разморенного жарой и будто остановившегося солнца. Степь... Едкая гарь над опаленными станицами. В душном воздухе — постылый свист чужих моторов. Впереди шли разведчики, за ними — стрелки, потом — саперы и, наконец, позади всех, немного приотстав, шагал маленький бронебойщик. Тяжелое длинное ружье лежало на плече бойца. И что-то скорбно-торжественное было в его медленном и упрямом передвижении, будто нес он не ружье, а раненого товарища... По щекам солдата катились грязные ручейки пота, под обожженной солнцем кожей туго шевелились желваки. В глазах скрытое ожесточение. Его напарник был убит при переправе через Дон. И вот теперь маленький боец нес один тяжелую бронебойку. Иногда он испытывал минуты тупого отчаяния, хотелось плюнуть на все и, зажмурив глаза, итти куда угодно, хоть на край света. Но в то же время его удерживало что-то такое, что

заставляло собирать последние силы и шагать, шагать в колонне, под палящим солнцем, под бомбежками... Минутами бронебойщик впадал в забытье, и тогда ему казалось, что сзади него попрежнему трусит озорной, неунывающий напарник со своим невозмутимым белобрысым лицом и помогает нести противотанковое ружье. Но минуты забытья проходили, и огромная тяжесть вновь давила на ноющее плечо. Лицо маленького бойца вновь принимало озлобленное выражение. Глаза его, красные от бессонных ночей и от въедливой горячей пыли, бездумно смотрели на широкую и мокрую спину шагавшего впереди сапера, обвешанного с боков шанцевым инструментом. Сапер шел ровно, уверенно попирая землю своими короткими и, повидимому, очень сильными ногами. Вдруг сапер запел:

Так вспомним, товарищ,
Как вместе сражались,
Как нас обнимала гроза...

Пение не изменяло угрюмого выражения его лица. И просто непонятно было, почему из его груди глухим, придавленным стоном вырываются слова:

Когда нам обоим
Сквозь дым улыбались
Ее голубые глаза.

Никто из бойцов не подхватил песни: то ли оттого, что она была уж очень некстати, то ли просто потому, что у изнуренных походами людей нехватало для этого сил. Песня оборвалась. Сапер остановился, молча подошел к бронебойщику и опять же молча вскинул на свое плечо ствол длинного ружья.

— Зачем? Я один как-нибудь донесу, — хотел было отказаться от помощи маленький солдат.

Сапер не ответил. Он легко переставлял свои короткие ноги, словно бы и не замечая идущего сзади бронебойщика. Пройдя километров пять, сапер остановился передохнуть и, наконец, глухо сказал:

— Чудак, чего кричал?.. Солдат обязан помогать своему товарищу. Понял?..

Поправил на себе шанцевый инструмент, пошел вперед. Он опять было затянул песню, но тут же оборвал ее — на этот раз, должно быть, потому, что из-за хлопча-

того облака вывалилась сначала всеми проклятая «рама», а за ней — десять «Ю-87», или «музыкантов», как их называют фронтовики. Самолеты с нарастающим воем сирен один за другим пошли вниз, нацеливаясь на шедшую по пыльному грейдеру колонну.

Сапер отбежал в сторону и упал в неглубокую яму. Сюда же прыгнул еще какой-то боец. Низким раскатистым громом прогрохотало несколько взрывов. Запыленные ноздри солдат обжег противный запах взрывчатки. Отдышавшись, сапер поднял голову и осмотрелся. Дым рассеялся, самолеты, взмывая вверх, не спеша заходили на второй круг.

— А ты... чего лежишь? — вдруг закричал он на маленького бронебойщика, только сейчас узнав его. — Почему не стреляешь?..

— Куда там?.. Разве их достанешь... — бронебойщик не договорил, обожженный злобным взглядом сапера.

— Кто ж, по-твоему, стрелять-то в них должен?.. А?.. И так вон куда допустили!.. До самой аж Волги!.. — хрипел сапер, вкладывая в эти слова всю свою выношенную и выстраданную солдатскую боль... И вдруг, схватив с земли бронебойку, он положил ее ствол на плечо солдата и стал целиться. — Встань хорошенько, ну!..

Боец для устойчивости расставил ноги и уперся руками в бедра. Раскаленный ствол обжигал щеку солдата, но маленький бронебойщик терпел, вобрав голову в плечи. А сапер, присев на корточки, целился. Он выстрелил в первый самолет, но промахнулся. Бронебойщик чуть не упал, но все же поправил своего неожиданного напарника:

— Упреждение бери, слышишь!..

Ружье при выстреле дергалось и больно ударяло по шее молодого красноармейца. Он тихо вскрикивал, но продолжал стоять. А сапер как бы весь сросся с ружьем, подводя его ствол под ревущую цель. Бегут короткие секунды. Набатом стучит в висках кровь. На суженные зрачки стремительно падают желтые крылья... увеличиваются, растут черные, тщательно выведенные кресты. Самолет мчится вниз, словно хищник на свою жертву, — так падает ястреб на притаившуюся в траве куропатку... Темными каплями отделяются от него бомбы и косым свистящим дождем летят к земле. Самолет почти достиг земли и стал задирать нос кверху. Палец солдата плавно

нажал на спуск. И... опять промах!.. Сапер, весь дрожа от ярости, бессильно опустился на дно ямы. А когда он снова посмотрел на небо, то увидел медленно уходящий бомбардировщик противника.

Сапер помутневшим взглядом уставился на маленького солдата.

— Ну?.. — глухо выдавил он.

— Что «ну»?.. Говорил — бесполезно из бронебойки-то по нему!..

— Стрелять в них надо из всего, что стреляет. Понял? — все еще перекипая, заметил сапер, карабкаясь из ямы.

У дороги уже царило оживление.

— Эй, товарищи! Подымайсь! Подкрепление пришло, — прозвучал чей-то веселый голос.

Причиной оживления была неожиданно появившаяся кухня. Бойцы уже толпились возле дышащего вкусным горячим паром котла и получали свои порции.

Подошли к кухне и сапер с молодым и оказавшимся очень заботливым бронебойщиком. Маленький боец прежде всего обежал вокруг котла, украдкой от повара наполнил водой флягу, затем подставил свой, не отличающийся особой чистотой котелок под поварской черпак.

— На двоих да погуще. Вот для этого товарища, — указал он на молчаливого и сурового своего спутника.— Это он стрелял по самолету.

Повар, толстущий малый, ответил молчанием, однако котелок молодого красноармейца он наполнил жирным, наваристым супом, в котором плавали большие куски мяса.

— Спасибо, дорогой, — поблагодарил бронебойщик повара и уселся рядом со своим новым другом у дороги, свесив ноги в кювет. — Прочтем? — обратился он к саперу.

— Что это у тебя? — спросил тот, заметив в руках бронебойщика небольшой лист.

— «Дивизионка». Чтецом я в своей роте был, — пояснил маленький солдат и выразительно, внятно, как диктант, прочел саперу последнюю сводку Совинформбюро. Вести с Юго-Восточного фронта были неутешительны, и бойцы долго молчали. — Хочу к вам в саперы. Возьмете? — неожиданно спросил бронебойщик и ожидающе посмотрел в хмурое лицо молчаливого сапера.

Сапер не спеша прожевал мясо, смахнул с губ крошки и отрицательно покачал головой.

— Нет.

— Почему? — удивился маленький боец.

— Ну, какой из тебя сапер? Если ты в свое ружье плохо веришь, то саперная лопата и вовсе придется тебе не по нраву. — Солдат помолчал, посмотрел на обиженного красноармейца, и ему вдруг стало его жалко. — А почему ты один?..

— Взвод наш погиб на Дону, — горько сообщил боец, и саперу показалось, что бронебойщик может расплакаться.

— Ну, хорошо, — сказал он,— я поговорю с командиром... Зовут-то тебя как?

— Василий. Вася Пчелинцев.

— Ну, а я — Уваров. Будем, значит, знакомы.

Сенька внимательно выслушал рассказ Уварова.

— Как только не встречаются люди на войне,— сказал он с необычной для него серьезностью. — Ну, и что ж, хороший из Пчелинцева сапер получился?

— Очень даже хороший. А ты что, знал, что ли, его? — вдруг спросил Уваров, заметив какое-то странное выражение лица Сеньки.

— Встречались как-то... — уклончиво проговорил Ванин.

Оба замолчали.

Тут же, на поляне, заботливый Пинчук проверял свои продовольственные запасы. На поясном ремне у него висела фляга. Подошедший Сенька не мог оторвать своих обвороженных глаз от этого грешного сосуда. Пинчук ему погрозил: «Не время, мол, об этом думать — всему свой черед».

Подсел к Пинчуку и Уваров. Сапер все время присматривался к Петру Тарасовичу. Этот кряжистый полтавчанин с первых минут расположил к себе Уварова. Якову казалось, что Пинчук никогда не может сделать необдуманного шага. Нравилось ему и то, что Петр Тарасович все время прикрикивал на отчаянного и легкомысленного, по понятиям Уварова, Сеньку. И Яков никак не мог уразуметь, почему не Пинчук их командир, а молчаливый и как будто даже робкий Шахаев, кото-

рый, как думалось Уварову, словно боялся своих подчиненных. Вчера Яков даже сказал об этом шагавшему впереди него Пинчуку. Тот остановился, удивленно вскинул мохнатые брови.

— Ты ще ничего не розумиеш, Уваров. Шахаев — добрый командир, голова в него свитла. С ним не пропадешь. С ним, як и с Забаровым, мы не разу не возвращались без «языка».

— А с Марченко? — спросил Уваров. — С лейтенантом тоже без «языка» не возвращались?

— Пид Сталинградом — да. А зараз — було дило... — Пинчук немного смутился. Видимо, он решил, что так говорить о любимом и прославленном командире не полагается, и поспешил исправить положение: — Но Марченко — теж добрый командир. Храбрийшый и вообще...

Тут он запнулся и умолк...

Уваров внимательно смотрел на большие руки Пинчука, заботливо укладывавшие в мешок продукты.

На другой стороне поляны появился Аким. Быстро подошел к Шахаеву, наклонился, о чем-то докладывал. Сенька нетерпеливо посматривал туда, но мешать им не решился: ему показалось, что Аким принес какие-то важные сведения.

Аким в тот день так и не отдохнул. Горячая мечта теребила его сердце. Родное село было отсюда совсем близко — рукой подать. Хотя бы на часок попасть туда... Доложив Шахаеву о результатах разведки, он быстро направился к Сеньке. Решил рассказать ему все, пусть Сенька попросит командира — и будь что будет!..

7

Когда солнце стало опускаться к горизонту, Шахаев объявил о конце привала. Принесенные Акимом сведения говорили о том, что оставаться здесь разведчики больше не могли,— совсем близко располагались немецкие части, по всей вероятности резервные.

В полнеба стояло красное зарево, окрашивая макушки деревьев. Разведчики шли гуськом, осторожно ступая. Впереди — Шахаев. За ним — Пинчук, затем — Уваров, Ванин и замыкающим — Аким. Запрокинув голову, он сказал:

— Заря горит. Дождь будет.

Семен засмеялся.

— Предсказатель новый объявился! Откуда тебе все известно?

— А вот известно. Ведь, как-никак, учитель. И тебя, Семен, еще кое-чему могу поучить.

— Чему это? — белые брови Сеньки сдвинулись: он был явно озадачен.— Чему же все-таки ты можешь меня поучить, Аким? Уж не за «языками» ли ходить?

-- Зачем же за «языками». Этому ремеслу ты кое-как обучен. А вот математике, например, русскому языку, литературе... Мало ли чему!

— Может, кое-что из этих наук я и подзабыл, — чистосердечно признался Семен. — Однако насчет дождя и прочее ты, Аким, подзагнул.

— Поживем — увидим.

Аким уже успел рассказать Сеньке о том, что его тревожило, и теперь на душе у него стало легче. Лицо приняло прежнее добродушное выражение, как всегда немножко рассеянное. Сенька обещал ему уговорить Шахаева на обратном пути отпустить Акима на несколько часов, а может, и на всю ночь — смотря по обстоятельствам — в родное село к невесте.

Вскоре стало душно. Гонимые южными ветрами, низко поплыли темные тучи. Мокрыми ошмотьями к ногам прилипали прошлогодние дубовые листья. По веткам забарабанил редкий холодный дождь.

Аким ухмылялся.

— Ну, что я говорил? — толкал он Сеньку.

Но тот не сдавался.

— Ворона — дура, но и она может накаркать любую беду.

Дождь усилился.

Разведчики вышли к реке Вьюнка. Шахаев волновался, все время глядел по сторонам: в этом месте их должен был встретить человек.

Сквозь разрывы облаков выглянула луна — начищенная, беззаботная — и тут же снова спряталась за тучи. Надо было переправляться на противоположный берег. Посмотрели — лодки не видать. Но тут случилось то, что на солдатском языке называется «подвезло»: высокое дерево, стоявшее над самой водой, подмытое течением, повалилось, едва его толкнул Пинчук. Оно с треском упало вершиной на тот берег, образовав своеобразный мост.

Первый вызвался пойти Семен.

— Только в случае чего матери сообщите, — сказал он улыбаясь.

Но улыбка получилась не сенькина — натянутая, пожалуй даже жалкая. Он с опаской поглядывал на черную кипящую пучину и осторожно ступил на дерево.

От тяжести сенькиного тела дерево опускалось все ниже и ниже, и, когда Ванин достиг середины, оно качнулось, выскользнув из-под ног разведчика. Семен попытался было ухватиться за ствол, но потерял равновесие и на глазах разведчиков исчез под водой.

Сенькин малахай поплыл вслед за обломанными ветками коварного дерева. Однако через несколько секунд появилась сенькина голова. Отчаянно рассекая воду мелкими саженками, солдат поплыл к противоположному берегу и вскоре выбрался на сушу.

— Беги в деревню! — крикнул ему Шахаев.— Крайняя хата отсюда, с гнездом аиста на старом дереве! Понял?

Сенька убежал. Увлеченные этим происшествием, разведчики не заметили, как из кустов вышел высокий седобородый старик. В руках он держал длинный шест с железным крючком на конце. Первым старика увидел Яков. Незаметно толкнул сержанта. Шахаев обернулся. Но Пинчук опередил его.

— Здравствуй, диду! — приветствовал он старика.

— Доброго здоровьичка!

Вскинув мохнатые брови, дед пристально смотрел на ребят: «Они или не они?»

— Откуда, дедушка? — спросил Шахаев и тоже подумал: «Он или не он?»

— Из Климовки, откуда же мне быть, — дед махнул рукой в сторону деревни, в которой только что скрылся Ванин. — Бревна ловлю... двор у меня сожгли.

«Значит, он», — подумал Шахаев, но пароль на всякий случай пока что не сообщал.

— Кто же сжег, дедуся, а? — спросил он старика.

Дед посмотрел на сержанта и, растерянно теребя бороду, ничего не ответил.

— А вы кто будете? — помолчав, спросил он, украдкой поглядывая на мешки за спинами ребят.

— Рабочие мы, дедушка, домой пробираемся, в Харьков. Из Белгорода. Немцы нас отпустили. Говорят, красные наступать собираются.

Оттянув двумя пальцами мочку уха и склонив набок голову, накрытую заячьим наполовину облезлым треухом, дед внимательно слушал. Потом вдруг поднял кверху большой нос, потянул им воздух и хитро засмеялся беззубым ртом.

— Ой же и врать ты мастер, сынок! Не из Белгорода вы. Махорочка очень духмяная у вас. Аж за сердце щекочет. На версту чую ее запах, ить такой махорки, мил человек, при немцах-то мы, почитай, третий год не видим... — и старик стал рассказывать не опасаясь: — В прошлом годе скрывался у меня один лейтенант, молодой, вроде вот вас, — дед указал на Уварова.— Федором звали его. Подбили, вишь, его зенитчики немецкие. Ну, так вот он меня и угощал махоркой советского изделия... Ушел потом к своим. С той поры и не чуял я запаха махорочки нашей...

Растроганный Шахаев пожал большую бугроватую дедову руку и сообщил ему пароль.

— У Алексея Ивановича были сегодня? — спросил он старика.

— У командира отряда? А как же! Только от него...

Сквозь шум воды до разведчиков доносился низкий, словно бы придавленный чем-то тяжелым, гул.

— Нечистый бы их забрал,— дед нахмурился.— Это там... у моста... Танки ихние. День и ночь горгочут. И все туда, к вам, направляются... Огромадные, дьявол бы их забрал совсем... Ране таких не видно было... Широченные. Тиграми, вишь, их назвал немец. Для устрашения, небось...

Помолчали прислушиваясь. Где-то в отдалении, в разных местах, ухнуло несколько глухих взрывов.

Дед оживился. Поднял голову, пощекотал седую бороду, хитро прижмурился.

— Это... наши! Ух, дают!.. По всей земле вот так! Нигде фашисту покоя нет!..

— Ну, ладно, дедушка, теперь расскажи, что сообщил Алексей Иванович, — попросил Шахаев.

— Сведения он для вас передал, очень важные, говорит. Много, вишь, новых немецких частей появилось. Партизаны знают, где они располагаются. Все леса забиты германскими войсками... Вот возьми-ка, сынок, — и дед передал сержанту аккуратно сложенный лист — Шахаев даже не заметил, откуда он извлек бумажку. — Тут все, как есть, записано...

— Благодарю, дедушка! — взволнованно проговорил Шахаев.

Но дед невольно нахмурил брови.

— Зачем меня благодарить. Общее дело делаем.

Шахаев спросил еще:

— А в селе, в котором мост, много их?

— Много, сынок. Сам-то я не был там. А партизаны сказывали, что много.

Пинчук угостил деда махоркой. Тот дрожащими руками свернул козью ножку.

— Ну, а как насчет лодки, дедушка?

— Лодка есть. Тут недалече припрятал. Пойдемте, сынки, за мной. Только под ноги глядите. Пней тут много.

Разведчики гуськом пошли за дедом, который в неровном, дробящемся свете снова выглянувшей луны казался великаном. Он шел быстро вдоль берега по чуть заметной тропинке. Солдаты едва поспевали за ним.

— А немцы в вашей деревне не стоят? — спросил деда осторожный Шахаев.

— Нет. Один полк квартировал. Да на днях ушел. На передовую, сказывают, под Белгород. Все туда ж... Сейчас в деревне ни одного фашиста. Делать им, окаянным, у нас больше нечего. Скотину всю поели, хлеб вывезли в Германию. Теперь приезжают за другим товаром: девчат да парней ищут, в Германию увозят, как скот.

Аким побледнел...

Разведчики, перевезенные Силантием, — так звали деда, — пригибаясь, по одному вошли в его хату. Маленькая старушонка хлопотала возле Ванина. Переодетый в огромную дедову рубаху, Сенька выглядел очень смешно. Старуха постлала ему на теплой лежанке. Ванин пригрелся и быстрехонько заснул. Он не знал, сколько времени спал, а когда проснулся, то увидел склонившееся над ним доброе лицо Акима.

— Аким... — прошептал Сенька и хотел притянуть голову товарища к себе.

Аким рукой вытер пот с сенькиного лица.

— Ты не заболел, Семен? — спросил он.

— Нет... А где ребята? — заметил Ванин отсутствие остальных разведчиков.

— Пинчук куда-то вышел, а Шахаев с Уваровым и дедом ушли к селу наблюдать за мостом.

Тем временем Пинчук сокрушенно осматривал разрушенный хозяйский двор. Дождь, наконец, перестал. Взгляд Пинчука остановился на большом гнезде, в котором на одной ноге неподвижно стоял аист; из гнезда торчал хвост его подруги. Петр знал, что аист может простоять так несколько часов подряд. Пинчук посмотрел на затянутое поредевшими тучами небо и задумался. Он вспомнил, что теперь у него было бы самое горячее время в колхозе. В такие дни Пинчук редко бывал дома, целыми сутками пропадал в поле. Там у него — то совещания с бригадирами, то партбюро, оттуда, по вызову, ехал прямо в райком, словом — хлопот полон рот. Председатель колхоза за всех в ответе. Артель у них была большая, ею нужно было руководить умеючи, с головой. Четыре тысячи гектаров пахотной земли — это не шуточное дело! А, кроме того, сколько еще было всякого добра в артели. Одна лишь пасека — в пятьсот ульев. Как-то сейчас там с колхозом, что с Параськой, дочуркой?..

Так и стоял Пинчук в глубокой задумчивости около сгоревшего сарая.

К рассвету вернулись Шахаев, Уваров и Силантий. Приходилось менять весь план операции. Раньше хотели устроить налет на село и с хода подорвать мост. Оказалось, однако, что в селе стоит большой гарнизон немцев и мост охраняется. Нужно было действовать по-иному. Сержант позвал к себе всех разведчиков. Собрал нечто вроде совета.

— Стара, ты бы вышла на улицу поглядеть, нет ли кого,— сказал Силантий бабке.

— Сейчас посмотрю.

Накинув на голову шаль, старушка вышла.

«На нее никакой леший не обратит внимания»,— подумал дед, а сам пошел осматривать двор: заглянул в хлев, обогнул кругом хату, постоял в сенях, что-то там разыскивая...

Когда Силантий возвратился в избу, совещание уже закончилось. Разведчики тихо переговаривались.

В руках деда они увидели маленький портрет Сталина. Глаза старика молодо и задорно сверкали.

— Сохранил, стало быть...— пояснил он и, глядя на портрет вождя, взволнованно добавил: — Тяжело ему, поди, сейчас.

— Тяжело, конечно,— ответил Шахаев, взволнованный не меньше деда.— Но только было еще тяжелее. Все-таки теперь, дедушка, инициатива в наших руках. Да и мы, солдаты, стали лучше, опытнее, сильнее. Нас теперь не напугаешь никаким шумовым оформлением, как было раньше. Не помогает уже больше фашистам их пиротехника. Мы сами сумеем такой тарарам наделать, что они места не найдут.

— Опыту у нас, солдат, богато стало, — оторвался от окна Пинчук.— Його треба зибраты, протрясты добренько, видибраты, який поциннише, на будуще годиться, и в книгу. И хай наши хлопци чытають ту кныгу, як, скажемо, грамматыку, изучают, як арыхметику. Понадобиться колысь...

— А правду говорят, что товарищ Сталин совсем седой стал и похудел здорово? — спросил Уваров.

— Может, и вправду. У него вон сколько забот! — ответил Шахаев.

Силантий прислушивался к разговору солдат с превеликим вниманием и счел своим долгом тоже вступить в столь тревожащую его, им же разбуженную беседу. Он уже несколько раз порывался вставить свое словцо, да все не находил подходящего момента.

— Сказывают, он в Сталинград сам наведывался, когда там уж очень муторно было, тяжело стало быть,— наконец не выдержал Силантий, присаживаясь поближе к Шахаеву (старик предпочитал иметь дело со старшим. «Командиру-то, — думал он, — все должно быть известно»).— Ты как, сынок, не видал?

— Не видел, дедушка.

Старик недовольно нахмурился, повысил голос.

— Не видел,— передразнил он.— Все, вишь, видали. А ты не видел!.. А он, товарищ наш Сталин-то, сказывают, этими днями к партизанам прилетал. Указания делал — как, стало быть, немца надо бить! — и, выбросив ладонью бороду перед собой, уверенно подытожил: — Сталин везде успевает!..

Поглядел в окно, вздохнул тяжело и как бы про себя добавил:

— МТС по всему району и по всей нашей области теперь не сыщешь. Все, как есть, изничтожил германец. А без колхозу и жить нельзя.

Пинчук, молча слушавший беседу, снова вышел во двор. Посмотрел вверх. Там, высоко-высоко, по неизношенной голубизне неба, плыл караван журавлей, роняя на землю редкие медноголосые клики. Их жалобное курлыканье занозой впилось в сердце солдата. Долгим взглядом провожал Пинчук живой, все уменьшающийся треугольник и чувствовал, как все поднималось у него внутри, и щемящая, пронзительная грусть врывалась в душу, словно вся боль, что накопилась за годы разлуки с женой, маленькой дочкой, родными местами, со всем тем, что составляло радость жизни, ворохнулась в его груди.

Журавли и раньше вызывали легкую грусть в душе Петра, но то была грусть по уходящей молодости и еще по чему-то уже совершенно необъяснимому. Сейчас же боль его была глубоко осознанной и ясной.

Хмурый и злой, он возвратился в хату, затормошил дремлющего сержанта.

— Может, пидемо?

— Рано еще. Дождемся темноты.

В хате появилась старуха. Она успела обойти всю деревню, но ничего подозрительного не обнаружила.

— А на грейдере все гудут и гудут, нечистый бы их побрал,— сообщила она.— Ну как, сынок, не приболел? — участливо спросила она Сеньку.

— Нет, бабуся. Все хорошо!

— Ну, слава те господи. А я-то уж боялась...

Бабка была глубоко убеждена, что помогли ее припарки, и гордилась этим несказанно. Но полному ее торжеству мешал Силантий: он не верил в целительную силу бабкиных трав и отсутствие простуды у Сеньки после вынужденного купанья в холодной апрельской воде объяснял исключительно его молодостью.

— В его-то годы я и не знал, что такое хворость,— хвастался он, возражая старухе.

Вечером собрались в путь. Только тут вспомнили, что сенькина шапка уплыла по реке.

— Теперь вона, мабуть, у Черному мори гуляе,— заявил Пинчук, прилаживая ремни на свои широкие плечи.

— А я без шапки пойду. Сейчас не холодно,— сказал Сенька.

— Ночью, сынок, прохладно. Ведь еще апрель, заморозки бывают.— Силантий полез на печку и вытащил

оттуда свой на редкость старый и ободранный малахай.

— По Сеньке и шапка! — заметил Аким.

Все захохотали.

На улицу вышли затемно. Дед и старушка расцеловали солдат. Бабка украдкой осенила их крестным знамением. По ее морщинистым и желтым, как испеченное яблоко, щекам бежали мутноватые теплые капли. Она смахивала их уголками платка.

— Господь вас храни,— шептала она. Потом долго стояла, сложив руки на груди, и печальными глазами смотрела вслед удалявшимся разведчикам.

— Вот и наш сынок ходит где-нибудь так же,— тихо шептала она старику.— Каково им?!

Двигались вдоль реки. Местами она вышла (очевидно, еще во время разлива) из своих берегов, образовав небольшие озерки. Разведчикам все время приходилось обходить их. К счастью, немцев в этом месте не было — они держались шоссейных и железных дорог. Шахаев мысленно отметил и этот факт — может быть, кому-то пригодится.

Сейчас шагали мимо озерка. В спокойной воде отражались Млечный путь, ковш Большой Медведицы, плыли длинные тени шедших у берега людей. Разведчики двигались молча. Кругом стояла та особенная, свойственная только весенней ночи тишина, которая обязательно наводит на размышления — иногда немножко грустные и всегда приятные. Эта тишина как-то умиротворяла людей, вселяла в их сердца спокойную уверенность в то, что все кончится благополучно.

Где-то в темных прибрежных камышах раздавалось позывное кряканье утки. Иногда доносился свистящий шум крыльев и тяжелый всплеск воды: это на зов самки прилетал селезень.

Уваров шел вслед за Пинчуком. Между ними уже установилась крепкая дружба. Молчаливый и серьезный, Яков сразу пришелся по нраву Пинчуку. Уваров в свою очередь считал Петра самым надежным и опытным человеком, не уважать которого просто невозможно.

Да и все любили Пинчука. Его хозяйственная изворотливость очень помогала солдатам. Водился за ним

только один грешок, за который его частенько — и то лишь за глаза — поругивали. Иногда разведчикам целые недели приходилось оставаться на переднем крае. В такие дни Пинчук обычно ходил за обедом в расположение своей роты. С этой минуты начинались муки ожидания. Дело в том, что у Пинчука была масса знакомств с хозяйственной братией, вроде поваров, писарей, кладовщиков, работников полевой почты, наборщиков из дивизионной газеты. Пинчук всех их неторопливо обходил и только после этого возвращался к разведчикам. В сердцах ожидающих, конечно, вскипала злоба на Петра. Его ругали на чем свет стоит. Особенно усердствовал Ванин. Тряся кулаком, он кричал:

— Не посылайте больше этого старого чорта, чтоб он подох!

Даже всегда добрые и спокойные глаза Акима и те сердито поблескивали за стеклами очков. Казалось, приди в эту минуту Пинчук — его разорвут на части. Но стоило Петру появиться с термосом, наполненным горячим супом, как страсти немедленно остывали. Широкое лицо Пинчука, как всегда, сияло добродушной и пребезобиднейшей улыбкой. Его серые лучистые глаза смотрели кротко и невинно, а толстый нос был краснее зрелой сливы. Все знали, что Петр «на взводе», но чудесный запах жареного лука и жирного супа убивал всякое желание ругать его, тем более, что обычно Пинчук щедро угощал папиросами, предназначенными только для генерала. Где доставал их Пинчук, одному ему да Борису Гуревичу — завпродскладом АХЧ [1] — было известно. Никто до сих пор не знал, чем Пинчук мог пленить сердце этого маленького кучерявого бойца, с черными и бойкими глазами...

...Пинчук шагал медленно, твердо и основательно ставя свои толстые ноги. Глядя на его широкую спину, на эту твердую и уверенную поступь, Яков сам наполнялся уверенностью, потому что никак нельзя было допустить мысль, что с Пинчуком могло что-то случиться.

В спокойной воде озерка попрежнему купались звезды. Где-то под самым диском луны тарахтел невидимый самолет.

— Кукурузничек наш не спит,— тихо заметил Сенька.

---

[1] Административно-хозяйственная часть.

Разведчики молча приближались к селу, спрятанному за недалеким перелеском.

Огромный и величавый мир обступал людей, украдкой шедших в ночи по родной земле, грубо попранной и оскорбленной врагом.

— Стой! — поднял руку Шахаев.

Все остановились, окружили сержанта.

— Вот отсюда и начнем,— тихо проговорил он.

8

В ту ночь, когда группа Шахаева уходила в тыл противника, командир дивизии был на своем наблюдательном пункте. Отсюда он руководил боем, отвлекающим внимание противника от разведчиков, переплывающих Донец. Перед Баталиным одновременно была поставлена задача: овладеть высотой, находящейся в руках немцев, и выяснить систему организации огня противника на этом участке, то есть произвести разведку боем.

По приказанию Сизова усиленный батальон без единого выстрела переправился через Донец; солдатам запрещалось разговаривать; выпрыгивая из лодок, они молча, с автоматами в руках, укрывались в прибрежных зарослях; наша артиллерия заговорила лишь тогда, когда последняя группа бойцов достигла правого берега. Вслед за первым орудийным залпом, лизнувшим ночной мрак полымем зарниц, туго стянутая ночная, настороженная тишь была разорвана шелестящим свистом сигнальной ракеты.

Генерал всматривался в темноту. Сухой, весь как-то по-особенному подобранный, похожий на солдата, готовившегося к атаке, он неподвижно стоял у амбразуры блиндажа. Высота 117,5, конечно, не была в темноте видна Сизову. Но острый, натренированный слух улавливал звуки, помогавшие генералу воссоздавать картину боя, которая, повидимому, не совсем его удовлетворяла. Он то и дело брал из рук радиста трубку и отдавал своим отчетливым, звонким не по летам голосом негромкие, отрывистые приказания. Фразы его были коротки и точны, словно он заранее готовил их и произносил не в бою, а на тактических занятиях в академии. Ни одного лишнего, вырвавшегося в горячке боя слова...

Неопытному человеку трудно было бы понять, что же творилось на высоте. То ее на миг выхватывали из тем-

ного зева ночи разрывы снарядов, то она вновь пропадала в сплошной звенящей мгле. Сквозь пулеметный и автоматный треск, сквозь сердитый рев орудий и минометов изредка прорывалась слабая волна красноармейского «ура», она докатывалась сюда, до наблюдательного пункта, и тогда все, кроме генерала, оживлялись.

Из соседнего блиндажа доносился голос полковника Павлова:

— Гунько... Гунько! Перенеси огонь по левому скату!..

Только по этому голосу и можно было догадаться, что высота еще находилась в руках противника, хотя бой за нее длился уже более часа — время, вполне достаточное для того, чтобы выдохлась любая атака. Генерал это отлично понимал и не выражал никакого оживления. Внешне непроницаемый, он, однако, все чаще и чаще поднимал трубку аппарата. Только начальник политотдела, который хорошо изучил Сизова и в трудные минуты всегда был с ним, умел по каким-то неуловимым признакам читать его душевные движения. И сейчас, когда, казалось, выражение лица генерала нисколько не изменилось, Демин понимал, как ему тяжело, и испытывал нетерпеливое желание принять на себя хоть часть бремени с острых солдатских плеч этого сурового человека.

— Вас просит подполковник Баталин, товарищ генерал! — доложил радист.

Сизов поднял трубку. Его черные глаза сверкнули. Баталин докладывал:

— Разрешите прекратить атаки. Несу большие потери. Комбат и его заместитель ранены...

Генерал долго и с ненавистью смотрел на трубку рации, будто она была виной всего случившегося.

Многим офицерам, находившимся на НП комдива, положение казалось непоправимым. Они были уверены, что генерал прикажет отвести солдат на исходный рубеж,— ведь разведчики, наверное, уже успели перейти оборонительную линию врага. Но комдив сказал:

— Атаки продолжать! Высота должна быть взята! Сейчас дадим еще огня. Свяжитесь с Павловым.

Генерал передал трубку радисту и вновь стал смотреть перед собой, в темноту. Затем он приказал артиллеристам еще раз обстрелять противника. Некоторое время высота безмолвствовала, проглоченная чернотой

ночи. Полковник Демин и сейчас отлично понимал генерала: комдив хотел до конца разведать организацию огня противника у высоты 117,5.

Прошло еще около часа. И снова зло ударили пушки. Над высотой, разгребая темноту, заплясали огненно-красные языки разрывов. Гул этих разрывов, заглушая все звуки, по-весеннему бодро и торжественно, с необычайно мощной силой кинулся от высоты и ворвался на наблюдательный пункт освежающим ветром, и все физически ощутили его возбуждающую энергию.

— Товарищ генерал, Баталин...

На этот раз комдив мгновенно взял трубку. И все увидели, как ярко и задорно блеснули его черные орлиные глаза. Разговаривая с Баталиным, он свободной рукой тщательно вытирал пот с высокого лысеющего лба.

— Кто командовал батальоном? — спросил Сизов.

— Капитан Крупицын...

Генерал удивленным взглядом обвел присутствующих и остановил его на полковнике Демине. Тот улыбнулся, хитро прижмурясь. Положив трубку на рацию, генерал подошел к нему.

— Значит, это вы, Федор Николаевич?..

— Он попросил разрешения, ну а я, конечно, разрешил,— просто и спокойно пояснил начальник политотдела.— Крупицын еще с вечера находился в батальоне. Пошел комсомол свой расшевелить.

Сизов несколько минут смотрел в лицо полковника, потом молча пожал ему руку. И быстро отошел.

— Передайте Баталину, чтобы после боя прибыл ко мне вместе с Крупицыным.

Через минуту радист доложил:

— Подполковник Баталин не может приехать, товарищ генерал. Он уже полтора часа, как тяжело ранен.

Генерал промолчал. Подошел к стенке блиндажа и прислонился горячим, потным лицом к сырой, холодной земле.

— Передайте, чтоб отходили! — распорядился он, увидев вошедшего в блиндаж довольного майора Васильева.— Да смотрите, чтоб ни один солдат не остался на том берегу,— и, взглянув на окружавших его офицеров штаба, коротко бросил: — К переправе!

И сам первый направился к выходу.

9

Лесная опушка. Тишина. Тревожное ожидание. Звездная россыпь над головой. Беззвучное течение реки. Влажный, гонящий по телу мелкие мурашки, ночной воздух.

Впереди — в одном километре — смутно проступает село. Бугрятся копнами соломенные крыши. Разведчики разделились на две группы. Сенька и Аким проникнут к северной окраине селения; Шахаев и Пинчук — к южной. Там они одновременно откроют отчаянную пальбу из автоматов, чтобы отвлечь внимание врагов от моста. Уварову, как саперу, предстоит самое главное и сложное — он подползет к мосту и подожжет его.

— Будь готов к схватке. На мосту — часовой,— напутствовал его Шахаев.

Разведчики положили руки на автоматы. Проверили их, ощупав быстрыми, нервно прыгающими пальцами. Уваров переложил бутылки с горючей смесью в ведро, прихваченное им у Силантия. Каждый делал свое дело молча...

— Немцы!

Это слово, как кнутом, обожгло солдат.

Их почти одновременно увидели все разведчики. Немцы большой колонной двигались по грейдеру к селу. Впереди — длинные, приземистые бронетранспортеры, за ними — танки, потом — мотопехота на открытых грузовиках. Около двадцати машин насчитал Шахаев. Тускло отсвечивали плоские каски солдат. Колонна своей головой уже входила в населенный пункт. И долго еще в селе не умолкал разноголосый гул — немцы устраивались на ночевку.

Шахаев понимал, как трудно будет разведчикам выполнить задание. Гарнизон немцев значительно усилился, по селу, конечно, ходят патрули. Но уничтожить мост в то время, когда он так нужен врагу, необходимо. Только сейчас Шахаев по-настоящему осознал, почему генерал дал им это задание.

— Ну иди, Яша...— сказал он Уварову и почувствовал, что голос его прозвучал взволнованно. Это — слабость. Шахаев понимал, что в таких случаях она вредна. Но он не смог быть до конца сурово сдержанным. —

Иди!.. — повторил сержант. Потом вдруг притянул к себе сапера, торопливо поцеловал и тихо, в третий раз сказал: — Иди, Яша!..

— Ну, желаем удачи, дорогой! — Пинчук и Аким крепко жали большую узловатую руку Якова.

Сенька подошел позже всех.

Уваров чуть приметно улыбнулся и крепко пожал сенькину руку.

— Ну, в добрый путь, товарищи,— сказал Шахаев, и разведчики пошли в разные стороны. Через минуту они уже не видели друг друга, растаяв в темноте.

Огородами, где ползком, где короткими перебежками, Яков достиг середины села.

Немецкий часовой, ежась от ночной прохлады, ходил по мосту, притопывая и постукивая твердыми коваными сапогами. Вдруг в разных концах села внезапно раздалась отчаянная автоматная стрельба, Солдат заметался по мосту, не зная, в чем дело.

Уваров понимал неизбежность встречи с немецким часовым. Ползя по огородам, он думал об этом. И все-таки, увидев часового, в первую минуту Яков испугался. Он забежал за хату и поймал себя на том, что ему вовсе не хотелось выходить из своего укрытия. Он терял одну минуту за другой, оправдывая себя тем, что обдумывал. Но в сущности он думал только об одном — о том, что выходить страшно. Кровь бросилась ему в лицо: на короткое время он увидел Шахаева, устремленные на него, Уварова, черные проницательные глаза и услышал тихий доверчивый голос: «Иди». Ему верили, на него надеялись, а он...

Яков нахмурился и решительно вышел из-за укрытия. Широкими шагами приблизился к мосту. На южной и северной окраинах села трещали автоматные очереди. За мостом, вдоль вытянутых в неровную цепочку домов, метались немцы. Они беспорядочно стреляли и куда-то бежали.

...Внезапно перед часовым, стоящим у моста, из темноты возникла фигура коренастого русского парня.

— Вохин гейст ду? [1] — заорал растерявшийся и перепуганный немец.

---

[1] Куда тебя несет? (*нем.*).

Парень показал на ведро: за водой, мол, иду.

— Цурюк! [1] — завизжал часовой и вскинул автомат. Но в тот же миг страшный удар в челюсть опрокинул его. Часовой, не успев вскрикнуть, упал в бушевавший под опорами моста водоворот. Тяжела была рука тракториста.

С быстротой кошки Яков метнулся на мост, разбросал, а затем разбил бутылки «КС». И вот в разных концах моста вспыхнуло пламя. Оно разрасталось с чудовищной быстротой. А в селе гремели выстрелы. Только сейчас, кажется, стреляли одни немцы... Широкоскулое лицо Якова покрылось каплями пота. Его русые волосы прилипли к мокрому лбу, в черных глазах металось пламя костров. К мосту бежали враги. Их много. «Скорей!.. Скорей!..» — а он все еще был на мосту. Рядом послышалась чужая испуганная речь. Вслед за тем опять донесся треск родных автоматов. Пригнувшись, побежал от моста. Над головой провела красный пунктир пулеметная строчка. Вспыхнувший, как порох, деревянный мост осветил все село. Уварова заметили. Он почувствовал это по торжествующему, злобному реву у себя за спиной. Яков бросился в узкий переулок, ведший к лесу.

— Форверст!.. [2] — кому-то скомандовал немецкий офицер, выскочивший из одного дома, и сам побежал за Уваровым. Уваров свернул на другую улицу. Немец не отставал. Расстояние между ними быстро сокращалось: короткие ноги Уварова не могли состязаться с длинными ногами противника. Яков чувствовал, что его настигают. И может же случиться с человеком такое — он совсем забыл про свой пистолет, которым вооружил его Шахаев.

Якову показалось, что в него целятся. Он упал. О него споткнулся немец и со всего размаху ударился о каменную мостовую. Пистолет выстрелил и вылетел из его рук. Бабахнул второй выстрел, и, будто по команде, опять вспыхнула стрельба по всему селу.

Уваров вскочил на ноги и завернул в какие-то ворота. Заскочил в теплый, пахнувший навозом и парным молоком хлев. Из темноты на него смотрели большие фиолетовые и равнодушные глаза коровы. Она дышала шумно и прерывисто, обдавая Уварова теплой отрыжкой. Отды-

---

[1] Назад! (*нем.*).
[2] Вперед! (*нем.*).

шавшись, Яков выбежал из хлева. По двору, через открытую калитку, проскочил в сад и темным полем, спотыкаясь о кочки, побежал к лесу. Уже у самой опушки леса его настигла автоматная очередь немца, заметившего разведчика. Вгорячах Уваров пробежал еще метров пятьдесят вглубь леса и упал, проглоченный внезапно наступившей тишиной.

К нему подбежали товарищи, хотели его поднять. Яков еще был жив. Он попытался ухватиться за ствол дерева, прижаться горячей мокрой щекой к его шершавой холодной коре, но не смог. Тихо застонав, упал снова. Товарищи, поняв в чем дело, быстро раздели его. Гимнастерка Якова была в крови.

— Яша! Яша!.. Что ты, Яша?.. — Сенька тормошил бойца за размякшие вдруг плечи. Но Уваров был уже мертв. Шапка его валялась в стороне. На широком лбу в тусклом свете луны, просочившемся сквозь вершины деревьев, поблескивали капельки пота. Пуля попала ему в спину, прошла навылет через грудь.

Немцы не решились углубляться в лес. Они постреляли еще минут тридцать и угомонились.

Хоронили Якова той же ночью за лесом, в степи, далеко от села. Хоронили молча, без речей, без солдатских салютов. Только каждый становился на колени и надолго припадал к холодному лбу павшего товарища. Лицо его было сурово и спокойно. В сердце Акима вдруг родился знакомый, выплывший откуда-то издалека, из годов студенчества, звук скорбной, мужественной и торжественной песни:

В степи, под Херсоном,
Высокие травы.
В степи, под Херсоном,
Курган...

Аким встал на колени, наклонился еще раз к товарищу.

— Мы никогда не забудем тебя, Яша. Никогда!

10

День застал разведчиков в степи. Невесело было у них на душе. Задание они выполнили успешно, но какой ценой — среди них нет Уварова... Молчаливые и подавленные, укрылись под старым соломенным стогом,

спугнув стаю серых куропаток. Жалели Якова. Но на фронте мало места для грусти. Не до нее. А тут еще вспомнили, что сегодня — Первое мая. И унеслись мыслями к светлому, радостному...

— Закусить треба...— угрюмо предложил Пинчук.

Ванин развязал мешок, вынул оттуда небольшой ящичек, на крышке которого готическими буквами был написан адрес.

— Что это у тебя?— спросил Шахаев.

— Ночью... заскочил на минутку в хату, откуда немцы выскочили с перепугу...— начал объяснять Сенька.— Смотрю — посылка ихняя. Пасхальная, должно, запоздала...

— Да ты что, с ума сошел?..— перебил его возмущенный Шахаев.— Ну, брат, больше ты на задание не пойдешь!

— Я же вас всех хотел угостить,— оправдывался Сенька.— Особенно — Акима да Уварова...

Хозяйственный Пинчук поспешил вскрыть злополучную посылку. К его тихому торжеству, в ней оказалось несколько коробок с сардинами и бутылка с ромом.

— Чорт тебя понес! Всех бы мог пидвести пид монастырь! — лукавил Пинчук. Но в голосе Петра не чувствовалось возмущения, ибо Сенька задел самые живые струны его хозяйственной души. Хитрый Ванин понимал это и настойчиво твердил:

— Угостить хотелось. Для всех старался. У Пинчука вон запасы на исходе. Ведь правда, Петр?..

— То правда... Но поступил ты безрассудно...

Сенька что-то проворчал себе под нос и хотел было отшвырнуть ногой принесенный им ящик. Но Пинчук помешал ему это сделать.

— Ишь, выдумав що!

Переложив содержимое посылки в свой мешок, он неожиданно заявил:

— Добре, згодится.

— Ну, это уж хамство с твоей стороны,— не на шутку возмутился Семен. — Моими продуктами распоряжаться!..

— Вони вже не твои, а державни, колы на мий склад поступылы...

— Да перестаньте же!.. Собственно, что вы разболтались! Неужели не надоело! — прикрикнул на них Аким.

Осторожный Шахаев приказал Ванину взобраться на стог и наблюдать, что делается вокруг. Влез на стог и Аким. Разведчики слышали, как он сказал Сеньке:

— Вон там... видишь, домики над речкой?..

Сам он своими близорукими глазами этих домиков разглядеть не мог.

Ванин посмотрел вдаль, приложив ребро ладони ко лбу.

— Вижу,— наконец сообщил Сенька.— Деревня...

— Как она... целая? — нетерпеливо спросил Аким.

— Целая...

Беленькие домики убегали за гору, по обе стороны небольшой речушки, на берегах которой, как часовые, стояли высокие и строгие тополи. Лучи солнца падали на окна, и хаты, словно живые, сверкали глазами, как бы улыбаясь кому-то долгожданному, приближавшемуся к селу.

Усталый Пинчук решил немного отдохнуть. Вытянув затекшие ноги, он посмотрел в синее небо. Звон птичьего хора в поднебесье будил в памяти бывалого солдата далекие дни детства. Вот он вместе с отцом, вспахав делянку, варит пшенную кашу. Тихо потрескивают сухие коренья подсолнечника. Отец — он был глуховат — спрашивает Петра:

— Жаворонки поют?

— Поют,— отвечает Петр.

Старик долго щурит глаза, отыскивая в синем океане маленький серебристый поплавок — трепещущего жаворонка. И, найдя, радостно улыбается, разгоняя морщинки на худом загорелом лице. А Петр смотрит на эти морщинки и думает, что к весне их у отца всегда становится больше: прибавляются заботы — надо дотянуть большую семью до нового урожая, выпросить у Ивана Пивинка немного семенной пшеницы, сохранить корову, поддержать лошаденку...

Воспоминание Пинчука прервали с шумом спрыгнувшие со стога Аким и Сенька.

Отряхнувшись от соломы, они приблизились к Шахаеву, перематывавшему портянки. Аким нетерпеливо глядел на друга. Ванин подсел к сержанту.

— Ты что, Ванин? — Шахаев разогнулся, натягивая сапоги.

— Так, ничего...

— Врешь.

— Ну, предположим... А у вас, товарищ сержант, девушка любимая есть? — издалека начал Сенька.

— Ну, тоже предположим. А дальше что?

Ванин растерялся. Своим вопросом он хотел вызвать Шахаева на откровенность и потом уж объявить о просьбе Акима. Но теперь этот, так мудро задуманный план явно рушился. Было ясно, что Сенька не годился в дипломаты. Разговор сразу сложился иначе. Ванин стал поспешно придумывать новый вариант. И чтобы, очевидно, выиграть время, он на всякий случай сказал:

— Какой вы странный народ — казахи... Замкнутый, стеснительный.

— Скилкы разив тоби говорыты, Семен, що сержант наш зовсим не казах, а буряко-монголыць, — поправил его Пинчук.

— Буряко!..— передразнил Ванин.

Аким понял, что Сенька начал слишком издалека, и решил сам обратиться к Шахаеву.

— У меня к вам есть большая просьба, товарищ сержант...

— Без тебя обойдусь! — перебил его Семен.

Но Аким продолжал:

— В пяти километрах отсюда мое родное село...

— Сколько тебе нужно времени? — спросил Шахаев, не дослушав Акима.

Сенька был поражен столь неожиданным и быстрым решением сержанта. Ему и в голову не приходило, что Шахаев уже все знал.

— Так сколько же? — повторил он свой вопрос, глядя на длинную сутуловатую фигуру солдата, стоявшего перед ним.

— Сутки, не меньше,— сказал за Акима Сенька, стараясь хоть этим загладить свой прежний промах. Но Аким, сверкнув на него очками, проговорил слегка дрогнувшим голосом:

— Часа два...

— Даю тебе пять. Как стемнеет, отправляйся. Найдешь нас у деда Силантия. Кстати, узнаешь, есть ли там немцы.

В сумерки, наскоро распрощавшись с товарищами, Аким ушел. Семен долго прислушивался к потрескива-

нию прошлогодней стерни под ногами удалявшегося друга. Потом тихо проговорил:

— Ушел...

И полез в карман за кисетом.

Накрывшись пустым мешком, он курил, обжигая пальцы, курил жадно и долго, до тошноты, до звона в висках.

Сенька вдруг почувствовал на своем плече тяжелую теплую руку. Сбросил с головы мешок, посмотрел: Пинчук...

— Петр, как бы и с этим чего не вышло, а?..

— Аким осторожен, Семен. Вин вернется...

Сенька с благодарностью посмотрел на Пинчука.

Пинчук, Ванин и Аким уже давно воевали вместе.

Знойным летом 1942 года во время тяжелых боев в донских степях разведчикам лейтенанта Марченко, где служили Пинчук и Ванин, было приказано переплыть через Аксай и зацепиться за берег до прибытия основных сил дивизии. Плацдарм разведчики заняли. Но «основные силы», которых в дивизии оставалось не более двухсот активных штыков, так и не смогли переправиться. Немцы пристреляли каждый камень, каждый кустик и косили пулеметным огнем всякого, кто пытался появиться на берегу. Четыре дня отбивались разведчики. Из всего подразделения осталось только четверо — лейтенант Марченко, Пинчук, Вакуленко и Ванин. Кто-то из них робко предложил командиру:

— Может, ночью переплывем назад, товарищ лейтенант... Погибнем все — какой же прок...

Глаза лейтенанта метнули коричнево-зеленый блеск:

— Марченко еще ни перед кем не отступал!.. Запомни это! Еще раз услышу...

Горячая пыль висела в неподвижном воздухе. Повсюду валялись трупы немецких солдат. Разведчики только что отбили очередную атаку противника, схоронили еще одного своего товарища и, грязные, усталые и злые, сидели в исковерканном окопе, борясь с непреодолимым желанием бросить все и лечь спать. Но тут блуждавший по реке ленивым, злым взглядом Ванин вдруг взволнованно зашептал:

— Товарищ лейтенант!.. К нам кто-то едет с того берега. Вон там. Смотрите!

Все повернулись к реке, по которой плыла утлая лодчонка.

Ночь была лунная, и солдаты видели, как маленькая лодка ныряла в волнах. Семен вдруг подумал, что лодку может заметить и противник, и сердце его сжалось. Вскоре где-то прогремел орудийный выстрел, а затем по чьей-то неслышной команде ожил весь берег. Вода закипела от разрывов снарядов и мин, пузырилась от пуль, немцы стреляли так яростно, будто не один солдат, а целый полк переправлялся на этот берег.

Лодка достигла уже почти середины реки, когда рядом с ней разорвался снаряд. Ее перевернуло, швырнуло в сторону и понесло вниз по течению. Лица разведчиков потемнели.

— Единственная душа плыла к нам, да и та пошла ко дну,— мрачно заключил Ванин.

— Перестань ныть! — остановил его Марченко.

— А я и не ною, товарищ лейтенант. Сами ж видели...— возразил Сенька и медленно зашагал к своей ячейке.— Пойду. А то скоро опять полезут. Немцы ведь, как часы.

Немного спустя разведчики услышали бульканье воды у берега. Насторожились: «Может, немцы заходят вдоль берега в тыл?» С гранатами побежали к реке и в изумлении остановились. От реки, чуть передвигая длинные, тонкие ноги, шел высокий и худой красноармеец. В правой руке он держал телефонный аппарат, а за спиной нес катушку. Следом за бойцом тянулся черный мокрый шнур. Поняв, в чем дело, разведчики подхватили под руки связиста и повели к себе в окоп.

— Так это ты... на лодке?

Связист молча кивнул головой. С его русых волос и гимнастерки стекала вода. Он опустился на дно окопа, вынул из нагрудного кармана маленький футляр, надел очки. Семен с каким-то смешанным чувством восхищения и жалости глядел на худощавого солдата. Движимый этим душевным порывом, он вплотную придвинулся к связисту и, обхватив своими грубыми черными руками его тонкую шею, крепко прижал солдата к своей груди.

— Кто ты такой? Откуда, друг ты наш?.. Откуда ты?..— спросил Ванин.

— Ерофеенко Аким. Из роты связи.

— Из роты связи?

— Ну да.

— Как же! Слыхали! — уверенно соврал Семен, полагая, что так будет приятнее для связиста. — Ерофеенко, значит?.. Так, так... Как же ты, братец мой, всплыл, не утонул? Ведь больно уж ты того... неуклюжий... Как же это, а?..

— Жить хотелось, вот и не утонул,— равнодушным тоном ответил Аким, уже принимаясь за дело.

Не веря своим ушам, Семен переспросил:

— Жить? Так почему ж ты к тому берегу не плыл, а к нам, когда тебе назад было ближе?.. Жить?.. Тут ты с нами много не проживешь...

— Мне приказано на этот, а не на тот берег плыть,— все тем же безразличным тоном ответил связист. Он нажал на кнопку. Раздался тонкий комариный звук. Дунул в трубку:

— Алло! Алло! Это «магнит»? Говорит Ерофеенко...

В ухо телефониста ударил захлебывающийся крик, должно быть его дружка:

— Ерофеенко?! Аким! Жив!..

— Перестань кричать. Попроси «первого»!

Марченко быстро подошел к аппарату, поднял к уху телефонную трубку. Рука лейтенанта крепко вцепилась в заплечные ремни снаряжения. Лейтенант и его солдаты знали, что «первый» — это командир дивизии.

— Да... так точно, товарищ «первый»! Ничего... Спасибо... Есть!..

Марченко еще с минуту держал трубку у уха, а потом осторожно положил ее на аппарат.

— Завтра. Ночью...

Сенька, услышав эти слова командира, быстро понял их смысл и так прижал к себе Акима, что у того очки слетели с носа.

— Милый ты наш, родной... Чудом посланный! Да мы с тобой теперь не то, что до завтрашней ночи, а век на этой плешине можем продержаться!

Аким улыбался. Ему тоже хотелось сказать этому белобрысому пареньку что-нибудь хорошее, дружеское. Но подходящих слов не нашлось.

Очнулись немецкие пулеметы, разорвали с треском тишину.

— Всполошились, дьяволы!

— Жарковато вам тут было? — спросил Аким.

— И не спрашивай. Такое, брат, было, аж кишки к сердцу в дверь стучались,— за всех ответил Семен и развалился в окопе, сладко позевывая.

Пинчук ушел наблюдать.

Стрельба прекратилась, стало тихо. Только вода шумела в камышах.

«Жить хотелось?.. Ишь ты! Чудак...»

У Ванина не выходили из головы эти слова.

Вот и сейчас, когда Аким ушел в родное село, Сенька вспомнил о них.

— Так, говоришь, вернется, Петр, а?

— А як же. Обязательно вернется.

— А он... хороший, Аким... Может, мы зря его отпустили?

— Ничего не зря.

Солдаты замолчали. По степи с востока медленно кралась ночь. Шахаев обдумывал что-то. Потом позвал разведчиков и объявил:

— Сейчас отправимся. Надо проверить данные, полученные от партизан.

— А как же...

Сенька не договорил. Он хотел сказать: «А как же Аким?», но во-время сообразил, что об этом сейчас спрашивать не следует.

11

Старый Силантий все дни проводил в больших хлопотах. Ранним утром отправлялся в поле и возвращался домой только поздним вечером. Радостно взволнованный, садился за стол и, надев очки, записывал что-то на клочке бумаги. В такие минуты бабка боялась его тревожить: старик был крут. Присев рядышком и сложив на груди худенькие, с синими прожилками руки, тихая, она задумчиво глядела, как мохнатые брови Силантия сходились над переносицей, закрывая дужку очков, и ей до боли сердечной хотелось завести разговор о сыне, который с первых дней войны ушел добровольцем на фронт и теперь находится бог знает где. Но старуха боялась помешать мужу и, тяжело вздыхая, молчала.

— Шла бы спать, старая,— не отрываясь от бумаги, говорил Силантий.

И бабка покорно удалялась.

В день Первого мая дед никуда не пошел. До полудня сидел в хатенке. И все-таки не вытерпел, вышел во двор. Решил покопаться в палисаднике. Воткнул лопату в землю да так и оставил ее, бессильно опустив седую голову на черенок: «К чему копаю... для кого?» Старик тяжело, порывисто вздохнул и прислушался. С далекого шоссе до его слуха докатывался низкий, непрерывный гул чужих моторов.

— Все идут, идут, распроклятые!..— шептал он сухими губами.

Из палисадника ему хорошо была видна центральная часть деревни. Видел он и площадь, и здание сельского совета, над которым когда-то приветливо и привычно трепетал красный флаг. А сегодня ведь Первое мая... На площади, против сельсовета, еще с утра стояла бы маленькая красная трибунка, с которой произносились речи; мимо нее проходили бы колхозники и школьники... Флаги, флаги; счастливые глазенята ребятишек... внучат... внучек... Где все это?..

Старик печальным взглядом обвел заброшенное и помертвевшее здание, и невыразимой болью впилась тоска в его старое сердце. А от шоссе все катился и катился гул немецких моторов. Который день слышал Силантий этот противный шум...

— Что еще замышляет, мерзавец? Неужто опять в наступ пойдет? Мало ему, окаянному, в Сталинграде шею наломали!..— проговорил старик и горько задумался: «Неужели и этим летом не встречать своих освободителей?»

Дед поднял взгляд на тоскующего черногуза — подругу у аиста, наверное, пристрелили немецкие автоматчики; глупая, она летела к шоссе,— и вдруг увидел маленький квадратный листочек, застрявший в сухих ветках гнезда. «Листовка!» — обожгла сердце радостная догадка. Дед попробовал достать ее черенком лопаты, но не смог. Быстро принес со двора багор, которым в половодье вылавливал бревна из реки. Осторожно зацепив листок крючком, он потянул его к себе. Аист поднялся на свои тонкие длинные ноги, вытянул шею и недоверчиво покосил маленькую голову на Силантия.

«Приказ Верховного Главнокомандующего,— прочел дед.— Братья и сёстры, временно подпавшие под иго немецких угнетателей...» Руки Силантия ослабли, задро-

жали, буквы расплылись, и он уж ничего не мог прочесть дальше, все время и беззвучно твердя:

— Братья и сестры... братья и сестры...

Придя немного в себя, дед поспешил в хату.

— Мать... слышишь, мать! Сталин нас с праздником поздравляет!.. Погляди, погляди, что я принес!.. Ты только погляди!..

Он показал ей на листок, трепетавший в его жилистых руках.

Немного успокоившись, прочел:

— «Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры и политработники, партизаны и партизанки, рабочие и работницы, крестьяне и крестьянки, люди интеллигентного труда! Братья и сёстры, временно подпавшие под иго немецких угнетателей! От имени Советского правительства и нашей большевистской партии приветствую и поздравляю вас с днём 1 Мая!»

Старуха ахнула и радостно перекрестилась. Дед прочел еще:

— «Близится время, когда Красная Армия... сломает хребет фашистскому зверю.»

Тут он не выдержал и громко повторил:

— Слышишь, старая: «Сломаем хребет фашистскому зверю!»

Бабка испугалась и закрыла ему рот ладонью.

— Бог с тобой, услыхать могут...

До ночи Силантий обошел с листовкой всех знакомых в селе, пробрался даже в лес, к партизанам, а когда, страшно усталый и бесконечно счастливый, возвращался обратно, родная лачуга показалась ему и светлее и уютнее, и чувствовал он себя моложе лет на двадцать.

У калитки встретила старуха.

— Ребята вернулись!..— сияя добрыми глазами, сообщила она.

Обрадованный, дед заковылял в хату.

— А где ж те двое? — вдруг встревожился он, заметив отсутствие Уварова и Акима.

— Аким скоро будет...— ответил Шахаев.— А Уваров...— сержант замолчал.

Дед понял и опустил седую, тяжелую свою голову. Потом вынул найденную листовку, молча положил ее на стол. Тесня друг друга, разведчики читали сталинский первомайский приказ. Прочли несколько раз подряд,

а когда подняли головы, увидел старик на смуглой щеке сержанта стремительно сбегавшую прозрачную каплю.

— Ну что ж, мать. Корми ребят,— заспешил дед.

Старуха засуетилась. Она торопливо выходила из хаты, лазала то в погреб, то на чердак. Собрала еду.

— Ну, сынки, прошу. Чем богаты, тем и рады. Присаживайтесь,— дед указал на стол.

Солдаты уселись. Пинчук разлил в стаканы из заветной фляги прозрачную жидкость. Дед первый провозгласил:

— За них... За наших солдат, стало быть!..

В глубоком волнении чокнулись.

— Дай-то им бог здоровья! — старуха утирала углом платка покрасневшие глаза.

Распили и добытую Ваниным бутылку рома. Не забыли оставить Акиму. Пили с удовольствием и Сеньку больше не ругали.

После ужина дед надел очки и приказал старухе:

— Убери-ка со стола, мать, да принеси мне счеты.

Бабка унесла посуду, вытерла стол и достала из-за грубки старенькие самодельные счеты. Силантий тем временем извлек из кармана какие-то измусоленные бумажки.

— Садись, мать, будешь у меня за счетовода,— и дед разложил на столе свои бумажки.— Откладывай: сеялок Ростсельмаша у Яблонового оврага, под старой копной,— одна. Отложила — одна?

— Да никак не откладывается...

Шарики действительно не хотели двигаться по кривой проржавленной проволоке.

— Дай-ка я их поправлю... Ну вот, теперь дело пойдет. Считай, мать.

Дед называл места, где находилось припрятанное от фашистов колхозное добро. Говорил он нарочно громко, чтобы слышали все бойцы.

Самым любопытным, разумеется, был Пинчук, сразу почуявший родное для него дело.

— Так, значит, сеялок,— важно повторил старик,— у Яблонового оврага — одна. У Лисьих нор — еще три... Отложила? Ну, сколько получается? Четыре? Славно!.. Теперь — плуги. В Волчьем яру — сразу десять. Два тракторных и восемь конных... Отложила?.. Так, мать,

пойдем дальше. В Старых хуторах, в бурьяне,— пять. У графской усадьбы — два... Ну, кажись, больше нет... Борон положи, мать, сто. Тракторов...

Тут дед сделал многозначительную паузу и лукаво подмигнул солдатам:

— У нас, мол, и трактора найдутся! Только вы-то не плошайте!

— А казав, диду, що ничого не осталось, — проговорил Пинчук.

— Как тебе сказать, почти что ничего... Разве столько инвентаря и машин было в нашем колхозе? Ведь он у нас первым во всем районе славился! — с гордостью закончил старик. — Ну давай, мать, подсчитаем лобогрейки...

Силантий вновь называл балки, овраги, гумна и иные места, обязательно имевшие, как это водится в сельских местностях, свои названия, где хранился и уж не в таком малом количестве колхозный инвентарь. В душе старик надеялся, что уже этой весной село будет освобождено Красной Армией и его односельчане всем миром — колхозом выйдут на сев.

— А теперь, мать, подведем итоги...

Однако с итогами вышла неувязка: бабкиных познаний на это явно нехватало.

— Вон вам Пинчук поможет, он у нас по колхозной части, — предложил отдыхавший на лежанке Сенька.

Шахаев лежал на лавке. Пинчук помогал старикам подсчитывать колхозное добро. Еще долго над головой сержанта гудели их голоса. С помощью Пинчука итоги, наконец, были подведены.

— А не боишься ты, диду, нас ховать у своей хате? Побачэ нимец — и петля, — вдруг спросил Пинчук.

— Чего там! — Силантий недовольно нахмурился. — Испугался было первое-то время. А теперь прошло, потому как мы сильнее германца. Чего же нам его бояться? Пусть он боится... Вон и Митька мой где-то их сейчас бьет.

Дед умолк и задумчиво поглядел на свою старуху. Та сидела, положив маленькую голову на ладонь.

— А весна ноне добрая... Ох, и урожай бы выдался!..

— Багатый був бы урожай... — согласился Пинчук.

Уже близилось утро. А два простых колхозника, как два государственных мужа, все говорили и говорили...

Одинокий петух надрывался на все село. Он пел, не обращая внимания на то, что никто ему не отвечал. Пинчук прислушивался к этому пению и, словно из тумана, перед ним встало родное село с сизыми дымками над соломенными крышами, но не прежнее, а обновленное трудом вернувшихся с фронта земляков.

— Эх, ма!.. — протяжно, с шумом, вздохнул он и уставился в блестящую черноту маленького оконца.

12

У крайних домиков родного села Аким остановился, чтобы хоть сколько-нибудь заглушить волнение. Кровь стучала в висках: ведь он пробирался после долгой разлуки не просто в село, в котором родился, провел детство, учился, работал, где впервые полюбил, где похоронил мать и отца, — уже одно это заставит всколыхнуться любое человеческое сердце, — он, крадучись, шел в родное село, занятое врагом. Чем-то встретит оно его?..

Где-то, далеко за селом, к западу махнуло огненными крыльями несколько зарниц, а затем до Акима докатились глухие раскаты взрывов.

«Верно, партизаны. А может, и солдаты... — подумал Аким, вспомнив, что две недели тому назад один из их разведчиков провел через линию фронта группу подрывников. — Возможно, это их дело».

Прежде чем пойти дальше, Аким еще раз осмотрел родные места. Вот эта тропа... Сколько раз бегал он по ней мальчуганом!.. А вон там, за речкой, где сейчас чернели задумчивые тополи, был когда-то пионерский лагерь. Возле него, взявшись за руки, кружились ребята. Звенели их голоса. Звонче всех — голос Наташи. Тоненькая и белокурая, в светлом платьице, с кумачовым галстуком на смуглой шее, похожая на полевую ромашку, она бегала вокруг костра и лукаво посматривала огромными темносиними глазами на раскрасневшееся лицо Акима.

...По этой же тропе они ходили с Колькой Володиным в лес. По пути не могли удержаться от искушения: забирались в сад к дедушке Даниле. Набивали полные пазухи яблоками и грушами, потом щедро дарили их девчатам...

Хата Наташи стояла на другом конце села, там, где начинался пустырь. Минут через пять Аким был бы уже там, если бы он пошел вдоль реки, по дороге. В другой раз он так бы и поступил, но сейчас побоялся: в селе могли находиться немцы. Аким свернул влево, перелез через плетень и стал пробираться огородами. После дождя земля раскисла. Он с трудом вытаскивал сапоги из вязкой грязи. Они были ему велики, и старшина роты уже не раз предлагал сменить их. Но Аким отказывался. В иных случаях они были даже удобней: зимой, например, Аким навертывал на ноги вместо одной — две, а то и три портянки. Вообще Аким не любил тесной обуви и одежды. Поэтому он имел всегда такой смешной вид: короткая и широченная шинель была ему по колено и висела торбой, галифе — в гармошку, большая пилотка неудачным блином сидела на его голове. Сенька Ванин неоднократно пытался привести друга в «христианский» вид, но безуспешно.

— Ох, уж мне эта интеллигенция на фронте, — притворно сокрушался Семен. — Экипировка на ней, — как на корове седло. И зачем только вас, Аким, в солдаты берут? Сидели бы дома да занимались своей алгеброй. А мы как-нибудь и без вас управились бы.

— Без алгебры не управишься. Слышишь, как она бьет?! — отвечал Аким, прислушиваясь к орудийной и минометной канонаде.— На этой войне, дорогой мой Семен, надо думать, и думать хорошей головой, думать с алгеброй, арифметикой, физикой.

...Аким прошел половину пути и остановился. Больше всего он боялся сейчас собачьего лая. Он знал, что если не вытерпит хоть один пес, ему тотчас же ответят дружным лаем собаки во всех концах села, и тогда беды не миновать. Но село безмолвствовало, точно вымерло. Только сыч плакал на старой колокольне да в чьем-то хлеву жалобно блеяла коза.

Аким пошел дальше. Вот он уже перелез через знакомую изгородь, открыл калитку и, пройдя метров пять, оказался у крыльца белой хаты.

Осторожно постучал в дверь. Один раз, второй, третий. В коридоре послышались шаги. Ее шаги... Аким почувствовал это сразу, всем своим существом, каждой жилкой в теле... Шаги замерли, и потом раздался испу-

ганный голос, от которого у него помутнело в голове и захватило дыхание. Он молчал.

— Кто там? — еще тревожнее спросили за дверью. И только тогда он решился:

— Это я, Наташа, Аким...

Она коротко вскрикнула за дверью.

— Это я, Аким, — повторил он и не узнал своего голоса. Щелкнула задвижка, и дверь распахнулась, как крыло большой серой птицы. Аким не двигался. Наташа подлетела к нему и повисла на его худой шее. Так он и внес ее в комнату, легкую, невесомую. Его потрескавшиеся, жесткие губы касались ее волос. И так держал ее, пока мать Наташи, пораженная появлением Акима не меньше дочери, не зажгла лампы.

— Мама, мамочка!.. Это ж Аким!..

— Вижу, Наташенька, вижу!.. Боже ж ты мой, да чего ж я, старая, стою... Замерз, чай, родимый...

И старушка заметалась по комнате.

Теперь Аким хорошо видел лицо своей Наташи. Оно было все таким же. Пожалуй, только чуть побледнее, отчего синие глаза казались еще больше, глубже и темней. Наташа тоже глядела на Акима, на каждое пятнышко и на каждую новую морщинку на таком родном и близком лице. Он сидел перед ней худой и обросший густой колючей щетиной, забыв снять очки и свой драный малахай, из-под которого падали на потный высокий лоб длинные пряди русых волос. Как всегда бывает в таких случаях, они долго не находили, что сказать друг другу. Потом никак не могли заговорить о главном для обоих и спрашивали о всяких пустяках. Аким пристально следил за Наташей и видел, как все больше темнели ее глаза, а щеки наливались неровными пятнами румянца. Наташа, видимо, хотела о чем-то спросить, но не могла сразу решиться. Наконец румянец сошел с ее лица, она взглянула прямо Акиму в глаза своими большими темносиними глазами:

— Ты прости меня, но я... я хочу спросить тебя... Скажи, как ты сюда попал?

Аким понял ее и восхищенно, долго смотрел на девушку.

— Меня отпустили, Наташа... всего на пять часов. Один час я уже провел в городе. Осталось четыре. Там ждут меня товарищи...

Теперь она, счастливая, смотрела на него. Перед ней был Аким такой, каким она его всегда знала и любила,— прямой и честный.

— Глупая, злая... Как я могла так подумать о тебе! Разве мой Аким способен на такое!.. Ведь ты разведчик, правда?

Аким молча и медленно кивнул головой.

— Не спрашивай меня об этом, Наташа.

Она рассмеялась.

— Не бойся, родной. Наш отряд в ту ночь делал то же, что и вы.

— Откуда ты знаешь, что мы делали?

— Ну, ладно, не будем об этом...

— Скажи, Наташа, в селе есть немцы?

— Нет, сейчас нет. Они боятся в селах... Ну, я пойду, помогу маме...

Наташа оставила его и вместе с матерью начала хлопотать у печки. Потом не вытерпела и подбежала снова. Пыталась стянуть с него сапоги, но в этом не было никакой необходимости: сапоги сами слетели, едва Аким тряхнул ногами. Девушка захохотала:

— Где ты достал такие броненосцы, Аким?

— А что, разве плохие?

— Нет, ничего, я так... — она улыбалась, тащила его за руку к столу, вся пылая.

— Потише, Наташа, могут услышать,— предупредила мать, приподнимая кончик занавески и посматривая на улицу. Наташа как-то сразу погрустнела, словно беззаботная юность, вернувшаяся вместе с Акимом и во власть которой она попала на минуту, испугавшись, ушла от нее.

Через некоторое время Аким уже сидел за столом, уминая за обе щеки кашу.

Наташа, глядя на него, вновь оживилась:

— Аким, а помнишь нашу избачиху?

— Шуру-то? Ну, а как же!..

— Мы с ней вечно из-за книг ругались...

— Помню, конечно. А почему ты — об этом?..

— Не знаю... Вот пришел ты, и вспоминается все наше прошлое — светлое...

— А ты помнишь, Наташа, пионерский лагерь?

— Еще бы!.. Пионервожатой у нас ведь была Шура. Какая девушка! Сколько она рассказывала нам интересного, а сколько песен мы пропели с ней!.. Вот так и

стоят передо мной — Шура, пионерский галстук... И все такое — наше...

— А где теперь Шура? — спросил Аким.

Губы Наташи покривились, дрогнули.

— В Германию угнали, на каторгу.

Аким обнял девушку и крепко прижал к своей груди.

— Не надо, Наташа. Не плачь, родная. Вернется Шура. И будут опять книги, и все будет...

Утирая слезы и глядя ему в лицо, Наташа попросила:

— Ты прости меня. Уж очень все обидно, больно... Я сейчас... Ведь я только ночью прихожу к маме, да и то не всегда.

— Что так? — удивился Аким.

— Фашисты на девушек облавы устраивают. В Германию увозят. Ты слышал песню «Раскинулись рельсы далеко...»?

— Конечно, слышал. У нас красноармейцы ее поют.

Аким увидел, как губы девушки опять дрогнули, покривились. Должно быть, ей стоило больших усилий, чтобы сдерживать себя и не расплакаться.

— Так что же?.. Всех девушек и ребят они угоняют? — Аким озабоченно посмотрел на Наташу.

— Нет, не всех. Есть еще лазейка, в которую ускользают наши ребята и девушки. Женятся и выходят замуж. Таких фашисты пока не увозят. Горе одно. Пятнадцатилетние женятся...

Аким насторожился. Об этой «лазейке» он не раз слышал в освобожденных селах. Уж не хотела ли Наташа воспользоваться ею?

Но она отгадала его мысли:

— Ты, пожалуйста, не подумай, Аким, что я хочу заставить тебя остаться. Я ведь комсомолка, врагам не поддамся. Мне в лесу дела найдутся. Сейчас мы получили приказ побольше беспокоить фашистов... Ой, Аким, и не сдобровать же им на нашей земле!..

— Разумеется. А помнишь, Наташа, как директор школы нам говорил, когда мы еще были маленькие: «Завидую вам, ребята! Ведь вам придется жить при коммунизме!.. Какое великое счастье!..»

— Павел Федорович жив. Он партизанит.

— Увидишь — привет ему от меня самый большущий.

— Обязательно. А как он возил нас в Харьков на экскурсию!.. На Тракторный... Павел Федорович в белом

костюме — светлый такой!.. Шли по городу и все время пели!.. Ой, до чего ж было хорошо, Аким!..

— И опять будет так. Еще лучше будет, Наташа!.. Ох, чего только мы не понастроим!.. А как мы с Колькой Володиным мечтали...

— Не говори о нем, Аким, забудь его, — торопливо перебила Наташа. — Не стоит он того, чтоб о нем вспоминали...

— Почему? — удивился Аким. — Он ведь погиб на фронте.

— И вовсе не погиб. Он жив. Женился на Стешке Лунченко и теперь живет в ее доме...

Это не укладывалось в голове Акима. В сентябре 1942 года они вместе с Николаем ходили в разведку. Не вернулся тогда только один Николай, и все были убеждены, что он либо убит, либо тяжело ранен, лежит где-нибудь на сухой земле, задыхаясь в горькой полыни. В ту же ночь все отправились на поиски. Аким вместе с другими разведчиками исползал под огнем вражеских пулеметов всю нейтральную полосу. Володина так и не нашли. Тогда разведчики потеряли двух замечательных бойцов, наскочивших впотьмах на немецкие мины. А тот, которого они так разыскивали, оказывается, как заяц, бежал домой, к Стешке... Кто знает, может, погибшие из-за него разведчики жили бы и по сей день, истребляя фашистов...

— Так что же он делает в селе? Наверное, в полицейские пошел?

— Нет. Он не стал полицаем. Живет затворником. И непонятно, кого больше боится — своих или немцев.

Наташа смолкла. Молчал и Аким. Потом он поднялся и через силу улыбнулся.

— Ну, Наташа, мне пора... Вот и повидал тебя...

Она побледнела, темные глаза ее заблестели. Глотая слезы, она не отпускала его руку, прижимала ее к себе.

— Как же это?.. Так скоро... Ведь ты мне еще ничего не сказал о себе. Останься, Аким!.. Ну еще немного!..

Плечи девушки затряслись.

— Не надо, родная. Помнишь, мы обещали быть сильными. Ведь нам предстоит еще большая борьба...

Он смахнул с ее горячих щек слезы и крепко поцеловал в мокрые ресницы, в припухлые теплые губы. Гово-

рил уже ровно, спокойным голосом, хотя это ему стоило больших трудов:

— Школу сохранить надо, Наташа. Подбери смелых ребят... Пусть организуют охрану, когда фронт будет приближаться к селу. Как бы фашисты не взорвали в последний момент... А за меня не бойся. Меня пули за километр обходят...

— Я провожу тебя до леса, Аким.

— Не надо, Наташа. Мы будем скоро вместе и уж тогда никогда не расстанемся...

Они обнялись в последний раз.

Наташа слышала, как в коридоре прогрохотали его сапоги. Потушив лампу, она подбежала к окну. Но на улице было темно, и девушка ничего не видела. До нее доносились только сдержанные голоса — это Аким прощался с ее матерью, еще раньше вышедшей посторожить. Затем скрипнула калитка, и сразу все смолкло.

Стешкина хата стояла на отшибе, у самого берега реки, скрытая вишневыми деревьями. Ее не было видно со стороны. Но Аким нашел хату без особого труда.

Постучал. Новая дубовая дверь глухо и тревожно загудела. Странное дело, Аким сейчас не испытывал того страха, который пришлось ему испытать во дворе, перед крыльцом наташиной хаты. Сердце его как бы окаменело.

— Кто там? — послышалось за дверью.

— Полиция. Открывай!..

— У меня жена больна тифом...

— Открывай!..

Заскрипели крючки, звякнула щеколда. Тяжелая дверь медленно, со стоном, открылась. Перед Акимом стоял человек с длинной бородой, в белой исподней сорочке и подштанниках. От него веяло теплым запахом постели. Должно быть, ему очень не хотелось вылезать из-под одеяла.

— Веди в дом!

— Милости просим...

«Милости просим» — откуда у него это?» — Аким первый шагнул в темную комнату. За ним вошел Володин.

— Что вы хотели, пан полицай?..

Николай сказал это с жалкой дрожью в голосе.

— Зажги свет.

— Стеша, где у нас спички?.. Стеша!..

Из-за перегородки раздался сонный голос женщины:

— За образами, Коля, возле лампадки.

«За образами... Иконы, значит, выставил...» — подумал Аким.

Вспыхнула спичка и, помаргивая, поплыла за перегородку. Оттуда послышался испуганный шопот: «Кто это?.. Господи, спаси и помилуй!» Затем появился хозяин с лампой в руках. Он осторожно поставил ее на стол и лишь теперь решился посмотреть на вошедшего.

— Аким? — карие красивые глаза Николая удивленно поползли наверх. И вдруг безумная радость отразилась на его лице. Он ринулся навстречу Акиму: — Значит, и ты того... Вот и правильно! Пусть воюют те, кому жизнь не дорога!.. Как я рад... раздевайся... проходи сюда!.. Стеша, да это же Аким!.. Он тоже вернулся!.. Ну, проходи же, дружище!..

Аким не шевелился.

Володин посмотрел на его суровое лицо и опешил. Борода его затряслась. Глаза испуганно забегали.

Однако ему не хотелось выпускать из рук слабую надежду.

— Да проходи же, Аким!..

Аким молча подошел к столу, присел. Володин вертелся возле него. Он приблизился к другу, хотел помочь ему раздеться. Аким холодно отстранил его руки.

— Так ты, Аким, какими же судьбами?..

— Разные судьбы привели нас в родное село!

Голос Акима зазвенел. Сказав это, он пристально поглядел на Володина и увидел, как кривые линии ломали его тонкогубый рот.

Наступили долгие и тягостные минуты молчания.

Аким осмотрел комнату. На столе, в овальной рамке, стоял портрет Николая. Здоровое, улыбающееся лицо. Как не похож был на этот портрет стоящий перед Акимом бородатый человек в подштанниках, с издерганным, бледным, каким-то совершенно бесцветным лицом.

Взгляд Акима, холодный и тяжелый, — куда только делась постоянная кротость в его вечно спокойных голубых глазах, — переходил от одного предмета к другому. В хате было чисто и уютно. Но Акиму этот уют становился все более невыносимым. Там, за Донцом, тысячи бойцов, ровесников Володина, сидят сейчас в окопах,

живут в сырой земле, под постоянным обстрелом. Честные, крепкие. А этот оставил их, свил теплое гнездышко... Наплевать ему решительно на все.

Аким снова долго и пристально посмотрел в жалкое, болезненное лицо Володина.

— Почему ты... — голос разведчика был сейчас глухой. — Почему ты... сбежал?..

Володин вздрогнул, долго молчал, не смея поднять глаза на Акима. Потом он быстро, захлебываясь, трясясь всем телом, заговорил:

— Не мог я!.. Понимаешь, не мог!.. — он заметался по комнате. — Ты скажешь, трус!.. Да, трус, предатель... Все это так... Но я не мог больше ни одного дня, ни одного часа там быть... Эти стоны, кровь... Меня рвало от запаха человеческой крови!.. Помнишь, там, под Абганерово, когда бомбой разорвало на куски у нас в роте сразу пятерых. Я неделю не мог ничего взять в рот. Я ненавижу фронт... войну... людей, которые убивают друг друга... И я... бежал от войны...

— И вот она вновь пришла прямо к тебе в дом, — как-то удивительно спокойно возразил ему Аким

— Убивать друг друга... — продолжал Володин, но резкий окрик Акима остановил его.

— Замолчи ты... гадюка!.. Хватит!.. — в руках разведчика блеснула вороненая сталь пистолета.

Дикий, нечеловеческий крик раздался за перегородкой, и в комнату метнулась растрепанная Стешка.

Аким поднял пистолет перед мертвенно бледным, изуродованным страхом лицом Володина и вдруг, — Аким и сам не мог бы в ту минуту объяснить, отчего это произошло, — опустил оружие.

Спрятал пистолет в карман, повернулся и пошел к двери.

Не сказав больше ни слова, он вышел во двор. Володин, бессмысленно моргая глазами, тоже зашагал было к двери своими надломленными ногами, но Стешка повисла на нем:

— Не ходи... Коля, милый!.. Он убьет тебя!..

Аким миновал улицу и теми же огородами, по которым шел к Наташе, направился к лесу. Ему хотелось поскорее оказаться среди товарищей, развеять угнетенное состояние после этой встречи.

По улице, вдоль речки, промчались какие-то всадники. До Акима донеслось звонкое хлюпанье конских копыт. Вскоре послышались грубая ругань, вопль женщины. Где-то на окраине села громко и озабоченно затоковал пулемет. Темную крышу неба лизнула красным языком ракета, выхватив на миг несколько кирпичных труб, безмолвно и тупо смотревших вверх.

За спиной Аким услышал приближающиеся шаги. Со всего размаху упал в грязь, вынул из кармана пистолет. Уже поднял его, чтобы выстрелить в темный силуэт, если он будет приближаться. Но человек резко повернул вправо. Аким облегченно вздохнул и спрятал оружие.

Не знал он, что это возвращалась в лес его Наташа.

Через два часа он уже был в доме деда Силантия. Не отвечая на расспросы разведчиков, повалился на пол, в солому, и тут же заснул тяжелым сном. Однако его скоро разбудили.

Разведчики собирались в обратный путь.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

Лейтенант Марченко вышел из блиндажа майора Васильева. Он спешил в подразделение. Сегодня ночью с того берега должны были возвратиться разведчики. Захватив с собой нескольких солдат, Марченко отправился к Донцу встречать группу Шахаева.

По глубокой извилистой траншее лейтенант и сопровождавшие его солдаты вышли к реке, укрылись в мокром, полуобвалившемся окопе. Немцы по обыкновению, для острастки, постреливали и пускали в небо ракеты.

Около лодки, спрятанной в камышах, хлопотал низкорослый сапер. Наладил уключины, вставил весла и бесшумно оттолкнулся от берега. Вскоре лодка исчезла в темноте.

— Что же такого малосильного послали? — спросил один разведчик своего соседа.

— Выбрали было другого, посильнее, так вот этот парень чуть не расплакался. Пчелинцев это. Дружка своего, Уварова, хочет встретить.

— Может, их и в живых уже нет... — кинул в напряженную тишину боец-разведчик.

Марченко сердито посмотрел на болтуна. Боец замолчал. Разведчики ждали, всматриваясь в темноту.

Над самым Донцом, чуть ли не касаясь глади реки, с металлическим звоном пролетел железник.

— Тю ты... проклятый. Не боится...

— Закурить бы...

— Этого еще нехватало!..

И опять тишина. Натянутая, звонкая.

Когда перевалило за полночь, на той стороне легонько всплеснула вода — так плещется на зорьке сазан. И сразу все поняли: «Едут!» Сначала на воде показалось темное пятно. Оно медленно приближалось. Потом вырисовалась форма лодки, бугрились над ней фигуры разведчиков.

— Едут, они!..

— Тише ты!..

Лодка, прошуршав в камышах, мягко ткнулась в песчаный берег. Солдаты вбежали в воду, подхватили разведчиков под руки, утащили в окоп. Только о сапере забыли. А Пчелинцев не спеша укрыл лодку, забросал ее срезанным камышом, постоял в глубокой задумчивости и медленно пошел от реки. Вскоре его маленькая фигура растаяла в темноте.

Разведчики гуськом шли по окопам. Где-то, казалось совсем рядом, раздались пушечные выстрелы, и несколько снарядов, мигом перемахнув Донец, один за другим упали неподалеку.

Наконец добрались до блиндажа командира стрелковой роты. Вход в этот блиндаж был закрыт трофейной плащ-палаткой, сквозь которую чуть-чуть пробивался свет. Кто-то, должно быть сам ротный, разговаривал по телефону. Доносился хриплый, простуженный голос:

— Сорок активных... Что?.. Уже проверил... Да, да, пришлите побыстрей... Говорю, что еще днем все проверил!.. Хорошо...

— Здесь можете передохнуть, — сказал разведчикам Марченко. — А вы, товарищ Шахаев, пойдете со мной. Доложите о выполнении задания. — И, не заходя в блиндаж, лейтенант в сопровождении Шахаева пошел дальше.

Боец-проводник просунул голову под плащ-палатку.

— Товарищ старший лейтенант! Разведчики с того берега тут.

— Хорошо! Пусть заходят, майор Васильев уже звонил, спрашивал о них,— раздался в ответ хриплый голос.

Отогнув плащ-палатку, разведчики один за другим пролезали сквозь светящуюся щель. Кряхтел Пинчук, в три погибели изогнулся Аким, и только Сенька проскочил в эту дверь без всяких затруднений.

Маленький, наскоро сооруженный и так же скоро обжитый блиндаж походил на коробку с сардинами — так много было в нем людей. Добрая половина бойцов уже спала. Возле лампы, сделанной из снарядной гильзы, сидели друг против друга двое, сложив калачиком ноги, так как вытянуть их было некуда.

— Ну вот, товарищ Финогенов, поздравляю вас с получением комсомольского билета. Надеюсь, оправдаете высокое доверие...

Сказавший это приветливо смотрел на бойца; солдат держал в руке новую серую книжечку и как-то робко улыбался.

В говорившем Сенька узнал капитана Крупицына — комсомольского работника. Это он, когда были тяжело ранены командир батальона и его заместитель, взял командование на себя и овладел высотой. Ванин познакомился с ним еще под Сталинградом, когда Саша Крупицын вот так же, в крохотном блиндаже, вручал и ему комсомольский билет, а потом вместе с разведчиками ходил за «языком».

Крупицын считался самым оперативным работником политотдела. Его редко видели в штабе дивизии. Целыми сутками пропадал он в окопах, среди солдат, без которых, казалось, он не мог прожить и одного дня. Захватив с собой полевую сумку, туго набитую членскими билетами, он отправлялся в полки, пробирался прямо на передовую, в роты, и тут же, где-нибудь в траншее или окопе, помогал комсоргам организовывать прием молодых бойцов в комсомол. Нередко он помогал писать заявления, находил рекомендующих, а иногда и сам рекомендовал. Заполняя членские билеты, Крупицын ставил свою заковыристую подпись и тут же их вручал. Иногда это происходило перед самым боем, и часть выданных им книжек на другой же день возвращалась обратно. Эти билеты были новенькие, бережно обернутые в пергаментную бумагу, с короткой пометкой: «Убит».

Здороваясь с Крупицыным, Сенька неожиданно сообщил:

— А у нас погиб один... Уваров — его фамилия.

— Я знаю, слыхал уже, — сказал капитан.

— От кого это? — удивился Ванин.

— Сапер один сейчас сюда забегал. От него и узнал.

— А-а, Пчелинцев... Мы ему еще на том берегу об этом сказали. Встречал он нас. Дружил с Уваровым... — голос Ванина оборвался.

Как ни тесно было в блиндаже, нашлось место и для разведчиков. Стиснутые со всех сторон бойцами-пехотинцами, разведчики, несмотря на усталость, перебивая друг друга, рассказывали о своем походе в тыл врага. В эту ночь долго коптил фитиль, всунутый в стреляную гильзу, и мало кто спал в блиндаже.

На рассвете, простившись с командиром роты и с Крупицыным, разведчики покинули блиндаж. За изгибом траншеи вдруг встретили того самого бойца, который рассказывал им про старшину роты, когда группа Шахаева уходила на задание.

Боец тоже узнал разведчиков и весело улыбнулся.

— А где ж ваш скандальный старшина? — спросил его Сенька.

— У себя, должно быть.

— Он на Акима нашего не набросится, случаем, как тогда?

— Что вы!.. Да и не до этого ему сейчас. Раненный он немного, наш старшина Фетисов.

— Это как же? Блиндаж, что ли, накрыло?..

— В атаку нас повел, когда ротного не стало...

— Так...

Сеньке почему-то стало неловко, и он опустил голову.

Недалеко от сосновой рощи, к которой подошли разведчики, в неглубокой балке, изрытой блиндажами и щелями, укрывались «катюши». Вокруг тупорылых грузовиков, в предрассветной мути, суетились бойцы в чистеньких ватных куртках и новых пилотках.

— «Катюши»! — с восхищением закричал Ванин, видя, как бойцы стягивали с аппаратов покрывала.

«Катюша» была сенькиной слабостью. Чего бы ни отдал он, чтобы только попасть хотя бы самым что ни на есть последним номером в батарею «эрэсовцев», как гордо называли себя гвардейские минометчики. Профес-

сию «эрэсовцев» Сенька считал даже более ценной, чем профессию разведчиков.

— Глянь, глянь, ребята!.. Расчет убегает... Сейчас заиграет!..

Страшный скрежет заглушил последние слова Ванина. Огненные смерчи сорвались с дырявых металлических рельсов и полетели куда-то за Донец, оставляя за собой красные следы. Минуту спустя послышались разрывы. Семен посмотрел на то место, где только что стояли «катюши», и ничего не увидел: гвардейские минометчики исчезли. Только белый дым клубился, колеблемый теплым весенним ветром. Внезапное появление в самых неожиданных местах и столь же быстрое исчезновение «эрэсовцев» делали их службу еще более заманчивой для Сеньки — этого неутомимого любителя приключений.

— Уже пропали! — с восторгом крикнул он, прислушиваясь к далекому ворчанию моторов.

— Хлопци, а ну давай тикать звидциля! Бо нимец минамы пулять будэ! — предупредил Пинчук. — Вин всегда по «катюшыному» месту бье...

Едва разведчики отбежали метров на полтораста, как в балке, там, где стояли «катюши», запрыгали огненные фонтаны разрывов.

— Давай, давай! Лупи по пустому-то месту! — торжествовал Сенька.

— Ишь, потревожили, — залезая в подвернувшуюся щель, заметил Пинчук.

— «Катюши» пристрелку производили, — рассудил Аким, — обратите внимание, машины новенькие, только с завода. Новая часть, наверно, прибыла к нам... Да и в окопах что-то солдат густовато стало...

Обычно большие события на фронте назревают постепенно. Солдаты догадываются о них по множеству самых различных признаков. Пехотинцы, проводившие дни и ночи в своих замляных норах, вдруг приметят, что их становится больше: в окопы чаще заглядывают представители других родов оружия; над позициями противника, не переставая, кружатся самолеты-разведчики; пулеметчики получают новенькие «станкачи»; в нишах неожиданно увеличивается запас патронов, а командира роты чуть ли не каждый день вызывают на какие-то совещания, — приметят все это бойцы-пехотинцы и насторожатся: быть большим боям! Артиллеристам подвезут не-

сколько боевых комплектов, или «быков», как они их называют на своем фронтовом языке, и этого, конечно, достаточно, чтобы догадаться о приближении больших дел. А разведчикам и того легче понять, что назревает буря: их чаще обычного посылают за «языком».

«Значит, там, — решат про себя бойцы, — в далекой Москве, в недремлющей, мудрой Ставке что-то знают о замыслах врага, что-то планируют, готовятся к чему-то...»

Появление «катюши» на участке фронта в спокойное время также было вернейшим признаком надвигающихся событий. Вот почему разведчики встретили гвардейских минометчиков с таким восторгом.

— И правда новенькие! — вспомнил Сенька. — И «юбки» у «катюш» с иголочки. И когда только успевают в нашем тылу все это делать? — удивлялся он. — Вся Украина, Белоруссия, Прибалтика в руках врага, и все-таки...

Теперь разведчики двигались быстрее. Обветренные, заскорузлые лица освежал предутренний влажный воздух.

— Чудак ты, Семен, що ж тут дывного? Хиба ты не бачыш? От малого до великого, все роблят на нас, червоноармийцев. — У всих одна батькившына — Радянський Союз, у всих одна беда — хвашисты... Вот люди и стали робыть кажный за десятерых...

Пинчук умолк, вытирая шапкой вспотевший лоб.

До деревни Безлюдовки, что жалась к Шебекинскому лесу, дошли, когда стало уже совсем светло. Возле штабных блиндажей никого еще не было. Только у одной землянки сидел на корточках солдат без погон и старательно мыл котелки. Его лохматая рыжая голова золотилась.

— Так это ж Бокулей! — узнал Семен и прибавил ходу. Ему хотелось скорее поговорить с румыном, который вот уже второй год исправно служил переводчиком у работника политотдела капитана Гурова — плотного и лысого человека, с черными подвижными и умными глазами.

Бокулей был мобилизован в румынскую армию на четвертый день войны с русскими. В день мобилизации, когда еще не успели на него надеть военную форму, он сбежал, скрывался сначала в лесах, недалеко от своего родного села Гарманешти, Ботошанского уезда, а затем, опасаясь преследований, в одну июньскую темную ночь переплыл Прут и ступил на советскую землю. С той поры

он добровольно вместе с советскими войсками совершил путь от Прута до Сталинграда и теперь шагал обратно. К нему уже давно все привыкли, считали надежным парнем. Бокулей ходил в красноармейской шинели, наверняка нацепил бы на себя и погоны, но этого ему пока не разрешали. Зато на пилотке румына красовалась маленькая красноармейская звездочка — предмет его большой гордости. За эти годы Бокулей научился сносно говорить по-русски.

Сенька подружился с Бокулеем уже давно. Еще под Сталинградом разведчику приходилось выходить вместе с Бокулеем на передовую и через ОЗУ[1] делать для румынских солдат передачи.

Сейчас, подойдя к румыну, Ванин спросил:

— Пленные были, Георгий?

— Не-е-т, — коротко, не удивляясь появлению разведчиков, ответил румын.

Он положил вымытые котелки в сторону и радушно посмотрел на Сеньку, оттопырив большую нижнюю губу.

— Разведчики два раза ходили, а пленных нет.

Сенька выругался и смачно сквозь зубы сплюнул.

— Як Забарова поранило — нема «языкив», — заметил Петр.

Семен помрачнел. Настроение его быстро испортилось. Почему-то вспомнился маленький сапер Вася Пчелинцев, так тяжело переживавший гибель друга. Злой и колючий, Сенька шагал к своему блиндажу, к которому уже подходил Аким.

В довершение всего Сенька попал в старую воронку от снаряда, до краев наполненную водой.

— Чортовы души! Лень закопать! — ругался он, имея в виду ординарцев: к ним он давно относился с открытой неприязнью.

Пинчук догадывался, что причиной сенькиной ворчливости была гибель Уварова: как ни странно, Ванин тяжелее всех переносил потерю товарища.

Не знали разведчики, что на это у Сеньки была особая причина...

В блиндаже — он долго пустовал — пахло грибами и мышиным пометом. От мокрой соломы несло гнилью.

---

[1] Окопно-звуковая установка.

Из-под сырых темных бревен наката тянулись бледные хрупкие ростки каких-то растений. Аким сбивал их головой, отыскивал местечко посуше, чтобы прилечь отдохнуть. Пинчук развязал мешок, извлекая из него остатки продуктов. Сенька завалился на нары и ленивым взглядом следил за ним. Он лежал как раз в том месте, куда изредка падали с потолка холодные красноватые капли. Одна такая капля, будто прицелившись, попала прямо в правый глаз Ванину. Сенька шарахнулся в сторону.

— Аким, что ты развалился? Подвинуться не можешь! — закричал он на засыпающего товарища.

— Тебя що, мабуть, бисы мучають? — вступился за Акима Пинчук.

Аким недовольно пробормотал что-то себе под нос, прикрывая рукой очки и нехотя уступая место Сеньке.

Вскоре все трое спали уже крепким сном. Разбудил их Шахаев, вернувшийся от лейтенанта. По его взволнованному голосу разведчики догадывались, что предстояло что-то необычайное и обязательно торжественное.

— Подшить подворотнички, почистить обувь!— громко и торопливо скомандовал он. — К генералу пойдем!..

Пинчук крякнул от удивления.

— Сам комдив вызывае?

— Сам.

— Оце дило!

— А ты думал как? — ответил Семен. После крепкого сна и от такой приятной новости он уже успел прийти в обычное свое веселое расположение духа. Ванин сделал вид, что его нисколько не удивило сообщение Шахаева. — Таких героев, как ты, Петр Тарасович, не то, что генерал, сам Калинин скоро в Москву позовет.

Пинчук хитро ухмыльнулся и, чтобы подзадорить Семена, спросил с сомнением:

— Так уж и позовет?

— Позовет, позовет, я-то уж это наверняка знаю. У меня родственник один в секретарях у Калинина служит. Так что ты это учти...

— Придется вчесть... Тильки ты не очень брешы.

— В жизни не врал!.. Ежели насчет табачку и всего прочего не поскупишься, то Семен Прокофьевич, то есть я, — уж так и быть — устроит тебе свидание с Калининым!..

— Ладно, Семен. Я вже був у Михайла Івановича,— серьезно сказал Пинчук.

Он вспомнил, как еще до войны Михаил Иванович пригласил к себе лучших председателей колхозов Украины и вел с ними задушевную беседу. В числе этих председателей был и Пинчук. Встреча со всесоюзным старостой навсегда осталась в памяти образцового «головы колгоспа». О ней-то и рассказал сейчас Пинчук своим друзьям.

— А награды какие-нибудь выдавал вам Михаил Иванович?

— Цього не було.

— Ну вот! — словно обрадовавшись, заговорил Ванин. — А теперь — по моей протекции, конечно, — Калинин вызовет тебя для вручения боевых наград. Понял?..

Пинчук добродушно смеялся. Он уже давно обнаружил, отчего это заговорил с ним так саратовец. На гимнастерке Ванина нехватало одной пуговицы. Пойти к генералу в таком виде он, конечно, не мог. Раздобыть же пуговку можно было, разумеется, только у запасливого Пинчука, к которому Сенька и не замедлил обратиться:

— Одолжи, Петро Тарасович, одну пуговку. В Москву-то ведь вместе поедем. Одолжи!

Пинчук достал пуговицу. Однако Ванину пришлось при этом выслушать длиннейшее наставление о бережливости и аккуратности. А пуговку он так и не пришил — поленился. Нашел другой выход, использовав старый и давно испытанный солдатский прием: закрепил ушко пуговицы спичкой.

Осмотрев каждого и не обнаружив сенькиной уловки, Шахаев собрался было вести разведчиков к генералу. Но не успели они еще выйти из землянки, как в ней появились командир дивизии и начальник политотдела.

— Здравствуйте, товарищи! — приветствовал их генерал.

Солдаты подтянулись и нестройно ответили:

— Здравия желаем, товарищ генерал!..

Неожиданное появление комдива в землянке смутило разведчиков. Но это смущение длилось недолго. Уже через минуту они бойко отвечали на все вопросы Сизова и Демина и оживленно рассказывали о своих похождениях в тылу врага.

Генерал любил беседовать с солдатами, он ведь и сам когда-то был рядовым...

Летом 1917 года 1-й полк Отдельной Балтийско-морской дивизии, совершив почти стокилометровый переход за одни сутки, ночью подошел к старинной крепости Измаил. Весь марш прошел под проливным дождем. Утром командир полка — высокий стройный полковник — осматривал позиции. Проезжая через овраг, по которому неслись потоки желтой холодной воды, он заметил солдата. Тот стоял посреди оврага, по грудь в воде, и что-то искал, шаря под водой руками.

— Кто таков? — обратился к нему полковник.

— Рядовой Сизов, телефонист восьмой роты. Ищу повреждение провода, вашевысокородие!

Полковник внимательно посмотрел на худощавого высокого солдата, промокшего до нитки, и воскликнул:

— Каков молодец! Награду получишь. Георгия!

— Рад стараться!

Но не довелось Сизову получить награду. На другой день после встречи с командиром полка заметался он в горячке тифа. Его положили в теплушку, заполненную ранеными солдатами, и поезд медленно пополз на родину. Так бы, наверное, и умер рядовой Сизов в грязном вагоне, не наткнись на него земляк, по доброй воле оставивший фронт. Он-то и привез полуживого Сизова домой, в далекую самарскую деревеньку. Долго промаялась с ним мать, пока не поставила его на ноги. И снова собрался Иван на фронт.

— Неужто опять? — всплеснула старая руками.

— Солдат я, — коротко ответил он. И старуха его поняла.

— Уходишь, родимый?

— Да, мать.

Но теперь он пошел защищать свою, советскую власть. Много лет подряд не расставался Сизов с оружием. Побывал почти на всех фронтах. Служил в первых полках только что рожденной Красной Армии, что нанесли сокрушительный удар немцам под Нарвой. Громил Юденича, самарскую учредиловку. Гражданскую войну закончил на Туркестанском фронте. На всю жизнь врезался в память день, когда с ним разговаривал Фрунзе. Плот-

ный, подтянутый, с бобриком седеющих волос на большой круглой голове, с подстриженными густыми усами, он ходил перед строем бойцов, посматривая на них внимательными голубыми глазами. Потом сказал:

— Желающих остаться в кадрах Красной Армии прошу выйти!

Первым шагнул из строя правофланговый, высокий сухощавый красноармеец. И когда к нему подошел Фрунзе, попросил, прямо глядя на Михаила Васильевича:

— Товарищ Фрунзе! Пошлите на учебу. Хочу стать красным командиром.

— Образование? — спросил Михаил Васильевич.

— Два класса приходской.

— Маловато. Коммунист?

— Коммунист.

Это был красноармеец Сизов.

Кончилась гражданская война, но напрасно мать ждала сына. Заглянул он к ней на недельку проездом только в двадцать втором году. Уже ротным командиром уезжал Сизов на Дальний Восток. Потом, несколько лет спустя, возвращаясь в Москву, снова навестил ее. Мать спросила охая:

— Докель же все будешь маяться по свету-то, сынок? Разве ж так можно? Жениться бы тебе пора. Заждалась Полюшка, извелась бедная.

«Жениться? — задумался Сизов. — А ведь, пожалуй, мать права. Пора, конечно!»

— Так, значит, она ждет, мама, а?..

— Все глаза проглядела. Каждый день все спрашивает о тебе.

— Знаешь что, мать, посылай-ка, старая, сватов к Полюшке!

— Какие нынче сваты! Поди к ней, забирай к себе домой. И все тут, живите с богом!..

Так и поступил.

Женившись, Сизов, однако, не ушел из армии. Он работал и учился, учил и других, всю неистраченную любовь своего большого сурового сердца отдавая советской Родине, службе, солдатам. Второй семьей для него была часть, в которой служил. Детьми — красноармейцы, — он воспитывал их столь же заботливо, как и своих собственных ребятишек.

К началу Великой Отечественной войны он уже окончил общевойсковую академию имени Фрунзе и был в звании полковника. Война сделала его генералом. Но, став командиром дивизии, Сизов не прекращал учебы и на фронте. Ночью, возвратившись в свой блиндаж с наблюдательного пункта или из полков, он зажигал лампу, и до самого утра можно было видеть седую его голову, склоненную над книгой; иногда он подолгу что-то вписывал в общую тетрадь, которая всегда лежала рядом со стопкой книг и журналов. Более же всего, казалось, любил генерал солдат, и сам с гордостью называл себя солдатом, вкладывал в это слово большой смысл. И генерал сурово наказывал своих подчиненных за невнимание к бойцу. Командиры это хорошо знали и, придя к генералу на доклад, не забывали сообщать о солдатах — об их обеспечении, настроении, выучке. Сизов любил встречаться с красноармейцами. Он говорил:

— У солдат нам, начальникам, есть чему учиться.

И он учился у них, подолгу беседуя с бойцами.

Вот и сейчас генерал неторопливо расспрашивал Шахаева о том, что увидели разведчики в тылу у немцев и как они уничтожили мост.

Рассказывая обо всем этом генералу, Шахаев не забыл сообщить и о замеченной большой колонне немецких механизированных войск и о необыкновенной ширине гусениц немецкого танка, следы которого разведчики увидели в лесу.

— Не забудьте написать об этом донесение в штаб армии, — напомнил Сизов майору Васильеву, вызванному в солдатскую землянку вместе с лейтенантом Марченко.— А на разведчиков дайте представление к награде. Уварова, посмертно,— к ордену Ленина. А сейчас, товарищ Марченко,— приказал он лейтенанту,— пусть разведчики пройдут в мой блиндаж. Там им приготовлен обед.

Распрощавшись с солдатами, генерал вышел.

Разведчики поспешили к генеральскому блиндажу. Еще издали острый нюх Ванина уловил соблазнительный запах жирных щей и котлет, доносившийся от генеральской кухни. Он потянул воздух носом и, довольный, проговорил:

— Мишка Лачуга для нас старается. Повар генеральский.

Подойдя поближе, Семен увидел возле кухни, установленной в кузове машины, хлопотавшую румянощекую девушку. Ее круглые руки с засученными выше локтей рукавами проворно орудовали вилкой и кухонным ножом. Голенища брезентовых сапожек плотно обтягивали икры ее полных и упругих ног.

Заметив разведчиков, девушка откинула назад с полного раскрасневшегося лица густые мягкие локоны и приветливо улыбнулась.

— Проходите, товарищи, мы вас ждем, — сказала она, нимало не смущаясь от нахально устремленных на нее светлозеленых сенькиных глаз.

«Везет же этому Лачуге», — подумал про повара Семен. Он не отрывал от девушки тоскующего взгляда. Ему нестерпимо хотелось поговорить с ней, и он вскочил бы в кузов, но в это время из блиндажа вышел адъютант и позвал разведчиков к столу.

Сенька сокрушенно вздохнул и пошел в блиндаж. Во время обеда он неотрывно смотрел на девушку, как только она появлялась у стола, и ему даже показалось, что однажды она задержала на нем свой взгляд.

После сытного обеда разведчики возвратились в свою землянку. Семен чувствовал себя самым счастливым человеком: от ожидания высокой награды, обещанной генералом, и от ласкового взгляда девушки.

— Знаете, хлопцы, что теперь будет? — начал он. — Как узнают, писем мне пришлют уйму!.. Точно депутату Верховного Совета! Вот увидите. У меня родни — вся Саратовская область. А наградами, как известно, я ее не очень-то баловал... Так что придется тебе, Аким, за секретаря моего побыть, прочитывать все письма да ответы давать, как полагается: «Так, мол, и так, Матрена Ивановна, гордимся вашим сыном или там племянником, поздравляем, мол, вас с таким геройским орлом», ну, и так далее, все, как нужно... Узнают все о награде, и тогда...

Семен задумался: он не знал, что будет тогда.

Стояла тихая ночь. Сквозь маленькое оконце блиндажа луна просунула свое вздрагивающее бледное лицо и бесцеремонно уставилась на бойцов.

— Давайте, ребята, споем. Нашу любимую! — предложил Ванин и, не дожидаясь ответа, — был он хороший запевала, — затянул звонким, высоким голосом:

Бьется в тесной печурке огонь...

Остальные дружно подхватили:

На поленьях смола, как слеза.
И поет мне в землянке гармонь
Про улыбку твою и глаза.

Не пел только Шахаев. Задумчивый и тихий, он сидел у окна, и лунный свет играл на его посеребренных сединой волосах. Он прислушивался к рокочущему басу Пинчука, немного трескучему, но в общем приятному голосу Акима и, как всегда, застенчиво улыбался. В другое время и в другом месте пел и Шахаев. Чаще — свою, бурятскую песенку. Черные продолговатые глаза его при этом останавливались на каком-нибудь предмете. Голос сержанта звучал то плавно, то делал крутые изгибы, то вдруг обрывался, а потом, после минутной паузы, снова звучал, но еще сильнее. Шахаев никогда не пел вместе со всеми в хоре, то ли оттого, что стеснялся, боясь испортить песню, которую так хорошо пели его товарищи, то ли потому, что любил петь один. Песни Шахаева, понятные только ему одному, воскрешали в его памяти родных людей и родные места. То он видел самого себя купающимся в стремительных и холодных волнах зажатой меж скал Селенги. Река сердито ворчала, раскачивала смуглое ныряющее тело. То слышал он голос старой матери; тихо и ласково она говорила отцу: «Сахай, погляди, какой у нас большой, крепкий сын. Он будет сильным и смелым охотником!» — «Да, он будет сильным и смелым!..» — так же тихо отвечал ей старый Сахай. То вставала картина трагической гибели отца и матери — их убили кулаки, когда пятнадцатилетний Шахаев учился в Улан-Удэ, при паровозостроительном заводе. Отец был председателем исполнительного комитета аймака, и его убили за то, что он помешал кулакам угнать через границу гурты овец и лошадей...

Про тебя мне шептали кусты
В белоснежных полях под Москвой.
Я хочу, чтоб услышала ты,
Как тоскует мой голос живой,—

пели разведчики.

В словах песни звучали и грусть, и гнев, и любовь, и великая гордость.

Песня растревожила солдат.

Спать никто не хотел. Пинчук первым вышел из блиндажа, сказав, что идет к Борису Гуревичу. Вслед за ним вышли и Аким с Сенькой.

— Посидим малость. Все равно теперь Пинчук раньше утра не вернется, — добродушно проговорил Ванин, обращаясь к Акиму.

Они вышли за село, присели под дубом и долго молча прислушивались к перешептыванию листьев, к заботливому щелканью какой-то пичуги, скрывавшейся в ветвях. С переднего края доносились редкие ружейные хлопки.

— Расскажи, Аким, как встретили тебя в родном селе? — попросил Семен.

Аким ссутулился, будто ожидая удара. Он знал, что его спросят об этом.

— Встретили, как всех встречают, — уклончиво ответил он и опять задумался. Сеньке это не понравилось.

— Ну, и тихоня же ты, Аким,— откровенно и серьезно заметил он. — Тебя в детстве, наверное, и друзья-то били, как сидорову козу.

— В детстве нет, не били... А вот сейчас побил один друг и побил очень больно...

— Ты это о ком, Аким? — насторожился Сенька.

Аким ответил не сразу. Он зачем-то надел очки, которые сейчас ему были не нужны, потом снял их, спрятал в карман.

Мимо разведчиков проскрежетал гусеницами невидимый в темноте танк, очевидно, направлявшийся поближе к передовой. Сенька, по профессиональной привычке опытного разведчика, отметил для себя, что это уже пятый танк проходит мимо них за каких-нибудь полчаса.

Дождавшись, когда скрежет удалился, Семен переспросил:

— Так о ком же ты, Аким?

Аким еще немного помолчал и вдруг начал торопливо рассказывать, словно боясь, что ему помешают:

— Был у меня, Семен, друг... Я считал его хорошим человеком. Володин. Вместе учились, росли, пионерские галстуки носили...

— Володин? Что-то знакомая фамилия... Да это не тот ли, что под Сталинградом у нас пропал?

— Тот... Вместе кончили десятилетку, друг без друга никуда не ходили. И так до самой войны...
— Он ведь погиб.
— Нет, Семен. Это мы думали, что погиб...
— Так где же он?
— Дезертировал с фронта...
— Ну? И где же он теперь?
— Живет дома... в тылу у немцев... с молодой женой.
— А ты его видел сам?
— Видел.
— И что же?
— Ничего. Живет...
— Нет, ты-то чего же... ему?..
— Я? Ничего.
— И не убил гада такого?
— Нет, не убил, не мог я, понимаешь?
Ванин с презрением посмотрел на своего друга.
— Эх, ты! Размазня!.. Мамкин сынок! А еще солдат!..
Аким молчал, даже не пытаясь оправдываться.
Подул сильный ветер. Откуда-то нагнал туч. Стало темно. Деревья беспокойно зашумели. Недалеко грянул гром. И вскоре по листьям застучали крупные дождевые капли.
— Пошли в блиндаж, — глухо предложил Сенька и, не глядя на товарища, медленно побрел к селу.
Аким сидел на прежнем месте. Дождь мочил его ссутулившуюся спину.

2

Утром к разведчикам пришел Вася Пчелинцев. Разведчики сразу узнали маленького солдата, перевозившего их через Донец. Лицо сапера потемнело и осунулось.
Появление Пчелинцева вновь напомнило ребятам об их потере. Все стали серьезными и озабоченными. А Сенька почему-то не мог смотреть в глаза Пчелинцеву. Он поспешил выйти из блиндажа. Маленький сапер попросил Шахаева:
— Ра-асскажите мне о по-о-одвиге Якова, только по-о-подробнее. Я ведь во-оенкор. Напишу в газету. Это я о-обязан сделать — мой по-оследний долг перед ним...
Ему тяжело было говорить. Шахаев заметил это и живо согласился:

— Это очень хорошо, товарищ Пчелинцев!.. Записывайте.

Они просидели вдвоем больше часа. Пчелинцев хотел знать мельчайшие подробности об Уварове, о его гибели, и Шахаев охотно ему рассказывал.

Исписав целую тетрадь, Пчелинцев ушел к себе в батальон.

С того дня разведчики с особым нетерпением ожидали очередных номеров газеты. Вырывали друг у друга маленькую газетку, надеясь отыскать в ней статью о подвиге Уварова. Но проходил день, другой, третий, а статья не появлялась.

Как-то раз Пинчук встретил на складе АХЧ Лаврентия Ефремова — шофера редакции. Добрейший Лаврентий, или просто Лавра, как его звала тыловая братия, исполнял в редакции многочисленные обязанности: он был шофером, радистом, поваром и по долгу этой своей последней службы, так же как и Пинчук, поддерживал теснейшую связь с заведующим продскладом Борисом Гуревичем, от которого и ему кое-что перепадало.

Гуревич сидел рядом с Лаврой на бревне и внимательно его слушал. Пинчук подсел к ним. Шофер неторопливо рассказывал о военкоре Василии Пчелинцеве.

Вася Пчелинцев стал писать в свою газету давно.

Как-то редакция стояла недалеко от саперов. И здесь с ней произошло несчастье: упавшей поблизости бомбой разбило печатную машину. Три дня ее ремонтировали. Три дня «хозяйство Ивана Федорова», как в шутку называли редакцию, не работало, и бойцы не видели в своих окопах «Советского богатыря» — маленькой газетки, к которой привыкли и которую давно успели полюбить.

И вот однажды,— в этот день заканчивали ремонт печатной машины, — в редакцию пришел один из самых ее активных военкоров. В пропотевшей, почти белой гимнастерке и такой же пилотке, с неизменным карабином за плечами и малой саперной лопаткой на поясном ремне, он протиснулся в землянку редактора и доложил:

— В-военкор Пчелинцев, из саперного батальона.

Здороваясь с солдатом, редактор улыбнулся: он хорошо знал Пчелинцева. Ведь почти каждый день Пчелинцев присылал в редакцию какую-нибудь заметку. Бывали дни, когда редакция помещала в одном номере газеты несколько заметок своего неутомимого военкора.

Эти заметки приходилось подписывать разными фамилиями. Ничего не поделаешь — неудобно было давать одновременно две заметки за одной и той же подписью. А дать их было необходимо — «оперативный материал». Так Вася Пчелинцев иногда превращался в Петра Васина.

Раньше Пчелинцев работал агитатором в своей роте. Но после контузии он стал сильно заикаться. Сначала Вася растерялся — не знал, как агитировать. Попрежнему приходил на собрания, а говорить не мог. На одном совещании к нему подошел начальник политотдела полковник Демин и спросил:

— А вы, Пчелинцев, почему не выступили? Разве у вас мало опыта, чтобы поделиться с товарищами?

Вася покраснел и, страшно заикаясь, ответил:

— М-мне, товарищ п-полковник, т-трудно говорить...

— Ах, вот оно что. Понимаю. А вы попробуйте писать в нашу газету. Военкор — тот же агитатор. Будете выступать сразу перед сотнями солдат.

— П-попробую, товарищ полковник.

— Попробуйте. По-моему, у вас получится. Главное, пишите правду. Ничего не выдумывайте.

И Пчелинцев стал писать. Первую статейку ему помог сочинить его дружок Уваров. Заметку сразу же опубликовали.

После этого Вася стал ежедневно описывать подвиги своих товарищей-саперов. Обо всех славных делах тружеников войны знала теперь дивизия Сизова. Об одном только герое ничего не писал военкор — о самом Васе Пчелинцеве. Ни в одной строчке не упомянул он о своих подвигах. Так и не рассказала газета о том, как холодной ночью сапер Василий Пчелинцев переплыл через реку, подполз к немецкой пушке и противотанковой гранатой уничтожил ее вместе с прислугой.

...И вот, обеспокоенный судьбой «Советского богатыря», Пчелинцев решил узнать лично, что стряслось с газетой. Он отпросился у командира роты, и тот отпустил его. Вася принес с собой несколько свежих заметок, одну из которых тут же отдали в набор. Пчелинцев стоял рядом с наборщиком и с превеликим любопытством наблюдал, как тот проворными руками извлекал из черных ячеек кассы маленькие буковки. Заметка была быстро набрана, и наборщик сделал оттиск. Пчелинцев с восхищением рассматривал мокрую гранку, держа ее в дрожащей руке.

— Во-от, чо-орт возьми!.. — бормотал он, морща лоб.

С того дня Вася приходил в редакцию почти ежедневно. Там к нему все привыкли. Заметки он приносил хорошие. Иногда писал их тут же, в редакции, то есть в маленьком блиндаже секретаря. Ежедневный приход непоседливого военкора стал обычным и необходимым явлением в жизни небольшого редакционного коллектива. Необходимым потому, что секретарь на первой странице газеты всегда оставлял место для оперативного материала военкора Пчелинцева.

И только однажды Вася здорово подвел редакцию. Пришел он позже обычного и вместо маленькой заметки положил перед изумленным секретарем огромный сверток.

— Что это? — спросил секретарь.

— «Млечный путь». Поэму н-написал.

— А заметку на первую страницу?

— Я с-сегодня бо-ольше ничего не-е принес. То-олько поэму.

Огорченный секретарь стал быстро подбирать нужный материал из писем других военкоров.

«Млечный путь» оказался плохой поэмой. Ее автор решительно не считался ни с рифмой, ни с размерами стиха.

— Ты, Вася, перекрыл всех футуристов,— сказал ему секретарь.— В общем не годится. Заметки ты пишешь лучше.

К обшему удивлению, Вася нисколько не обиделся. Он продолжал приходить в редакцию, и попрежнему для его заметок на первой полосе оставляли место. Наборщики встречали его появление восторженным криком, играли на губах туш, а Лавра угощал жирным супом или открывал специально для Васи «второй фронт» — банку американской консервированной колбасы. Все нравилось сотрудникам редакции в Васе Пчелинцеве: и его невозмутимое простодушие, и то, как он заикался, и даже его прихрамывающая, шаркающая походка, и откровенно добрая, широкая улыбка. Одного только не замечали бойцы и офицеры из «хозяйства Ивана Федорова» — это васиной любви.

По соседству с редакцией размещалась полевая почта. В ней работала сортировщицей писем Вера — толстощекая, со вздернутым носиком и озорными глазами девушка. Вот она-то и внесла смятение в душу невозмутимого военкора. Все шло как будто хорошо, но один случай пе-

репутал карты в отношениях Веры с Пчелинцевым. Както литсотрудник привел в редакцию известного всей дивизии лихого разведчика Семена Ванина, о подвигах которого частенько сообщала газета. Привел его для того, чтобы художник Дубицкий вырезал на линолеуме его портрет. Вера зачем-то на минутку забежала в редакцию, и Сенька успел обласкать ее своими кошачьими глазами. С той поры Вася и заметил во взгляде девушки холодок. А заметив эту перемену, уже не решался более заходить на почту. Только скрытно грустил. Вере он и посвятил свою поэму «Млечный путь».

И вот сегодня в редакцию пришла печальная весть: несколько дней тому назад Вася Пчелинцев погиб. Погиб смертью героя. Он вызвался разведать минные поля противника за Донцом. И когда возвращался обратно, вражеская пуля настигла его на середине реки.

Вот об этой-то смерти и рассказывал сейчас Лавра Борису Гуревичу и подсевшему к ним Пинчуку.

Когда рассказчик умолк, солдаты невольно подняли кверху головы. Им хотелось увидеть Млечный путь. Но разве днем можно его увидеть?..

Огорченный Пинчук вскоре возвратился в свою роту, сообщил товарищам о гибели маленького военкора. Так и не дождались разведчики заметки в газете о подвиге Якова Уварова.

3

В июне на участке дивизии генерала Сизова все еще продолжались усиленные оборонительные работы. Ставка Верховного Главнокомандования двигала и двигала в этот район новые войсковые формирования, удивляя и радуя солдат. Непрерывно прибывали приданные средства — танки, артиллерия, зенитные и саперные подразделения. Особенно много было артиллерии. Из-за деревьев повсюду торчали длинные стволы новых противотанковых пушек, вызывавших всеобщее восхищение. Солдаты подолгу вертелись возле них:

— Вот это штуки!

— Тут, небось, никакой танк не устоит.

— Где там!..

Разведчики с тихим торжеством прислушивались к этим солдатским разговорам. Им казалось, что они первые обнаружили новые тяжелые танки в немецком тылу;

они были убеждены, что советское командование, учтя их донесение, присылает сюда противотанковые орудия новейшей конструкции.

На лесных полянах хлопотали артиллеристы, оборудовали огневые позиции: рыли землю, спиливали деревья, мешавшие стрельбе, привязывали цели, пристреливали реперы; линейные надсмотрщики тянули к наблюдательным пунктам командиров батарей и дивизионов телефонные провода, забрасывали их шестами на ветки дубов. Не прекращавшийся в течение двух недель дождь мешал работе, с листьев потоками обрушивалась вода, едва связист касался дерева. Намокшие провода были тяжелы и скользили, не удерживаясь на ветках. И только профессиональное терпение, привычка и огромная необходимость заставляли связистов безропотно делать свое дело и доводить его до конца. На лесных размытых и изрытых до последней степени тяжелыми — тоже новыми — танками дорогах, выбиваясь из сил, барахтались грузовики, подвозившие снаряды и орудия. Лес был полон надрывным стоном моторов. Глухими просеками, квохча гусеницами, ползли приземистые танки — казалось, им нет конца — они двигались осторожно, точно подкрадывались к кому-то. Тяжело урча, они сваливали деревья и устраивались недалеко от опушки. Танковый рев вплетался в другие звуки, которых в Шебекинском урочище было множество: где-то тататакали зенитки, обстреливая неприятельский самолет-разведчик; негромко переговаривались саперы, степенно и не спеша рывшие блиндажи; стучали молотки и слышалось характерное потрескивание автогенных аппаратов в артиллерийских мастерских, давно развернувшихся в глубине леса; скрипели повозки; раздавался свист бичей — это мыкали свое горе на размытых дорогах затертые машинами и оттесненные в еще более непроходимые, гиблые места ездовые — великие страстотерпцы фронтовых дорог. Все эти звуки сливались в один неумолчный и тревожно-озабоченный гул, наполнявший солдатские сердца ожиданием чего-то значительного и необыкновенного. Изредка в лесу разрывался прилетевший из-за Донца вражеский снаряд и поглощал все остальные звуки. Лес некоторое время оставался как бы безмолвным. Но вот звук разорвавшегося снаряда угасал, и вновь возникало, усиливаясь, привычное гудение.

Лес кипел, как муравейник. В него и ночью втягивались все новые и новые войсковые организмы: танковые и саперные бригады, иптапы[1], понтонные подразделения, дивизионы гвардейских минометов. Все это теснилось, устраивалось хлопотливо, готовясь к чему-то.

Генерал Сизов весь день провел на переднем крае с командирами приданных частей и офицерами штаба. Только поздно вечером, усталый, но, видимо, довольный сделанным, он возвратился в штаб. Лицо комдива, однако, было озабочено. Его беспокоила последняя разведсводка, полученная из штаба армии. В сводке говорилось, что против дивизии Сизова появилась новая танковая дивизия немцев, недавно прибывшая из Германии. Дивизия эта подошла к фронту уже после того, как группа Шахаева возвратилась из неприятельского тыла.

Сизов вышел из блиндажа. На улице шел дождь. Генерал расстегнул китель и подставил прохладе свою грудь. Затем вернулся в блиндаж, позвонил в медсанбат, справился о здоровье подполковника Баталина. Баталин, полк которого недавно был выведен во второй эшелон, поправлялся. Сизов прилег на койке. Но сон не приходил. Медленно распутывался клубок давно волновавших мыслей.

«Много у врага новой, грозной техники, а солдаты все те же. Даже хуже тех. А у нас и техники больше. А главное — люди, солдаты. И в этом никто нас не может превзойти. Если полк потерял всю боевую технику, он еще не погиб. Он жив, если в нем уцелели знамя и хотя бы один солдат. Это так. Орудие стреляет, пока за ним стоит боец, танк движется, пока в нем сидит солдат. А главное — какой солдат... Впрочем, это очевидная истина. И почему я об этом думаю... Новая танковая дивизия?.. Надо проверить. Завтра же пошлю разведчиков...»

Не заметил, как заснул.

Разведчики, совершившие рейд в тыл врага, были повышены в звании. Шахаев стал старшим сержантом, Пинчук — сержантом, Ванин и Аким — ефрейторами. Никто, кажется, так не гордился этим повышением, как Сенька. В тот же день он заставил встать по команде «смирно» молодого разведчика Алешу Мальцева.

---

[1] Истребительно-противотанковые артиллерийские полки.

— Почему не приветствуешь старших? — строго отчитывал он его. — Перед тобой — ефрейтор!.. Как стоишь?!

При этом он был настолько серьезен, что его никак нельзя было заподозрить в шутке.

Назревали большие события, а жизнь солдат шла своим обычным чередом. Шахаева назначили командиром отделения и вскоре парторгом роты. Сенька и Аким остались под его командой, а Пинчука поставили старшиной роты — на этот раз уже официально. Таким положением вещей остались довольны все и в особенности Пинчук: наконец-то в его руки попало настоящее хозяйство! Не дожидаясь дополнительных указаний, он немедленно приступил к делу. По акту, как и полагается, начал принимать все ротное имущество от Ивана Кузьмича, старого рыжеусого солдата-сибиряка, временно исполнявшего обязанности старшины.

— Кузьмич, — обращался к нему по-граждански Пинчук, вынимая из мешков собранное для стирки солдатское белье. — Одной пары нехватает. Ты не того... не позичив кому-нибудь?

— Что вы, товарищ сержант! Как же можно! — обижался Кузьмич. — Что я, враг себе? Давай еще раз пересчитаем.

— Давай, давай, — соглашался Пинчук и начинал заново перебирать белье. — Тилькы як що нехватит...

Однако при повторном подсчете белье находилось: в бережливости и честности Кузьмич нисколько не уступал самому Пинчуку. Был вот только малограмотен Кузьмич. И если бы не это, быть бы Ивану Кузьмичу старшиной роты или кладовщиком на худой конец. А сейчас он служил ездовым. Под его началом находились две добрые сибирские лошади да ладно сколоченная пароконная повозка. К обязанностям ездового Кузьмич относился в высшей степени добросовестно. Во всей дивизии не сыскать такой справной сбруи и таких сытых лошадей, как у Кузьмича. Зная его исполнительность и честность, старшина роты доверял ему возить продукты с ДОПа [1] — предприятие, как известно, связанное с немалыми соблазнами. Во все важные поездки новый старшина отправлялся только с ним. По дороге Кузьмич рас-

---

[1] Дивизионный обменный пункт.

сказывал ему о своей жизни, о том, как несладко сложилась она у него с самых молодых лет.

Женился Кузьмич в четырнадцатом году, на деревенской красавице Глаше. Но не довелось ему пожить с молодой женой как следует. Царь начал войну с Германией. Забрали молодца. Больше трех лет мыкал горе по окопам, кормил вшей то под Перемышлем, то под Варшавой, то в Восточной Пруссии. А потом четыре года участвовал в гражданской. Возмужал, окреп, заматерел. Всюду побывал — на юге и на севере. Лихим кавалеристом мчался по родной сибирской земле по пятам адмирала Колчака. Первым из своего эскадрона ворвался в родную деревню. Вихрем пронесся по улице, сверкая саблей и пришпоривая обезумевшего коня, сбрасывавшего по дороге ошмотья кроваво-белой пены с оскаленного в дикой ярости рта. У своего дома стальными мускулами натянул поводья — была в молодости силушка в кузьмичовых руках! — Поднял на дыбы храпевшего жеребца, гаркнул весело:

— Глаша, встречай гостя!

Но не выглянула Глаша в окошко, не вылетела, разметав руки, во двор. Молчанием встретила его родная хижина. Соскочил с коня. Вбежал в хату с недобрым предчувствием. Комната с умолкнувшими часами-ходиками на бревенчатой стене и темным образом Николая-чудотворца в левом углу пахнула на молодого хозяина нежилью. Лихая весть ожидала Ивана: его белолицая Глаша ускакала с белогвардейским чубатым казаком, который — второпях, должно быть,— и фотографию свою оставил на столе. Взглянул Кузьмич на карточку, и сердце заныло: красив, подлец... Гнался за Колчаком до самого Иркутска, потом до Маньчжурии доскакал, — все думал догнать того казака, да поздно, видно, уж было...

А когда отгремели огненные годы, вернулся домой. И потянулись для Кузьмича дни, месяцы, полные одиночества и глубоко скрытой тоски. Не было радости без Глаши, ничто не веселило. Сколько красивых сибирячек предлагали ему любовь свою, сколько добрых и ласковых сердец раскрывалось перед ним — не пошел навстречу их любви суровый сибиряк, замкнулся и навсегда остался бы один-одинешенек, если б вокруг не бушевала, не вихрилась новая жизнь, за которую он так

долго воевал. Состоял он одно время в продотряде, с яростной злобой вырывал хлеб у кулаков, стремившихся заморить голодом советскую власть.

А кончилось все это, вернулся домой. В работе стал искать утешение. Сильно полюбились ему почему-то деревенские ребятишки. Звенящей ватагой врывались они в его хату, и он угощал их конфетами. Рассказывал про германскую да гражданскую, помогая вить кнуты, а выпроводив ребят, сразу мрачнел. Сгорбившись, подходил к образам, доставал маленькую шкатулку. Там хранилась фотография жены — единственная память о Глаше. Долго смотрел на пожелтевшее изображение и трудно, по-мужски, плакал.

В колхоз он записался сразу же, как только артель начала создаваться. Ушел с головой в работу. С его умом и трудолюбием Кузьмич мог бы быть хорошим председателем или завхозом, но он отказался от этих должностей и заделался постоянным образцовейшим конюхом — привычка старого кавалериста тянула к лошадям. А когда началась война и колхоз выделил для армии двух лучших кобылиц-четырехлеток, выпестованных Кузьмичом, он ни за что не пожелал доверить их другим рукам и отпросился ехать на фронт. И Кузьмич сумел сберечь своих лошадей вплоть до 1943 года, — носил он в сердце заветную мечту сохранить их до конца войны и вернуться в колхоз на своих кобылах. «То-то будет радости у председателя!» — думал он, пряча теплую улыбку в рыжих усах. Было что-то трогательно-сердечное в его привязанности к лошадям. Старая, с висевшим на одной пуговице хлястиком, порыжевшая от времени и от конского пота шинель Кузьмича редко была на плечах хозяина. Она служила одновременно и за попону, и за торбу, и за одеяло. Кузьмич то расстилал ее на повозке и насыпал овса, то прикрывал длинномордую Маруську, свою одноухую любимицу.

...Пинчуку оставалось принять кухню, и Кузьмич повел его к полуразрушенной саманной мазанке, принадлежавшей какому-то хозяину из деревни Безлюдовки. Собственно никакой деревни тут уже и не было — оставалось лишь одно название, которое — не будь здесь солдат — теперь совершенно соответствовало бы этому унылому месту. Всюду, куда ни кинь взгляд, маячили уродливые обломки жилых домов и общественных построек.

Война дважды прокатилась через эту деревню и сделала свое лихое дело. Уцелела одна лишь изба, да и та как будто была не рада, что уцелела. Она сиротливо стояла среди развалин с одним маленьким бельмоватым оконцем, словно только что очнулась от страшного оглушительного удара и удивленно смотрела на своих поверженных соседок. Казалось, всем своим неказистым видом хатенка так и хотела сказать: «Господи, как же я долго спала, и что за это время сотворилось вокруг!» Печные трубы на пожарище, как водится, сохранились все. Длинные и жуткие, они тянулись кверху.

Пинчук невольно остановился, пораженный этими разрушениями. Кузьмич тяжело вздохнул и захватил зубами свой левый ус — так делал он всегда, когда был не в духе.

«Когда же все это на ноги встанет, в порядок войдет?» — окинул Кузьмич несуществующую деревню печальным взглядом.

В эту минуту он показался Пинчуку каким-то особенно сухоньким. Лицо Кузьмича осунулось и было удивительно похоже на засушенную грушу. Казалось, на этом лице ничего не осталось, кроме носа да длинных и рыжих усов. Эти усы, пожалуй, и придавали их владельцу еще кое-какую солидность. А сбрей их — и останется Кузьмич жалким и немощным, как Черномор без своей бороды.

— Все восстановлять, Кузьмич, — заговорил Пинчук.— Як бы це старе время було, то, понятно, тяжело досталось бы. Мужыку помичь нужна, а де б вин ии взяв? От царя — кукиш с маслом, а не помичь. А теперь — нэ тэ. Люды ще дюжей сталы, наши колгоспныкы та робитныкы. Им усе нипочом будэ! От побачыш!.. Сердце у всих, мабуть, закалылось. Ось я так розумию... Поможем друг другу, хиба ж мы чужи люды! Радянська власть всяке содействие окаже — бачыш, рокив через пяток и управымось та ще скилькы нового понастроемо! И будемо житы, Кузьмич, ще краще. Багато будемо житы!..

— А там, глядишь, и новая война подоспеет, — в тон Пинчуку сказал Кузьмич, все еще грызя свой левый ус.

Пинчук разозлился:

— Ну, якого ж ты биса жуеш його, як корова серку! — неожиданно зашумел он. — Война, война... Сам

знаю, що може прыйты. Союзники у нас не очень надежни...

— Известное дело — капиталисты! И какого дьявола ты только на меня накричал! — в свою очередь ощетинился Кузьмич, выплевывая левый ус.

— А потому и шумлю я на тэбэ, що не нам говорить про войну, — горько и тяжко вздохнул Петр. — Мы против войны повынни говорить...

— Ну, а я об чем толкую!

— А ты вроде злякався, слезу пустыв, — уже примирительно сказал Пинчук, подавая Кузьмичу кисет. Он затянулся дымом, потом закончил задумчиво: — Серця такого великого, мабуть, ни у кого немае, як у нас.

— Ничего я не испугался. Откуда ты это взял? Просто такая мысль в голову пришла, вот я и сказал. Ведь никак они нам не дают, товарищ сержант, мирно-то пожить. Вот в чем загвоздка! — Кузьмич свернул папироску, помусолил ее, нагнулся к тлевшему в руках Пинчука фитилю от кресала. Разогнувшись, подытожил: — Не любят нас капиталисты проклятые!

— То правда, — живо согласился Пинчук. — Не нравляться мироедам наши успехи. Як же: подывиться их народ на радянську державу, де простый люд хозяйнуе та и живет краще, — завыдкы визьмуть. Скажуть: «А мы-то що дывымось! Давайте возьмем в руки оружию та всих, як есть, своих капиталистив пид товстый зад!..» — Пинчук подался всем телом вперед, отставил правую ногу, показывая, как бы он сделал это сам.

— Всех к ядреной матери! — не вытерпев, подсказал Кузьмич, гневно помаргивая.

— От буржуи и не хотят, щоб мы розбагатилы, бояться, що их народ збунтуеться, на нас дывлячысь. Тилькы ничого воны бильш не можуть зробыты. Все одно колысь збунтуеться их народ. До того дило йде...

По улице с оглушительным треском промчался мотоциклист, направляясь к штабу.

— Вже пятый за день, а мабуть, шестой. Не помню уж.

— Из штаба армии, должно. Пакет какой-нибудь срочный генералу привез, — высказал свое предположение Кузьмич, провожая взглядом удаляющегося мотоциклиста. — А в штабе-то день и ночь не спят...

Солнце вывалилось из-за горизонта, и сирота-хата сразу как будто помолодела. Даже ее единственный ущербленный глаз засиял.

— Знаете, товарищ сержант, об чем я ныне кумекал, — снова заговорил Кузьмич, затаптывая окурок.— Я ведь родом из Сибири, Красноярского краю...

— Так ты об этом мне десять разив говорил...

— Нет, об этом не рассказывал. Вот послушай-ка. Лесов в Сибири, сам знаешь, тьма-тьмущая. На сто держав хватило б! А вот на твоей Украине их маловато. Ну, я и думаю: а что если в тайге, скажем, поставить такой завод, который бы дома делал, а возить эти дома по железной дороге к тебе на Украину и в другие безлесные места.

— Кажуть, що таки заводы вже е, Кузьмич, тилькы я не бачив их.

— Да ну! — ахнул Кузьмич, пораженный, очевидно, тем, что не ему первому пришла в голову такая мысль.— Эх, язви их корень! Стало быть, уже имеются такие заводы?

— Маемо, Кузьмич, маемо! — с гордой-улыбкой подтвердил Пинчук, теперь уже совершенно уверенный в том, что есть у нас такие заводы, словно уже сам видел их собственными глазами.

Перейдя улицу, густо заросшую подорожником и вечной спутницей запустения — дымчатой лебедой, или «цыганкой», как ее именовали в этих местах, Пинчук и Кузьмич приблизились к полуразрушенной мазанке. Перед тем туда юркнул зачем-то Сенька Ванин. Войдя в помещение, Пинчук увидел его мирно беседующим с поваром Михаилом Лачугой. На снятой с крючьев двери, при входе в мазанку, сушились на солнце галушки. В самой мазанке на большой раскоряченной треноге лежал черный котел, выворoченный Лачугой из каменки разрушенной бани, — разведчикам кухня армейского образца не полагалась. Котел и сам повар не блистали чистотой. Это возмутило Пинчука.

— Що ж ты сидишь?! — закричал он на опешившего Михаила.— Подывись, якый в тебе котел! Свиней тилькы кормить с цього котла. Де твий халат?..

Кузьмич опасливо озирался по сторонам, чувствуя и свою вину в этом деле: ведь хозяйство-то роты было последнее время в его руках.

— Я говорил ему на сей счет, — оправдывался он, гневно посматривая на помрачневшего Лачугу. — Да в разум не берет мои слова. Ты, говорит, мне не указ. Побывал у генерала, так теперь думает, что уж и сам генерал.

Михаил молча и недобро скалил свой щербатый рот, прощупывая нового старшину мутноватым взглядом.

— Не нравлюсь, ищите другого. Я с этим котлом всю хребтину поломал, — проговорил он.

— Жалко, що ты голову свою дурацьку не зломав! Ты у мене гляди. А то таке лекарство пропышу, що вик памятать будеш!

— Не стращай.

— А я и не стращаю. Вернусь, проверю. И щоб усе чысто було! Зрозумило?

— Понятно, — вяло ответил повар.

— А ты тэж марш звидциля, ничого дурака валять! — бросил старшина Сеньке и вышел вместе с Кузьмичом во двор.

В мазанке некоторое время стояло неловкое молчание.

— Что он на меня? — кивнул лобастой головой Лачуга в сторону двери. — То ж мне начальник великий объявился. Видали мы таких!

— Нет, ты с ним поосторожней, Миша, — совершенно серьезно посоветовал Сенька. — Пинчук — человек крутой и строгий. Беспорядков не терпит. Чуть заметил что — и беда!.. Недаром председателем колхоза был! Этот враз научит уму-разуму...

Рассказывая об этом, Ванин не скрывал и собственной боязни перед Пинчуком.

— А вообще-то он очень правильный человек. Зря ругать не станет. А уж коли провинился, пеняй на себя: спуску не даст. Лучшего старшину не сыскать на всем белом свете.

— Что ты мне его расхваливаешь, как красну девку, — свистя сквозь щербатые зубы, заметил Михаил. — Сам вижу, что за птица. Заест.

— А ты делай все хорошо, и не заест. Почему от генерала-то ушел?

— По своей воле.

— Сам, значит?

— Сам.

— Хо? Сам! — Ванин захохотал. — Милый ты мой, хоть бы врать-то научился... Это, брат, ты от меня так легко можешь уйти, а не от генерала. Правда, хоть я и ефрейтор, но до генерала мне еще далековато...

— Не понял ты меня, Семен, — обиделся Лачуга. — Отпустил меня генерал. Я сам попросился у него в разведку. Хотел разведчиком быть, а тут опять с котлом пришлось возиться.

— Ах, вон оно что!.. Ну ничего, Миша, не горюй. Кормить разведчиков — тоже большое дело. Дай-ка лучше закурить.

— Некурящий я.

Сеньку осенила какая-то новая мысль.

— Некурящий? — притворно удивился он. — Да как же это ты? Не понимаю. Я вот, например, подыхаю без курева. Выдадут на неделю, а я за один день все искурю. А потом хожу, щелкаю зубами, как голодная дворняжка, да докурить спрашиваю. Впору хоть вой...

С присущей ему сообразительностью Семен сразу же оценил обстановку. Если вести себя по-хорошему с этим поваром, думал он, то можно получить от него не только привилегию в смысле котлового довольствия, но и положенную ему порцию махорки. Оттого-то Ванин и подобрел так быстро.

— Тебе пора уже к котлу вставать, — услужливо заговорил он.— Может, помочь дровишек наколоть? Это я мигом.

— Не надо. Я сам.

Сенька в душе выругал недогадливого кулинара, но все же надеялся, что его слова произведут необходимое воздействие на некурящего повара.

В дверях мазанки появился молодой разведчик Алеша Мальцев. Запыхавшись, он сказал:

— Товарищ ефрейтор, к командиру!

Сенька поднялся, досадуя на то, что не удалось довести дело до конца.

— Ну, пошли.

4

Мальцев перепутал: Ванина вызывал не командир роты, а старшина Пинчук, нашедший для разведчика какую-то работу.

Марченко же сидел у себя в хате и выколачивал о стол разноцветный мундштук, ожидая, когда к нему явятся с докладом Пинчук и Кузьмич. Те вскоре пришли.

— Докладывайте, — приказал лейтенант, не прекращая своего занятия.

Это не понравилось Пинчуку, и он громко обратился к командиру:

— Товарищ лейтенант, разрешите докладать!

— Что кричишь? Я не глухой. Сказал же — докладывайте.

— Так я хотел по всей хворме.

— После войны — по всей форме... А сейчас не до этого.

Марченко вдруг легко вскочил на лавку и, быстро обернувшись, присел на подоконник. Тонкий и сухой, стремительный, он как-то весь подался вперед, будто готовился к прыжку. Из-под тонких бровей поблескивали глубоко посаженные каштанового цвета глаза.

— Ну, я слушаю.

Кузьмич и Пинчук доложили: первый — о сдаче, а второй — о приеме имущества.

Выслушав доклад, лейтенант приказал прислать к нему Акима.

Пинчук с видимой неохотой уходил из хаты. Он надеялся, что командир роты поинтересуется, как у него, старшины, обстоят дела, что его волнует и прочее. Но ничего этого не случилось. Кровно обиженный, Пинчук все же проговорил:

— Время, мабуть, у него немае.

Встретив Акима на улице, старшина холодно передал приказание:

— Командир вызывае.

Аким удивленно посмотрел на Пинчука, хотел о чем-то спросить, но тот быстро прошел мимо.

— Писарем хочу тебя поставить, — сказал Марченко, когда Аким появился в хате. — Как ты на это?..

Аким внимательно посмотрел на офицера, будто видел его впервые.

— Как же? — повторил Марченко свой вопрос.

— Я бы попросил, товарищ лейтенант, не назначать меня писарем, — Аким еще внимательнее, с каким-то беспокойным любопытством рассматривал командира и

только теперь увидел, как был красив их лейтенант.— Не хочу я быть канцеляристом.

— Почему? — Марченко соскочил с подоконника, мягкой походкой старого разведчика приблизился к высокому сутуловатому солдату. — Почему?

— Хочу воевать, — коротко ответил Аким.

— Воевать всем хочется, — заметил недовольный Марченко. — А мне писарь нужен. — Помолчав, он примирительно спросил: — Кого бы вы могли порекомендовать?

— Не знаю, товарищ лейтенант. Вряд ли кто захочет быть писарем. Особенно сейчас, когда готовится такое...

— Знаю. Ну что ж, — идите!

На улице шел дождь. Крупные, как картечины, капли подпрыгивали на дороге, косо резали горькие лопухи. Солнце еще не было закрыто тучами, и оттого дождь казался совсем нестрашным. Не хотелось прятаться от него, бежать под крышу. С востока, описав тысячемильную дугу, шагнул до самого дальнего запада спектр огромной радуги. Аким остановился посреди улицы и невольно залюбовался ею. Всматриваясь в небо, он различил большие косяки наших бомбардировщиков. Они летели на одном уровне с вершиной радуги, купаясь и поблескивая дюралюминием в ее неповторимом разноцвете. Зрелище это потрясло Акима. Он зачарованно смотрел на радугу, не слышал даже, как подошел к нему Ванин.

— Что ты, Аким, стоишь тут, как татарский мулла?

Аким вздрогнул и оглянулся.

— Ты только посмотри, Семен, что это за зрелище! — Акиму вдруг захотелось схватить Сеньку на руки и поднять высоко-высоко над своей головой, как, бывало, поднимал он маленьких хлопцев в дни праздничных парадов в Харькове.

— Перестань, Аким, что ты делаешь? — вырвался Ванин.

— Боже мой, как хорошо!.. Какая изумительная игра электричества, воздуха и влаги!..— воскликнул Аким. И, не отрывая своего взгляда от полыхавшей радуги, он вдруг стал с увлечением и подробно рассказывать Сеньке, что такое радуга и как образуется спектр. Он говорил об этом праздничном явлении природы, все более одушевляясь, словно перед ним был не один Сенька, а целый класс любознательных учеников. Чувствуя превосходство

друга, удивленный Ванин смотрел на разрумянившееся лицо Акима и молчал. Но когда Аким, наконец, тоже замолчал, Сенька все же заметил:

— Очень даже хорошо. Но зачем все это я должен знать?

— Э, Семен, знать все, решительно все нужно знать! — быстро ответил Аким и с грустной задумчивостью добавил: — Жаль, что это не под силу одному человеку. А знать нужно все, — горячо повторил он и вдруг вспомнил: — Когда мы были в генеральском блиндаже, я видел там много-много книг. И среди них — какая бы ты думал? Астрономия! Зачем бы генералу астрономия? А вот изучает человек. Эх, Семен, какая это могучая сила — знание!..

— Что говорить, — согласился с ним Ванин.— А зачем это тебя лейтенант вызывал?

Сенька знал, что Аким был у командира, и это его беспокоило.

— Ну скажи, Аким, что тебе говорил наш лейтенант?

— Писарем меня хочет сделать.

— И ты согласился?

Аким улыбнулся.

— А почему бы и нет?

— Да ты, я вижу, совсем свихнулся!

— Почему же, нисколько. Местечко теплое, не пыльное. Сверху не капает. Помнишь, ты и сам мне говорил, что писарь из меня выйдет в самый раз, мол-де, и почерк у меня недурной, и в грамматике я силен. Вот я и послушался твоего совета.

— Так я же шутил! — в отчаянии воскликнул Сенька.

— А ты не шути другой раз, — Аким опять улыбнулся.

— Нет, Аким, ты врешь. Быть канцелярской крысой старому разведчику — это же безумство!

— «Безумству храбрых поем мы славу!» — рассмеялся Аким.

— Какая же тут, к чорту, храбрость, — в писаря!

— А наградные листы кто на тебя будет составлять?

— Найдутся и без тебя составители. Нет, если ты только уйдешь в писаря, переметнусь в другое подразделение, вот провалиться мне на этом месте!

В юношески взволнованном, звонком и порывистом голосе Сеньки было столько искренней и чистой предан-

ности, что Аким невольно ощутил к нему прилив братской нежности.

— Чудак ты, — обхватил он Сеньку за плечо. — Так вот я и соглашусь пойти в писаря. Что мне, жизнь надоела?

И друзья засмеялись. О тяжелом ночном разговоре там, под дубом, они словно забыли совсем.

С юга подоспели темные грозовые тучи. Сталкиваясь и наплывая одна на другую, они потрясали землю и темный небосвод сухими оглушающими раскатами грома. Поминутно вспыхивали и скакали по всему горизонту ломаные стрелы молний. Земля, вздыхая могучей грудью, проглатывала бурные потоки воды, низвергаемые щедрым небом. Молодая яблонька, уцелевшая в палисаднике разрушенного снарядом дома, склоняла долу свою зеленокудрую голову, купаясь в мягкой дождевой воде. Ее недозрелые плоды подставляли под душевые струи дождя свои розовеющие бока; стоя под дождем, разведчики любовались этой яблонькой как первым проявлением всесильной жизни в маленьком, умерщвленном войной селении.

— Пройдет годок-другой, и опять яблони зацветут рядом с новыми домами, — вполголоса проговорил Аким и предложил: — Пробежим по дождю?

— Давай! — согласился Ванин, играя озорными глазами.

Взявшись за руки, они понеслись вдоль улицы.

Заскочили в пустой блиндаж, отдышались.

За дверью послышались тяжелые, чмокающие шаги.

— Пинчук идет. Сейчас какую-нибудь работенку всучит. Хоть бы поскорее в разведку посылали. Другие каждый день ходят, а мы почему-то сидим.

Шаги за дверью приблизились, и в ту же минуту загудел тяжелый, будто придавленный чем-то бас:

— Пойти в поиск без предварительной подготовки сейчас, когда вражеские траншеи битком набиты солдатами и пулеметами...

— Аким! — воскликнул Сенька. — Это же Федор! Вернулся! И уже кого-то ругает.

Открылась дверь, и в блиндаж, сильно пригнувшись, вошел здоровенный человек. Это был Забаров. Вслед за ним в блиндаж вошли Шахаев и Пинчук.

— Так вот, товарищи,— продолжал Забаров прерванный разговор. — Были мы сегодня с лейтенантом у майора Васильева. Тот передал, что генерал очень недоволен последним поиском. Правда, никто из вас в нем не участвовал, но это не меняет положения. Мы должны извлечь из этой неудачи для себя серьезный урок...

Забаров стоял рядом с Акимом. Возле Федора Аким казался тщедушным, как худая осина, по несчастью выросшая рядом с могучим дубом. Забаров был немного сутуловат, как и все чрезмерно высокие люди. Широкий лоб был распахан темными бороздами глубоких морщин. Казалось, Федор находился все время во власти каких-то больших дум — будто решает и не может решить очень сложный вопрос. В его темных — не видно зрачков — глазах никогда не гасли горячие, беспокойно-напряженные огоньки.

Дверца землянки вновь распахнулась, и в ней показался капитан Крупицын, волоча за собой, как шлейф, мокрый хвост длинной солдатской плащ-палатки. Поздоровавшись с разведчиками, он сказал:

— Я слышал, что у вас, товарищ Шахаев, погиб комсомолец во время последнего рейда.

— Да, Уваров, — глухо ответил Шахаев.

— Начальник политотдела приказал сообщить родным. Потом, где его билет?

В блиндаже стало тесно и дымно. А тут еще обнаружилось, что крыша в нескольких местах протекает. Разведчики жались друг к другу, не желая подставлять свои шеи под грязные капли.

— Комсомольский билет у меня, — сказал Шахаев. Он расстегнул свою брезентовую полевую сумку и вынул оттуда клеенчатую голубую книжечку.

Бойцы обступили Шахаева. Тот начал листать страницы. Крупицын увидел на первой странице, рядом с печатью и маленькой фотографией, свою подпись.

— Дайте мне билет... — проговорил он, протягивая руку к Шахаеву.

— Товарищ капитан, пусть он останется у нас как память об Уварове, — порывисто сказал Шахаев.

— Нет, товарищи, — возразил Забаров. — Отдайте билет капитану. Он его в Москву отошлет. Москва для всех сохранит.

Дождь перестал, в раскрытую дверь брызнул ослепительный солнечный свет, облил гигантскую фигуру Забарова, окрасил посуровевшие лица разведчиков. Радуга снова стояла на своем месте. Разукрашенной свадебной дугой она изогнулась над испаряющейся землей. И снова, как час назад, Аким увидел наших бомбардировщиков. Только теперь они летели в обратном направлении, возвращаясь на свой аэродром. Позади, с боков и впереди них, как ласточки, летали стремительные «ястребки». По ровному, непоколебленному строю самолетов Аким понял, что возвращались они без потерь: истребители надежно охраняли их от немецких «мессершмиттов». И грусть Акима, навеянная воспоминанием о погибшем Уварове, была светла. Ему еще раз захотелось обнять Сеньку.

Но тот стоял непривычно задумчивый.

— Надо сегодня же написать, — проговорил он тихо.

— Что написать-то? — не понял Аким.

— Письмо. Матери Уварова, что ж еще? — ответил Сенька резко. Вопрос Акима будто оскорбил его. — Ведь у Якова фашисты и отца убили. Помнишь, он рассказывал.

— Большое горе у его матери. То верно, — письмо надо написать та доброе, — сказал Пинчук, вышедший вслед за Сенькой и Акимом из блиндажа. — Штабная бланка — плохая утеха...

— Сочиняй поскладнее, Аким, чтобы всем селом читали, — советовал Ванин другу.

Долго думали над первыми словами. Волнение, охватившее всех авторов письма, путало мысли, не давало сосредоточиться. Наконец нашли подходящие слова. Письмо вышло не очень складное, но по-солдатски честное и искреннее. Что хотелось сказать, все сказали. В конце письма просили мать Уварова считать всех их, солдат, друзей ее сына, своими сыновьями. Обещали отвоевать у врага святую землю, добыть победу. Вновь расцветет, писали бойцы, на нашей земле прекрасная жизнь на радость всем матерям и детям. «И много-много будет у вас сыновей, любящих и преданных, Пелагея Кирилловна, как много их у нашей Родины».

Написали эти слова и долго думали, что бы еще прибавить, но Забаров сказал:

— Ставьте точку. Хорошо.

5

Совещание с командирами полков подходило к концу. Некоторые уже встали было, собираясь уходить, но генерал коротким жестом остановил их.

— Еще раз повторяю: взаимодействие с приданными подразделениями — огромное испытание для вас. Готовьтесь к этому, не жалея сил. И еще хочу предупредить вас об одном: побольше внимания уделяйте разведчикам. Они несут сейчас большую нагрузку. Штаб армии каждый день требует новых и новых сведений о противнике. И вообще побольше занимайтесь солдатами. У вас есть что-нибудь, Федор Николаевич? — обратился генерал к начальнику политотдела.

— У меня совсем немного,— Демин посмотрел на высокого моложавого офицера, сидевшего рядом с перевязанным Баталиным.— Чем занимаются ваши политработники сейчас, товарищ Тюлин?

Тюлин смутился. Он не ожидал, что его спросят об этом.

— Беседы проводят, товарищ полковник.

— О чем они беседуют?

Тюлин промолчал, чувствуя, что попался.

Демин посмотрел на него своими спокойными умными глазами и, обращаясь уже ко всем командирам, сказал:

— Кормите лучше солдат. Вы стали большими чиновниками, дорогие товарищи, и не заглядываете в солдатский котел. Вот вы, товарищ Тюлин, знаете, что сегодня готовят бойцам на ужин?

Тюлин покраснел и пробормотал что-то про картофельный суп.

— Не знаешь, — спокойно остановил его Демин. — Четвертый день твои продовольственники угощают красноармейцев гороховым супом. Он им осточертел. Между тем на твоих складах есть и картошка, и лапша, и пшено. А ты этого не знал и знать не хочешь...

— Я вот прикажу его повару, чтобы он недельку покормил своего командира гороховым супом, — сухо пообещал генерал. — Может быть, после этого будет повнимательнее. Продолжайте, Федор Николаевич!

— Вы напрасно улыбаетесь, — начподив посмотрел на остальных командиров. — У вас не намного лучше. Третий батальон вашего полка, — Демин указал на офи-

цера, сидевшего рядом со смущенным Тюлиным, — получает пищу только два раза в сутки — рано утром и поздно вечером. Между тем глубокие траншеи позволяют доставлять пищу солдатам и днем. Однако комбат три этого не делает.

Демин замолчал.

— На этот раз ограничимся предупреждением. Но смотрите, если так будет продолжаться и дальше, понесете строжайшее наказание. У меня все. Можете итти! — отпустил генерал офицеров.

Командиры полков поднялись и направились к выходу. Последним подошел к двери Баталин, но генерал задержал его.

— Останься, Баталин.

Тот остановился, поднял лохматые свои брови; в его хмурых глазах отразились недоумение и тревога.

— Завтра снова перевожу твой полк в первую линию. Встанешь рядом с Тюлиным. Примешь у него часть позиций. Приготовься. Через час приеду к тебе, вместе подумаем, как побыстрее твоему полку занять оборону.

— Слушаюсь, — Баталин приложил руку к козырьку фуражки, под которой виднелся белый бинт.

— Идите, — сказал генерал тихо. Баталин осторожно захлопнул дверь и медленно зашагал по траншее.

В блиндаж вошли вызванные генералом майор Васильев, командир и парторг разведроты.

Вместо слов приветствия Сизов кивнул им головой и коротко сказал: «Нужен «язык»!»

— А сколько у вас коммунистов и комсомольцев? — обратился к лейтенанту Демин.

— Коммунистов? — и Марченко бойко назвал цифру, потом замялся и растерянно посмотрел на парторга, ища у него помощи: он не знал, сколько в роте комсомольцев. Шахаев поспешил на выручку своему командиру.

— Комсомольцев десять, товарищ полковник, — ответил он за Марченко.

— А кто именно? — из-под красных век на Шахаева смотрели спокойные умные глаза.

Шахаев перечислил.

— Коммунистов у нас маловато, товарищ полковник, — закончил он.

— Не маловато, а совсем мало, товарищ Шахаев! —

Демин встал из-за стола и быстро заходил по просторному генеральскому блиндажу. — А ведь у вас есть прекрасные люди, они отличаются от коммунистов разве только тем, что не имеют в карманах партийных билетов. Вот взять хотя бы этого учителя...

— Ерофеенко Акима?

— Да, Акима Ерофеенко. Что вы скажете о нем?

— Солдат он отважный. По-моему, надежный человек. Только... — Шахаев замялся, не зная, как высказать свою мысль.

— Что только?

— Необщителен он, товарищ полковник. Вроде мучает его что-то... И как бы недоволен чем...

— Недоволен?.. Что ж, и мы вот с генералом бываем кое-чем недовольны... — полковник посмотрел на Сизова и улыбнулся: он вспомнил прошедшее совещание, на котором пришлось пожурить командиров полков. — Недоволен я, например, состоянием парторганизации в вашей роте,— и начальник политотдела посмотрел на лейтенанта Марченко, стоявшего навытяжку у двери. — А мне кажется, ваш Ерофеенко будет хорошим коммунистом. И еще есть, наверное, подходящие люди. Вы присмотритесь к ним вместе с парторгом, товарищ Марченко!

Шахаев с пристальным вниманием следил за маленьким моложавым полковником; Демин сразу увидел то, что тревожило и самого Шахаева: чуть ли не каждая операция уносила из рядов их парторганизации все новых товарищей. И надо было думать о пополнении этих рядов.

Будто отгадав мысли Шахаева, полковник заговорил:

— Завтра у вас опять поиск. Разве вы гарантированы, что смерть не вырвет из ваших рядов кого-нибудь еще? Впереди нас ожидают жестокие и тяжелые бои. А вам опереться будет не на кого. — Демин снова посмотрел на лейтенанта. — Надо вам и комсомольцев сплотить. Мой помощник капитан Крупицын подобрал уже для вас комсорга. Парень боевой. Только вы, товарищ Шахаев, помогайте ему. Опыта у него немного. Вот так.

Начальник политотдела сел за стол, стал что-то записывать в свой блокнот. Комдив, в продолжение этого разговора смотревший в маленькое оконце и о чем-то беспо-

койно и напряженно думавший, сейчас приблизился к Марченко и сказал:

— Без «языка» не возвращаться. Предупредите об этом всех солдат. Идите!

В дверях разведчики столкнулись с капитаном — редактором газеты. Когда тот вошел в блиндаж, они услышали голос генерала:

— Побольше пишите о разведчиках. Находите среди них героев. Поднимайте их. Пусть делятся своим опытом. Это сейчас очень важно. Я вот тоже для вас кое-что тут написал... Но это, пожалуй, больше для пехотинцев.

Возвратившись к себе, Шахаев увидел в блиндаже нового бойца. Это был только что пришедший солдат, комсомольский вожак Вася Камушкин. Представившись Шахаеву, комсорг стал знакомиться с бойцами.

— Камушкин Василий! — протянул он руку сначала Акиму, потом Сеньке и смутился.

— Чего ты испугался-то? — сказал прямой и неделикатный Ванин. — Ну, будем знакомы — Семен Ванин!

Шахаев стоял в сторонке и улыбался, поблескивая крепкими белыми зубами. Семен поглядывал то на него, то на Камушкина, будто желая сказать: «А вот мы посмотрим, товарищ старший сержант, что это за комсорг к нам объявился».

В землянку вошел Пинчук. Узнав, в чем тут дело, он поздоровался с Камушкиным, критически посмотрел на ноги комсорга и успел заметить дырку на одном сапоге. Это был непорядок. Поэтому Пинчук предложил:

— Писля зайдете до мэнэ. Щось придумаем с вашим чоботом...

— Так вот, ребята, теперь вы познакомились. Учтите, товарища Камушкина нам подобрал сам капитан Крупицын, — сказал Шахаев, показывая глазами на комсорга. — Вася — парень, видно, боевой, тоже из разведчиков.

Слова парторга заставили Сеньку с уважением посмотреть на Камушкина.

Через минуту, окруженный разведчиками, Камушкин весело рассказывал им о себе.

Впрочем, Сенька вскоре его перебил:

— Ну вот что, пойдем-ка перекусим что-нибудь, Михаил Лачуга уже заждался нас... А для лучшего знакомства найдем удобное местечко. Вон там... — и Ванин показал в сторону переднего края.

6

Этот поиск готовился особенно тщательно. Зная, что комдив обязательно потребует «языка», разведчики во главе с Забаровым целыми сутками находились на переднем крае. Оттуда они наблюдали за противником, намечали объект будущей операции. Поэтому, когда Марченко передал Забарову приказ комдива, разведчики уже были готовы к делу.

К вечеру собрались в путь. Ждали ужина. Но в хозяйстве Пинчука случилась какая-то заминка. Забаров послал Ванина узнать, в чем дело. Еще издали Сенька услышал шум около кухни. «Опять Петро Лачугу пиляет», — подумал Ванин. Во дворе он увидел Кузьмича. Тот только что вернулся с ДОПа и теперь распрягал лошадь, что-то обиженно ворча себе под нос. Лицо его было пунцовым и страшно разгневанным. Сенька сразу догадался: тут произошло что-то неладное.

— Ты что такой хмурый, Кузьмич? — весело спросил он, помогая старику развязывать супонь. — Что случилось? Почему до сих пор нет ужина?

Но Кузьмич молчал, сердито сопя. Он изо всех сил нажимал ногой на клешню хомутины. И Ванин понял, что Пинчук накричал на Кузьмича за какую-то провинность.

— За что он тебя?

— А вот спроси его, — уловив сочувственные нотки в голосе Ванина, пожаловался Кузьмич.— Ума рехнулся человек. Орет, как скипидару хлебнул, — Кузьмич поплевал на руки и так натянул на себя супонь, что хомут хрупнул, а лошадь качнулась в сторону.

— Эге, а силенка-то у тебя еще есть, старик! — позавидовал Ванин. — Ну, а все-таки, что же произошло?

Кузьмич сделал вид, что не расслышал сенькиного вопроса, и принялся за постромки. Картина прояснилась, когда из мазанки вышел Пинчук. Он держал в руках кирпичик хлеба и все еще кипел, как тульский самовар.

— Накормил хлибцем, усатый бис! Ось подывись, Семен, можна такый хлиб исты? — рокотал он, показывая Ванину хлеб. — Нашел, в що хлиб завертаты — в лошадиную попону...

Сенька потянул носом и кисло поморщился: от буханки несло терпким запахом конского пота.

— Заставлю старого самого весь хлиб поисты! — бушевал Пинчук.

Сегодня он хотел отличиться и получше накормить разведчиков, уходящих в поиск. Почти полдня он провертелся у котла, помогая Лачуге готовить ужин и боясь, как бы тот не испортил пищу. И уж никак не мог подумать Пинчук, что неприятность подстережет его совсем с другой стороны. Мог ли он предположить, что старый и исполнительный Кузьмич его так подведет?

Кузьмич, обиженно кряхтя, молча насыпал ячмень в торбы. Он даже не пытался защищаться. Старик, конечно, понимал, что дал маху, но стоило ли из-за этого подымать столько шуму?! Пинчука же это молчание провинившегося ездового злило еще больше, и он басил на всю округу:

— Була б гауптвахта, посадил бы я тебя днив на пять, тоди б ты научился думать головою!.. Що ж мени теперь робыты? — вдруг обратился он к Сеньке, растерянно разводя руками. — Бийцив накормить нечем. Бэз ножа заризав, старый качан!

— Не расстраивайся, Петро Тарасович! Слопают, — успокаивал его Ванин. — Не слишком важные господа. Будут уминать за обе щеки, только держись, — и, подтверждая свои слова делом, Сенька откусил от угла хлебного кирпича большой кусок. Старательно прожевал его под внимательным, ожидающим взглядом Пинчука, чмокнул губами и добавил: — Так даже приятнее — с душком-то. Аппетиту придает.

— А икаешь чому? — испугался Пинчук.

— Понятно — что. Всухомятку такой кусище проглотить... Ничего, пойдет, давай неси!.. И вообще ты, Петро Тарасович, поторапливайся. Нам пора выходить. Говорят, из штаба армии какой-то представитель прибыл. Будет ждать нашего возвращения. Знаешь, как нужен сейчас «язык»?!

Делать было нечего. Пришлось Пинчуку кормить разведчиков хлебом с кузьмичевой приправой. Бранились они здорово, но хлебец все же съели. А потом еще долго смеялись друг над другом.

— Что ты наделал, старшина! — пресерьезно говорил Ванин. — Ведь теперь в разведку нельзя итти. Учует немчура, подумает — кавалерийский эскадрон наступает, да и подымет шумиху. Мы и вернемся с пустыми руками.

— А ты бензину або солярки выпей, зараз весь дух из тебя вылетит, — посоветовал ему повеселевший Пинчук.

Вскоре разведчики во главе с Забаровым тронулись в путь. Пинчук долго смотрел им вслед. Это был первый поиск, проводимый без него. Дольше его взгляд останавливался на разведчиках, с которыми он ходил на последнюю операцию. Добрая, подбадривающая улыбка пряталась в его длинных усах. А глаза, мудрые пинчуковы глаза, так и просили: «Возвертайтесь, хлопцы, живыми, не згиньте!»

В дубовом лесу было сыро и сумеречно. По вершинам пробегал свежий после дождя ветерок, и деревья шумно отряхивались, сбрасывая с листьев крупные дождевые капли. Где-то в глубине леса барабанил носом дятел, грустила сиротливая горлинка, да на поляне плакала иволга. Пучеглазая сова, прозрев к ночи, неслышно носилась меж стволов, и её крик оглашал лес, загоняя маленьких пичужек по своим дуплам.

Разведчики шли гуськом, по-волчьи, след в след и как всегда — тихо. Впереди — Забаров. Он шагал, подавшись всем туловищем вперед; бойцы шли за ним, словно были привязаны к нему веревкой, невидимой в темноте. Так идут на поиск все разведчики. Они покидают свои блиндажи под вечер и, обвешанные гранатами и ППШ, отправляются в путь. Идут без дорог, глухими тропами. Днем отсыпаются в своих обжитых норах — маленьких блиндажах. Летом — зеленые, зимой — в белых халатах. Кто знает, что чувствует разведчик, когда подходит он к неприятельскому переднему краю, какие думы теснятся в его голове...

Вышли в район обороны правофлангового полка. Вторая, запасная, линия обороны начиналась сразу же за лесом и глубокими ходами сообщения спускалась к первой, где сухими горящими сучьями потрескивали пулеметы и автоматы. Темную ткань неба разрезали красные ножницы прожекторов да расцвечивали ракеты. За Донцом то и дело вымахивали зарницы, сопровождаемые тяжелым и глухим стоном орудий. А потом южнее, там, где безумолку токовал наш «максимка», рвались снаряды, разгребая черноту ночи яркими рассыпающимися искрами. Во тьме тарахтел «У-2». Длинные языки немец-

ких прожекторов жадно вылизывали небо, но не могли найти маленького самолета.

Выйдя из леса, разведчики спустились в один из многочисленных ходов сообщения и пошли по нему, шурша маскхалатами. Забаров с удовлетворением отметил, что, кроме этого шуршания, ничего не было слышно. «Молодцы!» — подумал он, ныряя под бревенчатое перекрытие и отжимая к стене встречного солдата с термосом за спиной.

— До переднего еще далеко? — словно бы шел впервые, спросил Ванин задерживаясь.

— Да нет. Может, метров двести,— ответил тот.

«Ну ж, врет!.. Еще с полкилометра топать», — усмехнулся Сенька.

В другом месте разведчики натолкнулись на какого-то солдата, лежащего на дне траншеи. Думали, спит. Забаров даже ругнулся вполголоса и тихо пнул лежащего носком сапога. Но солдат не шелохнулся. Осветив его фонариком, старшина увидел, что боец мертв; лицо его было залито еще не запекшейся кровью, руки неловко закинуты назад, будто кто-то хотел связать их. И только сейчас Забаров заметил свежую воронку на кромке траншеи. Пригнувшись, он быстро пошел вперед. Разведчики, жарко дыша, поспевали за ним. Всегда хочется поскорее убраться от того места, где только что прогулялась смерть...

...Наконец дохнуло свежестью реки. Над головами разведчиков все чаще стали попархивать немецкие пули. Бойцы находились уже в расположении стрелковой роты, занимавшей оборону почти у самого берега. Здесь Забаров оставил разведчиков ждать условленного часа, а сам с одним солдатом ушел вперед организовывать переправу. Шахаев, Аким и Сенька протиснулись в блиндаж старшины роты, остальные разведчики вместе с комсоргом Камушкиным забрались в пустой блиндаж, оборудованный для раненых на случай боя.

В старшине роты Шахаев узнал сержанта Фетисова, когда-то так здорово отбранившего Акима.

— А, старые знакомые! — приветствовал вошедших сержант, вставая из-за столика. — Владимир Фетисов! — и он сунул большую ладонь в руку Шахаева. Затем поздоровался с остальными. — Значит, туда? — махнул он в сторону реки.

— Выходит, что так, — улыбнулся Шахаев.

— В час добрый. Только будьте осторожнее. Немец что-то беспокойно ведет себя. Целыми ночами возня за рекой.

— Спасибо за совет. А это что у вас? — вдруг спросил Шахаев, заметив на столе, рядом с листом бумаги, заполненным какими-то цифрами, целую пригоршню осколков от мин.

— А-а... Это я голову ломаю тут над одной штукой.

— Над какой?

— Один интересный расчет произвожу, — живо заговорил сержант, беря в руки исписанный лист. — Эти осколки я собрал на дне воронки от нашей батальонной мины. А вот эти — от немецкой. Немецкая мина всего лишь на один миллиметр меньше нашей в калибре, а осколков от нее, в самой лунке, остается в два раза больше. Поражения эти осколки, что в лунке, понятно, никакого не приносят. Стало быть, убойная сила нашей батальонной мины в два раза превышает убойную силу немецкой. Значит, наши минометы и мины куда лучше немецких!

— Это же известно! — заметил Ванин.

— А я не об этом хочу сказать. Мне кажется, что мощь нашей мины можно еще увеличить. Вот о чем я думаю!

— Что ж вы намерены сделать? — заинтересовался Шахаев.

Фетисов снова посмотрел на осколки.

— Проведу свои расчеты до конца. Составлю кое-какие чертежи. Пошлю в Москву, там посмотрят.

— Пока ваше изобретение утвердят и дадут ему ход, пожалуй, война кончится, — сказал Шахаев, вынимая из-под маскировочного халата кисет с табаком.

— Ну и что ж с того?

— Как что? Мина-то никому не нужна будет, — снова вмешался в разговор Ванин, под шумок протягивая руку к шахаевскому кисету. — Плуги и трактора будем после войны делать, а не твои мины.

— Это, брат, хорошо, что ты в завтрашний день заглянул,— возразил немного обиженный Фетисов.— Плохо только, что не все там увидел. Ты что ж, считаешь, что после Гитлера у нас и врагов больше не будет?.. Мы, конечно, будем делать и плуги и трактора — больше, чем до войны. Но и хорошее оружие нам тоже не помешает.

— А кем вы работали до войны? — неожиданно обратился к Фетисову Аким.

— До войны у меня была самая мирная профессия. Агрономом я работал.

— Агрономом?

— Да. А сейчас, как видите, думаю об оружии.

— И очень хорошо делаете, что думаете! — Аким посмотрел в лицо старшины, как бы изучая его. — Вы правы, товарищ сержант. Вы очень правильные слова сейчас сказали. У садовника — самая что ни на есть мирная профессия. И после войны мы сделаем нашу страну большим садом. А хороший сад лучше стеречь с ружьем, чем без него.

Аким не спускал взгляда с простого загорелого лица Фетисова, с его спокойных и умных глаз, с озабоченных морщинок на высоком лбу. И вдруг рядом с этим лицом он увидел другое — бледное, бородатое, болезненно подергивающееся лицо Володина. Аким тряхнул головой, как бы желая избавиться от этого воспоминания, и вновь стал пристально смотреть в опаленное войной лицо Фетисова.

Глядя на Фетисова, Аким невольно вспомнил слова Пинчука, сказанные им как-то о боевом солдатском опыте: «Його треба собрать до кучи, посмотреть, отобрать, якый поценнее, на будуще годится, и в книгу».

«Мы только мечтаем об этом, а Фетисов уже собирает крупицы военного опыта», — подумал он и сказал почти торжественно:

— У вас светлая голова, товарищ сержант!

Шахаев следил за Акимом. Он вновь подумал о том, как был прав начальник политотдела, сказавший об этом солдате: «Ваш Аким будет хорошим коммунистом».

И парторг улыбнулся.

Время приближалось к полуночи, когда в блиндаж ввалились капитан Гуров и румын Бокулей. Они принесли пачки листовок, заметив которые, Шахаев спросил:

— Опять?

— Опять, товарищ Шахаев, — Гуров стащил с головы пилотку и обтер ею свой голый, коричневый от загара череп: по дороге сюда они попали с Бокулеем под сильный артиллерийский налет. Гуров прополз на животе метров двести и теперь никак не мог отдышаться. —

Листовки надо забросить немедленно. Такой приказ Поарма[1].

— Забросим.

Вернулся Забаров и приказал выходить.

— Пора,— сообщил он коротко. И, наскоро попрощавшись с Гуровым и Фетисовым, старшина направился к выходу. Около двери его кто-то тихо дернул за маскхалат. Забаров оглянулся и встретился с блестящими, ласковыми восторженными глазами румына. Путаясь от волнения, Бокулей пролепетал:

— До свидания, товарищ!.. Бун... Карашо желаю!..

— До свидания, Георгий! Спасибо! — и Забаров крепко пожал его руку. Бокулей еще долго ощущал теплоту широкой забаровской ладони на своих пальцах.

Разведчики завернули в ход сообщения и направились к Донцу. Грунт был песчаный и осыпался от малейшего сотрясения. В брустверы траншеи, шипя, слепнями впивались пули.

Шли молча. Ванин беспокойно сопел за спиной Акима.

— Ты что? — шопотом спросил Аким.

— Неловко получилось.

— Ты о чем это? — не понял Аким.

— Не попрощался... Обидится...

Сенька беспокоился о Вере, работнице полевой почты. Аким знал, что в последнее время дружба Ванина с этой девушкой все более крепла. Но все же Акиму было странно слышать такие слова от озорного и беспечного Сеньки. Он спросил, задержавшись на минуту:

— Любишь ее, Семен?

— Иди, иди, чего остановился! — подтолкнул его Ванин, потом все же добавил: — Обидится, наверно...

— Вернешься — обрадуется,— успокаивал его Аким.

— Нет, все равно обидится. Она у меня такая...

«Ах, Сенька, Сенька! Вот тебе и шалопай!» Аким тяжело вздохнул, ощутив прилив легкой грусти. «Счастливый», — подумал он про Ванина и быстро зашагал, догоняя товарищей.

Звезды тихо сыпались на землю, встречаясь с взлетавшими ракетами. Из-за темневшей впереди горы выползал огрызок черной тучи, по нему выпускал кривые

---

[1] Политотдел армии.

очереди неугомонный «максим». Где-то, невидимая, покашливала бронебойка.

Из соседней траншеи до разведчиков, которых для чего-то остановил Забаров, доносился отчетливый солдатский говорок:

— Савельев, где твои подсумки?

— В блиндаже, товарищ младший сержант.

— Он в них махорку прячет.

— У него там весь мобзапас.

— Врут они, товарищ младший сержант.

— Ну, ладно, иди возьми их.

— Есть!

— Хлопцы, а Мачильский свой НЗ уж съел.

— Старшина все равно догадается. Он ему съест!

— Старшине некогда. Он осколки минные собирает, точно опенки...

— Хо-хо-хо!

— Что хохочешь? Может, они ему для науки какой...

— А я что?.. Я ничего...

— То-то что ничего.

Как всегда бывает у солдат, их шутливо-дурашливый разговор постепенно сменился на серьезный.

— А немцы опять замышляют что-то. Не иначе как в наступление собрались. Силенка, видать, еще есть у них. Танки так и ревут за Донцом.

— Что верно, то верно! — долетели до разведчиков ответные слова. — Силенка у немцев еще имеется. Только с нами им не сравняться. Ездили мы со старшиной в Шебекинский лес за патронами. Батюшки мои, что там творится! За каждым деревом — орудие стоит. А танков — тьма-тьмущая. И все новенькие, каких раньше и не видно было.

— И НЗ нам выдали неспроста.

— Будет заваруха!..

— Как бы его, проклятого, навсегда отучить от наступления!..

— И отучим! Пусть попробует сунется!..

Разговор смолк. Ночь разливала над окопами чуткую тишину.

— Разболтались черти! — пробормотал Сенька, ежась не то от холода, не то от беспокойно-тревожного ощущения, охватившего вдруг его. По команде Забарова разведчики двинулись вперед.

Вышли к реке. Прислушались, всматриваясь в темноту. В камышах чернели две тупоносые долбленые лодки. Возле них сидел на корточках солдат-сапер. Заметив разведчиков, он поднялся, подошел к Забарову, которого, очевидно, хорошо знал.

— Ну что, будем отчаливать? — спросил он.

— Обождем немного, как месяц скроется.

Туча, подгоняемая теплым южным ветром, темной громадиной надвигалась из-за горы. Становилось черно и душно. Хотелось развязать шнурки маскхалата, облить грудь холодной водой.

— Садись, — вполголоса скомандовал Забаров.

Разведчики по одному стали заходить в лодки, стараясь сохранять равновесие. Первым отчалило от берега отделение Шахаева. Лодка была узкой и при малейшем движении грозила опрокинуться.

«С этим дредноутом не мудрено и на дно пойти», — невесело думал Ванин, развязывая пачку с листовками.

Через Донец переправились бесшумно. В прибрежных зарослях попрятали лодки. Ванин и Аким быстро разбросали листовки.

Впереди, метрах в двухстах, маячила высота 224,5. Там находился немец-наблюдатель. Вот его-то Забаров и решил захватить. Старшина еще несколько дней тому назад высмотрел скрытые пути подхода к этой вражеской точке. Только бы ничего не изменилось...

Поползли.

В этот поиск впервые вышел Алеша Мальцев. Не спуская слезившихся от напряжения глаз с Шахаева и Забарова, он полз быстро, расторопно, и все же поспеть за старыми разведчиками ему было нелегко. Только Аким был с ним рядом. Это успокаивало Мальцева. Алеша жался к опытному разведчику. Аким понимал состояние молодого солдата и шопотом подбадривал:

— Ничего, Мальцев, ничего. Поползем вместе. Все будет в порядке. Следи и слушай хорошенько...

Алеша полз. Мешали висевшие на животе автоматные диски, как тяжелые гири лежали в карманах гранаты. Соленый пот резал глаза. Вдруг с отвратительным свистом почти рядом взвилась ракета. Описав дугу, она рассыпалась над землей. И в ту же минуту, как показалось Мальцеву, над самым его ухом загремел пулемет. Сердце Алеши сжалось. Воздух наполнился пчелиным жужжа-

нием пуль. Но так длилось недолго. Пулемет умолк, и стало опять тихо. Алеше подумалось, что стало тише прежнего. Коснувшись локтя Акима, он чуть успокоился.

Разведчики лежали не шевелясь. Время тянулось мучительно долго. Алеша чувствовал, что в груди снова вырастает волнение. Чтобы унять его, он до боли стиснул зубы, приглушил дыхание и зажмурился. Когда, наконец, он оторвал от земли голову и открыл глаза, то никого не увидел вокруг себя. Алеша чуть было не заплакал от горя и страха, но побоялся, что его могут услышать немцы. Собрав все силы, Алеша пополз вперед, думая, что разведчики находятся там. Он полз долго и настойчиво. Вдруг впереди выросла гигантская фигура Забарова и опустилась на что-то невидимое Мальцеву. Раздался короткий нечеловеческий крик — так кричит пойманный в капкан заяц. Алеша лежал на своем месте и не знал, что ему делать. Сенька и Аким проволокли мимо него немца. «Что теперь скажут обо мне в роте, — подумал Мальцев, — ничего себе разведчик!»

— Прикрывай нас! — прошептал Ванин, но Алеша не сразу понял, что это было сказано ему.

Впереди как будто никого не было, и Мальцев не знал, куда он должен стрелять и от кого прикрывать разведчиков. Немцы открыли яростную слепую пальбу. Тогда Алеша тоже начал стрелять наугад, лишь бы стрелять и не слышать стрельбы противника. В стороне от Мальцева пробежал Забаров, потом за ним промелькнули Шахаев и еще один разведчик, которого Алеша не узнал. Все это произошло так быстро, что Мальцев даже не успел спросить Шахаева, что же ему делать. Он остался один на враждебном поле. Во всяком случае, так казалось ему. Леденящее душу одиночество и страх опустились на бойца. Алеша сжался, уткнул голову в духовитую землю. Так лежал он до тех пор, пока стрельба немцев не приблизилась к нему. Тогда он приложил к плечу автомат и снова открыл огонь. Не заметил, как расстрелял первый диск. Механически вставил второй, он расстрелял и его. Теперь у бойца оставались гранаты и нож. Алеша стал торопливо шарить у себя в карманах. Но в это время чья-то рука опустилась на его спину. Алеша рванулся в сторону, но рука крепко удерживала его. Мальцев, холодея, оглянулся и встретился с искорками маленьких глаз парторга.

— Мальцев!.. — Шахаев схватил бойца за руку и быстро побежал с ним вниз, к реке.

Со всех сторон слышалась стрельба. Ее вели немцы, стреляли разведчики, с левого берега била наша артиллерия, звонко ахали мины, в воздухе, как при фейерверке, кипели разноцветные ракеты. Они с шипением падали в воду, на брустверы окопов и траншей.

Забаров широко раздувал ноздри, прислушиваясь к пальбе. Привычное чувство боевой радости и одержанной победы наполняло его. Теперь он был спокоен. Старшина отлично понимал, что вся эта бестолковая ночная сутолока уже не может помешать ему.

У лодок с автоматом в руках терпеливо дежурил сапер. Шум в камышах заставил его вздрогнуть.

— Свои, — послышался сенькин голос, и солдат опустил оружие.

— Думал, немец лезет, — сказал он.

— Ты прав — вот и немец! — Ванин подтолкнул пленного вперед. — Хорош «язычок»?

Вслед за Ваниным и Акимом стали подходить и другие разведчики. Прибежал Забаров, вскоре появился и Шахаев с Алешей.

— Ранен? — встревожился старшина, видя, что Шахаев держит бойца за руку.

— Нет, кажется, руку повредил.

Мальцев с тихой благодарностью посмотрел на парторга.

—Спасибо вам, товарищ старший сержант...

— Ладно, молчи, — остановил его Шахаев и полез в лодку.

— Ну, фриц, ком! — подогнал Ванин немца. — Вот долговязый, чертяка! А дрожит, сучий бес. Давай, давай, что встал!..

Немец послушно и, как показалось разведчикам, даже охотно прыгнул в лодку. При свисте рвущихся мин и снарядов он вздрагивал сильнее, прятал голову и шептал: «Майн гот! Майн гот!..»

Лодка, шелестя в камышах, мягко ткнулась в песчаный берег. Разведчики быстро выскочили из нее и, пригнувшись, подталкивая немца, побежали в траншею. Прыгнув в нее, увидели человека.

— Кто это? — окликнул Забаров.

— Не узнаете? Это я — Фетисов.

— А, сержант! Так ты почему же не спишь?

— Не спится что-то последние ночи, да и вас хотелось встретить.

— За это спасибо, — Забаров стиснул руку Фетисова в своей огромной ладони. — Как тут, все тихо?

— Пока да. Но, видно, недолго быть тишине...

Стрельба за рекой на некоторое время прекратилась. И разведчики различили далекое низкое урчание моторов и глухое постукивание гусеничных траков.

— Танки, — безошибочно определил Забаров.

— Они,— подтвердил Фетисов.— Боевое охранение надо усилить, послать туда солдат поопытней, сталинградцев...

Разведчики распрощались с Фетисовым.

Сержант еще долго стоял в траншее, на прежнем месте, прислушиваясь к далекому гулу моторов. Потом свернул в ход сообщения, ведущий в боевое охранение.

На правом берегу Донца продолжалась перестрелка. Стараясь дать возможность группе захвата переправить пленного через реку, разведчики, возглавляемые комсоргом Камушкиным, огнем сдерживали немцев, решившихся, наконец, выйти из окопов. На бледном фоне неба было хорошо видно перебегающих неприятельских солдат. Их становилось все больше и больше. Камушкин сообразил, что его группа может попасть в окружение. Не желая рисковать бойцами, он приказал им отходить, а сам продолжал отстреливаться от наседавшего врага. Расстреляв все патроны, комсорг пополз вниз, к реке. Очевидно, в темноте он сбился с пути, потому что у Донца не нашел ни лодки, ни бойцов. «Поплыву», — решил Камушкин. Подняв над головой автомат, вошел в черную, как нефть, теплую воду. Едва он сделал несколько шагов, как по верхушкам тростников сыпанула автоматная очередь. Потом — вторая, третья... Сначала — высоко, а потом — все ниже и ниже. И вот уже пули, как дождевые капли, запрыгали, забулькали вокруг разведчика. Опрокинувшись на спину и держа в вытянутой руке автомат, Камушкин поплыл. Тяжелые керзовые сапоги и намокшее обмундирование тянули его вниз, ноги с трудом сгибались.

Немцы, видимо, еще не обнаружили его и прохажи-

вались косыми очередями по всей реке — так криво сыплет дождь при сильном порывистом ветре: то назад, то вперед, то в стороны. Камушкин знал, что в таких случаях надо нырять, прятаться под водой, но он боялся утонуть — нырнешь, а вынырнуть уже не сможешь. Плыл Камушкин очень медленно. Каждый метр приходилось преодолевать великим усилием мышц и воли. А немецкие пули шлепались рядом, забрызгивали лицо разведчика водяными каплями. На середине реки он вдруг почувствовал тупой удар в левое плечо. Рука, как подрубленная, вместе с автоматом упала на воду. В плече стало почему-то горячо и даже приятно. «Почему это?» — пытался сообразить разведчик, все еще не понимая, что его ранило. Напрягая последние силы, он все же продолжал плыть. Темное, беззвездное небо вдруг качнулось, начало снижаться. Камушкину стало очень страшно. «Что это?» — подумал он еще раз и перестал шевелить ногами. И вдруг он с радостью ощутил вязкое дно. Собрав остаток сил, пошел к берегу, неся, как плеть, безжизненную левую руку. Он только теперь обнаружил, что с ним нет автомата, и сильно испугался. Хотел было вернуться, но разве найдешь его на дне реки? Да и сил не было на это. Камушкин вдруг почувствовал, что вместе с оружием он потерял и возможность двигаться дальше. Сделал еще два шага и тяжело упал у самого берега.

Темная туча закрыла последний клочек неба. Только ракеты да светящиеся пули попрежнему тыкались в ее черное брюхо.

На рассвете разведчики нашли своего комсорга. Он лежал без сознания, наполовину в воде. Пришел в себя к вечеру в медсанбате, и то лишь после того, как ему сделали вливание крови.

На следующий день Камушкина навестили его боевые друзья. Пришел с ними и Алеша Мальцев; после вчерашней ночи он так привязался к парторгу, что ходил за ним по пятам. Сначала Алеша был твердо уверен, что Шахаев доложит о его замешательстве в бою лейтенанту Марченко и тот отчислит его из роты. Но Шахаев не сделал этого. Он даже не показал виду, что и сам знает что-то об Алеше. Только бесцеремонный Ванин не преминул сделать замечание Мальцеву:

— Ты где это, Алеша, ночью-то пропадал? Уж ты того, не струхнул ли малость? Что-то похоже на это...

— А ты оставь свои глупые догадки! — прикрикнул на него Шахаев, и Сенька замолчал.

В ту минуту Алеша готов был расцеловать парторга. Пинчук привез Камушкину подарок — пачку «генеральских», добытую у Бориса Гуревича, и новое обмундирование, с великим трудом выпрошенное у Ивана Дрыня — заведующего вещевым складом.

— Ну, як Гобсек, цей Дрынь! — жаловался Петр, подавая счастливому Камушкину гимнастерку и брюки.

В палатку заглянула сестра.

— Товарищи, потише, — попросила она.

Разведчики стали разговаривать почти шопотом.

— Как рука? — спросил Шахаев у Камушкина.

— Болит, но шевелить могу. Скучно мне тут, ребята, — с грустью признался комсорг и задумчиво посмотрел в раскрытую дверь. Там зеленели, шелестя резными лапчатыми листьями, мокрые дубы. На одном сучке покачивалась, мелькая хвостом, осторожная сорока. Вася улыбнулся.

Ты, сорока-белобока,
Научи меня летать
Ни далеко, ни высоко —
Только с милой погулять.

Эту песенку пел он мальчонкой, радуясь, бывало, что под окнами прокричит пернатая вещунья. «Быть гостям или письму», — говаривал в таких случаях отец.

«Неплохо было бы получить письмецо», — подумал Камушкин.

Он вдруг почувствовал, что у него кружится голова, и опустился на подушку.

Из сортировочной доносились стоны раненых. Чей-то умоляющий голос все время просил:

— Сестрица, родненькая, потише... Ой, мочи моей нет...

— Потерпи, родной, сейчас все кончится, потерпи, — успокаивал уже знакомый разведчикам девичий голос.

— Бинт-то присох... ой-ой-ой... не могу я...

— Ты же не ребенок, а солдат. Потерпи, — строго звучал голос сестры.

Боец умолк.

В лесу, где размещался медсанбат, стоял размеренно-неторопливый гомон. Здесь, кроме резервных частей, рас-

полагались также все хозяйственные подразделения дивизии, ружейные мастерские, склады боеприпасов, ветеринарные пункты. Слышались тарахтение повозок, ржание лошадей, говор и незлобивая брань повозочных, кладовщиков, артиллерийских и ружейных мастеров, писарей — всей этой хлопотливой тыловой братии, проводившей дни и ночи в беспокойных заботах. Труд этих, по преимуществу уже пожилых людей, как и труд тех миллионов, что находились в глубоком тылу, проводя бессонные ночи у станков и на полях, поглощался прожорливым и нетерпеливым едоком — передним краем фронта.

Над темнозеленым ковром леса, в безбрежной синеве, разгуливали патрулирующие «ястребки» да прокладывали белые небесные шляхи одинокие самолеты-разведчики.

Раненый в сортировочной молчал.

— Терпит. — Камушкин заворочался на койке. — А ведь совсем мальчишка. Я видел, как его несли на носилках... Терпит парень. До войны, небось, от занозы ревел. А сейчас!.. И откуда у людей сила берется, терпение такое? Словно бы на огне каждого подержали!

— На огне и есть, — сказал Пинчук.

Камушкин вдруг снова поднялся на локтях, заговорил мечтательно:

— Знаете, ребята, о чем я думаю?

— Знаем, Вася. Ты думаешь удрать из медсанбата к нам поскорее. Одобряю! — без малейшего сомнения заявил Ванин.

— Конечно. Но не только об этом я думал. Мне бы вот подучиться хорошенько, — люблю я рисовать, — и написать такую картину, чтобы вот тот, — Камушкин показал в сторону палатки, где еще недавно стонал раненый, — чтобы такие, как он, встали в ней во весь свой рост — большие, сильные, красивые!..

Комсорг плотно сдвинул пушистые брови. Тонкие морщинки паутинками разбежались по его лицу. Так, закрыв глаза, он лежал несколько минут, о чем-то думая. Потом поднял веки и, возбуждаясь и удивляя разведчиков, стал рассказывать им о великих художниках, чьи кисти перенесли на полотна жизнь во всем ее прекрасном и трагическом. Камушкин радовался, как ребенок, видя, что его

внимательно слушают. Особенно воодушевился Аким. Споря и перебивая друг друга, они стали говорить о замечательных русских и европейских живописцах. При этом Шахаев успел заметить, что Акиму больше нравились Левитан, Перов, Саврасов, из советских — Сергей Герасимов; Камушкину — Репин, Верещагин, из современных — художники студии имени Грекова, куда в тайнике души он и сам мечтал попасть после войны.

Аким снова поразил Сеньку своими познаниями.

«Когда это он всего нахватался»? — подумал он с легкой, не свойственной ему грустью, искренне завидуя товарищу.

Где-то, за лесом, туго встряхнул землю тяжелый снаряд. Листья деревьев испуганно зашептали, зашелестели, сорока вспорхнула и замелькала между стволами, оглашая урочище оголтелым криком. В палатке задрожало целлулоидное оконце. Под ногами разведчиков глухо прогудело.

Камушкин умолк, уронив голову на подушку, будто этот снаряд вернул его к суровой действительности.

Аким посмотрел на комсорга, на других разведчиков. «Все они учились в советской школе», — подумал он, и от этой мысли ему стало очень приятно.

Попрощавшись с Камушкиным, разведчики вышли из палатки. Сенька о чем-то тихо попросил Шахаева. Тот кивнул головой. Саратовец с независимым и деланно спокойным выражением лица замедлил шаг и завернул влево, на лесную тропу.

— Привет ей от нас передавай!.. — крикнул ему вдогонку Алеша Мальцев с явным намерением смутить отчаянного ухажора.

«Я вот тебе передам!» — мысленно погрозил ему Сенька, недовольный тем, что друзья разгадали его намерение.

Круто повернувшись, Сенька прибавил шаг, направляясь к полевой почте.

Недалеко от палатки, в которой лежал Камушкин, под старым обшарпанным дубом, обмахивались куцыми хвостами кузьмичовы лошади. Их хозяин сидел на спиленном дереве и мирно беседовал с пожилым повозочным. Колечки сизого дымка струились из-под усов обоих собе-

седников и вились над их головами вместе с тучей мелкой назойливой мошкары.

— Вот я и говорю, — неторопливо, с крестьянской степенностью продолжал ездовой, очевидно, давно начатый разговор, — умнее после войны будем хозяйствовать. Еще умнее... Глины и песку у нас хоть отбавляй. Можно и кирпичный и черепичный в районе для всех колхозов поставить — пожалуйста! Оно и надежней, да и подешевле выйдет. И лес возле села сохранится. А то земля-то — наша, и все в наших руках, а иной раз глупости допускали... Теперь уж того не будет... Да и то сказать: в коммунизм-то надо с умными головами итти. Я так полагаю...

Солдат не договорил. Заметив разведчиков, он поднялся, спрятал в карман кисет и валкой походкой направился к своей повозке, медленно переставляя ноги.

— Мабудь, земляка побачив? — спросил подошедший Пинчук.

— Нет. С Волги он, из-под Камышина. Завхозом в артели работал. Все планирует да прикидывает, как бы после войны дела поумнее наладить в колхозе. Беспокойный человек. Люблю таких...

Кузьмич отвязал лошадей, подтянул подпруги, ловко, не по-стариковски вскочил на повозку и выметнулся на дорогу.

— Из якого полка вин? — спросил Пинчук.

— Из артиллерийского. Раненых в санбат привез. Говорит, эти дни минуты не дают покоя — все снаряды возят на передовую. Сказывает, целые горы навозили, прятать некуда...

— В нашу б роту його, — сказал Пинчук, искренне жалея, что не поговорил с повозочным: уж больно ценил он в людях хозяйственную струнку!

Подъехав к своей землянке, разведчики заметили, как в нее стрелой влетела ласточка.

— Может, выберем себе другой блиндаж, а этот оставим ласточке? — предложил Мальцев.

— Ты плохо знаешь ее, Алеша. Если ласточка решила поселиться в нашем жилище, значит, она не боится нас. Кто знает, может быть, как раз на этом месте когда-то стоял хлевушок, в котором родилась эта ласточка...— и Аким смело вошел в блиндаж.

Ласточка действительно не испугалась разведчиков. Она сидела на маленьком сучке, где ею уже были налеплены кусочки грязи, смешанные с соломинками, — фундамент будущего гнезда, и с любопытством наблюдала за солдатами, которые осторожно рассаживались по своим местам. На шейке смелой пичуги мигало красное пятнышко. Аспидная спинка и стрельчатый хвостик отсвечивали синевой, оттеняя белоснежное брюшко.

— Умница! Вот так и надо делать всегда! — расчувствовался Алеша. — Разведчики— народ добрый. Не тронут. Только фашистам не верь, остерегайся их — нехорошие они, фашисты...

В полдень вернулся Сенька. Сверкая светлыми глазами, он подкрался к Акиму сзади и схватил его за шею.

— А ты все пишешь, Аким?

— Собственно... что все это значит? — освободился от сенькиных объятий Аким. — Я ж тебе... — он хотел сказать, «не Вера», но раздумал, боясь смутить своего беспокойного друга.

Повернувшись к столу, Аким вновь склонился над бумагой. Он записывал свои впечатления в дневник. Глядя на Акима, захотелось вести дневник и Сеньке. Он выпросил у запасливого Пинчука общую тетрадь, вынул из кармана автоматическую ручку и уселся рядом с Акимом. Будучи глубоко убежденным, что начало обязательно должно быть лирическим, написал:

«Сегодня состоялась тихая, приветливая погода».

Потом долго думал, что еще прибавить к этому, но так ничего и не придумал. Немного поколебавшись, положил свою ручку перед Акимом.

— Возьми, Аким! Это оружие не для меня.

7

Возвращаясь с наблюдательного пункта, Марченко решил зайти на огневые позиции батареи старшего лейтенанта Гунько. Он любил поболтать со своим другом. Был поздний час. В такое время Гунько обычно находился в своем блиндаже — либо рылся в книгах, либо корпел над таблицей стрельбы, делая какие-нибудь сложные вычисления. Это было хорошо известно Марченко, и это было причиной их частых споров. Разведчику порой казалось, что его товарищ рисуется, хочет «свою уче-

ность показать»: «вот, мол-де, и на войне я нахожу время для работы над собой». Марченко это раздражало, и он начинал язвительно подсмеиваться над другом.

— Читай, читай, полковник Павлов таких любит. В звании повысит, — говорил он.

Гунько сначала улыбался, потом терпеливо отмалчивался, наконец его начинали злить глупые насмешки друга; завязывался спор, который обычно заканчивался яростной ссорой. А на следующий день лейтенанты звонили друг другу по телефону, чтобы помириться. И мирились.

На этот раз Петра в блиндаже не оказалось. Ординарец сообщил, что командир ушел на батарею. Наверное, сейчас вернется.

Гунько действительно скоро вернулся. Плащ-накидка и сапоги на нем были вымазаны в глине, лицо запылено, но его желтые глаза смотрели весело и оживленно. Командир батареи был явно доволен чем-то. Увидев у себя разведчика, он искренне обрадовался:

— Вот хорошо, что ты пришел!.. А то не перед кем было бы похвастаться! Знаешь, так оборудовали мои орлы огневую позицию, что и ночью ни один немецкий танк не проскользнет! Каково? Правда, немцы не любят наступать ночью. Но они, наученные горьким опытом, могут изменить свою тактику, хотя это на них и не похоже. Во всяком случае моя батарея готова и к ночным боям. Ну, как ты находишь?

— Что ж, молодец! — ответил Марченко.

Желтоватые глаза Гунько ликующе блеснули.

— Э, да я еще не то приготовлю фашистам! Будут они кровью харкать!..

— Ладно, довольно хвастать. Ты лучше расскажи, как твоя батарея на занятии провалилась. Ведь я все знаю.

— И ты это считаешь провалом? — Гунько нахмурился.

— Конечно.

Занятие, о котором сейчас говорили лейтенанты, проводилось несколько дней тому назад, в тылу дивизии. Гунько с радостью вывел свою батарею на это занятие, ибо чутьем опытного фронтовика он понимал, что. близятся большие сражения и нелишне потренировать еще бойцов.

Несколько тягачей медленно волокли по ровному полю макеты танков. Солдаты-артиллеристы, посмеиваясь, легко расстреливали макеты. Гунько слышал, как бойцы перебрасывались едкими замечаниями:

— Потеха, а не учение!

— Ползут чорт те как!..

— Эх, генерал не видит, дал бы он жизни, кому следует, за эту прогулку!..

— И даст. Он, небось, с наблюдательного пункта все видит.

Гунько подбежал к водителям и закричал на них:

— Что ж, по-вашему, немецкие танки таким же черепашьим ходом будут итти?.. Маскируйтесь хорошенько! И дуйте полным ходом. Увертывайтесь от выстрела, чорт бы вас побрал совсем!..

Тягачи взревели и, рванув с места, помчались по нескошенному полю. Артиллеристы лихорадочно заработали у орудий. Их спины моментально потемнели от пота. Подносчики, кряхтя, бегали со снарядами, подмаргивали друг другу:

— Вот дает!..

— Это похоже на что-то!

— Как в настоящем бою!..

— Припекает!..

Танки-макеты мчались по полю, то пропадая в море желтеющей ржи, то опускаясь в балки, то вновь появляясь.

— Вот это по-моему! — ликовал Гунько, вытирая ладонью смуглый лоб и скаля крепкие белые зубы. — Давай, ребята, жми!..

А перед вечером артиллеристы выстроились на опушке леса. Батарея Гунько оказалась на последнем месте по числу попаданий. Но, к всеобщему удивлению, это нисколько не огорчило Гунько. Он был спокоен и даже доволен результатами занятий.

— И ты еще улыбаешься, Гунько? — посмеивались над ним другие командиры батарей.

— Если б я вел огонь по вашим черепахам, от них не осталось бы ни одной щепки... Затеяли игру в бирюльки. Стрелковое соревнование в тире, а не занятие! Забыли про сталинградские бои. За это можно дорого поплатиться, дорогие товарищи! Помните, что говорил генерал на партийном активе!..

От высоты, на которой располагался наблюдательный пункт, отделилось несколько человек и направилось к опушке леса, где стояли артиллеристы. Впереди шагал высокий стройный офицер.

— Генерал идет!..

Командир дивизиона, низкорослый толстый майор, прижав левую руку к ноге и правую держа у козырька фуражки, неуклюже пошел навстречу начальству. До батарейцев долетели обрывки его доклада:

— Дивизион... выстроен... разбора... учений!..

Приняв рапорт, Сизов легкой походкой приблизился к солдатам:

— Здравствуйте, товарищи солдаты! — звонко и отчетливо прозвучал его голос. Эхо где-то в глубине леса услужливо и, казалось, с большой охотой повторило слова комдива.

— Здравия желаем, товарищ генерал!.. — приветствовали солдаты.

Бойцы не спускали ожидающе-восторженных глаз с генерала.

Сизов подозвал к себе старшего лейтенанта Гунько.

— За отличные действия вам и всему личному составу вашей батареи объявляю благодарность! — донеслось до солдат. И, уже обращаясь к командиру дивизиона и к командирам других батарей, Сизов продолжал суховато: — Упрощать обстановку на занятиях — значит совершать преступление, — отчеканивал он каждое слово. — Усложнять ее, максимально приближая к боевой, — делать нужное и в высшей степени полезное дело.

Этими словами начал генерал подробный разбор занятий.

— Ты что же, пришел посочувствовать моему «горю»? — спросил Гунько, хитро прижмурясь.

Марченко обиделся.

— Как тебе известно, Петр, успокаивать — не в моем духе, — сказал он. — А пришел я к тебе отчасти потому, что хотел просто тебя видеть. Кроме того, у меня есть к тебе небольшая просьба...

— Какая?

— Впрочем, это даже не просьба, а приказ... — разведчик улыбнулся.

— Ну?

— Собирайся — и марш в мою роту. Хоть выпьем по рюмочке!..

— Это, пожалуй, единственный за мою службу приказ, которому я могу не подчиниться.

— Почему? — удивился Марченко.

— Во-первых, потому, что оставлять сейчас батарею я не могу.

— Ведь не на всю же ночь я тебя зову, на час-другой.

— А во-вторых, — продолжал Гунько, — не время сейчас думать о рюмочке, друг ты мой! Не время!.. Да у меня еще и дел много.

— Вечно у тебя какие-нибудь дела...

— Серьезно говорю. Надо провести беседу с солдатами, сообщить им новые данные о противнике.

— Это еще зачем? Еще подумают солдаты, что немцы превосходят нас по численности,— посматривая на новую звездочку на погоне Гунько, говорил Марченко. — Запугаешь своих артиллеристов, а у тебя ведь много молодых бойцов.

— Ты это серьезно? — не вытерпел Гунько.

— Конечно, серьезно.

— Ну, тогда мне грустно...

— Не смейся.

— А я и не смеюсь. Повторяю — мне грустно. Грустно потому, что такие слова я слышу от лейтенанта Марченко — опытного, прославленного разведчика... Да мне с моими солдатами, дорогой товарищ, не сегодня-завтра придется лицом к лицу встретиться с врагом, вступить с ним в кровопролитный бой!..

— Ну вот, пошел: «кровопролитный», «сражение», «лицом к лицу»!.. Нельзя ли поспокойнее и проще?

— Хорошо, буду попроще... Да, вступить в бой! Так пусть же знают они этого врага, пусть знают и то, что бой с ним будет тяжелый, и готовят себя к этому. Что касается превосходства немцев, то не тебе, разведчику, говорить о нем.

— Я же сказал, что у солдат может составиться неправильное, преувеличенное представление о противнике, — заметил Марченко.

— Не думаю, — быстро возразил Гунько. — Сейчас солдаты не поверят в превосходство немцев. Они знают наши силы не хуже нас с тобой!.. Я, например, верю в свою батарею, в своих солдат и буду говорить им всю правду, чтобы они, зная свои силы, не питали, однако, иллюзий насчет легкой победы...

— Совершенно правильно, товарищ Гунько!

Офицеры быстро оглянулись.

Приподняв плащ-палатку, в блиндаж протискивался полковник Демин. Судя по его бледному, осунувшемуся лицу и утомленным глазам, он давно не спал.

— Совершенно правильно! — повторил он, войдя в блиндаж и присаживаясь у столика. Он посмотрел на Марченко. — Мы только недавно на партийном активе говорили, что надо готовить личный состав к тяжелым испытаниям... И очень хорошо, что вы уже это делаете, товарищ Гунько. Надо помнить, — полковник вновь посмотрел на Марченко, — сталинские слова...

Демин на некоторое время закрыл глаза, потом открыл их и, сразу посветлев, заговорил взволнованно:

— «Дело идет, таким образом, о жизни и смерти Советского государства, о жизни и смерти народов СССР, о том — быть народам Советского Союза свободными, или впасть в порабощение». Это был сорок первый год, товарищ Марченко. Тяжелый год. Страшно тяжелый. И все-таки Сталин не побоялся сказать советским людям такое. А в июле прошлого года, помните, там, в донских степях, мы зачитывали приказ Сталина, в котором содержалась еще более суровая и беспощадная правда. Надо верить в свой народ, в его духовные силы, как верит товарищ Сталин. Да и не так-то легко сейчас испугать нашего солдата. Он неизмеримо вырос. Наш солдат будет нам только благодарен, что мы говорим ему суровую правду.

Хотя начальник политотдела появился в блиндаже неожиданно, это нисколько не удивило ни Гунько, ни Марченко. Они знали, что Демин имел привычку появляться в самых, казалось бы, неожиданных местах. То его увидят в боевом охранении какого-нибудь батальона и тоже не удивятся этому; то вдруг он придет на санитарный пункт; то на артиллерийские позиции; вдруг нагрянет в склады АХЧ и там учинит настоящий разнос

начальнику административно-хозяйственной части старшему лейтенанту Докторовичу; чаще же всего бывал он в стрелковых ротах — любил поговорить с коммунистами; инструкторов политотдела также редко можно было увидеть в штабе дивизии, — они приходили из полков, делали доклад начальнику или его заместителю и, помывшись в бане, снова уходили в полки, в батальоны, роты.

Демин так же, как и генерал Сизов, знал по фамилии всех офицеров соединения.

— Но вы, товарищ Гунько, не обижайтесь на Марченко за его слова. Разведчика можно понять. Его профессия — это прежде всего осторожность, — вдруг сказал Демин и улыбнулся. — Иногда она бывает, может быть, немного излишней, эта осторожность... Проводите меня, товарищ Гунько, на свою батарею. Мне надо с вашими коммунистами потолковать.

— Я и сам сейчас собирался провести с бойцами беседу, — сообщил Гунько.

— Тогда совсем хорошо! — оживился полковник. — Побеседуем с ними вместе.

Выйдя из блиндажа, Демин вспомнил:

— В штабе на вас жаловались, товарищ Гунько. Не высылаете во-время сведений.

— Да замучили они меня ими, товарищ полковник!

— Нет, нет, — твердо перебил Демин. — Сведения высылать надо. Война — дело серьезное. Это не только храбрость солдат, но и учет. Точный учет всего, вплоть до последнего патрона и тренчика на солдатском ремне.— Вы, может быть, с нами останетесь? — спросил Демин Марченко, видя, что тот собирается уходить.

— Нет, я пойду, товарищ полковник. Начальник разведки может потребовать, а меня нет.

— Это верно. Идите. У разведчиков сейчас дел много. Да и в штабе сейчас никто не спит. От генерала до писаря — все работают до седьмого поту.

— Заходи, как сможешь! — попросил Гунько друга. Он был рад, что сегодняшний спор не оставил неприятного осадка, как нередко случалось прежде. Командиру батареи показалось, что Марченко уже и сам в душе понял, что был неправ. — Заходи, дружище!

— Ну, желаю всего доброго, Петя! — сказал Марченко. — Желаю счастья! — и тихо вышел из блиндажа.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

Второго июля из Ставки Верховного Главнокомандующего пришла знаменательная телеграмма. Товарищ Сталин предупреждал наши войска о возможном переходе немцев в наступление между 3 и 6 июля. Огромный фронт по Курскому выступу глухо заволновался.

О телеграмме товарища Сталина генерал Сизов узнал от командующего армией. Он тотчас же возвратился в свою дивизию и поехал на НП. Здесь, на опушке Шебекинского леса, под могучими кронами дубов, его уже ожидали командиры полков и приданных подразделений.

— Получена очень важная телеграмма, товарищи! — начал свое сообщение генерал, смахивая пыль с фуражки и кителя.

С этого часа еще напряженнее заработали штабы соединения Сизова. В блиндажах не умолкали зуммеры. Телефонисты не отрывали трубок от уха. Люди забыли об отдыхе. Политотдел дивизии опустел,— его работники отправились в полки, батальоны и роты. Общее напряжение передалось и солдатам. Пехотинцы снова и снова протирали и без того чистые винтовки и пулеметы, пересчитывали в нишах патроны, старшины проверяли в солдатских вещевых мешках НЗ, артиллеристы неотступно находились у своих орудий; танкисты опробовали моторы машин; гвардейские минометчики, укрывшиеся в лесу, снимали со своих установок брезентовые покрывала; по многочисленным извилинам траншей и окопов, из отверстий дзотов и блиндажей тек сдерживаемый солдатский говорок:

— Карасев, табачком запасся?

— Есть малость. Да будет ли время для курева?

— Иван, смотри, не отходи от пулемета!

— Что я — дурной?

— Ануфриев, ты еще, кажется, не спал в эту ночь. Шел бы вздремнул...

— Какой там, к чорту, сон!..

— Хлопцы, а меня чуть было наш танк не придавил...

— А ты смотри — глаза-то есть у тебя!

— Углядишь за ними. Отовсюду ползут.

В ночь на 4 июля полковник Павлов инструктировал офицеров-артиллеристов:

— Контрартподготовку будем проводить так,— пожилой, сухощавый, седовласый, он говорил, все время встряхивая контуженным плечом. Сообщив о часе начала контрартподготовки, он продолжал сухим спокойным голосом: — Для фашистов она явится полнейшей и весьма неприятнейшей неожиданностью. Это раз. Наступательная возможность неприятеля пострадает еще до начала атаки. И, наконец, немцы лишатся такого серьезного оружия, как элемент внезапности...

Комдив в последний раз приказывал по телефону:

— Проверьте еще раз связь и чтобы все были на своих местах!.. Ни одного солдата не снимать с обороны. Командирам полков без моего разрешения не покидать наблюдательных пунктов!

Не ведали фашисты, что их планы внезапного и решительного нападения были уже известны советскому командованию. Телеграмма Сталина побудила левый берег тоже приготовиться к бою, чутко прислушиваясь к скрытной жизни за Донцом. В ночь на 5 июля по всем земляным норам нашего переднего края среди бойцов находились политработники, — с ними спокойнее и увереннее чувствовали себя солдаты; разведчики расползлись по всем направлениям, растаяли во тьме, и ни одно движение неприятеля не оставалось незамеченным ими; уже подкатили на своих быстрых машинах к наблюдательным пунктам командующие армий и фронтов, мягкой, спокойной походкой вошел в аппаратную ставки и встал у прямого провода Сталин. Гигантский лук, вошедший в историю под названием Курской дуги, натянул тетиву, чтобы пустить в неприятеля смертельную стрелу.

А перед немецкими солдатами, в полной боевой выкладке заполнившими окопы и тускло посвечивающими плоскими касками, офицеры лающими, отрывистыми голосами зачитывали приказ Гитлера:

«Германская армия переходит к генеральному наступлению на восточном фронте... Удар, который нанесут немецкие войска, должен иметь решающее значение и послужить поворотным пунктом в ходе войны... Это — последнее сражение за победу Германии».

Потея под пузатыми рыжими ранцами, солдаты вполголоса отвечали:

— Хайль Гитлер!..

А ночь нависла над ними огромной черной тучей. Она была тиха и вкрадчива, эта ночь перед кровавым сражением.

Ровно в четыре часа утра началось. После долгой, мучительной и страшной для фронтовиков тишины где-то прошумела «катюша». В ту же секунду из тысячи стволов ударили наши пушки. За Донцом сразу потемнело. Это советские снаряды всех калибров обрушились на огневые позиции вражеских артиллеристов и минометчиков. Снаряды рвались также на переднем крае неприятеля, где скопились для наступления немецкие войска. Потом заговорила немецкая артиллерия, слившись с ревом наших орудий в один оглушающий, потрясающий землю и воздух гул. Казалось, разверзлось небо и обрушило на землю море огня и металла. И земля задрожала, забилась в буйном припадке.

Когда немцы начали свою артподготовку, старший лейтенант Гунько находился в нескольких метрах впереди своих противотанковых орудий. Не добежав до своего окопа, он был опрокинут страшной силой взрывной волны. Едва он успел подняться, как неподалеку от него второй снаряд с оглушающим звоном встряхнул окутанную дымом и пылью землю. Старший лейтенант упал второй раз и тут же вскочил на ноги, несколько удивленный тем, что остался живым. В воздухе, как огромные шмели, нудно стонали и пели осколки. Добежав до окопа, Гунько упал в него, придавив собой телефониста. Тот сидел, прислонившись к земляной стене и закрыв голову руками, словно желая защитить ее от вражеских осколков. Старший лейтенант схватил трубку и закричал в нее, но тут же сообразил, что провод порван.

— Сорокин!.. Сорокин!.. Сорокин, чорт тебя побери!..— кричал он телефонисту и с досады тряхнул его за плечо. Солдат тихо сполз на дно окопа, все еще закрывая голову руками. Гунько только сейчас заметил между пальцами бойца кровь и понял, что телефонист убит.

Около часа уже длилась немецкая артподготовка. Вскоре Гунько заметил, что фашисты, под прикрытием своего огня, начали переправляться через реку. Гунько открыл огонь и со злорадным торжеством увидел, как первый же снаряд, выпущенный из четвертого орудия, опрокинул резиновую лодку с гитлеровскими солдатами. Уцелевшие фашисты барахтались в воде.

— Что, гады! Получили!..— закричали артиллеристы, но их голосов не было слышно: все тонуло в сплошном реве орудий и разрывов. Батарейцы стреляли прямой наводкой и вскоре потопили еще три лодки противника.

Чуть левее поднялся высокий столб густого дыма и, расплываясь над водой, закрыл реку.

«Будут танки переправляться!» — догадался лейтенант. Он перенес огонь и стал стрелять по дымовой завесе. Он не видел ничего, кроме густого белого дыма на реке, и все же стрелял и стрелял наугад, долго и ожесточенно. Через несколько минут показался первый неприятельский танк. Он выполз к нашим окопам и на несколько секунд остановился, как бы присматриваясь. Но эта остановка оказалась для него роковой. В танк впились сразу же три снаряда, выпущенные из орудий старшего лейтенанта Гунько. Неприятельский обстрел не ослабевал. Вышло из строя одно орудие, но остальные не были еще повреждены и продолжали вести огонь. Возле них суетились проворные артиллеристы. У лафетов быстро росли горки дымящихся снарядных гильз. Лица солдат почернели от пороховой копоти. Появились убитые и тяжело раненные. Многие работали у орудий с наспех перевязанными головами и руками. Они не хотели уходить в санчасть, да в таком аду это, пожалуй, было и невозможно.

Тяжелая немецкая артиллерия перенесла огонь на ближние тылы дивизии, и Гунько впервые за два часа артиллерийской дуэли увидел впереди себя клочок неба и в этом клочке много самолетов. На какую-то долю минуты мелькнула радостная мысль: «Наши. Переправу громят!» Самолеты висели над переправой врага непрерывно. Густое аханье бомб докатывалось до батареи. Гунько оглянулся назад — зачем, он и сам бы не мог ответить,— и увидел штурмовик. Он летел низко, кометой скользил над самыми вершинами деревьев, таща за собой огненно-красный шлейф. «Подбили, сволочи!» — горько подумал офицер и как раз в эту минуту услышал близ-

кую ружейно-пулеметную стрельбу. Немецкие пули повизгивали над батареей. Из окопов выскочили в контратаку советские пехотинцы. «Ура-а-а-а...» — полилось навстречу бежавшим от переправы немцам. Столкнулись. Смешались... На флангах выстрачивали частую дробь «максимы». Стучали бронебойки. По переправе, не переставая, била артиллерия. У первой линии наших окопов уже горело несколько танков с крестами на броне,— их подожгли советские артиллеристы, дружно стрелявшие со всех сторон.

Мимо огневых позиций Гунько стали проходить первые группы раненых. Они шли медленно, в порванных и залитых кровью гимнастерках и брюках. У многих на груди белели на потертых колодочках медали и желтели ленточки, свидетельствующие о прежних ранениях. Лица были спокойно-торжественны. Солдаты оживленно разговаривали между собой:

— Не пройдет! Ты видал, сколько один Федотов покосил!.. Как начал, начал!..

— Где пройти!.. Это еще наши танки в дело не вступили. Ждут!.. Я сам вчера видел их в роще. О брат, сколько их там!.. Сразу и не пересчитаешь...

— Ну, как там, ребята? — нетерпеливо спрашивали артиллеристы, на минуту оторвавшись от орудия.

Отвечали невпопад:

— Все еще лезет...

— Столкнули обратно...

И умолкали.

Измученным и изуродованным людям было не до рассказов, да к тому же и место для этого было неподходящее. Останови ты их подальше в тылу, ну, скажем, в Шебекинском урочище, где сравнительно редко ложились немецкие снаряды, — вот там они порасскажут. Быль сдобрят чудеснейшей небылицей, попробуй только разберись, кто из них самый главный герой!..

Один из легко раненных, с виду очень молодой и тщедушный, вдруг объявил:

— Никуда не пойду!.. Увезут еще в госпиталь!.. Чорт те что!— и высмотрев подходящий окоп впереди батареи, заскочил в него, воинственно щелкнув затвором винтовки.

Из-за Шебекинского леса волна за волной выплывали наши штурмовики и с мощным ревом проносились над рекой. Из-под их крыльев вылетали ракетные снаряды,

оставляя позади себя белые дорожки. Начала бить по переправе и наша дальнобойная артиллерия. Обратно самолеты проносились так низко и с такой стремительностью, что у стоявших на земле людей захватывало дух. Навстречу им, из-за леса, тучей надвигались косяки все новых и новых эскадрилий бомбардировщиков, повыше которых, точно мошкара, вились сотни истребителей. А еще выше шли воздушные бои. Наши самолеты летели и пикировали, не обращая внимания на сплошные облачка разрывов зенитных снарядов. Там, где они бомбили, до самого неба поднималась стена пыли и дыма.

И все же немцам удавалось наводить понтонные мосты, по которым проскакивали их танки.

— Огонь!.. Огонь!.. — не переставая, командовал Гунько.

На батарею, пыля и выбрасывая из выхлопных труб клубы черного ядовитого дыма, двигались пять вражеских танков. Окрашенные в грязножелтый цвет, они ползли по изрытому полю, приземистые, покачиваясь на брустверах траншей и окопов. Один из них, особенно большой и какой-то квадратный, приостановился, шевельнул непомерно длинным стволом и выстрелил. Снаряд разорвался неподалеку от третьего орудия. Танк двинулся дальше, но тут же качнулся всей своей громадиной, и из его кормы хлестнуло пламя. Гунько посмотрел влево: из-за перелеска мчалось несколько советских танков. Из ствола орудия одной машины еще струился дымок...

— Наши!.. Наши танки!.. Наши!.. — закричали на батарее. — Милые!

Приземистые красавцы танки, стреляя на ходу, стремительно прошлись по полю и скрылись в сосновой роще; они заходили во фланг прорвавшейся группировке врага. Теперь, кроме большого танка, горели еще две машины неприятеля. Два уцелевших немецких танка продолжали ползти в сторону батареи. Гунько снова открыл огонь. Один танк резко остановился. Из него красновато-желтым мечом рванулось пламя. Второй продолжал стрельбу. Раздались стоны раненых. Пехотинец, залегший впереди первого орудия, вставлял обойму за обоймой, расстреливая немецких десантников. Был убит наповал наводчик второго орудия Федя Жаворонков. Он лежал, обняв лафет своей пушки. Батарея, оставшись с двумя орудиями, продолжала сражаться. Один снаряд, выпу-

щенный наводчиком Печкиным, угодил в башню немецкого танка. Танкисты повыскакивали из люков, как сурки из задымленных нор, но были немедленно расстреляны советскими пехотинцами.

«Держатся!.. Молодцы!.. Вот герои!» — мелькнуло в голове Гунько.

Тяжелый немецкий снаряд, прилетевший, очевидно, с того берега, разорвался на огневой позиции. Третье орудие и его прислуга взлетели на воздух. Там, где только что стояла пушка, теперь дымилась огромная воронка. Вслед за первым снарядом с того берега прилетел второй, третий... Но они уже взрывались позади батареи. Минут пять перед позицией Гунько было пустынно. Отчетливо слышались гул авиационных моторов и неумолкающая трескотня пулеметов.

Гунько хотел было уже как-то помочь раненым, но со стороны реки снова появились немецкие танки. На этот раз их было восемь...

2

Лейтенант Марченко с группой разведчиков всю ночь провел у Донца, следя за передним краем противника и сообщая о замеченном в штаб дивизии. Бой начался очень рано, и Марченко не успел увести своих бойцов в расположение роты. Как только — в ответ на нашу контрартподготовку — загремели немецкие орудия, лейтенант по траншее отвел разведчиков в окопы ближайшей стрелковой роты.

— С нами остаетесь? — кричал ему в самое ухо ротный командир — молодой румянощекий лейтенант, очевидно, совсем недавно окончивший училище. Он радовался чему-то, бегая по окопам и выкрикивая какие-то, должно быть никому не слышимые в буревом реве рвущихся снарядов, команды. Марченко в ответ на его слова кивнул головой, хотя как следует и не разобрал вопроса лейтенанта.

В окопах вдруг стало темно, пыльно, угарно, неуютно. Запах тротиловой гари затруднял дыхание. Над траншеями в дикой свистопляске бушевал огневой ураган. Снаряды рвались и на кромке окопов, и тогда бойцы втягивали головы, поднимая плечи к самым ушам.

Сидевший рядом с Акимом Ванин уперся круглой головой в осыпающуюся стенку окопа, как бы боясь, что

стенка развалится совсем. Он весь вдруг почернел, точно обуглился. Зубы непрошенно и к великой его досаде выстукивали отвратительную дробь. Семен сжимал их до боли. Вдруг что-то колючее и круглое прокатилось по его мокрой от пота и осыпанной мурашками спине, упало под ноги. Семен вскрикнул и оглянулся — еж! Серым комом свернулся и ждет, распуская длинные иглы. Сенька отшвырнул его ногой. Еж отлетел в сторону, полежал немного на боку, чуть показывая желтоватый пушок на брюшке, потом развернулся, пошевелил длинным поросячьим рыльцем, чихнул и в раскорячку побежал к патронной нише. Прижался к ящику, закрылся, выставив перламутровые свои пики. Сенька долго не мог оторвать от него озлобленного взгляда. Землю попрежнему давил и встряхивал артиллерийско-минометный шквал. В воздухе, вибрируя и стеня, носились осколки, шлепались, зарываясь в песок. «Конец-то будет этому, аль нет?..» — Семен взглянул на Акима и, пораженный, застыл с раскрытым ртом, округляя кошачьи глаза. Аким, выпрямившись во весь свой длиннющий рост, как ни в чем не бывало смотрел вперед. Русая непокрытая голова — Аким снял пилотку, чтобы не мешала,— возвышалась над бруствером. Перед ним скакал, ревел, рычал в дикой ярости ураган огня и металла, а Аким стоял и смотрел вперед, даже не моргая. Сенька дернул Акима за широкую штанину маскхалата, посадил рядом с собой. Тяжело дыша, закричал ему в ухо:

— Ты... что?.. С ума спятил?.. Убьют же!..

— А кто ж будет наблюдать? — спокойно возразил Аким, протирая большим черным пальцем левой руки запыленные очки. — Все попрятались в окопах. А кто ж наблюдать будет? — как бы в недоумении спросил он. — Немцы могут за своим артиллерийским валом...

Он не договорил. Где-то впереди вслед за укатившей волной огня раздались выкрики.

— Немцы!..

Сквозь пулеметную трескотню и оглушающий вой Аким и Сенька услышали голос лейтенанта Марченко:

— Вперед! В атаку!..

Они увидели лейтенанта над окопом. Хищно изогнувшись, он рванулся вперед, то и дело припадая на одно колено и стреляя куда-то из автомата. За ним, рассыпавшись цепью, бежали пехотинцы. Сенька и Аким вылезли

из окопа и побежали за лейтенантом. Мелькнула огромная, сутуловатая фигура Забарова; уверенно пробежал Шахаев и следом за ним — Алеша Мальцев.

— Та-та-та-та...— выстрачивали пулеметы.

— Тррр-ах!.. Тррр-ах!.. — рвались гранаты...

— Тию-тию-тию... — пели пули.

Покрывая все эти звуки, донесся низкий, рокочущий бас Забарова:

— За танками укрывайся!.. За танками!..

Советские танки, — их было более десятка, — выскочив из укрытия, теснили к реке высадившуюся немецкую пехоту. Немцы, пятясь, укрывались в прибрежных кустарниках и камышах. Стон стоял над рекой. Бомбы, непрерывно сыпавшиеся с наших самолетов, взбаламучивали воду, выбрасывали на берег вместе с грязью вонючую тину и скользкие сплетения лягушатника. Танки, оттеснив врага, повернули вправо и скрылись среди разрушенных строений большого села Александровки, вытянувшегося вдоль восточного берега реки. Оттуда послышались частые, короткие и звонкие выстрелы танковых орудий.

Отбив первую атаку неприятельской пехоты, наши стрелки и разведчики вернулись в свои окопы. Наступило минутное затишье. Потом раздались отрывистые, злые выстрелы иптаповцев, расположенных в боевых порядках пехоты.

— Забаров!.. — растирая кровь на грязной щеке, Марченко подошел к старшине. — Ты тут смотри за ребятами. А я схожу к Васильеву. Может, новые задания будут. Доберусь как-нибудь по траншее. Ну, желаю всего доброго, друзья!— Пригнувшись, Марченко зашагал, сначала медленно, потом все быстрее, отталкиваясь от земли своими легкими, пружинистыми ногами. Федор молча посмотрел ему вслед. В темных глазах старшины, под запыленными длинными ресницами тлели, разгораясь, напряженно-сосредоточенные огоньки.

Немцы снова обрушили всю силу своего огня на передний край нашей обороны. Артиллерийская обработка окопов длилась с полчаса. Потом гул разрывов стал удаляться.

— Товарищ старшина, танки!.. — закричал Сенька Ванин. Но голоса его не было слышно — только виден был широко открытый рот. Гимнастерка и маскхалат на

разведчике были порваны. По лицу ползли грязные подтеки.

— Танки! Танки!.. — кричали в окопах, и разведчики отчетливо услышали слитный, низкий рев чужих моторов.

— Танки!..

Один из них уже вползал на бруствер окопа. Вот он качнулся, светлая гусеница, выгибаясь, потянулась через окоп, от квадратного днища машины солдат обдало вонючим жаром.

— Пропускайте их на съедение нашей артиллерии!.. — крикнул молоденький офицер, ротный командир; по румяным его щекам из-под фуражки тянулись струйки не то грязного пота, не то крови.

Еще один танк... Этот несколько раз крутанулся над окопом. Засыпал землей пехотинца. Солдат, однако, быстро выбрался из-под земли, тряхнул стриженой головой, выхватил из кармана черную бутылку. Танк пополз дальше, рыча и отфыркиваясь выхлопными трубами. Пехотинец быстро вскарабкался на бруствер, согнул правую ногу, потом выбросил ее назад, дернулся весь, будто отталкиваясь, и кинул бутылку. Поглядел, чуть приподняв голову, туда, куда полетела бутылка, и стремительно скатился вниз.

— Есть!.. Горит гадюка!..

Некоторое мгновение стыла тишина. И вдруг эту тишину прорезал крик какого-то солдата:

— Убило ротного!..

Солдат бежал по окопу и кричал. Путь ему преградила гигантская фигура.

— Тише ты!.. Я — ваш ротный. Понял?..

Солдат поднял голову и встретился с напряженным блеском забаровских глаз.

— Слушаюсь, товарищ старшина!..

— На место! — приказал Федор пехотинцу и, вдруг выпрямившись, скомандовал так, чтобы слышали все: — Товарищи! Я — ваш командир. Слушайте: окопов не покидать. Танки забрасывать гранатами и бутылками с горючей смесью. Тяжелые — пропускать, с ними расправится наша артиллерия!.. Немецкую пехоту расстреливать! Вести из карабинов только прицельный огонь!..

Защелкали затворы. Пехотинцы и разведчики прильнули к своим ячейкам. А уже от берега реки показа-

К стр. 144

лась новая цепь вражеской пехоты. Над окопами певуче засвистели пули.

— Спокойно, товарищи! Подпустить поближе!.. — гремел над позициями голос Федора.

Огромный, с открытой волосатой грудью, он стоял в окопе в полный рост, следя за противником. К нему уже подбегали командиры взводов, отделений и докладывали:

— Товарищ ротный!..

— Куда девать раненых? Блиндаж переполнен!..

— Связь с комбатом порвана!..

— Артиллеристы просят помочь им выкатить пушку. Как быть?

Забаров, не поворачивая головы, отдавал распоряжения; внимание его было приковано к перемещавшимся зеленым фигурам. Их надо остановить во что бы то ни стало. Вот они, эти фигуры, уже совсем близко, двести метров... сто... пятьдесят...

— Рота... залпом, пли!

Трескуче грянул залп. Ошпарил бегущих впереди фашистов.

Перед глазами бойцов неуклюже падали враги.

Слева, из уцелевшего, хорошо замаскированного дзота, зло и яро бил «максим». Та-та-та-та... — неслось оттуда.

Оседлав переносицу очками, Аким выпускал одну автоматную очередь за другой. Делал он это без суеты, расчетливо, невозмутимо. Ванин вел огонь рядом. Что-то с сухим треском лопнуло неподалеку. «Граната!» — обожгла догадка. Аким все еще стоял на прежнем месте. Только очков уже не было на его ястребином носу — их стряхнуло взрывной волной. Они упали на дно окопа, разбились о пустой автоматный диск. Чьи-то тяжелые шаги позади. Острый запах человеческого пота. Трудное, прерывистое, с храпом дыхание. Сенька инстинктивно повернул голову и увидел фашиста. Белоглазый, с рыжей подпалинкой густых бровей. Перекошенное длинное лицо, трясущаяся, искусанная нижняя губа, качающийся над мокрой худой спиной Акима плоский штык — таким и врезался он в память Ванина. С непостижимой быстротой Сенька схватил его за ногу, тот дернулся назад, но скрюченные черные пальцы разведчика железными щипцами впились в грубое зеленое сукно брюк, рванули на себя. Фашист обрушился в окоп. С ловкостью кошки Ва-

нин прыгнул на него. Правая рука металась возле кармана, ища нож. Но Сенька не успел вынуть финку. Остальное за него сделал Аким. Он взмахнул рукой, что-то блеснуло в воздухе... И опять, пораженный, Ванин ошалело посмотрел на своего друга, узнавая и не узнавая его.

— Чорт... вот ты... как?..

3

Генерал руководил боем, находясь на довольно широкой площадке, укрепленной на трех росших рядом дубах. Деревья были искромсаны осколками мин и плохо укрывали Сизова. Комдив был легко ранен. Перевязавший его руку врач настойчиво просил генерала спуститься на землю, но тот и слушать не хотел об этом.

— Ничего со мной не случится! Моим солдатам пожарче, да и то терпят! — отвечал он. — Где я еще найду такой обзор?

Глаза генерала пылали огнем. Вид горящих по всему переднему краю вражеских машин заражал его непотухающей боевой энергией. Он беспрерывно разговаривал по телефону, получал от командиров частей информацию, давал необходимые указания. На левом фланге, на участке полка Баталина, сложилась тяжелая обстановка. Неприятель бросил туда танки и два полка пехоты.

— Ничего... Ничего, Баталин! Держись!..

— Товарищ генерал, разрешите выбросить к Баталину резервный артиллерийский противотанковый дивизион! — обратился к комдиву встревоженный работник штаба. Его просьбу поддерживал полковник Павлов.

— Мои артиллеристы несут большие потери на участке обороны Баталина, товарищ генерал. У Гунько осталось два орудия. На других батареях положение не лучше, — говорил, встряхивая контуженным плечом, Павлов.

Сизов молчал.

Тревожно зазуммерил телефон. Генерал поднял трубку. Снова докладывал Баталин.

— Окружен, говоришь? Вижу! — спокойно ответил комдив.— Отстаивай свои рубежи!.. Помощи пока не жди. Смотри за левым флангом. Там у тебя скопилось около

тридцати танков и до полка немецкой пехоты... Нет, нет. Артиллерии пока не будет. Обходись тем, что у тебя есть!..

— Товарищ генерал!.. — не выдержал молоденький подполковник с худым лицом.

Генерал взглянул на него, не торопясь положил трубку.

— Передайте...

— Слушаюсь! — обрадовался подполковник.

— Передайте, — продолжал Сизов, остановив взглядом офицера, — передайте, чтобы полк иптаповцев выдвинулся на правый фланг, на участок обороны Тюлина.

— На правый? — почти крикнул полковник Павлов. — Но там сравнительно спокойно, товарищ генерал.

— И Тюлин не просит подкрепления! — поддержал Павлова молодой подполковник, но генерал метнул на него орлиный взгляд, резко заметил:

— Вы слышали мой приказ? Выполняйте!

— Слушаюсь! — и молоденький подполковник поднял трубку.

Генерал продолжал наблюдать. Офицеры, стоявшие рядом с ним, молчали. По их встревоженным лицам было видно, что они не понимали комдива. Для офицеров было совершенно очевидно, что немцы наносят свой главный удар на участке обороны Баталина и, стало быть, туда и нужно посылать резервные части. Однако теперь уже никто из штабных работников не решался возражать Сизову.

Комдив снова говорил с Баталиным:

— У нашего правого соседа дела похуже. Против Белгорода немцам удалось вклиниться в нашу оборону. Там они пытаются развить наступление!.. Нам надо держаться во что бы то ни стало!.. Сковывать силы врага. Ты слышишь? Ну вот!.. Нет, нет... Вам помогут танкисты. Я уже приказал им!..

Над наблюдательным пунктом рой за роем пролетали краснозвездные бомбардировщики. Генерал проводил их взглядом, потом обратился к Павлову:

— Петр Петрович! Как артиллеристы?

— У иптаповцев большие потери. Особенно на участке Баталина... Но удержатся, товарищ генерал. Гунько подбил уже пять танков. Но тяжело им...

— Этот — настоящий солдат! — проговорил Сизов, вспоминая смуглое лицо офицера и умный желтый блеск его глаз.

— Тяжело им, — повторил Павлов.

Генерал нахмурился и снова стал наблюдать.

— От подполковника Тюлина! — доложил телефонист.

Сизов быстро взял трубку.

Тюлин докладывал, что его атаковали тяжелые танки противника — их более тридцати, но подоспевшие иптаповцы усиленно ведут с ними бой...

— Молодцы! Держитесь до конца! — почти крикнул генерал и, повесив трубку, впервые за этот день опустился на стул, обтирая ладонью пот, обильно выступивший на его выпуклом лбу. Хитро прищурившись, он посмотрел на штабных офицеров.

Офицеры смущенно переглянулись.

— Выходит, что с этой вышки вы дальше нас увидели, товарищ генерал! — признал свою ошибку молоденький подполковник и восторженно посмотрел на Сизова. Комдив промолчал. Он снова внимательно наблюдал в бинокль за полем боя.

— От Баталина, товарищ генерал! — передал трубку телефонист.

Баталин сообщал, что по своей инициативе он контратаковал гитлеровцев и тем самым облегчил положение тюлинского полка.

Генерал поблагодарил. Вряд ли он вспомнил в эти минуты свой разговор с Баталиным об инициативе командира в бою — не до того было генералу. Он уже вызывал к телефону саперного офицера и спрашивал его:

— Быстров!.. Как ты со своими? Переправу взорвали? Хорошо!.. Отлично, говорю!.. Передай солдатам мою благодарность! Запиши имена всех отличившихся! К награде представляй немедленно!

Потом обращался к майору Васильеву:

— Что слышно о разведчиках?

— Ведут бой в первой линии траншей. Сейчас Марченко прибежал оттуда.

К генералу обратился поднявшийся на дерево командир танкового соединения:

— Мне кажется, пора начинать.

— Пожалуй. Помогите артиллеристам. Им тяжело.

4

— Огонь! — самому себе скомандовал Гунько. Он исполнял сейчас обязанности командира и наводчика.

Раздался выстрел, со звоном вылетела стреляная гильза, и возле гусеницы головного танка, ползущего на батарею, взвился сноп огня и черного дыма. Танк вздрогнул и остановился, нелепо уткнувшись тупым носом в воронку от снаряда. Неожиданно рядом с ним выросла фигура пехотинца, он размахнулся и бросил что-то на броню машины. Гунько увидел, как по грязной чешуе танка расползлось пламя. Пехотинец выхватил еще одну бутылку, но тут же упал, сраженный, видимо, пулеметной очередью, выпущенной из другого танка. Гунько продолжал стрелять. Наконец удачным выстрелом он поджег и второй танк; стальная машина стала бешено метаться по полю, волоча за собой рваные лоскутья огня и дыма.

Увлеченные боем, артиллеристы не слышали, как, сверля воздух, летел из-за реки тяжелый снаряд, отсчитывая последние секунды жизни последнего орудия. Взрыв страшной силы встряхнул воздух. Оглушенный Гунько, — во время взрыва он оказался в окопе,— очнулся, вскочил на ноги. Посмотрел вперед: на поле догорали немецкие танки. Некоторые машины, уцелевшие от огня артиллерии, продолжали двигаться вперед. И как раз в этот момент Гунько увидел лавину советских машин, с глухим урчанием вырвавшихся из рощи. Многие танки тащили на себе верхушки сосен, которыми, должно быть, были до этого замаскированы. Потрясенный гибелью последней пушки, Гунько даже не смог рассмотреть стремительной, разящей атаки советских танкистов. До него отовсюду доносились стоны раненых, полузасыпанных землей. Гунько подходил вместе с уцелевшими наводчиком Печкиным и пехотинцем к каждому, помогал, как мог, пристально всматривался в лица товарищей. Вот этот, что вцепился в свои пепельные волосы и облизывает окровавленные губы, — командир третьего орудия сержант Яблоков, из Пугачева, вчера еще читал своим солдатам письмо от жены и радовался, что она заочно кончает институт. А вот тот, бездыханный, с красивыми белыми зубами, москвич, замковый первого расчета ефрейтор Рябов — лучший запевала в батарее и мастер делать цветные мундштуки, кажется, единственный сын у ма-

тери,— он должен был на днях отправиться в военное училище. Рядом с ним, запрокинув назад голову, лежит подносчик красноармеец Ляпин, — этот из-под Воронежа, тракторист, неутомимый балагур, мастер на анекдоты, ему постоянно влетало от командиров за озорство, — мечтал после войны попасть в институт механизации сельского хозяйства и потом изобрести новый трактор, так как существующие считал несовершенными и неэкономичными. Неподалеку от Ляпина, будто заснули в обнимку, два молоденьких офицера — командиры взводов. «Будущие академики», — как называл их Гунько.

Так, вглядываясь в лица убитых и раненых, Гунько вспоминал все, что знал о них, и ему не верилось, что это действительность, а не кошмарный сон. Еще несколько часов тому назад эти люди, неподвижно лежащие сейчас на земле, были живы и невредимы: писали письма, хлопотали у орудий, поправляли окопы и блиндажи, спорили, мечтали. Это были подчиненные ему бойцы и офицеры; он иногда покрикивал на них, иногда хвалил, с ними проводил долгие фронтовые будни; эти люди были для него дороже и ближе, роднее всего на свете. И вот теперь многих из них нет. Никто и никогда больше не услышит их голосов...

Между тем из-за Шебекинского леса все выплывали и выплывали караваны наших штурмовиков.

«Сколько же длится этот бой?» — подумал Гунько, заметив, что солнце клонится уже к реке. И вдруг, осознав обстановку, Гунько торжествующе закричал:

— А ведь немцы-то не прошли! Не прошли! Не прошли!.. — повторял он, неожиданно поняв, какой великий смысл заложен для него и для всей страны в этой короткой фразе.

— Не прошли!..

Гунько посмотрел на свою батарею, точнее, на то, что осталось от нее — разбитые орудия, раненых и мертвых бойцов, разрушенные окопы, — и обессиленный опустился на землю, закрыв голову руками.

— Что с вами, товарищ старший лейтенант? — услышал он густой, низкий голос.

Гунько приподнял голову и увидел Забарова. А по траншее в изодранных маскхалатах один за другим тянулись остальные разведчики. Они вели пленных. Гунько

хорошо знал Забарова. Федор вместе с Марченко не раз бывал на батарее.

— Вот видите, что случилось... — как бы извиняясь, сказал Гунько и торопливо растер горячей ладонью слезы на своих смуглых и грязных щеках.

— Да, невеселая картина... — согласился Забаров. — А это ваши? — и он кивнул в сторону догоравших немецких танков, надеясь хоть чем-нибудь ободрить старшего лейтенанта.

— Кажется, наши. А впрочем — не знаю... Тут все поработали. Да это и не так важно.

Аким — он был сейчас задумчивый и тихий — помог Гунько подняться и посмотрел на него заблестевшими вдруг глазами — вот так когда-то глядел он на сержанта Фетисова, колдовавшего в своем блиндаже над миной. Акиму вдруг захотелось крепко обнять офицера. Губы разведчика шевелились. Казалось, с них вот-вот сорвутся взволнованные, несвязные слова. Но Аким промолчал и отошел в сторону.

— А где вы пропадали? — спросил Гунько.

— Отбивались от фашистов, — ответил Забаров.

— Ну и как, отбились?

— На сегодня — да. Правее, говорят, немец потеснил наших, а тут — нет. Вот ведем пленных к генералу. Гитлеровцы образца тысяча девятьсот сорок третьего года. Полюбуйтесь!

Разведчики присоединились к артиллеристам, помогли им вновь перевязать раненых. И только после того как раненые немного успокоились, Гунько приблизился к немцам.

— Ком... ком!.. Шнель, — говорю! — Ванин подтолкнул вперед пленных немцев. Гитлеровцы затравленно озирались, послушно исполняя сенькины приказания.

— Только трех живых и нашли. А остальные все дохлые,— сообщил Ванин.

Гунько долго сверлил глазами стоявшего впереди немца и вдруг размахнулся, чтобы ударить его, но тут же опустил руку: бить беззащитного врага — не велико геройство.

— Аким, — позвал Сенька своего друга. — У меня для тебя подарок есть, — и, порывшись в кармане, он вынул оттуда очки с блестящей золотой оправой. — Получай, друже, да благодари своего верного приятеля,

Семена Прокофьевича. Я вон у того, который без пилотки, одолжил...

Аким внимательно посмотрел на Сеньку, повертел очки в руках, похвалил их и вернул немцу.

— Вот сердобольная интеллигенция!.. Для тебя же старался. Ведь свои-то ты потерял, а без очков, поди, ни черта не видишь! — набросился на него Ванин. — Попался бы ты им!..

— Так мы ж не фашисты, а советские солдаты, — возразил Аким. Не знал он, какую великую обиду причинил Сеньке, отказавшись от его подарка. — Их этому учили — чтобы грабить, убивать... Такая у них война... Если б в Германии у власти были честные руководители, может, из немцев вышли бы настоящие люди!.. Как ты этого не можешь понять, Семен!..

— Не фашисты мы — это да...— бормотал Ванин.

Но кругом него лежали убитые бойцы из батареи Гунько, все они полегли от рук немцев, и горячее сенькино сердце требовало мщения. Сеньку возмущали рассудительные, спокойные объяснения Акима.

Шахаев подошел к Ванину, положил свою руку на его плечо, тихо, убежденно сказал:

— А ты, Семен, не горячись. Подумай над словами Акима. Он правильно сказал. Вон, смотри, старший лейтенант Гунько, и тот не смог ударить пленного, а сколько он потерял сегодня своих товарищей. Нельзя нам этого делать, Семен. Пойми!

Семену хотелось возразить, но не в его силах было спорить с парторгом. Он вдруг подошел к немецкому солдату, который благодарно и заискивающе посматривал на высокого и худого русского бойца, вернувшего ему очки. Сенька сощурил свои кошачьи глаза, злые зрачки сузились.

— Ви гейц?

— Вас, вас?

— Ви гейц?.. Оглох с перепугу-то!.. Как дела, спрашиваю?

— Шлехт, — наконец поняв, выдохнул немец.

— Вполне согласен, — с удовольствием подтвердил Сенька. — Дела ваши действительно шлехтовые. Одним словом — капут!

— Капут, капут! — хором и, казалось, с радостью забормотали немцы, услышав самое популярное у них сейчас слово.

— Благодарим за полезные сведения! — и, сплюнув, Ванин отошел от пленных. Гунько неплохо говорил по-немецки.

— Много русских побил? — обратился он к «сенькиному» немцу.

Тот вздрогнул, губы его мелко затряслись. Глаза забегали.

— Я не убивал русских... Я — санитар. У меня даже винтовки не было... А вот Эрих убивал, много убивал,— заторопился немец, показывая на побледневшего солдата. — И Ганс убивал... Они — автоматчики.

Гунько задумчиво и даже с какой-то глубокой грустью смотрел на немецких солдат. Его отвлек прибежавший на батарею посыльный от командира дивизиона.

— Сведения, что ли, требуют? — устало спросил Гунько.

— Так точно, товарищ старший лейтенант. О боевом и численном...

— По всей форме?

— Так точ... — перехватив иронический взгляд офицера, посыльный замялся. — В общем сводку о потерях майор требует... Начальник-то штаба убитый... Снаряд в блиндаж угодил...

Гунько не удивился печальной новости: многих не стало в этот день.

— Ну, что ж... Вот гляди... — он обвел глазами место, где еще утром стояла целой и невредимой его батарея. — Орудий ни одного, из людей двое здоровых, десять раненых. Вот еще один пехотинец к нам присоединился. Остальные убитые. Так и доложи. А писать мне не на чем. Да и писаря вместе с бумагами завалило.— Гунько показал на глубокую воронку, из которой торчмя стояло несколько расщепленных осколками бревен.

— Есть доложить — вся батарея погибши!..

— Как, как ты сказал? — Гунько потемнел.

— Погибла, говорю, товарищ старший лейтенант, батарея-то ваша. Орудий ни одного...

— Это кто же тебе сказал, что она погибла? — резко остановил Гунько посыльного. — Нет, солдат, ты так не докладывай майору... Кто дал тебе право говорить так о моей батарее?.. Она жива и будет еще долго жить и колотить фашистов до полного их издыхания!.. Ведь фашистов-то мы остановили! Как стемнеет, пусть повозки за

ранеными приедут. Не забудь сказать об этом майору. А санитаров — сейчас же сюда!.. Ну, ладно, беги!..

Пригнувшись, посыльный быстро побежал по траншее, придерживая сбоку противогазную сумку.

Забаровцы помогли Гунько похоронить в разрушенном блиндаже убитых. Командир батареи кого-то искал еще.

— Вы что? — спросил Забаров.

— Парторга никак не найду...

Пошли искать вместе. Искали долго. Наконец нашли. Он лежал с оторванной ногой под обломками перевернутой взрывом пушки, зажав в левой руке таблицу стрельбы,— парторг был командиром второго орудия.

— Вчера рекомендацию мне в партию писал, — сказал ефрейтор Печкин, и все еще раз посмотрели на парторга. Потом Печкин и маленький, прижившийся в батарее пехотинец разобрали обломки и осторожно вытащили парторга.

— Я видел, что, и тяжело раненный, он продолжал командовать расчетом,— глухо сказал Гунько.

— И салют-то нечем отдать. Ни одной пушки не осталось, — огорченно вымолвил Печкин.

— Ничего, — тихо и торжественно сказал Гунько.— Москва всем отдаст салют. Никого не забудет.

— Никого, товарищ старший лейтенант!— воскликнул Аким и покраснел.

В эту минуту земля гулко вздрогнула, качнулась под ногами. Это била по немецкой переправе пушка из соседней батареи.

— Товарищи! — обратился Гунько к разведчикам, когда все было закончено. — Вон рядом с тем подбитым немецким танком... Видите — носом ткнулся в какую-то яму?.. Там упал наш пехотинец. Это он поджег танк. Надо бы посмотреть. Может быть, он тяжело ранен, а не убит...

— Ну-ка, Ванин, ты моложе всех, — приказал Забаров. — Сбегай-ка.

— Разрешите и мне пойти вместе с ним, — попросил Аким.

— Иди.

Сенька посмотрел на Акима, но ничего не сказал.

До танка было метров двести. Ванин добежал до него первый. Еще издали он заметил бойца. Теперь нагнулся над ним и закричал:

— Аким, это Фетисов!..

Фетисов шевельнулся и простонал.

— Товарищ сержант!.. Это мы, разведчики! — тормошил раненого Ванин.

Фетисов приоткрыл слипшиеся, тяжелые веки, узнал:

— Вы... ребята?

— Мы!.. Мы!..

— Ты ранен! Понимаешь, ранен!

— Как ранен?.. Ах, да...

Разведчики подняли его на руки, понесли.

— Постойте, постойте!.. — вдруг взволновался сержант, бледнея и кусая испеченные солнцем, бескровные губы. — А сумка... сумка моя где?..

— На кой чорт она тебе сдалась! — не выдержал Сенька.

— Там... там все мои расчеты... они погибнут!..

— Ладно, товарищ сержант, — успокоил его Аким.— Сейчас поищем. — Он вспомнил ту ночь, когда они застали Фетисова за исследованием минных осколков и стабилизаторов.

Сумку нашли. Она лежала недалеко от того места, где разведчики увидели Фетисова.

— Большое вам спасибо, ребята!.. — немного окрепшим голосом поблагодарил сержант, принимая из рук Акима сумку и прижимая ее к своей груди.

Фетисова оставили на батарее Гунько. Старший лейтенант обещал отправить его в медсанбат вместе со своими ранеными, когда прибудут повозки.

Распрощавшись со старшим лейтенантом, разведчики стали пробираться в расположение своего подразделения. Шли молча. Шахаев смотрел на пленных немецких солдат и думал: «Фашизм!.. Что за страшное чудовище!.. Во что превращает оно людей. А ведь в Германии были Маркс, Энгельс, Гете, Бетховен...» И долго вспоминал еще парторг великих людей немецкого происхождения.

5

Утомленный день медленно-медленно подходил к концу. Из леса тянулись длинные вереницы санитарных повозок. Им навстречу шли легко раненные, некоторые из них несли перед собой, как хлеб-соль на рушниках, бе-

лые перебинтованные руки. Дымили походные кухни. Из артиллерийских мастерских, расположенных в лесу, грузовики тащили отремонтированные орудия. Пылили танки, направляясь правее, где еще бой не утихал и где противнику удалось вбить клин в нашу оборону. Живыми зелеными цепочками текло пополнение, тускло отсвечивали каски. Попрежнему над Донцом вились наши штурмовики. Высоко, невидимые глазом, шныряли истребители — там, не прекращаясь, шел воздушный бой. Направлялся на передовую новый иптап, еще не вступивший в дело. Вслед за орудиями, подпрыгивая на неровностях, громыхало несколько походных кухонь. Ехала кухня с полным котлом горохового супа и на батарею Гунько. Старичок-повозочный резво помахивал кнутом, понукая своих не слишком шустрых лошадок. Рядом с ним восседал повар.

А по другую сторону реки, вслед за кровавым диском насмотревшегося за день на войну солнца, за гору уползали рыжие немецкие тягачи, волоча за собой разорванные стальные шкуры «тигров» и «пантер». В густой пыли унылой чередой плелись тысячи раненых. Без касок, автоматов и винтовок, они брели угрюмые и злые, — те, что прошлой ночью орали: «Хайль Гитлер!», а теперь — только на запад, только на запад...

Сизов отошел от перильца, возле которого простоял без малого двадцать часов подряд, и тяжело опустился на стул.

В ушах генерала стоял сплошной грохот, слышались слова командиров полков, докладывавших обстановку, негромкий голос командарма, отдающего свои распоряжения и неизменно повторяющего одно слово: «Держаться!» Были минуты, когда Сизову хотелось попросить у него подкрепления, но он сжимал зубы и отвечал каждый раз одно и то же: «Продержимся». Сизов не раз убеждался в том, что во время жаркого боя подчиненные командиры всегда склонны преувеличивать опасность сложившейся обстановки, им всегда кажется, что именно на их участке враг сосредоточил свои основные усилия.

Отчетливее других стоял в ушах генерала приглушенный, одинаково розный и спокойный голос Баталина. После того как тот проявил инициативу, генерал вызы-

вал его реже, волнуясь и думая, однако, о нем не менее, чем о других, но и надеясь на него больше, чем на кого бы то ни было...

Сизов закрыл глаза и сразу же почувствовал, как все рядом с ним пошло стремительным кругом. Потом он увидел себя молодым красноармейцем. Это было в 1918 году под Нарвой. Он лежит за пулеметом. На них движется цепь немцев. Впереди офицер в черной каске с золотым орлом. Офицер выстрелил. Пуля пробила Сизову плечо. Его подхватил товарищ по роте, бывший матрос, вынес. Какое хорошее лицо у этого матроса...

Разорвавшийся поблизости тяжелый снаряд отпугнул сон. Сизов тряхнул головой, протер глаза.

— Как Баталин? — устало спросил он работника штаба.

— Стоит прочно, товарищ генерал.

— Передайте ему: пусть бережет солдат! — сказал комдив и пошел к лестнице, чтобы впервые за эти трудные сутки спуститься вниз. Встав на ступеньку, генерал добавил: — За ранеными бойцами пусть следят!.. Чтоб ни одного на поле боя не оставляли!.. — и вдруг откинулся назад — голова кружилась от перенапряжения, ноги, которые двадцать часов твердо держали его тело под огнем врага, теперь не подчинялись ему. «Отпустил вожжи», — досадливо подумал он о себе, не находя, однако, ни сил, ни желания взять себя в руки. Адъютант помог ему сойти на землю. Сизов еле переставлял непослушные ноги. Не дойдя до своего блиндажа, он с великим удовольствием присел на примятую траву и прислонился к большому пню.

— Слушай, лейтенант, — тихо приказал он адъютанту. — Узнай о судьбе разведчиков.

— Хорошо, товарищ генерал. Сейчас узнаю!

— Ну, а теперь иди... Как Баталин? — еще раз спросил комдив, взглянув на дерево.

— Держится, товарищ генерал,— крикнули сверху.

Генерал с трудом поднялся, отряхнул с кителя кусочки сухой коры и пошел в свой блиндаж. Там он сразу же упал на койку, закрыл глаза — вернее, они сами закрылись — и открыть их уже не мог до самого утра, до тех пор, пока не раздался первый немецкий артиллерийский залп. Наскоро позавтракав, бодрый и свежий, Сизов вновь поднялся на наблюдательный пункт и встал на

прежнем месте, немного расставив ноги, как командир корабля на своем капитанском мостике.

Вчерашнее начиналось снова.

6

Наутро в медсанбате Фетисову сделали операцию и обессиленного принесли в палату. Там уже лежало несколько тяжело раненных в голову бойцов. Забинтованные в белоснежную марлю, они лежали тихие и смиренные. В палатку вошла сестра. Она стала читать сводку Совинформбюро.

— «...До полка немецкой пехоты и тридцать танков атаковали позиции, которые оборонял батальон, где командиром гвардии капитан товарищ Бельгин...»

— Читай, сестрица, читай... Это ж о нашем батальоне сказано!.. — попросил один из бойцов, чуть приподняв голову.

— «...В течение двенадцати часов гвардейцы отражали атаки гитлеровцев. Потеряв пятнадцать танков и свыше пятисот солдат и офицеров, противник был вынужден отступить».

Забинтованная голова приподнялась еще выше. Из-под марли топорщились прокуренные усы. Бледные, бескровные губы вздрагивали.

— Сестричка... а нельзя ли еще раз зачитать то место... Ведь ни о ком не забыли!.. Всех вспомнили и заметили... И нашего комбата и всех...

— А где ж теперь он... комбат-то наш, товарищ Бельгин? — промолвила забинтованная голова на соседней койке...

— Убит ваш командир, — сказала девушка.

Три белые головы упали на подушки. В палатке стало тихо. Только листья шумели за дверью да где-то далеко гудел бой.

Через некоторое время опять чья-то белая голова поднялась:

— Сестричка... а как же фашисты, не прошли?..

— Не прошли, — ответила сестра. — Захлебнулись!

— И не пройдут! — сказал тот же солдат убежденно.— Я так смотрю. После этих боев немцы уже больше не будут думать о наступлении. Насчет обороны больше...

— О чем же им теперь думать?.. Ошибся Гитлер в своей стратегии. Сорок третий год за сорок первый принял...

— Вот и поплатился!

— Еще не так поплатится!.. — над одеялом поднялся чей-то кулак.

— Перемолотим его тут, а потом сами в наступление двинемся и погоним его до самой границы,— вдруг проговорил солдат, у которого ни глаз, ни рта не было видно — вся голова его была забинтована. Помолчал и не спеша, как давно выношенное, высказал:— В этом теперь и состоит сталинская стратегия! — очевидно, солдату нравилось не совсем понятное, но веское слово «стратегия».

Фетисов молчал: ему нельзя было говорить, и это для него было тяжелее всего — ведь как ему хотелось высказать и свои мысли по столь волнующему вопросу!.. Он заскрипел зубами и глухо простонал.

Замолчали и остальные. Будто все, что нужно было сказать, уже сказано и итоги подведены.

7

Ночь была беспокойной, тревожной. Небо бороздили бессонные «короли воздуха» — «У-2», на Харьков, Белгород и дальше плыли невидимые тяжелые бомбардировщики. Землю давил густой, ровный гул их моторов. У Красной поляны шел бой с прорвавшейся группой немцев. Оттуда слышались выстрелы танковых пушек и противотанковых орудий; легкий ветерок добрасывал сюда надрывный кашель немецких пулеметов, который сплетался с отчетливым ответным рокотом «максимов». Звонко ахали тяжелые минометы; стучали бронебойки, заботливо работали бесстрашные и злые «сорокопятки»; смахивая с деревьев листья, сверлили воздух пудовые снаряды тяжелых гаубиц, стоявших на лесных прогалинах. В багровое от пожарищ небо попрежнему взлетали ракеты. А из леса все тянулись и тянулись, надрывно урча, грузовики, скрипели колесами повозки. Отовсюду неслись негромкие крики шоферов, ездовых, свист бичей, звонкие удары по лошадиным крупам.

Пинчук с Кузьмичом всю ночь возили снаряды для артполка и возвратились к себе в роту лишь с восходом

солнца. Распрягая лошадей, Кузьмич заметил, что одна из них, с обрубленным ухом, его любимица, понуро опустила длинную красивую морду и, против обыкновения, не подняла ее, когда он снимал хомут. Испугавшись, Кузьмич обежал кругом кобылицы и только теперь увидел рану на ее задней ноге. Осколок снаряда разворотил ляжку.

— Маруська, милушка ты моя... Как же это... а? Что же ты молчала, красавица моя одноухая, глупая ты моя?.. — шептал ей в горячие ноздри Кузьмич. Старик нервно кусал левый ус, растерянно разводя руками.

— Якого ж биса ты стоишь? — прикрикнул на него Пинчук, поглаживая свой голый, бритый череп. — Ветеринара зови!..

Дивизионный ветпункт находился недалеко, и через полчаса, сопровождаемый Кузьмичом, оттуда явился старшина-ветфельдшер. Осмотрев раненую лошадь, он тотчас же приступил к делу. Кузьмич стоял рядом и изо всех сил старался разжалобить «доктора», как он льстиво называл ветфельдшера.

— Вы только подумайте, товарищ доктор, — дышал беззубым ртом Кузьмич в фельдшерское ухо, — ведь слово дал я своему председателю колхоза сохранить и в целости доставить обратно же... А тут такое несчастье!.. Человек вы, стало быть, ученый, коль за этакое ремесло взялись... Помогите, век буду в благодарностях...

И «доктор», в звании старшины ветеринарной службы, отвечал точь-в-точь, как чеховский Курятин из «Хирургии» несчастному дьячку Вонмигласову:

— Дела эти, старик, нам знакомые. Пустяки это... Мы — мигом!

Маруська своим жестким хвостом больно хлестнула по лицу нагнувшегося к ее ноге ветеринара.

— Тпру! Ты, безухая!.. А ты что рот разинул?! — рассердился лекарь.

— А что я могу с ней поделать... слепни одолевают... гнус по-нашему, по-сибирски... — робко оправдывался Кузьмич.

— Подержи хвост!

Кузьмич послушно исполнил приказание. С его помощью ветфельдшер промыл рану, зашил ее и туго перевязал бинтом.

— Ну, вот и все,— сказал он разгибаясь. — Завтра на ветпункт приведешь.

— Что вы, что вы, товарищ старшина... товарищ доктор! — взмолился Кузьмич.— Да я сам ее выхожу!

— Ну смотри, — примирительно сказал фельдшер.

Между ними завязалась неторопливая беседа.

— Конюхом, значит, был?..

— Конюхом, — ответил Кузьмич, оглядываясь вокруг, нет ли поблизости Пинчука. Но вместо старшины он заметил бегущую девушку. — Какую-то девчонку сюда нелегкая несет, — сказал он не то себе, не то своему собеседнику. — Никак Верка с почты?.. Так и есть — она, курносая. И зачем бы ей?..

Бойкая, краснощекая, она подбежала к Кузьмичу и, волнуясь, спросила:

— Иван Кузьмич, все... вернулись?

— Это ты о ком?

— Разведчики ваши?..

— Вернулись.

— Все?! — большие черные глаза девушки умоляюще смотрели на Кузьмича.

— Как будто все...

— Точно?.. Иван Кузьмич, точно? Иван Куз... — запнувшись на последнем слове, она повернулась и быстро побежала прочь, мелькая брезентовыми сапожками.

Кузьмич в недоумении оглянулся вокруг: у входа в землянку, широко и небрежно расставив ноги, стоял Сенька Ванин.

— Ах, вон оно что, — вздохнул Кузьмич и пояснил ветфельдшеру: — Любовь, стало быть... Так-то! И война нипочем. Вот она, молодость, что делает, язви ее корень!..

Мимо, будто не замечая их, независимой, валкой походкой прошел Сенька.

— К ней... — без труда заключил Кузьмич и опять вздохнул: — Хорошие хлопцы, я вам скажу! Им бы жить да жить. Советская власть выпестовала их, но и избаловала сильно, — Кузьмич неожиданно обиделся, закусил ус. — Вот идет, шкет этакий, мимо и даже не поздравствуется. Нуль внимания!.. А того не может понять, что его еще и на свете не было, а я уж эту самую советскую власть защищал, кровь проливал за нее...— голос его задрожал, оборвался, глаза быстро покраснели.

— Ну, и их черед пришел, — сказал ветфельдшер.

— Черед-то черед. Это все так, — как бы согласился Кузьмич. — Да ить и мы опять с ними. Это, почитай, для меня уже третья большая война...

Старик умолк, пошарил в кармане, и в его руках появилась маленькая шкатулка.

— Супруга моя, — вынул он пожелтевшую фотографию.

— Уж больно молода! — удивился ветеринар. — Жива-здорова?

— Бог ее знает...

— Как так?

— Длинная история...

Кузьмич взял у старшины фотографию, спрятал ее в шкатулку и, еще раз поблагодарив ветфельдшера, пошел прочь.

— Вера!.. — позвал Сенька, ускоряя шаг. — Обожди же!..

Краснощекая толстушка остановилась, потом не вытерпела и побежала навстречу Ванину. Она подскочила к нему и, быстро поднявшись на носках своих брезентовых сапог, прямо слету чмокнула его в губы.

— Тю ты... дуреха!.. — смутился Сенька. — Увидят же!..

— Пусть видят!.. — сказала она с вызовом и поцеловала его еще раз. Черные глаза ее блестели. — Ой, как же я... люблю тебя, Сеня!.. А ты... а ты меня... любишь?..

— Вот еще глупости.

Она обиделась, надув губы, как ребенок. Сеньке стало жаль ее. Но не опытен был в любовных делах лихой разведчик. Неуклюже обнял ее, а поцеловать так и не решился. Пробормотал только:

— Ох же и чудная ты... Вера!..

— Ну, и пусть! — сказала она дерзко и опять хотела поцеловать его, но он отстранился.

— Довольно же. Увидят, проходу не дадут. Засмеют... — Он взял девушку под руку.

— А тут можно поцеловать?.. Сеня, а?.. — спросила она, когда они оказались в лесу.

Он смутился.

— Ну тебя к лешему... Давай лучше поговорим...

Но она все-таки поцеловала его.

— Ну... рассказывай, — попросила Вера.

Сенька молчал. Куда только девалось его красноречие: сейчас он не находил, о чем говорить с подругой. А ей в сущности и так было хорошо. Лишь бы Сенька был с ней. С ним хорошо сидеть и молча. Вот так... Она прижалась к его груди и беззвучно засмеялась, счастливая.

8

Дни были долгие и одуряюще жаркие. Высоко на небе неподвижно стояли белые хлопья облаков — равнодушные ко всему, что творилось на земле. Скользя между ними, подкарауливали своего воздушного противника истребители. Сливаясь с облаками, вспухали по всему небу, как белая сыпь, небольшие кучерявые барашки разрывов зенитных снарядов. Выстрелов самих зениток не было слышно в общем гуле не прекращавшегося вот уже которые сутки сражения. До летчиков же вообще не доходили грохот орудий, пулеметная трескотня, ружейные хлопки и сердитый рев танковых моторов. Они смотрели на поле боя сверху, и оно напоминало им какое-то огромное мирное стойбище — там и сям горели костры, будто кочевники готовили пищу; клубилась пыль под гусеницами бороздивших землю танков, словно прогоняли стада. Донец светился совсем покойно и приветливо — отсюда, сверху, не видно было солдатских трупов, медленно плывших по воде, взбаламученной бомбами, не слышно предсмертного зова тонущих. Летчики-бомбардировщики сбрасывали свой смертоносный груз, и до них не долетал оглушающий грохот взорвавшихся бомб,— только видели они высоко поднявшиеся столбы дыма и пыли.

Седьмой день невиданного сражения подходил к концу. Над иззубренной клиньями прорывов линией фронта наступили редкие и робкие минуты затишья. До крайности измученные непрерывными боями, черные от копоти и пыли, обожженные солнцем, многие перевязанные наспех бинтами, бойцы отводили душу в разговорах. Прислонившись мокрой и горячей спиною к стенке окопа и поставив между сложенных калачиком ног винтовку

или автомат, затянувшись до удушья горьким дымом махорки и затем блаженно выпустив его через ноздри, кто-нибудь из солдат бросал в настороженную чернь ночи:

— Ну, и дела!..

Это было сигналом для начала облегчающей душу солдатской беседы. То угасая на минуту, то вновь вспыхивая от ловко брошенного — точно сухая ветвь в костер — словца, беседа эта течет долго-долго.

— И черти его гонят! Лезет проклятый. Пять раз бросал нынче танки на наш полк. Бутылок и гранат нехватило. Спасибо нашим танкистам да артиллеристам, выручили...

— А правее — сказывал парторг наш — будто еще тяжелее. Там, говорят, у них главное-то направление, а не здесь.

— Неужели не у нас?.. Эх, ты! А я думал, вся сила ихняя на нашу дивизию навалилась!.. А оно вон как!..

— И долго он еще будет лезть?

— Долезется... Дай-ка, Иван, прикурить. У меня затухла... Долезется на свою шею. Попадет в капкан, как в Сталинграде!

— Это уж как пить дать! Товарищ Сталин, поди, уже подготовил Гитлеру горькую пилюлю.

— А товарищ Сталин, случаем, не здесь сейчас?

— Надо полагать. Кто ж, по-твоему, техники-то нам столько наслал?

— Ясное дело, он — Верховный!

Угасали на небе звезды. Затухала и солдатская беседа. Взяв оружие, бойцы расходились по своим ячейкам. Близилось утро.

Так наступил день 12 июля.

Восьмой день невиданного сражения начался сильной атакой немецких танков. Навстречу вражеским машинам двинулись наши танковые полки, укрывавшиеся в лесу. К исходу дня на большом пространстве фронта догорало более четырехсот неприятельских машин. Для советских войск это было явным и несомненным признаком победы. Для немцев — неслыханным крушением всех их планов. Тысячи снарядов еще кромсали землю; немецкое командование в течение всего дня вводило новые силы, но фронт твердо стоял на одном месте. В отличие от советского командования, сохранявшего главные резервные силы у себя в тылу, гитлеровские военные руководители вынуждены

были уже в первые дни своего наступления ввести значительное число соединений, предназначавшихся по плану для последующего развития удара с целью выхода на Москву. Широко задуманное гитлеровским командованием наступление провалилось.

Потрясенный случившимся немецкий генерал Шмидт, командир 12-й танковой дивизии, записал в свой дневник:

«Мы слишком мало знали до начала наступления об укреплениях русских в этом районе. Мы не предполагали здесь и четвертой части того, с чем нам пришлось встретиться. Каждый кустарник, каждый колхоз, все рощи и высоты были превращены в опорные пункты. Эти пункты были связаны системой хорошо замаскированных траншей. Всюду были оборудованы запасные позиции для минометов и противотанковых орудий. Но труднее всего было представить упорство русских, с которым они защищали каждый окоп, каждую траншею».

С того дня, преодолевая яростное сопротивление врага, наши войска шаг за шагом теснили его к Донцу. Никто из солдат не предполагал в те дни, что это их медленное, метровое продвижение разольется скоро в половодье великого наступления, которое поставит гитлеровскую Германию перед катастрофой.

На рассвете 13 июля разведчики лейтенанта Марченко вернулись из очередного своего поиска и, утомленные, легли спать. Бодрствовал один лишь Забаров. Беспокойный блеск в его угрюмых глазах отражал напряженную работу мысли. До безумия дерзки были они, эти его мысли: Забаров хотел предложить командованию взорвать мост через Донец, по которому враг перебрасывал подкрепления своим войскам, перешедшим к обороне.

— Шахаев, — тихо позвал он, легонько толкнув рукой парторга.

Тот открыл глаза и посмотрел на старшину.

— Извини, что побеспокоил. Я хотел посоветоваться с тобой. Лейтенант не одобряет мою затею. В принципе не одобряет. Но он не возражает, чтобы я изложил свой план генералу. Как ты думаешь, сходить мне к комдиву?

— Конечно! — живо согласился старший сержант: сон как рукой сняло. — Ты же все хорошо продумал, и тут нет большого риска.

— Риск-то есть. Но в общем не такой уж большой, как ему показалось.

Шахаев знал, о ком говорит Забаров, и быстро посоветовал:

— Сходи еще раз к нему и постарайся убедить. Ведь лейтенант когда-то водил разведчиков на более опасные дела.

— Когда-то водил... Впрочем, попробую.

Федор открыл дверцу блиндажа и вышел. Шахаев проводил его долгим взглядом. Сегодняшняя ночь убедила старшего сержанта во многом. Он хорошо понял, почему командование дивизии так ценит Забарова и почему каждый поиск приносит Федору только успех. В подвигах Забарова нет ничего показного, подчеркивающего его безусловную храбрость. В их основе всегда точный и безошибочный расчет. Геройство Федора сочетается с исключительной осторожностью. Некоторым горячим головам, вроде сенькиной, эта осторожность иногда кажется даже излишней. Федор хорошо знал это, но его, казалось, меньше всего интересовала личная слава. Парторгу пришла даже мысль, что Забаров очень походил на одного старого мастера-паровозника, у которого когда-то учился Шахаев на паровозостроительном заводе в Улан-Удэ. Много общих черт находил у них старший сержант. Была одна главная общая черта: это глубокое понимание того, чему они призваны служить.

Захваченный такими мыслями, парторг поймал себя на том, что ему очень хотелось бы заглянуть в прошлое Федора, узнать о его личной жизни. И Шахаев дал себе слово, что при удобном случае обязательно поговорит со старшиной.

Было прохладно. Густой туман стлался над деревней. Отяжелевшие от росы горькие лопухи пригибались к самой земле. С них скатывались прозрачные капли. В сыром воздухе отчетливо слышалась стрельба. Федор поеживался от утренней прохлады, взад и вперед похаживая возле своей землянки.

— Да, это так... — наконец проговорил он, отвечая каким-то своим мыслям. — Надо разбудить лейтенанта.

Он постоял на одном месте немного и потом решительно направился к блиндажу Марченко.

— Что ты не спишь? — ворчливо встретил его лейтенант.

— Не спится, — сказал Федор своим глуховатым голосом. — Надо доложить генералу.

— О чем?.. А-а!.. Ну что ж, докладывай. — Марченко вдруг стремительно сбросил одеяло, вскочил на ноги. Его коричневые глаза вспыхнули злым огнем. — Ты с ума сошел, Забаров! Погубишь и себя и людей!..

— Так прикажите, и я не пойду.

— Нет... генералу надо сообщить, — неожиданно смягчился лейтенант и, досадливо скрипнув новыми ремнями, добавил: — Но не забудь сказать, что это твоя затея.

— Слушаюсь. Разрешите итти?

— Идите.

Забаров тяжело поднялся по земляным ступенькам. На минуту его фигура закрыла вход, и в блиндаже стало темно.

От командира роты старшина направился прямо к генералу. Итти пришлось лесом. Здесь укрывались десятки свежих полков. Забаров никак не мог понять, откуда прибывает такая бездна войск и для чего она предназначается. Федора часто останавливали часовые; приходилось объясняться. Наконец, он добрался до наблюдательного пункта комдива.

Сизов уже стоял на своем обычном месте, на обшарпанном минами дереве, и Забарову пришлось туда взбираться. Генерал выслушал его внимательно. Потом сказал:

— Мысль дерзкая, но стоящая. Свяжитесь с Быстровым. Его саперы вам помогут.

Через три дня после этого разговора, в глухую полночь, у Донца, против меловой горы, раздался оглушительный взрыв. А двумя часами позже Кузьмич, вышедший из землянки проведать своих лошадей, увидел возвращающихся разведчиков. Впереди шел Забаров. До ездового донеслись его слова:

— Это им за Уварова!..

9

Вечером 24 июля в маленьком голубом радиоприемнике, добытом Шахаевым в последнем поиске, раздалась знакомая всем трогательная позывная Москвы — первый вестник важных сообщений. Разведчики насторожились.

Ласточка, удивленная внезапно наступившей тишиной и странным звуком, с любопытством высунула из гнезда свою красношеею головку, тоненько пискнула. На нее никто не обратил внимания. Она пискнула еще раз, в тон звукам, которые время от времени лились из голубой коробочки. Наконец звуки эти смолкли. Голос диктора прозвучал просто и торжественно:

«Приказ Верховного Главнокомандующего

Генералу армии тов. Рокоссовскому,

Генералу армии тов. Ватутину,

Генерал-полковнику тов. Попову.

Вчера, 23 июля, успешными действиями наших войск окончательно ликвидировано июльское немецкое наступление из районов южнее Орла и севернее Белгорода...»

Экспансивный Сенька не выдержал, гаркнул:

— Вот это да!

— Погоди орать-то, хиба терпения немае! — прикрикнул на него Пинчук.

«В боях за ликвидацию немецкого наступления отличились войска...»

Разведчики теснее прижались к приемнику, задышали беспокойней. Голос Москвы властвовал в маленькой землянке. Из приемника уже звучали заключительные слова приказа:

«Вечная слава героям, павшим на поле боя в борьбе за свободу и честь нашей Родины!»

В блиндаже стало тихо-тихо. Все находились во власти последних слов сталинского приказа.

— А не забыли, ребята, как Гунько сказал своему солдату,— вдруг напомнил Шахаев: — «Москва всем отдаст салют. Она ни о ком не забудет!»

Разведчики, конечно, помнили эти слова командира батареи и теперь еще больше разволновались. А диктор уже читал приказ вторично:

«Проведенные бои по ликвидации немецкого наступления показали высокую боевую выучку наших войск, непревзойденные образцы упорства, стойкости и геройства бойцов и командиров всех родов войск, в том числе артиллеристов и минометчиков, танкистов и летчиков, — звучал в блиндаже торжественно-напряженный голос. — Таким образом, немецкий план летнего наступления нужно считать полностью провалившимся.

Тем самым разоблачена легенда о том, что немцы летом в наступлении всегда одерживают успехи, а советские войска вынуждены будто бы находиться в отступлении».

— Да, хриц, мабуть, вже не оправится, — заключил Пинчук и солидно разгладил свои усы.

В блиндаж вошел полковник Демин.

— Молодцы, разведчики! — похвалил он. — Кто из вас достал радиоприемник?

Шахаев смутился, по обыкновению застенчиво улыбаясь.

— Парторг, значит? Добро! — слово «добро» означало у полковника, что он в великолепном настроении.

— А мы приказ товарища Сталина слушали, — сказал Ванин.

— Приказ? О чем?

— Вот, я успел записать, — сказал Аким, подавая лист начподиву. Демин внимательно посмотрел на солдата, потом стал читать. Все видели, как светлело его лицо, как оживлялись усталые умные глаза. Разведчики были довольны, что полковник от них первых узнал такую большую новость.

Прочтя приказ, Демин заспешил и уже в дверях позвал с собой Акима.

— По вашему приказанию...

— Проводите меня, товарищ Ерофеенко.

Демин шел рядом с Акимом, искоса посматривая на него.— Вы, кажется, беспартийный?

— Да, товарищ полковник.

— И не думали о вступлении в партию?

— Думал...

— И все еще не надумали? — начподив улыбнулся.

— Рано еще мне... — Аким густо покраснел, вспомнив о своей встрече с Николаем Володиным и сенькины слова по этому поводу. — Не подхожу я, видимо, по своим качествам...

— Почему? — удивился полковник.

— Собственно... я сам толком не знаю... Вот была у меня, товарищ полковник, такая история... — Аким вдруг почувствовал, что ему очень легко говорить с этим человеком, и он рассказал полковнику, как встретился с другом, оказавшимся дезертиром, рассказал, что он

его не застрелил. Полковник внимательно выслушал Акима.

— Коммунист, товарищ Ерофеенко, не тот, кто действует по первым своим побуждениям. В данном случае вашим первым и естественным побуждением было убить предателя. Но вы этого не сделали. И, по-моему, поступили правильно, не потому, разумеется, что предатель этого не заслуживает. Он от своего не уйдет. Вы поступили правильно, ибо помнили о более важном — о безопасности товарищей, выполняющих ответственное задание. Отказываться от малого ради большого и важного — это и есть качество настоящего ленинца. Так учит товарищ Сталин.

Аким не мог скрыть от начподива того, что в те минуты он не думал о том, о чем говорил сейчас полковник, — просто у него не поднялась рука на Володина. Почему — он и сам не знает.

Полковника несколько озадачило такое признание солдата. Он задумался. Однако искренность разведчика понравилась Демину: нужно быть очень честным и мужественным человеком, чтобы признаться в том, в чем признавался сейчас Аким.

— Все-таки вам следует подумать о вступлении в партию, — сказал полковник твердо.

— Хорошо, товарищ полковник!

— Подумайте. Думать вы умеете! — Демин пожал руку солдата.— До свиданья, товарищ Ерофеенко!

— До свиданья, товарищ полковник!

Аким долго смотрел вслед невысокому человеку, устало переставлявшему ноги.

«Как у него все ясно и просто», — подумал Аким, возвращаясь в блиндаж.

Утром, выйдя на улицу, он был привлечен свистом птичьих крыльев. Вспугнутая стайка серых скворчат пронеслась над его головой. Аким огляделся. Кто-то тряс молодую яблоню. Семен, конечно. Аким посветлел.

— Яблоки сшибаешь? — подошел он к Ванину.

— Как видишь, — неласково ответил тот.

— Ну, ты и ерш! Слезай, что скажу.

— Обожди, — Сенька, прошуршав брюками по коре, спустился на землю. В озорных выпуклых глазах, которым так хотелось быть серьезными, Аким заметил блеск

неудержимого любопытства. По припухлым, еще ребячьим губам прошлась непрошенная улыбка: — Ну?..

— Чего «ну»? Давай мне свой подарок. Ведь я видел, что ты у немца обратно взял очки.

— Разбил я их... Хватил о дерево, аж брызги посыпались, как у той крыловской обезьяны...

— Ну, и шут с ними. Мне Пинчук новые из Шебекино привезет.

— Ты ж слепой без очков.

— Нет, Сеня, я, кажется, прозрел... немного,— Аким задумчиво и тепло посмотрел на товарища. — Понимаешь?..

— Чорт тебя поймет! — совершенно искренне сказал Сенька. — Корчат из себя каких-то многозначительных чудаков.

— Как, как ты сказал?

— Слушать надо.

«Многозначительных чудаков»! — Аким захохотал. Ему показалось, что в этих словах Ванина есть какая-то доля правды. В самом деле, уж не слишком ли он, Аким, мудрствует в своей жизни? Не лучше ли жить так, как живет Сенька, — просто и естественно.

— Ну, ладно, не сердись, — сказал он Сеньке.

— Наверное, начнется скоро? — вдруг ни с того ни с сего спросил Ванин.

— Почему?

— Зачем полковник-то приходил?

— Нет. Он приходил по другой причине.

— Может быть, — согласился Ванин. — Не хочешь яблока, Аким? — Сенька откусил и поморщился. — Кислющие до невозможности. Пойду Лачугу угощать. Специально для него нарвал. Скушает. Да еще и табачку даст взамен, в благодарность. Иначе у него не выпросишь. Хоть на колени становись. Не курит сам — и не дает. Вот какой человек! Почище Ваньки Дрыня. А за яблоки он даст. Это уж точно... — и Сенька заспешил к ротной кухне.

Вернувшись в блиндаж, Аким сел за дневник. В этот день он записал в него всего лишь два загадочных для Сеньки слова:

«Следует подумать».

10

Ночью дивизия генерала Сизова, вышедшая на свои прежние позиции, форсировала Донец, южнее Белгорода. Бойцы не продвинулись и трехсот метров, как были вынуждены остановиться, потом залечь в прибрежных тальниках, обглоданных снарядами и минами, примятых стальными лапами танков. Немцы опять сидели на меловой горе, откуда они 5 июля предприняли свое наступление. Им было все видно как на ладони. Однако и поделать они ничего не могли. Советские солдаты с редкостным упорством отстаивали небольшой плацдарм, который сами же окрестили надолго запомнившимся им словом «пятачок». На другой, на третий и на седьмой день ходили гитлеровцы в контратаку, но отбросить за реку советских бойцов им так и не удалось.

Командир дивизии ни днем, ни ночью не покидал своего наблюдательного пункта, который был теперь сооружен почти у самого берега реки. Чутко прислушивался к охрипшим телефонам. Из соседнего перекрытого окопа, соединенного с генеральским блиндажом ходом сообщения, долетали слова:

— Что, залегли?.. Хорошо!.. Понял, хорошо говорю!.. Сколько?.. Новых «карандашей» не будет сегодня... Передайте приказ «хозяина»...

— На «пятачке», на «пятачке»! «Хозяин» требует обстановку.

На НП пришел полковник Демин. Этой ночью он возвратился с «пятачка», где ему удалось собрать на несколько минут парторгов полков и батальонов и провести с ними короткое совещание. Начподив еще не успел привести себя в порядок. Он был весь черный не то от пыли, не то от пороховой гари.

— Иван Семенович...

Но генерал не дал ему досказать.

— Большие потери? Вижу и знаю! — Сизов оторвался от стереотрубы. — Знаю, Федор Николаевич! — твердо повторил он, на его левой щеке чуть приметно вздрогнул мускул. — Если б можно было сказать солдатам, зачем я их туда послал... К сожалению, пока этого говорить нельзя. Операция рассчитана на внезапность, подготавливается втайне. Вы думаете, Федор Николаевич, я не знаю,

что многие вот в эту самую минуту ругают меня: «Что ему, генералу, сидит себе на том берегу...»

Демин тоже хорошо знал, что главное готовится не здесь, а севернее, против Белгорода. На дивизию же Сизова выпало самое тяжелое и самое, пожалуй, незаметное в военном труде — отвлекать противника, сковывать его силы.

— И все-таки мы должны гордиться, Иван Семенович, что именно нашей дивизии поручили эту операцию.

— Конечно! — генерал вновь оторвался от стереотрубы и вдруг попросил: — Ко мне сейчас приносили наградные листы на санитаров. Я их подписал. Но мне кажется, мало представлено. Вы проверьте, пожалуйста, чтоб все санитары, участвующие в выносе раненых, были награждены. Не забудьте.

— Хорошо, я проверю, — сказал Демин.

— И если у вас есть время, сходите к пополнению, — попросил генерал.

Начподиву очень не хотелось оставлять генерала одного в этот трудный для него час, но он должен был сказать несколько слов молодым бойцам. И, распрощавшись с Сизовым, Демин отправился в село Крапивное, где принимали пополнение. Он пошел пешком — полковник вообще любил ходить пешком и редко пользовался машиной.

К приходу полковника молодые бойцы уже были распределены по полкам, батальонам и ротам и выстроены перед школой. Командиры спешили до ночи привести их в сосновую рощу, поближе к реке, чтобы с наступлением темноты сразу же начать переправляться на «пятачок». Начальник политотдела поднялся на крыльцо. Шум стих. Солдаты ждали.

— Товарищи! — негромко сказал полковник. Он весь как-то сразу преобразился, лицо его оживилось. — Товарищи! Вы пришли в нашу славную гвардейскую семью в суровый час. Ваши однополчане там, за Донцом, ведут жестокий бой. Им нужна ваша помощь... Недалек час, когда мы пойдем вперед, и только вперед! Путь ваш будет тяжел, труден, но и светел. Вы понесете знамя освобождения родной земле и страдающему под фашистским игом советскому народу на оккупированной врагом территории. Будьте стойки и мужественны в бою. Помните,

с вами — Родина, а впереди — великая победа! В добрый час, солдаты!..

Кто-то первый несмело прокричал «ура». Его поддержали дружно. Тремя звучными волнами прокатилось: «а-а-а...»

Полковник легко сбежал с крыльца и стал обходить роты, здороваясь с бойцами.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Третьего августа, с утра, где-то против Белгорода загудело. Разведчики выскочили из своего блиндажа, стали всматриваться в ту сторону, откуда катился ровный, встряхивающий землю гул. За лесом бурой стеной до самого неба встало облако пыли и дыма, и никак нельзя было понять, с какого берега реки поднималось оно. Эскадрильи наших бомбардировщиков неслись к этому облаку, исчезали в нем и возвращались уже другими маршрутами, обманывая вражеских зенитчиков. Иногда к ним пытались пристроиться тонкие и желтобрюхие, как осы, «фоккеры», но отсеченные нашими истребителями, они поворачивали обратно. Обнаглев, летели над самой землей с отвратительным свистом, обстреливая из пулеметов повозки и машины. Наши войска открывали по ним яростный огонь и нередко подбивали. Охваченные пламенем, немецкие истребители врезались в землю и быстро сгорали.

Алеша Мальцев любил наблюдать за воздушным боем, забравшись на дерево.

— Товарищи, горит... горит!.. — кричал он, вытягивая вперед правую руку, а левой обхватывая ствол дуба. — Сейчас врежется!..

— Где, где, Алеша? — бегал внизу Сенька.

Утром 5 августа гул в районе Белгорода неожиданно прекратился. Самолеты летели теперь в сторону Харькова и Богодухова. Солдаты поняли: на фронте произошло что-то очень важное и значительное. А в третьем часу дня пришло сообщение, что Белгород освобожден и советские войска движутся к Харькову и Богодухову.

Боясь окружения, немцы стали отходить и на участке дивизии Сизова.

Разведчики получили приказ двигаться вперед. Солдаты торжествовали. Огорчен был только Пинчук. Он было натопил баню и хотел помыть разведчиков, возвратившихся с «пятачка». А теперь это дело пришлось отложить.

— Кузьмич, якого биса ты так медленно собираешься? Запрягай!.. — покрикивал он на ездового, который и без того суетился возле своей повозки.

— О чем вы тут толкуете, товарищ гвардии сержант? — сочувственно спросил Петра Тарасовича Ванин, который в числе немногих разведчиков был у командира роты в резерве и находился при старшине. — Может, помощь какая нужна? Я к вашим услугам!

— Пидмогны Кузьмичу мешок на повозку положить.

— С удовольствием! — живо отозвался Ванин, и это насторожило старшину.

— Ты чого?.

— Ничего...

— Брешешь. Зи мною хочешь поихаты?

— Угу, — признался Сенька. — Да не один. Вот и Акима нужно пристроить.

— Добрэ. Сидайте.

У единственной переправы через Донец сгрудились десятки машин и великое множество повозок. В воздухе висела густая перебранка повозочных и шоферов.

— Эй, дядя, куда ты со своим сеном?

— А ты, чумазый, залез в машину и думаешь, что герой! Ишь черти несут тебя! Не видишь, подвода?..

— Раздавлю — одной меньше будет. Повыползли из лесу, как тараканы. Все дороги запрудили... Сворачивай, говорю!.. Не видишь, что везу? — шофер внушительно по-

казывал на кузов. В машине были аккуратно сложены длинные ящики с минами для «катюш», и это несколько поколебало ездового.

— Для «эрэсовцев», что ли? — спросил он.

— Для «эсэсовцев» гостинцы уральские! — скаламбурил парень.

Ездовой лениво отвернул в сторону, беззвучно отругиваясь. Его повозку оттерли, забили десятками других таких же подвод, и ездовой понял, что дела его плохи. Он махнул на все рукой и полез за кисетом — будь что будет...

Однако другие были понапористей. С раскрасневшимися лицами они остервенело хлестали лошадей, кричали, кому-то угрожали, доказывая, что являются самыми нужными на том берегу людьми; без них-де сорвется операция и кто-то останется голодным; какая-то рота ждет патроны, а они, вот, на повозках; сам генерал приказал не задерживать, переправлять в первую очередь. Врали — кто во что горазд, не задумываясь о последствиях. Все старались действовать от имени генерала — большие начальники и малые да и вовсе никакие не начальники — вроде вон того усатого ездового, что совал молоденькому саперному офицеру какую-то бумажку, должно быть состряпанную старшиной транспортной роты. Пунцовый от гнева и от великой натуги, он недоуменно топорщил свои усы, видимо, пораженный тем, что его бумажка не оказывает на сапера должного воздействия. Офицер был действительно неумолим: он пропускал только машины с боеприпасами и людьми. Напористый ездовой ошалело оглянулся вокруг и на минуту задумался — видно, еще раз убедился в превосходстве техники над его повозкой: технику пропускали без всякой задержки...

Пинчук решил переправиться в другом месте, где по только что сооруженному мосту проходили танки. Этой переправой руководили саперы, с которыми у разведчиков была традиционная дружба. Вначале Петр хотел было переждать, пропустить вперед танки, но потом увидел, что им конца не будет — один за другим они все выползали и выползали из сосновой рощи. Пришлось обратиться к командиру, руководившему переправой, и тот приткнул повозку Кузьмича между двумя машинами.

— Смотри, сынок, не раздави! — предупредил Кузьмич выглядывавшего из открытого люка щекастого и чу-

мазого механика-водителя, скалившего в улыбке белозубый рот.

— А ты гляди, дядя, как бы на пятку тебе не наступил!.. — крикнул он старику.

— Я уж и то... — и Кузьмич хлестнул кобылиц.

— Ишь, все як торопятся в наступление! Удержу нет! — пробормотал Пинчук. Впрочем, он сам, как и все солдаты, хотел поскорее ступить на правый берег и мчаться вперед так, чтобы дух захватывало. Однако Пинчуку пришлось немного задержаться на берегу: надо было выяснить обстановку. Оставив разведчиков возле переправы, Петр пошел вперед.

Где-то совсем недалеко, за меловой горой, гудел бой. Непрерывно грохотали орудия. Туда то и дело направлялись наши штурмовики. У переправы, на правом берегу, сидели раненые бойцы. Сенька, как только миновали реку, подошел к ним.

— Где это вас, ребята, так поцарапало? — спросил он и, вдруг расщедрившись, предложил табачку. Расшитый Верой кисет, обойдя всех раненых, вернулся к нему опорожненным. Семен без сожаления упрятал его в карман.

— Где, спрашиваешь? — Боец помусолил папиросу, прикурил и не спеша ответил: — Вон за той горой! Сопротивляется фашист. Отходит медленно, собака!.. Минометов да артиллерии у него там много!.. Да не удержать ему наших. Так, брат, жмут!..

— Куда ему перед такой махиной! — кивнул второй в сторону наших танков, которые, проскочив мост и почувствовав под собой твердую землю, не задерживаясь, устремлялись вперед.

— Аким, подойди сюда! — позвал Сенька. — Что ты опять задумался?.. Не горюй, может, прямо на твое село пойдем.

— Нет, Семен, направление у нас другое.

— Ничего, Аким! Все направления нас к победе ведут, — сказал Ванин. Легкий ветер трепал его русый чуб, выглядывавший из-под пилотки. — А потом этими же дорогами домой вернемся. Хорошо ведь, а?..

Аким подошел, хлопнул Сеньку по плечу и, улыбаясь, стал прислушиваться к разговору раненых. Глядя на их смуглые, обожженные солнцем и ветром, ничуть не омраченные болью лица и на непрерывное движение танковой

массы, думая о сенькиных словах, он вдруг почувствовал прилив светлой, освежающей душу радости и подумал, что подобное он уже испытал однажды при каких-то других обстоятельствах. В конце концов вспомнил, как и где это было. Еще до войны, вернувшись как-то из Харькова, он встретился с Наташей после долгой разлуки. Они гуляли тогда по степи до самого заката. Уходя, он оглянулся на подругу. Наташа стояла на прежнем месте, на одном уровне с уплывающим за горизонт солнцем. Ее светлые кудри, разметанные буйным степным ветром, пылали в красных закатных лучах, как костер. И вот тогда-то, ощутив праздник в своем сердце, Аким понял, как хорошо любить и быть любимым. И все радостное, счастливое в своей жизни он неизменно связывал с дорогим образом этой девушки.

«А сейчас, наверное, село уже освобождено. Как она? Где теперь?..» — подумал он с тревогой и легкой грустью.

Аким стоял у реки и всматривался в ее помутневшие воды, взбаламученные бомбами и снарядами. Вдоль всего берега, насколько охватывал глаз, виднелись грязножелтые остовы немецких танков. Их было очень много. Такого количества разгромленных немецких машин Аким не видел со времен Сталинграда. Как стадо слонов, пригнанных на водопой, танки уткнулись длинными стволами в воду. Одни стояли на берегу, другие, словно разморенные жарой, по самые башни заползли в реку, и от них по воде расплывались маслянисто-фиолетовые пятна, третьи распластались на суше, расстелив позади себя порванные гусеницы.

Вернулся Пинчук и приказал Кузьмичу выбираться на дорогу. Петр узнал, где должен располагаться КП дивизии, и теперь направлялся туда.

Сенька и Аким пошли искать остальных бойцов роты.

В полдень они догнали разведчиков, двигавшихся впереди наступающих частей дивизии.

— А знаете, товарищи, мы с Камушкиным побывали у деда Силантия. Не забыли старика? — спросил Шахаев.

— Что вы говорите? — удивился Аким. — Ну, что он, жив?

— Жив!.. Стоит на дороге, встречает бойцов!

— А старушка его жива?

— Жива. Прослезилась даже, узнав меня.

— А про мост не спрашивали?

— Немцы его несколько раз пытались восстановить, но другие советские подрывники вновь сжигали. Старик привет вам всем передавал. Помнит хорошо, никого не забыл.

— Да. Теперь он развернется. Небось, уже свой инвентарь собирает.

Разведчики укрывались в подсолнухах, наблюдая за большим селением Терновая, откуда немцы яростно отстреливались. Но перед вечером они вдруг замолчали. Разведчики сейчас же обнаружили, что враг отходит. Сообщив об этом в штаб дивизии, вошли в село. Забежали в маленький домик, стоявший на западной окраине селения, у Харьковского шоссе. На глиняном полу, у самого порога, лежала молодая женщина, совершенно голая с растрепанными волосами. В ее левой груди, под соском, чернело пулевое отверстие. Рядом с ней в луже крови лежало трое маленьких детей, очевидно, сраженных короткой автоматной очередью.

Жестокость врага была настолько бессмысленной и чудовищной, что разведчики первое время стояли молча.

— Дикари, дикари... — сдавленным голосом сказал, наконец, Аким.— Дикари... — повторял он одно это слово, так как другого в эту минуту придумать не мог.

— А ты у них очки боялся взять! — с гневом заметил Ванин. — Эх-х!..

Аким промолчал. Только лицо его налилось кровью — оно как-то вытянулось, непривычно построжало. Злорадное, ожесточенное чувство охватило Сеньку. Ему хотелось говорить обидное и грубое Акиму. Пусть слушает, так ему и надо. Жалельщик!.. Только не здесь скажет он ему эти слова. Не здесь!..

Разведчики вышли на улицу. Кое-где уже сбивались кучки людей, больше старики, женщины, дети. Они смотрели на дорогу, изрытую воронками от бомб, заваленную разбитыми немецкими машинами и повозками. Тихо переговаривались. Во дворе соседней хаты стояла женщина. Заметив разведчиков, она выронила из рук коромысло, закричала:

— Боже ты мой!.. Родименькие!.. Никак — наши?!

— Свои, свои, тетка!.. Что же соседку-то не похороните? — спросил Марченко.

— Ночью они ее... Я в погребе сидела. Слышала крик Аннушки... Что они сделали с ней?

— Ладно. Потом сама увидишь. Принеси-ка попить,— его правая бровь над усыпанным светлыми крапинками коричневым глазом дергалась от нервного тика — Марченко, видавший тысячи трупов, не мог, однако, переносить вида убитой женщины.

— Пойдемте в дом. Разве так можно! — всплеснула руками женщина. Глаза ее наполнились слезами: — Светлые вы наши! Ясны соколы! Дождались мы красна солнышка!.. Заходите, заходите, милые... Притомились, чай, ваши дорогие ноженьки!.. Ильинична! Ильинична! — звала она кого-то. — Вылазь, наши пришли!.. Наши... красноармейцы!..

— Господи, святитель ты наш!.. Да где?.. — с этими словами из погреба вылезла худенькая старушка; яркий дневной свет ослепил ее.

Разглядев, наконец, разведчиков, она приковыляла к Забарову, хотела осенить его крестным знамением, но, сообразив, что может достать только до его пояса, передумала. — Вот вы какие!.. Орлы, право!.. А нам-то тут говорили, что старики да детишки малые остались в Красной-то Армии... А что ж вы, сынки, одни-то пришли?..

В голосе и во взгляде старушки была тревога. Она пытливо всматривалась в лица разведчиков.

— Придут еще, бабушка, — успокоил ее Шахаев. — Водички холодненькой готовь. Весь колодец выпьют. Сейчас будут здесь.

И как бы в подтверждение его слов, на восточной окраине села показались первые красноармейцы-пехотинцы. Вслед за ними из-за угла, взвихрив облако пыли, выполз тяжелый танк и помчался вдоль улицы, наполняя селение грохотом гусениц и ревом мощного мотора.

Старушка испуганно и в то же время восхищенно следила за танком и, не оборачиваясь, говорила:

— Водички, говоришь, сынок?.. Да пускай пьют на здоровьичко. Вода у нас, как слезиночка. Поесть не хотите ли? — повернулась она, наконец, к разведчикам.

— Нет, бабушка, некогда. На обратном пути забежим.

— Как на обратном? — вновь испугалась старуха, поджав тонкие бесцветные губы.

— Когда из Берлина с победой будем возвращаться, — пояснил все еще мрачный Ванин.

— Ах, вон оно что!.. А я уж, грешница, подумала... Ну, с богом, сыночки. Светлая вам дороженька... такая же светлая, как ваши головушки... Жизнь ведь вы нам спасли, счастье вернули, — причитала Ильинична. — Берегите там себя, матери-то ждут вас не дождутся, все глазыньки проглядели...

Простившись со старушкой, разведчики пошли по деревне и вскоре оказались на шоссе. Золотоголовые подсолнухи-послушники с тихим шелестом кланялись им. Свернув с дороги, бойцы углубились в лес и чуть заметной просекой стали осторожно итти дальше. Миновав рощу, они остановились на ее опушке. Прислушались. С неба доносился неровный гул моторов. Около тридцати «юнкерсов» плыли на восток. Вскоре раздались громовые раскаты — это немцы бомбили Терновую, которую недавно покинули разведчики.

— Танки наши, наверное, заметили.

— Огрызается здорово.

— Тяжелые бои будут.

Впереди, где-то далеко-далеко, слышались глухие взрывы.

— Взрывает что-то фашист,— сказал Алеша Мальцев.

— В Харькове, наверно, — предположил Ванин.

— Мосты, заводы... Все разрушают... — вмешался в разговор и Аким. Сенька немедленно набросился на него:

— Это они тебе за твою жалость платят! Да я б их всех...

— Ладно, прекрати, Семен, — остановил его Аким.

— Не прекращу!.. Что ты командуешь! Подумаешь, начальник какой объявился!..

— Семен, когда ты поумнеешь? — нос Акима покрылся бисеринками пота.

— Пошел ты... — Ванин задохнулся.

— Что ты кричишь, Сенька, — попытался успокоить его Шахаев. — Опять с фашистами нас сравнить хотел? Подумай, что ты говоришь!

— И вам не стыдно!.. Забыли про ту женщину с детьми!.. — Семен зло посмотрел на Шахаева и Акима. — Давить их, давить!.. Душить надо, понятно?! На куски резать!..

— Успокойся, Ванин, — снова остановил его парторг. — В бою делай, как хочешь. Пленных же мы не можем трогать.

Дальше шли молча. Шли долго, до самой темноты. Наконец добрались до небольшой деревни.

Шахаев постучал в крайнюю хату, держа автомат наизготовку. Где-то, в глубине двора, загремел было цепью и рыкнул пес, но, видимо, наученный горьким опытом, быстро умолк. На крыльцо вышла хозяйка, закутанная в шаль. Испугалась. Долго не могла понять, что за люди стоят перед ней в таком странном одеянии.

— Чего испугалась-то, мать? Не видишь — свои.

— Батюшки мои, неужели?.. Идите же в дом!

— Нельзя нам. Немцы есть в деревне?

— Ушли. Вечером все ушли.

Стоявший поодаль от Шахаева Ванин вдруг насторожился. Его острый слух уловил какие-то звуки. Сенька вслушался и приглушенно сказал Забарову:

— Немцы. Обоз ихний...

Вскоре и остальные разведчики услышали позади себя поскрипывание тяжелых повозок. К деревне с востока приближался немецкий обоз. Неизвестно, как он оказался позади. Обозники спокойно переговаривались между собой. Они, очевидно, считали эту деревню своим тылом.

— Ванин! — подозвал к себе Сеньку Марченко. — Сейчас же узнать, что за обоз.

Сенька исчез в темноте и вскоре появился вновь.

— Пять подвод, — коротко доложил он лейтенанту.

— Солдат?

— Видел двоих, кроме ездовых.

Марченко решил расправиться с немецким обозом, нарушив обычное правило разведчиков — не вступать в открытый бой без крайней необходимости. Он приказал разведчикам приготовиться. Солдаты засели у крайних хат, по обе стороны дороги. Вот теперь немцы пусть пройдут...

Аким притаился у плетня, рядом с Мальцевым. Стал нетерпеливо ждать, пытался разглядеть в темноте приближающийся обоз. Только зубы почему-то вызванивали мелкую дробь. Казалось, пора бы уже пообвыкнуть, не в таких переделках приходилось бывать. А вот нет. Вызванивают — и все. Лучше их сжать покрепче. Вот так...

Немцы не подозревали об опасности. Повозочные, щелкая кнутами, покрикивали на своих куцехвостых битюгов, поторапливая их. Первую повозку разведчики пропустили беспрепятственно. Это еще больше убедило врага, что впереди все в порядке. Но как только подтянулся весь обоз, с обеих сторон загремели автоматные очереди и полетели гранаты. Покончили с обозниками быстро и без особых хлопот. Пятерых убили, одного взяли в плен. Стали осматривать повозки и спохватились — пропал Алеша Мальцев.

Разведчики хотели было уже начать поиски, но в это время во дворе соседней хаты появились двое. Один — впереди, с поднятыми руками, второй — сзади, с автоматом наготове: Алеша Мальцев вел пленного.

— Удрать было захотел, в хлев забежал... — задыхаясь, рассказывал он. — Я — туда!.. Ну, вот... и захватил.

Осмотрев пленного, разведчики снова вернулись к повозкам. В одной из них обнаружили чемодан, набитый детским бельем и вышитыми белыми рубахами. Аким почувствовал, как ему сдавило грудь. Он рывком шагнул к фашистам, но чья-то тяжелая рука легла на его плечо.

— Отставить, Ерофеенко!

Аким оглянулся и увидел Забарова.

— Бандиты они!.. — все же прохрипел он и, вдруг ссутулившись, отошел в сторону.

Пленных Марченко решил доставить в штаб дивизии. Конвоировать их он приказал Сеньке. Сам лейтенант также собрался в штаб.

Ванин взялся за это дело с видимой охотой. Ему хотелось сделать приятное Кузьмичу и Пинчуку. Сенька помнил, что у ездового одну лошадь ранило, и уже заранее представлял себе, как будет рад Кузьмич, когда Сенька вручит ему двух упитанных тяжеловозов. Растрогавшись, он, конечно, не поскупится и насчет табачку, в котором Сенька испытывал хронический недостаток. Был у него небольшой запасец, да раздарил раненым у Донца. «Лачуга тоже, глядишь, подбросит», — прикинул в уме Семен, вспомнив про некурящего повара, и, все это хорошенько взвесив и оценив, пришел в отличнейшее расположение духа. Он проворно вскочил в повозку и уселся рядом с лейтенантом.

— Кута ехать?— спросил его немец-повозочный, взявшийся за вожжи.

— Дранг нах остен, жми! — отозвался из глубины крытой брички Сенька и вскинул автомат.

Немец хлестнул лошадей. Второй гитлеровец сидел рядом с ним, по правую сторону. Так их усадил Марченко, чтобы обоих держать на прицеле. Кошачьи, прыткие глаза Ванина настороженно следили за малейшим движением пленных.

Один немец что-то сказал второму.

— Шнель, шнель!.. Эй ты, говорун!.. Чего разболтался? Еще наговоришься в другом месте! — поторапливал Ванин. — Пошевеливай!..

Но мохнатоногие битюги не торопились. Они оказались на редкость ленивыми.

— Чортова скотинка! — выругался Сенька и покосился на лейтенанта.— На них только союзникам за вторым фронтом ездить!..

Марченко молча смотрел на спины пленных немцев; он не счел нужным поддерживать сенькину болтовню.

Набежал легкий ветерок, разогнал отары пугливых облаков. Только далеко-далеко, чуть ли не у самого горизонта, молодой месяц обнимался с темнокудрой одинокой тучкой.

2

Преодолевая отчаянное сопротивление врага, полки дивизии генерала Сизова неудержимо рвались вперед. Лишь на вторые сутки, вечером, комдив отдал приказ остановиться на несколько часов и привести войска в порядок. Надо было подвести боеприпасы, накормить как следует бойцов, подтянуть тылы.

Немцы закрепились на трех высотах, господствовавших над местностью. Впереди этих высот, будто часовой, стоял древний курган. Разведчики еще днем выяснили, что на кургане засело десятка полтора гитлеровцев с одним ручным пулеметом. Об этом они сообщили в штаб. А вечером генерал вызвал к себе Марченко. Подойдя к его окопу, лейтенант остановился. До него доносился разговор комдива с каким-то офицером, должно быть с командиром полка.

— Задержал вас потому, что так нужно,— звучал отрывистый голос Сизова.— Можно зарваться. Приводите себя в порядок и двигайтесь дальше.

— Слушаюсь. Только...

— Никаких только!

Разорвавшийся поблизости снаряд заглушил слова генерала.

— ...Что ж поделаешь? Не учился я в академиях,— донеслись опять до Марченко слова из окопа.

— Очень плохо, что не учились,— резко возразил комдив.— Прошло то время, когда можно было кичиться своей неученостью. У нас и солдаты-то все учатся, а вы... Впрочем, идите. Поговорим потом.

— Слушаюсь!..

Мимо Марченко торопливо пробежал подполковник Тюлин. Лейтенант в нерешительности постоял еще с минуту, а затем, набрав в легкие воздуха, подошел к генералу. Тот сразу показал на курган.

— Как вы думаете, лейтенант, могли бы ваши разведчики овладеть этим скифским сооружением?

— Безусловно, товарищ генерал! — не задумываясь ответил Марченко.

— Так вот: приказываю вашей роте овладеть курганом этой же ночью. Ясно?

— Так точно. Курган будет взят!

— Вы в этом убеждены? — неожиданно спросил его комдив.— Убеждены крепко?

— Конечно, товарищ генерал! — ответил Марченко, не совсем понимая, почему комдив задал этот вопрос.

— А потери у вас в роте есть? — спросил начальник политотдела и пристально посмотрел на лейтенанта.

— Нет, товарищ полковник.

— Добро.

— Идите, лейтенант,— приказал генерал.— О выполнении задачи доложите лично.

— Есть! — Марченко круто повернулся и мягко зашагал по траншее.

Разведчики отдыхали, расположившись на небольшой лесной поляне. Каждый занимался своим делом. Забаров о чем-то сосредоточенно размышлял.

Алеша Мальцев, вычистив свой автомат, приблизился к Шахаеву.

— Ты что, Алеша? — спросил парторг.

— Я к вам, товарищ старший сержант.

— Ну-ну, рассказывай. Что у тебя там?

По голосу бойца Шахаев понял, что Мальцев чем-то сильно взволнован.

— Мне Ванин сказал, что я не гожусь в разведчики...

— Ванин? — удивленно переспросил парторг.— Это когда же он тебе сказал такое?

— Еще на Донце. Выдержки, говорит, у тебя нет.

— А-а...— Шахаев улыбнулся.— Это хорошо, Алеша. Ты на него не обижайся. Сеньке самому влетало за невыдержанность,— добавил он, вспомнив все сенькины проделки. Парторгу было приятно от сознания, что Сенька уже становился совсем не тем бесшабашным парнем, каким был раньше.

— Да я ничего,— примирительно сказал Алеша.— Только, по-моему, разведчик из меня все же получится.

— А ты кем до войны-то был? — вдруг спросил Шахаев и подсел к нему поближе.

— Учился в десятилетке. Кем же мне быть. У нас все учились. Хотел потом поехать на агронома учиться.

«Еще один агроном!» — улыбнулся парторг, вспомнив сержанта Фетисова.

— А сколько тебе лет? — спросил он, уловив в голосе своего собеседника что-то совсем юное.

— Уже восемнадцать вчера сравнялось!—гордо, баском, ответил Алеша.

— Так у тебя вчера был день рождения? — удивился Шахаев.— Что же ты молчал?

— А зачем говорить. На войне ведь день рождения не справляют.

— Да... Восемнадцать, говоришь... — раздумывал Шахаев.— Как же ты, братец мой, умудрился так рано в армию-то попасть?

— Добровольцем.

— А после войны кем бы ты хотел стать? — Шахаеву все больше нравился этот молоденький и прямодушный паренек.

— Мое решение твердое — агрономом! — убежденно заявил Алеша.— Сады буду разводить. У меня все книги Мичурина и Лысенко дома имеются. Видал, сколько са-

дов немцы уничтожили — страсть одна! Вот я и буду разводить. Люди-то наши, знаете, как будут жить. Тогда каждому колхозу подавай хороший сад...

Беседу Шахаева с Мальцевым прервал возвратившийся от генерала лейтенант Марченко.

— Федя! — ласково позвал Забарова командир.— Есть одно интересное заданьице. Хочу поручить его тебе.

Плотно сжатые, большие губы Забарова шевельнулись, но глаза остались прежними — угрюмоватые и сосредоточенные. Он коротко спросил лейтенанта:

— Какое?

Марченко объяснил.

— Сможете?

— Да уж как-нибудь. Только к начальнику разведки схожу, посоветуюсь с ним.

— Что ж, сходи. Желаю успеха, Федя,— протянул Забарову тонкую руку лейтенант.— Может быть, ребятам поднести по одной... для храбрости?

— Не надо,— отрубил Забаров и, темнея в лице, добавил:

— Не нужна мне такая храбрость.

Стоявший неподалеку Ванин, услышав слова старшины, сокрушенно вздохнул.

— Шахаев! — позвал Забаров старшего сержанта.— Пойдем со мной к майору Васильеву.

— Сейчас, товарищ старшина! — отозвался парторг и стал подниматься с земли.— До свиданья, дружок,— сказал он Алеше.— Мы еще не раз поговорим с тобой о жизни. А разведчик из тебя обязательно получится и в общем неплохой,— Шахаеву хотелось сказать что-нибудь доброе, хорошее этому славному юноше, но на войне трудно подбирать нежные слова. Похлопав Мальцева по плечу, парторг повторил: — Сенька не прав. Ты станешь хорошим разведчиком, Алеша,— и быстро пошел к Забарову.

Наступила ночь. Разведчики отдыхали. Но Ванину сегодня не спалось. Он подошел к Акиму и, увидев, что тот тоже не спит, стал донимать его разговорами.

— А здорово ты, друже, немцев-то напугал,— заговорил он, присаживаясь рядом.— Всю дорогу у них только и разговор был про тебя,— вдохновенно врал Сенька.— Сильно, говорят, этот очкастый русиш зольдат

испугал нас. Вот какие отзывы о тебе я слышал, Аким! И, знаешь, рассказывают с удовольствием, черти! Даже, можно сказать, с уважением к тебе. «Ах, какой суровый этот руссиш зольдат!..» А этот «зольдат» до сих пор тележного скрипа боялся, по голове бандюг гладил, этакий добрый паинька!.. А сейчас начал помаленьку исправляться. Там, в пехотном окопе, здорово ковырнул фашиста. А в ту ночь с этими обозниками, прямо тебе скажу, ты был молодец, Аким!

Аким слушал Сеньку рассеянно, вяло и так же вяло ответил:

— Не удержался. А не следовало бы горячиться.

— Не удержался. Не следовало бы! — передразнил Ванин.— Опять ты за свое! Да ты видишь, как они о тебе сразу заговорили, когда ты их только попугал. А дал бы ты им по роже, они бы просто с восхищением о тебе сказали. Знаю я их!

— Меня вовсе не интересует, что они обо мне говорили,— все так же равнодушно ответил Аким, проверяя рацию, которую вручил ему командир,— старая специальность связиста пригодилась разведчику.

— Они, можно сказать, в восторге! — гнул свою линию Семен.— А ты — «не следовало бы». Эх, нюня! — Ванин от чистого сердца сплюнул.— Да они, поганые твари, видал, что с нашими людьми делают?

— Ну, видел. Что ты, собственно, пристал ко мне? Подумаешь геройство — пленных бить. В бою — другое дело.

— Везде их надо бить! — убежденно сказал Ванин.

Друзья не договорили: их позвал к себе Шахаев, вернувшийся вместе с Забаровым от майора Васильева.

Незадолго до рассвета тронулись в путь, к кургану, который темной громадиной вырисовывался на побледневшем горизонте. Оттуда изредка доносились пулеметные очереди, раздавались сонные ружейные хлопки. Разведчики пробирались неглубокой балкой, она тонула в пепельно-серой прохладной дымке. Пахло росой, чернобылом, подсолнухом и еще чем-то необъяснимо милым и сладким, что рождает степная зорька. Ноздри бойца широко раздувались, жадно захватывая этот настоенный на разноцветье запах. Шли, как всегда, гуськом, след в след, тихо и настороженно.

— До кургана недалеко,— предупредил Забаров, остановившись и вглядываясь в предутреннюю муть.

С минуты на минуту очертания кургана выступали все явственнее, стрельба становилась отчетливей, но немцы стреляли попрежнему редко. Их пулемет стоял на самой вершине холма. Изредка он выпускал в темноту длинные светящиеся строчки трассирующих пуль.

Все внимание Забарова было приковано к пулемету. Прежде всего надо было разделаться с ним. Но как это осуществить лучше и быстрее? Федор задумался. Однако решение пришло раньше, чем он сам ожидал: надо послать одного бойца; пусть он, незаметно пробравшись на курган, уничтожит пулеметчика ножом и даст сигнал ракетой. Разведчики — не стрелковая рота, чтобы пойти в открытую атаку. У них — свой образ действий.

— Как ты думаешь, кого? — тихо спросил Забаров, обращаясь к Шахаеву.

Парторг ответил не сразу. Взгляд его сначала остановился на Сеньке, который, воспользовавшись остановкой, перематывал портянки. Потом Шахаев оглянулся назад, подумал еще немного.

— А что, если... Мальцева?

Забаров с удивлением посмотрел на парторга.

— Справится ли?

— Справится,— уже тверже ответил Шахаев.

Федор с минуту смотрел на парторга своими темными, чуть поблескивавшими глазами.

— Ладно,— согласился он и позвал к себе разведчиков.

Когда задача была всем ясна, Шахаев приблизился к Алеше.

— Я верю в тебя, Алеша,— тихо сказал он.

— Спасибо, товарищ парторг,— поблагодарил Мальцев.— Я выполню задание.

Шахаев крепко обнял его. Парторг понимал: молодой солдат сознательно шел на свой большой подвиг, а это было самое важное...

Лейтенант Марченко сидел на запасном наблюдательном пункте подполковника Баталина, откуда ему лучше всего было наблюдать за курганом. Офицер уже искурил с десяток папирос, во рту и в груди у него было скверно, а курган безмолвствовал.

«Что же он не начинает?» — волновался лейтенант, думая о Забарове. Теперь он готов был пожалеть, что не повел разведчиков сам. Услышав сверху, над окопом, чьи-то шаги, Марченко вздрогнул. Он с удивлением увидел спускавшегося к нему начальника политотдела. Удивился в свою очередь и полковник. Демин искал Баталина, а вместо него на наблюдательном пункте полка обнаружил Марченко.

— Вы что тут делаете, лейтенант? — спросил Демин.

— Наблюдаю за курганом. Мои разведчики...

— Это я знаю,— остановил его полковник.— Но я полагал, что вы сами поведете разведчиков на эту операцию. А вы, оказывается, опять поручили Забарову.

— Я это сделал потому, товарищ полковник, что Забаров лучше всех...

— Даже лучше вас? — перебил его Демин.

— Почему?.. Я хотел сказать, что Забаров лучше других моих разведчиков справится с этой операцией.

— То, что он справится и с этой задачей, это нам известно. Меня сейчас интересует другое. Больно уж часто вы посылаете Забарова, а сами... Не кажется ли вам, товарищ Марченко, что в последнее время Забаров командует ротой, а не вы?

— Что вы, товарищ полковник!

— Уж не решили ли вы почить на лаврах, приобретенных под Сталинградом?

— Ну, как можно!..

— А вы все-таки подумайте об этом,— посоветовал Демин, всматриваясь в чуть видимый отсюда курган.

— Это — страшное обвинение, товарищ полковник! — вспыхнул Марченко, чувствуя, как над правым его глазом задергалась бровь.— Я не заслужил! Я...

— Вы не согласны? — спросил спокойно Демин, не прекращая наблюдения.

— Я не знаю, чего от меня хотят. Моя рота — образцовая.

— Может быть, в этом меньше всего ваших заслуг?.. Ну, хорошо, наблюдайте. Простите, что я отвлек вас. Только подумайте обо всем. Думать всегда полезно.

— Понимаю, товарищ полковник, но ваши опасения сильно преувеличены,— оправдывался Марченко.

— Хорошо, если так. Я ведь только предупредил вас. Вот вы получили сейчас ответственное задание. А не по-

советовались с генералом, как его лучше выполнить. Разве так можно?..

Демин хотел еще что-то сказать, но его отвлекла сильная перестрелка, вспыхнувшая вдруг на кургане.

— Начали! — вырвалось у Марченко.

А на кургане события развивались следующим образом.

Ощупав в кармане ракетницу и финку — главное финку! — Алеша пополз и вскоре пропал в подсолнухах. До разведчиков долетал лишь тихий шорох. Рассредоточившись у подножья кургана, они ждали, не сводя глаз с того места, откуда время от времени вырывались, вышивая небо, красные пунктиры трассирующих пуль. Бойцы стояли, подавшись всем корпусом вперед, как спринтеры на старте в ожидании взмаха флажка. Руки их лежали на прохладных и запотевших к зорьке телах автоматов: правые на шейках прикладов, левые на дырявых кожухах стволов. Курган выступал из тьмы, и все явственнее обозначались его угрюмые очертания. Молочная дымка струилась вокруг него, медленно сползая с покатых седых боков, кутая густой прохладой притаившихся разведчиков.

Ждать пришлось недолго, хотя солдатам и казалось, что прошло по меньшей мере часа два. Над курганом, в том месте, где стоял пулемет, вспорхнула красная ракета и павлиньим хвостом рассыпалась в воздухе, ослепляя людей нереальным, холодным светом. В ту же минуту послышался короткий, пронзительно-тревожный крик, и сейчас же все смолкло. Разведчики поднялись. «Ура» покатилось вверх. Бойцы бежали и удивлялись, что впереди никого нет. Громадный Забаров то припадал к земле, то вновь вырастал из тумана, непрерывно строча на ходу из автомата. Вот он качнулся, взмахнул правой рукой, бросил вперед гранату и, пригнувшись, опять устремился вперед. Только теперь увидели немцев и остальные разведчики. Гитлеровцы перебегали с места на место на обратном скате кургана, беспорядочно отстреливаясь. Пули повизгивали над головами разведчиков. Косые очереди забаровского автомата хлестали по убегающим.

— Отрезай, отрезай путь!.. — крикнул Забаров бегущим справа и слева от него разведчикам.

Но немцы были уже далеко.

Где-то совсем рядом вымахнули к самому небу два огромных желтовато-красных зарева, и вслед за этим раздался грохот и шум.

— «Катюши»! — восторженно воскликнул Ванин. Освещенное заревом лицо его горело. Из-под пилотки ручьями катился пот.— «Катюши»!

Земля дрогнула и застонала — это вслед за «катюшами» открыла огонь наша тяжелая артиллерия. Яростная орудийная канонада не смолкала минут тридцать. Дивизия с приданными ей частями возобновила наступление. Слева и справа от кургана через небольшие высоты атаковали противника стрелковые полки. Теперь их командиры могли не беспокоиться за свои фланги: курган, откуда немцы могли вести фланкирующий огонь, находился в руках советских разведчиков.

Стало совсем светло. Набежал ветерок, развеял сизую дымку и загулял по степи, как молодой конь, выведенный в ночное. Погасил одну за другой далекие звезды. На востоке, из-за темнеющего вдали леса, пробились первые лучи солнца и осветили землю, которую все еще лихорадили рвущиеся снаряды.

— Передай в штаб...— тяжело дыша и вытирая руками потное рябоватое лицо, подсел к Акиму Забаров.— Курган взяли. Передавай!..

— Уже передал, товарищ старшина!

— Хорошо!.. А Мальцева нашли? — обратился Федор к подходившим со всех сторон разведчикам.

— Нет, не нашли, товарищ старшина...

— Отправляйтесь еще искать. Найти обязательно!

— Есть! — ответил за всех Сенька, который уже успел прицепить к ремню офицерский кортик.

— Это еще что? — заметил Забаров.

— Для командира роты, лейтенанта нашего... у немецкого офицера одолжил...

— Я вот тебе одолжу! Сбрось эту гадость! — приказал Забаров.

Сенька поспешно отцепил от ремня кортик и, размахнувшись, далеко закинул его в подсолнухи. Затем отправился на поиски Мальцева.

На этот раз Алешу нашли быстро. Он лежал на самой маковке кургана, рядом с убитым им немецким пулеметчиком, на куче потемневших от гари стреляных гильз. Лежал вверх лицом. Глаза его были открыты. На

лбу, между покрытых росинками опаленных бровей, чернела крохотная дырка, а рядом с ней — темная капелька крови. У изголовья валялась финка, вся в ржаво-бурых пятнах. Шахаев поднял Алешу и бережно понес его на руках.

На вершине кургана разведчики залегли в обороне. Отсюда они наблюдали величественное зрелище. Справа и слева, насколько обнимал глаз, текли колонны наших войск. Этому живому потоку, казалось, не было ни конца, ни края; он прорвался, как через плотину, и с бешеной и неудержимой силой устремился вперед, пыля по всем дорогам и без дорог. Впереди, грохоча, лязгая и стреляя, мчались танки, которым, казалось, не было числа. «Сто... сто двадцать... двести... двести пятьдесят... триста»,— считал Ванин.

— Товарищи, откуда они?..— закричал Сенька, чуть не плача от внутреннего ликования.— А «катюш»-то, «катюш»-то сколько!..

Над колоннами бреющим полетом проносились эскадрильи штурмовиков. Под ними, по взлохмаченной, пыльной земле, новые грузовики тянули за собой новые орудия, тягачи-«сталинцы» волокли сверхмощные, на гусеничных установках, гаубицы. Машины с мотопехотой едва поспевали за танками. Над всей этой массой войск повисали реденькие черные шапки от бризантных разрывов. Кое-где немецкие снаряды рвались и на земле. Но на это как будто никто не обращал внимания.

Острая боль, вызванная гибелью товарища, смешалась в груди разведчиков с другим большим чувством. Всем им хотелось бежать вперед, вслед за лавиной наших войск, прорвавшихся через оборону врага. В прорыв, повидимому, были введены огромные массы свежих войск. Теперь разведчики могли оставить курган: он уже не угрожал наступающим.

Разведчики сбежали вниз, к дороге, по которой двигались части. И вдруг заметили батарею старшего лейтенанта Гунько. Запыленный, смуглый, с ликующим блеском в желтоватых глазах, офицер подбежал к разведчикам.

— Вот видите,— показал он на новые пушки, прицепленные к машинам.— Жива моя батарея! А вы говорили!..

— Да никто вам ничего не говорил,— возразил За-

баров, пожимая руку офицера.— Конечно, жива. Скажи, пожалуйста, откуда такая масса наших войск. После таких боев у Донца — и вдруг!..

Гунько удивился:

— Разве вы еще не знаете? Целый фронт, оказывается, в тылу в запасе стоял. Понимаешь?

— Фронт?

— Степной фронт!.. О котором немцы и не подозревали. По приказу товарища Сталина был заранее сформирован. Вот его и ввели сейчас в наступление.

На сдвинутом запыленном лафете, свесив ноги, сидел тот маленький пехотинец, который после 5 июля уже не мог расстаться с артиллеристами. С разрешения командования Гунько оставил его в своей батарее. Чумазая физиономия бывшего пехотинца сияла великолепнейшей, довольной улыбкой.

— Оттопал, значит? — узнал его Сенька Ванин.

— Оттопал. За меня старший лейтенант перед самим генералом хлопотал! — похвастался бывший пехотинец.

— Еще бы. Такой богатырь!..— хитро сощуренные глаза разведчика прощупывали маленькую фигуру солдата.

— А ты кто такой? — поняв насмешку, сердито спросил новоиспеченный артиллерист.

— Я-то? — проговорил Сенька нарочно по-вятски.— Я самый главный начальник. Главнее меня нет... Вот разве только ты, потому как все же едешь, а мне придется ножками топать. Закурить у тебя нет?

— Есть, закуривай...— сказал боец, подавая Сеньке скуповатую щепоть.— А что командир-то ваш такой мрачный? — осведомился он, показывая на Забарова.

— Разведчик у нас один погиб сегодня. Хороший такой парняга,— закуривая, тихо сообщил Ванин.

Мальцева хоронили в полдень. Кузьмич сколотил из досок, для какой-то надобности лежавших у него на дне повозки, гроб. Алешу положили в него в маскхалате. Забаров поднял гроб на плечо и понес к кургану. За ним, опустив головы, молчаливой и угрюмой чередой шли разведчики, вся небольшая рота. Так на Руси хоронят маленьких детей: впереди, с гробом, идет отец, а за ним тихо плетется опечаленная семья...

Гроб поставили у края свежей могилы, выкопанной Акимом и Пинчуком. Шахаев рывком стянул с головы

пилотку. Солнечный луч запылал в его тронутых серебристой сединой волосах. Парторг долго не мог ничего сказать, сдавленный волнением. Притихшие разведчики ждали.

— Прощай, Алеша,— просто начал он, склонив над гробом свою большую круглую голову.— Прощай наш маленький садовник!.. Мы никогда не забудем тебя. Закончим войну, вырастим огромный сад... и поставим в нем тебе большой памятник. И будешь ты вечно живой, наш боевой друг!.. Прощай, Алеша. Когда вернусь домой, в свою Бурят-Монголию, пройду по всем аймакам и расскажу о тебе... какой ты был герой!

Под троекратный треск салюта гроб опустили в могилу. По русскому обычаю бросили на него по горсти земли. Потом быстро заработали лопатами. Вырос небольшой свежий холмик. Разведчики еще долго не уходили с кургана. Они стояли без пилоток, всматриваясь в даль, туда, на запад, куда устремлялись наши войска. Над всем этим потоком, чуть опережая его, уходили на запад, очищая небо, обрывки растрепанных и угрюмых туч.

Разведчики сошли вниз, еще раз оглянулись на древнего великана.

— Храни, родимый!.. — вырвалось у Акима.

Он задумался. Прошумят над курганом годы. Овеянный ветрами, обожженный горячим степным солнцем, еще больше поседеет свидетель великих событий, но останется, должен остаться на его вершине маленький холмик, который — пройдет десяток лет — покроется струящимся светлым ковылем и будет светить, как маяк кораблю, случайным путникам...

Аким надел пилотку, быстро пошел на запад, догоняя товарищей.

В один из жарких августовских дней перед самым Харьковом, где дивизия только что сломила сопротивление врага и продвигалась вперед, повозку Пинчука, на которой ехал и Сенька Ванин, догнала редакционная полуторка. Из кабины высунулся Лавра, тот самый Лавра, что когда-то рассказывал Гуревичу и Пинчуку о гибели военкора Пчелинцева.

— Разведчики! — крикнул он, улыбаясь большим ртом и чуть сдерживая машину.— Возьмите газету. Тут про вас стихи сочиненные!..

Ванин на лету подхватил небольшой листок. Свернул с дороги. Рядом с ним, свесив ноги в кювет, уселись другие разведчики. Только Сенька начал было разворачивать газету, как Лачуга гаркнул:

— Воздух! — и первый подался от своей повозки, мелькая в подсолнухах белым колпаком.

Пинчук, Сенька и Кузьмич прыгнули в кювет. Но немецкие самолеты пролетели мимо, очевидно направляясь к Белгороду.

— Ну, читай, Семен! — попросил Пинчук, когда тревога миновала.

— Нет, пусть Аким прочтет,— сказал Сенька.— У него лучше получится,— и передал газету Ерофеенко.

Среди газетных заметок Аким нашел стихотворение под названием «Курган». Он прочел его вслух. Это были не мудреные, но искренние стихи.

— Тю... чорт! Как складно! — восхищался Ванин.— Это как у тебя, Аким, в дневнике... Прочитай-ка еще раз то место, где про Россию сказано.

Аким прочел с волнением в голосе:

Бойцы, ребята лихие!
Звала их святая месть,
Как будто сама Россия —
Вот этот курган и есть!

— Здорово ведь! «Сама Россия»! Как правильно сказано!..— но Ванин вдруг замолчал, встретившись с печальным и задумчивым взглядом Акима.

— Эй, разведчики! Вы что тут сидите?

Солдаты подняли головы и только сейчас увидели подъехавшего на машине адъютанта командира дивизии. Молодой стройный офицер смотрел на них строго, явно подражая генералу.

— Э, да вы что-то носы повесили,— вдруг заметил он.— Непохоже это на разведчиков. Много потеряли? — спросил он почему-то Акима.

— Одного, товарищ лейтенант,— голос Ерофеенко дрогнул.

Адъютант помолчал.

— А где ваш Забаров? — спросил он наконец.

— У майора Васильева. Должен скоро вернуться... Да вот, кажется, старшина уже и едет,— ответил Аким, увидев соскочившего с машины Забарова.

На ходу Федор крикнул Пинчуку:

— Петр Тарасович, как с обедом?

— Везем, товарищ старшина.

— Давайте побыстрее. А то не догоните!.. Простите, товарищ лейтенант,— заметил Забаров адъютанта.

— Ничего... Здравствуйте, товарищ Забаров. И приготовьтесь расстаться со своими старшинскими погонами. Можете поздравить Забарова, ребята. Командующий фронтом присвоил ему звание лейтенанта. Генерал Сизов тоже шлет свои поздравления.

Адъютант, пожав руку Забарова, быстро сел в машину, тронул за плечо своего шофера и исчез в море желтой пыли.

Пинчук, Аким, Сенька, Кузьмич и Лачуга наперебой жали руку Забарова. Лейтенант сдержанно принимал поздравления от своих боевых друзей, как будто офицерское звание не доставило ему особой радости. Он все время думал об Алеше Мальцеве. Вот так всегда бывает: потеряет человека и мучается целыми неделями, словно сам виноват в его гибели. Да, Забаров в этих случаях всегда обвинял только себя. Ведь он командир, значит и должен отвечать за своих солдат. Погиб хороший разведчик Алеша Мальцев — стало быть, рассуждал Федор, он, как командир, не все до конца продумал, взвесил, не все сделал для того, чтобы избежать этой потери. Сейчас он вновь и вновь вспоминал последнюю операцию на кургане, ища другого, лучшего ее решения. Он уже считал, что не следовало бы вообще посылать одного Мальцева к немецкому пулемету, а надо было атаковать курган всем одновременно, охватив его с двух сторон. Думая так, Забаров все больше и больше темнел и досадливо хмурился. Вот так, бывало, на заводе, когда у него что-нибудь не ладилось, он прежде всего обвинял себя, отыскивал свой промах.

Мимо разведчиков проходила грузовая машина комдива. Забаров решил воспользоваться ею, чтобы догнать роту, ушедшую далеко вперед. Шофер генерала хорошо знал разведчиков и охотно согласился подвезти их.

— Так поторопитесь, товарищ Пинчук! — еще раз сказал Забаров.— А мы — машиной доберемся!

Ванин первый вскочил в грузовик. В нем сидела уже знакомая разведчикам девушка, которая когда-то встретила их у генеральского блиндажа и потом угощала обедом. Сенька узнал ее. В другой раз он непременно подсел бы к ней поближе и разговорился, но сейчас у него было плохое настроение. На вопросы девушки он отвечал неохотно и больше отмалчивался. А ей хотелось поболтать с бравым разведчиком.

— Это вы кого хоронили недавно? — спросила она.

— Разведчика одного...— тихо ответил Сенька.

— А почему на кургане?

— Так надо,— Сенька подумал и, вспомнив рассказы Акима о былых походах русских богатырей, добавил: — Как князя. Раньше ведь в курганах только князей хоронили...

— Ну? — удивилась девушка.— Всех князей?

— Нет,— уверенно сказал Сенька.— Зачем же всех? Которые только землю русскую от врагов защищали, от иностранцев разных.

3

Могучей, полноводной рекой, вышедшей из своих берегов, разлилось наступление. И ничто уже не в состоянии было остановить его. Едва отгремели жестокие бои за Харьков, а солдаты несли уже в своих сердцах новое. Задыхаясь в дорожной августовской пыли, они на ходу разговаривали друг с другом:

— Говорят, фашисты построили на Днепре вал.

— Свалятся и с этого вала.

— Однакож трудно будет.

— На Донце было не легче.

— Ой, хлопци, як мени хочется скорише побачить Днипро. Ведь я родився там...

— Побачишь скоро!

— Скоро ль?

— А ты думал — как?

— А что, ребята, на лодках поплывем?

— Уж там как придется. Надо будет — и на плетне поплывешь.

— Чего там на плетне. Видите, сколько за нами паромов на машинах везут. Все предусмотрено...

— Эй, вы, мимо-харьковские, чего остановились?..

— А ежели ты харьковский, так помалкивай!..

Дивизия генерала Сизова вместе с другими войсками подошла к Харькову, но накануне решительного штурма ее вдруг перебросили на другой участок фронта. Так и не довелось ее бойцам и офицерам побывать во второй столице Украины. Это очень огорчило разведчиков.

— Не быть нашей дивизии Харьковской,— сокрушенно говорил Ванин, по случаю легкого ранения опять находившийся «в обозе», то есть при Пинчуке.

— Выходит, так.

— Чего доброго — еще Мерефинской назовут!

— И это может быть. На Мерефу путь держим.

— Что и говорить — обидели нас!

— Генералу, небось, досадно.

— Еще бы! Старался хозяин первым войти в город, а оно вон как получилось...

— Вот незадача...— проворчал Кузьмич, вымещая досаду на немецких битюгах, дарованных ему Сенькой.— Стало быть, в Мерефу...

— Да что вы расхныкались! Командование знает, как надо поступить,— безуспешно пытался успокоить огорченных солдат Мишка Лачуга.— Вот я когда у генерала был...

— Командование-то знает, да нам-то оттого не легче!..— перебил его Сенька: он был очень расстроен.— Мне, может, этот Харьков уже во сне снился, а теперь изволь-ка, Семен Батькович, прозываться Мерефинским...

— Мерефа — тоже советский город,— возразил Лачуга.

— Сам знаю, что советский. Я против него ничего не имею,— стоял на своем Сенька,— но пусть бы его брали второстепенные части.— Ванин был глубоко убежден, что такие части существуют, и уж никак не думал причислить к ним свою дивизию.

— Ничего, Семен, будем называться днепровскими,— попытался еще раз успокоить разведчика Михаил.— Уж мимо Днепра мы никак не пройдем.

— Днепровскими? За реки названия не дают... Ведь нам в самый раз было в Харьков итти — и вдруг...

— Видишь, чего ты захотел! А помнишь хутор Елхи? Три месяца мы не могли взять этот разнесчастный хуторишко, а в нем всего-то навсего было две хатенки, да и от них оставались одни головешки. А как мы мечтали овладеть этими Елхами! Вот тогда действительно они

во сне нам снились. А теперь ему города мало. Силен ты, парень!

— Так то было в сорок втором. А сейчас — сорок третий!..— не сдавался Ванин.— Мне, может, скоро всей Украины будет мало. Берлин, скажу, подавай!

Солдатский говорок медленно плыл вместе с облаками пыли над небольшой проселочной дорогой, по которой двигались обозы и хозяйственные подразделения. Хорошие дороги они уступили танкам и другой боевой технике.

В споре принимали участие все, кроме Пинчука. Петр отмалчивался. Он полулежал на повозке Кузьмича, подложив себе под спину мешок с солдатским бельем, и сумрачно оттуда поглядывал. На его усищах нависла пыль, и оттого усы были бурые и тяжелые. Молчание Пинчука при обсуждении столь животрепещущего вопроса показалось Сеньке в высшей степени подозрительным. Он несколько раз пробовал заговорить со старшиной, но Пинчук упорно молчал. В конце концов Семен решил сделать хитрый ход.

— Так-то ты, Петро Тарасович, любишь свою Украину,— вкрадчиво начал он издалека.— Неукраинцы и то болеют за нее душой, жалеют, что в Харьков не попали, спорят, волнение у них и прочее. А ему — хоть бы что! Сидит, как глухонемой. Усы свои опустил. Я вот саратовский, но и то...

— Звидкиля ты взявся? — тихо и серьезно осведомился Пинчук, поворачиваясь к Сеньке. Глаза его, всегда такие добрые, сейчас зло прищурились: — Прычепывся, як репей...

Однако на этот раз Ванин не испытывал перед Пинчуком обычной робости и не думал «отчепиться», твердо решив пронять упрямого «голову колгоспа».

— Нет, не любишь ты свою Украину,— настойчиво продолжал он, скорчив обиженную рожицу.

— Що, що ты сказав?..— потемнел Пинчук.

Ванин присмирел.

Но вспышка пинчукова гнева была короткой. В конце концов он понимал, что саратовцу страшно хочется вовлечь его в беседу. Глаза Петра быстро потеплели, и он уже заговорил добрым голосом:

— Дуралей ты, Семен. Хиба ты разумиешь, що в мене тут,— левая широченная ладонь закрыла половину его

груди, и сам Пинчук побледнел, как от сердечного припадка.— Две болезни я маю зараз.

Сенька забежал сзади и, подпрыгнув, присел на повозке. Слова Петра не давали ему покоя. Об одной «болезни» Пинчука он догадывался. Узнал о ней только сегодня утром. Проснувшись под повозкой, он увидел Пинчука сидящим на дышле. Петр склонился над чем-то и тихо, чуть внятно бормотал:

— Вот ведь... растет... Теж, мабуть, дивчина будэ... Як воны там?..

Сенька на цыпочках подкрался к старшине и заглянул через его плечо. В руках Пинчука лежала крохотная фотография, с которой смотрело курносое, смеющееся личико ребенка.

— Дочь, что ли? — некстати прогремел сенькин голос.

Пинчук быстро убрал фотографию, кинул на Ванина сердитый взгляд и отошел прочь, оставив сенькин вопрос без ответа. Ванин недоуменно смотрел ему вслед. Не могла понять отчаянная его головушка, что своим появлением он смутил немолодого солдата. С того времени, вплоть вот до этого часа, Пинчук ни с кем не разговаривал. А теперь назвал еще какую-то вторую свою болезнь.

— Что с вами, товарищ старшина? — спросил Сенька по всем законам воинской вежливости,— когда ему надо было что-нибудь выпросить у Пинчука, он строго придерживался правил армейской субординации, отлично понимая, что Петра можно взять не иначе, как почтительностью.

Но и такое обращение сегодня не помогло. Пинчук молчал.

Далекий и величавый Днепр манил, притягивал к себе, и войска неудержимо рвались к нему. Злой, стремительной ночной атакой пехотинцев вместе с танкистами и артиллеристами немцы были сбиты с высот западнее Мерефы, и дивизия двинулась на юго-запад, в сторону Краснограда. Немцы отступали столь поспешно, что бросали свою технику и вооружение на поле, в населенных пунктах и по всем дорогам. Неоглядная степная ширь была завалена вражеской боевой техникой. Немало было брошено гитлеровцами и автомашин. Наши

шоферы без особых трудов осваивали немецкие автомобили. Глядишь—подойдет боец, откроет капот, что-то подвернет в моторе, где-то постучит ключом, продует какую-то трубку, оботрет ветошью руки, в кабину — и пошел. Газует вовсю!

Не смог удержаться от искушения и Сенька Ванин. К удивлению разведчиков, он проявил себя незаурядным автомобилистом. Среди брошенных машин он подобрал для своей роты грузовик «опель-блитц», где-то с помощью Пинчука раздобыл «канистру» с бензином и, лихо подкатив к Марченко, стал докладывать ему, что это самая лучшая марка немецких грузовиков. Лейтенант похвалил Ванина.

Сенька ликовал:

— Садись, Акимка! Прокачу, как на масленицу. Только ты, на всякий случай, завещание пиши...

Быстро погрузили ротное имущество. Разведчики устроились в кузове, конечно, без старшины, повозочного и повара — те хлопотали у своих подвод. Пинчук выдал солдатам на дорогу несколько буханок хлеба, консервов и арбузов.

— Добри кавуны! — сказал он.— Кушайте на здоровье.

Вскоре Забаров получил маршрут, сел в кабину рядом с Ваниным, и машина тронулась. Марченко выехал еще раньше с группой офицеров штаба дивизии. Разведчики, сидевшие в кузове, гаркнули:

Ой, ты, Галю,
Галю молодая.
Пидманулы Галю,
Забралы з собой.

— Ожили, черти! — с гордостью проговорил Сенька.

Он выехал на хорошую дорогу, обгоняя бесконечную и ненавистную для всех фронтовых шоферов вереницу повозок.

— И откуда их столько берется,— сердился Ванин на безмятежных усачей-повозочных, размахивающих кнутами.— Обозу в каждом полку на целую армию хватило б, все дороги забиты... Танкистам только мешают, путаются под ногами... Эй, ты, дядя, чего рот разинул! — прикрикнул Сенька на зазевавшегося ездового,— о бабке своей размечтался!

— Губы утри!.. Молоко на них,— огрызнулся повозочный.

Ванину, наконец, удалось обогнать все обозы, и он вольготно вздохнул. Задохнувшиеся было в пыли разведчики теперь снова запели. С ревом, с шумом, с ветерком «опель-блитц» влетел в какое-то крупное село. На повороте, у регулировочного пункта, Сенька резко затормозил.

— Эй, хорошая! На Красноград — эта дорога? — высунулся Ванин, улыбаясь синеглазой и светловолосой девушке-регулировщице.

— Эта, эта! — ответила она звонким и чистым голосом.

Побледнев, Аким метнулся к борту кузова.

— Наташа! — крикнул он, перегибаясь через борт.

— Аким!..

— Сенька, остановись! — закричал Аким.

Но Ванин не слышал его и гнал машину дальше. Аким беспомощно смотрел на бежавшую Наташу. Наконец он догадался и яростно забарабанил по крыше кабины. Сенька нажал на тормоза. Аким выскочил из кузова и помчался назад к регулировочному пункту. Наташа бежала навстречу к нему. Светлые волосы ее растрепались, а лицо было алее флажков, которые пылали в ее руках.

— Родной мой!..

Она прижалась к его груди и долго не могла отдышаться.

— Наташа!..

— Ну вот!.. Ну вот!..— твердила она. Обхватив тонкую шею друга, Наташа целовала его, не стыдясь проходивших и проезжавших мимо бойцов.— Милый ты мой!..

А он, высокий и неловкий, неуклюже обнимал ее, твердя что-то совсем бессмысленное.

Из одного дома выскочила чернокудрая и черноглазая девушка в застиранной белой гимнастерке, смешливо взвизгнула:

— Наташка, кто это? Ой!..

Наташа продолжала обнимать и целовать вконец растерявшегося Акима.

— Тонечка, родная!.. Постой за меня. Я скоро вернусь! — она оторвалась от Акима и передала флажки подруге.

— Хорошо, Наташа. Постою уж!.. А ты не спеши,— и, посмотрев еще раз на неуклюжую фигуру Акима, черноглазая пошла к регулировочному пункту.

Аким молча смотрел на Наташу, не выпуская ее рук.

— Ну?..— наконец пробормотал он.

— Ну вот! — она большими сияющими глазами смотрела в его худое лицо и тоже не знала, что говорить.

Молча подошли к дому, присели на бревне. И всё смотрели и смотрели друг на друга. Она смеялась и плакала одновременно, держа в своей руке его горячую руку.

— Как же это все?.. Наташа!..— спросил, наконец, Аким.

— Видишь, как...— ее улыбающиеся, сияющие безмерным счастьем глаза наполнились слезами. Часто мигая длинными темными ресницами и улыбаясь, она пояснила: — Я была в партизанском отряде медицинской сестрой. Пригодились мне те курсы, помнишь?.. Ну вот. Потом часть отряда перебросили через линию фронта. И меня в том числе... Нас отправили в армию. Я стала регулировщицей. Вот и все...

— Но почему же ты не написала мне?..

— Как я могла писать тебе оттуда? А здесь... ты ведь не оставил мне своего адреса.

— Верно, Наташа. Как я это не догадался.

Наташа не отрывала своего взгляда от Акима. Она почувствовала необычайный прилив любви к этому сдержанному и с виду очень неказистому человеку. Ей казалось, что только она одна по-настоящему понимала Акима, и ей хотелось, чтобы и другие понимали его так же хорошо и так же любили, как любит она.

К ним на машине подъехали разведчики. Сенька с великим любопытством высунулся из кабины, а Забаров подошел к Акиму и Наташе. Из кузова смотрели на Наташу десятки озорных, завидущих глаз.

— Знакомьтесь, товарищ лейтенант. Встретил вот... Моя...— Аким густо покраснел. Но ему пришла на помощь Наташа.

— Наташа,— сказала она просто.

— Федор,— назвался Забаров.— Земляки, что ли, с нашим Акимом?

— Да, земляки. И большие друзья! — ответила она также просто, смело и естественно.

— Сестрой была в партизанском отряде,— ни с того ни с сего, как показалось девушке, сказал Аким.

Она подняла на него свои большие темносиние глаза.

— Вот уж и рассказал все...

— Добро. Пойдете к нам? У нас нет санинструктора,— предложил Забаров.

Наташа смутилась и опять посмотрела на Акима.

— Меня, наверное, не отпустят...

— А мы сделаем так, чтобы вас отпустили.

Наташа посмотрела на Акима, и ей показалось, что он немного растерялся. Наташа насторожилась, улыбка сошла с ее лица.

— Я еще подумаю, товарищ лейтенант,— сказала она потупившись.

— Что ж, подумайте. А ты, Аким, оставайся. К утру догонишь на попутных. Тут недалеко,— и, быстро распрощавшись с Наташей и Акимом, Забаров пошел к машине.

Наташа сразу же потянула Акима в хату. В сенях она поднялась на носки сапог, притянула к себе его голову и крепко поцеловала.

В комнате никого не было.

— Вот мы и встретились!..

— Встретились!.. Я тебя очень и очень люблю, Аким!..

— И я тоже, Наташа!..— он вдруг вспомнил, что вот так, прямо, они еще ни разу не объяснялись друг с другом.

— Мы теперь никогда, никогда не расстанемся! — говорила она, прижимаясь к нему.

— Разумеется...— неуверенно подтвердил он.

Она пристально посмотрела на него.

— Почему ты не хочешь, чтобы я была в вашей роте? — губы ее дрогнули.— Почему?

— Этого не следует делать, Наташа!

— Почему? Мы были бы вместе...

— Мы не будем вполне счастливы, когда другие...

Наташа задумалась.

— Ну, как хочешь...— голос ее оборвался, она уткнулась головой в его грудь и разрыдалась.— Ты... ты прав, Аким, прав...— говорила она, всхлипывая и пряча от него свое заплаканное лицо.

Он отрывал ее голову от своей груди, стараясь заглянуть ей в лицо и утереть слезы. Неловко обнимая ее, сбивчиво говорил:

— В общем... собственно... я не против... Ты же знаешь, как я рад!.. Если хочешь, я сам похлопочу...

— Хочу! Хочу!.. И никуда от тебя не уйду! — вдруг с отчаянной решимостью заговорила Наташа.— Никуда!.. Никуда!..

Он молчал и дрожащей, грубой своей рукой гладил ее по спине, неловкий и беспомощный.

— А я знала, что мы встретимся,— немного успокоившись, сказала Наташа.— Только не думала, что так быстро...

— Я тоже думал о тебе, Наташа. Даже стихи писал...

Он вынул из сумки свой дневник. Потом подумал и снова спрятал его: «Только встретились и уже за стихи. Какая сентиментальность!..»

— Почему же ты не читаешь?

— Потом, Наташа, потом...

Наташа не возражала. В самом деле: стихи можно и потом.

— Какой же ты у меня... хороший! — воскликнула она и прижалась своей пылающей щекой к его жесткому, небритому подбородку.

Он вдруг вспомнил что-то, глаза под очками беспокойно заблестели.

— Наташа, а что... что с ним?

— Ты это о ком, Аким?..— с тревогой спросила она.

— О Володине я спрашиваю, о Николае...

Наташа нахмурилась.

— Не стоило бы о нем и вспоминать, Аким. Кажется, в Австрии сейчас. Не знаю точно.

— В Австрии?! Как он туда попал?

— Стешка Лунченко ведь бросила его. Вскоре после нашей с тобой встречи. Не знаю, что между ними случилось, но только она выгнала его из своей хаты. Володина вызвали в комендатуру и предложили стать полицаем. Он, кажется, не согласился. Его долго били. Потом вместе с очередной партией ребят и девушек угнали куда-то. В июле к нам в отряд пришел Миша Кравцов. Ты же его хорошо знаешь. Фашисты его тоже угоняли куда-то. Так вот он рассказывал, что вместе с Володиным они работали на немецком заводе, который снаряды

делает. Работа страшно тяжелая. Миша сбежал. Он звал с собой и Володина, но тот отказался. Это все Кравцов рассказывал...

— Снаряды немцам делает... Не убежал все-таки от войны.

Худое лицо Акима опять побледнело, глаза зло блестели за очками.

— Аким, скажи, ты заходил к нему в ту ночь?

Аким не ответил.

Наташа поняла, что ему неприятно об этом вспоминать, и заговорила о другом:

— А помнишь, ты о школе мне наказывал?

— Ну? — сразу оживился он.

— Ее, наверное, удалось спасти. Ведь там у нас остались надежные ребята.— И Наташа стала торопливо рассказывать о всем случившемся с ней после их недавней и короткой встречи.

— А почему ты решила пойти на фронт? — спросил ее Аким.— Ведь ты же учительница, могла бы работать где-нибудь в тылу.

Она посмотрела на него с удивлением.

— Нет, Аким. Я хочу быть на фронте. Помнишь, я рассказывала тебе о Шуре, избачихе нашей, которую фашисты в Германию угнали?..— спросила она взволнованно.— Не знаю почему, но Шура все время стоит перед моими глазами. И мне кажется, что именно я должна освободить ее. Я найду ее... обязательно найду!.. И мы вернемся домой вместе!.. И будут у нас книги, и Шура будет опять такая же светлая и веселая, как всегда!.. А потом, на фронте, я ведь встретила тебя, Аким...

Он стал порывисто обнимать и целовать ее, радуясь и одновременно удивляясь тому, какое большое, чистое сердце у этой хрупкой девушки,— в эту минуту Акиму казалось, что счастливее его никого нет на свете.

Не заметили, как подкрался вечер.

— Чудесная ты моя!..

— Она, счастливая, смотрела на него.

Аким взглянул на часы и стал собираться.

— Куда ты? — испугалась Наташа. И в этом ее испуге было столько искренности и любви, что он в нерешительности задумался.

— Останься до утра. Ведь тебе разрешил командир...— сказала она тихо.

— Но... Наташа...

— Останься, Аким,— уже не просила, а приказывала она.

Он взял ее за узенькие, чуть вздрагивающие плечи, потом решительно сбросил с себя вещевой мешок.

Рано утром она задержала его на крыльце.

— А что, если...— тихо сказала она краснея.

Он понял ее и тоже покраснел.

— Тогда ты поедешь домой, Наташа...

Он хотел сказать, что она унесет и его частицу с собой, но застеснялся, легонько снял со своих плеч ее теплые маленькие руки, взволнованно-счастливый, проговорил:

— До свиданья, Наташа!.. Любимая!..

...Ехал на попутной машине. Думал о Наташе, о своих боевых друзьях. Как отнесутся они к ее приходу?.. Не причинит ли он им боль? И будет ли он сам счастлив, когда такого счастья лишены другие?..

4

Через три дня Наташа была уже в подразделении. Устроил это через штаб армии майор Васильев. Он же и привел Наташу к разведчикам.

— Вот ваш доктор, Наталья Петровна Голубева,— представил он ее бойцам.— По части санитарии обращаться к ней и слушаться только ее. Не грубить. Иначе заберу обратно.

Пока майор говорил, Наташа бойко смотрела на солдат, не скрывавших своего любопытства. Акима в роте не было. Он еще с утра ушел с лейтенантом Марченко на НП генерала получать какую-то задачу. Наташа смотрела на бойцов, искала глазами Акима. Это, конечно, заметил Сенька. Не отличаясь особым тактом, он громко сказал:

— Аким скоро вернется.

Девушка вспыхнула и сразу же заговорила о чем-то с майором.

Она решила приступить к делу немедленно. Вместе с Васильевым сходила к начсандиву, попросила у него санитарную сумку. Тот дал ей записку, и Наташа побежала в медсанбат. Там ей выдали все, что полагалось для первой медицинской помощи раненым и больным.

Когда Наташа вернулась, все сверкало чистотой. Лица разведчиков румянились от холодной воды, сапоги у всех были начищены до сияния, подбородки тщательнейшим образом выбриты, а на гимнастерках красовались боевые ордена и медали. Двор был чисто подметен. Под крышей сарая рафинадом белел поварской халат Михаила Лачуги. За плетнем запоздавший Кузьмич чистил скребницей своих лошадей. На задах дымилась, железная бочка — это, пользуясь небольшой передышкой, Пинчук решил пропарить солдатское белье. Сам старшина стоял у крыльца хаты, солидно потягивая трубку, многозначительно приглаживая книзу свои казачьи усы. Он вышел из хаты только затем, чтобы посмотреть, какое впечатление произведет на девушку наведенная по его распоряжению чистота. Наташа действительно сильно удивилась, она восторженно осматривала бойцов и хозяйство Пинчука. Она догадывалась, что все это произошло в связи с ее появлением в роте, и была рада этому.

— Где мне увидеть старшину? — обратилась Наташа к Пинчуку.

— Я старшина. Що треба? — спросил Петр (из-за его плеча выглядывало плутоватое лицо Ванина).

— Я санинструктор, мне надо комнату. Помещение... вот для этого,— Наташа приподняла в руках большую брезентовую сумку с яркокрасным крестом на боку.

— Пидемо за мною, товарищ...

— Голубева,— подсказала Наташа.

Они вошли в соседний маленький и, очевидно, давно оставленный хозяевами домик; там уже орудовала какая-то бабка, протирая мокрой тряпкой окна.

— Оце для вас.

— Спасибо, товарищ сержант.

— Що ще от мэнэ треба?

— Я слышала, у вас много раненых. Пусть сейчас же идут ко мне на перевязку. Только по одному.

— Добрэ, — похвалил Пинчук, ценивший людей практичных и деловых.

Первый в хату Наташи вошел Вася Камушкин — у него открылась старая рана.

— Садитесь вот здесь,— указала Наташа на стул.

Она быстро развязала бинт. Кончик его присох к ране. Наташа чуть-чуть потянула.

— Больно?

— Пока нет... не очень... нет, больно!

— Когда ранен?

Вася рассказал.

— Где?

Он ответил.

— Сколько времени лежал в медсанбате? — задавала Наташа вопрос за вопросом.

Камушкин охотно отвечал. Он даже не заметил, как кончик бинта отделился от раны. «Молодая, а хитрая»,— подумал Вася, глядя на светлые волосы девушки, хлопотавшей у его руки. Иногда они касались его подбородка, и, взволнованный, он поднимал голову выше, смущенно улыбаясь.

— Ну, вот и все! Можете итти,— девушка подняла на бойца разрумянившееся от хлопот лицо.— Через два дня снова приходите на перевязку.

— Спасибо вам... товарищ Наташа! — поблагодарил Камушкин, поймав себя на том, что ему вовсе не хочется уходить из этой хаты. Но за дверьми ждал другой разведчик, и Вася заспешил.

— Да, я забыла вас предупредить,— остановила его Наташа. — Постарайтесь недельку не работать этой рукой.

— Постараюсь. А я забыл вас спросить. Вы — комсомолка?

— Комсомолка.

— В таком случае нам надо познакомиться. Я — комсорг роты. Моя фамилия Камушкин,— и он подал ей руку.

— Наташа Голубева,— сказала она еще по-школьному.

После комсорга к Наташе приходили другие разведчики. Она промывала раны, перевязывала их, давала лекарства.

Девушка чувствовала себя так, словно прослужила в этой роте целый год. Есть удивительная черта у фронтовиков: быстро роднить со своей боевой семьей новичков. Не сговариваясь, они окружают нового своего товарища заботой, стараются показать свое подразделение и себя, конечно, в лучшем свете перед ним. Наташа почувствовала это уже в первый день своего появления у разведчиков, и у нее было хорошо, радостно на душе.

Ей хотелось как можно больше сделать для своих новых друзей.

К полудню вернулись командир и Аким. Ванин слышал, как Аким, смущенно улыбаясь, рассказывал Шахаеву:

— Стихи просил прочесть... Узнал от кого-то, что я пишу... А у самого, рядом со стереотрубой, том Маяковского... Удивительный человек!.. Приказал обязательно принести ему мои стихи... Говорю — плохие, товарищ генерал!.. А он свое: принеси, посмотрим! Неудобно получилось...

— Почему неудобно? Покажи.

Сенька, нетерпеливо ожидавший конца их разговора, не выдержал, таинственно поманил к себе Акима и шепнул ему на ухо про Наташу. Лицо Акима сделалось краснее столового бурака.

— Собственно... а ты не врешь?

— «Собственно» не вру! — передразнил оскорбленный Сенька.

— А где она?..

— И чего это, Аким, находят в тебе девки хорошего? — вместо ответа спросил Сенька.

— Ну, довольно же! Скажи, где?..

Ванин кивнул в сторону маленькой хаты.

— Может, проводить,— предложил он.

— Нет, уж я как-нибудь один...

Аким направился к Наташе, но, опережая его, в хату вошел командир. Он легко, мягкими прыжками, вбежал по старым, подгнившим ступенькам и скрылся за дверью. Аким круто повернулся и широкими шагами пошел по двору. Его остановил Сенька.

— Что это ты, Аким, вздумал строевой подготовкой заниматься? — дурашливо спросил он.

Аким не ответил. Подошел к Лачуге:

— Что-нибудь поесть найдешь?

— Каша вот.

Аким попробовал и отшвырнул котелок.

— Когда ты, Миша, перестанешь пичкать нас этим кондером? — подоспел Сенька.— Видишь, даже Акиму не нравится. У всех — повара как повара, кормят солдат наславу. А в нашей роте... чорт знает что!..

— Вон со старшиной разговаривайте, а я тут ни при чем,— просвистел сквозь выщербленные зубы Лачуга.

— Как это ни при чем? Старшина тебе дает хорошие продукты, да ты, Миша, не умеешь ими пользоваться. Ты сам на перловке жевательную мощность потерял и теперь хочешь, чтобы и мы остались без зубов. А разведчику крепкие зубы нужны... Так ведь, Аким?

Аким не ответил.

— Впрочем, наш Аким и с зубами — беззубый. Немцев по головке гладит. Знала бы об этом Наташа, она бы на него и смотреть перестала. Девушки не любят слабонервных нюнь... Им настоящие парни больше нравятся, вроде вот меня. А что толку от тебя, Аким? Вот раскусит хорошенько Наташа, сразу...

Сенька не договорил. Худое лицо Ерофеенко покрылось багровыми пятнами.

— Ты!.. Когда ты перестанешь... — захрипел он, весь содрогаясь. — Если ни черта не понимаешь, так учись! Заладил одно и то же! Глупо все, неумно!.. — губы Акима тряслись. — Дальше своего носа ничего видеть не хочешь!.. Парторг, видимо, совершенно напрасно хорошие слова на тебя тратит!.. И вообще мне надоели твои остроты, Ванин! Поищи для них кого-нибудь другого!.. А я больше не хочу ни говорить с тобой, ни слушать твоих неумных шуток!..

Сенька опешил и не знал, как защищаться.

— Ты, ты... Аким! Что взорвался-то?.. — наконец пробормотал он, пытаясь все обратить в шутку.— Или тебя собака бешеная...

— Что мне с тобой говорить? — все еще взволнованный, но уже более спокойно продолжал Аким. — Тебе кажется — только ты один по-настоящему воюешь, а другие — так себе!.. Впрочем — довольно!.. И прошу тебя об одном — не подходи больше ко мне!..

Сенька побледнел: этого он мог ожидать от кого угодно, но только не от Акима!.. Растерянный и жалкий, Сенька пытался оправдываться, но Аким уже не слушал его. Он вскочил из-за стола и, ссутулившись, метнулся прочь. Округлившимися глазами Ванин смотрел ему вслед, мигая светлыми, опаленными ресницами. Казалось, он готов был зареветь.

Аким выскочил в огород. С размаху сел на кучу обмолоченной соломы. Раздувая ноздри, втягивал в себя знакомый с детства горячий, душный запах полыни и сухой березки. Мальчонкой он любил зарываться в соломе,

проделывать в ней норы, устраивать с товарищами кучу-малу, прыгать с высоких копен. В этих ребячьих играх всегда принимала участие и Наташа. Она больше находилась среди ребят, а не с девочками: за это подруги сердились на нее.

Запах полыни, мысли о Наташе успокоили Акима, но тут же в сердце возникла безотчетная тревога. Не оттого ли, что лейтенант зашел к Наташе? Аким задумался. Ревность?..

Аким лег на солому, стал задумчиво смотреть на небо, редкими белесыми облаками сбегающее за синеющий горизонт.

«А этот... ну чего ему от меня нужно? — подумал Аким, вспомнив Сеньку. — Пристал и пристал!..»

Когда офицер вошел в хату, Наташа быстро одернула на себе гимнастерку, отбросила на спину густые светлые кудри и, смущаясь, доложила:

— Товарищ лейтенант, санинструктор Голубева! Занимаюсь перевязкой раненых!

— Вольно! — шутливо-громко скомандовал Марченко. — Почему не представились раньше? — изогнув тонкие брови, с напускной строгостью спросил он.

— Простите, товарищ лейтенант. Но вас не было.

— Ладно. Пустяки это, — уже серьезно заговорил он. — Как устроились?

— Спасибо. Очень даже хорошо.

— Так быстро и уже хорошо? — удивился Марченко, не спуская с разрумянившегося лица Наташи своих цепких глаз.

— У вас чудесные ребята. Это они мне все устроили.

— Ребята, конечно, молодцы. А командир? — он засмеялся одними глазами.

— Каков командир — таковы и его подчиненные. Так ведь говорят, товарищ лейтенант? — нашлась она и тоже засмеялась. На ее щеках и полном подбородке горели алые ямочки.

— Вы, кажется, знаете нашего Ерофеенко? Он говорил мне о вас.

— Да, он мой друг.

— Вот как? Даже друг.

— Друг, — подтвердила она с гордостью и даже, как показалось лейтенанту, с некоторым вызовом.

— Так вы спешите с ним увидеться. Через два часа рота уходит на серьезное задание.

Марченко заметил, как девушка сразу немного побледнела, губы ее дрогнули.

— Не волнуйтесь, — успокоил он ее. — Все будет в порядке. Аким вернется. Мы ведь разведчики, и такие разлуки будут у вас часто. — Марченко ласково глядел на девушку. Ему очень хотелось ей понравиться. — Не бойтесь... Наташа!

Она с благодарностью посмотрела в его худое красивое лицо. Потом вышла вслед за командиром роты во двор. Поискала глазами Акима среди расположившихся на бревнах и чистивших автоматы разведчиков и не нашла его. Лачуга, коловший дрова, указал ей на огород.

Аким лежал на соломе, заложив руки за голову, и задумчиво глядел на небо. Услышав скрип калитки и увидев в ней Наташу, он стремительно вскочил на ноги, стряхивая с себя прицепившиеся соломинки.

— Наташа! Здравствуй, родная моя!..

— Здравствуй, Аким!..

Аким обнял ее и тихо, как ребенка, поцеловал. На ее тонкой, почему-то не тронутой загаром шее, как в ту памятную ночь их первой встречи, билась крохотная жилка. Светлые волосы наполнились воздухом и пылали.

— Ну... желаю тебе счастья, Аким!.. Ведь ты тоже идешь?

— Конечно!

— А меня не возьмете?

— Нет, Наташа, лейтенант не разрешит...

— Ты... побереги себя, Аким!.. Прошу тебя!..

Он улыбнулся.

— Да разве мы впервые уходим на такое? Не беспокойся, Наташа, все будет в порядке!

— Ну, я жду тебя, родной!

Они вышли во двор.

Там их встретил Ванин, очевидно, давно ожидавший Ерофеенко.

— Давай... автомат твой почищу, — услужливо предложил Сенька.

Но Аким молча прошел мимо.

— Ты почему ему не ответил? — спросила Наташа Акима.

Ей было очень приятно, что об Акиме заботятся другие разведчики. Она не знала, что Аким только что рассорился с Сенькой.

5

Дивизия Сизова залегла в трех километрах от Краснограда, перед небольшим селением. Противник яростно отстреливался. По показаниям пленных офицеров, немцы стремились во что бы то ни стало удержаться на этом рубеже и сосредоточили для контратаки около двух десятков тяжелых и средних танков, а также восемь бронетранспортеров. Однако сведения, полученные от пленных, требовали подтверждения.

Поэтому генерал Сизов решил послать в село группу разведчиков. На этот поиск было отправлено отделение старшего сержанта Шахаева.

К полуночи, миновав рощу, разведчики вышли на опушку леса, где начинался наш передний край. Впрочем, переднего края в полном смысле этого слова здесь не было. Под таким названием обычно понимается: траншеи, ходы сообщения, окопы, пулеметные и стрелковые ячейки, дзоты, блиндажи, колючая проволока в несколько колов, минные поля и прочее. Тут же ничего этого не было. Стрелки лежали в неглубоких ячейках, наспех выкопанных саперными лопатами. Некоторые устроились — притом не очень удобно — в воронках от снарядов и бомб. Иные же просто лежали за какими-нибудь бугорками, не успев откопать для себя даже ячеек. В мертвенном свете луны тускло светились покрывшиеся росой темнозеленые каски лежавших в беспорядке бойцов. Так вот в месячную ночь светятся арбузы на большом колхозном баштане. Изредка промелькнут две-три согнутые фигуры и тут же скроются, вслед им прогремит несколько звонких выстрелов. Аким направился к длинному каменному строению — колхозной конюшне. Шахаев послал его туда попросить у стрелков проводника. Все двери конюшни были занавешены плащ-палатками.

В одном конце конюшни стояли лошади. Аким их не видел. Но было слышно, как они жуют овес, всхрапы-

вают, гремят недоуздками и обмахиваются хвостами. На другом конце на соломе храпели бойцы, должно быть, ездовые из батальонных хозяйственных взводов. У изголовья спящих на перевернутых вверх днами кормушках горели стеариновые свечи. Одна свеча пригнулась, и жир стекал с нее прямо на густую черную шапку волос какого-то паренька, лежавшего в обнимку с карабином.

Аким поправил свечу и принялся будить черноволосого.

— Эй, ты, сгоришь!

Тот открыл глаза и, нисколько не удивившись тому, что над ним стоит незнакомый солдат в очках, буркнул:

— Чего надо?

Аким рассердился.

— Сгоришь, говорю, дурья твоя голова! Пощупай свои волосы.

Красноармеец не спеша потеребил волосы, недовольно проворчал:

— Наставили свечей, черти!.. Что тебе нужно? — спросил он Акима.

— Командира или старшину роты, которая тут оборону занимает.

— Командир — не знаю где. А старшину сейчас кликну.

Солдат нехотя поднялся, вышел из конюшни. До Акима долетел его сонный хрипловатый голос:

— Сержант Фетисов! Вас зовут...

«Фетисов! — обрадовался Аким. — Неужели вернулся из госпиталя?»

По каменной стене конюшни, как горох, застучала пулеметная очередь. Ездовой быстро вернулся.

— Фриц... носа высунуть не дает, — простодушно заметил он.

— А ты б еще погромче кричал.

— Так для тебя ж.

— Ну что? Придет старшина?

— Должен прийти... Да вот, кажется, он и идет...

Плащ-палатка поднялась.

— Кто меня звал?

— Это я, товарищ сержант, Аким.

— Аким? Разведчик?! Ну, пошли ко мне! — тоже обрадовался Фетисов. — Только потише, а то тут постреливают...

Они вошли в небольшую каменную сторожку. На этот раз разведчик увидел на столе Фетисова длинный и тяжелый ствол бронебойного ружья.

— Опять вы что-то тут мудрите? — спросил Аким.

— Опять, — признался сержант, кладя руку на ствол бронебойки.

— Зачем вы ее притащили сюда?

— Как зачем? — удивился сержант. — Надо же найти ей лучшее применение. Вот я и думаю, нельзя ли приспособить к ПТР[1] оптический прицел, использовать бронебойку, как, скажем, снайперскую винтовку: бить по амбразурам вражеских дотов и других укреплений. Ведь скоро мы будем подходить к границе, а там, наверное, доты встретятся. Из винтовки их, конечно, не поразишь. Да и из орудия не всегда попадешь, особенно — в амбразуру, а вот из бронебойки, если она будет с оптическим прицелом...

Фетисов замолчал и задумался.

— Вот только одну штуку не могу никак придумать... Надо посоветоваться с генералом. Напишу рапорт на его имя. Подам по команде. У него на этот счет голова хорошо работает. Он, говорят, книгу о войне пишет. Не художественную, а свои соображения излагает насчет ведения современной войны. Ведь он ученый!.. У него будто какая-то степень имеется...

— Вполне может быть, — согласился Аким, вспомнив генеральский стол, заваленный книгами, и свою последнюю беседу с комдивом. — Солдат, ставший ученым? Ведь здорово!..

— Что ж, может, скоро наступит такое время, и солдаты все наши будут иметь высшее образование. К тому дело идет. А я с этой штукой обязательно обращусь к генералу, — Фетисов снова посмотрел на свою бронебойку.

Аким не стал допытываться, какая это штука тревожит старшину, — разведчику просто было некогда. Однако идея снайперской бронебойки понравилась и ему. Он, как и в тот раз, с уважением посмотрел в простое и вечно озабоченное лицо Фетисова.

«Однако какой беспокойный ум у этого агронома, — подумал он про сержанта. — Будто новые сорта семян выращивает...»

---

[1] Противотанковое ружье.

Аким попросил дать проводника до немецкого переднего края.

— Только поскорее. Меня ждут, — добавил он.

— Сейчас дам. Переднего-то края у немцев почти нет. Отдельные узлы только. В случае чего, огоньком вас поддержим.

— Нет, огоньком не надо. У нас дело тихое.

Вышли на улицу. Натолкнулись на какого-то солдата.

— Ануфриенко, ты?

— Я, товарищ сержант!

— Проводи разведчиков. Куда — они тебе сами объяснят, — тихо приказал Фетисов и, пожелав Акиму счастливого пути, вернулся к себе в сторожку.

Боец-проводник указал разведчикам место, где, по его мнению, у немцев никого не было. Часа полтора разведчики еще наблюдали. Затем, ощупав на себе гранаты, автоматы, диски, ножи, поползли.

К селу они пробрались далеко за полночь. Где-то горлапанил еще не съеденный немцами петух, ворчали на грейдере автомашины.

Выбрали безопасное место. Здесь остался один Шахаев, а остальные разведчики поползли к селению.

Акиму досталась центральная часть селения.

Он пробирался огородами, то и дело перелезая через плетни. Так он добрался до середины села. Услышал скрип колодезного журавля. Темным и узким переулком он вышел к улице и увидел у колодца женщину; наполнив деревянной бадьей белые цинковые ведра, она приподняла их на коромысле. Аким решительно направился к ней. Заметив его, женщина опустила ведра на землю. Очевидно, она очень испугалась, потому что долго не могла ответить на вопросы разведчика. Наконец, опасливо оглядываясь по сторонам, зашептала:

— Как же ты... милый, попал сюда?

— Потом об этом... Скажите поскорее, много ли в вашей деревне немецких танков?

Женщина приблизила свое лицо к Акиму и ничего не сказала: уж больно похож был на немца стоявший перед ней высокий и худой солдат.

— Что же молчите, мать? — вырвалось у Акима. И по тому, как он сказал это слово «мать», колхозница окончательно убедилась, что перед ней свой. Она ответила:

— Много, деточка...

— Говорите же быстрей, сколько, — нервничал Аким.

— Много их, окаянных, да вот без бензину стояли. Только сейчас цистерна их приехала...

«Должно быть, с соляркой», — подумал Аким.

— Где она? — горячо прошептал он, схватив женщину за рукав. Очки его блестели.

Колхозница рассказала, что бензовоз стоит у нее во дворе, а в хату набилось «видимо-невидимо» немецкой солдатни, они натаскали кур и теперь заставляют ее их жарить.

Аким схватил у женщины ведра и побежал в переулок. Авдотья — так звали колхозницу — поспешила за ним. Аким лихорадочно обдумывал план действий. Сердце разведчика боролось с разумом. Сердце требовало немедленных действий, разум останавливал. Первым желанием Акима было тотчас же побежать во двор Авдотьи и гранатами подорвать бензозаправщик. Но холодный и спокойный ум бывалого разведчика отвергнул это намерение: ведь во дворе, наверно, много немцев, они не подпустят его к цистерне. В конце концов родилось одно, может быть, самое правильное решение.

— Где ваша хата? — спросил он Авдотью.

— А вон, через два дома отсюда.

— Ну, спасибо вам, мать!

Аким убежал.

Через несколько минут он уже находился возле Шахаева и горячо излагал свой план. Вернувшись из поиска, Сенька попросил Шахаева:

— Я пойду вместе с Акимом.

Но Аким холодно заметил:

— Не нужен мне помощник. Я и один справлюсь.

Решено было повторить вариант, примененный когда-то разведчиками при уничтожении вражеского моста.

Час спустя после встречи с русским солдатом Авдотья услышала в другом конце селения, где-то на его южной окраине, два гранатных взрыва, за которыми последовала бешеная автоматная стрельба. Немцы, сидевшие в ее хате, побросали недоеденных кур, похватали автоматы и выскочили на улицу, направляясь в сторону перестрелки.

Авдотьин двор опустел. Только огромной тушей чернел бензовоз. Но недолго было тихо и тут. К хате колхозницы подбежал тот самый красноармеец, с которым Авдотья встретилась у колодца. Он был без пилотки. Светлорусые волосы мокрыми прядями прилипали к высокому лбу. Боец тяжело дышал. Должно быть, до этого он много и быстро бежал. Поняв, в чем дело, женщина заторопила его:

— Пали, родной, пали!..

Она даже не подумала, что бензовоз стоит прямо под соломенной крышей ее хаты.

— Пали же!..

— Скорее уходи отсюда, мать!..

Авдотья выскочила из хаты и побежала через улицу. Она уже была далеко от своего дома, когда раздался взрыв. Мощное пламя плескануло́сь в черное небо. По улице, освещенной пожаром, бежали немцы. Потом стрельба началась где-то совсем близко. Авдотья поняла, что стреляют на ее огороде. Сердце ее похолодело: «Не попался бы, бедненький!»

Аким отбежал в огород и остановился: захотелось еще раз увидеть горящий бензовоз. Он понял, что совершил непростительную ошибку, но понял слишком поздно: немцы уже заметили его и теперь охватывали со всех сторон. Он видел их перебегающие фигуры. «Это — конец», — подумал он с необъяснимым спокойствием. Поднял автомат и с каким-то, не испытываемым ранее, злорадным наслаждением пустил длинную очередь по первым попавшимся ему на глаза немцам. Двое из них упали, Аким торжествующе крикнул и снова пустил очередь. Враги ответили огнем. Аким кинулся в подсолнухи, задыхаясь от свирепой ненависти к своим преследователям. Сухие, колючие шляпки больно колотили его по лицу, царапались, но всего этого Аким не чувствовал. Не слышал он и того, как над самой его головой вспорхнула стайка воробьев и с веселым, шумным чириканьем перелетела на другое место, в вишни.

Акиму показалось, что он может спастись. Он углублялся в подсолнухи все дальше и дальше. Но вот — тупой удар в спину, что-то сильно рвануло грудную клетку, и он упал, чувствуя, как гимнастерка наполняется теплой и липкой жидкостью.

— Убит, — просто и в полном сознании прошептал он. Язык его ощутил соленый вкус крови. Кровь клокотала еще где-то в горле.

— Обидно... — вновь прошептал он и, путаясь в мыслях, как в паутине, хотел понять, отчего же ему обидно, зачем произнес это слово. И, не найдя ответа, повторил опять: — Обидно...

Воробьи снова защебетали где-то рядом, звонко, шумливо. Теперь он услышал их. Но это длилось недолго. Постепенно щебет воробьев сменился каким-то новым звуком, похожим на далекий звон колокола, но и этот звук стал затухать. А потом и вовсе стало тихо.

6

Перед Наташей — дневник Акима. Боже мой, как знаком ей этот почерк — мелкий, неторопливый, ровный... «Аким, родной мой, славный мой! Ну почему ты должен был погибнуть сразу же после нашей встречи? Почему?.. Почему вражеская пуля щадила тебя, когда меня не было рядом с тобой? Зачем ты ушел от меня? Ведь ты сказал мне, что все будет хорошо и мы никогда больше не расстанемся».

Она перевернула еще одну страницу и увидела стихи. Это о них, должно быть, говорил ей Аким при встрече. Первую строку Наташа не разобрала. Прочла дальше:

...Так почему же я один
Среди родных, среди друзей
Остался жив и невредим?

— Остался жив и невредим, — машинально повторила она.

В раздумье вспомнил про тебя,
Увидел море синих слез...
Да, это ты спасла меня
В пучине битв и страшных гроз.

— Спасла, спасла... — плечи девушки затряслись, она уронила голову на дневник. Теперь она плакала, не остерегаясь, что ее услышат разведчики, которые почему-то не отходили от ее окон, особенно старшина и тот, светлоглазый. Когда она снова начала читать, строчки запестрили перед ее глазамии. Она разбирала написанное с великим трудом:

Я гордый вызов дал войне
И по-солдатски ее нес.
В дороге ты светила мне
Сияньем золотых волос.

Я помню тот противный звук,
В ознобе затряслась земля...
У смерти из костлявых рук
Тогда ты вырвала меня.

Наташа не могла дальше читать. Стихи говорили, что она спасла его, ее образ светил ему в пути, а вот сейчас Акима уже нет, и погиб он именно тогда, когда встретился с ней, когда она встала рядом с ним. Плакать девушка больше не могла. Странное дело: она чувствовала себя жестоко обиженной, и не кем-нибудь иным, а Акимом. Зачем он писал ей эти строки? Наташе не приходило в голову обидеться на лейтенанта, который не дал Акиму побыть с ней хотя бы один денек... Нет, она обижалась только на Акима. Почему он не захотел, чтобы командир роты послал вместо него другого? Почему не попросился остаться?.. Не любил ее — вот и все. А она-то думала...

Вдруг Наташа содрогнулась от этих диких и чудовищно нехороших мыслей. В самом деле, как она могла подумать такое о своем Акиме, который за долгие годы их дружбы не сказал ей ни одного нечестного слова. Разве мог ее Аким не пойти на это важное задание, мог ли он остаться в роте ради встречи с ней, послать вместо себя другого разведчика, который, наверное, тоже мечтает о любимой?..

Девушка подняла голову, вытерла глаза и посмотрела в окно. Во дворе стояли двое: светлоглазый и еще какой-то не известный ей солдат. Солдат, видимо, пытался пройти к ней, а светлоглазый его не пускал. Наташа услышала их разговор:

— Ну, куда ты идешь? — укоризненно спрашивал Сенька.

— Чирей у меня.

— Тоже мне болезнь!

— Пусти...

— Не пущу! Пойми ты, дурья голова, не до тебя ей сейчас! Друг у нее погиб... а ты со своим чирьем!.. Пойди к Кузьмичу. Он тебе колесной мази даст. Говорят, здорово помогает...

Наташа безучастно прислушивалась к перебранке солдат. «У кого-то фурункул, кому-то нужно помочь», — думала она, не находя в себе сил и желания подняться и позвать бойца. Отойдя от окна, вновь начала читать стихи:

Когда я, раненный, кричал,
В бреду ведя с врагами бой,
Ты, как горящая свеча,
Всю ночь стояла надо мной.

Когда по мокрой, злой земле
Ползли мы ровно десять дней,
С тобою же казалась мне
Земля и суше и теплей.

И даже в миг, когда мороз
Звенел, кровь в жилах леденя,
Твоих пылающих волос
Костер обогревал меня.

Мне кажется, что я с тобой
В огне совсем не уязвим
И что не быть тебе вдовой,
Как многим сверстницам твоим.

Дверь отворилась, и в ней показался Шахаев. Наташа торопливо закрыла дневник, смахнула ладонью слезы, и длинные синие тени от ее лучистых ресниц задрожали на влажных бледных щеках.

— У меня к вам просьба, Наташа, — сказал парторг, как бы не обращая внимания на состояние девушки. — Сегодня пришло письмо от матери одного погибшего разведчика-комсомольца. Надо прочитать его бойцам. Только это надо сделать сейчас же, пока есть время.

— Хорошо, я прочту, — машинально сказала Наташа.

— Прочтите, пожалуйста. Я тоже послушаю. Мы давно ждали этого письма. Чудесный был парень — Уваров. Они дружили с Акимом.

— Я сейчас же прочту, — повторила она и поднялась.

Шахаев расстегнул свою потрепанную брезентовую сумку и среди бумаг отыскал нужный конверт.

— Возьмите, — передал он письмо Наташе.

Разведчики ожидали во дворе, усевшись где попало: кто — на повозках, кто — на сваленном плетне, кто — на огромных белых тыквах, принесенных для этой цели с огорода. О письме они знали еще утром, когда его

только что принес почтальон, и удивлялись, почему это Шахаев не прочел его им сразу. Солдаты сидели мрачные, подавленные вновь навестившей их бедой. Сенька стоял, прислонившись плечом к углу хаты, и комкал в руках пилотку. Он как-то вдруг исхудал, на щеках отчетливо обозначились клинья скул, в глазах застыла скрытая боль — куда только подевался разудалый, озорной блеск...

Шахаев присел рядом с бойцами и тоже стал слушать, хотя читал это письмо по крайней мере раз пять.

«Дорогие, милые мои сыночки! — прочла Наташа. — Получила я от вас письмецо, в котором вы сообщили мне о смерти моего Яши. Белый свет помутился, когда я узнала об этом. Волосы рвала на себе. Ведь он был у меня один...»

Наташа на минуту замолчала, взглянула на еще более посуровевшие лица солдат. Потом стала читать дальше:

«Отца у него убили немцы. Сестренка Яши, Ленушка, погибла в партизанском отряде. Оставался у меня он один — вся моя надежда, радость моя. А теперь и его нет. И вот подумала я: «Осталась одна-одинешенька, как старая береза в поле, кому теперь нужна, кто утешит, как дальше жить буду». Сердце мое заныло от великого горюшка. Потом прибежала ко мне соседка — Дарья Петровна. Добрая женщина, дай бог ей здоровья. Поплакали вместе, умылись слезами. И будто отлегло малость от сердца, будто разделили с Петровной мое горюшко пополам — оттого и легче стало. А вечером, как узнал, пришел и сам парторг нашего колхоза — Иван Ильич Сидоркин. Руки у него одной нет, на фронте потерял. Не стал утешать, а только молвил: «Общее собрание артели решило поставить вас, Кирилловна, бригадиром второй бригады. Дела там плохи. А ты, как жена партизана и красноармейская мать да хорошая колхозница к тому же, должна поправить эти дела». Вроде как бы и не ко времени сказал он мне такие слова, а опять же полегче стало. Вижу, нужная я людям. Нехватило сил моих отказаться от бригады, хотя, сами знаете, работа эта вроде не бабья, колготная очень. Подумала я: «Муж мой, Денис, все силы отдавал колхозу, сын тоже, и я должна». Председатель наш распорядился выдать мне три пуда муки. Завхоз обеспечил дровишками. Гляжу, люди наши

не дают мне упасть, поддерживают всем миром. Так вот и идем рука об руку. И трудно нас свалить. Взяла я в дочки сиротку одну, Дуню, мать умерла у ней недавно от порока сердца, а отца, Пилипа, немцы убили в один день с моим мужем. Вместо Ленушки она у меня теперь. Ходит в школу, в третьем классе учится. Вчера Дунюшка перешла в новую школу. До этого учились в домах колхозников. Прежнюю-то школу немцы сожгли. А мы построили новую. Так вот и живем. Бригада моя, слава богу, поправляется. Сейчас заканчиваем уборку колосовых. Вы уж, родные мои сыночки, простите меня, что долго не отвечала вам на ваше письмо: первое-то время все из рук валилось и писать не могла, не было моей моченьки. Спасибо вам за добрые слова и картину об Яшеньке, которую вы прислали мне. У меня ее забрали, и теперь она висит в избе-читальне. Не забывайте моего Яшу, пишите мне письма. А коли у кого нет родной матери, пусть приезжает ко мне, будет моим сыном вместо Яши. Привечу, не обижу. Такое уж у нас время, что все стали родные да близкие.

До свиданья, милые мои. Желаю вам скорой победы и всем остаться живыми и невредимыми.

Ваша мать Пелагея Кирилловна Уварова.

Село Пологое, Курской области».

Наташа закончила чтение, но еще долго никто не решался нарушить тишину. Потом Вася Камушкин предложил:

— Ребята, давайте напишем ей еще письмо!

Комсорг был доволен: в письме упоминалось о его рисунке, в котором он изобразил подвиг Якова Уварова.

— Надо написать, — поддержал Шахаев. — Кому же поручим? — и он посмотрел на разведчиков. Те поняли и в один голос закричали:

— Наташе!.. Наташе! — в этих коротких возгласах девушка почувствовала сердечное участие к ее горю.

— Хорошо, я напишу, — сказала она и вдруг разрыдалась. Она плакала, но не чувствовала прежней тяжести, и слезы были не так горьки, как прежде: сейчас они облегчали. Она поднялась с бревна, на котором сидела до этого, и направилась к своей хате. У крыльца вспомнила:

— У кого там фурункул, товарищи? Пусть зайдет ко мне!

Теплый ветерок трепал ее волнистые, светлые волосы, непокорно выбивавшиеся из-под пилотки. Шахаев, проводив девушку долгим взглядом, удовлетворенно вздохнул.

Он подозвал Ванина:

— Слушай, Семен, почему Вера перестала ходить к нам?

Сенька, застигнутый врасплох, в замешательстве не мог сразу ничего сказать парторгу.

— То есть... как почему? А чего ей тут делать?

— Пусть ходит и дружит с Наташей. А ты дурака не валяй.

Сенька не ответил, но к вечеру, будто по мановению волшебной палочки, толстощекая Вера уже сидела в наташиной комнате. Подружились они так быстро, как могут подружиться только девушки и то лишь на войне. Об Акиме Вера не спрашивала: это было бы слишком больно для ее новой подруги. В конце концов она начала рассказывать о себе, о своей службе, о любви к Сеньке и о том, как все-таки трудно девушкам на фронте, особенно если девушка одна среди ребят. Наташа, казалось, слушала внимательно. Однако, когда Вера спросила ее о чем-то, Наташа не ответила. Она думала о себе, о парторге, о матери Уварова и ее соседке, которая поддержала Кирилловну в большом горе и не дала ей упасть, и Наташе хотелось обнять всех этих хороших, умных и добрых людей. Думала Наташа и о разведчиках. Люди эти, огрубевшие на войне, убивавшие и убивающие врагов, — эти самые люди окружили ее трогательной заботливостью.

— Страшно неудобно... кругом хлопцы,— продолжала рассуждать Вера. — Конечно, ведь мы тоже солдаты. Вот некоторые бойцы и относятся к нам, только как к солдатам. А ты знаешь, Наташа, мой Семен пропал! — вдруг сообщила Вера.

— Как пропал? — отвлеклась, наконец, от своих мыслей Наташа.

— Опять Акима искать... Знаешь, Сеня просто места себе не находит. С ним сейчас и говорить невозможно. Потемнел, худой стал — просто страшно за него. Ты знаешь, Наташенька, как он любил твоего Акима!.. А тут они еще поссорились с ним из-за чего-то. Вот Сеня и мучается. Боюсь я за него, Наташенька! — пухлые губы

Веры покривились, и была она похожа сейчас на большого ребенка, готового расплакаться.

Наташа, словно очнувшись, порывисто обхватила шею девушки и крепко прижала голову Веры к своей груди.

— Сестренка моя!.. — с глубокой нежностью прошептала Наташа. — Родная...

В комнату к девушкам заглянул Марченко, но, ничего не сказав, вышел. Появление Наташи в подразделении повлияло на поведение лейтенанта. Он как бы вновь стал тем, каким его знали солдаты раньше: энергичным, стремительным, деятельным. Не давал покоя ни себе, ни старшине, ни командиру взвода. Всюду старался навести порядок, хотя и без того было все хорошо налажено. Пинчуку это очень нравилось.

— З Марченкою шось случилось. Не посидит ни одной минуты на месте. Усе хлопочет. Ось якый вин!.. — говорил старшина Забарову и довольно приглаживал усы.

Вот и сейчас, выйдя от девушек, Марченко отдавал всякие распоряжения. Наташа и Вера услышали его разговор:

— Где ты был, Ванин?

— Акима...

— Ну, что... нет? Ничего не слышно?

Ответа не последовало.

Вера плотнее прижалась к подруге, будто просила у нее извинения: «Прости, Наташа, что я такая счастливая...» Наташа поняла ее состояние, тихо проговорила, гладя голову Веры:

— Ничего, сестричка моя... — Глаза ее были сухи, в них будто навсегда померкла вечно живая, бездонная синь.

Вера подбежала к окну, открыла его, чтобы лучше слышать разговор Марченко с Сенькой. Однако командир уже говорил с Забаровым.

— ...Под Сталинградом я не так действовал. Я бы не позволил... Помнишь Аксай, я там с горсткой разведчиков четыре дня держался... А Песчанку помнишь?

Забаров что-то ответил глухим голосом, и Вера не расслышала его слов. До них вновь донесся резкий голос командира роты:

— Назад тоже нужно оглядываться!

— Оглядываться, но не глядеть все время, — уже громче заметил Федор, и подруги услышали эти слова.

Разговор на минуту стих. Потом вновь возобновился.

— Наши готовятся к ночному штурму города. Утром, видно, двинемся дальше. Начальник штаба приказал сдать машину. Передай Ванину, чтобы отвел ее в автороту.

Услышав об этом, Ванин даже не пытался возражать. Он был уже безразличен к своему «оппель-блитцу».

— Пускай забирают, — равнодушно сказал он.

Когда разговоры за окном стихли, а Вера убежала, очевидно, к Сеньке, Наташа вновь принялась листать дневник.

Прочла и непонятные слова: «Следует подумать» и еще несколько коротких записей. Из блокнота выпала какая-то бумажка. Наташа наклонилась и подняла ее.

«В партийную организацию

от ефрейтора *Ерофеенко Акима Тихоновича.*

Заявление», —

прочитала она. Ниже листок оставался чистым. Времени ли нехватило Акиму, заколебался ли он, кто узнает теперь.

Во дворе уже было темно. Накрапывал дождь. Штурмовики, прижатые почти к самой земле тяжелыми, темными тучами, с ревом проносились над крышами домов, возвращаясь с бомбежки. По улице нескончаемой чередой тянулись повозки. Подтягивались куда-то установки гвардейских минометов.

7

На рассвете дивизия Сизова прорвала оборону противника и во взаимодействии с другими частями, при поддержке танков, овладела городом Красноградом; сбивая вражеские заслоны, советские полки устремились на юго-запад, к Днепру.

Разведчики, наскоро позавтракав, выстроились во дворе и ждали команды, чтобы тронуться в путь. Крупные дождевые капли катились по маскхалатам, обмывали загорелые, коричневые руки, сжимавшие автоматы. На-

таша стояла рядом с Камушкиным, строгая и торжественная. Маленький халат, перепоясанный широким офицерским ремнем, плотно облегал ее стройную, тонкую фигуру.

Марченко дал команду, и рота быстро двинулась со двора.

Пинчук поспешно укладывал на повозки свое хозяйство. В помощь ему был оставлен Ванин, который накануне сдал свою машину в автороту.

— Зараз на Днипро двинем! — ликовал старшина, подмаргивая Сеньке. — Помогай, Семен. Быстрее соберемось!..

Вечером, уже за городом, разведчики узнали о приказе Сталина и о присвоении их дивизии наименования Красноградской. Сенька приободрился:

— Имя-то какое, а? Крас-но-град-ская!.. Это тебе не Мерефа! Конечно, и этот город не ахти какой великий, но красивое название имеет. И за это ему наше солдатское спасибо!..

— Спалылы тилькы хвашисты поганючи. Мисто було гарнэ. Сад, а не мисто...

— Ничего, товарищ старшина, возродится.

— А як же! — подтвердил Пинчук.

— Как думаешь, Петро Тарасович, доживем мы до коммунизма?

— Доживемо, Семен, обязательно доживемо!.. В Радяньскому Союзи, мабуть, уже був бы коммунизм, як бы не хвашисты. Воны тилькы нам помешалы.

Сенька не сомневался в том, что и ему доведется жить при коммунизме; он спросил об этом Пинчука лишь для того, чтобы расшевелить его и втянуть в беседу. Он знал, что поднятый им вопрос найдет в пинчуковом сердце живейший отклик. Петр словно ждал этого и немедленно стал излагать свои планы на будущее.

Ясно, что как только кончится война, он, Пинчук, уже немолодой человек, да к тому же еще и голова колгоспу, немедленно вернется домой. Ванину, как полагал Пинчук, придется еще, пожалуй, несколько годков пожить за границей и после войны; надо ведь, чтобы и там был порядок, чтобы люди были людьми, а не чорт знает кем, чтобы и там, наконец, уважалось доброе и великое слово — народ. В общем Сенька останется в армии. Что же касается его, Пинчука, то он придет домой — дела его большие

ждали в колхозе. Еще до войны начал Петр строить у себя в артели электростанцию — помешали фашисты. Теперь он обязательно ее построит и притом большей мощности, чем предполагалось раньше. Восстановит мельницу, маслобойку, крупорушку. И обязательно кирпичный и черепичный заводы выстроит. Нет, Пинчук не хочет, чтобы колхозники в его селе жили под соломенными крышами. Хватит! Он понастроит им просторные и светлые хаты из кирпича, покроет их крепкой и нарядной черепицей собственного производства, все дома зальет электричеством, у всех установит радиоприемники, выстроит клуб, — да что там клуб — кинотеатр выстроит! А школу, какую школу он соорудит для малышей! Жаль, что погиб Аким. Быть бы ему директором этой школы (хоронилась в пинчуковом сердце думка: переманить к себе Акима!). А к тому времени подрастет посаженный еще до войны сад на трехстах гектарах — какая же хорошая жизнь будет!..

— Тилькы б нам не мишалы бильшэ, коммунизм мы построимо! — закончил изложение своих больших планов Пинчук и выразил, наконец, самое сокровенное: — С партией все построим!

— Если и будут мешать, все одно построим! — добавил Сенька.

Настроение у всех троих, — Кузьмич хоть и не принимал участия в беседе, но и его она сильно разволновала, — стало вдруг таким же светлым и радостным, как была светла и радостна эта ночь — лунная, многозвездная и теплая. А утро выдалось еще великолепнее — без единого облака, прозрачно-синее, как в мае, чуть подкрашенное пробивавшимися из-за горизонта лучами пробудившегося солнца. Радовала глаз и окружающая картина: куда ни посмотри — всюду стояли брошенные и подбитые немецкие машины, танки, бронетранспортеры, пушки. И нашим солдатам плевать на них: стоят они, эти фашистские машины и пушки, смирнехонько, беспомощные, укрощенные. А укротители их сейчас бойко шагают по обочинам дорог, стремясь на запад, к Днепру, за Днепр, к границе... Вот они тянутся цепочками — люди в обмотках, с помятыми пилотками и в выцветших гимнастерках, не слишком, может быть, деликатные люди, но зато справедливые. Обгоняя обозы и пехоту, взлохмачивая пыль, с ревом и лязгом мчались наши танки, за

ними поспевали «катюши», самоходки. А над всем этим проносились эскадрильи самолетов. И все туда же, на юго-запад.

Слева, среди бурьяна, в черных подтеках масла и бензина, Кузьмич увидел обломки вражеского бомбардировщика.

— Сбегай, Семен, принеси-ка кусок плексигласса. Лавра мундштуки нам сделает,— попросил ездовой.

Сегодня он был тщательно выбрит, рыжие усы аккуратно подстрижены. Даже хлястик на его шинели не висел больше на одной пуговице. И Сенька знал: не хотел старый сибиряк, как и все разведчики, выглядеть перед Наташей неряхой. На всех лежало ее светлое, живое отражение.

— Пошли они к чорту, эти мундштуки! — решительно отказался Сенька, чего с ним никогда не случалось. — Не хочу руки марать!..

Пинчук и Кузьмич с удивлением посмотрели на ярого трофейщика.

— А може, сбегаешь, Семен? — на всякий случай предложил Петр.

— Коммунизм собираешься строить, а сам посылаешь меня за разной гадостью, — упрекнул Сенька.

Но Петр запротестовал:

— При коммунизме бережливость вдвойне нужна. Вещь-то пропадет, а мы б ее в дело употребили.

Кузьмич вспомнил слова старого ездового, с которым он встретился в медсанбате, там, в Шебекинском лесу: «В коммунизме жить собираемся, нужно быть готовыми к этому. В него, в коммунизм-то, с умными головами надо итти и с чистыми руками...»

— Может, Сенька и прав. Коммунизм — чистых рук дело, — сказал он Пинчуку. И от этих слов светло стало на душе сибиряка.

Немцы откатывались к Днепру, яростно огрызаясь. Но сдержать советских солдат, которых великая река притягивала, как магнит, они уже не могли. Наши пехотинцы и танкисты врывались в села и города и сбивали неприятеля, вынуждая его к бегству. Все это радовало ехавших на повозке разведчиков.

Но Пинчук почему-то скоро изменился в лице, впал

в редкую для него угрюмость: справа и слева от дороги, куда ни кинь взгляд, потекли назад сожженные дотла села. Тяжелые, горькие дымы поднимались к небу, застилали светлый горизонт. Едкая гарь, смешанная с терпкими степными запахами, ударяла в ноздри, теребила душу. Черные, обгорелые яблони стояли у дорог, роняя на землю крупные испеченные плоды. Коробились на огородах испаренные тыквы. Босоногие одичавшие ребятишки рылись в золе, у родных пепелищ, собирая для чего-то обгорелые, ненужные гвозди и дверные скобы. Ребята были так подавлены совершившимся, что не могли даже по-детски радоваться приходу освободителей. Пинчук смотрел на этих ребятишек и думал: «Наверное, и моя дочурка вот так же роется в золе у сгоревшей хаты...»

— Кузьмич, — тихо проговорил Петр, — командир роты разрешив мени заскочить до дому. Я вас скоро догоню. А пока що побудь за мене. Смотри за Лачугою. Отстане ще, бисов сын. Люди щоб булы накормлены... Ну, бувайте!..

Он пожал руки Кузьмичу и Сеньке, тяжело соскочил на землю и пошел напрямик непаханым полем. Он шагал и шагал, осматриваясь вокруг, потеплевшим взором обнимая и лаская степь. Глаза его, мудрые пинчуковы очи, что-то беспокойно искали. Петр вдруг остановился, как вкопанный. Перед ним, заросший диким бурьяном, возвышался полусгнивший землемерный столбик. Отсюда начиналась вспоенная его пóтом, исхоженная и измеренная вдоль и поперек, родимая, навеки благословенная земля его артели. Он думал о ней, ворочаясь в сыром окопе, она снилась ему, ею полнилось широкое пинчуково сердце. Она была его «второй болезнью», о которой хотел и не мог догадаться Сенька там, за Харьковом.

Пинчук стоял, всматриваясь в даль. Неоглядным волнующимся морем дрожала перед его отуманенным, заслезившимся взором ширь полей, и невыразимая боль кольнула его грудь: поля были мертвы, заросли злым, колючим осотом, хрустким и вредным молочаем... А какое это было богатство! Сколько радости людям приносила эта земля, сколько счастливых гнезд свил на ней человек труда!..

Четыре тысячи гектаров, записанных в большую красную книгу с золотым тиснением. Артель! Огромное и

сложное хозяйство. И ты когда-то руководил им, гвардии сержант Пинчук, помогал людям строить новую жизнь, умножать богатства страны, своей широкой, крепкой и спокойной рукой вел людей к большому счастью.

Петр шумно вздохнул и пошел дальше. Наконец он увидел родное село. Оно было сожжено, как сожжены все села на Полтавщине. Но школа, выстроенная Пинчуком, уцелела. Это удивило его и обрадовало. Уже потом он выяснил, что немцы просто не успели ее подпалить.

Семьи Пинчука дома не оказалось. От соседей он узнал, что жена и дочка его живы. Находятся у родственников в дальней и глухой деревеньке, которая теперь, наверное, тоже уже освобождена. Петр побродил возле трубы, что осталась от его хаты, и собирался уже было уходить, когда к нему со всех сторон потянулись редкие односельчане.

— Та це ж наш голова колгоспу! — подхромал и подставил Пинчуку аспидно-черную бороду Ефим Даниленко — бывший завхоз. — Какими судьбами?

— По дорози забиг. Наступаемо... А ты що, Юхим, хвашистам служил?..

Лицо Ефима стало таким же черным, как его борода.

— Нет, Петро, не найти в нашем селе таких, которые с фашистами дружбу вели. Был один староста, да и тот недолго голову носил,— сказала Мария Кравченко, пинчукова соседка, из третьей бригады. Петр вспомнил, что дважды премировал ее поросенком.

— Добрэ, колы так. Ну, Юхим, принимайся, чоловиче, за дило! В армию тебя не визьмуть — хромый та и старый вже. Так от и руководствуй тут. Пока мэнэ не мае, ты будешь головою. Та щоб колгосп наш на хорошему счету був!.. Приеду, подывлюсь!..

Откровенно говоря, Пинчуку не хотелось ставить Ефима во главе артели: недолюбливал его Петр, еще до войны хотел заменить Ефима другим, более расторопным и смекалистым завхозом, да не успел. Ленив был малость да несообразителен Ефим Даниленко. Но сейчас у Петра Тарасовича не было выбора, и он остановился на Ефиме. «Будет плохо работать, переизберут», — подумал он. И, сам того не замечая, стал давать задания колхозникам:

— Першым долгом инвентарь соберите. Як що кони у кого е та коровы, зябь начинайте подымать. Помогайте

друг другу хаты строить. Конюшни колгоспни до зимы восстановить треба... И от що, Юхим, я тоби кажу: не справишься ты со всем, якщо не построишь саманный завод в нашому колгоспи. Так що завод — основнэ зараз... Помятай про це.

До полудня ходили они с Ефимов по селу да все планировали. Заглянули и в школу.

— Дыректор, Иван Петрович, жывый? — спросил Пинчук, поднимаясь по ступенькам.

— Живой был... Весною до Ковпака пишов.

— В район почаще навидуйся. Учительок просы. Хлопцям учитыся трэба.

— Добрэ.

Привычным и родным повеяло на Пинчука в школе.

Вот в этом зале когда-то проходили торжественные собрания, здесь он был частым гостем, сидел непременно за столом президиума на всех выпускных вечерах, тут сам вручал ребятам подарки от колхоза.

Вошли в один класс. Над дверью сохранился номер «7». Петр огляделся. В классе, на полу, увидел фотографию выпускников. Веселые, смеющиеся лица девчат и хлопцев. Среди них, в центре, Иван Петрович, вокруг него — молодые учительницы и учителя — всех их хорошо знал Пинчук. На углу фотографии отпечатался след кованого сапога. Он пришелся как раз на круглое личико девочки, исказил его, вмял косички. И почему-то это было больнее всего видеть Петру. Он поднял фотографию, тщательно ее обтер и бережно уложил в карман. Затем с яростью принялся выбрасывать на улицу через разбитое окно немецкие противогазы, сваленные в углу, и старое темнозеленое обмундирование. Затем перешел в другой класс и там сделал то же самое. Так он очистил всю школу. Потом вышел на улицу, зачерпнул в школьном колодце бадью воды и умылся. Ефим пригласил Пинчука зайти к нему в дом, которым теперь служил полуобвалившийся погреб, перекусить и отдохнуть. Но Пинчук отказался. Наскоро написал письмо жене и передал завхозу:

— Нехай не туже. Вернусь в целости.

Потом долго думал, что еще наказать завхозу. Вспомнил:

— В Марьевку сходи. Посоветуйся з головою. Може, пидмогнэтэ друг другу. У него, мабуть, кони е. Вин чоло-

вик хитрый. Спрятав, може, от нимца!.. Сходи в райком. Хай коммунистив дадут. Чоловика два хотя б, щоб помогли тоби...

Петр собрался уходить. Еще раз оглянулся вокруг. Там, где когда-то были густые вишневые сады, теперь торчал обгорелый черный кустарник. Сердце солдата сжалось.

— Надиюсь на тебе, Юхим, гляди тут за хозяйством, — сказал он и, вдруг вспомнив о старом Силантии, о долгой беседе с ним, подумал: «Вот бы кого мени завхозом-то». — Так гляди же, Юхим!.. — густые усы Пинчука шевельнулись, он их прикрыл зачем-то своей огромной ладонью.

— Добрэ!.. — сказал Ефим.

И снова утопил лицо Петра в своей аспидной бороде.

— До побачення!..

Пинчук вышел за село. Ноги быстро понесли его по невспаханному, насильственно обеспложенному полю. Голова гудела от нахлынувших воспоминаний и дум. Пинчук все убыстрял и убыстрял шаг. А перепела — глупые птицы! — наперебой убеждали, звенели в высокой, безобразной траве: «Спать пора, спать пора, спать пора...» Едкая гарь неслась в воздухе, жгла ноздри, сушила глотку. «Спать пора, спать пора...» — заливались перепела.

«Не пора спать... не пора, ой, как не время!..» — стучало в сердце старого солдата.

8

Разведрота располагалась в густом саду, на западной окраине большого украинского села, в двух переходах от великой реки. На этом рубеже командование дивизии спешно приводило в порядок полки, пополняя их людьми и боеприпасами, подтягивая тылы; шоферы заправляли машины горючим, чтобы совершить последний, стремительный рывок к Днепру.

Приближался вечер. Косые солнечные лучи с трудом проникали сквозь частые, повитые сумерками, колючие ветви терновника, за которыми сидели разведчики. Тут было тихо и прохладно, просто не верилось, что в соседнем селе и вообще где-то рядом могли быть немцы. Ни

единым выстрелом не нарушалась тишина. Только самолеты-разведчики попрежнему чертили белые замысловатые линии на тускнеющем небе.

Рота была сейчас похожа на цыганский табор. Кузьмич, на случай дождя, а главное — для прохлады, разбил несколько зеленых палаток, возле которых сидели и лежали разведчики. Большинство из них было занято каким-нибудь делом: одни подбивали подметки к сапогам; другие зашивали маскхалаты; третьи чистили автоматы; кто-то брился; некоторые торопливо, зная, что скоро придется итти вперед, расправлялись с недоеденными консервами; иные сбивали с деревьев редкие перезрелые яблоки, отыскивая их, как охотник выискивает в тайге шуструю белку. И лишь немногие, на всякий случай, вздремнули. К этим немногим, разумеется, принадлежал и Сенька, который любил «выспаться про запас». Кузьмич, Лачуга и Наташа готовили ужин.

За последние дни девушка сильно похудела. Лицо ее осунулось, глаза больше потемнели. После гибели Акима она стала замкнутой, молчаливой. Об Акиме ей постоянно напоминал простоватый Михаил Лачуга. Кузьмич в этом отношении был догадливее повара и не тревожил Наташу тяжелыми воспоминаниями. Он полюбил девушку и старался облегчать ее трудную фронтовую жизнь.

Предупредительно относился к Наташе и Марченко. Она часто чувствовала на себе пристальный взгляд каштановых глаз лейтенанта. В глазах Марченко, как и в его походке, было что-то вкрадчиво-мягкое, рысье и опасное. Встретившись с ним, она робела, торопилась поскорее уйти от лейтенанта. Иногда он ее останавливал:

— Вы... что, Голубева?..

— Вы о чем-то хотите спросить меня? — в свою очередь говорила она, с трудом подавляя в себе неприязнь к этому красивому человеку.

— Разве вы не знаете — о чем?..

— Я вас не понимаю, — отвечала она и быстро уходила.

Лейтенант провожал ее долгим, скользящим взглядом.

У Кузьмича же был свой план: ему хотелось во что бы то ни стало сблизить Наташу с Шахаевым. Только Шахаев, думал сибиряк, достоин ее. Подружившись с ним, она, как полагал Кузьмич, постепенно забудет про свое большое горе и приободрится.

«Жаль девку. Засохнет», — сокрушался старик, обдумывая во всех деталях свой замысел. К его реализации он подходил в высшей степени осторожно.

— Довольно тосковать, дочка, — говорил он ей. — Не вернешь теперь его. На свете еще много встретится хороших людей. Ты бы поговорила, к примеру, с парторгом нашим. Он тоже про то скажет...

Но она выслушивала его равнодушно, будто навсегда застыла в своем горе.

Шахаев, не подозревая о кузьмичовых планах, со своей стороны старался всеми силами втянуть девушку в общественную работу, на что она шла с большой охотой. Наташа сказала как-то парторгу:

— Товарищ старший сержант!.. Прошу вас — побольше загружайте меня делами. Мне иногда кажется, что я очень мало, слишком мало делаю!.. Разве сейчас можно так!.. Вы вот все ходите в разведку, жизнью рискуете, проливаете кровь... А я... ну, что я делаю полезного?.. Перевязываю раненых?.. Но в роте их не так уж много бывает!.. Я не могу больше так. Прошу вас!..

Он пытался разубедить ее и сокрушался оттого, что слова его не достигают цели.

По совету парторга Камушкин стал давать Наташе различные поручения, которые девушка выполняла с большой охотой и с чисто женской аккуратностью. Она читала разведчикам свежие сводки Совинформбюро, распределяла газеты... Старый и добрый Кузьмич видел, что где бы она ни была и что бы ни делала, — всюду за ней следили умные, чуть раскосые глаза парторга.

Командир распорядился, чтобы до ночи разведчики отдыхали. Кузьмич со своим верным помощником Лачугой натаскали к палаткам свежего душистого сена, накрыли его пологом, и бойцы улеглись спать, сняв ремни и расстегнув воротники гимнастерок.

Шахаев лежал рядом с Камушкиным. Кузьмич уселся на сваленном танком яблоневом дереве и курил. Парторг задумчиво глядел на сизый дымок, витавший над головой старого солдата, и не мог смежить глаз. Он приподнялся и с удивлением увидел, что никто не спит. Широко раскрытые глаза разведчиков были устремлены в небо.

— Что ж вы не спите, друзья? — спросил парторг. — Ночью не придется отдыхать...

— Не спится что-то... — ответил за всех Ванин, который, впрочем, уже выспался раньше. — Блохи кусают...

— Врешь ты! — зашумел на него, явно подражая Пинчуку, оскорбленный Кузьмич. — Брешешь! Откуда блохам взяться? Сено свежее.

— Не спится и мне, — сказал Камушкин.

— Ну вот — видите! — воскликнул Сенька и, неожиданно посерьезнев, спросил задумчиво: — Какой он... Днепр, ребята... а? Поскорее бы добраться до него,— и, помолчав, вдруг предложил: — Может, споем? Давай, Кузьмич, затягивай!

— А какую?

— Любую.

— Я больше старинную...

— Валяй, валяй! — поощрял Сенька.

Кузьмич выплюнул окурок, украдкой взглянул на Наташу и, разгладив усы, прокашлялся. Выгнув шею как-то по-кочетиному, запел хрипловатым, но удивительно стройным голосом:

Вниз по Волге-реке,
С Нижня-Новгорода

Его несмело поддержали:

Снаряжен стружок,
Как стрела, летит.

Старый запевала знал, что неуверенность бойцов пройдет, и запел еще громче:

Как на том на стружке
На-а-а снаряженном...

Хор дружно грянул:

У-у-у-удалых гре-э-э-бцов
Со-о-о-рок два си-и-и-дят.

Шахаев попытался было подтянуть, но увидел, что только портит песню: голос его резко и неприятно выделялся. Застенчиво и виновато улыбнувшись, он замолчал и задумался. Взявшись за голову обеими руками и покачиваясь в такт песне, он с глубокой нежностью смотрел на солдат. Губы его шевелились. «Товарищи мои дорогие, верные вы мои друзья!..» Многих он уже не слышал в этом хоре. Но воображение Шахаева легко воспроизво-

дило их голоса и мысленно вливало в общую гармонию звуков. От этого песня для него становилась полнозвучней, мощней. Бас Забарова гудел не обособленно, а в соединении с немного трескучим, но в общем приятным голосом Акима. Соловьиный заливистый тенор Ванина не существовал для Шахаева без глуховатого голоса Якова Уварова, слышал Шахаев и ломающийся петушиный голосишко Алеши Мальцева.

Парторг закрыл глаза, и тогда все трое встали перед ним, как живые: Уваров, Аким, Мальцев... Кто знает, может, в один ряд с ними уже этой ночью встанет кто-нибудь из тех, что сидят сейчас перед старшим сержантом...

Они все сидят
Развеселые.
Лишь один из них
Призадумался.

Марченко слушал песню, прислонившись спиной к яблоне. Он смотрел на Наташу, которая в глубине сада укладывала в сумку медикаменты. Ему казалось, что песня сложена про него, и старый плут Кузьмич нарочно подобрал такую:

Лишь один-то из них
Добрый молодец
Призадумался,
Пригорюнился.

Жилы на тонкой шее Кузьмича натягивались балалаечной струной. Шахаев подумал, что это они, вибрируя, издают такой сильный и приятный звук. Порой, когда Кузьмич брал невозможно высокую ноту, Шахаеву становилось страшно за певца: он боялся, что жилы на худой шее ездового вот-вот лопнут. А увлекшийся Кузьмич забирал все выше и выше. Думалось, сама душа взбунтовалась в нем и теперь рвалась на волю:

Ах, о чем же ты,
Добрый молодец,
Призадумался,
Загорюнился?—

спрашивал он страстно и вдохновенно. И хор тихо отвечал ему:

Я задумался о белом лице
Загорюнился о ясных очах.
Все на ум идет

Красна девица,—
Все мерещится
Ненаглядная.

Еще ниже склонилась седая голова Шахаева. Плотно закрылись его черные глаза. А там, у повозки, нервно скрипнули офицерские ремни.

Эх вы, братцы мои,
Вы, товарищи,
Сослужите вы мне
Службу верную,—

выводил, подрагивая рыженькими усами, Кузьмич.

Хор бросал требовательно и просяще:

Скиньте, сбросьте меня
В Волгу-матушку,
Утопите в ней
Грусть-тоску мою.

Марченко поник головой, стоял тихий и какой-то растерянный. А песнь лилась в его сердце, обжигая:

Лучше в Волге мне быть
Утопленному,
Чем на свете жить
Разлюбленному.

Хор смолк. Оборвалась хорошая песня.

Дымной наволочью подернулись выпуклые глаза Ванина. Пение растеребило и сенькино сердце. Помрачнел лихой разведчик, опустил когда-то беспечальную голову и не смел поднять ее, взглянуть на Наташу, словно чувствовал свою большую вину перед ней. Непокорный вихор сполз на опаленную солнцем, приподнятую правую бровь. Потом он резко вскочил на ноги, зачем-то быстро взобрался на самую высокую яблоню, в кровь исцарапав руки о маленькие колючие сучья, невидимые в темноте. Ветер сорвал с его головы пилотку, растрепал русые мягкие волосы, пригонял упругую прохладу большой воды.

Сенька слез на землю, подсел к Шахаеву. Тот уже давно наблюдал за ним.

— Что с тобой, Семен.

Обрадовавшись этому вопросу, Сенька, однако, ответил не сразу. Лишь проворчал невнятное:

— Чорт знает что... Вот тут... ерунда какая-то, — ткнул раза два себя в грудь.

— Об Акиме вспомнил?

— Угу, — угрюмо выдавил Ванин и, помолчав, начал торопливо и горячо: — Не увижу его больше — вот беда. Решил, поди, что я плохой товарищ... издевался над ним...

— Тебя беспокоит только это?

— Ну да...

— А ты всегда был прав в споре с Акимом? — в узких щелках припухлых век кусочками острого антрацита поблескивали чуть косящие глаза. — Как ты думаешь?

— Не знаю...

— Вот видишь. Не так важно, Семен, что вы не успели помириться с Акимом. Важно другое — чтобы ты нашел мужество сказать себе: «Да, я не всегда был прав, обвиняя товарища. Я понял это. И больше не допущу ничего подобного по отношению к своим боевым друзьям». Акиму уже сейчас все равно: помирились вы с ним или нет. А вот для нас, живых твоих товарищей, очень важно, чтобы ты, Семен, сделал для себя такой вывод.

Сенька молчал. А Шахаев, положив на его плечо свою короткую тяжелую руку, неторопливо продолжал:

— Аким был прав в одном: мы не фашисты, и их методы ведения войны нам чужды и ненавистны, как чуждо и ненавистно нам все бесчеловечное. К тому же, Семен, нельзя валить в одну кучу убежденных фашистов и немцев, обманутых и развращенных фашизмом. А ты смешиваешь. Для тебя все они одинаковы. Немцы — и все. И их надо уничтожать везде, как ты часто говоришь. Аким не соглашался с тобой в этом, и он был прав. Надо глядеть вперед, Семен, а не назад. Помнишь, что сказал товарищ Сталин? Он говорил, что гитлеры приходят и уходят, а германский народ остается. Слышал ты это? Кто знает, может, когда-нибудь немцы тоже построят у себя новую жизнь и встанут в один ряд с нами...

Сенька слушал и не верил ушам своим. Тот ли это Шахаев говорит такие слова? Не он ли учил молодых бойцов быть беспощадными к врагам? Разве не сам Шахаев вот совсем недавно, на Курской дуге, лично убил восемь немцев? Нет, тут что-то не то...

— Как можно говорить такое, товарищ старший сержант? — начал Ванин запальчиво, обжигая парторга зеленым блеском своих округлившихся глаз. — Я вот вас опять не понимаю. Что я, к примеру, должен делать,

когда на меня прет целая цепь немцев? Сидеть и ждать? Ведь все фрицы как фрицы, в плоских касках с чертенячьими рожками, в зеленых мундирах, — разберись, который из них убежденный и у которого этого убеждения нет. На лбу не написано, а ежели и написано у какого, так издали не увидишь. Пока будешь разбираться, они тебя прихлопают. Доказывай потом, что ты не верблюд...

Шахаев улыбнулся.

— Ай, Семен, Семен! Упрямая твоя головушка! Кто же тебе сказал, что в бою не надо убивать. Бой есть бой. Там против тебя только враги. И ты прав, когда говоришь, что на войне надо быть злым. Добряки тут ни к чему...

— Во-во!.. — подхватил Ванин и победно посмотрел на парторга. — Но Аким не понимал этого. А я хотел его на путь истинный направить. Друг же он мой. А в уставе сказано: помогай товарищу словом и делом, удерживай его от дурных поступков. Я действовал согласно уставу. Словом удерживал... Ведь это факт, что Аким пожалел предателя, не убил гадину такую!..

— Ну, это еще неизвестно: пожалел или нет.

— Ясное дело — пожалел!..

— А по-моему, тут что-то другое.

— Значит, я был неправ?

— Да. А ты сам-то как думаешь?

Сенька не ответил.

Вокруг было тихо. Только на вершинах яблонь и груш чуть слышно роптали увядающие листья. Изредка они срывались и, невидимые, мягко ложились у ног и на головы присмиревших солдат. У плетня, в сухой прошлогодней крапиве, сопя и фырча, бегали ежи, гоняясь за мышами и другой мелкой тварью. В воздухе неслышно носились нетопыри и трассирующими пулями бороздили ночной мрак светящиеся жучки.

Ванин прислушивался к возне у плетня: с необычайной ясностью припомнился ему окоп — тот, на Донце: еж, колючим комком скатившийся по его спине на дно окопа; острый запах человеческого пота; хриплое дыхание; белоглазый, с рыжей подпалиной густых бровей немец, его искусанная нижняя губа; и хрусткий звук вонзившегося в грудь ножа; ястребиный нос Акима и сам Аким, изогнувшийся над врагом...

«Неужели я был неправ?» — Сенька прищемил зубами нижнюю губу.

— Хороший парень был все-таки Аким, — сказал он подумав. — Умный... Умнее меня, — признался он с неожиданной самоотверженностью и добавил упавшим голосом: — А расстались, как враги. И все я...

Ванин замолчал и больше уже не решался заговорить, будто боясь спугнуть то глубокое и необыкновенное чувство, которое родила в нем эта короткая беседа.

От майора Васильева прибежал посыльный, что-то сообщил Марченко, стоявшему в глубине сада, и оттуда послышался голос лейтенанта:

— Забаров, строй бойцов!

Разведчики вскочили и привычно построились.

В саду сгустилась темнота, проглотила деревья. Лиц разведчиков не было видно. Сенька стоял рядом с Шахаевым, облачившись в маскировочный халат. На левый фланг с санитарной сумкой встала Наташа. Возле нее — Камушкин. Чуть поодаль находился со своей повозкой Кузьмич. Лошади его уже были запряжены. Отбиваясь от насекомых, они встряхивали гривами, сучили задними ногами, отмахивались хвостами. Подальше, у другой повозки с трофейными битюгами, белел колпак Лачуги. Повар с помощью двух молодых разведчиков укладывал котел и провизию.

— Ну, как у тебя там, Михаил? — спросил Кузьмич.

— Готово! — ответил тот.

— Выезжай на дорогу. Едем к Днепру.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

Дожди сменились ясной погодой. Стояло настоящее «бабье лето» с белым, летучим тенетником. Листья тополей, вспугнутые орудийными вздохами, долго кружась в воздухе, желто-красными парашютиками спускались вниз, укрывая багряным одеялом засыпающую землю. Еще под бледносиним куполом неба не раздавался плач журавлей, но уже было ясно, что пройдет денек-другой и польется сверху прощальное курлыканье улетающих в теплые края птиц.

В один из таких дней дивизия генерала Сизова, заняв вместе с другими частями поселки Новый и Старый Орлик, что юго-восточнее Кременчуга, вышла к Днепру. Взорам бойцов открылась великая река. Днепр спокойно катил к морю свои воды, был светел и приветлив.

Генерал Сизов и полковник Демин с командирами частей и офицерами штаба укрывались в прибрежных тальниках, осторожно ходили вдоль реки, выбирая места для переправы. Комдив бросал короткие вопросы:

— Артиллерия подтянулась? — спрашивал он полковника Павлова.

— Подтянулась, Иван Семенович. Батареи занимают позиции. Производят привязку целей. Гунько уже засек до десятка пулеметов.

— О взаимодействии с соседями договорились?

— Так точно.

— Как со снарядами?

— По два боекомплекта на орудие. Скоро еще подвезут.

— Проверьте еще раз.

— Слушаюсь.

— Как с переправочными средствами? — генерал обернулся к высокому черноусому и краснощекому офицеру.

— Понтонеры еще не подошли, товарищ генерал. А лодок набралось порядочно. Сейчас саперы сооружают плоты для артиллерии. Особенно много лодок собрано в полку Баталина.

— У меня один старшина Фетисов раздобыл где-то штук десять,— вставил довольный Баталин.

— Вы представили его к награде? — спросил его генерал.

— Нет, еще не представлял.

— Представить сегодня же! — коротко сказал комдив и, обернувшись к Демину, добавил: — А вас, Федор Николаевич, прошу передать редактору: пусть напишут о Фетисове хорошую статью! — комдив был сосредоточен и суров, как всегда перед большим делом.— Тюлин! — позвал он.

— Я вас слушаю, товарищ генерал!

— Как только разведчики зацепятся за тот берег, начнете переправлять свой полк. Поняли?

— Слушаюсь, товарищ генерал. Спасибо за доверие! — взволнованно проговорил офицер. Он не забыл еще своего неприятного разговора с комдивом на НП, под Харьковом. Генерал строго внушал молодому командиру полка о необходимости непрерывной учебы. — Спасибо!..— еще раз повторил он, не зная, куда деть свои неловкие руки.

После слов генерала Баталин нахмурился и сердито посмотрел на комдива.

«Больно ему,— подумал начподив.— Решил, что не доверяет генерал. Другого первым посылает на правый берег».

— А ваш полк,— Сизов взглянул на Баталина,— будет форсировать реку южнее Тюлина... одновременно с ним,— добавил он, в углах плотно сжатых губ чуть дрогнула улыбка.

Баталин воспрянул духом и с благодарностью посмотрел на командира дивизии; ему очень хотелось, чтобы тот улыбнулся, но генерал вновь стал непроницаем.

— Развивайте продвижение вглубь и расширяйте плацдарм,— говорил Сизов, когда место для переправы было окончательно выбрано.— Действуйте смелее, за фланги не очень беспокойтесь. Левее и правее нас этой же ночью переправляются соседние дивизии. Если врагу удастся окружить нас, будем драться в окружении. Но назад пути нет. Вслед за нами переправится дивизия, совершенно свежая. Юго-восточнее Кременчуга уже сосредотачивается ударная танковая группа. Бой за Днепр развертывается от Киева до самого моря. Разумеется, это вовсе не значит, что нам не будет тяжело. У немцев здесь много авиации. Переправлять боеприпасы, технику и пополнение придется в основном только ночью.

Генерал замолчал и долго всматривался в правый берег. Там, под кручами, приветливо белели домики большого села Бородаевки. Тишиной и покоем веяло от соломенных крыш, кирпичных труб да старых колодезных журавлей. Но никого не могла обмануть эта тишина.

— Притаились немцы,— как бы размышляя вслух, заметил Сизов.

— Притаились, конечно,— подтвердил Демин.— Как думаете, послать вначале одних разведчиков?

— Да, разведчиков. Кстати, Васильев, они продолжают свои наблюдения?

— С самого утра, товарищ генерал. Двоим удалось на зорьке пробраться даже на остров. Вон на тот, видите?

Майор Васильев показал на покрытый зелеными тальниками небольшой клочок земли, который находился почти на самой середине реки.

— У них там рация есть?

— Есть, товарищ генерал.

— Пусть наблюдают до самой ночи.

— Слушаюсь.

— Пока пошлю разведчиков, саперов и с ними одну стрелковую роту. Старшим назначаю лейтенанта Марченко,— продолжал генерал, отвечая на вопрос Демина.— Вот эта группа и поплывет первая. Быстров, видите, сколько лодок приготовил!

Демин оглянулся назад. Весь прибрежный лес был завален рыбачьими лодками, деревянными воротами, колодами из конюшен, небольшими плотами и даже связанными между собой плетнями. Тут же валялись пустые железные бочки с отверстиями, плотно забитыми деревянными пробками. Саперы прикрепляли их к плотам.

— Надо послать с разведчиками батарею Гунько, Иван Семенович. Он очень просил меня об этом,— предложил полковник Павлов.— У него с разведчиками старая дружба.

Генерал быстро согласился с Павловым.

— С разведчиками переправится капитан Крупицын,— сообщил Демин.

— Хорошо,— одобрил генерал и снова посмотрел на правый берег Днепра, над которым кружились два наших самолета-разведчика.— Крупицын — подстать разведчикам. Молодой, энергичный. И, кажется, они с ним старые друзья, так же как и с Гунько. Это очень хорошо,— и комдив вновь стал следить за самолетами. Наблюдали за ними и остальные офицеры.

— Странно, что немцы не стреляют по самолетам,— заметил Васильев.— Может быть, у них тут и зениток-то нет?

— Вы думаете? — повернулся к нему Сизов.

— Мне кажется, товарищ генерал.

— Эх, разведчик! — комдив улыбнулся.— Немцы не такие уж дураки, чтобы из-за двух самолетов, к тому же

прилетевших с целью разведки, открывать свои огневые точки. Вот что, майор, передайте разведчикам, чтобы связь держали постоянно. Пусть еще раз проверят радиостанцию.

Васильев ушел.

Генерал вынул из кармана пачку папирос.

Демин посмотрел на него с удивлением: генерал был некурящим...

Отпустив офицеров в полки, комдив и начальник политотдела еще долго оставались на берегу, всматриваясь в противоположную сторону. Сизов казался спокойным, но Демин знал, что это не так: огромная ответственность вновь легла на плечи стоявшего рядом с ним высокого и худого человека.

Генерал повернулся и неторопливо зашагал от берега. Демин пошел за ним. Вскоре они услышали солдатский разговор.

— Оно бы только зацепиться, а там пойдет, — звучал чей-то немного простуженный голос.

— Зацепимся. Как на «пятачке», помните?

— Ну, брат, тут тебе не Донец! Похлеще, пожалуй, «пятачка» будет!..

— ...А я ведь, товарищи, и плавать-то не умею. Честное слово. В наших краях негде было поучиться плавать. Пустыня кругом.

— Ничего. Прокофьев тебя на спине перевезет, коли тонуть соберешься. У Ваньки спина, что палуба...

— А Днепр-то, хлопцы, того... широк!

— Гоголь, вроде, писал, что птица только до середины долетает...

— Ну, Гоголь тут немножко того...

— Чудачье! Это же он образно выразился!.. Романтик!

Заметив генерала и полковника, солдаты быстро вскочили на ноги и стали торопливо одергивать на себе гимнастерки, стряхивая с них песок. Генерал, улыбаясь, направился к ним.

— Значит, зацепимся, говорите, а? — спросил он, подойдя к бойцам.

Солдаты просияли.

— Зацепимся, товарищ генерал! — ответили хором.

— А ведь трудно, товарищи, будет.

— Мы трудностей не боимся.

— А если кому придется вплавь?

— И вплавь доберемся, товарищ генерал!

— Петренко добре казав: и вплавь одолеем. Тилькы б скорише приказ був.

— За Днепром, наверное, дом? — спросил украинца Демин.

— Ни. Я з Полтавщины.

— Был дома-то?

— Був. Все погорело, як есть... — и застенчиво улыбнулся. Глядя на товарищей, торопливо закончил: — Поправится колысь. Построим заново...

— Конечно, построим, — подтвердил начальник политотдела и добавил: — Гитлеровцев только надо поскорее гнать.

— Погоним, да еще как! — уверенно проговорил Петренко прокашлявшись. — А скоро, товарищ генерал, прикажете плыть-то туда? — осмелев, спросил он.

На него зашикали.

— Не твое дело. Все бы он знал.

— Скоро. Очень скоро, — сказал генерал и пошел дальше.

Сейчас он был вновь серьезен и суров. За всех вот этих хороших советских людей, одетых в солдатскую форму, был он в ответе. От принятого им решения во многом зависела их судьба. Сделай генерал опрометчивый шаг, и может не только сорваться операция, но и напрасно погибнут десятки и сотни вот этих прекраснейших людей, за которых он отвечал и перед страной, и перед командованием, и перед их семьями, и перед ними самими — этими великими жизнелюбцами! И как же нужно было все взвесить, все учесть и спланировать, чтобы успешно выполнить боевую задачу и побольше спасти драгоценных жизней!..

Прибрежный реденький лесок был полон возни. Тут устраивались артиллерийские батареи, на вершинах старых дубов сидели артиллерийские разведчики-наблюдатели, записывали что-то в свои журналы, придерживая их на согнутых коленях; связисты, как пауки, тянули в разных направлениях тонкие нитки кабеля, опутывая ими деревья. Зарывались в желтый, шафранного цвета, песок тяжелые танки, которым сейчас делать было нечего. «Катюши», притихшие, как всегда, овеянные таинственностью, стояли за лесом, в колхозном саду.

Шла непонятная на первый взгляд, но привычная для фронтового люда мудрая работа перед большим событием.

2

На задание уходили все разведчики. Шла впервые в бой и Наташа. На этот раз разведчики не сдавали документы старшине. Коммунисты и комсомольцы получили от Пинчука для своих партийных и комсомольских билетов по листу пергаментной бумаги. Это растрогало солдат.

— Эх, Тарасыч!.. — отбросив официальность, расчувствовался Сенька. — Умную голову дал тебе твой батька! Все-то ты предусмотрел, обо всем позаботился... Были бы у нас все такие старшины, давно бы Гитлеру каюк!..

Пинчук, обычно относившийся с большим подозрением к сенькиным похвалам, на этот раз был польщен и взволнован. Он понимал, что паренек сказал такие слова не ради простой шутки. Потеплевшие взгляды разведчиков, с которыми встречались глаза Пинчука, тоже говорили о многом.

Был сегодня очень доволен и Вася Камушкин. Его круглое, усыпанное веснушками лицо сияло счастливой улыбкой. Шутка ли дело — с ними поплывет сам капитан Крупицын!.. Обрадовались капитану и остальные бойцы.

— Вот значит... едем... плывем то есть... — смущенно проговорил Крупицын.

Всегда такой речистый, он сейчас не нашелся, что сказать. Но и эти его скомканные волнением слова понравились разведчикам. Крупицын мял в своих руках полевую сумку.

В конце концов он овладел собой.

— Вы идете сейчас, товарищи, не просто в разведку, — взволнованно начал он свою короткую речь. — Вам, может быть, придется вступить в открытый бой. На вашу долю выпало счастье первыми форсировать Днепр. Первые минуты, а может быть, и часы нам надо рассчитывать только на свои силы. Нас мало. Но ведь разведчиков никогда не бывает много — вы это хорошо знаете, товарищи! И все-таки вы побеждали. Победим и на этот

раз. Помните, друзья, слова генерала: назад пути нет. Путь один — только вперед!..

Саперы, артиллеристы и стрелки вышли к месту переправы одновременно с разведчиками. Те встретились с поддерживающими подразделениями уже на берегу. Последние триста метров разведчикам пришлось пройти с большим трудом: песок осыпался под ногами, люди быстро утомлялись. Повозки роты остановились в роще: их задержали там, чтобы скрипом колес не разбудить немцев. Солдатам пришлось таскать ящики с боеприпасами на себе. У берега стояло шесть рыбацких лодок и несколько плотов для противотанковых орудий батареи Гунько. Бойцы, погрузив боеприпасы и пушки, молча вошли в лодки и встали на плоты.

На берегу стояло несколько офицеров. Среди них выделялась высокая и стройная фигура генерала, маленькая — начальника политотдела. Сизов что-то тихо говорил лейтенанту Марченко, Гунько, Забарову и командиру стрелковой роты.

Солдаты притихли, прислушиваясь к шелесту волны под лодкой. Дегтярно-черная гладь Днепра пугала.

Наконец четыре фигуры отделились и стали быстро приближаться к лодкам.

— «Отчаливай!» — взмахом руки приказал Марченко.

Саперы оттолкнулись от берега. По днищам лодок еще некоторое время терлась галька.

Лодки шли почти на одном уровне с плотами артиллеристов. И только челнок Шахаева скользил на некотором удалении влево. Саперы гребли тихо, но все-таки негромкие всплески воды были слышны под их веслами. Поскрипывали уключины.

Первое время немцы вели себя спокойно, но через несколько минут началось самое неприятное, чего больше всего опасались разведчики, пехотинцы и артиллеристы: на правом берегу поднялся к небу огромный луч прожектора. Он, словно для виду, пошарил немного по темному небосводу и вдруг начал быстро клониться книзу, падая, как гигантский огненный столб, подпиленный у самого основания. По спинам бойцов прошел холодок. Лодки плыли прежним курсом. Только чуть слышнее стали всплески под веслами гребцов, погромче скрипели уключины. Огненный столб пересек реку левее, проложил дорогу и уперся в крайние домики на левом берегу, осве-

тил их недобрым неживым глазом. Оттуда тотчас же раздался испуганный лай собаки. Глаза солдат следили за этим дьявольским столбом. Луч прожектора шарахнулся еще левее, пошарил там и, ничего не обнаружив, стал продвигаться вправо, неотвратимо и зловеще приближаясь к разведчикам.

Лодки были уже на середине реки, когда первую из них, ту, на которой плыл Шахаев со своей группой, захватил прожектор. Он вцепился в нее, как хищник. Разведчики увидели парторга. Шахаев сидел, выхваченный из тьмы, и подавал какие-то отчаянные знаки гребцу-саперу. Остальных солдат не было видно. Наверное, старший сержант приказал им лечь на дно лодки. Не прошло и одной минуты, как вражеский снаряд вспугнул тишину и оглушительно взорвался где-то за светлой полосой, проложенной прожектором.

— Господи, что он делает?— Наташа невольно тронула Сеньку за руку. — Куда он?..

Лодка Шахаева уходила все дальше и дальше от остальной группы разведчиков, отклоняясь влево. Луч прожектора сначала неотступно «вел» ее, потом, словно спохватившись, метнулся в сторону, скользнул по маскхалатам разведчиков, по каскам стрелков и артиллеристов и стал шарахаться из стороны в сторону, то выхватывая из черного зева ночи лодку Шахаева, то основную группу переправляющихся. Возле лодок то и дело поднимались водяные столбы. Снаряды падали совсем близко. Один из них разорвался почти у самой лодки Шахаева. А двое — парторг и сапер — попрежнему сидели на своих местах. Их силуэты с каждой минутой уменьшались. Немецкие снаряды рвались и справа, и слева, и впереди, и позади лодок и плотов; генералу и другим офицерам, наблюдавшим за переправой с левого берега, казалось чудом, что лодки все еще плывут, а люди на них до сих пор остаются невредимыми.

— В вилку берут... — проговорил полковник Павлов. — Долго не продержатся.

Забаров раньше всех понял замысел Шахаева: парторг хотел отвлечь внимание врага от основной группы десанта; но немцы, видимо, разгадали его план. Прожектор попрежнему освещал поочередно все лодки. Сейчас Федор вспомнил, что в лодке парторга находились большей частью молодые бойцы, те, что не были еще в слож-

ных переделках, и ему стало совершенно ясно, почему Шахаев оказался именно там.

Берега перестали притворяться. Ожили. Завязалась напряженная артиллерийская дуэль. Застрочили с высокой обрывистой скалы немецкие пулеметы. На левом берегу, за песчаным откосом, шумнула «катюша». Ее мины кометами пронеслись над головами разведчиков и стали рваться сразу же за Бородаевкой, освещая на миг спящие белые домики.

Несмотря на разрывы снарядов, лодка Шахаева продолжала приближаться к правому берегу. Вцепившийся в нее луч прожектора все более и более укорачивался. Никто теперь не сомневался в том, что Шахаев решил отвлечь на себя огонь немецких орудий.

...Решение пришло настолько быстро, что Шахаев сам удивился. Кроме него, в лодке находились еще четыре молодых разведчика, недавно прибывшие с маршевой ротой, да сапер, по фамилии Узрин. Ослепленный прожектором, он в первую минуту прикрыл глаза руками, выпустив весла. Но толчок в плечо заставил Узрина вновь взяться за весла.

— Греби влево! — приказал ему Шахаев, уже не опасаясь, что его могут услышать на правом берегу.— Влево, влево бери! — повторил он еще громче и, сняв с пояса саперную лопатку, стал помогать гребцу. Остальные разведчики по его приказу попадали на дно лодки. Уже при первом разрыве немецкого снаряда парторг почувствовал сильный толчок в спину и затем неприятную теплоту под гимнастеркой. «Ранен...» — с холодным спокойствием подумал он, не прекращая грести лопатой.

— Быстрей, быстрей, Узрин! — торопил он сапера, чувствуя, что слабеет.

К снарядам вскоре присоединились и пули. Они выстрачивали параллельно с лодкой длинные пузырчатые узоры. Одна такая очередь просекла наискосок лодку, сделав в ней несколько пробоин. Лежавшие на дне лодки разведчики принялись затыкать отверстия ветошью, которой их предусмотрительно снабдил Пинчук. Шахаев подумал, что вот так же, должно быть, как эта вода, из его раны бьет кровь, и это одинаково опасно для всех сидящих в лодке. Он, конечно, понимал, что рану следовало бы перевязать, но боялся сообщать бойцам о своем ранении: молодые солдаты могли растеряться. И, стиснув

зубы, Шахаев терпел и молчал. Но грести он больше уже не мог — силы быстро оставляли его.

Немецкие пулеметы ослабили свой огонь. Часть из них, очевидно, была подавлена или уничтожена нашей артиллерией, а часть перенесла стрельбу по основным силам десантников, туда же била теперь и немецкая артиллерия.

Шахаев тихо простонал.

— Вы ранены, товарищ старший сержант? — приподнялся со дна лодки боец Панюшкин. Это был самый молодой из разведчиков, только недавно призванный в армию.

— Откуда ты взял? Нет, не ранен я. Ложись!.. — прикрикнул на него парторг, чувствуя, что с этим криком от него ушла половина сил. И Шахаев решил молчать, сохраняя остатки сил, необходимых для последней, может быть, в его жизни, но решающей команды на правом берегу.

Опустившись в лодку, он крепко прижался к ее плоскому дну спиной, надеясь таким образом приостановить кровотечение. Занятый единственной мыслью — сохранить в себе силы и довести разведчиков до правого берега, парторг не заметил даже, что вода возле лодки бурлит от пулеметных очередей. Иногда залетали сюда и снаряды. Поднявшийся высоко водяной столб обрушивался на лодку, и разведчики начинали проворно работать касками, отливая воду. Работая так, они, кажется, не испытывали большого страха. Первые минуты приказ Шахаева брать левее испугал молодых разведчиков и даже показался безумным, но они быстро поняли замысел старшего сержанта.

— Я ранен, — как-то тихо вскрикнул Панюшкин и умолк.

— Не ранен, а убит, — прохрипел взмокший до нитки Узрин, высвобождая свои ноги из-под головы Панюшкина, — немецкая пуля попала бойцу прямо в голову.

Шахаев молчал.

Лодка подходила уже к скале, смутно выраставшей перед глазами разведчиков. Наступили минуты, когда нужно было проплыть еще десятка полтора метров, чтобы луч прожектора не смог уже достать лодку. В этом было единственное спасение по крайней мере от гибели на воде. Под скалой же, за огромными валунами, можно

было укрыться и еще продержаться некоторое время, а может быть, и до подхода помощи с левого берега.

Немцы, по всей вероятности, догадывались о намерении разведчиков и усилили обстрел. Пулеметные очереди вновь хлестали вдоль и поперек, вправо и влево, будто кто-то огромный стоял на скале и сек по воде длинным бичом. Где-то наверху со страшным грохотом рвались снаряды. Шахаев давно уже слышал этот грохот, но только сейчас понял, что это рвутся снаряды наших батарей, прикрывающих десант.

Ранило сапера. На его место быстро сел азербайджанец Али Каримов, рыбак с Каспийского моря. Он греб уверенно, не спуская глаз с Шахаева.

Когда лодка, ускользнув от прожектора и от неприятельских пуль, глухо ткнулась о берег, Шахаев почувствовал, что настало время отдать последнюю команду, а с ней — и последние силы. Выбравшись первым из лодки, он крикнул:

— За мной, товарищи!.. Вперед!.. — и с удовлетворением отметил, что произнес эти слова достаточно твердо и уверенно.

Голос его, ударившись о скалу, звонко повторился многоустым эхо над широкой и черной рекой.

— Где остальные? — тихо спросил он, трудно дыша. — Как Узрин?.. Где они?..

— Все тут, товарищ старший сержант. Рядом, за камнями. Узрин тоже. А Панюшкин в лодке остался... Как вы себя чувствуете?.. Вам лежать нада, тихо нада...

— Ничего, ничего...

Сверху сразу ударило несколько немецких пулеметов. Заговорили вражеские автоматчики. Ракеты рассыпались в воздухе, падали в воду, шипели, как на сковородке. Пуля, ударяясь о камень, высекла яркокрасную искру, точно большое кресало.

3

Добралась, наконец, до правого берега и основная группа разведчиков, поддержанная пехотинцами и артиллеристами. Их потери были невелики. Одного солдата убило, троих тяжело ранило. Двоих разведчиков слегка задели осколки. Наташа тут же, на берегу, их перевязала. Слегка ранило и Гунько, — вражеская пуля косну-

лась его правой руки, — но он никому об этом не сказал и наскоро завязал руку носовым платком.

Берег тут был отлогий и песчаный. Только в километре от главного русла реки, за селом, начинался крутой подъем, изрезанный поперечными оврагами, многие из которых заросли колючим кустарником. Туда, на гору, вбежало десятка два домиков, чуть видневшихся сейчас на горизонте. Основные силы немцев, по всей вероятности, находились на той горе. Бойцы сравнительно легко сбили боевое охранение врага и стали осторожно продвигаться вперед. Вскоре достигли восточной окраины села. Здесь Марченко остановил Забарова.

— Тут будет мой КП, — решил он. — Радиста оставь со мной. С тобой буду разговаривать через связных. Впрочем, можно протянуть и нитку. Но связными надежней.

— Почему? — удивился Забаров.

— Как только войдете в Бородаевку, немедленно сообщи,— не отвечая на вопрос, продолжал Марченко. — Голубева пусть тоже останется, — добавил он. Но из темноты раздался голос Наташи:

— Там будут раненые, товарищ лейтенант, я пойду с разведчиками.

— Ладно, идите. Осторожней только...

— Спасибо, товарищ лейтенант, — неожиданно и, пожалуй, некстати поблагодарила Наташа.

Марченко показалось, что девушка даже с нежностью посмотрела на него из темноты. Он расценил эту нежность по-своему и вздохнул свободно и легко.

Рядом с лейтенантом находился Камушкин. Комсорг возился с рацией. После гибели Акима обязанности радиста были возложены на Камушкина. Принимал он эту работу, надо сказать, неохотно, отпирался, но ничего не помогло.

— В армии так, — пресерьезно напутствовал его Сенька, считавший себя ортодоксом во всех армейских делах. — Что прикажут, то, брат, и делай. Приказали радистом быть — ну и помалкивай. Прикажут завтра дивизией командовать — и будешь командовать, как миленький.

— Ох, и брехать же ты, Семен, здоров! — удивлялся неутомимому сенькиному вранью Камушкин. — Кто тебя только и научил? Нехорошо это.

К стр. 252

— Ну, знаешь, мое вранье особого рода. Без него вы бы с тоски подохли. Ты говори спасибо мне за то, что развлекаю вас.

— Что ж, может, в этом и есть правда, Семен, — согласился Камушкин, убедившись еще раз, что препираться с Сенькой совершенно невозможно.

— Конечно. Та самая сермяжная правда, Вася. Иди, иди в радисты, чудак. Аким тебе завещал рацию. Если, говорит, со мной что случится, то «Сокола» моего Васе Камушкину передайте. Так и сказал. Я сам слышал.

Камушкин, конечно, понимал, что Сенька и на этот раз приврал, но спорить не стал: в конце концов не все ли равно, говорил ли так Аким, или нет, — важно, что радиостанция осиротела и кто-то должен ведь на ней работать...

Оставаясь сейчас с командиром роты, Камушкин наскоро наказывал Ванину:

— Ты, Семен, за комсорга там будь. Я на тебя надеюсь.

— Не подведу! — прошептал Сенька.

О поручении Камушкина Сенька немедленно сообщил Крупицыну. Тот торжественно пожал шершавую сенькину руку и сказал, подражая начальнику политотдела, как, между прочим, подражали ему в этом многие:

— Добро.

Ординарец командира и Камушкин быстро выкопали в сыром песке, под кустами ракит, три неглубокие ямы: одну для лейтенанта, вторую, рядом, для его верного телохранителя и неутомимого снабженца, третью для Васи с его радиостанцией. Камушкину вскоре удалось связаться с левым берегом и передать первую радиограмму. Камушкин даже опешил, когда в ответ услышал голос самого генерала.

Марченко взял трубку, доложил:

— Переправились. Сбили боевое охранение. Продвигаемся дальше.

Генерал приказал смело вступать в бой, отвлекать на себя как можно больше немцев.

Это распоряжение озадачило лейтенанта. Марченко не знал, что на левом берегу некоторые горячие головы нетерпеливо просили комдива разрешить им начать переправу. Генерал охлаждал их упрямым молчанием. Сизов ждал, когда внимание противника сосредоточится

на переправившейся группе разведчиков, стрелков и артиллеристов.

Вскоре к Марченко прибежал связной от Забарова. Тяжело дыша, он рассказал, что разведчики и пехотинцы достигли центра села. Батарея Гунько заняла позицию на восточной окраине. Немцы пока не сопротивляются. Забаров решил обойти село с юга и подняться на гору. Ждет согласия командира роты.

— Передайте лейтенанту Забарову: пусть действует по обстановке! — решил Марченко, отлично понимая, что лучшего распоряжения со своего командного пункта он все равно дать не сможет. Кроме того, Марченко понимал, что Федор стал опытнее его. Первое время это сознание мучило офицера, жгло больное самолюбие, но в конце концов он примирился и с этим, как еще раньше примирился с тем, что разведчики охотнее шли в поиск с Забаровым, чем с ним.

Появление Наташи в роте заставило было его подтянуться, но вскоре все опять пошло по-старому. Вот только мысли о девушке не давали Марченко покоя. Он понял, что не может равнодушно относиться к Наташе.

И сейчас, передавая приказание связному, он поймал себя на том, что ему хочется спросить о ней. Но Марченко сдержался: он был достаточно опытен и умен, чтобы понять всю неуместность такого вопроса.

— Идите, — глухо сказал он связному.

Шаги солдата вскоре стихли. Волны, поднятые набежавшим ветром, лениво накатывались на отлогий берег, шелестя галькой. От реки поднимался холодный пар. Марченко, засунув руки в карманы брюк, зябко поеживался. Ему нестерпимо хотелось покурить, но он боялся открыть себя. Рядом с лейтенантом беспокойно ворочался в своей тесной и сырой норе Вася Камушкин. Руки его нащупывали в карманах «лимонки» и размокшие куски хлеба. Автоматные диски оттягивали поясной ремень. Вася тщетно искал удобного положения, тихо поругивался. Ворочался около Марченко и его ординарец. Ординарца мучала дремота, но все усиливающаяся стрельба слева мешала ему заснуть.

Стрельбу эту слышал и командир. Он только никак не мог понять, с кем же перестреливаются там немцы. Шахаев со своими бойцами, конечно, погиб. В этом Марченко не сомневался: могла ли в самом деле крохотная

горстка разведчиков уцелеть под ливнем вражеского пулеметного дождя и под разрывами немецких мин и снарядов! Но кто же все-таки там отстреливается? Забаров проникнуть туда не мог. Может, левый сосед начал переправу? А что, если немцы вдоль берега заходят сюда?!

Отвратительная, незнакомая дрожь пробежала по спине офицера. Марченко стало не по себе. Неужели он боится? Куда же делся лихой, бесстрашный разведчик? Лейтенант вдруг вспомнил разговор с полковником Деминым там, у кургана. Начальник политотдела говорил ему о зазнайстве, о пассивных наблюдателях и о чем-то еще в этом духе... О чем же он говорил?..

Марченко не мог сейчас в точности припомнить слова Демина, но он понимал, что между этими словами и охватившим его страхом есть какая-то закономерная связь. Он пытался найти эту закономерность, но не мог. Только на душе остался неприятный осадок, что-то близкое к отвращению к самому себе. Он попытался приободриться, отогнать мысли об опасности, но страх полз и полз по спине...

— Липовой! — позвал он ординарца. — Возьми автомат и отойди метров пятьдесят влево. Да не спи. Гляди, как бы к нам не подкрался кто!

Избалованный начальником ординарец ворчал что-то себе под нос и долго возился с автоматом. Итти ему дьявольски не хотелось.

— А що я там робытыму?

— Охранять нас будешь. Ну, живо!

Липовой, волоча ноги, отправился.

— Выгоню к чорту! — мучимый неясной тревогой, прошептал лейтенант.

Взвинченные нервы чуть не заставили его вскрикнуть при шорохе за спиной. Это возвращался посыльный. Присев рядом с командиром и зачем-то сняв пилотку, он, запыхавшись, сообщил:

— На горе — немцы. Наши завязали с ними бой. Забаров ранен немного. Голубева его перевязала. Тяжело ранен командир стрелковой роты. Теперь ею командует Крупицын... Я просил его, чтоб он считал меня комсомольцем. После боя оформим, говорит...

Марченко перебил его:

— Много ли немцев?

— Да шут их разберет. Ночь ведь! — в голосе сол-

дата чувствовалась обида: ему было досадно, что командир роты не обратил внимания на его стремление вступить в комсомол.

— Жители в селе есть?

— Не видать что-то. Один старик помогает нам. Бьет по фрицам из трофейной винтовки. Вылез откуда-то из погреба и давай по немцам палить. Ругается на чем свет стоит! Видно, насолили они ему здорово!..

— Ладно. Забарову передай: бой продолжать, больше шуму!

Связной вновь побежал. Камушкин с завистью прислушивался к его угасающим шагам. Марченко передал о ходе боя на левый берег, попросил артиллерийской поддержки. Теперь и он хорошо слышал стрельбу на горе. Но не затихала перестрелка и слева. Лейтенант отчетливо различал резкие очереди немецких автоматов и частые, глухие наших ППШ. Иногда в треск автоматного огня вплетались характерные, сухие и негромкие разрывы ручных гранат. Слыша это, Марченко все больше тревожился: он никак не мог понять спасительного значения боя, разыгравшегося левее.

Ночь сгущалась. Разгорались звезды на небе. Ковш Большой Медведицы ярко проступал сквозь звездную россыпь. В Старом Орлике, на левом берегу, истерическим лаем захлебывалась собака.

— Липовой! — окликнул Марченко. — Ты не спишь?..

— Ни! — отозвался сонный голос ординарца.

— Иди сюда. Сейчас пойдем вперед. Камушкин, снимай рацию!

Разведчики и стрелки, поднявшись на гору, подошли к хуторам с запада и востока. На первом же огороде, куда лейтенант Забаров забежал с группой разведчиков, он увидел десятка полтора немцев, засевших в неглубоких — по пояс — окопах, очевидно наспех выкопанных накануне. Гитлеровцы не ожидали нападения с тыла; все внимание их было обращено на Бородаевку, занятую уже русскими солдатами. Один немец, повидимому наблюдатель, сидел на бруствере окопа. Заметив, наконец, позади себя огромную фигуру русского офицера, он вскрикнул и вытянул руки вверх. Остальные быстро повернулись на его крик. Защелкали затворами винтовок.

Раздался первый выстрел. Забаров почувствовал сильный ожог в правой руке и нажал на спусковой крючок. Хутор наполнился рокотом автомата. Очередь скосила сразу нескольких фашистов. Другие разведчики разрядили диски по гитлеровцам, пытавшимся скрыться во дворе. Человек восемь немцев, осмелев, выскочили из окопов и бросились на Забарова. Лейтенант успел перехватить свой автомат за ствол и со страшной силой ударил первого подскочившего к нему фашиста. Оскалив зубы, Забаров стал направо и налево крушить врагов прикладом автомата. Из груди его вырывалось короткое «а-ах!», как при колке тяжелых поленьев. Подбежавшие на выручку командира разведчики стреляли короткими очередями и орудовали ножами. В несколько минут все было кончено. Забаров забежал во двор, проскочил мимо Наташи и, не останавливаясь, побежал дальше. Но Наташа успела заметить окровавленную руку лейтенанта. Она догнала его и схватила за пояс.

— Потом, Голубева, потом... — отмахнулся Забаров.

— Да вы изойдете кровью!.. — так, не отпуская руку от ремня командира взвода, девушка забежала с ним в другой двор, который, к счастью, оказался пустым. Тут Наташа наскоро перевязала Забарова. На улице началась перестрелка. Лейтенант поспешил туда.

Выскочивший откуда-то Ванин торопливо сказал:

— В овраге их видимо-невидимо. Сообщить бы нашим артиллеристам.

— Беги на батарею Гунько.

Сенька исчез. В это время на левом берегу громыхнуло сразу несколько залпов. Послышался свист тяжелых снарядов, и сразу же возле оврага и в самом овраге раздались сильные взрывы.

Вернулся Ванин.

— Сообщил, товарищ лейтенант. Гунько подтягивает пушки. Крупицын командует ротой стрелков. К нему присоединился какой-то старикан. Меткий оказался. Что ни пуля — то убитый фашист.

Отправив связного к командиру, Забаров послал на помощь Крупицыну, который отбивал основной натиск врага, несколько разведчиков. Двое бойцов там уже были ранены, старик, так и оставшийся неизвестным, убит. Наташа помогала санитарам из стрелковой роты переправлять раненых в более безопасное место, перевязывала их.

Солдаты просили пить, но воды не было: как назло, Наташа потеряла свою флягу.

— Потерпите немного, товарищи... — сказала она, а сама опять побежала к месту боя.

Немцы поднялись в полный рост. Вначале из оврага появилась небольшая группа. Теперь их было много. Враги бежали отовсюду, кричали что-то по-своему, на ходу стреляя. Пули жутко свистели. Наших стрелков становилось все меньше, их осталось уже не более десятка, а немцам — не было числа. Разрывы тяжелых снарядов, прилетавших с левого берега, выгоняли их из оврага. Немцы все выползали и выползали. Дрогнула горстка советских бойцов, попятилась, подалась назад. Торжествующе загомонили фашисты. Вот они уже совсем близко. И в эту минуту открыла огонь батарея Гунько. Визг смертоносных осколков смешался с воплем врагов. Гитлеровцы отхлынули, но не надолго. Вторая атака их была еще более яростной и отчаянной. Казалось, все пропало. И в эту-то минуту перед реденькой цепью красноармейцев появился капитан Крупицын.

— Комсомольцы, за мной! — прогремел его голос.

Залегшие было под губительным огнем бойцы поднялись, закричали «ура», от которого уже через мгновение осталось одно протяжное «а-а-а», и побежали вперед за капитаном, высокая фигура которого была видна всем и как бы заслоняла всех от летевшей навстречу им смерти. Смерти, которая в этот миг нашла только его одного. Саша упал головой вперед, поднял руку и потом бессильно опустил ее. Бойцы замешкались было, растерялись, но уж там, где только что упал Крупицын, находился Сенька Ванин. Он взял из теплой руки капитана гранату, — тот собирался бросить ее и не успел, — поднял высоко над головой и громко, насколько хватило сил, закричал:

— Вперед... товарищи!.. Ребята!.. За Крупицына! Бе-э-э-й!..

Последние слова Сеньки потонули в криках «ура». К пехотинцам присоединились разведчики, посланные Забаровым, и расчеты двух подбитых орудий из батарей Гунько.

— Бей!..

— Круши их!.

— Дави!..

Ночь всколыхнулась.

Короток, но жесток и беспощаден был удар бойцов. Немцы не выдержали и откатились в овраг. Стрельба и крики почти прекратились. Наконец все смолкло. Только левее попрежнему продолжался бой.

Однако тишина длилась недолго. Гитлеровцы привели себя в порядок и снова пошли в атаку. Немецкие снаряды били теперь по домикам, за которыми укрывались разведчики, пехотинцы и артиллеристы. Забаров приказал отойти от хутора: у него осталось очень мало людей, и лейтенант старался не распылять их, а держать при себе. Пробравшийся к Забарову Марченко был в первую же минуту легко ранен и возвратился на прежнее место со своим ординарцем.

Сраженный насмерть фашистской пулей капитан Крупицын лежал рядом с Забаровым, его принес сюда Сенька. «Комсомольский бог», любимец всех солдат дивизии, большой и красивый, никак не похожий на мертвого, но безучастный к происходящему вокруг. Влажные пряди волос прилипли к выпуклому, медленно остывающему лбу. Сенька смотрел на Крупицына, и по его черному от копоти и пыли лицу одна за другой катились слезы — благо ночью никто не видел этого...

Забаров, со впалыми темными щеками, с непотухающим огнем в беспокойных глазах, весь какой-то угловатый, отдавал отрывистые приказания.

И как иногда бывает в минуты трудно сложившейся боевой обстановки, некоторым бойцам показалось, что они совсем-совсем одиноки, что никто и нигде больше не форсировал Днепр, что их маленькая ничтожная группка уже через час будет раздавлена, смята врагом. А между тем именно в эти же самые минуты огромные войсковые массы, сосредоточенные на левом берегу, погружались в лодки, на паромы, и сотни челноков уже отчалили и плыли по Днепру. А там, севернее Киева, переправившиеся корпуса вели бой с врагом, шаг за шагом расширяя плацдарм. Сюда, к Днепру, с востока страна двигала новые и новые формирования.

Нет, не одиноки вы, товарищи солдаты!

— А как там полки... готовятся? — спросил кто-то Забарова осторожно, как бы опасаясь выдать свою тревогу.

— Готовятся, конечно. Может, уже начали.

— Генерал о нас не забудет,— уверенно сказал кто-то в темноте.

— Это точно.

— Говорят, он сам на первой лодке поплывет.

— А как же!

— Посмотрите, товарищи. Немецкие прожекторы опять по Днепру шарят. Почуяли сволочи!..

Немцы снова пошли на хутор, и атака их опять захлебнулась. После этого они как будто угомонились. Но Забаров почувствовал что-то недоброе. «Что еще замышляет враг?» — лейтенант не мог найти ответа на этот вопрос. Однако ответ пришел скоро. Наполняя воздух постылым, ноющим воем, появились косяки ночных немецких бомбардировщиков. Их было много. Они сбросили десятки бомб на левом берегу и в воду, потом стали кружиться над разведчиками и выбросили на парашютах осветительные ракеты. Холодный свет повис над хутором.

— Только этого еще нехватало... Ну, держись, Семен Прокофьевич! — скомандовал сам себе Ванин и проворно юркнул в щель. — Наташа, лезь в окоп! — крикнул он девушке, не высовываясь из своего укрытия. Лихой, отважный разведчик, Сенька побаивался бомбежек, смерть от них считал глупой и бессмысленной. — Прячься, Наташа! — повторил он. — Сейчас начнут!..

Между тем самолеты не спеша кружились над огородами, где залегли наши бойцы. Вдруг Сеньку осенила хорошая мысль. Преодолевая робость, он высунулся из своего убежища, выхватил из кармана ракетницу и выстрелил несколько раз в сторону немцев, желая навести вражеских летчиков на их же солдат. Но сенькина уловка на этот раз не помогла.

— Ослеп, что ли, фриц?.. — но слова Сеньки заглушил сухой, громовой раскат первых бомбовых разрывов.

Земля колыхнулась и затряслась. Казалось, бомбардировка продолжалась целую вечность. А когда самолеты все-таки улетели, разведчики, черные и злые, высунулись из своих нор и увидели впереди оврага темные фигуры вражеских солдат.

— Открыть огонь, приготовить гранаты! — скомандовал Забаров. Он сейчас особенно берег каждого бойца и не хотел поднимать их в контратаку.

Когда немцы, прячась в воронках от своих бомб, показались на окраине хутора, разведчики стали забрасы-

вать их гранатами. Оттуда послышались стоны. Потом все стихло. Ванин подполз к ближней воронке и заглянул туда. Но немцев там уже не было. Ванин добрался до следующей воронки. Но и в ней гитлеровцев не оказалось. Сенька вернулся и доложил Забарову.

— Что еще за чертовщина? Куда делись немцы?..— протирая красные глаза, спросил Забаров Ванина, который теперь был у него вроде заместителя по политической части.

— Уползли. Наверное, по промоинам. Их там много, промоин. Видите, у дороги?

Федор только теперь различил узкие, извилистые черные канавки, ведущие от дороги к оврагу. Немцы, конечно, воспользовались ими, чтобы отойти и утащить убитых и раненых. Должно быть, по этим промоинам они попытаются вновь совершить вылазку. Забаров послал связного к Марченко и просил вызвать по радио огонь нашей артиллерии. Вскоре тяжелые снаряды вновь стали рваться в овраге.

Федор прислушивался к этим разрывам и еще к каким-то звукам слева и долго и задумчиво глядел на присмиревшую Наташу. Девушка этого не замечала. Маленькая и хрупкая, она полулежала на земле, положив голову на санитарную сумку. Лунный свет озарял ее лицо.

— Наташа, — тихо окликнул Забаров.

Она вздрогнула и приподняла голову.

— Наташа, ты слышишь что-нибудь сейчас?

— Слышу... Я давно слушаю.

— И я, — сказал он. — Кто, по-твоему, там?

— Шахаев, конечно, — сказала она.

— И я так думаю. Ты понимаешь, Наташа, как он нас выручает?..

— Понимаю. Выручает... а мы его нет...

Забаров и Ванин с удивлением посмотрели на девушку: так вот она о чем задумалась!

— И мы его выручим, — твердо сказал лейтенант.

— Им там тяжело. Наверно, много раненых!

— Вот вы и пойдете сейчас к нему.

— Я... к нему?

— Да. С Ваниным вместе. Пробирайтесь осторожно вдоль берега.

— А вы с кем же останетесь? — испугалась Наташа.

— Не беспокойтесь. Здесь нас немало. Кроме того, скоро должна прийти помощь с того берега. Так что продержимся, — сказал Забаров.

Ванин не понимал Забарова, ничуточки не понимал! В сенькиной голове никак не укладывалось, как это можно совмещать в себе дьявольскую удаль с холодной расчетливостью. А Забаров совмещал. Вот и сейчас: остается лейтенант с небольшой группой бойцов, окруженный со всех сторон врагами,— какая смелость! А тут, оказывается, — расчет. Точный, безошибочный расчет.

— По пути зайдите к командиру, — спокойно продолжал Забаров, — доложите, что все в порядке.

— Нет, мы вас одних не оставим, — воспротивилась Наташа.

— А я вам приказываю исполнять.

Пришлось подчиниться. Наташа поправила санитарную сумку, проверила медикаменты. Сенька взял ее за руку, и они пошли. Курить Ванину хотелось страшно. Но он боялся. Наконец нашел выход. Сунул щепоть махорки себе в рот. В пересохшем горле стал быстро накапливаться горьковатый сок, утоляя одновременно и жажду и голод.

«Если полки не переправятся, грустновато нам будет тут, кумушка, с тобой, — невесело размышлял Семен, осторожно ступая по суглинистой приднепровской земле и чмокая губами.— Эх, сидеть бы тебе на левом бережку с Верой!..»

Мысли Сеньки прервал дружный крик «ура», покатившийся от реки им навстречу, сюда, в гору. Сенька, стиснув руку Наташи, с колотившимся от радости сердцем быстро побежал вниз, перепрыгивая через какие-то канавки и бугорки, то и дело падая и вновь вскакивая на ноги. Он слышал за собой горячее дыхание девушки.

Небо задернулось тучами. Они громоздились одна на другую. Стало совсем темно — хоть глаз коли. От Днепра вместе с криками «ура» доносилась тугая прохлада.

4

Левый берег еще с вечера, как только стемнело, зажил напряженной жизнью. Сотни рыбачьих лодок и сооруженных саперами и пехотинцами плотов были спущены

на воду и замаскированы ветвями. Изредка сюда упирался длинный язык прожектора и, лизнув раз и два берег, отворачивал в сторону, видимо ничего не обнаружив. После этого у реки долго стыла тревожная тишина. Многочисленные каски солдат тускло светились под зелеными ветвями маскировки. От лодки к лодке, от плота к плоту, пригнувшись, как на переднем крае, перебегали взводные командиры, отдавая вполголоса какие-то приказания. Из леса тянулись бесконечные вереницы повозок с боеприпасами, продовольствием и новыми переправочными средствами. Натужно, будто жалуясь на свою усталость, стонали моторы перегруженных, вращающих в песке горячие колеса «зисов» и «полуторок». Вслед за ними подходили машины с паромами. Глухо квохтали высветленными теплыми траками танки, располагались в лесу полки вновь прибывшего соединения. Все это делалось осторожно, без лишней суеты, по единому и тщательно разработанному плану.

Ночь раскинула над солдатами одеяло мягко взбитых туч, сквозь которые на волны Днепра падал неживой лунный свет. Лодки покачивались на ленивой волне, терлись бортами.

В одном утлом челноке сидело четверо. Трое из них с напряженным вниманием слушали рассказ сидевшего в середине старшины.

— ...Дальше что ж, — говорил он неторопливо. — Прибыл, как вот и вы, с маршевой ротой, молод, да зелен. В сорок первом году это было... Приняли в полку как полагается. Поужинал, помню, крепко. Фронтовики научили ложку за обмоткой прятать. Хоть, говорят, ты человек и грамотный, агрономом был, но того не знаешь, что без ложки и малой саперной лопатки солдату не жить... — рассказчик на минуту замолчал, проводив глазами взмывшую на том берегу и медленно падающую в реку зеленую ракету.— А бой там, видимо, не на шутку разыгрался, товарищи! — кивнул он в сторону правого берега; когда ракета потухла, старшина продолжал: — Стали они меня, как говорят, вводить в курс дела, учить фронтовым премудростям. А однажды подходит ко мне командир взвода младший лейтенант Черненко и говорит: «Вот что, Фетисов! Пойдете с отделением в разведку, узнаете, есть ли в селе немцы, много ли их».

— Так сразу?

— Сразу. Ну что ж. Есть, говорю, итти в разведку! А самому, разумеется, скучновато стало, сразу вспотел весь. Я ведь не только в разведке, но и в бою-то еще ни разу не бывал. Пробрались в село. Видим — немцы. А сколько их? Как узнать? А узнать надо непременно — таков приказ. Вот мы и поползли, стали считать солдат, пушки, лошадей. По неопытности я увлекся и не заметил, каким образом к нам со всех сторон подобрались гитлеровцы. Хорошо, что командир наш не растерялся: «Внимание!» — крикнул. Началась перестрелка. Я все к сержанту жмусь, словно бы меня магнитом к нему притягивало. А он посмотрел на меня строго и еще строже заметил: «За немцами следи, а не за мной!.. Стреляй, чорт те побери!..» Стыдно мне, ребята, стало, ну просто не могу передать вам, как стыдно!.. Прикусил со злости язык и так начал палить по фашистам!..

— Ну и что, отбились?

— Отбились, разумеется. На рассвете вернулись в полк. По дороге сержант и говорит мне: «Не обижайся, Фетисов! В бою человек зол. Таким он и должен быть. И ты это сам поймешь».

Фетисов умолк и чуть приподнялся. Тихо звякнули, ударившись друг о друга, орден Славы и две боевые медали на его выгоревшей и пропотевшей белой гимнастерке. Блеснул на груди недавно полученный старшиной орден Отечественной войны I степени.

Кто-то из молодых солдат с восхищением заметил:

— Орденов-то сколько у вас. Вот герой-то!

Промолчал всегда такой говорливый Фетисов. Беспокойно завозился в лодке, оглядываясь на солдат, словно бы провинился чем перед ними. Выручил из неловкого положения покатившийся от лодки к лодке короткий и властный приказ:

— Отчаливай!..

Была глухая полночь, и бой на том берегу разгорелся особенно сильно, когда генерал отдал по телефону этот приказ командирам полков.

Стоявшие рядом с комдивом офицеры увидели даже в темноте, как он сразу преобразился. Охваченный привычной, сотни раз испытанной боевой радостью, этот немножко суховатый и резкий человек вдруг стал необычайно подвижен. Казалось, огромная тяжесть упала с его плеч. Сейчас он весь был во власти той поднимающей

и воодушевляющей силы, которую чувствуют истинные командиры во время боя.

— Вы тоже на правый берег, Федор Николаевич? Я бы не советовал, — влезая в лодку, сказал генерал Демину. Где-то у передних лодок разорвался неприятельский снаряд. Переждав медленно угасавший звук разрыва, Сизов закончил: — Вам бы лучше остаться здесь, проследить за переправой артиллеристов.

— Нет, я поплыву, Иван Семенович. Тут и без меня народу хватит.

И он легко впрыгнул в лодку. Генерал посмотрел на его маленькую, почти ребячью фигуру и подумал, как хорошо, что начподив поехал с ним. Подумал об этом и улыбнулся. В темноте блеснули его черные, чуть прищуренные глаза. Он взмахнул рукой, и саперы навалились на весла. Недалеко разорвался снаряд, водяные брызги долетели до лодки. В эту минуту генерал и Демин увидели неуклюже прыгавшего по воде бойца, догонявшего лодку. Саперы подхватили его и вытащили из воды. Это оказался связист. На его спине разматывалась ловко притороченная катушка кабеля, оставляя за собой тонкую, ныряющую в волнах нитку провода.

— Что, остался было, а?

Солдат смущенно засопел, сказал виновато:

— Махорку забыл взять у старшины, товарищ генерал...

— Что ж ты за солдат, коль забываешь такую ценность?

— С аппаратом провозился...

— Ну вот, получай. Я оказался солдатом более исправным, — Сизов наклонился над телефонистом и сунул в его руку пачку «генеральских» папирос.

— А как же вы-то, товарищ генерал?

— Я не курю.

Удивленный солдат что-то хотел сказать, но не успел. С темного неба полился густой гул авиационных моторов, и сразу же послышался зловещий, пронзительный вой летящих бомб. Над рекой один за другим поднимались водяные фонтаны.

Генерал остался сидеть на прежнем месте. Он только слегка наклонился вперед. Обхватив плечо полковника Демина, Сизов пригнул его ко дну лодки.

Несмотря на бомбежку, лодки настойчиво продвигались к правому берегу. Многие из них уже уткнулись в прибрежный песок. Сотни немецких ракет огненными брызгами устремились к небу. Торопливо шарили по воде широкие языки прожекторов. Била артиллерия, вздыбливали воду авиабомбы... И все же вскоре где-то около Бородаевки грянуло нестройное, прерываемое, видимо, бегом «ура». Оно неотвратимо покатилось куда-то вверх.

— Началось! — громко сказал генерал, уже не боясь, что его услышат. Боевая радость, которая охватила его еще на левом берегу, заставила генерала выскочить из лодки прямо в воду. Он бежал по колено в воде. Впереди, подпрыгивая, скакал телефонист, провод затруднял его движения, и солдат бежал рывками, подбадривая себя криком:

— Скорей!.. Скорей!..

Пуля кнутом обожгла левую щеку солдата. Боец выругался, зажал щеку ладонью и, не задерживаясь, устремился вперед. «Началось», — прошептал он горячими, сухими губами, чувствуя, как что-то сильное поднимается у него в груди, делает его тело легким и упругим.

«А генерал-то идет в полный рост. Как бы его...»

Испугавшись собственных мыслей, солдат задержался и побежал рядом с Сизовым. За его спиной, быстро раскручиваясь, поскрипывала катушка.

«Ура», прорываясь сквозь грохот боя, ширилось, разливаясь по всему берегу, прибоем ударяясь о скалы, заглушая испуганно-торопливый треск немецких пулеметов и автоматов. Мелькали сгорбленные фигуры солдат, короткими перебежками продвигавшихся к селу. Снаряды уже рвались на песке, оставляя после себя маленькие воронки. С левого берега басовито ухала наша тяжелая артиллерия, грохотали «катюши». Появились первые раненые и убитые. Черными пятнами выделялись они на песчаном берегу, тускло освещаемом сочившимся сквозь тучу лунным светом. По песчаным увалам ползали линейные надсмотрщики, отыскивая повреждения провода. А на левом берегу уже появились понтонеры. Они спускали на воду первый паром. Возле него суетились солдаты, возбужденные стрельбой у Бородаевки.

Дивизия завязала бой за плацдарм.

5

Сенька и Наташа лишь на рассвете отыскали группу Шахаева. Маленькая горстка людей находилась у самого берега, под кручей, среди огромных древних валунов. Кругом были видны воронки от снарядов. Шахаев был ранен в третий раз и теперь без сознания лежал среди камней. Возле него сидел санитар, оставленный, как потом стало известно, старшиной Фетисовым, рота которого высадилась в этом месте. Бой шел где-то уже наверху, далеко отсюда, и тут было спокойно. В пяти шагах от Шахаева лежал сапер Узрин, убитый вскоре после высадки на берег. Из отряда Шахаева невредимым остался только азербайджанец Али Каримов. Торопясь, он стал рассказывать Наташе и Ванину подробности неравного боя. Впрочем, из его слов трудно было что-либо понять: русский язык Али знал плохо, а волнуясь, и вовсе коверкал его. Сенька не хотел обижать красноармейца, он внимательно его слушал, но в конце концов все же не вытерпел и перебил:

— Рассказываешь ты, Каримыч, подробно, горячо, но неразборчиво. Лучше потом. И сам вижу, что туго вам пришлось. Но и нам досталось. Многих ребят уже нет, Каримыч, — с несвойственной ему печалью повествовал Ванин,— капитана-то Крупицына... убили. Нет больше его...

Каримов выслушал эту весть с обидной для Сеньки апатией. На глазах Али за одну ночь умерли трое, и вот умирает четвертый. Ощущение горя как-то притупилось в нем. Осталось, однако, желание кому-то поскорее помочь, кого-то выручить, чтоб не было хоть в этот день еще одной смерти. Али забеспокоился.

— Старший сержант в медсанбат нада... операция нада. Скоро нада... умрит он...

Последние слова Каримова вывели Сеньку из минутного оцепенения.

— Кто «умрит»?! Что зря бормочешь! Такие, как наш парторг, не умирают!.. — и, подбежав к Шахаеву, Ванин стал помогать Наташе перебинтовывать его.

— Лодку ищите, в медсанбат его быстро... — взволнованно сказала девушка.

Ванин и Каримов убежали к реке.

Перебинтовав бесчувственного Шахаева, Наташа присела рядом с ним, на небольшом круглом камне. Руки девушки перебирали теперь уже совсем белые волосы парторга. Шахаев негромко стонал, порой начинал о чем-то часто и страстно говорить на своем родном языке. В такие минуты большие потрескавшиеся губы его раскрывались — парторг улыбался. Иногда он называл имена знакомых Наташе ребят. Затем вдруг начинал говорить по-русски. При этом раза два он произнес и ее имя. И оба раза девушка испуганно вздрагивала, тихо и осторожно снимала со своих колен его большую голову. А когда он умолкал, Наташа опять поднимала ее к себе на колени и, низко склонившись над ним, дышала ему прямо в лицо, словно бы хотела своим дыханием удержать медленно уходившую от него жизнь. Изредка он открывал глаза. Черные и безумные, они были очень страшны, смотрели на нее дико и бессмысленно. Наташа скорее закрывала их своими руками. Она сильно обрадовалась, когда увидела на берегу Сеньку и Каримова. Те подвели откуда-то небольшую лодку.

Часом позже Шахаев уже лежал на операционном столе в медсанбате, который по странному стечению обстоятельств находился как раз в том саду, откуда уходили за Днепр разведчики. Тут еще стояла хозяйственная часть разведроты во главе с Пинчуком.

В тот же день Пинчук, Кузьмич, Михаил Лачуга, Сенька и Наташа переправились на правый берег. Днепр уже там и сям бороздили, не обращая никакого внимания на непрерывные бомбежки, огромные паромы. Они перевозили тяжелую артиллерию, машины с боеприпасами, танки и «катюши». Маленькие бесстрашные катера́, сердито урча и разгоняя от себя водяные валы, быстро влекли за собой по два, а то и по три парома. Танки-«тридцатьчетверки», едва съехав с парома, на полной скорости мчались к селу, чтобы скорее укрыться от вражеских бомбардировщиков и снарядов. Над Днепром, высоко-высоко, стаями вились патрулирующие краснозвездные истребители; за Днепр, в сторону Бородаевских хуторов, за которые все еще шел бой, низко проносились эскадрильи штурмовиков. То и дело вспыхивали воздушные схватки.

Кузьмичу удалось устроить своих лошадей вместе с повозкой на пароме, которым руководили знакомые са-

перы. Трофейных же, сенькиных, битюгов пришлось перегонять вплавь. Лачуга, в распоряжение которого поступила эта иностранная скотина, держал битюгов в поводу и, стоя на пароме, прикрикивал на них, позывно посвистывая, подбадривал. Животные испуганно раздували красные ноздри, с тяжким стоном плыли вслед за паромом.

В Бородаевке разведчиков встретили майор Васильев и лейтенант Марченко. Они указали Пинчуку место, где надо было остановиться, а сами направились на НП генерала. Местом, на котором Пинчук должен был расположить свое хозяйство, являлась глубокая балка, откуда прошлой ночью переправившиеся полки выбили немцев. На дне балки в беспорядке стояли черные крытые брички, валялись кучи противогазов, рыжие солдатские ранцы, ящики с маленькими зенитными снарядами, пустые железные лотки из-под мин и множество зеленых противоипритных накидок. Стояла даже походная кухня, наполненная прокисшей и омерзительно пахнущей пищей. Под кухней, между больших колес, валялся немец в колпаке, забрызганном бурой кровью.

Пинчук и Лачуга с отвращением оттащили в сторону труп немецкого повара, а потом выкатили на простор кухню и толкнули ее под откос; повозка с грохотом понеслась вниз, к обрыву, расплескивая по пути вонючую жидкость.

— Ось им так... Всих в тартарары, яки до нас с оружием...

Пинчук злыми глазами проводил кухню, выругался и сплюнул.

— Вы что, товарищ Пинчук? — испугался Лачуга, он никогда еще не видел Пинчука таким злым.

Старшина не ответил.

Очистив балку от разной дряни, они начали готовить обед.

В это время на горе, за селом, гремел оркестр. Там хоронили капитана Крупицына. Сенька быстро направился туда. Но он опоздал. Ему встретился опечаленный полковник Демин, за ним шли другие работники политотдела. Однако Семен все же подошел к могиле. На небольшом свежем холмике высился некрашеный кубический деревянный памятник. Надписи на нем еще не было. Сенька постоял немного в раздумье. Ему что-то хотелось

сделать. Вынул из кармана карандаш и написал на памятнике:

Здесь похоронен Саша Крупицын,
наш замечательный комсомольский
вожак и вообще настоящий парень.

Эпитафия ему не понравилась, но лучшего он придумать не мог. Последние слова «и вообще настоящий парень» он приписал после долгого размышления. По мнению Сеньки, они должны были объяснить все добрым путешественникам и потомкам. И пусть не взыщут: Сенька не был рожден поэтом.

Стиснув в левой руке пилотку, Ванин медленно поплелся от могилы. Его обогнали мчавшиеся к Бородаевским хуторам запыленные и дышащие жаром танки — там особенно сильно гудел бой. Невесело, сумрачно было на сердце у Сеньки в тот день. Слишком много смертей вдруг посетило их маленькую семью. Чуяло ли в ту минуту отважное сердце разведчика, что и его, Сеньку, не пощадит на заднепровской земле вражеский осколок...

6

Лейтенант Забаров с небольшой группой разведчиков, с двумя стрелковыми ротами и батареей Гунько находился в районе Бородаевских хуторов, в трех километрах западнее Днепра. Группа вела бой с немцами по соседству с третьим батальоном, который ночью подоспел к разведчикам на выручку.

Только что была отбита — с помощью прибывших от Днепра танков — очередная, кажется уже четвертая за этот день, контратака немцев, и теперь разведчики отдыхали в глубоком яру, укрывшись от неприятельских бомб и снарядов.

Сверху послышался шорох, посыпались земляные комочки. Разведчики подняли головы. К ним в овраг, тормозя ногами, катились Сенька, Пинчук, Кузьмич и, что особенно удивило Забарова, румын Бокулей. Кузьмич и Пинчук несли термосы с горячим украинским борщом. Пинчук, кроме всего, принес еще добрую весть, которую и сообщил немедленно.

— Выше голову, товарищи! — торжественно начал он, как на митинге. — Фашистам тут не продержаться. Начальник политотдела просыв передать: правее Днипро

форсировала наша танковая группа. Так що, денек-два продержаться, а там будэ легше. Я вот и пополнение привел! — закончил Пинчук, указывая на смущенного румына. — Бокулею повоевать захотелось. Гуров отпустил его на денек. Хай, каже, проветрится!..

Все захохотали. Довольный произведенным эффектом, Пинчук засиял. В довершение всего он прочел в «Советском богатыре» стихи дивизионного поэта:

Стой у Днепра, как у Волги стояли,
И на Днепре, как и там, победи!

Стихи понравились. Разведчики повеселели и принялись за обед.

Однако поесть не пришлось. Сверху раздался тревожный голос наблюдателя:

— Идут!..

Все отлично понимали, кто там идет, потому что такой сигнал слышали за этот день в пятый раз.

Гунько, зло сверкнув огоньками своих желтых глаз, первый выскочил из оврага, и через полминуты уже раздался сердитый залп орудий.

Схватив автоматы, разведчики стали карабкаться наверх — встречать пятую, и уж, конечно, не последнюю, немецкую контратаку. Кузьмич и Бокулей ползли вместе со всеми. Немного приотстав, взбирался с автоматом и Пинчук. А в небе уже делали круги «юнкерсы», и землю давил их неровный, переворачивающий душу стон. Впереди, метрах в пятистах, перемещались приземистые немецкие «тигры» и «пантеры», а между ними — фигуры вражеских солдат. Вокруг них пахали поле наши снаряды. Немцы отвечали из минометов, укрывающихся в балках. Мины падали непрерывно. Их осколки с вибрирующим воем проносились над залегшими в кювете старого грейдера разведчиками и пехотинцами. Разведчики дружно открыли огонь из автоматов. По всему кювету, как шелуха от тыквенных семечек, желтели кучки стреляных гильз. Они попадали под колени бойцов и неприятно перекатывались. Грохот стоял невероятный. Впившись в стальные тела автоматов, разведчики выпускали одну очередь за другой. Сенька и Камушкин, которых Федор отослал помочь артиллеристам, подносили снаряды, отстреливались из автоматов, не давая немцам приблизиться к орудиям.

— Вася!.. Слышишь ты!.. Целься хорошенько!.. — скрипел зубами Ванин. Он уже давно был ранен осколком вражеской мины, и Наташа, которая перед самым боем тоже пришла сюда, несколько раз пыталась перевязать его, но он небрежно отмахивался от нее. Лицо его перекосила бешеная ярость. — Бей их!..

Над вражеской пехотой стали разрываться бризантные снаряды. Вспыхивали седые лохматые шапки разрывов. Ряды атакующих редели, и все неувереннее становилось движение тех, кто продолжал еще по инерции бежать вперед. Слева и справа, накапливаясь в воронках от снарядов и бомб, готовились к атаке бойцы наших стрелковых полков. Позади их, в пологой балке, приглушенно урчали танки, разворачивались, принимали боевой строй. Эскадрильи штурмовиков, волна за волной выплывавших из-за Днепра, как когда-то из-за Шебекинского леса, кружились над полем боя, бомбя и расстреливая из пушек неприятельские танки. Надежно прикрытые истребителями, «илы» проносились так низко, что казалось, они вот-вот врежутся в землю. Горячка сражения захватила и летчиков.

Забаров поднял разведчиков в атаку. Вместе со стрелками они побежали вперед. Выцветшие гимнастерки бывалых солдат быстро смешались с зеленым обмундированием молодых красноармейцев; они стремились быть поближе к ветеранам дивизии и воевали еще с той неловкой поспешностью, которой не увидишь у обретших степенную уверенность, почти беспечность, «старичков».

Полк Баталина, поддержанный тяжелыми танками, ударил по правому флангу контратакующего неприятеля. Удар этот был так неожидан и силен, что немцы дрогнули и, теснимые советскими войсками, стали отходить вдоль Днепра, на север. Несколько вражеских танков и два немецких стрелковых батальона были перехвачены у реки, загнаны в овраг и полностью разгромлены нашей артиллерией и авиацией. Однако к вечеру противник бросил навстречу наступающим большую массу «тигров», и полк Баталина после тяжелого и кровопролитного боя вынужден был отойти на прежние позиции.

На третий и четвертый день повторялось то же самое. Немцы вводили в бой все новые и новые танковые полки.

Особенно много было вражеской штурмовой авиации, делавшей бесчисленное количество боевых вылетов. Приднепровская степь почернела от разрывов бомб, снарядов и мин. Воздух пропитался тревожным и душным запахом большого сражения. В течение дня успех клонился то к одной, то к другой стороне. Бывали минуты, когда казалось, что гитлеровцам удастся прорваться к переправе. Некоторые их танки уже выползали к днепровским кручам, но в самую критическую минуту, когда положение представлялось солдатам уже безвыходным, наступал перелом.

Десяток свежих танков, введенных в бой в строго рассчитанное время, решал дело, и враг отходил на свои прежние рубежи. Кое-где нашим даже удавалось на сотню метров расширить плацдарм, и это уже расценивалось как большая победа. Обе стороны несли большие потери. Паромы едва успевали отвозить раненых красноармейцев и поврежденные в бою танки и орудия. Над единственным понтонным мостом, наведенным уже во вторую ночь, через каждые тридцать минут появлялись многочисленные группы немецких бомбардировщиков, и над рекой, равнодушно катившей свои светлые воды к морю, вспыхивали жестокие воздушные бои. Неумолчно били зенитки...

А в сводке Совинформбюро об этом было сказано чрезвычайно скупо и просто:

«В полосе среднего течения Днепра наши войска успешно форсировали реку Днепр и захватили плацдармы в трех местах: севернее Киева, южнее города Переяслав и юго-восточнее Кременчуга. Немцы ведут против наших, переправившихся через Днепр, войск ожесточенные контратаки, которые отбиваются с большими для противника потерями. Наши войска шаг за шагом расширяют плацдармы».

Генерал, казалось, равнодушно прочел сводку и, вернув ее адъютанту, приказал:

— Взять в штабе подробные сведения о потерях. Я должен знать, сколько солдат осталось в каждой роте. И выяснить, в каком полку начальник политотдела... — Посмотрев назад, на задымленную саперами переправу, генерал добавил: — Передайте майору Васильеву, чтобы вывел разведчиков из боя. Они мне нужны здесь.

7

Разведчики находились все в том же яру, что и три дня назад. Усталые и оборванные, многие раненные, они слушали сейчас торопливый, взволнованный и сбивчивый рассказ Забарова. То ли потому, что после всех вражеских контратак, которые пришлось отбивать разведчикам, он и его бойцы остались все-таки живы и это радовало и требовало вместе с тем душевной разрядки, то ли еще почему, только всегда молчаливый Федор вдруг разговорился и рассказал окружавшим его и удивленным разведчикам всю свою биографию.

Родился Федор в 1917 году в небольшом рабочем поселке под Москвой. Родился, как потом рассказывали ему, ночью, в непроглядную темень. Когда мальчик во весь голос впервые заявил о себе, мать торопливо завернула его в теплое одеяло, вынесла на улицу и положила теплый сверток под чьим-то плетнем, а сама, растрепанная, испуганная мирским судом, сбежала из деревни. Федора подобрал богатый односельчанин, Федосей Прокофьев, у которого не было своих детей: сын был убит где-то под Перемышлем, а второго произвести на свет он уже не мог — стар годами был. Однако с приемышем ему также не повезло. Мальчик прожил у него ровно восемь лет, до той поры, пока ему не сказали, что он подкидыш. Когда ему об этом во всех подробностях поведали соседские бабы, он в тот же день сбежал от приемного отца. Это было первое проявление непокорного и своенравного характера. О матери Федор узнал гораздо позже и то очень немногое. Она работала батрачкой у одного кулака, сильная и гордая красавица. Куда девалась она после его рождения, ни он и вообще никто не знал. Ходили слухи: «Наложила руки на себя». Об отце же Забаров совсем не имел никаких сведений. Сказывали, будто солдат-дезертир. Но и то, пожалуй, больше понаслышке да по догадкам: много в те горькие времена было беглых солдатиков — вот и говорили так.

Покинув Федосея Прокофьевича, Федор, однако, не уходил далеко от родных мест. В уездном подмосковном городишке для него подобралась теплая компания маленьких и отчаянных жуликов, которые первым долгом дали Федору кличку «Заборов», очевидно сообразуясь

с происхождением их нового товарища. Эту кличку он носил до получения паспорта. Потом, претерпев незначительную поправку, она стала его постоянной фамилией — Забаров. Федор без особых трудов и быстро научился несложному ремеслу своих новых друзей. От природы смекалистый, он вскоре стал любимцем компании. Но первое время он получал от главаря — Ваньки Тигра — легкие и второстепенные поручения. Подходил, например, на базаре к какой-нибудь краснощекой и жадной торговке, вежливо осведомлялся насчет цены, потом, сделав удивленное лицо, означающее: «Вы с ума спятили, тетенька!» начинал долго торговаться. Тем временем другой оборванец таскал у нее из-под прилавка воблу. Когда операция заканчивалась, Федор любезно брал руку под козырек облезлой и грязной кепки делал очаровательную улыбку и грациозно удалялся. Иногда он, подобно своему вожаку, просто-таки издевался над спекулянтками. «Сахарину, сахарину!» — вопит какая-нибудь из них. А он подбежит и запыхавшимся голосом пресерьезно спросит: «Почем, тетенька, за пуд?» «Изыди, сатана, отседова! Какой тебе пуд?» — отвечала разгневанная спекулянтка. «Так что же ты, тетка, орешь на весь базар из-за двух-то грамм?» — кричал он и убегал. Затем он выполнял поручения и посложнее. Задирать торговок стали другие воришки, помоложе и менее опытные, — словом, новички. Федор же заходил с одним из жуликов в железнодорожный буфет. Его приятель проникал на кухню, а Федор присаживался за столик, поближе к прилавку. Чтобы отвести от себя возможные подозрения, он то и дело посматривал на круглые желтые часы, висевшие над входом, и, горестно вздыхая, нарочно громко вопрошал: «Скоро, что ли, папа вернется?» «Дяденька, поезд когда отправится?» — ласково обращался он к усатому соседу в блестящих пуговицах, опустошавшему пивные бутылки. Но слух и зрение мальца были напряжены до предела. Слух уже улавливал голос Петьки Прыща: «Буфетчицу к начальнику!» А глаза пока что ничем не могли порадовать жулика: буфетчица оставалась на прежнем месте. И только после второго оклика Прыща она торопливо выбегала на кухню. А вернувшись, не обнаруживала в кассе выручки за целую смену. Маленький транзитный пассажир, не дождавшись своего запоздавшего папы, исчезал бесследно.

Кончилось все это тем, что Забаров попал в детскую трудколонию имени Дзержинского. Окончив рабфак и затем на одном из предприятий получив специальность токаря, он был направлен по его просьбе в Москву на автозавод имени Сталина. Вернувшись как-то домой, в отпуск, он встретил в поселке подругу по еще детским играм Зину — теперь студентку индустриального института, приехавшую на каникулы.

Обрадовались этой встрече. Зина привела Федора к своей матери и отрекомендовала:

— Познакомься, мама. Мой друг Федор Забаров!..

— Это что же, не Федосея ли сынок?.. Озорник-то? А?

И, не дождавшись ответа, зинина мамаша прошла в другую комнату.

Федор, наскоро распрощавшись с Зинаидой Петровной, уехал. Раза два он получал от нее письма, в которых, однако, не было ни малейшего намека на любовь. Несколько раз она забегала к нему на квартиру в Москве, но говорила попрежнему сдержанно, только как со знакомым, — не больше. Посидит часок — и уйдет. А он в душе и этому был рад. Москву он полюбил, завод стал его родным домом. А потом о нем заговорили в заводской газете как о стахановце. Забаров же становился все более задумчив и молчалив. Именно тогда на его лбу легли эти напряженные складки. Его редко видели в кино, на гулянках. О причине догадывались немногие: Федор учился. Его маленькая комната была завалена книгами. Каждую ночь он читал техническую литературу — хотел стать инженером. Часто к нему приходил парторг цеха и помогал в учебе. Утром, умывшись и немного перекусив, Федор спешил на завод. Тысячи разноголосых гудков плыли над столицей. И из этой тысячи он легко отличал торжествующий голос своего гиганта.

Однажды в заводских воротах его встретила новость: начальником цеха к ним был назначен новый молодой инженер... Это была Зинаида Петровна Волгушева. Федор в замешательстве остановился, еще не зная, как отнестись к этому событию. В конце концов он решил, что все это произошло по чистой случайности: не из-за него же в самом деле она попросилась на этот завод!.. Через полчаса, при встрече с ним, она так и сказала:

— Я еще раньше, когда тебя тут не было, хотела попасть сюда. Так что ты не думай...

— А я и не думаю, — ответил он.

— А почему ты не думаешь? — обиделась она и ушла.

Он посмотрел ей вслед, пожал плечами.

В тот же день он выполнил пять дневных норм. «Пусть нос-то не особенно задирает. Инженер!»

А она и не задирала нос. Часто подходила к его рабочему месту. Один раз, не выдержав, спросила:

— Так ты не доволен моим приходом в цех?

— Доволен.

— А почему ты доволен?

— Ну, вот... опять. Кто же спрашивает об этом?

И снова, обиженная, она ушла от него.

Забаров шумно вздохнул. Надо было бы ему объясниться с девушкой как следует, но не решался. Не знал он точно, как отнесется Зинаида Петровна к его признанию.

Когда она в следующий раз подошла к нему, Федор, хмурясь и краснея, заговорил быстро и сбивчиво:

— Вот что, Зина... Давай обсудим это...

— Ты о чем? — вспыхнув, она резко повернулась и, не оглядываясь, пошла от станка.

Потом началась война. Федор на третий же день ушел на фронт. С Зиной он даже не простился. «Для чего ее видеть, — думал он, — не любит ведь. Теперь-то уже это ясно. Просто так — знакомые». Правда, через две недели он получил от нее письмо. Но в нем опять никакого намека на любовь. Деловое письмо о заводе, об оставшихся на нем товарищах Федора. Зачем только она пишет ему о них? Будто сами не могут написать. Забаров так ей и ответил. А она в следующем письме его спросила: о ком же ей писать? О себе? Так это ему неинтересно...

Что она — смеется? О ком же ему хочется знать больше всего на свете, как не о ней?! Об этом он хотел написать ей немедленно. Но когда взял карандаш, вдруг передумал, будто напугавшись чего-то. После этого еще несколько раз собирался написать ей о своем большом чувстве, но так и не решился.

Она, между прочим, писала: «Говорила же я тебе, что мой рассказ о моей особе будет для тебя неинтересен. Так оно и есть. Ты даже писать перестал».

А как он будет писать ей? Любит, конечно, он ее здорово. А она?.. Забаров хорошо помнил, как Зинаида убежала от него, когда он пытался объясниться. Нет, не будет он ей писать, ни за что не будет!..

— И сейчас не пишете? — спросил Гунько, хитро посматривая на Забарова.

— Нет.

Забаров лежал на дне оврага, вверх лицом, в расстегнутой и порванной во многих местах гимнастерке. На волосатой его груди проступало татуированное изображение орла, державшего в когтях какую-то жертву. После этой исповеди Федор здорово изменился: в глазах оттепель, сосредоточенность сменилась глубокой и тихой задумчивостью. Даже складок на лбу стало как будто меньше. Темнорусые мягкие волосы, откинутые назад, рассыпались по земле.

— Слушай, Федор, — надевая на планшет резиновое кольцо, обратился к Забарову Гунько. — А ведь ты зря ей не пишешь.

— Конечно, зря, — неожиданно согласился Федор. — Неделю тому назад получил от нее еще письмо...

Он вдруг вскочил на ноги и, огромный в сгустившихся сумерках, взбудораженный, стал ходить по оврагу.

Таким его видели впервые.

Недалеко от бойцов, в том же рву, находилась с двумя детьми молодая темноволосая женщина. При налетах немецких бомбардировщиков она хватала ребятишек и, как клушка, укрывала их под собой. Сейчас она подошла к солдатам.

— Гляжу я на вас, товарищи красноармейцы, который уж день сидите тут. Проголодались, наверно. Пока тот нечистый не прилетел, сходили бы наверх. Погребок там есть возле моей хаты. В левом углу, под кадкой, сало зарыто. Покушали б. Сходите. Сама-то я боюсь. Детишки у меня...

— Спасибо. Мы сыты. Своим ребятам поберегите.

— Да я уж с ними как-нибудь перебьюсь. Теперь не пропадем. Кругом свои люди.

Бойцы отказались. А когда женщина ушла, Забаров вдруг мечтательно заговорил:

— Так хочется дожить до конца войны и вернуться

на свой завод. Какие б я автомобили строил для всех вас: для тебя, Гунько, для Камушкина, для Сеньки, Пинчука, для вот той женщины с ее ребятами — для всех наших людей. Честное слово, они давно заслужили этого!.. — он замолчал, широко улыбнулся, отчего рябоватое лицо его стало красивым.

Сверху послышалась стрельба. Немцы, поддержанные танками, снова пошли в контратаку. Федор схватил автомат и широким шагом пошел впереди бойцов, навстречу врагу.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

Большая танковая группа, форсировав Днепр южнее Кременчуга, внезапным ударом опрокинула неприятеля и, вырвавшись на оперативный простор, устремилась на юго-запад правобережной Украины.

Удар танкистов облегчил положение наших войск на Бородаевском плацдарме. Гитлеровцы стали сдавать одну позицию за другой, и вскоре отступление немцев на этом участке фронта приняло характер бегства. Гвардейская армия, отстоявшая Бородаевский плацдарм, преследовала их по пятам. Танкисты стремительно рвались вперед. Они все глубже и глубже вбивали клин во вторую линию вражеской обороны в Заднепровье. Головные танковые батальоны подходили уже к Кривому Рогу, когда случилось самое неприятное, что может только случиться с танкистами на войне: кончилось горючее, вышли боеприпасы. Оторвавшись на несколько десятков километров от пехоты, танки застряли в непролазной грязи, остановились и в довершение всего были отрезаны немцами у основания клина, где-то под Ново-Прагой.

Гвардейскую сталинградскую армию спешно бросили на помощь танкистам. Смяв оборону противника, она вскоре соединилась с танковой группой.

Дивизия генерала Сизова, входившая в состав этой армии, заняла оборону в районе Ново-Стародуба и Александровки. Штаб ее разместился в небольшом селении, носящем привлекательное название Веселая Зорька, хотя

в нем было совсем не весело: немцы каждый день бомбили поселок. Прибыли сюда вечером, а устроились лишь к полуночи: нехватало домиков для размещения всех отделов и штабных подразделений.

Разведчики сидели в глубокой балке, разделявшей поселок на две равные части, и нетерпеливо ждали возвращения Пинчука, который выхлопатывал помещение для своих бойцов; Марченко и Забаров находились у начальника. Из селения долетала соленая брань квартирьеров, рыскавших по дворам. Иногда подавал свой голос и Пинчук.

— Ну, куда, куда прется?.. Ось якый ты? — увещевал он кого-то. — Генерал приказав для розвидчыкив цю хату! — врал, не стесняясь, напористый «голова колгоспу».

Вскоре он вернулся и торжественно объявил:

— Найшов! Даже з банею. Помыемося добре!.. Поихалы, хлопци! Трогай, Кузьмич!

Но пока Пинчук бегал за разведчиками, в облюбованный им двор въехал со своим хозяйством начальник АХЧ старший лейтенант Докторович. Борис Гуревич уже таскал в дом мешки с продуктами, а здоровенная и скандальная девка Мотя колола дрова для бани. Пинчук долго и безуспешно взывал к совести начальника, но Докторович и слушать не хотел. Как ни горько было Пинчуку, но скандалить он не стал: деятели АХЧ были могущественнее его, да и портить с ними дружбу не входило в расчеты старшины.

Кроме всего прочего, Пинчук был в тот день в великолепном настроении: по дороге в Веселую Зорьку он встретил почтальона, и тот вручил ему два письма: одно от жинки и второе — от Юхима, который писал о возрождении колхоза. Между прочим, Юхим сообщал Пинчуку, что саманный завод выстроить не удалось, и тут же назвал многочисленные причины, мешавшие осуществить идею Пинчука. Причины эти Петр признал несерьезными и во всем обвинил Юхима, попрежнему считая его неспособным руководить артелью, но отличное настроение «головы колгоспа» сегодня от этого не испортилось.

Воспользовавшись встречей с начальником АХЧ, Пинчук решил разведать возможность получения нового обмундирования — в последних походах бойцы сильно пообносились.

— Як то буде з куфайкамы, товарищ старший лейтенант? Холодно вже...

В ответ он услышал обычные слова Докторовича:

— Мне дадут — и я дам. Мне не дадут — и я не дам.

Начальник АХЧ излагал свою формулу таким тоном, что продолжать разговор на эту тему Пинчук не захотел. Кроме того, старшина роты знал, что Докторович никогда не лгал. «Нет»,— сказал Докторович, значит действительно нет.

Потерпев неудачу в этом деле, Пинчук, однако, успешно провел разговор с Мотей: он уговорил суровую девку принять разведчиков в «банный пай».

— Пусть только кто-нибудь из ребят поможет мне дров припасти, — сказала она.

— А як же!.. Поможуть, поможуть!.. — обрадовался Пинчук и позвал Лачугу. — Давай, Михаил, нарубай дров. Битюгов я сам распрягу. Ужин варить не будемо. Консервы выдам хлопцям — и все.

Действуя от имени начальника штаба и даже от имени самого генерала, Пинчук сравнительно легко выдворил из крайней хаты бойцов транспортной роты какого-то полка, остановившихся проездом и не особенно торопившихся покинуть пределы Веселой Зорьки, хотя делать им тут было явно нечего. Последнее обстоятельство, должно быть, и явилось веской причиной того, что транспортники без скандала сдали свои позиции.

В распоряжении разведчиков оказалась маленькая, но в общем довольно уютная хатка, такой же малюсенький дворик и единственный хлевушок. Поместиться в хате все не смогли. Пришлось «освоить» и хлевушок. Бойцы натаскали в него свежей соломы и улеглись. Коней привязали к повозкам. Кузьмич вытащил из мешка сухие попоны и укрыл от дождя своих лошадей. Для битюгов у него нашлось два серых трофейных одеяла. Кузьмич долго еще не уходил со двора, хотя Наташа уже несколько раз выбегала из хаты и звала его пить чай, до которого он был большой охотник.

Когда разведчики, помывшись в бане, улеглись спать, вернулась хозяйка дома. Она подошла к Пинчуку, все еще возившемуся со своим добром во дворе.

— Товарищ красноармеец!.. Это мой дом. Я убегала в Зеленое, боялась, что немцы опять Веселую Зорьку займут. Как мне быть теперь? — в одной руке молодая

женщина держала маленького хлопца, а в другой, на поводу, — толстобрюхую корову.

Пинчук некоторое время молчал, озадаченный, видимо, ее приходом.

— Ну, будемо знайоми. Пинчук! — сказал он наконец.

— Татьяна.

Они поздоровались.

— Щож мени робыть з вамы?.. Пидемо в хату. Бо замерзне хлопець. Як звуть тебе, эй, хлопче?..

— Витей, — бойко ответил мальчуган и, не откладывая в долгий ящик, сообщил: — Мой папа тоже красноармеец! Он вернется домой и звезду мне даст. А еще пистолет — во! Дядя, а у тебя есть пистолет?.. Дай подержу!..

— Ишь ты якый вояка!.. Потим покажу. Иды з мамою до хаты, бо сопли змерзнуть. И ты, Татьяна, иды. Корову я сам в хлив поставлю. Вона що, тильна?

— Стельная. К рождеству должна...

Из хлевушка пришлось выселить сладко похрапывавших бойцов, чтобы водворить туда его законную владелицу — корову. Кузьмич, узнав об этом от хозяйки дома, вышел во двор и принес Буренке охапку доброго душистого сена. Буренка благодарно припала к нему своей белой, обслюнявленной мордой. Хлев быстро наполнился запахом этого добродушного животного. Старый солдат долго стоял возле коровы, прислушиваясь к ее шумным вздохам и жадно втягивая носом с детства знакомый аромат кормов и парного молока. Он положил ладони на высокий бок Буренки и почувствовал под руками глухие, быстрые толчки.

— Скоро... — таинственно прошептал он, и пронзительная грусть вторглась в его сердце.

Как давно оторван он от милого крестьянского труда! С какой жадностью и упоением пометал бы он сейчас сено на колхозном лугу! Старик ощутил знакомую, расслабляющую теплоту у глаз и закусил левый ус. Живо представилось ему далекое селение, затерянное в бескрайной сибирской тайге, все, что было святым для него, навечно дорогим и незабываемым. Теперь там зима. Сосны и дома покрыты снегом. Сугробы, сугробы, сугробы кругом. И нет им конца. Снег скрипит под ногами, бьется белой пылью из-под копыт резвых двухлеток, выпущен-

ных на прогулку. Водопой. Длинная долбленая колода, бархатно замшелая внутри. От воды курится легкий холодный пар. Из ноздрей жеребят — тоже. Стоят в безветрии дымы над убранными во все белое домами. От правления колхоза идут мужики, женщины. Озабоченно толкуют о своих делах. В снежном вихре кувыркаются ребятишки, кузьмичова слабость...

Старик вздрогнул, очнувшись, забормотал сердито:

— Раскис, дуралей...

Вышел во двор. Постоял немного и направился в хату.

В доме никто не спал. Разбуженные хозяйкой, разведчики наперебой предлагали ей свои услуги. Больше всех почему-то усердствовал Вася Камушкин. Для женской части обитателей хаты была отведена печь. Разведчики расстелили на ней свои плащ-палатки, в головы положили куртки. Витька сидел на руках у комсорга и уплетал солдатский хлеб. Мальчик ел его с величайшим наслаждением, потому что это был не обыкновенный, мамин, хлеб, а красноармейский!

— Пойдешь, Витька, с нами немца бить, подарю тебе вот эту картину! — Камушкин вырвал из альбома лист и подал его мальчугану. Там был изображен бой разведчиков с гитлеровцами. Витька пришел в восторг от рисунка.

— А я знаю, кто это! — и он ткнул пальцем в картинку.

— Кто?

— Вот тот большой дядя, который на полу, — сообщил Витька, указывая на вернувшегося недавно от Васильева лейтенанта Забарова.

— Верно, Витя, он.

— Когда я вырасту с того дядю, тоже буду бить, — сказал Витька.

— Кого же ты будешь бить тогда?

— Фашистов!

Разведчики рассмеялись.

— Когда ты, хлопчина, вырастешь, может, и бить уже некого будет,— сказал Кузьмич и старчески вздохнул.

— Как сказать, может быть, и найдется кого...— возразил Камушкин, неожиданно ставший серьезным и сумрачным: — Врагов у нас еще хватит...

Утром собрались проведать Шахаева. Он находился в медсанбате. Вася Камушкин побежал в редакцию за

свежей газетой. Встретившись с Верой возле полевой почты, он узнал от нее о судьбе Сеньки: Ванин, раненный еще на Днепре, находился теперь в армейском полевом госпитале. Вера на попутных машинах ездила к нему. Сенька сказал ей, что «припухать» ему осталось в госпитале недолго, попробует выписаться быстрей, а если врачи воспротивятся, — убежит. Передавал всем привет, спрашивал, не слышно ли чего об Акиме, — грустит он о нем. Ему все кажется, что Аким жив Справлялся и о Наташе, здорова ли и как себя чувствует. Сенька считал, что он и перед ней виноват.

Вместе с солдатами к Шахаеву пришла и Наташа. Медсанбат располагался в двух километрах от Веселой Зорьки, в молодом дубовом лесу, огороженном со всех сторон глубокой канавой. Дежурная сестра провела разведчиков в палатку, где лежал парторг. На ходу она сообщила Наташе:

— Ваша кровь, товарищ Голубева, ему очень помогла. Теперь опасность миновала. Он уже хорошо разговаривает, может сидеть. В госпиталь эвакуироваться наотрез отказался. Врачи хотели его все-таки отправить, но начальник политотдела вступился, велел лечить на месте...

Шахаев спал. Разведчики хотели было уйти, но он проснулся, остановил их, оснувшийся, посмотрел на ребят счастливыми глазами. Признался:

— Думал, забыли совсем. Обидно стало. Горько даже как-то... Вот штука какая... — он говорил с паузами, видно, еще кружилась голова, а в черных раскосых глазах — воспаленный, но живой и, как всегда, умный, проницательный блеск. — А ведь в сущности-то вы не виноваты. Не было у вас времени — и не пришли... А я так... слабость дурацкая... Эгоизм глупый. Над собой сжалился. Нехорошо, — строго осудил он себя и вдруг спросил: — А где же Ванин, Камушкин?

О Сеньке ему тут же все рассказали, а насчет Камушкина успокоили: «Прибежит сейчас, за газетами пошел».

Наташа стояла в сторонке. Ей почему-то было неловко смотреть на парторга, стеснялась. Она вспомнила, как на Днепре, потеряв сознание, он называл ее имя. Шахаев тоже немного смущался от ее присутствия

— А я тут политинформацию провожу, — рассказывал он, обращаясь к разведчикам.— Скучно без дела. Да

и народ вокруг интересный. Вчера один рядом лежал... руку ему отрезали... из новеньких. Спрашивает меня: «Рассказали бы вы нам, как это получается, что нас никто, никакая сила не может одолеть!» Вопрос, как видите, серьезный... в пору хоть «Краткий курс» открывай... А мне, признаться, говорить трудно было... Чувствую, не могу объяснить толком. Сил нет, да и разучился... А хотелось ответить...

Шахаев не договорил. Тихая улыбка тронула его большие сухие губы. Разведчики ждали, что он скажет еще.

— Объяснил... но, кажется, плохо. Не понял меня вроде тот безрукий... И все же приятно: люди наши много думать стали... Вот, наверное, этот паренек раньше не задумывался над таким вопросом, а сейчас... словно он лично отвечает перед всем миром и все должен знать. Это... — помолчал немного и закончил убежденно: — Хорошо!

В палатку вбежал взъерошенный и сияющий Камушкин.

— Товарищи, слушайте, что я вам прочту,— выпалил он, не переводя дыхания, и даже позабыл поздороваться с Шахаевым.— Новость-то какая!

Не дожидаясь приглашения, Вася быстро развернул газету и торжественно, с дрожью в голосе, начал читать:

— «Указом Президиума Верховного Совета СССР присвоено звание Героя Советского Союза...»

Тут Вася сделал интригующую паузу, посмотрел сначала на Забарова, потом на парторга и, убедившись, что пауза сделала свое дело, продолжал:

«...гвардии подполковнику Баталину Григорию Ивановичу, гвардии подполковнику Тюлину Петру Васильевичу, гвардии капитану Крупицыну Александру Петровичу, гвардии старшему лейтенанту Гунько Петру Ивановичу».

Далее Камушкин пропустил несколько фамилий и прочел лишь подчеркнутые им:

«гвардии лейтенанту Забарову Федору Федосеевичу, гвардии старшему сержанту Шахаеву Шимы Сахаевичу».

— Указ подписали,— закончил Вася с той же торжественностью:— «Председатель Президиума Верховного

Совета СССР М. Калинин. Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. Горкин. Москва. Кремль».

И ликующий комсорг передал газету Шахаеву.

— Почитайте, пожалуйста!

Забаров наклонился к парторгу, и вместе они стали рассматривать газету. Потом Вася передал им обоим приветствия командира дивизии и начальника политотдела:

«Желаем вам успеха в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками и в личной жизни. Вся страна гордится вами, товарищ!»

— А генералу не присвоили разве?

— Как же, и ему присвоили! — сказал Камушкин и пояснил: — Про это в центральных газетах напечатано.

Шахаев бережно сложил газету и бумажку с приветствием, спрятал их под одеяло, закрыл лицо руками и положил голову на подушку.

Забаров крупными шагами ходил по палатке.

По брезенту хлестали холодные капли дождя. Ветер свистел в оголенных сучьях, раскачивая молодые деревца. За лесом стучали зенитки. Слышались раскаты бомбовых разрывов — третьи сутки кряду немцы бомбили большое село Зеленое, где теперь размещался штаб гвардейской армии. На разбитом грейдере ревели тягачи, танки, выбивались из последних сил грузовики. В лесу пахло грибами и шиповником, а также молодой дубовой корой.

Медсанбат жил по-будничному. Из операционной доносился спокойный и грубоватый голос хирурга. Повинуясь этому голосу, сновали по палаткам сестры и санитары. Смерть бойца на поле боя хоть и печальное, но все же обычное явление. К ней там привыкли, она никого не удивляет. Смерть в медсанбате — это уже чрезвычайное происшествие. Тут с ней борются, и, когда в этой борьбе она все-таки оказывается победительницей, люди, работающие в медсанбате, долго не находят себе места.

«Умер в медсанбате...»

Нет горше этой вести!

— Не могли спасти человека,— с болью и досадой говорят в таких случаях фронтовики.

Признаться, такого печального известия ожидали разведчики и о Шахаеве.

А он выжил! Выжил... и никогда не узнает, чья

кровь помогла ему победить в тяжелой борьбе со смертью. А врачи забудут: мало ли у них доноров...

— До свиданья, товарищ старший сержант! Выздоравливайте поскорее...

Девушка протянула ему свою маленькую руку. Шахаев чуть тронул ее и отпустил.

— До свиданья, Наташа. Спасибо, что пришла... К границе вместе пойдем!..

Разведчики вернулись в Веселую Зорьку. Там их ждала новость: лейтенант Марченко получил назначение в стрелковый батальон и ожидал Забарова, чтобы передать ему роту. Встретил он Федора холодновато, поздоровался через силу.

— Поздравляю, Забаров, с Героем... — он сунул свою тонкую нервную руку в огромную и горячую ладонь Федора.— Ухожу в батальон капитана Бойко, адъютантом старшим. Разведчиков приказано сдать тебе. Ты ведь теперь Герой, а я что... Заходи в гости, за Александровкой стоим...

Забаров сделал вид, что не чувствует холодка в голосе Марченко, и принял поздравление, как будто оно шло от чистого сердца.

— Спасибо, товарищ лейтенант. Как твоя рана?

— Пустяки. Заживет...

— Что ж, собрать разведчиков, будете прощаться?

— Не надо,— отрезал Марченко.— Давай принимай...

— А чего ее принимать? — удивился Забаров. — Я и так ее хорошо знаю,— он хотел сказать: «Я и так ею давно командую», но сдержался — не хотелось ссориться напоследок. Кроме того, ему было даже жаль прежнего своего начальника: как-никак, а ведь Марченко был когда-то храбрым офицером. Забаров хотел было дать лейтенанту несколько полезных советов, но не стал делать этого, зная, как не любит Марченко нравоучений. «Пропадешь ты, друг милый, ни за что! Оторвался от всех, идешь стороной, не прислушиваешься, что говорят о тебе, не видишь, что делается вокруг. Споткнешься, упадешь. Больно будет...» — думал Забаров, пристально всматриваясь в поджарую фигуру Марченко.

— В подразделении все в порядке. Так что можно формальности не соблюдать,— сказал Федор.

Марченко даже обрадовался этому: меньше канители!

— Что ж, тогда все! — он отвернулся от Забарова и направился в хату, куда только что вошла Наташа. Вызвал ее в сени.

— Прощай, Наташа, ухожу!.. — сказал он, взяв ее за обе руки.

— Куда же вы?

Марченко ответил.

Потом долго молчали.

— Значит, нет?.. — спросил Марченко и пристально посмотрел ей в глаза.

— О чем это вы?.. — испугалась Наташа.

Он ответил взглядом — печальным и требовательным. Девушка выдержала его взгляд, поняла все и испугалась еще больше.

Взгляд лейтенанта оскорблял все то святое и хорошее, что она так бережно хранила в своем сердце. Наташа посмотрела на Марченко сузившимися глазами.

— Как же можно... так?.. Как же?.. — и заплакала злыми слезами.

Марченко побледнел. Ему стало ясно, что это — конец, точка. Он резко оттолкнул ее от себя и выскочил на улицу.

Долго шагал, не зная куда. И только на другой стороне селения вспомнил, что его вызывал к себе начальник политотдела. Марченко направился прямо к нему. Демин принял его немедленно, но, предложив стул, попросил обождать — полковник разговаривал с капитаном Гуровым. На широком крестьянском столе перед ними лежала карта Румынии.

«Зачем она им понадобилась? — подумал Марченко. Профессиональное любопытство старого разведчика не давало ему покоя, и он пододвинулся поближе к столу. По лицу Демина, бледному и нахмуренному, было видно, что он чем-то недоволен, серые глаза его часто поднимались на инструктора.

— Я же просил вас, товарищ Гуров, отметить на карте все графские и боярские усадьбы. Почему вы этого не сделали? — строго, но, впрочем, спокойно спросил Демин.— Неужели вы не понимаете, как это для нас важно?

Гуров, по всей вероятности, действительно не понимал, а потому и ответил:

— Я считал, что это мы разметим потом, товарищ полковник...

— Они мне необходимы теперь, — сухо сказал Демин. — Завтра же приготовьте мне их. Привлеките к этому делу Бокулея. Он тоже кое-что подскажет. Парень, видать, толковый. Не забудьте также отметить на карте рабочие районы Румынии.

— Слушаюсь, товарищ полковник!

— Ну, а теперь можете итти. Передайте работникам политотдела, что вечером — совещание. Пусть вызовут замполитов из полков.

«Неужели к переходу границы готовятся?» — с трепетом подумал Марченко.

Гуров свернул карту и вышел.

Марченко не выдержал и спросил:

— В Румынию собрались, товарищ полковник? Далеко загадали.

Демин коротко, но внимательно посмотрел на лейтенанта.

— Почему же далеко? Это — наш завтрашний день. Я вас собственно и вызвал затем, чтобы предупредить: вы ведь теперь будете планировать вместе с комбатом бои. Но, планируя, не забывайте, что приближаемся к самому ответственному и трудному рубежу. Судя по всему, нам придется перенести свои военные действия за границы нашей земли. Это накладывает на нас огромнейшую ответственность. Там, на чужой земле, на каждого нашего солдата будут смотреть как на представителя нового мира. Он, советский солдат, должен принести не только освобождение народам Европы, но и святую правду о своей великой Родине. Пусть он пройдет по чужим землям как знаменосец всего передового, светлого, разумного...

Демин говорил негромко. На его щеках появился слабый румянец.

— Не забывайте же об этом, готовьте солдат к великой миссии! — не повышая голоса, добавил начподив.

В продолжение всего разговора он ни разу не напомнил лейтенанту, что тот отстранен от командования разведротой и заменен Забаровым. Напротив, Демин усиленно подчеркивал большую ответственность работы

адъютанта батальона. Марченко оценил это и с благодарностью смотрел на начальника политотдела.

— Спасибо, товарищ полковник!.. — взволнованно проговорил лейтенант. — Я не забуду ваших слов!.. До свиданья!..

— До свиданья! Главное— побольше находитесь среди солдат. Прислушивайтесь к их разговорам, больше заботьтесь о них.

Марченко ушел, и Демин остался один. Вспомнил, что еще с утра к нему приходил старшина разведчиков. Смущенно сопя и теребя свисающие усы, безмерно счастливый, Тарасович попросил начальника политотдела:

— От жинки письмо получив, товарищ полковник. Може, прочтете?.. И дочка теж...

— Обязательно прочту, Петр Тарасович! — взволнованный не меньше Пинчука, ответил Демин.

И вот только сейчас он торопливо извлек из конверта листок. Перед глазами побежали незнакомые, но до боли сердечной родные строчки. Живы-здоровы. Ждут своего батьку. А это что? Стихи, сочинила пинчукова пятилетняя дочурка? А ну!..

Папы нету дома
И не может быть,
Потому что папа
Должен нефцев бить.

Не «нефцев», девочка, а немцев, фашистов!.. Дай-ка мы поправим... вот теперь так!..

Демин на минуту задумался. Вдруг, ощутив теплоту под глазами, засуетился, замигал ресницами, растерянно поглядел вокруг себя и почувствовал, что не может больше оставаться в своей комнате. Быстро одевшись, он направился в политотдел. На улице мела поземка. Колючие снежинки впивались в лицо. Полковник, сильно нагнувшись и борясь с ветром, твердо ставил свои короткие ноги, стараясь итти быстрее.

Он торопился...

2

Сенька Ванин на попутной машине возвращался из госпиталя в свою дивизию. Его физиономия сияла довольной плутовской ухмылкой. А ведь совсем недавно ему пришлось пережить немало неприятных минут. На-

чальник госпиталя, тучный седовласый подполковник, хотел было направить выздоравливающего гвардии ефрейтора Ванина Семена, как это полагалось, в армейский запасной полк. Сенька до глубины души был обижен этим и устроил начальнику настоящую обструкцию. Но, сообразив, что этот крик души к добру не приведет, Ванин скорехонько перестроился:

— Да вы знаете, товарищ подполковник медицинской службы, какая у нас дивизия! — чуть не плача, продолжал он.— Ведь она — заслуженная, я ее ветеран!.. А вы меня в какой-то там запасной...

И начальник госпиталя уступил.

— Как ее... эту вашу дивизию... э... зовут? — проворчал он в свои обвисшие, как у Пинчука, усы и позвал писаря.

— Значит, так,— начал Сенька с великим удовольствием: — Пишите: Гвардейская Красноградская ордена Ленина дважды Краснознаменная...

Но начальник госпиталя охладил Сеньку.

— Номер какой? — равнодушно спросил он.

Сенька сообщил номер дивизии. Затем, взяв направление, пробкой вылетел из госпиталя и помчался к регулировочному пункту.

Недалеко от линии фронта он покинул машину, свернул на проселочную дорогу, закурил и торопливой легкой походкой пошел в свою дивизию. Гонимые ветром «перекати-поле» перебегали ему дорогу. Кое-где Ванин шагал прямиком, сокращая путь. Откуда-то выскакивали сонные зайцы, скакали над зеленым ковром озими, которая, чуть прихваченная заморозком, хрустела под ногами бойца. Кое-где попадались одинокие трупы немецких солдат. С них неслышно снимались древние вороны и улетали на другое место. Встречались также брошенные врагом автомашины и бронетранспортеры с кучами пулеметных лент и рыжими солдатскими ранцами в кузовах. Сенька по привычке подходил к машинам. Однако за последнее время к трофеям он сильно охладел. Сейчас он прихватил только из одной машины немецкий автомат с запасом патронов, сказав при этом:

— Ковпаку пригодится.

Сенька почему-то был глубоко убежден, что все трофейное оружие обязательно отправляется к партизанам, орудовавшим в тылу врага.

Проверив исправность подобранного оружия, Сенька зашагал дальше. Вскоре он повстречался с одним красноармейцем. Тот бежал с каким-то поручением в штаб корпуса. Ванин спросил его, как всегда спрашивают в таких случаях встречающиеся фронтовики:

— Из какого хозяйства, пехота?

Боец, немного помявшись, назвал номер соседней дивизии. Сенька тоже не стал секретничать.

— Знаю вашу дивизию,— сказал боец улыбаясь.— Это ведь про нее говорят: «Мимо-Харьковская, возле-Полтавская, около-Кременчугская, Непромокаемая, Непросыхаемая...»

Сенька возмутился:

— Знаешь что, ты, краснобай!..

Но у солдата была такая пребезобидная физиономия, что Сенька сразу заметно остыл:

— Ну вот что, непросыхаемый, пока я тебе по морде не надавал, иди своей дорогой! Иди, иди, не то отмолочу и плакать не разрешу! — серьезно добавил он.

Но отойдя от бойца, Сенька вдруг рассмеялся. Понравилось ему это «Непросыхаемая, Непромокаемая». Большая правда была в этих словах. В самом деле, за всю войну дивизия, в которой служил Сенька, ни разу не отводилась на переформирование. На переднем же крае ее редко сменяли. А если и сменяли, то вовсе не затем, чтобы отводить на отдых, а для переброски на другой, более тяжелый, хотя часто малозаметный, участок фронта.

— «Непромокаемая, Непросыхаемая!..» Придумают же, черти! — завидовал Сенька солдатскому остроумию, убыстряя и без того бойкий шаг.

Ему встретился еще один красноармеец, помоложе первого. Опытным взором бывалого солдата Сенька оценил: зелен, из новичков... и ватные брюки сползают, тонкозадый еще.

Солдат оказался из «хозяйства» Сизова. Они присели на пеньке, завернули папироски. Ванин не вытерпел и попросил красноармейца сообщить полное наименование дивизии, втайне думая о том, не украсилось ли ее название каким-либо новым орденом или городом.

Но, кроме номера и гвардейского звания, красноармеец ничего больше не знал о дивизии. И Ванин вдруг почувствовал непреодолимое желание рассказать ему

о боевых заслугах дивизии, как иногда хочется поведать все о своем большом и умном друге. Он вынул из вещевого мешка карту с пометками взятых ими населенных пунктов и стал рассказывать о всех походах, в которых участвовала дивизия, о том, как пришла к ней гвардейская слава, как на ее знамени засверкали орден Ленина и два ордена Красного Знамени.

— Вот тебе и Непромокаемая-Непросыхаемая!..— заключил он, обнимая одной рукой не понявшего последних слов бойца.

Сенька умолк. Он хотел еще что-то добавить значительное, но нехватило красноречия. Однако лицо его, ставшее вдруг не по-обычному серьезным, честное и лукавое солдатское лицо говорило лучше всяких слов. Оно светилось тем негасимым светом, который исходит только из глубины чистого и горячего сердца.

Ванин заметил в кармане красноармейца фронтовую газету. Не спрашивая разрешения, вынул ее, развернул и перво-наперво прочел «От Советского Информбюро».

— Неплохо,— заключил он.

Потом отыскал информацию о действиях союзников. Она была, как всегда, очень скудна.

— А ну, посмотрим, что они делают! Много ли ярдов отмахали? — и лицо его приняло дурашливое выражение. Прочел нарочито громко, словно декламируя:

— «Продвижение войск союзников в Италии. Лондон. Штаб войск союзников в Северной Африке сообщает, что ввиду плохой погоды и произведенных противником разрушений на фронте английской 8-й армии операции ограничивались действиями патрулей».

— Ничего себе воюют. Штаб загорает где-то в Сахаре, а войска в Италии ждут, когда дождичек перестанет... А нам и плохая погода как будто впрок. Опять Первый Украинский больше ста населенных пунктов освободил вчера.

— Сравнил! Так-то ж мы!..— не выдержал красноармеец, которому, судя по выражению его лица, даже такое сопоставление показалось оскорбительным для Красной Армии.

Сенька не стал спорить со своим случайным собеседником.

— То, что они — неважные вояки, давно всем известно,— охотно подтвердил он.— Но тут, дружок, если по-

раскинуть умом, другое вытекает: они, союзнички-то наши, чорт бы их забрал совсем, не торопятся еще и потому, чтобы мы побольше повоевали с немцами да силы свои поистратили. А кончится война, они тут как тут: извольте-ка подчиниться нам — у нас сила сохранилась!..— Сенька скорчил страшную рожу, пытаясь изобразить Черчилля, и ему, кажется, удалось это.— Дураки они!.. Разве сталь не становится прочней от огня! — закончил Ванин и, гордый, торжественный, начал прощаться с бойцом: — Ну, ладно, будь здоров, приятель! — весело сказал он, явно довольный тем, что повстречал такого горячего единомышленника в оценке поведения союзников.

Самой интересной, однако, была третья встреча. Идя прямиком, по бездорожью, Ванин вдруг заметил, как на поле шевельнулся сноп соломы. Почуяв в этом недоброе, он снял с плеча автомат и стал медленно и осторожно подходить к подозрительному месту. Вскоре он различил полу не в меру длинной потрепанной немецкой шинели и, надувшись, отчаянно крикнул:

— Хальт!.. Хенде хох!..

Сноп отлетел в сторону, и перед Сенькой предстал замурзанный, тощий и перепуганный немец. Он послушно задрал вверх руки, глядел на Сеньку маленькими слезившимися глазами. Губы его, синие от холода, мелко дрожали.

— Какой же ты... жалкий!..— сквозь зубы процедил Ванин, с величайшим презрением осматривая врага.

Коротким, привычным движением вскинул автомат. Поднял его на уровень побледневшего от безумного страха лица немца и вдруг, вспомнив что-то, быстро опустил оружие. Гоняя под скулами желваки, Ванин прохрипел:

— Счастье твое, фриц!.. Попался бы ты мне в другом месте! — повесив автомат на плечо и показывая рукой в сторону Веселой Зорьки, он резко скомандовал: — Ком!.. Ком!.. Шнель, говорю, ну!..

Немец понял и послушно зашагал вперед, все время оглядываясь.

— Да не трону!.. Топай! Ишь как смерти-то боится!..

Перед этим Сенька обыскал пленного и нашел в его кармане небольшой лист бумаги, наполовину исписанный.

«Гуров переведет, что там написано»,— решил он,

Ванину не хотелось возиться с немцем, но он все-таки довел его до Веселой Зорьки и сдал инструктору политотдела.

— «Языка» привел вам, товарищ капитан, из нашего тыла!..— сказал Сенька и, передав найденный в кармане пленника недописанный лист, попросил: — Переведите, товарищ капитан. Любопытно, что он там накропал...

Гуров перевел конец письма.

«На всем пути отступления от Белгорода,— жаловался кому-то немец,— наша дивизия несла большие потери. Солдаты хотели как можно скорее перебраться на правый берег Днепра. Каждый считал, да и командиры в этом уверяли, что спасение возможно только там, за рекой. Офицеры говорили, что через этот водный рубеж не пройдет ни один русский солдат».

— Ишь ты — «не пройдет». А вот прошли! — выпуклые глаза Ванина загорелись.— Недаром генерал так торопил нас к Днепру. Знал наш комдив замысел фашистов!.. Значит, провалился ваш вал... а? Что же ты молчишь?.. Эх ты, вояка! — Ванин энергично сплюнул и быстро распрощался с Гуровым. Уже у порога вспомнил: — А Бокулей где?.. Скоро, глядишь, до его Румынии дотопаем. Вот оно как обернулось!..

Выйдя от капитана, Ванин быстро отыскал свою роту. Его появление было встречено восторженно: скучно было разведчикам без Сеньки.

— А где Камушкин? — первым долгом спросил Ванин и закричал: — Рядовой Камушкин, ко мне!

С того момента, как Вася привлек Сеньку к комсомольской работе, между ними завязалась крепкая дружба.

— В доме он, а зачем нада? — спросил Али Каримов, глядя на Сеньку своими вечно удивленными глазами.

— А какое ты имеешь право задавать такие вопросы старшим? — заметил Сенька и прошел в хату.

То, что он там увидел, сильно рассмешило его: Вася, встав на четвереньки, возил на своей спине хохочущего мальчугана. Счастливая мать издали любовалась этой забавой.

— Себя в коня преобразив, — продекламировал Сенька.— Здорово, Репин!..

Камушкин, осторожно сняв со спины Витьку, подбежал к Сеньке.

— Вернулся?

— Такие вопросы, Вася, можно и не задавать, поскольку это уже очевидный факт. Капитальный ремонт закончен, и гвардии ефрейтор Ванин возвращен в строй. В дивизии прибавился еще один активный штык... Ну, как дела? Рассказывай.

— Спасибо. А у тебя?

— Я уж доложил, хотя по уставу первым должен докладывать ты, Вася, потому как рядовой... В разведку частенько ходите?

— Не очень. Генерал отдыхать приказал. Вот, говорит, будем подходить к границе, тогда не дам вам отдыха!..

— Ну, а как он?

— Кто? — не понял комсорг.

— Комдив-то наш?..

— Живой-здоровый. Героя присвоили.

— Да ну?!

— А ты разве не слыхал? Не только ему. Шахаев с Забаровым тоже стали Героями Советского Союза. Крупицыну посмертно присвоили...

— Да, товарищ капитан!.. Не дождался ты великой награды, жалко... А где парторг?.. Все еще в медсанбате?.. Пойду сейчас туда, поздравлю Шахаева!.. Ну, а генерал-то, что он, как? — допытывался обрадованный Сенька.

— Статью напечатал в «дивизионке». Учит в ней солдат, как надо преследовать отступающего противника. У него, генерала-то, голова!..

— Ученый он, известное дело! — быстро подтвердил Сенька.

— Говорят, он и стихи пишет.

— Ну, это брехня! — словно оскорбившись за комдива, решительно возразил Ванин.— Будет он такими пустяками заниматься! Это наш Аким...

Сенька сразу же осекся и замолчал.

Как раз в эту минуту со двора раздался истошный крик:

— Воздух!

«Ничего себе встреча!» — мелькнуло в голове Сеньки. Они вместе с Камушкиным выскочили на улицу. Немец-

кие самолеты уже делали широкие, снижающиеся круги над Веселой Зорькой. Разведчики выскочили на огород и попрятались в щелях. Прыгнул в маленький окоп, вырытый около дома, и Вася Камушкин.

Татьяна выбежала на двор в тот момент, когда первый самолет уже пошел в пике, оглушая окрестность нестерпимым воем. Молодая женщина металась с мальчуганом на руках. С перепугу он даже не плакал. Бледная и растрепанная, как большая птица, она бросалась из стороны в сторону, ища убежища.

— Таня!.. Танюша!.. — Камушкин выскочил из своей щели и силой толкнул туда женщину с ребенком. Самому ему теперь укрыться было уже негде. Он упал на землю, уткнув голову в неглубокую ямку. В тот же миг прогрохотало несколько взрывов. Запах взрывчатки поплыл над огородом. Когда бомбежка кончилась, разведчики увидели, что Камушкин засыпан землей. Его быстро откопали. Бледного, почти без признаков жизни, Васю отнесли в хату. Наташа стала оказывать ему первую помощь. Он долго не приходил в сознание. Татьяна ни на секунду не отходила от него. А когда комсорг открыл глаза и на его конопатом лице разлился робкий румянец, она впервые утерла слезы и, счастливая, улыбнулась.

— Спасибо тебе, Вася... Мой милый!..

— Зачем это, Татьяна Васильевна! — искренне удивился Камушкин. Он еще никак не мог понять, что же собственно произошло.

Среди голых вишневых деревьев, изгрызанных осколками, стоял, поджав одну заднюю ногу, рыжий, раненный осколком бомбы битюг Михаила Лачуги. Он косил подернувшийся сумеречью глаз на повара, тщательно целившегося из револьвера в его большую, тяжелую голову.

А к вечеру кто-то вихрем промчался по двору с ошеломляюще-радостной вестью:

— Киев освобожден!

И тут как-то все вдруг вспомнили, что это произошло накануне всенародного праздника.

— Ось який подарок к великому дню,— торжествовал Пинчук.

В комнату, где Камушкин налаживал радиоприемник, устремилась вся рота. Вернулся, наконец, из мед-

санбата и парторг Шахаев,— это усилило праздничное настроение. Маленькая, уютно прибранная хатка с земляным полом наполнилась неприхотливыми гостями. Сияющая Татьяна протискивалась между ними, приглашала:

— Рассаживайтесь, ребята, рассаживайтесь!.. Можно вот на лавку и на кровать, что ей сделается... Вот стулья берите! Может, покушали б сначала...

— О нас не беспокойся, хозяйка,— сказал Сенька.— Покуда харч свой имеем, наркомовский. По бабушкиному аттестату питаемся только в крайних случаях, в наступлении, когда наши интенданты подвозить не успевают, в кюветах торчат со своими машинами...

В голубоватой коробке приемника раздался пискливый, комариный звук: «пи-пи-и-и-и». Вася, зачинив два карандаша и устроившись у края стола, положил перед собой замызганный блокнот. Несмотря на то, что голова его все еще немного кружилась, он решил во что бы то ни стало записать хоть отрывки из сталинского доклада. Навалившись друг на друга, разведчики сгрудились, приготовились слушать. Никто не спускал глаз с зеленого глазка. Ждали. Кто-то выразил опасение:

— Может, в этом году не будут передавать доклад.

Ему не дали договорить, зашумели:

— Это почему же?

— Вот выдумал тоже!

— Нет, обязательно будут!

— Да я просто так сказал...— оправдывался усомнившийся.

Вышедшая было на улицу Татьяна быстро вернулась:

— Что вы, ребята, слушать собрались?

— Доклад, Танюша! — ответил Камушкин и почему-то покраснел до корней волос.

— Доклад?! — женщина чуть не вскрикнула от крайнего изумления.— Боже ты мой!.. Ребята, дорогие мои, пропустите меня поближе!.. Сколько уж мы не слышали его!..

— Проходите, проходите сюда, Татьяна Васильевна,— солдаты расступились, давая место хозяйке. Пинчук, стоявший рядом с ней, почувствовал, как руки женщины мелко дрожат.

В приемнике зашумело, зеленая лампочка замигала чаще.

— Тише... тише!.. — сказали все вместе, предостерегающе поднимая руки.— Сейчас начнет...

Кончик карандаша прыгал на белом листе камушкинского блокнота, словно выклевывал что. В хате воцарилась напряженная тишина. Приглушив дыхание, бойцы прислушивались к трогательной мелодии позывной, согревавшей их сердца. Наконец, после долгих оваций, морским прибоем доносившихся сюда, на некоторое время в приемнике стихло, стоял лишь ровный шум ламп да изредка прорывался нетерпеливый кашель. И вдруг разведчики услышали такой знакомый, глуховатый голос:

«Товарищи!

Сегодня народы Советского Союза празднуют 26-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции».

Голос на минуту смолк. Отчетливо послышалось бульканье воды в графине. Татьяна, не выдержав, всхлипнула и, виновато взглянув на застывших в напряженном внимании солдат, торопливо и сбивчиво проговорила:

— Вот так же... в сорок первом... третьего июля...

Спохватившись, прикрыла рот концом платка.

«Третий раз наша страна в обстановке Отечественной войны,— доносила Москва голос вождя,— отмечает годовщину своей народной революции».

Татьяна поднялась со скамьи и, зажав платком глаза, отошла от солдат, видимо стыдясь собственных слез. Потом она подумала, что Сталина не услышат ее односельчане — ведь приемников в поселке не было. Она выскочила на улицу, накрывшись шерстяным платком. А в ее маленькой избенке властвовал неторопливый, спокойный голос:

«Истекший год — от 25-й до 26-й годовщины Октября — является переломным годом Отечественной войны».

Рука комсорга металась по бумаге, записывая сталинские слова. Шахаев прочитывал написанное Камушкиным и откладывал листочки в сторону.

«Теперь,— неслось из аппарата,— когда Красная Армия, развивая успехи зимней кампании, нанесла немецким войскам могучий удар летом, можно считать окончательно похороненной басню о том, что Красная

Армия неспособна будто бы вести успешное наступление в летнее время. Истекший год показал, что Красная Армия так же хорошо может наступать летом, как и зимой».

— Конец этой басне, ясное дело! — не удержался Ванин, за что и получил сразу несколько добрых тумаков.

«...Вражеские войска оказались отброшенными от Владикавказа до Херсона, от Элисты до Кривого Рога, от Сталинграда до Киева, от Воронежа до Гомеля, от Вязьмы и Ржева до подступов Орши и Витебска».

Разведчики не заметили, как вернулась с улицы Татьяна, как ее хату окружила плотная толпа колхозников. Гордая от сознания, что голос вождя услышат и ее односельчане, хозяйка осторожно присела на свое место и затихла, счастливая.

Во всех окнах торчали курносые мордочки белоголовых ребятишек. Люди теснились, переспрашивали друг друга о плохо расслышанном. Кто-то неосторожно надавил на стекло, и оно со звоном полетело на пол хаты. Татьяна даже не обернулась, она смотрела только на приемник, перебирая руками курчавый чуб сидевшего у нее на коленях ребенка. В разбитое окно просунулась лохматая седоволосая голова какого-то деда; разинув беззубый рот, он дышал прямо в затылок примостившегося у окна Сеньки. Едва прозвучали сталинские слова: «Теперь Красная Армия успешно громит врага по ту сторону Днепра», дед так громко и молодо гаркнул «ура», что Ванин подпрыгнул от неожиданности. На улице подхватили:

— Ура-а-а!..

Подбежавшему к окну Пинчуку с трудом удалось утихомирить толпу:

— Послухайтэ сначала. А тоди будэмо митингуваты!..

В комнате стало жарко. Лица солдат раскраснелись. Глаза сверкали. А Москва говорила и говорила с ними мудрым голосом великого вождя.

«Если битва под Сталинградом предвещала закат немецко-фашистской армии, то битва под Курском поставила её перед катастрофой».

— Чорта с два теперь немец оправится! — снова вставил Сенька, и на него опять гневно зашикали.

Товарищ Сталин неторопливо продолжал. А когда из приемника вырвались слова: «Фашистская Германия переживает глубокий кризис. Она стоит перед своей катастрофой», не вытерпели и остальные, комната наполнилась разноголосым гулом.

Доклад уже давно закончился, а у дома Татьяны все еще толпился народ. Хозяйка чувствовала себя именинницей. Она взяла у Шахаева переписанные им начисто некоторые места из доклада и, выйдя во двор, читала их и перечитывала хуторянам, которые, однако, требовали все нового и нового чтения: то один из них не расслышит каких-либо слов, то кто-нибудь опоздает, и все просят еще раз перечитать. Шахаев и Татьяна читали по очереди. А старшина Пинчук, примостившись на бревне, возле хлевушка, уже степенно беседовал с тем кудлатым старичком, который нечаянно выдавил стекло. Трудно сказать, когда они познакомились. Только Петру уже было известно, что дед этот — бывший инспектор по качеству в своей артели.

— Почему же «бывший»? — говорил ему Петр.— Ты и зараз являешься им. Тилькы пора за дело браться, диду. Насчет семян позаботьтесь. Весна незаметно приде.

— Где их сейчас взять, сынок, семян-то?.. Разве государство какую ссуду даст.

— Государство-то даст, диду. За радяньской властью дило не встанет. Но треба и самим принимать меры. Ты вот пройди по колгоспникам, кажи им,— пусть по одному зернышку соберут и принесут в колгоспный амбар. Никто не пожалее...

— А ведь, пожалуй... завтра с утра и начну.

— Обязательно начни. Да вот и доклад товарища Сталина с собой возьми. Вин здорово тебе поможет,— Пинчук говорил громко и почти в самое ухо старику, так как во дворе все еще стоял шум.

Разошлись по своим домам заполночь. А утром по Веселой Зорьке началось такое гулянье, которого солдаты давно уже не видывали. В хату к Татьяне явился старикан, с которым вчера беседовал Пинчук о делах артели. Дед был явно во хмелю. Потоптавшись у порога и тщательно вытерев о половицу большие солдатские ботинки, густо смазанные солидолом, он приблизился к хозяйке.

— Ты уж прости меня, старого дурня, Татьяна Васильевна, невзначай... вот те крест!.. Малец толкнул, паршивый бесенок!.. А окно я сам вставлю.— Заметив в хате Пинчука, колдующего над строевой запиской, дед обратился к нему: — А насчет того, товарищ, не беспокойся. Завтра же приступаем. С председателем я уже имел разговор. Он согласный. Завтра, прямо с утра... А ныне вроде неловко, праздник дуже великий... А вам, ребяты, спасибо от всего нашего колхоза. Порадовали вы нас!..— старик поклонился разведчикам и вышел, солидно покряхтывая в сенцах. Сенька видел в окно, как он, подпрыгивая, пошел по улице, неся подмышкой свой суковатый посох.

— Гляньте, товарищи, как нарезает дедок! И про посох забыл, дует — ног под собой не слышит!..

Сказав это, Сенька вдруг поднял нос и принюхался.

— Чего это вы там затеяли, Татьяна Васильевна? — спросил он хозяйку, хлопотавшую возле печки.— Не для нас ли стараетесь?

— А для кого ж? Для вас,— просто ответила Татьяна.

Разглядев в ведре, стоявшем у порога, мокрые перья, Ванин сообразил, что́ произошло, пока они спали. Сенька еще вчера, слоняясь по двору, видел двух пестрых курочек, которые важно прохаживались по мякинной завалинке и безмятежно клевали замазку в окнах. Вот их-то и порешила ради праздника вконец растроганная молодая хозяйка.

— Ну, уж это ты зря! — лицемерно обижался Сенька.— Последних курей перевести!.. Неслись, наверное, пеструшки...

— Живы будем — наживем. Садитесь.

Разведчики расселись тесным кружком, по-семейному. В предвкушении сытного обеда шумно заговорили. Мишка Лачуга, торжественный, как на свадьбе, метал на стол разные кушанья. Ему помогала хозяйка. Солнечные зайчики играли на сияющих лицах бойцов. Забаров шепнул что-то на ухо Пинчуку, и тот на цыпочках, словно боясь разбудить кого-то, вышел из хаты. Сенька подмигнул сидевшему рядом с ним Камушкину. Вася посмотрел на Ванина и, встретившись с его зелеными играющими глазами, покачал головой. Ребята переглянулись и сразу, точно по команде, расхохотались.

Пинчук вернулся с несколькими запотевшими флягами. Разлил водку по жестяным кружкам. Солдаты оживились, зашумели. Вот она — боевая, дружная семья,— вся в сборе. «Только... только *его* нет среди них. И никогда, никогда не будет...»

Наташа почувствовала, что может разрыдаться, и, тихо выйдя из-за стола, почти бегом направилась к двери. Выскочив на улицу, она дала волю своим слезам. Девушка плакала и не слышала, как кто-то вышел вслед за ней. Чьи-то теплые руки осторожно легли на ее вздрагивающие узкие плечи. Она обернулась и увидела Шахаева...

3

Зима наступала медленно и осторожно. Сначала она выслала далеко вперед свои боевые разъезды — резкие, пронизывающие ветры. Они шарили по рощам, прощупывали каждую полянку, а ночью, вырвавшись в степь, лихо носились, гоняя, точно зайцев, «перекати-поле»; стремительным кавалерийским наскоком влетали в села и хутора; заскакивали в солдатские окопы и, обнаглев, срывали с какого-нибудь зазевавшегося солдатика заношенную пилотку, которая давно уже попрашивала себе смены. И, будто разведав хорошенько и убедившись, что противник ее слаб, зима ринулась в общее наступление и в одну ночь стала полновластной хозяйкой огромных степных просторов; снег, уже не опасаясь, валил валом, быстро созидая белые насыпи и курганы. На завалинках хат, около задернутых искуснейшими рисунками окон, запрыгали синицы, беспокойно зачирикали воробьи. По солдатским окопам с подвывом металась поземка, обжигая щеки бойцов колючими, мельчайшими снежинками. Поскучнели вишневые сады, роптали под злым ветром нагие яблони, беспомощно взирая на то, как гложут их сочную кору острые, точно бритва, желтоватые резцы опушившихся зайцев. Из глубокой, заросшей кустарником пади выводила свой обматеревший выводок старая волчица. Зима сделала хищников смелей.

В течение декабря гвардейская армия — в ее состав входила и дивизия генерала Сизова — предприняла операцию, которую в официальных сводках обычно называют боями местного значения. В результате многоднев-

ных изнурительных схваток с врагом за отдельные населенные пункты, высоты, дороги и многочисленные в этих местах посадки и небольшие рощи советские войска подошли к Кировограду — крупному областному и промышленному центру Украины. Здесь армия остановилась и стала готовиться к штурму города.

Дивизия Сизова разместилась в большом селении Верблюжка. На этом рубеже она встретила новый год — год, который сулил и новые большие победы.

Разведчиков Забарова почти не посылали в поиск. Их выручали другие разведчики, которые в те дни действовали весьма успешно. Солдаты лейтенанта Забарова разучивали новый Государственный гимн, отдыхали, получали теплое обмундирование. Докторович распорядился отпустить разведчикам все, что полагалось по зимнему плану. При этом он не забыл заметить:

— Мне дали — я и выдаю...

Пинчук вовсю расхваливал хозяйственный ум начальника АХЧ. Похвалил он и кладовщика — рядового Дрыня, но скоро убедился, что сделал это совершенно напрасно. Завскладом вещевого имущества Иван Дрынь был человеком на редкость прижимистым и всегда старался всучить БУ[1] вместо нового обмундирования. На этот раз он в скупости превзошел даже самого себя: вопреки распоряжению начальника, Дрынь пытался подсунуть разведчикам поношенную экипировку. Сенька, пришедший на склад вместе со старшиной, разозлился на кладовщика, однако сдержал себя и попытался убедить скупого хозяйственника политическими доводами.

— Ты только подумай, Ваня,— говорил он вкрадчиво.— Ребята мы не из последнего десятка в дивизии. И генерал нас который раз уже награждает. Героев всегда надо поощрять. К тому же — скоро граница. Может, придется на чужую землю вступить. Принарядиться полезно, чтобы, значит, не ударить в грязь лицом. А ты суешь нам, прости за выражение, этакое старье... Политическое сознание у тебя не на должном уровне, вот что я тебе скажу!..

Но лучше бы Сенька этого не говорил. Последние его слова испортили все дело. Сам того не подозревая, он нанес неслыханную обиду заведующему складом: Иван

[1] Бывшее в употреблении.

Дрынь вовсе не считал себя отсталым в политическом отношении и несказанно огорчился заявлением Семена. Он поднял на Ванина свое курносое, веснушчатое лицо и, багровея, проговорил:

— Ты меня не учи, ишь политрук какой объявился! Я сам могу тебе политбеседу прочесть. Вот получай, что дают, и уматывай, а то и этого не дам. Тоже мне — герой!.. Знаю я вас!

Сжав кулаки и сощурив свои кошачьи глаза, разведчик вплотную подошел к обидчику.

— Ну вот что... ты...— начал он сквозь стиснутые зубы, подбирая слова похлеще и повыразительнее.— Ты не больно-то ерепенься, нафталинная твоя душа!.. Вот попрошу майора Чернышева, начальника четвертой части, чтобы он тебя в разведку послал вместе со мною. Я погляжу, какой из тебя герой выйдет...

Положение обострялось. Благоразумный и степенный Пинчук попробовал успокоить спорщиков.

— Брось, Семен, чого ты пристав до чоловика,— дипломатически начал он, беря возмущенного Ванина за руку.— Иван и сам пойме, що для нас така обмундировка не подойдет...

Пинчук старался не скандалить с хозяйственниками: так или иначе ему приходилось часто иметь с ними дело.

— Бачыш, дорогой,— продолжал Петр как можно дружелюбнее.— Мабуть, мы и вправду за границу пидем. Так що одеть нас нужно як следуе...

Трудно сказать, что больше всего подействовало на Дрыня: сенькина ли угроза пожаловаться майору Чернышеву или слова Пинчука. Скорее всего и то и другое. Только Дрынь сразу смягчился.

— Так бы и сказали. А то обзывать всякими словами,— примирительно проговорил он, забирая обратно полинявшие телогрейки и ватные шаровары.— Какие номера нужны?

На склад пришел сам Докторович. Расщедрившись, он выдал разведчикам еще и белые полушубки, которые зимой могли с успехом заменять им маскировочные халаты. Пинчук поблагодарил начальника АХЧ. Как бы там ни было, а разведчиков в управлении дивизии помаленьку баловали все, начиная от генерала и кончая Борисом Гуревичем. Много писала о подвигах лихих разведчиков газета, у каждого из них в кошельке хранилось

до десятка газетных вырезок. Даже редакционный шофер и тот сильно подружился с разведчиками. Теперь они почти все дымили из пестрых мундштуков, сделанных золотыми руками добрейшего Лавры.

В день выдачи обмундирования у разведчиков произошло событие, о котором потом долго говорили солдаты. Кузьмич, хлопоча возле своих лошадей, потерял тренчик от нового ремня. Пинчук устроил старику настоящий разнос. Только сейчас разведчики могли полностью оценить всю мудрость своего старшины в вопросах экономики.

— Що такэ есть тренчик? — спрашивал он сконфуженного ездового.— Тренчик — цэ кусок кожи. В Червоний Армии, мабуть, служат зараз миллионы чоловик. И якшо каждый из бойцов потеряет по одному тренчику — це обойдется державі в тысячи волив. Скилькы стоят тысячи волив? Миллионы рублив же. А скилькы треба на выделку кожи? Теж миллионы... От тоби и тренчик!.. Беречь надо народное имущество! Так и в присяге сказано, яку ты принимав, Кузьмич! — заключил он и, довольный тем, что произвел достаточный эффект своими «волами» на разведчиков, пригладил вислые усы.

После этого Пинчук приказал отделенным построить во дворе всех новичков.

— Заниматься будемо! — объявил он и вывел солдат за село, в заснеженную степь.

Там он заставил бойцов бегать, ползать по-пластунски, прятаться в снегу. То и дело покрикивал:

— Назад!.. Повторыты!..

Старшина проявил такое усердие, что под конец занятий солдаты взмокли.

— Завтра с утра знов начнем! — пообещал он, уводя разведчиков в расположение роты.

— А, может, товарищ гвардии старшина, не стоит...— пробормотал Сенька, который теперь уже был отделенным командиром, но Пинчук так на него посмотрел, что тот сразу же притих.— Оно, конечно. Учеба, она на пользу... Как воздух, нужна солдату,— попробовал исправить свою оплошность Ванин.

И все-таки Сенька не понимал, почему это вдруг Пинчук решил «помуштровать» бойцов,— ведь раньше с ним этого не случалось.

— Молодежь учить треба,— твердил старшина.

Петр не счел нужным объяснить Семену, как пришел он к этому мудрому выводу. А было это так...

Несколько дней тому назад позвал Пинчука к себе Забаров и неожиданно для него объявил:

— Знаешь что, старшина, а ведь ты не полностью выполняешь свои обязанности.

— Як цэ?.. Не розумию,— Петр, очевидно, был поражен этим заявлением: на его взгляд, он делал все, что требовалось от старшины.

— Хозяйственные дела ты ведешь безупречно. Тут, как говорят, у тебя комар носа не подточит,— продолжал лейтенант, посматривая умными темными глазами на сникшего вдруг Пинчука.— Но это еще не все. Ты читал вот эту книжку? — командир листал страницы Устава внутренней службы.

— Читав. Много разив читав.

— Значит, плохо читал,— продолжал Забаров строго.— Послушай. Вот в этой статье устава говорится, что старшина является прямым начальником сержантов и солдат роты и отвечает: за правильное несение службы солдатами и сержантами, за дисциплину и поддержание установленного внутреннего порядка и за сохранность оружия, боевой техники, боеприпасов и имущества в роте. В отсутствие офицеров роты старшина является заместителем командира роты. Видишь, какой ты большой начальник.

— У меня, товарищ лейтенант, было хозяйство и побольше,— глухо и обиженно заметил Пинчук.

— Может быть,— спокойно продолжал Забаров.— Но вот в уставе еще сказано, что старшина обязан лично проводить занятия с солдатами роты. Что ты на это скажешь? Проводишь ты такие занятия?.. Нет. То-то же! А учить бойцов мы обязаны и на войне, используя для этого каждый свободный час.

— То правда,— быстро согласился Пинчук и досадливо дернул себя за свисающий ус.— Ось як получилось нэ добрэ!.. Позабував, старый хрен!.. Спасибо, товарищ лейтенант, що напомнили!..

Несколько часов подряд не выглядывал Пинчук из своей хаты и только поздно вечером пришел опять к командиру роты. Положил перед ним разграфленный и заполненный лист бумаги.

— Что это? — удивился Забаров.

— Расписание занятий на завтра.

— Вот это дело! — похвалил лейтенант и, внеся некоторые поправки, утвердил расписание.

С тех пор Пинчук не пропускал ни одного свободного часа, чтобы не позаниматься с солдатами. Как-то он с восхищением признался Шахаеву:

— Лейтенант-то наш, мабуть, у генерала учився! Як вин меня ловко пиймав! На уставе... а? Що ты на це скажешь?.. Голова у него добре приделана!..

— А ты, наверное, на него обиделся тогда? — спросил парторг.

— Першу минуту — да. А як вин мне ростолкував, в чем я промах допустил, тоди що ж обижаться. Правду каже!.. Скоро, мабуть, в новое наступление пидемо, готовить солдат надо к тому. Так що лейтенант прав. Проморгав я трохы!..

В начале января, туманным и морозным утром, началось новое наступление. Разведчики двигались вместе с саперами. Две полуторки у саперов были полностью загружены указками с буквой «С» — начальной буквой фамилии командира дивизии. Сенька изловчился и тут: он устроился в кузове одной из машин и мысленно вычислял, хватит ли этих указок до границы. Решил, что без малого хватит. Дивизии на этот раз пришлось наступать прямо на город. И несколько дней спустя она была упомянута в приказе Главнокомандующего по случаю освобождения Кировограда.

Наступление не приостанавливалось и ночью. Разведчики все время двигались впереди. Только рация комсорга Камушкина соединяла еще их с живым и непрерывно катившимся вслед за ними, огромным и сложным организмом дивизии.

Наташа с санитарной сумкой через плечо шагала рядом с парторгом. Как-то во время короткой остановки она, не глядя на Шахаева, словно для себя, сказала:

— А ведь я очень плохо поступила тогда.

— Это ты о чем, Наташа? — спросил он ее.

— Разве так можно. Испортила вам весь праздник. Расплакалась. Эгоистка я. Подумала тогда: все такие счастливые, а я нет. Как это нехорошо!..

— Это же вполне естественно, Наташа! На твоем месте любой не выдержал бы. Мы собрались вместе, ве-

селимся, а Акима нет. Нет, ты ничего плохого не сделала, Наташа. У тебя хорошее, большое сердце!..

— Это вы успокаиваете меня,— быстро перебила она парторга.— А поступила тогда я нехорошо и не могу простить себе этого...

Забаров приказал двигаться дальше, и Наташа с Шахаевым замолчали, но шли попрежнему рядом.

В одну лунную январскую ночь забаровцы вступили в большое русское село Каланчовку. Сенька присмотрелся к домикам, повел носом и обрадованно воскликнул.

— Хлопцы, здесь Русью пахнет!..

Пахло кренделями и еще чем-то очень вкусным. Хотя в окнах и не видать было света, но по всему чувствовалось, что в домах в эту ночь никто не спал. В лунной безветреной ночи стояли кизячьи дымы. Снег похрустывал под ногами разведчиков, в нерешительности топтавшихся на одном месте. Домики, обступавшие их с двух сторон, манили к себе теплом и уютом.

— Может, зайдем на минутку?.. — робко предложил Ванин, взглянув на огромную белую фигуру командира.

Немцев в селе не было. Бойцы поняли это, едва вошли в Каланчовку. И все-таки осторожный Забаров приказал Ванину и Каримову пройти по улицам и разведать обстановку. И только когда они вернулись и доложили, что все спокойно, Забаров разрешил разведчикам войти в дом. Хозяйка радостно встретила солдат. Она долго не уходила из горницы — никак не могла налюбоваться на дорогих гостей. Во дворе послышались голоса, скрип колес, конское ржание. Скрипели гусеницами на снегу танки.

Обогревшись, разведчики стали прощаться с хозяйкой. Уже в дверях они столкнулись с бывшим командиром лейтенантом Марченко. На нем была черная кавалерийская бурка. Вот только не знали разведчики, для чего она ему. «Глупый, никому ненужный фарс»,— подумал Забаров и горько усмехнулся. Обрадовавшись этой встрече, Марченко схватил Федора за руку и потащил его в свободную комнату, оживленно болтая:

— Вот здорово, чорт возьми!.. Не ожидал встретить тебя здесь!.. Ну, рассказывай, как дела!..

Марченко усадил Забарова рядом с собой. В его руках непостижимо быстро оказалась холодная фляга с водкой.

— Ради такого случая и выпить не грех!..

— А вот этого делать сейчас не следует, — спокойно возразил Забаров.

— Опять ты за свое! — обиделся Марченко. — Неужели ты не рад нашей встрече? Ведь как-никак, а более двух лет вместе прослужили!..

— Почему не рад? Очень даже рад, — сказал Федор. — Но пить сейчас не буду. Ты уж извини меня.

— Не притворяйся, Забаров! — голос Марченко стал резок. — Знаю я вас. Не любите вы меня. Забыли все. А ведь гордились, чорт бы вас побрал, когда имя вашего командира гремело на всю армию! — лейтенант налил себе полный стакан и одним духом выпил его. Коричневые глаза его заблестели огнем. — Тот же Васильев, который теперь видеть меня не хочет, не раз выносил мне благодарность за мои блестящие поиски, лично прикреплял ордена к марченковой гимнастерке, и Марченко был его первым любимцем!.. А кто отстоял Аксайский плацдарм? Кто воспитал вас — тебя, Шахаева, Акима, Ванина, Пинчука?.. Кто больше всех ходил в опасные операции, кто первый в Сталинграде захватил немецкого генерала? Разве не Марченко? Кого обнимал командующий армией там, у сталинградского поселка Елхи? Разве не лейтенанта Марченко?.. Так почему же вы все забыли об этом?.. — Марченко рывком подтянул к себе флягу, хотел было еще налить себе, но Забаров спокойно остановил его, взяв из его рук водку.

— Мы уж слышали это от тебя, — глухо проговорил Федор. — Разве только ты один воспитывал разведчиков?.. Все помаленьку воспитывали друг друга. А Шахаев? Он, пожалуй, побольше сделал нас с тобой. Он верит в коллектив, в силу войскового товарищества. А ты не веришь. Оторвался от солдат, от коллектива... Вот отсюда и все твои беды!..

Забаров говорил и видел, как все более склонялась когда-то гордая голова Марченко, глаза его мутнели, губы шевелились. Казалось, он готов был либо расплакаться, либо страшно выругаться. Но, к удивлению Забарова, Марченко тяжело поднялся из-за стола, прошелся по комнате и прохрипел:

— Хватит, Забаров... прошу тебя!..

Федор видел, как тяжело было офицеру, и стал быстро прощаться:

— До свиданья, друг. Подумай о том, что я тебе сказал.

Забаров вывел разведчиков за село. На белом бугре чернели какие-то пятна. Оказалось, что тут успела уже окопаться стрелковая рота. Вскоре разведчики услышали знакомый голос неуемного своего дружка Фетисова.

— Петренко, у тебя все бойцы на месте? — спрашивал он.

— Все до единого! — отвечал простуженным голосом Петренко, тот самый, что в приднепровском лесу разговаривал с генералом. После Днепра Петренко, по рекомендации Фетисова, был назначен командиром стрелкового отделения.

— А у тебя, Гаврилин? — опять раздался голос старшины.

— Все, окромя Фролова. В Кировограде, в уличном бою...

— Знаю. Написал о нем родным?

— Так точно. Написал.

Забаров, проходя мимо, подумал, что пехотинцам, наверное, очень хочется зайти в домики и погреться. Но они вот лежат на этом холодном снегу — в ста метрах от тепла, сытной пищи, от ласкового огонька...

Забаров вновь подумал о Марченко и тяжело вздохнул.

4

Остаток ночи разведчики провели в освобожденной полком Баталина деревне Юрково. Решили переночевать в доме, который привлек их своей добротностью. Вскоре пришел Пинчук, весь заиндевелый, как дед-Мороз. Он принес в термосе горячий борщ, а во флягах — водку.

Привыкшие к восторженным встречам с населением освобожденных городов, деревень и сел, солдаты были на этот раз поражены угрюмостью хозяина дома. Он даже не предложил разведчикам сесть. Бойцы намекнули ему о ночлеге, но тот пропустил это мимо своих ушей. В довершение всего он стал разучивать со своим сыном — мальчиком лет десяти — «Новый завет и псалтырь».

— От Матфея святое благословение, — тягуче читал хозяин, набожно смотрел на икону и приглаживал бороду, расплавленным воском стекающую ему на широ-

ченную грудь. — Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Авраам родил Исаака. Исаак родил Иакова. Иаков родил Иуду и братьев его...

— Слухай, старый! — не выдержал Пинчук. — Не знаю, кто там кого родыв, но тебя наверняка — Иуда!.. Кажи, у тебя можно хлопцам переспать ночь чы ни?

— Рад бы всей душой, да только больные мы...

— Шось вид у тебя дуже свеженький... — язвил Пинчук. Злоба мутила его, толкала на дерзость.

Шахаев заметил, как от слов Пинчука глаза старика вспыхнули нехорошими огоньками и быстро спрятались под мохнатыми рыжими бровями. Отослав куда-то сына и сунув за образа псалтырь, старик начал не спеша сучить дратву. Был он высок и плечист. На витом поясе — связка ключей. Голова смочена маслом и тщательно причесана. Из-под ворота синей сатиновой рубахи выпирала воловья шея. От всей фигуры хозяина веяло устойчивой домовитостью.

— Бачу, ты, старый, пропитався этой частной собственностью, — продолжал колоть его Пинчук, невзлюбивший старика с первой минуты.

Хозяин молчал. Тугая шея его багровела.

Наташа молча смотрела в окно на залитый лунным светом двор. Он был обнесен высоким тесовым забором. Крыша в крышу жались каменные приземистые конюшни и хлевушки. Перед окнами — погреб, накрытый тяжелой железной дверью с пудовым замчищем.

Шахаев прилег на скамейку — разболелась на спине рана. Старик хмуро смотрел на разведчиков, долго силился о чем-то их спросить, но, видимо, не решался. Молчали и разведчики.

— А што, товарищи, — начал, наконец, хозяин, не глядя на солдат, — колхозы вновь будут али как?.. — в его глазах появился настороженный, хориный блеск.

— А тебе як хочется? — в свою очередь полюбопытствовал Петр; он понимал, что колхоз не устраивает старика.

— Мне што ж... — уклончиво ответил хозяин. — Государство — оно решит...

— А ты як бы ришыв? — допытывался Пинчук.

— Я человек маленький.

— А все-таки?

Хозяин промолчал. Пинчук посмотрел на него долго

и испытующе. «Будут ли колхозы?» — таких еще вопросов разведчикам не приходилось слышать в освобожденных селах. «Как бы поскорее восстановить артель, ее хозяйство?» — вот о чем спрашивали солдат люди. Они не мыслили жизни без колхозов и думали лишь о том, как бы поскорее наладить разрушенное фашистами артельное хозяйство. Пинчуку вдруг вспомнился дед Силантий и то, как старик, ожидая Красную Армию, подсчитывал, сколько попрятано от врага борон, плугов, сеялок, тракторов. И как радовался он, когда разведчики говорили ему, что Советское государство не даст колхозы в обиду, поможет им. Да и сам Пинчук, воюя, только и грезит своим «колгоспом»; самые сокровенные его мечты связаны с артелью.

— Будуть колгоспы! — тихо, но внушительно сказал Петр. Он теперь уже наверняка знал, что перед ним — матерый кулак, который либо возвратился из эмиграции, либо, затаив лютую злобу на советскую власть, работая в колхозе, денно и нощно ждал, когда вернется к нему старое. — Будуть колгоспы, — все так же негромко, но твердо повторил Пинчук, чувствуя нетерпеливое желание колоть рыжебородого в самое больное место.

— Добре... — покорно вздохнул хозяин, пряча лицо от упорного взгляда Пинчука. — Мы не против...

Никому уж больше не хотелось оставаться в этом доме.

— Пишлы отсюда, хлопци. Душно тут, — предложил Петр. Он был возмущен до крайности. То, во имя чего шла великая народная война, все то, ради чего рекой льется кровь советских людей, ради чего погибли лучшие товарищи Пинчука, было не только безразлично этому старику, но и чуждо, враждебно ему.

Негодующий Пинчук выскочил на улицу. Следом за ним вышли из избы и остальные разведчики. Забаров приблизился к высоким тесовым воротам и толкнул их плечом. Ворота треснули и распахнулись.

Улица дымилась колючим и морозным лунным светом. Разведчики вздохнули легко, словно сбросили с плеч тяжелый и неприятный груз. Вошли в соседнюю хату. Еще во дворе их встретила приветливая хозяйка.

— Ну, и соседушка у вас, тетка... Откуда вин такый? — спросил Пинчук, открывая термос — он решил накормить разведчиков в этой хате.

— Иван-то Борисыч?.. Дрянь человек! Десять лет ни слуху ни духу о нем не было. А как немцы заявились, он тут как тут!..

— Так и знав. Шо ж вин робыв при нимцях?

— Измывался над людьми, не дай и не приведи!.. Старостой у них был. Имущество советских активистов себе хапал!.. Да вот не успел, видно, сбежать. Понадеялся на немцев, а они о нем и забыли...

Али Каримов, схватив автомат, стремительно направился к двери. Ванин одним прыжком оказался рядом с ним, загородил дорогу:

— Ты куда?

— Убить нада!.. Быстро нада!.. Пусти!..

— Нет, не пущу. Ишь герой какой! Без нас обойдутся, — Сенька вернул азербайджанца на место.

Довольный Шахаев внимательно следил за Ваниным: да, это был уже не прежний Сенька...

— Арестовать старосту все-таки надо, — сказал парторг, обращаясь к Ванину.

— Это другое дело. А суд ему наведут без нас.

Сенька взял автомат и в сопровождении Каримова пошел к кулаку, но их опередили колхозники: они вели ссутулившегося рыжебородого человека по направлению к сельсовету, над которым уже трепетал красный флаг, а в окнах приветливо светились огоньки.

— Добро, — совсем как полковник Демин, сказал Сенька. Он с презрением взглянул на кулака, моргнул Каримову и пошел обратно.

После сытного ужина, организованного Пинчуком, от которого не отказалась и хозяйка дома, разведчики легли отдыхать. Не спали только Забаров и Шахаев. Они прошли в маленькую пустую комнатку, присели у стола и разговорились. Обсудив происшествие с кулаком, заговорили о людях своей роты, о том большом пути, который лежал позади них и который еще предстоит пройти в будущем. Огонек под стеклом тихо колебался, дрожал. Шахаев сосредоточенно смотрел на него своими черными, чуть косящими глазами и тихо, ровно, раздумчиво говорил:

— Да вот взять хотя бы Ванина. Помните, каким он пришел в роту?.. Ведь отправлять хотели парня. А посмотрите на него сейчас! Разве согласились бы вы от-

дать его кому-нибудь сейчас?.. Конечно, нет. Ну, а о Пинчуке и говорить не приходится.

— Да, эти не подведут, — согласился Забаров, — хоть куда пронесут знамя родины.

— А ведь какие они все разные! — размышлял Шахаев. — И какие все честные! Вы знаете, я иногда думаю, что мы еще хорошенько не знаем, какие силы скрывает в себе наш человек. Вот Наташа — хрупкая, как будто слабая... А какое у нее большое сердце! Как строго судит она свои поступки... И все ведь люди растут. Вот что важно!.. Да, партия не дает стоять на месте.

Они говорили о каждом — о Сеньке, о Пинчуке, Наташе, обо всех разведчиках. Не говорили только о себе. Но они видели свой труд в людях роты, и это бесконечно радовало обоих.

Не заметили, как прошла ночь. В окне расплылось бледное пятно. Оно все более светлело. А они говорили и говорили...

5

Как-то сразу подкралась весна. Март начался буйной оттепелью. В один день обнажились брустверы траншей, зачернели, закурились паром насыпи на блиндажах. По полю, испятнанному воронками от снарядов и мин, избороржденному танковыми гусеницами, бродили важные грачи. В посиневшем небе самозабвенно звенели невидимые жаворонки. Зарумянилась вербовая лоза у прудов. На пригретых местах робко показали свои бледнозеленые жальца ранние травы, но эти явно поспешили — ночные заморозки убивали их.

Это было в те дни, когда войска Второго Украинского фронта, разделавшись с корсунь-шевченковской группировкой врага, возобновили свое наступление на юго-запад.

Далеко позади остались вволю насмотревшиеся страху и попившие крови черные, изуродованные корсуньские поля, где завершилась величайшая битва за Днепр. Со смуглых лиц солдат еще не исчезла пороховая гарь жестокого сражения, а они уже спешили вперед, на запад, к границе. В истрепанных шинелях и ватниках, с потрескавшимися губами, почерневшие, потерявшие немало

своих товарищей, бойцы сурово переговаривались между собой на фронтовых дорогах:

— Весна... Ловко подоспели мы, товарищи!

— Да. Прямо к посевной.

— Колхозники теперь вздохнут легко.

— Еще бы, — говорил один из усачей. — Эх, походить бы теперь по борозде да понюхать матушку-землицу!..

— Мало ты нанюхался ее в окопах!..

— То совсем другое дело...

— Наверное, сейчас до самой границы будем гнать...

Близость границы волновала всех: думали о скором освобождении всей родной земли, о возможном даже переходе государственных рубежей. Об этом спорили, это обсуждали.

— А мне сдается, дальше границы не пойдем, — заявил один солдат и тут же попытался это политически обосновать: — Нам чужой земли не нужно...

Другие — и таких было большинство — думали иначе и резко возражали:

— Скажет же — не пойдем дальше! А Гитлер соберет свои войска где-нибудь в Румынии или в Венгрии, оправится да как опять даванет на нас!.. Нет уж, дружище, гнать мы его будем аж до самого до Берлина. Так-то оно надежней. А что касается чужой земли, то она, конечно, нам не нужна...

— Чужой земли нам не надо — это верно, Гаврищев. Но надо сделать так, чтобы в соседних странах дружественный нам народ жил... Так и парторг Фетисов говорит.

— Народ, он всегда к нам дружественный,— резонно заметил кто-то в колонне.

— Ну, чтоб и правительства их были к нам... как это... ну... лойляльны, что ли... Товарищ старшина! — окликнул боец Фетисова, шедшего неподалеку. — Так ли я слово-то это назвал?

— Лойяльные.

— Вот-вот! Дружественные то есть. Так полковник Демин объяснил, верно ведь, товарищ старшина? — спросил солдат, чтобы, очевидно, одним разом ликвидировать возможных оппонентов. Они, однако, находились:

— Ну, ты тоже, брат, сказанул!.. Кто ж меня заставит дружить с немцем, когда этот самый немец всю

родню мою уничтожил, хату спалил, сам я от него, проклятого, четыре раны имею. Одна вот и до сей поры не зажила. А ты меня к нему в друзья хочешь причислить. Нет уж! Только бы добраться до Германии!...— закончил боец, с хрустом сжимая кулак и поправляя на груди автомат.

Это поколебало солдата, говорившего о дружбе, но Фетисов поддержал его.

— Недальновидный ты человек, Охрименко,— сказал старшина не верящему в дружбу с немецким народом бойцу. — Что ж, по-твоему, так мы всю жизнь и будем воевать с Германией, так и будет литься наша да немецкая кровь?.. Нет, нам только надо фашизм под корень срубить и корень выкорчевать — вот что нам нужно, товарищ Охрименко! А немцы пускай остаются да учатся у нас, как жить нужно да людьми быть настоящими...

— Вот именно! — обрадовался поддержке старшины солдат, которого назвали Гавришевым. — Ведь это ж капитализм довел германцев до такого звериного состояния. Народ немецкий — он что? Он, конечно, виноват, что терпел у себя такую мерзость, как Гитлер. Фашизм развратил немцев до крайней степени. А что там говорить о румынах, с которыми, я гляжу, нам раньше всех придется встретиться. Тут дело ясное — обмануты эти народы фашистами.

— Правильно, Гавришев! — подтвердил Фетисов.

— Как бы ни так... — не сдавался Охрименко, но в его голосе уже не было прежней убежденности.

Начальник политотдела, объезжавший колонну вместе с заместителем командира полка по политчасти, услышав горячий спор солдат, придержал вспотевшего, сильно носившего боками, гнедого коня, спешился. Передал жеребца ординарцу, подошел к красноармейцам.

Солдаты поприветствовали полковника и смолкли.

— Ну, что ж замолчали, товарищи? Продолжайте!

— А мы, товарищ полковник, обо всем поговорили! — ответил Гавришев.

— Как обо всем?.. И Корсунь не забыли?..

— Какое там, товарищ полковник. Его век не забудешь. Ведь вон что творилось!

— Да, этот Корсунь долго будем помнить. Это — как под Белгородом.

— Ну, ничего, товарищи! Теперь уж недалеко и граница!

— А мы ничего, товарищ полковник!.. Грязища только кругом непролазная!..

Разговор о загранице вспыхнул с новой силой. Демин осторожно, то репликой, то наводящим словом, направлял горячую солдатскую беседу в нужное русло.

— Вы все станете как бы полпредами. Полноправными представителями своей великой Советской страны. По вашему поведению будут судить о всей нашей родине, обо всем советском народе. Это надо хорошо помнить, товарищи солдаты! — говорил Демин, поддержав мысль какого-то бойца. Тот обрадовался и солидно подытожил:

— С нас пример будут брать. Это ясно.

Демин улыбался. Было достигнуто главное, к чему всегда стремился начальник политотдела: красноармейцы сами пришли к правильному выводу.

— Ну, до свиданья, товарищи! Командование надеется на вас.

— Да уж не подведем!..

— У нас, товарищ полковник, еще сталинградская закалка-то.

— Это хорошо. Ну, еще раз до свиданья, орлы! Не забывайте, о чем тут говорили сейчас.

— Не забудем!

— Как можно!

Приободренные, солдаты прибавили шаг. По бокам, обгоняя пехотинцев, непрерывным потоком двигались танки. Мощные «сталинцы» тянули за собой пушки. Над колоннами то и дело проносились бомбардировщики. В воздухе стоял непрерывный гул моторов. Механики-водители, глядя через открытые люки, кричали пехотинцам:

— Царица полей! Подтолкни сзади!.. А то садись, подвезу!..

Пехота, танки, артиллерия двигались на запад.

Это было блестящим, беспримерным походом огромных войсковых масс трех Украинских фронтов в период весенней распутицы. Оборона немцев рухнула до самого Черного моря, и советские части устремились к Днестру, к Молдавии с целью последующего выхода на государ-

ственную границу. Изумленный мир с напряженным вниманием следил за этим небывалым маршем советских армий.

Наступающим войскам помогали партизаны. Они перехватывали врагу пути отхода, устраивали засады, рвали связь, не давали фашистам отдыха.

В последних числах марта 1944 года на одной из южных лесных дорог можно было наблюдать странное и удивительное шествие. По обеим сторонам дороги, по тропам, тянулись бесконечные цепочки людей. Своим видом они напоминали осеннее переселение муравьиной семьи. Каждый человек, если смотреть сверху, нес что-то продолговатое и желтое. В колонне были мужчины, старики, женщины, подростки. Шли они не останавливаясь, и было видно, что торопились. Женщины шли в легких, стареньких жакетах. Они держали это тяжелое и блестящее на руках, словно несли запеленатых в желтые шелковые одеяльца своих грудных ребятишек. На лицах — озабоченность, беспокойство, словно где-то прорвало плотину и люди спешили спасти от затопления посевы. Колонна в основном состояла из гражданских людей — колхозников окрестных деревень и сел. Цепочка текла бесконечно и в одном направлении. Каждый человек нес по одному тяжелому артиллерийскому снаряду.

Это местные жители помогали партизанам. Весенняя, курящаяся благодатным паром, ласковая земля горела под ногами захватчиков.

Дивизия генерала Сизова уже на второй день наступления осталась без своих тылов. Автомашины застряли в грязи, едва стронувшись со своих мест. Всю артиллерию пришлось перевести на конную тягу, за исключением гаубиц артполка, для которых имелись мощные тягачи. В одно маленькое орудие впрягали по десяти лошадей. Таким образом дошли до Южного Буга. Тут пришлось на несколько дней задержаться: немцы сильно укрепились на правом, обрывистом и каменистом берегу реки. Дивизия в течение недели в кровопролитных боях с врагом отстаивала небольшой плацдарм, захваченный одним батальоном баталинского полка. Немцы, сидевшие за камнями, вверху, сыпали оттуда на головы наших солдат целые ящики своих грушевидных гранат. Ба-

тальон, неся большие потери, все же продолжал мужественно держаться и даже переходил в атаки, которые, впрочем, в тех условиях не могли принести успеха и имели лишь моральное значение. Командир полка подполковник Баталин попытался было с другим батальоном переправиться на помощь комбату, но ему это не удалось: сам Баталин погиб на берегу, сраженный осколком вражеского снаряда, а половина бойцов была потоплена в реке. И только когда с берега подтянулась, наконец, наша тяжелая артиллерия, враг был сбит. В прорыв устремились быстро переправленные танки и «катюши». Каждый танк тащил на себе большой запас снарядов. Сгустившаяся грязь еще больше затрудняла движение. Немцы давно уже побросали все свои автомашины. Отступали на бронетранспортерах. Наши танки часто настигали их и уничтожали в степи. Но и многие советские машины останавливались с перегретыми моторами.

Пехотинцы генерала Сизова достигли крупной железнодорожной станции.

Почерневший на весеннем ветру, как и все солдаты, озабоченный и неприступно-суровый, Сизов медленно ехал на уставшем вороном жеребце между вагонов, пробираясь к уцелевшему вокзалу, где теперь находился его наблюдательный и одновременно командный пункт. Станция была вся забита немецкими эшелонами. Какой-то солдат взобрался на цистерну и каской черпал из нее спирт. Светловолосый боец, в ушанке набекрень, стоял внизу и, размахивая автоматом, кричал:

— Эй, ты, герой!.. Что делаешь?.. А ну, марш отсюда!.. Генералу сообщу! Во-о-о-яка!..

В голосе светловолосого было столько презрения, что солдат бросил каску в сторону и слез вниз. Светловолосый, удовлетворенно улыбаясь, играя зелеными кошачьими глазами, побрел за солдатами.

Это был Сенька Ванин.

Вечером в дом, где остановился генерал, вошел начальник политотдела. Демин весь был забрызган грязью. Ординарец Сизова быстро очистил с полковника грязь,

достал для него из своих мешков сухие носки. Переобувшись, Демин подошел к столу, на котором генерал развернул карту с красными и синими пометками.

— Иван Семенович,— начал он своим немного глуховатым и спокойным голосом, рассматривая серебристую седину на висках генерала. Он впервые заметил ее еще на Донце. Теперь седины поприбавилось.— Иван Семенович,— повторил Демин после короткой паузы,— есть интересные новости.

— Я вас слушаю,— генерал оторвался от карты и посмотрел на начальника политотдела. Он уже привык к тому, что в трудных для дивизии, а значит и для ее командира, обстоятельствах Демин всегда приходит к нему с каким-нибудь советом.— Как вы полагаете, к утру боеприпасы будут доставлены? Я послал несколько тягачей. Вся страна ждет нашего выхода к границе, и мы сейчас не можем задерживаться. Да и солдат не удержать. Рвутся вперед. Так какие же новости? — Генерал посмотрел на Демина и не смог удержать улыбки.

— Нам удалось установить связь с одним большим партизанским отрядом.

— Каким образом? — живо переспросил Сизов.

— Забаров уже разговаривал с командиром отряда, местным секретарем райкома. Сейчас от лейтенанта прибежал один разведчик — Ванин. Сообщил Васильеву об этом. Партизаны решили ударить по немецким тылам. Хотят координировать свои действия с нашими. Командир отряда хочет увидеть вас.

— Это отлично! А где сейчас командир отряда?

— В селе Фрунзевка. Там митинг готовится. Я пойду туда, и часа через два-три мы будем с ним здесь.

— Отлично!

В селе Фрунзевка находились забаровцы. Человек триста собралось возле школы. Над толпой стоял размеренно-торжественный гул. На высоком крыльце стоял Сенька Ванин, с великим трудом упросивший Шахаева дать ему выступить перед колхозниками.

— Товарищи! — говорил он, зачем-то сняв шапку, которую мучил в своих обветренных руках.— Мы очень долго шли к вам, товарищи!.. И вот, как видите, пришли... Многие хорошие ребята погибли ради этого. Очень хорошие ребята!..

Голос Ванина дрогнул, оборвался, смолк. Толпа тоже застыла в молчании. И Сенька с досадой почувствовал, что все те слова, которые он заранее обдумал и приготовил, которые так красиво улеглись в его голове и так плавно должны были литься из его уст, навсегда исчезли, улетучились куда-то. Уши и щеки оратора загорелись жарким пламенем. Он совершенно забыл, что сказал людям раньше, потерял всякую связь с первыми словами, окончательно растерялся и умолк. Толпа загудела вновь, и под этот гул Сенька спешно покинул трибуну. На его месте встал высокий и худой человек — тот самый командир партизанского отряда и секретарь райкома, о котором сообщил генералу Демин. Он поздравил колхозников с освобождением, призвал немедленно приступать к весеннему севу. За ним готовился говорить полковник Демин, только что поднявшийся на крыльцо.

Сенька же стоял теперь на почтительном расстоянии от разведчиков и старался не глядеть на них,— если б можно было, он охотно провалился бы сквозь землю: шуточное ли дело — первая попытка произнести большую речь окончилась таким скандальным провалом! «А еще обижался на Крупицына, что комсоргом не назначили. Какой из тебя, к чорту, комсорг! Болтать попусту мастер, а вот умную речь сказать не смог!» — беспощадно отчитывал он себя в мыслях. Незаметно к нему приблизился Шахаев. Обняв разведчика, сказал тихо:

— Ничего, Семен. Не волнуйся. Со всяким бывает такое... Скажи, о ком ты вспомнил в эту минуту? — вдруг спросил парторг.

— О ком?.. Все о нем же, об Акиме,— глухо ответил Семен и умолк.

Заглушая неторопливый глуховатый голос начальника политотдела, над селом низко невидимые пролетели ночные бомбовозы. С северо-востока к селу приближались советские танки. Уже отчетливо слышался придавленный рев их мощных моторов.

— А как же командир отряда попадет к своим партизанам теперь? — неожиданно спросил Ванин, чтобы, очевидно, перевести разговор на другую тему.

— Попадет. Ему тут каждая тропинка известна.

— Значит, скоро граница?

— Скоро, скоро, Сенька!.. Рукой подать!..

— Дожили, чорт возьми!.. А!.. Дожили!..

— Еще не до такого праздника доживем, Сенька! Выше голову, дружище!..

— Граница!.. Подумать только надо!.. — Растроганный, Сенька так стиснул парторга, что у того невольно вырвался стон: забыл, видно, в великой радости отчаянный саратовец про раны старшего сержанта.

Случилось это в один ясный, синий-синий весенний день.

С тяжелыми, но скоротечными боями дивизия генерала Сизова вместе с другими соединениями пересекла Молдавию и вышла на государственную границу СССР с Румынией.

Разведчики первые подошли к Пруту. Дождавшись, когда к реке вышли основные силы дивизии, они разместились на втором этаже какого-то помещичьего дома, откуда хорошо был виден правый берег реки и красные домики маленького румынского городка Штефанешти. Михаил Лачуга приготовил завтрак. В одном сарае обширной усадьбы Сенька нашел какую-то книжицу, показывал ее Али Каримову. Это был букварь, выпущенный румынами на русском языке для «Транснистрии».

На титульном листе букваря был помещен портрет Антонеску с подписью:

«Великий вождь румынского народа. Освободитель Транснистрии». На следующем листе разведчики увидели портреты Михая I и его матери Елены. Михай, названный «Реджеле Михай», был изображен художником со всеми аксессуарами, которые полагались королю: три дюжины орденов, эполеты с многочисленными шнурками, кисточками и еще бог знает чем.

— Орденов-то у него еще больше, чем у меня,— заметил Сенька.

Он раскрыл букварь и прочел первое, что попалось на глаза:

«Земли, расположенные между Днестром и Южным Бугом, являются исконными румынскими и называются Транснистрией. Ее освободила доблестная румынская армия».

— Этак они и тебя, Каримыч, могли назвать исконным транснистрианцем,— сказал Сенька и добавил: — Эх, повстречаться бы мне со всеми этими «освободите-

лями», с реджелями и всякими там «мамами», я бы им показал, чьи это земли!..

Из окна выглянул Шахаев и позвал Сеньку с Каримовым. Каримов побежал сразу. А Сенька немного задержался. Он что-то колдовал над своей гимнастеркой.

Взобравшись по гранитной лестнице на второй этаж, Ванин нарочно тяжело дышал.

— Что ты как загнанный? Мешки, что ли, на себе тащил?

— Тяжело, братцы,— притворно вздохнул Семен.— Не видите, при всех наградах человек.

Сенька действительно прицепил все свои ордена и медали. Разведчики догадались, что гвардии ефрейтор Семен Ванин приготовился вступать в «чуждые пределы» — в Румынию. Среди бойцов Сенька увидал сияющую Веру. Он было подумал сначала, что она прибежала проведать его, но, взглянув на торжественные лица друзей, понял, что произошло что-то очень важное, связанное с приходом Веры.

— Что у вас тут случилось? — спросил он, глядя то на одного, то на другого разведчика.

К Сеньке подошла разрумянившаяся, похорошевшая еще больше Наташа и подала ему письмо.

— От Акима?! Жив!!! — сразу понял он, то краснея, то покрываясь бледностью.— Товарищи... Дорогие!.. Чего же вы молчите? Неужели жив!.. Это Вера принесла?! Вот молодец!..

— Да читай же!.. Чего ты раскричался? — поторопил его Камушкин.

Ванин развернул листок и, с трудом овладев собой, стал читать знакомое уже разведчикам письмо:

«Мои хорошие друзья, я — жив! Жив, чорт побери!.. Назло всем смертям — жив!.. Где вы теперь, мои славные товарищи? По сводкам вижу, летите, как на крыльях, к границе. Далеко вы ушли от меня. А я нахожусь в госпитале в Саратове, в сенькином городе, и все думаю о вас. Вы, наверное, считали меня погибшим. Но вы не учли одного обстоятельства: я не хочу умирать. Я хочу жить! И, как видите, выжил. Собственно, я всегда считал, что ни одна пуля меня не возьмет. Спасла меня, друзья, одна колхозница, Авдотьей ее зовут. Нашла

у себя в огороде, в подсолнухах, где я лежал, потеряв сознание от тяжелого ранения в грудь. Укрыла в погребе, а когда пришли наши войска, сообщила какой-то медицинской сестре. И я был отправлен в госпиталь. Но об этом расскажу подробнее, когда вернусь. А это будет скоро! Так что писем мне не пишите. Они меня уже не застанут.

Жму крепко ваши солдатские руки и обнимаю вас всех.

Ваш *Аким.*

1 марта 1944 года г. Саратов».

Сенька поднял голову, и все впервые увидели в его озорных глазах прозрачные капельки. Он быстро смахнул их рукой и, переборов минутную слабость, спросил:

— А тебе он разве... не написал, Наташа?

На него лукаво смотрели большие темносиние глаза.

Разведчики хитро улыбались.

— Да что с вами, в самом деле? — не понимал Сенька.

В эту минуту в дверях показался высокий и худой солдат с новенькими ефрейторскими нашивками на погонах. Очки на его ястребином носу блестели.

— Аким?! — заревел Ванин.— Акимка, чертяка!.. Вот те на!..— подпрыгнув, он обнял друга за шею.— А как же письмо?..

— Вот, Вера принесла. А я следом за ней пришел. Вхожу в дом, смотрю — читают.

— Аким...— Сенька вдруг замялся, погрустнел.— Ты... ты, знаешь что... прости меня. Я был неправ...

Аким порывисто обнял своего беспокойного приятеля:

— Это ты о чем?.. Ну, вот еще выдумал!.. Собственно, что ты... в самом деле?.. Не надо об этом, Семен!..

Они смотрели друг на друга, не скрывая своей большой радости.

Разведчики уселись за стол, Пинчук обещал их вкусно покормить.

Шахаев не торопился к столу, он сидел на подоконнике и молча наблюдал то за Акимом, то за Наташей.

Он видел, как горячая кровь приливала к ее счастливому лицу. Лицо ее все время менялось,— Наташа смотрела на Акима то с удивлением, то с безмерной радостью.

Пировали до самого обеда. Пинчук расщедрился и угощал разведчиков такими закусками, о наличии которых на складе старшины солдаты и не предполагали. Кроме общей радости, вызванной выходом наших войск на государственную границу и возвращением Акима, у Петра была еще своя отдельная радость. Юхим удивил его новым письмом: завхоз построил-таки саманный завод и восстановил уже все колхозные конюшни. Не ожидал Петр от Юхима такой прыти!..

— Ось як люди наши растуть! — немедленно подытожил он, довольно поглаживая свои бурые усищи.

На столе появились куличи, крашеные яйца, золотое виноградное вино в глиняных кувшинах. Это угощали своих освободителей молдаванки, одну из которых Вера уже приревновала к Сеньке. Кузьмич, красный и по-детски счастливый, по очереди с Пинчуком произносил тосты. К концу торжества оба они уже хрипели.

Аким и Шахаев не пили. Первому не велели врачи, а второй вообще не любил вина. Они незаметно вышли из комнаты и спустились в сад. Там было прохладно, свежо. Забаров, необычно торжественный, стоял под яблоней и о чем-то оживленно разговаривал с майором Васильевым. Федор то и дело показывал в сторону реки и улыбался. Глубокие морщины на его лбу разгладились.

Аким и Шахаев зашли в беседку, присели у маленького круглого столика. Парторг расстегнул полевую сумку и достал оттуда небольшой помятый лист бумаги.

— Мое заявление?..— удивился Аким.

— Твое. Может, допишешь?..

Аким с глубокой благодарностью посмотрел на скуластое лицо парторга, потом на его почти белые волосы. «Как он постарел»,— подумал Аким и сказал:

— Давай... теперь допишу.

Из дома вышли в сад и остальные разведчики. Ванин искал глазами Акима. Но заметив, что его друг беседует с парторгом, решил не мешать. Взяв Камушкина за руку, он побежал к краю сада. Спустившись по каменной лестнице, они неожиданно столкнулись с Бокулеем. Румын

в глубокой задумчивости всматривался в правый берег. Его большие губы что-то шептали.

— Бокулей! — окликнул его Ванин.— Вот ты и добрался до своей родины!

Румын вздрогнул и обернулся.

— Шпасибо!..— сказал он вдруг.— Шпасибо, Сенька!..

Ванин приосанился: он хорошо знал, за что его благодарит этот иноземец.

— Получай свою Румынию, Георгий, да помни: никаких чтоб антонесков в ней больше не было!.. Понятно?

Румын часто и утвердительно закивал головой.

— То-то! — продолжал торжественно Ванин.— Гляди же, как бы снова не послали тебя Транснистрию завоевывать!.. Следи там за министрами-то своими! Теперь ты знаешь, кто у тебя враги и кто друзья!

— Бун, Сенька, бун!.. Карашо!.. Мы будем следить!..

Бокулей и Сенька сами не заметили, как взяли друг друга за руки.

— Сегодня ночью пойдешь с нами на тот берег?

— Бун! Хорошо!

— Ну, будь здоров!

Сенька и Бокулей распрощались.

Ванин и Камушкин остались одни. Позади, вся залитая солнцем, лежала огромная, необъятная страна, теперь уже навеки освобожденная. А там, за рекой, краснели черепичными крышами домики чужой земли, на которую они ступят ночью.

Камушкин тихо заговорил:

— О Татьяне и Витьке подумал сейчас... Помнишь Веселую Зорьку? Хорошо ведь: ничего сейчас они не боятся, кругом свои люди, солнце!.. И Витька бегает по саду, весь в белых вишневых лепестках... Хорошо!..

— Хорошо...— согласился Сенька, а сам все смотрел и смотрел на ту сторону.— Вот мы и пришли, Вася!.. Вася, ты видишь: во-о-н синеют горы!.. На них заберемся и выше!..

Граница!

Сколько думал о ней Сенька!

Вдруг ему показалось, что все случилось чрезвычайно просто и буднично. Вышли на границу — и все. Почему так тихо? Отчего не гремят оркестры, не салютуют

пушки? Нет, он должен как-то отметить это великое событие!..

Сенька вскинул автомат. Высоко поднял его над головой и дал три длинные очереди. Эхо отозвалось в саду дробным стуком, перекинулось через границу.

— Ог-го-го-го-го-о! — заорал Ванин.

— О-о-о-о-о-о-о! — откликнулось с того берега.

Помолчали, оба попрежнему глядя за реку.

— А ведь насчет вишневых лепестков-то ты, Вася, подзагнул,— вдруг как бы невзначай заметил Сенька.— Еще не цветут вишни-то. Рано...

— Так зацветут скоро!..

Камушкин сломал вишневую ветку и украдкой от Сеньки сунул ее себе в карман.

Книга вторая

ПУТИ-ДОРОГИ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Весною 1944 года скоропостижно умер богатый румынский боярин немецкого происхождения, отставной генерал Август Штенберг, дальний родственник немецкой королевской династии Гогенцоллернов. Единственный его наследник, двадцатитрехлетний лейтенант Альберт Штенберг, адъютант корпусного генерала Рупеску, неожиданно стал обладателем многочисленных владений, разбросанных в Молдовии, Валахии и в Трансильванских Альпах.

Хоронили боярина пышно. В старую усадьбу Штенбергов съехались знатнейшие помещики Румынии, прибыла с многочисленной свитой сама Мама Елена[1] с реджеле[2] Михаем — своим юным сыном, почти ровесником молодого Штенберга.

Перед отъездом из родового имения Штенбергов королева подошла к Альберту. Ее бледное лицо выражало неподдельную скорбь.

---

[1] Так в Румынии называлась королева Елена.
[2] Реджеле по-румынски — король.

— Я потрясена, мой милый. Но... мужайтесь,— поцеловав лейтенанта в лоб, она вдруг побледнела еще больше и, отвечая, очевидно, каким-то своим, может быть, вовсе не относящимся к смерти старого боярина мыслям, воскликнула: — Бедная Румыния!..— и, уже обращаясь к Рупеску, присутствовавшему на похоронах в числе многих других генералов, добавила: — Берегите его, генерал. Прошу вас. Несчастный мальчик!

— Трудно сберечь его, ваше величество! Лейтенант молод, горяч. Рвется в бой. Ему не терпится скрестить оружие с этими... э... варварами! — Рупеску, приземистый, краснолицый, хотел и никак не мог склониться перед королевой — ему мешал огромный живот, туго перетянутый широким ремнем. От напрасных усилий генерал побагровел, крупное, мясистое лицо его покрылось капельками пота. — Не могу удержать, ваше величество!

— Ну, полно, мальчик! Не обижайте генерала — он так любит и ценит вас,— королева устало улыбнулась и вновь поцеловала молодого офицера. — Не обижайте же господина Рупеску. Он так добр к вам!

Генерал в знак полного согласия с последними словами королевы часто и неуклюже закивал большой круглой головой.

Рупеску и Штенберг провожали королевский поезд до самого Бухареста.

Альберт возвратился в свое имение только через пять дней, в первых числах марта. Генерал отпустил его из корпуса, чтобы лейтенант смог отдать необходимые распоряжения управляющим поместьями. Лейтенант начал с того, что посетил кладбище, где несколько специалистов, вызванных из столицы, устанавливали памятник на могиле его отца.

С кладбища он вернулся поздно вечером усталый, мрачный. Но уже утром вышел во двор бодрый и жизнерадостный. Этому не в малой степени способствовала весна. Вся усадьба была залита по-весеннему щедрым солнцем. В сараях крестьянских дворов неистово кудахтали куры. На псарне взвизгивали борзые. Старый конюх Ион (Альберт вспомнил, что старику этому несколько дней тому назад исполнилось девяносто лет) чистил скребницей лошадей, нетерпеливо всхрапывавших и перебиравших ногами. Делал он это не очень расторопно, что сильно удивило лейтенанта, знавшего Иона как доб-

росовестного работника и любимца старого боярина. «Что случилось с Ионом? Он даже не улыбнулся при виде молодого хозяина, — подумал офицер с неясной тревогой. — Грустит об отце? Или болен?»

— Ион, голубчик, что с тобой? — стараясь быть ласковым, спросил Альберт, подходя к конюху. — Ты болен?

— Нет, мой господин, я здоров,— и старик заторопился, с необычайным для его возраста проворством нырнул под брюхо коня, чтобы, очевидно, оказаться на противоположной от молодого хозяина стороне.

Лейтенант пожал плечами и быстрым взглядом окинул всю усадьбу с ее бесчисленными пристройками. Недалеко от него молоденькая работница Василика кормила гуся. Делала она это престранным образом. Зажав птицу между колен, Василика силой раскрывала ей клюв и маленькой рукой втискивала в горло гуся целые пригоршни кукурузы [1]. Заметив Штенберга, Василика выпустила гуся и скрылась в домике, где жили дворовые. Птица, оказавшись на свободе, важно зашагала по усадьбе, гордо неся свою голову. Василика вновь появилась во дворе и улыбнулась, но улыбнулась не ему, лейтенанту, — это сразу понял Штенберг, — а каким-то своим, повидимому, девичьим мечтам. И это молодому боярину показалось тоже странным, даже подозрительным: раньше при виде его Василика почтительно кланялась и говорила своим удивительно певучим, ласковым голосом:

— Добрый день, мой господин!

Лейтенант вновь оглядел весь двор и нахмурился. Ему показалось, что дворовые делают все слишком медленно и неаккуратно — не так, как раньше, при старом боярине. Альберту уже хотелось, подражая отцу, крикнуть: «Я вот вас проучу, бестии!», но его что-то удерживало: он и сам не мог бы сказать, что именно. Увидев управляющего имением, Штенберг мысленно уже приготовился жестоко отругать его, пригрозить увольнением, но вместо этого сказал с обидной для себя нерешительностью в голосе:

— Я рад вас видеть, мой дорогой! — лейтенант козырнул и пожал руку управляющего с какой-то, как ему

---

[1] Таким образом в Румынии откармливают гусей.

самому показалось, заискивающей торопливостью. — Не кажется ли вам, что наши люди немного пораспустились в последнее время? Я бы попросил вас навести порядок в усадьбе.

Чуть приметная усмешка скользнула по тонким губам управляющего.

— Ничего ж не изменилось, господин лейтенант! — попытался он успокоить молодого боярина. — Просто вы переволновались, устали и вам следует отдохнуть.

— Благодарю вас, я чувствую себя вполне хорошо,— сказал Штенберг, испытывая удовлетворение от того, что в конце концов овладел собой и говорит с этим господином так, как должен говорить хозяин со своим служащим.

«Впрочем, управляющий, может быть, и прав. Я действительно чертовски устал, — подумал Штенберг. — Все заботы легли на меня, оттого и кажется, что дела идут хуже, чем они шли при отце».

Лейтенант взошел на крыльцо, присел и мало-помалу успокоился. Тревожные и мрачные мысли уступили место светлым, радужным. Молодой боярин впервые испытал истинное наслаждение от сознания собственного величия. Шуточное ли дело: он, двадцатитрехлетний офицер,— и владелец огромных богатств! Альберт уже представил себе день первой осенней охоты. К нему съезжаются румынские помещики, венгерские графы, которых отец терпеть не мог и тем не менее ежегодно приглашал поохотиться в своих заповедниках, — Бела Бетлен, Берталан Хартитаи, Габриэнь Кенфери, Иоанн де Базархали. Какие блестящие имена! И Эстергази... Да, да, непременно и он, этот могущественный Эстергази! Пожалуй, Штенберг уже не будет называть себя боярином — слишком патриархально! Граф — вот слово, достойное его имени, его богатств, чорт возьми! А потом... женитьба! Сам Эстергази сочтет за высокую честь выдать свою младшую дочь за бояр... за графа Штенберга.

Альберт уже слышит, как его двор наполняется лаем многочисленной своры, веселым говором и смехом экспансивных венгерцев, звуками чардаша, щелканием курков, ржанием горячих коней, приглушенно-стыдливым шепотом девиц, дочерей именитых помещиков, приехавших взглянуть на графа Штенберга...

Но вдруг шум этот, рожденный воображением молодого человека, сменился реальным, все нарастающим, величаво-спокойным и ровным гулом, катившимся откуда-то сверху. Штенберг вздрогнул, сбежал с крыльца и поднял голову. Невысоко над его усадьбой, в ясной синеве весеннего утра, степенно и деловито плыли два краснозвездных самолета. Щурясь от солнца, собирая вокруг хитро улыбающихся глаз пучки мелких морщинок, за ними следил конюх Ион. Дед зачем-то стянул с головы форменную фуражку (участник кампании 1877 года, старик и сейчас не расставался с военным мундиром), и ветер шевелил на его голове реденькие пряди седых волос.

— Ион! — окликнул его лейтенант. — Уведи коней в сарай. Гнедого заседлай для меня. Да побыстрее! Что уставился?..

Через пять минут Штенберг уже скакал в большое селение Гарманешти, что было в одном километре от его усадьбы. Село встретило молодого боярина странным оживлением. Первым, кого увидел лейтенант, был лавочник. Пухлое, лоснящееся лицо торговца выражало крайнюю растерянность.

— Что с вами? — спросил его Штенберг, придерживая коня.

— Как — что? Разве господин лейтенант не знает...— лавочник вдруг оборвал себя и лишь неопределенно махнул рукой.

— Что ж вы делаете? Зачем заколачиваете окна магазина? Разве вы не собираетесь больше торговать?

— Торговать мне нечем. Все — там, — и он эффектным жестом указал на землю.

— Закопал?

— А что я должен делать? Оставлять русским?..

— Русских сюда не пустят.

— Кто же это их не пустит?

— Армия, разумеется.

— Дай бог, — пробормотал лавочник и снова взялся за топор, которым до этого подгонял доски на окнах.

Лейтенант поморщился, как от сильной боли, и пришпорил коня. У деревянного моста, под которым бушевал весенний поток, Штенберг снова задержался: на этот раз его остановил сельский священник. Поверх рясы

У попа была надета епитрахиль цвета хаки. Альберт сразу понял, что случилось.

— И вас, святой отец, мобилизовали?

— Мобилизовали, сын мой. Полковым священником в вашем корпусе буду. Боже, боже! Спаси и помилуй! — поп воздел короткие руки к небу. — Всех на оборону, к дотам, — он снова повернулся к лейтенанту. — Слышите? Всех!

Штенберг прислушался. Из-за поворота улицы к мосту приближалась группа сельских парней под командой фельдфебеля. Один из мобилизованных, пьяно раскачиваясь, пел надрывным голосом:

Господи, даже горы мрачнеют
В час, когда рекрутам головы бреют...

Под заунывный плач скрипки и рожка остальные подхватывали:

Звон колокольный нас гонит из хаты.
Служба солдатская, как тяжела ты!

— Замолчать! — рявкнул, должно быть, уже не в первый раз фельдфебель. Но его никто не слушал, словно фельдфебеля не было вовсе.

За колонной новобранцев темной массой катилась толпа женщин и стариков. Одна молодая румынка страшно, с волчьим подвывом, плакала. А над колонной плыла и плыла, бередя сердца людей, грустная солдатская песня:

Мама, ты встань, помолись у порога,
Может быть, станет полегче дорога.
Встань, помолись на икону,— быть может,
Бог от окопов спастись нам поможет.

Священник, пропустив мимо себя новобранцев и толпу крестьян, вдруг вознегодовал:

— Бога вспомнили! А когда я с божьим благословением к ним подходил, чуть было не побили. Спасибо жандарму — выручил, а то влетело бы... В штурмовой батальон [1] всех. Там они по-другому запоют.

— Неужели им не дорого наше бедное отечество! — воскликнул Штенберг, и черные усики под его коротким носом шевельнулись.

— Не дорого, господин лейтенант, не дорого,— охотно

[1] Вроде штрафного батальона.

подтвердил священник, перебирая дряблыми пальцами епитрахиль. — Троих пришлось оставить. Подозреваю: махорочного настою напились...

— Дивизионного прокурора сюда позовем. Он разберется.

Сказав это, Штенберг хотел ехать дальше. Но навстречу ему уже бежали хромой и черный, как грач, Патрану и пожилой жандарм.

— Что случилось, господа? — спросил Альберт.

— Беда, боярин! — Патрану оглянулся на жандарма, как бы призывая его в свидетели. — Мужики там... на площади... отказываются итти рыть окопы...

Лейтенант чуть побледнел, но промолчал. Не взглянув больше на сконфуженных его молчанием Патрану и жандарма, он помчался в центр села, где действительно собралось до сотни крестьян, о чем-то громко споривших. Над толпой маячили остроконечные верхушки бараньих шапок. С приближением Штенберга верхушки эти зашевелились. Оказавшись среди толпы, боярин крикнул:

— В чем дело, э-э... господа? Отчего вы не на обороне?

Крестьяне угрюмо отмалчивались. К толпе подбежали запыхавшиеся и злые Патрану и жандарм, отставшие от Штенберга. Остроконечные верхушки шапок начали расплываться в разные стороны.

— Вы что же, не желаете защищать свое отечество?

Офицер обвел толпу недоумевающим взглядом.

— Что же вы молчите? Вот ты, Бокулей, почему ты не хочешь итти на оборонительную полосу?

Худой, желтолицый крестьянин зачем-то снял шапку, обтер ею свою курчавую голову и только потом уже ответил:

— Я отдал двух сыновей. С меня хватит.

— Но ты не забывай, что один из твоих сыновей дезертировал. Не служит ли он русским? — Штенбергу хотелось сказать что-то более острое и обидное этому мужичонке, но он не мог. Все та же непонятная ему самому нерешительность, которую он испытал утром в разговоре со старым конюхом Ионом и управляющим, сдерживала его и сейчас. — Ты смотри у меня, Бокулей! — пригрозил он на всякий случай крестьянину.

Тот ответил тихо, но твердо:

— Я не знаю, где мои сыновья. Их взяли в армию.

— Зато мы знаем! — Штенберг соскочил с коня, сунул за ремень черенок плетки и вдруг заговорил дружелюбно: — Отечество в опасности, господа! Мы ведь с вами односельчане, и нам легко понять друг друга. Королева Елена и командование румынской армии поручили мне сказать вам, что вы должны создавать добровольческие отряды по борьбе с русскими парашютистами. Готовьтесь! Вам уже зачитывали обращение маршала Антонеску и Мамы Елены. Русские идут сюда, чтобы взять у вас ваши земли, ваших жен и дочерей, — лейтенант почувствовал, что голос его начинает дрожать, и поскорее закончил: — За спасение вашей земли, ваших очагов, господа!..

Толпа, до этого упорно молчавшая, вдруг загудела. Почувствовав, что крестьяне, по крайней мере большая их часть, поверили его словам, боярин прокричал еще громче:

— Русские не пройдут по нашей земле!

Штенберг ожидал, что эти его слова вызовут волну патриотических возгласов, но крестьяне молча начали расходиться по домам. Площадь быстро опустела. Гармaнешти погрузились в тяжкую и долгую тишину. Только слышно было, как по-весеннему бодро ревел, клокотал под опорами моста водяной поток.

«Что же это такое? А?.. Что же случилось?..» — уныло спрашивал себя молодой боярин, подъезжая к своей усадьбе. У ворот он опять увидел Василику. Щеки девушки горели. Василика пристраивала у себя на груди подснежник. Наверное, она только что вернулась из леса. Большие черные глаза и все лицо ее были облиты светлой радостью. И лейтенанту почему-то захотелось согнать с ее лица эту радость. «Чему она все время улыбается?» — подумал он с досадой, быстро соображая, что бы сказать ей. Неожиданно вспомнил о ее любимом. «Не его ли она поджидает? Не зря же ходят слухи, что Георге Бокулей служит русским...»

— Василика! — громко, с наигранной веселостью окликнул он девушку.

— Что, мой господин? — Василика опустила ресницы.

— Василика, ты слышала что-нибудь о Георге?

— Нет, мой господин! — девушка испуганными и вместе с тем полными надежд и ожидания глазами посмотрела в красивое лицо молодого боярина.

И он торопливо, боясь, что уже через минуту может не решиться на это, бросил:

— Русские убили его.

Альберт хотел быстро пройти в дом, но широко раскрытые черные глаза Василики остановили его.

— Вы... вы... это неправда!..

Он быстро взял ее за плечи.

— Да, да. Я еще раз проверю. Наверное, это неправда. Успокойся, Василика. Сейчас столько слухов, им верить нельзя. Бедная Румыния! — Штенберг ощутил, как что-то холодное поползло в самую его душу. И теперь ему вдруг стали до ужаса понятными эти два слова, оброненные королевой после похорон старого боярина: «Бедная Румыния!» «Когда же началось все это?» — мысленно спрашивал он себя, не зная еще точно, что следует разуметь под неопределенным словом «это».

— Успокойся же, Василика! Жив, наверное, твой Георге. Перестань реветь! — прикрикнул он на девушку.

Над усадьбой вновь пролетели, только в обратном направлении, два советских самолета.

2

— Ну, господин генерал, вам-то грешно сетовать на свою судьбу. Ваш корпус расположился ничуть не хуже, чем в королевском дворце. Вы только подумайте: господствующие высоты и триста пятьдесят дотов! Железная, несокрушимая стена от Пашкан до самых Ясс. Если русским и удастся вступить на территорию нашей страны, то здесь, у этих твердынь, они найдут свою могилу. Заметьте, генерал: русским еще ни разу не приходилось иметь дело с дотами...

Так говорил, обращаясь к Рупеску, представитель верховного командования при Первом румынском королевском корпусе полковник Раковичану. Младший по званию, Раковичану разговаривал с Рупеску снисходительно-покровительственным тоном, каким обычно разговаривают в подобных случаях представители вышестоящих штабов. Он посмотрел в хмурое лицо Рупеску, склонившегося над картой, и улыбнулся:

— Что же вы молчите, господин командующий?

— Я думаю, полковник, что вы не слишком сильны в военной истории. Иначе вы бы вспомнили Измаил,

Плевну, Галац. Да что говорить о тех давних временах! Вам пришлось бы вспомнить линию Маннергейма, которую столь успешно преодолели русские.

Раковичану расхохотался:

— Это вы правильно подметили, генерал. В истории военного искусства я действительно профан. Как вы знаете, мои познания простираются совершенно в иной области... Однако надо же признать, господин командующий, что ваши гвардейцы совсем недурно устроились под метровыми крышами долговременных точек. Не так ли?

Это уже походило на издевку.

— Вам, полковник, как представителю верховного командования, — подчеркнул Рупеску последние слова,— следовало бы знать, что в дотах расположились не мои, а немецкие солдаты...

— Неужели? — деланно удивился Раковичану. — О, эта старая бестия Фриснер! [1] — Полковник попытался изобразить на своем лице негодование, но это ему не удалось и он поспешил все свести к шутке. — Приближается лето, мой дорогой генерал. Пусть себе немцы преют в этих карцерах, — и, чувствуя, что переборщил, начал уже серьезно: — Говоря между нами, генерал, на наших солдат — плохая надежда. У немцев есть все основания не слишком полагаться на нас.

Рупеску потемнел:

— Не вам бы, румынскому офицеру, говорить об этом, господин полковник.

— К сожалению, приходится говорить,— голос Раковичану мгновенно изменился, в нем зазвенел металл. Фразы его стали жестки и прямолинейны. — Я плохой военный — это уже вы успели заметить. Но я не могу считать себя плохим политиком, генерал. А политика сейчас состоит в том, что русские должны быть задержаны на этих рубежах. Задержаны до тех пор, пока сюда не придут... — Раковичану, спохватившись, замолчал, с минуту подумал и закончил: — Итак, задержать! Сделать это могут лучше немцы, чем наши солдаты. Как ни обидно, но это следует признать. Наши армии, чорт возьми, с каждым днем становятся все менее и менее надежными. Конечно, вы согласитесь со мной, генерал?

---

[1] Фриснер — генерал-полковник, командовавший немецкой группировкой «Южная Украина».

Но Рупеску слушал рассеянно. Мысли генерала были заняты другим: его не очень-то устраивала перспектива неизбежной и, повидимому, скорой встречи с русскими. Куда лучше было бы остаться в Бухаресте, где его корпус в течение нескольких лет нес охранную службу при королевском дворце.

— Я вас слушаю, генерал, — нетерпеливо проговорил Раковичану. — Вы что же, не согласны со мной?

Вместо ответа Рупеску спросил:

— Вы излагаете свою точку зрения или верховного командования?

— И свою и верховного командования.

— Положим, что это так, хотя и не слишком патриотично с вашей стороны утверждать подобное. Но уверено ли верховное командование, что немцы удержат русских?

— Удержат — едва ли. А вот задержать на более или менее длительный срок могут, что, собственно, нам и нужно от них.

— А дальше? — Рупеску пристально посмотрел на своего собеседника.

— Полагаю, румынскому правительству лучше знать, что оно намерено предпринять дальше. Наше дело, генерал, — выполнять приказы, — с некоторым раздражением проговорил Раковичану. — Красная Армия стоит у границ Польши, она подходит к Днестру. От Польши рукой подать до Германии. А там близко и Франция, Ла-Манш — вся Европа! — Раковичану покраснел, глаза его сузились. — Европа в руках большевиков — это всемирная катастрофа, генерал! Вот о чем мы должны сейчас подумать. И нам важно, чертовски важно, друг мой, подольше удержать здесь, в Румынии, русскую армию.

Рупеску налил в рюмки коньяку и одну из них молча поднес взволнованному полковнику.

— Выпейте, это здорово успокаивает.

Раковичану взял рюмку.

— За что же, господин генерал?

Они чокнулись. Подняли рюмки.

— Не знаю, полковник...

— Выпьем за... Впрочем, за них еще рано пить.

Генерал понимающе посмотрел на Раковичану.

— И вы думаете, полковник, что они сумеют прийти сюда раньше, чем русские оккупируют всю нашу страну? — вкрадчиво спросил он.

— Это вы о чем, генерал? Вернее, о ком? — встревожился Раковичану.

— А о тех, за которых вы собирались поднять наш первый тост.

— Не понимаю. Однако —выпьем! — и Раковичану первый вылил коньяк в свой большой зубастый рот.

Генерал угрюмо последовал его примеру.

— Э, да вы... Впрочем, вернемся к тому, с чего мы начали нашу беседу, генерал. Итак, позиции от Пашкан до Ясс и далее до Днестра нужно удержать во что бы то ни стало. Таков приказ королевы и маршала, а также генерал-полковника Фриснера. Для выполнения этого приказа у немцев и у нас имеется все необходимое. В распоряжении Фриснера, например, находятся две прекрасно укомплектованные и оснащенные армии. Триста пятьдесят дотов. Десять-двенадцать батарей на каждый километр фронта... Неужели этого недостаточно, чтобы остановить Малиновского и Толбухина, растерявших, надо думать, всю свою технику в украинской грязи?.. Однако мы заболтались,— вдруг спохватился полковник, взглянув в окно.— Уже полночь. Не лишне подышать свежим воздухом. А?

— Пожалуй.

Раковичану и Рупеску вышли на улицу.

— Не съездить ли нам на позиции, генерал? — предложил полковник, жадно вдыхая широкими ноздрями свежий, прихваченный легким морозцем вечерний воздух.

Как раз в это время где-то далеко-далеко на северо-востоке колыхнулось огромное бледнорозовое зарево и вслед за тем донесся глухой гул.

— Впрочем, — быстро изменил свое решение представитель верховного командования, — поедем завтра с утра. А сейчас отдохнем. — Он зябко передернул острыми плечами. — Не кажется ли вам, генерал, что штабу пора бы уже перебраться в землянку?

— Землянка готовится. Мой прежний адъютант, лейтенант Штенберг, пригнал сюда до сотни крестьян из села Гарманешти. Быстро выкопают.

— Ну, вот и отлично. Прекрасный офицер, этот молодой боярин, не так ли, генерал? Кстати, как он себя чувствует после этой скверной истории с капралом? — Раковичану замолчал и с минуту прислушивался. —

Что-то уж очень близко... У вас есть последняя сводка, господин командующий? Что там делается, на фронте?

На северо-востоке вновь поднялись и долго дрожали на горизонте трепетные зарницы. Гул, правда, еле слышный, теперь уже не умолкал. Сильный и резкий кривец [1] доносил его сюда, до этих серых румынских холмов и равнин, где угрюмо насупились темные громадины дотов.

Раковичану, оставив генерала, быстро вернулся в дом.

3

Лейтенант Штенберг принял командование ротой с большим удовлетворением. Адъютантство его не устраивало. Альберт помнил, что в его жилах течет немецкая кровь, и в связи с этим был твердо уверен, что ему не пристало быть на побегушках у румынского генерала.

До него временно командовал этой ротой младший лейтенант Лодяну, произведенный в офицеры в дни войны из нижних чинов. Лодяну не хотелось командовать ротой.

Офицерство армии Антонеску являлось особой кастой, огражденной от солдат непреодолимой стеной. Лодяну с первых же дней командования ротой попытался разрушить эту стену. Он давно заметил, что офицеры роты, взводные командиры — сынки бояр, относились к нему, рабочему с заводов Решицы, с открытым пренебрежением, смотрели на него как на выскочку, не достойного их уважения. Приказы Лодяну они выполняли неохотно, а его обращение с солдатами было противно им.

Штенберг с трудом отыскал младшего лейтенанта. Лодяну находился в одной из только что вырытых траншей, окруженный уставшими, перепачканными глиной солдатами. Однако никто из них не унывал. Еще издали лейтенант Штенберг услышал звуки губных гармошек, дудок и скрипок — любимых инструментов румынских солдат.

— Забавляетесь, господа? А кто же за вас будет рыть траншеи? — на ходу бросил Штенберг, решивший с первой же минуты дать понять своим подчиненным, что он строгий командир.

---

[1] Кривец — так в Румынии называют северный, северо-восточный и восточный ветры.

— Солдаты утомлены и сейчас отдыхают, — спокойно ответил Лодяну. — Разве вы не видите, господин лейтенант? Почти месяц они день и ночь без отдыха роют траншеи.

Штенберг промолчал. К вечеру он приказал собрать всю роту. Новому командиру захотелось ободрить подчиненных, и, едва рота выстроилась в неглубокой балке, он начал:

— Солдаты! Корпусной генерал Рупеску просил передать вам его благодарность. Вы отлично потрудились. Враг не пройдет через ваши позиции! Королевская гвардия покажет, что она умеет защищать свое отечество. Вы утомлены, — знаю. Но ваши братья испытывают более тяжкие трудности. Там, на полях золотой Транснистрии и Молдавии, возвращенных нашей родине ценой крови лучших ее сынов, румынским солдатам очень тяжело сдерживать красные полчища. Вы не испытываете тех лишений, какие испытывают они. Вы сыты, обуты, одеты. Мама Елена, по приказу которой сформирован наш корпус, заботится о вас. Не так ли, братцы?

Лейтенанту было приятно сознавать, что две сотни людей, втиснутых в рыжие мундиры, не спускавших сейчас с него глаз, — его подчиненные, что он, Штенберг, — их командир, начальник, властелин, первый судья и защитник.

— Не так ли, братцы? — повторил он, сияя от внутреннего ликования, причиной которого были и вот это ощущение власти над людьми, которых он скоро поведет в бой, и сознание того, что он, Альберт, стал хозяином огромных богатств, и воспоминание о последней встрече с красавицей Василикой, поверившей, кажется, в гибель своего возлюбленного, и надежда на то, что, наверное, удастся пристроить ее где-нибудь при штабе.

В эти минуты Штенберг как-то совершенно забыл о вчерашних неприятностях и о том, что идет война, что она очень близко, что скоро, совсем скоро он может лицом к лицу встретиться с теми, о которых он много говорил, но имел самое смутное представление, что вот эти позиции, окрашенные сейчас низкими лучами медленно опускавшегося за далекие горы солнца, нужно будет защищать всерьез и, может быть, сложить на них свою голову.

Ни о чем этом не думал сейчас румянощекий офицерик, меньше всего расположенный к неприятным мыслям. Бой для него был пока что понятием довольно абстрактным. И он думал о нем с беззаботностью юноши, для которого все нипочем. Поэтому вначале он даже не понял значения слов, грубо и обнаженно брошенных одним из его солдат:

— Двадцать пять лей в сутки — не слишком много, господин лейтенант. Мама Елена должна бы знать...

— Капрал Луберешти, я советовал бы вам помолчать, — испуганно проговорил Лодяну, пытаясь остановить солдата. Младший лейтенант отлично понимал, чем может кончиться для Луберешти эта сцена.

— Что, что вы сказали, капрал? — вдруг встрепенулся Штенберг. — Продолжайте!

— Я сказал, господин лейтенант, что двадцать пять лей — не слишком много. Вы — наш ротный. Отец солдат. И должны знать, как мы живем. Из этих двадцати пяти лей половина разворовывается начальством. Вон наш старшина уже пятую посылку домой отправляет! — Капрал, очевидно, решил итти напропалую и поэтому смотрел на офицера с отчаянным вызовом; вот с таким же вызовом глядел он в глаза полицейских во время забастовок на заводах Решицы. Лодяну хорошо помнит этого горячего, несколько необузданного электромонтера.

— А солдат получает, — продолжал капрал, — два раза в день постный суп, в котором плавает несколько бобов или кусочков сухого картофеля. Мы едим мамалыгу и хлеб, который на восемьдесят процентов выпекается тоже из кукурузы.

— Луберешти!

— Не мешайте ему, Лодяну. Пусть говорит. Продолжайте, капрал!

Лицо Штенберга потемнело. Он как бы только теперь понял, что все это значит для него, принявшего командование ротой. Сейчас Штенберг больше смотрел на Лодяну, чем на капрала. Выражение лица боярина говорило: «Вот до чего довели вы роту! Я могу немедленно сообщить об этом в прокуратуру, и вас обоих расстреляют. Но я не сделаю этого, потому что я добрый и недостаточно решительный, и вы должны это оценить во мне и, оценив, полюбить меня».

Лодяну понял это. Но он понял также и то, что все, чего не сделает командир роты, сделают взводные офицеры, уже не раз обвинявшие Лодяну в панибратстве с солдатами, и вновь обратился к своему земляку:

— Капрал Луберешти, вы с ума сошли!

Однако остановить солдата было уже невозможно.

— Пшеница идет для немецкой армии! — почти кричал он, зачем-то перекидывая винтовку с одного плеча на другое. — Немецкий солдат получает четыреста лей в день, а офицер — две тысячи. Немцы сидят в наших дотах, а нас вышвырнули в чистое поле, под русские снаряды и пули!

— Молчать!

Штенберг вздрогнул от оглушительного голоса. Рядом с ним, перед строем роты, стоял генерал Рупеску.

— Кто командовал этим сбродом? — грозно спросил он, показывая на замерший вдруг строй. — Вы?

— Так точно, ваше превосходительство! Честь имею представиться: бывший командир роты младший лейтенант Лодяну!

— Вы... вы — преступник, а не командир! — и с этими словами генерал несколько раз ударил по щеке Лодяну своей тяжелой пухлой ладонью. Он замахнулся было еще раз, но обожженный взглядом наказываемого, опустил руку. — Судить! Обоих!

И вечером капрал Луберешти был осужден трибуналом.

Ночью его расстреляли перед строем роты.

Лодяну разжаловали в рядовые.

...Случай этот, пожалуй, больше всего встревожил полковника Раковичану.

«Русские еще черт знает где, а тут творится такое, — невесело размышлял он, искуривая одну папиросу за другой. — Впрочем, подобные маленькие неприятности в армии были и раньше. Они неизбежны». — Раковичану постепенно стал успокаиваться и успокоился было уж совсем, когда в комнату почти вбежал генерал Рупеску.

— Случилось то, чего мы больше всего боялись, полковник. Русские вышли на Прут!

— Что?! — Раковичану мгновенно соскочил с дивана, на котором собирался вздремнуть. — Что вы говорите?

Не может быть! Это чудовищно! Когда они... когда они успели?

Он метнулся к окну, как бы надеясь увидеть за ним то, что могло бы опровергнуть эту страшную весть. Но за окном ничего не было видно. Горячий лоб полковника ощутил легкое вздрагивание стекла от резких толчков, вызванных далекими разрывами тяжелых снарядов и бомб. Где-то, должно быть в деревне, жутко выла собака.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

Под темневшими яблонями и вишнями в предутренней сумеречи плыл сдерживаемый говорок, вспыхивали и тут же гасли красные точки папиросок. Храпели запряженные кузьмичовы кобылы. Мишкин битюг бил копытом и шумно, тяжко дышал. В минуту особенной тишины слышно было, как лопались почки яблоневых и вишневых веток. В прохладном воздухе веяло их горьковато-кислым, едва уловимым запахом. На земле, под прошлогодней листвой, возились мыши, бегая по своим тайным тропам. Где-то в старом дупле пискнула пичуга. По всему саду мерцали драгоценными камнями холодные точки — это покрылись капельками росы только что пробившиеся из-под земли бледнозеленые жальца молодых трав. Маскхалаты солдат тоже были покрыты росой, но не блестели в темноте, влажные и тяжелые.

— Что за страна такая, Румыния? — мечтательно гудел сенькин голос.

— Ось зараз побачим, — отвечал ему басок Пинчука.

— А если не переправимся? Может, еще куда пошлют нашу Непромокаемо-Непросыхаемую?

— Не может того быть.

— Вот и я так думаю...

— Ладно вам. Утро вечера мудренее.

— Такая поговорка, Вася, к разведчикам не подходит. У нас все — наоборот.

— В чужедальнюю сторонку, стало быть...— раздумчиво проронил до сих пор молчавший Кузьмич и глубоко вздохнул: — Бывал я в семнадцатом в здешних-то местах. Измаил, Галац... Опять же Аккерман... и... эти

еще... обожди... Туртукай... Рымник... Во-во! Знакомые мне края. Тут нас германец газами потчевал...

— Уж не служил ли ты при Суворове, Кузьмич? — серьезно осведомился Сенька.

— При Суворове не служил, а по его путям хаживал! — так же серьезно и не без гордости ответил сибиряк.

— Далече ушагаешь ты, Кузьмич, от своей Сибири. Сам Ермак Тимофеевич в такую даль не уходил. Женим мы тебя на какой-нибудь румынке да и оставим там. Будешь мамалыгу есть...

— Не балабонь ты, Семен! Що к человеку прицепился? О деле лучше бы сказал! — шумнул на Ванина Пинчук, которому в такие торжественные и ответственные минуты сенькина болтовня казалась совсем неуместной, хотя, как известно, в другие времена и в иных обстоятельствах балагурство Ванина ему доставляло немалое удовольствие. А сейчас он нахмурил брови, добавил глухо: — Может, кто из нас и по другой причине назад не вернется...

— Значит, боишься, Петр Тарасович?

— Не в том суть. Умирать на чужой стороне кому ж охота!..

— А мы и не думаем умирать. Умирать будут фашисты. А мы жить будем, да еще и другим людям жизнь принесем,— откликнулся сосед Пинчука.

— Правильные речи любо послушать! Ты, Вася, сам придумал такие разумные слова, или тебе их подсказал кто? — полюбопытствовал Ванин, поворачивая свою круглую вихрастую голову в сторону Камушкина, почему-то в четвертый раз перематывавшего одну и ту же портянку.

Потом опять стало тихо. Каждый понимал, что говорил не то, что думал, сердца тревожились другим — более значительным. Нелегко расстаться с родимой сторонкой! Надолго ли? И что сбудется с каждым?..

Беспокойнее затрещали цыгарки. Гасли и снова разгорались красные точки.

— Хотя бы вздремнуть.

— Пробовал, не получается.

— Да-а-а... дела...

— Дела, как сажа бела. Что вздыхаешь-то?

— Ничего. Так...

— То-то же, так...

На минуту смолкли и опять:

— Пора б выступать, а лейтенанта с парторгом все нет.

— Придут скоро. Они зря не загуляются.

Спать никому не хотелось. Только одну Наташу почему-то сильно клонило ко сну. Зябко поеживаясь, она прилегла на повозке Кузьмича и мужественно боролась с навязчивой дремотой. Кузьмич укрыл девушку своей шинелью. Сжавшись в комочек, она согрелась. Зато дремота теперь одолевала сильнее. Черные длинные ресницы ее часто смыкались. Разбуженная говором ребят, она испуганно приподнималась на руках, трясла головой, а потом опять куталась в шинель.

— Да спи ты, дочка, — несколько раз говорил ей Кузьмич, видя, как она мучается. — Небось, разбудим, не оставим...

— Дядя Ваня, а где... Аким?

— В батальон связи пошел. Рацию починить. Вернется скоро.

Вышли к реке только утром. Против румынского города Стефанешти понтонеры уже навели мост, по которому двигались войска. Дождавшись своей очереди, переправились и разведчики. До города было не меньше километра, хотя с левого берега казалось, что он стоял у самой реки. Вокруг раскинулась ровная, уже покрытая нежным зеленым ковром, долина. На ней устроилось несколько зенитных батарей, охранявших переправу. Орудия, задрав кверху жерла, стояли безмолвные и ничем не замаскированные. Солдаты-зенитчики, закончив до рассвета земляные работы, теперь кучками, по-цыгански, сидели на разостланных плащ-палатках и с превеликим аппетитом ели вареные яйца — подарок гостеприимных молдаванок. Всюду вокруг белела яичная скорлупа.

Разведчики немного отошли от реки и сразу, точно по команде, движимые единым и еще никогда не испытанным чувством, оглянулись назад. Теперь их глаза были такие же светлые и влажные, как вчера у Бокулея, когда он в рядах наших войск подошел к родной румынской земле. Вася Камушкин, таясь от товарищей и особенно от Ванина, незаметно провел рукой по карману. Ощутив под ладонью вишневую ветку, которую захватил

с собой еще вчера, на русской земле, он успокоился, украдкой глянул на Сеньку. Но комсорг зря таился. Ванин видел, как он сломал эту ветку, и только из не свойственной ему деликатности ничего не сказал тогда. И вообще Сенька эти дни был предупредителен с товарищами и удивительно вежлив, что вовсе не вязалось с его озорным нравом. Сейчас он вместе с остальными глядел на левый берег реки. Та сторона была залита солнечным светом. Часть этого света выплеснулась и на румынский берег, и освещенная полоса все более расширялась, догоняя солдат.

Не одни разведчики смотрели сейчас на покидаемую родную землю, смотрели на нее все гвардейцы. Маленький Громовой, бывший пехотинец, а теперь командир орудия из батареи Гунько, забравшись на снарядные ящики в кузове грузовика, снял шапку и размахивал ею в воздухе. Щеки солдата пылали. Русые волосы растрепал ветер. Они то и дело закрывали ему глаза, Громовой отбрасывал их рукой назад. Сам Гунько не вытерпел, вылез из кабины и, стоя на подножке, глядел на восток, на песчаные курганы по левому берегу, на приветливо белевшие и бесконечно родные домики пограничников. Смуглое лицо офицера было задумчиво-строгим. Увидев разведчиков, он помахал им рукой, крикнул:

— Уходим, значит, ребята!..

— Уходим, товарищ старший лейтенант! — за всех ответил Шахаев.

— Ну, счастливого пути!

— И вам также!

Аким посмотрел на Наташу.

— Что с тобой? Ты что это вздумала?.. — испугался он.

Наташа плакала. Это были первые слезы, которые она уронила на чужую землю. Она ничего не ответила ему. Только быстро смахнула рукой капельки со щеки, виновато-счастливая, посмотрела на него.

Наглядевшись вволю на землю за рекой, солдаты зашагали к городу. К тому времени с ними поровнялась голова колонны стрелкового полка, в котором служил их бывший командир. Марченко скакал на буланом жеребце. Он не подъехал к разведчикам, хотя и видел их. Лишь остановил долгий вопрошающий взгляд на Наташе, потом злобно пришпорил коня и галопом помчался вперед, обгоняя колонну.

Ванин был немного огорчен. Разведчик привык все время итти впереди, а на этот раз их обогнали и первыми форсировали Прут другие. Однако Семен успокаивал себя тем, что может без всяких помех — в бою не до этого — осмотреть и оценить по-настоящему все, что увидит в этот день в незнакомой стране. Ордена и медали его сияли, надраенные накануне особенно старательно. Ванин шел, выпятив грудь; вид у него был петушиный, задиристый, вся его складная фигура выражала сознание собственного достоинства и силы. Он поминутно оглядывал себя, смахивая с гимнастерки и шаровар малейшие соринки. Заметив, что хлястик на кузьмичовой шинели, как всегда, висит на одной пуговице, заставил старика спрятать шинель в повозке, под солому.

— Позоришь ты нас, Кузьмич!

— Ты что, стало быть, на парад собрался? — проворчал кровно обиженный ездовой. — По своей земле сам, бывало, хаживал без ремня, грудь нараспашку, а тут ишь — вырядился!..

— «Вырядился», — передразнил Ванин, почуяв в словах Кузьмича какую-то обидную для себя правду. — Не в том дело, Кузьмич. Ведь мы с тобой сейчас вроде дипломатов. А дипломату ходить с оторванным хлястиком не положено. Старый человек, а не понимаешь такой важной сути...

К радости Сеньки, его неожиданно поддержал Шахаев:

— Правильно, Ванин. Даже по нашему внешнему виду будут судить о Красной Армии и обо всем нашем советском народе. Помните, что говорил полковник Демин?

— Во-во! — быстро подхватил Ванин и победно посмотрел на Кузьмича, шагавшего рядом со своей повозкой.

Тот, однако, не сдавался:

— А откуда нам взять красивый-то внешний вид?.. Мы сотни верст вон по какой грязюке прошли. А кое-где и на животах пришлось ползти...

— Но ведь Сенька-то и другие разведчики сумели привести себя в порядок!..

Побежденный Кузьмич замолчал.

Ближе к городу все чаще стали попадаться местные жители. Мужчины и ребятишки были в высоких остроко-

нечных шапках и в узких, плотно обтягивавших тонкие ноги, самотканных белых штанах. Штаны эти не понравились всем, особенно же Пинчуку, не любившему ничего тесного.

— Обычай у них такой, фасон, — сказал новенький разведчик Никита Пилюгин.

— Какой там фасон! Бедность заставляет такие брюки носить. Я колысь, ще до революции, тоже такие таскал, потому как других не было, — высказался Петр Тарасович и, утвердившись в своей мысли, добавил: — Посмотри, яки мослы из-под штанов выпирают! Жалко глядеть...

Пинчук осматривал все вокруг жадно и придирчиво. Ему не терпелось поговорить с встречными румынами. Он пробовал это делать, но неизменно получал в ответ одно и то же;

— Ну штиу русешти[1].

Петр Тарасович понимал значение этих слов, но только ими да еще двумя-тремя фразами и ограничивались его познания румынского языка. Он пожалел, что рядом с ним нет Бокулея: вот с его помощью можно было бы поговорить с местным населением и выяснить, что к чему. Пинчук всматривался в колонну, не видать ли где капитана Гурова с Бокулеем.

По обеим сторонам дороги навстречу колонне шли румынские женщины-крестьянки в широких, сборчатых юбках. Многие несли на головах большие плетеные корзины с семенной картошкой. Корзины эти ловко держались на их макушках, вызывая искреннее удивление у советских солдат.

У крайних домов разведчикам встретилась вышедшая из церкви процессия. Впереди шагал поп и пел гнусавым голосом. Пела и толпа, следовавшая за попом. Солдаты свернули влево, уступая дорогу. Ванин внимательно и удивленно глядел на процессию. Чем-то непонятным и древним повеяло от нее на советского солдата, и Сенька особенно остро почувствовал, что он находится на чужой земле и что его окружает сейчас совершенно иной, словно вернувшийся из далекого прошлого мир. Растерянно и недовольно мигая светлыми ресницами, разведчик с недоумением слушал грустное пение.

---

[1] Не понимаю по-русски (*рум.*).

Город был пустынен. Изредка промелькнут две-три человеческие фигуры и скроются за высокими воротами. На маленькой, замусоренной городской площади красовался балаган. Возле него никого не было. Только тощая пестрая собака обнюхивала что-то.

Колонна миновала город, прошла еще километра два и вступила в большое румынское село. Жители села вели себя сперва сдержанно. На улице появлялись лишь ребятишки. Они смотрели своими большими черными глазами на советских солдат молча, настороженно, с неудержимым любопытством, но боялись. Солдатам было от этого неловко, и они все время пытались расположить детей к себе.

— Иди, иди же сюда! Ты, грязноносый! Брось мамалыгу-то, иди, я тебе чего дам! — манил Ванин к себе чумазого мальчонку, зажавшего в грязном кулаке кусок остывшей мамалыги. Малец не решился подойти сам, но и не убежал, когда Сенька приблизился к нему. Разведчик поднял его на руки и понес. — Что ж ты дрожишь так?.. Я не трону тебя... Мы ведь не фашисты... Понимаешь?..

— Ну штиу... — мальчишка трепетал в руках у разведчика, как пойманный зверек.

— Ничего. Поймут скоро и не будут говорить «ну-шти», — задумчиво сказал Шахаев, глядя на худого ребенка.

— На вот, поешь, — поощрял Ванин, всовывая в руку мальчику ломоть хлеба и неведомо где добытую им плитку шоколада. — А мамалыгу брось. Скучная это еда...

Видя вокруг добрые, сочувственные лица, хлопец взял хлеб и шоколад. Сенька опустил его на землю, и он с пронзительно счастливым визгом помчался назад, где, сбившись в плотную кучку, ждали его приятели, такие же грязные оборвыши.

— Бедный народ румыны, — выдохнул Пинчук.

— И темный, — добавил Аким.

— Что-то и зла на них нет, — вдруг признался Сенька. — Вот воюют против нас, а зла нет...

Он посмотрел на товарищей, не осуждают ли они его слова. Понял, что нет, не осуждают.

Взрослое население появлялось на улице редко, так что солдатам не удавалось поговорить с румынами. Солдаты осматривали издали дома, постройки, делали кри-

тические замечания и заключения. Петр Тарасович успел приметить, что у большинства домов над крышами не видно труб, которые по обыкновению маячат над хатами. Это обстоятельство неожиданно вызвало горячий спор.

Молодой разведчик Никита Пилюгин, еще дома от своего отца-единоличника наслушавшийся о загранице нивесть каких чудес, склонен был утверждать, что трубы эти румынским крестьянам вовсе не нужны.

— Это почему же? — спросил Сенька, сердито глянув на Никиту.

— А зачем они им, трубы эти? У румын, должно, во дворе отдельные кухни стоят. Там они пекут и варят...

— А твоя дурная голова варит що, чи ни? — полюбопытствовал Пинчук. — Зимой що ж, они в холодной хате живут?.. Не знаешь, так помалкивай, — наставительно закончил Петр Тарасович.

— Надо выяснить, почему труб нету. Интересно же! — сказал Сенька. Он хоть в душе и соглашался со словами Пинчука, но со своими выводами не спешил. Старый разведчик, Семен любил оперировать фактами. С разрешения Забарова он пробежал по нескольким дворам и нигде кухонь не обнаружил. Вернувшись, коротко объявил Никите:

— У тебя в голове, Пилюгин, максимум пять извилин. Это я тебе точно говорю. Не обижайся!

Шахаев шагал впереди, рядом с Забаровым, прислушиваясь к солдатскому спору. Он еще не совсем оправился после ранения, сильно потел, быстро уставал. Но на неоднократные просьбы Пинчука и Забарова сесть в бричку отвечал решительным отказом. Ему не хотелось выдавать свою слабость. Теперь же, прислушиваясь к разговору бойцов, он будто и вовсе не чувствовал усталости. Али Каримов, с его вечно удивленными карими глазами, засыпал парторга вопросами, и Шахаеву нравилось отвечать на них.

— А какой теперь тут будет власть? — спросил сейчас Али. — Советский или еще какой?

— Народ сам решит, Каримыч, — ответил Шахаев. — А чтобы он правильно решил, мы с вами должны вести себя тут хорошо. От нас много зависит, Каримыч. Понял?

— Понял... Да больше понять нада...

Шахаев продолжал:

— Ведь им о нас столько страстей-мордастей наговорили!.. И вот пусть теперь убедятся сами, что все это — ложь, что правда — с нами.

За селом разведчики увидели цыганский табор. Цыгане вели себя совершенно по-иному. До этих вольных степных людей, очевидно, не доходила антисоветская пропаганда, и они не боялись русских солдат. Черная рать голых цыганят и полуголых цыганок ринулась на колонну Слово «дай», произносимое на десятке наречий, сливалось в один оглушающий, гортанный гул. Когда разведчики прошли вперед, цыгане начали осаждать следующую колонну. Должно быть, они уже успели убедиться в добросердечии русских бойцов.

— Вот это — да! — пробормотал Сенька, вытирая потный лоб. Ему, лихому вояке, было стыдно за минутную робость, которую он испытал при виде устремившейся на них шумной толпы. — Их бы только в психическую атаку посылать...

Впереди и по бокам, насколько захватывал глаз, виднелись холмы, покрытые лесами, фруктовыми садами и виноградниками.

— Земля богатая тут. А люди живут бедно, — обращаясь к Акиму, снова промолвил Пинчук, жадно глядя на окружавшую его местность.

— Откуда же быть им богатыми, — тихо проговорил Аким. — Ты только послушай, Тарасыч, сколько видела и пережила эта маленькая несчастная страна!

Ванин, услышав эти акимовы слова, приблизился и молча пошел рядом с Пинчуком и Ерофеенко: Сенька уже привык к тому, что его дружок Аким всегда расскажет что-нибудь новое, для него, Ванина, неизвестное. Сейчас из слов Ерофеенко Семен впервые узнал о печальной истории земли, по которой двигались советские войска.

Во времена Римской империи Румыния служила мостом для движения римских легионов на северо-восток, в Скифию. В эпоху великого переселения народов через нее проходили с востока на запад гунны, авары, хозары, печенеги, венгры, турки, татары. Начиная со средних веков Румыния служила руслом встречного потока экспансии европейцев к Черному морю и на Ближний Восток.

— А русские тут тоже были? — не вытерпел Ванин.

— Были, Семен, и не раз, — тихо и задумчиво ответил Аким. — Только русские и спасали эту страну от ино-

земного ига. — Аким помолчал и закончил: — Мы еще как-нибудь поговорим об этом. Ты, Тарасыч, любишь историю? — спросил он Пинчука.

— А як же, Аким, — Петр Тарасович тяжело вздохнул. — Мало учился я, вот беда...

Вышли в степь. Поле, по которому двигались колонны советских войск, было изрезано на мелкие лоскутки, клинья, полоски, перекрещено вдоль и поперек бесчисленными межами. Межи эти были чуть поуже самих полосок, и это особенно возмущало хозяйственную душу Пинчука. Наморщив лоб, он мысленно напряженно вычислял, сколько же теряется пахотной земли с каждого гектара из-за этих проклятых меж. Вышло — много. Петр Тарасович негодовал:

— Безобразие! Хиба ж так можно!.. А сорняков на этих межах сколько! Ой, лыхо ж! — тяжко, с болью вздохнул он, будто осматривал на своем колхозном поле клочок земли, по недосмотру халатного бригадира плохо вспаханный. — Хиба ж так можно жить? — раздумчиво повторил он и потеребил бурые отвислые усищи.— Сколько хлеба зря пропадает! Не знают, як жить нужно! Эх, люди!..

На одной полоске он заметил пахаря. Приказал Кузьмичу придержать лошадей. Ездовой остановил кобылиц, привязал их возле часовенки, стоявшей на перекрестке, и вслед за Пинчуком, спотыкаясь о муравейники и кротовьи кучи, пошел к румыну. Худая белая кляча тащила за собой деревянную соху. И лошадь и пахарь делали невероятные усилия. Пинчуку сразу же вспомнилась картинка из дореволюционного букваря и стихотворение под ней, начинающееся словами: «Ну, тащися, Сивка».

Петр Тарасович и Кузьмич приблизились к крестьянину. Тот выпустил из рук ручки сохи, глянул слезящимися, разъедаемыми пóтом глазами на русских солдат, снял шапку и чинно поклонился.

— Буна зиуа [1]!

— Доброго здоровьичка! — ответствовал Пинчук, поняв, что крестьянин приветствует их.

Румын мелко дрожал. Не от страха, а от напряжения и от великой усталости. Он не боялся солдат: хлебороб быстро узнал в них хлеборобов.

---

[1] Добрый день (*рум.*).

— Ковыряешь? — спросил его Пинчук.

— Ну штиу.

— Опять «нушти»! Понимать надо! А то все — «нушти» да «нушти». Вот вас и мучают, угнетают... Бросил бы ты эту гадость! — Петр Тарасович потрогал рукой деревяшку. Высветленные ладонями хозяина ручки сохи были горячие и бугроватые, словно и на них набиты мозоли. — Ну, ладно, мабудь, поймешь колысь...

— Поймут, стало быть, коль мы сюда пришли, — подал свой голос Кузьмич, который давно ждал случая высказать свое мнение.

Пинчук и ездовой вернулись к разведчикам, сделавшим небольшой привал. Недалеко от дороги, окруженная со всех сторон каштанами, тополями и черешней, белым пауком прицепилась к земле боярская усадьба.

— Вот у того нет, должно быть, этих разнесчастных клиньев, — сказал Шахаев Забарову, думая про помещика.

Парторг поднялся, немного отошел в сторону, чтобы лучше наблюдать за бойцами, за выражением их лиц, отгадывать мысли. Что думают ребята? Ведь все сейчас смотрели на эти давно забытые межи...

«А ты что задумался, командир?»

Шахаев взглянул на Забарова и невольно улыбнулся. Спокойный, сосредоточенно-уравновешенный ум Федора и его физическое могущество всегда будили в сердце Шахаева добрые мысли, наполняли грудь безотчетной радостью.

На этот раз лицо Забарова было строже обычного. Странная дума беспокоила этого сильного и сурового человека. Вот осталась позади, там, за рекой, огромная земля, навеки ими освобожденная. Остались на этой земле миллионы в общем добрых, честных и чистых людей, и это очень хорошо. А вдруг сбежал из-под охраны, перекрасился и живет на той святой, окропленной кровью бойцов земле и рыжебородый кулак, которого они недавно встретили? Может же такое случиться! Живет... И вот это очень плохо. Разве для него проливал Федор дважды свою кровь, для него сложили свои головы Вакуленко, Уваров, Мальцев?.. Бывает же в жизни так: заведется в какой-нибудь большой и хорошей семье один вредный человек и портит всем кровь. Его все-таки терпят в доме, хотя и не знают точно, кем он доводится этой

семье. Потом, когда уж станет невмоготу, выбросят к чортовой бабушке того вредного человека и сразу почувствуют облегчение.

Нет, он, Забаров, сделал непростительную ошибку, не рассчитавшись окончательно с кулаком. Вдруг ему удалось выкрутиться? Смеется, небось, над ними, рыжий дьявол. Чего доброго, прикинется советским, да еще завхозом его поставят: они ведь такие — умеют перекрашиваться... Будет жить и ждать... следующей войны.

— Дай-ка, Шахаев, закурить...

— Вы что, товарищ лейтенант? —удивился парторг, услышав дрожь в голосе Федора.

— Ничего... — Забаров не мог завернуть папироску. — Чертовщина какая-то в голову лезет, — и он неожиданно рассказал о своих странных мыслях.

Когда он кончил говорить, Шахаев спросил, улыбаясь:

— И все?

— Ну да... А чего ты смеешься?

— Эх, товарищ лейтенант! Разве устоят эти рыжебородые одиночки против миллионов?..

Привал кончился. Колонна двинулась дальше. Шли степью. За дальними холмами грохотали редкие орудийные выстрелы. На горизонте, далеко-далеко, вспухали черные шапки от разрывов бризантных снарядов и белые — от зенитных. Небо — туго натянутое, нежноголубое, огромное полотно — звенело. Вспарывая его, вились истребители. Ниже, невысоко над землей, деловито кружились два «ила» — разведчика. Они были заняты черновой и скучной работой — фотографировали вражеские позиции. Знакомая фронтовая картинка вернула мысли разведчиков к суровой действительности — война продолжалась... А это значит — будет еще литься кровь, много крови, и еще не одно горе обожжет солдатское сердце, и еще не раз придется комкать в руках пилотку над свежей могилой...

— Вася, расскажи что-нибудь...

— Да ты что? — встревожился Камушкин, взглянув на побледневшее вдруг лицо Ванина.

— Так... расскажи. Прошу, как друга!..

...Комкать пилотку над могилой павшего товарища. И, наверное, это будет больнее, чем раньше, — чужая сторона, неродная, неласковая землица, суглинистая, горьким-горька...

Сколько раз уже поливал ее своей горячей кровью русский солдат!..

Вдали, в нежно вытканном мареве, синели горы.

Карпаты!..

Дрогнуло сердце Кузьмича; вспомнил старый сибиряк, как пели в четырнадцатом новобранцы:

Нас угонят на Карпаты,
Там зароют без лопаты...

Взгрустнулось и Акиму: там, в этих карпатских снегах, сложил когда-то свою голову брат его отца.

«За горами, за долами, за широкими морями». Что там ждет их за этими горами да за долами? И почему разведчиков сейчас так мало — на своей земле их всегда казалось больше — и идут они здесь не по-своему, гуськом, след в след, а плотным строем, будто боясь сорваться и упасть куда-то? И почему самому Акиму хочется быть поближе к Забарову, почему все жмутся к лейтенанту, как железные гвозди к большому и сильному магниту?

Небо звенело от зенитных хлопков. Чужое небо. Сенька задыхался от махорочного дыма, обжигал окурком губы, но продолжал курить, хотя делать этого в строю и не полагалось.

Между тем у разведчиков вновь разгорелся спор. На этот раз причиной спора была одежда, которую видели ребята на встречных румынах и румынках. Почти все мужчины и женщины были одеты в рубища.

— До чего довели хлеборобов! — простонал Пинчук.

Никита Пилюгин быстро возразил:

— Прикидываются они. Для нас специально вырядились. А хорошее припрятали. Заграничное-то сукнецо в землю позарывали. Знаем мы их!

Сенька, смерив Пилюгина недобрым взглядом, приблизился к нему вплотную, встал на цыпочки и, многозначительно постучав пальцем по никитиному лбу, негромко, но внятно заключил:

— Пусто!

Никита, обидчиво заморгав, смотрел на Ванина широко поставленными угрюмыми глазами.

— Почему так — «пусто»?

— А вот так — пусто и есть! — уже мягче пояснил Ванин. — Ты завидовал, дурья голова, всему заграничному. А завидовать-то, оказалось, и нечему. Вот ты и выдумываешь всякое такое...

2

Разведчиков догнали две политотдельские машины. В одной из них сидели на своих граммофонных трубах и звукоустановках капитан Гуров и Бокулей. При виде желтоволосого румына Ванин оживился. Разведчик вновь обрел свой обычный шутливо-озорной и лукавый вид.

— Э-э-й! Георге! — заорал он, чихая от пыли, поднятой остановившимися машинами. — Слезай к нам. За переводчика у нас будешь. Мне тут нужно с вашими префектами да примарями потолковать. Что-то неважно они встречают гвардии ефрейтора Ванина. Товарищ капитан, отпустите его. Разведчику ведь надо знать местные обычаи.

— Зачем это тебе нужно их знать? — полюбопытствовал маленький и хитрый Гуров, щуря на Сеньку свои черные близорукие глаза. — Трофейничать, что ли, собрался? Знаю я тебя, Ванин!..

Сеньку обидели гуровские слова.

— Плохо вы знаете, товарищ капитан. Что было, уже давно быльем поросло. О трофеях не думаю.

На этот раз Сенька говорил правду.

— Нет, хорошо я тебя знаю! — стоял на своем Гуров, но румына все-таки отпустил: он, как и все в дивизии, любил разведчиков. К тому же по роду своей службы ему приходилось поддерживать с ними теснейший контакт. — Ладно, Бокулей, пройдись с хлопцами! — снисходительно сказал капитан. — Только смотрите у меня!..

— Спасибо, товарищ капитан! — обрадовался румын и спрыгнул с машины. По беспокойному блеску в его добрых коричневых глазах Ванин сразу понял, что румын сильно взволнован.

— Ты что, Бокулей? Землю родную под собой почуял?

— Мой дом недалеко...

— Где? Как название села?

Бокулей сказал.

Ванин проворно развязал свой вещевой мешок и вытащил оттуда новую, без единой помарки, карту Румынии, которую он когда-то уже успел «одолжить» у одного

немецкого офицера. Вдвоем с Бокулеем быстро нашли нужный пункт.

— Вот теперь все в порядке: Гарманешти, значит? Так это ж недалеко. Завтра будем там!

— Хорошо, если наша дивизия туда пойдет, — сказал Камушкин, с сочувствием глядя на Бокулея.

— Туда и пойдет. Куда ж ей еще! — уверенно проговорил Сенька. Сейчас он чувствовал себя по меньшей мере штабным офицером. — Нашу Непромокаемо-Непросыхаемую всегда посылают на самое острие. Смотрите! — он развернул карту на траве, встал на колено. — Вот линия фронта. Вот город Пашканы. Дальше некуда. Там — румынские доты. Это я слышал от начальника разведки, — добавил новоявленный «оперативник», не без основания полагая, что ему могут и не поверить. — А тут, гляньте, эти самые Гарманешти. В них штаб разместится. Ну, а нам, по знакомству, Бокулей свое поместье предоставит!

Отдохнув, разведчики пошли быстрее. Теперь Забаров не разрешал бойцам останавливаться возле часовен, попадавшихся на каждом километре, и рассматривать христово распятье да темные образа святых. До ночевки солдатам предстояло пройти еще километров десять. В полдень вступили в большой румынский город Ботошани. В отличие от других населенных пунктов, где обычно было пустынно и тихо, Ботошани казались более оживленными. Солдат удивила бойкая торговля в магазинах, будто война прошла где-то мимо.

Спросив разрешения Забарова, Сенька взял с собой Бокулея и забежал в одну лавчонку. Перед ним любезно раскланялся купец со смолистыми, чорт знает как закрученными усами. Сенька порылся в кармане. В руках у него появились леи, которые бойцам выдал накануне ахэчевский начфин.

— Колбасы мне продай.

Лабазник покачал головой и что-то пролепетал.

— Что он? — не понял Ванин.

— Русские деньги просит, рубли, — пояснил Бокулей. — Он думает, что тут советская власть будет.

— Ах, вон оно что! Приспосабливается, значит, купчишка! — Сенька улыбнулся: разведчик полагал, что, во всяком случае, купчишке-то нечего ждать для себя хорошего от советской власти, — не его, не купеческая эта

власть. — Что ж, разве рубли ему дать? — вслух размышлял Ванин.

Рублишки у Сеньки были, но он не решался покупать на них, жалко было советских денег, да и не хотел, чтобы на наши рубли наживал себе богатство этот черноусый, с прилипчивыми глазами человек. При затруднительных обстоятельствах Сенька всегда мысленно ставил на свое место парторга, и это помогало ему найти верное решение.

— Рублей я ему не дам! — уже твердо заявил он Бокулею. — Так и переведи! — и направился к двери, но в магазин уже входил Али Каримов. Тот без долгих размышлений вытащил пачку рублевок. Однако Ванин остановил азербайджанца.

— Не смей! — строго сказал он.

Каримов покорно и молча сунул деньги обратно в карман. Но, отойдя немного, вдруг забушевал. Сначала тихо, потом все громче и горячей. Он говорил часто, отчетливо и непонятно. Можно было только догадываться, что, поразмыслив, Каримов решил, что Ванин поступил неправильно, не позволив ему сделать покупку на рубли, что Сенька только принизил советские деньги в глазах румынского торговца, а ведь в конце концов — на этот счет у Али не было ни малейшего сомнения — и в Румынии должна быть советская власть, не зря же Красная Армия пришла в эту страну!

— А ты декретируешь! — в запальчивости повторял он это понравившееся ему, неудобоваримое чужое слово.

— Постой, постой, Каримыч! — с добродушной снисходительностью остановил его Ванин. Он чувствовал, что Каримов произнес это обидное слово неправильно, и хотел поправить, но во-время сообразил, что исказит его еще больше. Смеясь, продолжал: — Разве так можно? Забормотал, как гусь. Помню, к нам на завод — до войны дело было — вот такой же оратор приезжал. Как начал!.. — Сенька остановился, взъерошил светлый чуб и, отчаянно жестикулируя, без единого роздыха, выпалил: — Оно, конечно, если правильно рассудить в смысле рассуждения в отношении их самих, есть ничто иное, как вообще, например, по существу вопроса, между прочим, тем не менее, однако, а все-таки весьма!..

Пинчук, не дождавшись конца сенькиной тирады, громко захохотал. Он вспомнил другого оратора, кото-

рый — дело было при Керенском — приезжал в пинчуково село. Около трех часов говорил он крестьянам о Европе, о цивилизованном мире, о великом предначертании истории и проговорил бы, наверное, еще часа три, если бы вдруг какой-то древний старикашка не срезал его неожиданным вопросом.

— Дозвольте спросить? — поднялся он в задних рядах.

— Прошу.

— Скажите нам, будьте добрые, що рыба у Чорному мори е, чи нема?

Оратор немного смешался, вопрос показался ему неуместным, однако ответил:

— Есть, разумеется.

— А чому, скажите, в нашей лавке, у купца Демида Прохоровича, ии немае?..

Помещение качнулось от дружного хохота. Смущенный оратор постарался поскорее закончить свою речь...

...Вспомнив этот случай во всех подробностях, Пинчук захохотал еще громче. Кузьмичовы лошади испуганно вздрогнули и прижали уши.

А Ванин продолжал:

— Закатив такую речу, наш докладчик сел, ожидая, когда захлопают в ладоши. Но все мы хлопали ушами да глазами, потому как ничевохоньки не поняли. Так вот и ты, Каримыч, зарядил, что автомат.

Шагавший рядом с Каримовым Никита Пилюгин хихикнул, но Сенька быстро и сердито одернул его:

— А ты что смеешься? Не с тобой разговаривают!

Пилюгина Ванин невзлюбил с первых же дней и не хотел этого скрывать. Никита на фронт приехал около двух месяцев назад. Его отец принадлежал к тем немногим упрямцам-единоличникам, которых еще можно встретить в отдельных селах и деревнях.

— Должно, как музейный экземпляр держат его в селе, — узнав об этом, рассуждал Пинчук.

— Вот и этот в батюшку удался, — указывал Сенька на Никиту. — Зачем мы его только за границу тащим, этакого чурбана. Подумают еще, что все мы такие...

Во всяком случае, Пилюгин-сын унаследовал от Пилюгина-отца одну прескверную черту — неистребимую зависть ко всему и вся. Завидовал Никита Ванину потому, что у того много орденов, Акиму — что с ним была

хорошенькая девушка, Шахаеву — потому, что его все любили, завидовал даже веснушкам Камушкина. Лишь самого себя считал обиженным судьбой. О Пилюгине Сенька сказал как-то, возражая Шахаеву, вступившемуся за Никиту:

— Он, товарищ старший сержант, этот Пилюгин, всему завидует. Вот увидит у вас на шее чирей и обидится: почему, скажет, у меня нет такого же чирья? И кому только в голову пришло послать этого недотепу в разведчики? А все — наш начальник. Увидел здоровяка — и в свое подразделение его. Один, мол, «языков» будет таскать. Натаскает он ему! Чего доброго, свой язык еще оставит... Может, отправим его пехтурой? Пусть там хнычет!..

— Зачем же? — Шахаев улыбался. — Что же мы за разведчики, если одного человека перевоспитать не можем.

— Оно-то так... — нехотя сдавался Ванин. — Но ведь паршивая овца...

— Знаю эту пословицу, Семен, — перебил парторг. — Только к нашим людям она не подходит. Ты вот лучше подумай, как помочь Никите поскорее избавиться от его дурной болезни. Забаров хочет Пилюгина в твое отделение перевести.

— В мое?! Нет уж, товарищ старший сержант, в воспитатели Никиты я не гожусь. Меня самого еще надо воспитывать, — чистосердечно признался Семен и добавил погромче, так, чтобы слышал Ерофеенко: — Вы Акиму его передайте. Аким ведь тоже теперь отделенный. Душа у него мягкая, сердобольная. Глядишь, и пойдет дело. А я, чего доброго, могу еще отколотить...

Вышли на центральную улицу города. Повозка Кузьмича покатилась по асфальту, сбрасывая с колес тяжелые куски высохшего украинского чернозема. Ездовой и старшина сидели рядышком в передке, поставив ноги на вальки. О чем-то деловито разговаривали, показывая на румынские постройки. По возбужденным, раскрасневшимся физиономиям было видно, что ими по обыкновению овладел хозяйственный зуд.

— А вот дороги тут добрые. Нам бы, на Вкраину, такие...

— Будут и на Украине, да еще получше. Всему свой черед. Уж больно мы наследие-то от царя-батюшки, ни

дна бы ему ни покрышки, захудалое получили... Он ведь, Николашка-то, больше о кандалах для народу думал. Помню, мимо нашей деревни, по сибирскому тракту...

— Це так... Да и то сказать, радянська власть богато и дорог понастроила, кроме всего прочего. Только страна-то наша дюже огромная. Если, скажем, один шлях от Москвы до Харькова привезти сюда, он всю Румынию заполонит...

Солнце медленно погружалось за повитые синей дымкой горы. Реденькие облака, подсвеченные снизу, красной гранитной лестницей спускались за верблюжьи горбы далеких Карпат. Мир в эту минуту был как-то особенно велик и необъятен.

Аким взглянул на Пинчука, потом на ездового, на его лошадок, особенно на длинномордую, одноухую красавицу Маруську, которая высекала задними подковами яркие искры, закусив запененные удила, и улыбнулся ощущению, вдруг охватившему его.

Куда ты скачешь, гордый конь,
И где опустишь ты копыта,—

тихо прочел Аким и подумал: «В самом деле, сколько же осталось нам еще переходов, сколько боев до неизбежной нашей — великой победы? И что думают о нас те, кто укрылся сейчас в бедных хатах или вот за этими, наглухо закрытыми железными ставнями городских зданий; что думает вон тот оборванный юноша в шляпе, так пристально и неотрывно смотрящий на советских солдат? И доведется ли мне... Наташе, всем нашим ребятам очутиться вон там, за теми пылающими в кровяном закате горами? И скоро ли перешагнем и их?..»

А душа пела, подсказывала, ободряла: перешагнем, обязательно перешагнем! И он уже видел себя на вершине этих гор: ветер свистит в ушах, захватывает дух! Красный флаг трепещет над головой, рвется ввысь и вдаль!..

К селу Гарманешти подходили в тот момент, когда из него, направляясь к роще, в которой уже расположился медсанбат, тянулись вереницы подвод с ранеными. Так как транспорт дивизии еще не прибыл, на перевозку раненых были мобилизованы румынские крестьяне. Длинногогие и до крайности тощие волы, запряженные в скрипучие неуклюжие арбы и понукаемые ленивыми взма-

хами кнута, медленно переставляли клешнятые ноги. Солдаты невольно остановились, пропуская мимо себя повозки и вглядываясь в искаженные болью, с почерневшими губами лица бойцов. В одной арбе на соломе лежал раненый, покрытый офицерской шинелью. Ванин почему-то не выдержал: движимый неясным и тревожным предчувствием, подбежал к арбе, приоткрыл шинель. Вздрогнув, он вновь опустил ее: залитое кровью лицо офицера показалось ему знакомым. Потом приоткрыл шинель еще раз и узнал лежавшего под ней человека.

— Марченко! — крикнул он, повернувшись к разведчикам.

Наташа вместе со всеми подбежала к повозке.

Лейтенант открыл глаза, в которых уже не было прежнего блеска, долго молча всматривался в склонившееся над ним лицо девушки, в ее белые, забрызганные закатными лучами кудри и не мог понять, кто же эта девушка.

— Это я, Наташа, — просто подсказала она. — Разве не узнаете меня? — и увидела, как он весь дернулся, потом улыбнулся и вдруг, должно быть, от невыразимой боли, вытянулся струной, заскрипел зубами. Бледное, бескровное лицо его сморщилось, а из плотно зажмуренных глаз покатились по щекам слезы.

Забаров приказал разведчикам перенести лейтенанта на свою повозку. Пинчук и Кузьмич быстро приготовили место. Аким осторожно взял офицера под голову, остальные поддержали за ноги и под спину.

Проводив Кузьмича и Наташу с Марченко в медсанбат, разведчики вслед за арбой румына направились в село.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

Предположения Ванина оправдались: штаб дивизии действительно разместился в Гарманешти, а полки заняли позиции перед цепью дотов, тянувшихся в шахматном порядке от Пашкан до Ясс. Дивизии Сизова пришлось выйти на самое острие клина, вбитого войсками фронта в территорию Румынии. Полки попытались было с ходу пробить брешь в укреплениях врага, но не смогли. Система огня неприятельских дотов была настолько

сложной и мощной, что не оставалось ни одного метра непростреливаемой местности. Стало ясно, что укрепленному району противник придает исключительно большое значение и что без длительной и тщательной подготовки прорвать вражескую оборону будет невозможно. Командующий армией отдал приказ генералу Сизову и командирам соседних с ним дивизий — прекратить атаки. Полки, дождавшись ночи, под покровом темноты отошли немного назад, на высоты, которые хотя и были ниже высот, занятых противником, но все же в какой-то степени господствовали над местностью. Никто в ту ночь не знал, что на этом рубеже придется постоять много месяцев, что с этих позиций начнется грандиозное августовское наступление 1944 года, вошедшее в историю Великой Отечественной войны под названием Седьмого удара...

Предводительствуемые Бокулеем разведчики въезжали во двор его отца. Занятые своим делом, еще находясь под впечатлением встречи с раненым лейтенантом Марченко, солдаты не замечали, как волновался Георге Бокулей, какими долгими показались ему последние минуты, отделявшие его от встречи с родительским домом. И вот теперь они въехали во двор, где провел свое детство кудрявый, желтоволосый мальчик. На крыльце, на подгнивших ступеньках, облокотясь на деревянные перильца, увешанные наполовину вылущенными кукурузными початками, стояла пожилая худая женщина. Георге, глотая слезы, бледный, рванулся к ней, и все услышали слово, которое одинаково произносится на всех языках и которое с одинаковой силой обжигает человеческие сердца:

— Мама!!!

Она тихо, беспомощно опустилась на ступеньку, протягивая к нему руки, будто умоляя, выкрикивала что-то непонятное для разведчиков. Бокулей поднял ее на ноги, и она долго и исступленно глядела ему в лицо, как бы загипнотизированная внезапной великой радостью. Потом стала порывисто обнимать его своими слабыми, немощными руками. Она не замечала наблюдавших за ними солдат, появления которых еще минуту назад с ужасом ожидала в своем доме. С нею был сын — ее старший

сын, первенец! — и больше ни о чем она не думала и не хотела думать в эту минуту, — перед ней стоял он — живой, невредимый, долгожданный...

Потом откуда-то появился и отец — маленький, кучерявый и черноволосый мужичонка в узких латанных штанах — Александру Бокулей. Он поздоровался с сыном сдержанно, и если бы не худые, длинные пальцы, которые тряслись непрошенно, можно было подумать, что Бокулей-старший спокоен. Сняв мерлушковую шапку, он поклонился разведчикам, сказал что-то еще Георге и пошел в дом. Мать и сын последовали за ним.

Сенька тоже собрался было войти в хату, но его остановил Пинчук:

— Дай людям с сыном одним побыть. Иди щели копать. Забаров сказал, щоб к обеду завтрашнему готовы булы.

— Начинается! — недовольно пробурчал Ванин и, обернувшись к Никите, добавил: — Чего стоишь? Бери лопату!..

Но перед тем, как приступить к работе, разведчики тщательно осмотрели весь двор. Петр Тарасович заглянул в единственный хлевушок, который оказался пустым. Когда-то в нем находились овцы или козы, на земляном полу валялся давно ссохшийся помет.

— Худо живут, — заключил Пинчук, выходя из хлевушка.

И Петру Тарасовичу неудержимо захотелось поскорее узнать жизнь людей в этой незнакомой стране, потолковать с простым народом: выяснить, что и как, и присоветовать в чем-нибудь...

Первое, что бросилось в глаза вошедшему в родной дом Бокулею, это то, что ничего в нем не изменилось со времени его ухода в армию. Те же закопченные стены с темными тенетниками по углам, в которых барахтались мухи, те же глиняные горшки на подоконниках, тот же вечный, душный и неистребимый запах мамалыги. Посредине комнаты, на прежнем месте, стоял все тот же громоздкий жернов, который особенно привлек внимание молодого Бокулея: Георге вспомнил, что этот жернов, несмотря на свою неуклюжесть, являлся предметом их семейной гордости, потому что у других не было и жер-

нова, и к Бокулеям часто приходили соседи размолоть котелок кукурузы. И, наконец, старая деревянная кровать. На нее не взглянул Георге: возле этой кровати умерла его двухлетняя сестренка. Мать, уходя на огород, привязала ребенка к ножке кровати, — так часто делают румынские крестьянки из опасения, что ребенок может выйти на улицу и попасть в колодец. Девочка, привлеченная вкусным запахом мамалыги, потянулась к ней. Вернувшаяся домой мать увидела ее мертвой: ребенок запутался в веревке и задушился.

Георге, чтобы, очевидно, не будить горьких воспоминаний, старался не замечать этой кровати. Оживленный и радостный, смотрел он на другие предметы, с удивлением находя их на прежних местах. Он приметил на подоконнике, между накрытых деревянными кружочками горшков, там, куда пробивался, должно быть, уже последний солнечный луч, старого сонливого кота, который словно и не покидал никогда своего места. Георге окончательно убедился, что в доме в самом деле ничего не изменилось. Он еще не успел увидеть, что когда-то смоляно-черная курчавая голова его отца теперь покрылась, будто изморозью, густой сединой, что стрелы морщин у его добрых ласковых глаз углубились и разошлись дальше к вискам и щекам.

— А где Маргарита? — спросил Георге, с первой минуты обнаруживший отсутствие сестры, своей озорной любимицы. — Где она? — тревожно переспросил Георге, перехватив испуганный взгляд матери.

Но маленькая тонконогая Маргарита уже входила в дом. Она взвизгнула, заметив брата, подбежала к нему, обняла за шею и стала быстро и жадно целовать его.

— Георге! Георге! Братец мой!.. — говорила она. Но в голосе ее было что-то такое, что встревожило Георге. Он поднял голову, высвободив ее из теплых и странно слабых рук сестры. Отец и мать сидели попрежнему молча. Мать все так же испуганно глядела то на дочь, то на сына. Георге вопросительно посмотрел на родителей, опять перевел свой встревоженный взгляд на сестру. Та закрыла лицо руками, уронила голову на стол.

Мать сделала над собой усилие и улыбнулась.

— От радости она, Георге, от радости... Ну, Маргарита, довольно, обедать будем... Это она, сынок, о Василике, о невесте твоей...

Георге мгновенно вспыхнул, потом побледнел:

— Василика?! Что с нею?.. Что с Василикой? Где она?..

— Молодой боярин Штенберг перед приходом русских куда-то увез ее, — ответила Маргарита, поднимая заплаканные глаза и с трудом сдерживая себя, чтобы не разрыдаться. — Он сказал ей, что тебя убили русские...

В комнате долго стояла тяжелая тишина.

Отец молча выложил из чугуна горячую мамалыгу, аккуратно, крест-накрест, разрезал ее ниткой на четыре равных ломтя и, взяв один из них темными жилистыми руками поднес сыну.

— При встрече нельзя печалиться, Георге! Бог разгневается.

Бокулей осторожно взял ломоть из рук отца.

— Спасибо, отец!

— Ешь, сынок, — глухо проговорил старик. Он взглянул в окно и увидел там хлопотавших русских солдат. Глаза отца испуганно блеснули. — Зачем ты привел их к нам, Георге?

Георге внимательно посмотрел на отца, но ничего не сказал.

Мать и сестра взяли свои порции мамалыги, но ни та, ни другая не притронулись к еде.

«Не даст спокойно куска проглотить», — подумала мать с досадой, взглянув на мужа.

Бокулей-младший, медленно и вяло прожевывая невкусную пищу, которая, судя по тому, что ее подали на стол по такому радостному случаю, в доме отца была большой роскошью, продолжал пристально всматриваться в сильно постаревшее — Георге только сейчас заметил это — лицо отца, и ему стало жаль этого вечного и неутомимого труженика. «Какого еще горя может ждать этот несчастный человек, разве он не испытал уже все, что выпало на долю бедного румына?»

— Будет хорошо, отец, — сказал он тихо, прислушиваясь к уже ставшему для него знакомым и привычным оживленному говору русских солдат. — Тебе нечего бояться их, — он кивнул большой желтой головой в сторону окна. — Тебя они не обидят.

Сказав это, Георге почувствовал новый, еще более острый приступ жалости к отцу и удивился этому своему чувству, потому что никогда раньше не испытывал ни-

чего подобного. Он вряд ли смог бы сейчас же найти объяснение новому ощущению, хотя объяснение было.

Находясь долго в советской стране, не похожей ни на какую из других стран и, во всяком случае, совершенно отличной от Румынии, и наблюдая там советских людей, молодой Бокулей непоколебимо убедился в возможности иной, более радостной и человеческой жизни людей на земле, чем та, которой жили его отец, мать, сестра. И сейчас он испытывал ощущение человека, однажды уже прикоснувшегося к чему-то новому, и это новое становилось для него настолько близким и заманчивым, что с ним не хотелось расставаться.

— Отец, это — совсем другие люди,— снова тихо сказал Георге, попрежнему указывая на окно, за которым слышались солдатские голоса. — Я тебе не могу объяснить, отец, но ты сам поймешь скоро, сам увидишь, своими глазами. А лучше один раз увидеть, чем сто раз слышать... Только прошу тебя, не бойся их и не гляди так сердито... Это — мои друзья, отец!.. Ты бы лучше рассказал им о своей жизни. Они поймут тебя.

2

Дед Александру, Василе Бокулей, рано потерял отца: его убили турецкие янычары во время своего владычества в Румынии. Молодой Василе пошел батрачить к известному во всем жудеце[1] кулаку Патрану. Батрачил пять лет, пока не переполнилась чаша терпения. Потом сбежал от жадного и жестокого кулака, и бог знает, как пошла бы его жизнь, если бы в стране не вспыхнуло восстание против турецкого гнета и бояр. Василе добрался до повстанцев и вступил в войско Тудора Владимиреску[2]. После поражения восстания стал гайдуком[3], бродил по лесам, совершал набеги на боярские усадьбы, распевал разгуль-

[1] Жудец — уезд (*рум.*).

[2] Тудор Владимиреску — румынский революционер, руководитель восстания в 1821 году.

[3] Гайдуки — остатки войск Владимиреску, бежавшие в леса и горы. После восстания 1821 года так стали называть людей, которые в знак своего протеста против существующего строя по-своему чинили суд и расправу над богатыми, защищая всех угнетенных и обездоленных.

ные гайдуцкие песни. Одну и сейчас, выпив с горя цуйки и охмелев, часто поет его внук:

Три гвоздики, лист зеленый.
Там, в корчме, под горным склоном
Пьет Богян и пьет Берган,
Вместе с ними — брат Стоян[1].
Пьет Богян и пьет Берган,
Вместе с ними — брат Стоян.
«Пей, Богян, да не хмелей,
Заряди ружье верней!»
«Не хмельно мне то вино,
А ружье заряжено.
Сядь, красавица, со мной,
Будешь ты моей женой!
Пусть враги кругом следят —
Все равно не углядят.
Солнце нас пускай венчает,
Звезды к дому провожают».

Были среди гайдуков и грамотные люди — у них жадно учился упрямый и умный мужик Василе Бокулей. По ночам пробирался в родное село — манили его сюда черные девичьи очи. При одной такой встрече схватила его полиция. Много лет просидел в тюрьме, потом, как ни в чем не бывало, бородатый и суровый, вернулся в Гарманешти. Дождалась, не изменила ему любимая. Отец невесты был крестьянином, хоть и бедным, но имел свой дом, коровенку, пару овец и одного вола. Когда у Василе родился сын, тестя уже не было в живых.

Так Василе стал хозяином в доме. У него родились еще два сына и две дочери. Семья прибавлялась, но не прибавлялось земли. Пришлось работать на бояр. Припоминая ему гайдуцкие годы, боярин поучал:

— Тот найдет бога на небесах, кто изберет себе его на земле, запомни это, Василе! Руку, которую не можешь укусить, лучше лизать, чем плевать на нее. Так-то...

Слушая боярина, Василе хмурился. Тяжкие думы теснились в неспокойном сердце бывшего гайдука. Он думал о своих собратьях — землепашцах, о их убогих хибарах, о беспросветной их судьбе.

И вот в Румынии вновь нашелся человек, который поднял знамя Тудора Владимиреску. По стране разнесся его пламенный клич: «От императоров, господарей и бояр народы могут получить лишь то, что они вырвут у них

[1] Богян, Берган и Стоян — гайдуки.

силой... Изучая историю нашей родины в течение долгого времени, мы убедились, что всеми своими несчастьями и страданиями страна обязана эгоизму, подлости, жадности и трусости боярства». И народ услышал слова Николая Балческу[1]. Началась революция, которая, однако, не была доведена до конца. Преданный соглашателями, Балческу вынужден был бежать за границу. В Бухаресте к власти пришло реформистское правительство. Напуганное мощным движением крестьянства, правительство это вынуждено было лавировать. Оно создало комиссию по вопросам собственности. В середине лета 1848 года, в разгар уборки урожая, созвали эту комиссию члены реформистского правительства. Официально задачей комиссии, составленной на паритетных началах от крестьян и помещиков, была подготовка проекта решения Учредительного собрания по аграрному вопросу. Негласная же роль комиссии, то есть ее фактическая задача заключалась в том, чтобы как можно хитрее и как можно бессовестнее обмануть крестьян.

Василе Бокулея, как самого грамотного из крестьян, послали делегатом от села Гарманешти. Долго готовился бородатый мужик к выступлению в комиссии. Ночи напролет просиживал под густыми ветками черешни, возле своей лачуги, обдумывая слова, которые он скажет. Ему предоставили слово сразу же за боярином Штенбергом. Показывая помещикам свои огромные жилистые черные руки, Василе Бокулей глухо произнес:

— Вы видите эти покрытые мозолями руки? Они создают богатства страны. Золото и серебро не падают вам с неба: вы получаете их из наших хижин. Мы, крестьяне, отдаем все, а сами не получаем ничего. Только из среды крестьян вербуют солдат. Это — тяжелое бремя, а наградой за все это служит лишь хозяйский кнут. И разве не грешно перед людьми и богом после стольких жертв с нашей стороны считать нас чужими и бродягами на нашей же земле?..

Боярин Чаушеску, делегат от помещиков уезда Яломица, растрогавшись словами Бокулея, в ответ заявил:

— И я превращал вас в рабов, бил вас, раздевал вас... Несправедливо забирал у вас все, потому что я был

---

[1] Николай Балческу — руководитель румынской революции 1848 года.

молод и жаден... Тридцать шесть лет вы проклинали меня. Теперь я каюсь и отдаю вам все обратно. Простите меня, братья!..

Вернувшись в свое имение, Чаушеску выпорол крестьянина, осмелившегося намекнуть барину о сказанном в комиссии. Жестоко поплатился за свои слова Василе Бокулей. Слуги боярина Штенберга втолкнули его в псарню, и стая борзых в минуту растерзала крестьянина в клочья. Наследником его скудного хозяйства остался отец Александру Бокулея, младший из трех братьев.

Так же, как и его предки, Александру Бокулей думал только об одном: как бы собрать со своей полоски побольше кукурузы. Но чем больше он желал, тем меньше давала ему обеспложенная земля. А кукуруза даже снилась Александру, золотым ручьем текла... перед глазами вырастал высокий ворох, крестьянин падал на него и, пьянея, прятал лицо в душной теплоте зерна, плакал от радости... Но каким горьким было пробуждение!.. Возле постели уже стояла жена. И опять спрашивала то же:

— Кукурузы осталось несколько котелков, Александру. Что будем делать: сохраним на семена или смелем?..

Он кричал на нее, будто она была виновата в том, что осталось несколько котелков. А потом говорил:

— Размалывай и корми детей. Не помирать же им с голоду, — и, нахлобучив до самых глаз белую баранью шапку, отправлялся к Патрану просить семян. Тот давал. Но Патрану не был лиходеем своему добру: он брал с должников проценты, а чаще заставлял их отрабатывать долг. Александру Бокулей охотнее шел на последнее: сил и времени у него было не так уж много, но они все-таки были, а кукурузы он не имел вовсе.

В 1933 году в селе появилась организация с простым, понятным и обнадеживающим названием: «Фронтул Плугарилор» (Фронт плугарей и Земледельческий союз). Говорили, что во главе этого союза стоял какой-то доктор, которого, однако, Александру не знал. Руководителем местной организации «Фронтул Плугарилор» в Гарманешти был поставлен сосед Бокулея — Суин Корнеску. По его совету Александру немедленно вступил в члены организации. Где-то в туманном будущем рисовалось осуществление вечной мечты — получение земли. А пока что жить стало еще тяжелее: обозленный Патрану не

хотел давать взаймы семена даже под проценты члену «крамольной организации». «Фронтул Плугарилор» ставил своей целью добиться аграрной реформы с тем, чтобы часть земли отобрать у кулаков, бояр и передать ее бедным крестьянам.

— Землицы моей захотел? — встречал Патрану Бокулея и, злобно вращая большими цыганскими глазами, совал прямо в лицо Александру огромный кукиш: — А вот этого... Возьми-ка, выкуси!..

Александру с упавшим сердцем шел в другой и третий двор, но и там его встречали тем же. Доведенные до отчаяния, бедные крестьяне пытались захватить помещичьи и кулацкие земли силой, но с ними жестоко расправлялись. Сосед Бокулея Суин Корнеску несколько лет сидел в застенках сигуранцы [1].

Началась война с русскими: «Хозяева страны» решили угодить Гитлеру.

Старший сын Александру Бокулея — Георге — убежал в СССР; младшего — Димитру — взяли в армию, послали завоевывать для румынских бояр новые земли. Хотя Александру много слышал страшных вещей о Советском Союзе, но все же предпочел бы оставить младшего сына дома: он знал, что войны всегда приносили бедным румынам только новое несчастье.

Жизнь на селе стала вовсе невыносимой. Увеличились налоги, к существующим, которые были и без того непосильными, прибавились военные. Платить было нечем. Пришлось часть земли продать Патрану. Но вырученных денег оказалось недостаточно, чтобы рассчитаться с правительством. Тому же Патрану Бокулей продал единственного вола. Сам остался с одной овцой, но и последней лишился. Это случилось совсем недавно, перед самым приходом русских. Во двор Бокулея забежали румынские офицеры. Заметив в хлевушке овцу, они потребовали ее себе. Жена Александру заголосила на все село:

— Не дам! Не да-а-а-м!..

Ее оттолкнули. Однако один из офицеров, в котором Бокулей сразу же узнал молодого боярина Штенберга, успокоил женщину:

— Мы вернем вам овцу. Вот расписка.

---

[1] Сигуранцы — тайная полиция при режиме Антонеску.

Обрадованный Александру сунул бумажку в карман, не глядя, поблагодарил:

— Спасибо, домине[1] офицер! — и, повернувшись ко все еще всхлипывающей жене, добавил: — Не плачь, Марица. Этот же господин — сын нашего покойного боярина, он — румын. Разве будет обижать крестьянина?

На другой день Александру достал бумажку, развернул ее. В ней небрежной рукой было написано: «Старый осел». Александру схватился за грудь и, глотая воздух, упал на землю. Потом с трудом приподнялся. Руки его судорожно впились в кучерявые волосы. Бокулей нещадно трепал себя, бился о стенку лбом и плакал.

— Старый осел! Старый осел!.. — кричал он, задыхаясь от гнева и обиды.

Вслед за румынами во двор забежали отступавшие немцы. Эти остались ночевать. В эту ночь и случилось страшное в семье Бокулеев...

...Александру взглянул на дочь, потом на жену, сказал им тихо:

— Оставьте нас с Георге одних.

Мать и дочь быстро вышли.

Александру прикрыл за ними дверь, вернулся на свое место, присел рядом с Георге. Он решил было рассказать сыну о том, что случилось с Маргаритой, но в последнюю минуту раздумал — не хотелось омрачать первый день встречи. И поспешил сообщить сыну о другом, что, видно, также очень волновало старика. Он еще раз покосился на дверь, на сына и, убедившись, что их никто не слышит, сказал:

— В селе появился Николае Мукершану. Помнишь его?

Александру, как это часто случается со старыми людьми, забыл о том, что сын никак не мог помнить Мукершану, потому что того арестовали, когда Георге было не более пяти лет.

Однако Георге наморщил лоб, припоминая что-то. Имя Мукершану ему показалось знакомым. В конце концов он вспомнил, что действительно слышал об этом человеке. Это был их односельчанин, служивший

---

[1] Домине — господин (*рум.*).

когда-то батраком у Патрану. Потом он ушел в город, работал на каком-то заводе. Вернулся в село и организовал подпольную коммунистическую группу. Но здесь был схвачен полицией. Несмотря на страшные пытки, никого из товарищей не выдал и был пожизненно заключен в тюрьму. Но в селе еще долгие годы говорили о нем, и маленький Георге слышал эти рассказы.

— У кого он живет? — добрые коричневые глаза Георге загорелись.

— У Суина Корнеску. Но ты не ходи туда. И вообще — это не наше дело.

— Теперь нам бояться нечего, отец.

Но Бокулей-старший сердито нахмурился.

— Не ходи, — сказал он угрюмо.

«Нет, отец, я обязательно пойду к нему!» — подумал Георге и, счастливый, обнял худую, наполовину заросшую черными волосами шею отца.

3

Между тем разведчики занимались во дворе своими солдатскими делами. Одни рыли щели для укрытий от бомбежки, другие чистили автоматы, делясь впечатлениями «от заграницы». Пинчук и Кузьмич приводили в порядок хозяйство подразделения: старшина проверял запасы продуктов, составлял строевую записку. Кузьмич смазывал бричку, чистил лошадей... Михаил Лачуга устраивался в саду со своим котлом. Недалеко от него под высокой и сучкастой черешней сидели Шахаев и Никита Пилюгин. Они негромко разговаривали.

Шахаев заметил, что плечи Пилюгина были как-то неестественно широки и весь он — толстый и неуклюжий.

— Что у тебя под гимнастеркой, Никита? — спросил парторг.

Никита тяжело сопел и молчал.

— Ну-ка, покажи. Все равно ребята увидят.

— А я и не скрываю. Не украл, а купил за свои деньги. Вот, смотрите! — Пилюгин поспешно расстегнул гимнастерку, и Шахаев увидел под ней смоляночерный с блестящими лацканами аристократический смокинг.

Оказалось, что Никита действительно купил его по дороге, в городе Хырлэу.

— На кой чорт он тебе сдался? — спросил старший сержант, еле сдерживая себя, чтобы не расхохотаться.

— Отцу пошлю,— угрюмо пробасил Никита.— Вещь-то заграничная...

Улыбка исчезла с лица Шахаева. Что-то больно кольнуло в сердце.

— Заграничная, значит? Эх, Никита!..— парторг обвел взглядом весь убогий двор Бокулеев, показал на лоскутья, висевшие на веревке, протянутой от угла дома к крыше хлевушка, проговорил с горечью: — Вот она, заграница! Смотри на нее, Никита, и любуйся! Дурак и негодяй тот, кто внушил тебе, что все заграничное лучше нашего. Вот ты теперь своими глазами видишь, как живут тут такие же крестьяне, как твой отец...

Шахаеву хотелось накричать на Пилюгина: уж очень было больно и обидно старшему сержанту видеть советского человека, который завидует всякой заграничной безделушке и не замечает главного! Однако привычка сдерживать себя при любых обстоятельствах и на этот раз взяла верх. Кроме того, он чувствовал, что не может сказать солдату больше того, что уже сказал.

«Пусть сам хорошенько присмотрится ко всему», — решил Шахаев и ушел от Пилюгина.

Тот медленно, словно нехотя, застегнул гимнастерку, лег на землю и долго смотрел сквозь ветки черешни на синее, прозрачное небо, испытывая незнакомую тяжесть в груди.

— Товарищ старший сержант! — глухо позвал он, но Шахаев уже скрылся за домом.

Никита встал, подошел к повару Михаилу Лачуге и вдруг предложил:

— Давай... помогу!..

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

Неожиданный выход советских войск на реку Прут и затем их стремительное продвижение вглубь Румынии повергли полковника Раковичану в смятение. Первое, что он сделал, — это побыстрее убрался из корпуса Рупеску. Ему срочно потребовалось побывать в ставке. Вернулся Раковичану через неделю и, как ни в чем не бывало, явился в землянку Рупеску.

— Добрый день, генерал! Ну, что я вам говорил? — Раковичану, видимо, уже успел оправиться от испуга

и теперь чувствовал себя великолепно. — Маршал Антонеску и король в восторге от действий вашего корпуса, генерал. Мама Елена восхищена храбрыми румынскими воинами. Теперь ждите высоких наград. Русские получили достойный отпор. Как я и предполагал, доты сделали свое дело: русским не преодолеть их!.. О, вы что-то не в духе, генерал! — Раковичану заметил хмурое лицо Рупеску. — И это в то время, когда вы одержали блестящую победу над русскими? Не понимаю...

— Военным людям не следует быть столь экзальтированными, полковник. — Рупеску тяжело поднялся из-за стола. Его, похоже, раздражала беспечность представителя ставки. — Вы всегда спешите, мой дорогой. Нате-ка вот, полюбуйтесь! — и он швырнул на стол газету. — Прочтите, прочтите! Это, пожалуй, пострашнее русских полков...— генерал ткнул коротким пальцем в отчеркнутое красным карандашом место в газете.— Вот это... извольте!

Раковичану, предчувствуя неприятность, быстро пробежал глазами по заголовку: «Заявление Советского Правительства».

— Что за чертовщина? Кто издает эту газету, генерал? Где вы ее взяли?

— Кто издает — не знаю. Солдаты в окопах подобрали. Впрочем, нетрудно догадаться и об издателе. Коммунисты, конечно. Они — всюду, полковник. И мы сделаем непростительную ошибку, если решим, что наши железногвардейцы[1] окончательно разделались с ними. Капрал из роты Штенберга говорил их устами. Уж кому-кому, а вам-то полагалось бы обо всем этом знать. И даже — раньше меня! Однако прочтите. Любопытный документ!

Раковичану так и впился глазами в указанное генералом место газетного листа:

«Красная Армия, в результате успешного продвижения вперёд, вышла на реку Прут, являющуюся государственной границей между СССР и Румынией. Этим положено начало полного восстановления советской государственной границы, установленной в 1940 году договором между Советским Союзом и Румынией, вероломно на-

[1] «Железногвардейцами» в Румынии называли вооруженные фашистские отряды, с помощью которых Антонеску пришел к власти.

рушенным в 1941 году румынским правительством в союзе с гитлеровской Германией. В настоящее время Красная Армия производит очищение советской территории от всех находящихся на ней вражеских войск, и уже недалеко то время, когда вся советская граница с Румынией будет полностью восстановлена.

Советское Правительство доводит до сведения, что наступающие части Красной Армии, преследуя германские армии и союзные с ними румынские войска, перешли на нескольких участках реку Прут и вступили на румынскую территорию. Верховным Главнокомандованием Красной Армии дан приказ советским наступающим частям преследовать врага вплоть до его разгрома и капитуляции.

Вместе с тем Советское Правительство заявляет, что оно не преследует цели приобретения какой-либо части румынской территории или изменения существующего общественного строя Румынии и что вступление советских войск в пределы Румынии диктуется исключительно военной необходимостью и продолжающимся сопротивлением войск противника».

В землянке долго стояла неприятная тишина.

— Это страшный документ, генерал, — наконец заговорил полковник непривычно медленно и каким-то не свойственным ему тоном. — И самое страшное, пожалуй, вот это, — немигающими глазами он отыскал нужное место. — Вот послушайте: «Вместе с тем Советское Правительство заявляет, что оно не преследует цели приобретения какой-либо части румынской территории или изменения существующего общественного строя Румынии...» Русские... — Раковичану ударил ладонью по газете.— Вы знаете, что, собственно, делают русские? Они просто напросто парализуют нашу пропаганду!

— А мне, признаться, не менее неприятным показалось и другое место из этого Заявления. Позвольте! — Рупеску взял из рук полковника газету и тоже прочел: — «Верховным Главнокомандованием Красной Армии дан приказ советским наступающим частям преследовать врага вплоть до его разгрома и капитуляции». Какая самоуверенность! Словно бы победа у них уже в кармане, а?

— От вашего мужества и умения, генерал, от стойкости ваших солдат зависит, чтобы этот пункт из Заяв-

ления Молотова остался пустым звуком, — Раковичану перешел от покровительственно-дружеского тона к начальнически-назидательному.

— Разумеется, разумеется! — заторопился Рупеску, уловивший в голосе собеседника эти новые нотки. — «Каков наглец! Выскочка!» — подумал он в крайнем раздражении, а вслух сказал: — Мои солдаты будут стоять насмерть. А если русские действительно не намерены вмешиваться в наши внутренние дела, так это даже лучше для нас. Румыния уже по горло сыта иностранным вмешательством, с нее — хватит. Пора бы уж нам самим решать наши внутренние дела...

При этих словах генерала лицо Раковичану перекосилось в иронической усмешке. Он еле удержался, чтобы не крикнуть: «Вы законченный идиот, генерал!»

— Я не хотел вас обидеть, господин Рупеску, но вы сказали сейчас бо-ольшую глупость...

— Я бы попросил!..— крикнул генерал.

— Спокойно, генерал. — Раковичану сощурился. — Да, вы сказали глупость. Так и назовем. Вы — пренаивнейший человек, генерал! Если русские и не будут вмешиваться в наши внутренние дела, что они, повидимому, и намерены делать, от этого они не становятся менее опасными. Напротив! Нам было бы куда легче, если б русские солдаты ежедневно убивали по десятку наших мужиков и насиловали по дюжине девиц... Но они, как назло, не грабят, не убивают, не насилуют! И это плохо. Плохо для нас с вами, генерал! Не забывайте, что мы имеем дело с такими солдатами, которые страшны уже тем, что пройдут по румынской земле и покажут себя нашей черни... Мы более четверти века тратим миллионы лей, чтобы вызвать у своего народа ужас перед этими людьми, перед их страной. Вообще — перед коммунизмом. Пожалуй, в какой-то степени это удавалось. Но что будет теперь, когда русские, не спросясь нашего позволения, сами пожаловали к нам?.. Вы думали об этом? Советую поразмыслить! Да поймите же, что нам теперь нужно иностранное вмешательство, как никогда раньше. Необходимо! К чорту сопливое разглагольствование о суверенитете, о национальной гордости, независимости и прочей чепухе! Нам нужен сильный союзник. Надеюсь, хоть теперь-то вы улавливаете мою мысль?

— Я отлично ее улавливаю, эту вашу мысль, полковник! И уже давно улавливаю! — вспыхнул Рупеску, ужаленный тоном распоясавшегося Раковичану. — А вы не подумали о том, что эту вашу мысль, с моей помощью, разумеется, уловят и во дворце?

— Донос, значит? — Раковичану расхохотался. Потом, мгновенно посерьезнев, злорадно предложил: — Хотите, я помогу вам сочинить этот донос?..

— Нет, не хочу. Теперь не хочу, — генерал задумчиво прищурился и пошевелил толстыми короткими пальцами. — Сейчас мне все ясно, полковник. Не совсем ясно разве только одно: почему же союзники — я говорю об американцах и англичанах — так восторженно приветствуют вступление советских войск в Румынию и заявление Молотова?

Раковичану усмехнулся, при этом его светлосерые глаза не изменились. Лишь чуть покривились тонкие губы.

— А что им, собственно, остается делать? Иногда приходится строить приятную мину при плохой игре. Вступление русских войск в Румынию, например, для американцев столь же прискорбный факт, как и для нас с вами, генерал. Теперь на их долю — я имею в виду англо-саксов — остается лишь одно: сделать все возможное, чтобы в руки Красной Армии поменьше попало промышленных объектов. С этой целью они — вот увидите — начнут массированные бомбардировки промышленных центров Румынии. Завтра же мощные соединения американской авиации появятся над Бухарестом, Плоешти, над заводами Решицы...

— Простите, полковник. Но вы говорите так, будто являетесь представителем верховного штаба не румынской армии, а американского командования.

— Я, дорогой генерал, являюсь... прежде всего политиком. А политики обязаны анализировать события и предвидеть...

Раковичану неожиданно умолк. Его остановил девичий голос, зазвеневший у входа в землянку. Полковник прислушался. Через полуоткрытую дверь в землянку ручейком лились звуки беспечной девичьей песни, совершенно необычной в такой обстановке.

Раковичану, широко раздувая ноздри короткого, словно обрубленного носа и хищно оскалясь, взглянул в окно. У самой землянки, склонившись над тазиком,

мыла посуду черноглазая и чернокудрая девушка. То и дело отбрасывая назад мешавшие ей волосы, она пела:

Винограда лист зеленый,
Крошка Мариона.
— Что в лице ты изменилась,
Крошка Мариона?
— Все тоскую, все грущу я,
Милый мой, любимый,
Огорчают злые толки,
Милый мой, любимый.

— Что за девица? — спросил полковник.

— Мой повар, — безразличным тоном ответил Рупеску. — Она готовит мне обеды.

«Старый грешник!» — с завистью подумал Раковичану, неохотно отходя от окна и игриво грозя генералу пальцем. — Повар недурен. Не уступите ли его мне, генерал? Я тоже люблю вкусно поесть. А? Неплохо заплачу.

— Не моя, полковник. Поторгуйтесь с лейтенантом Штенбергом,— досадливо отмахнулся Рупеску.

— Чему она радуется?

— А вы спросите у нее. По-моему, просто так. Василика всегда поет. Глупая девчонка.

Василика действительно любила петь. Ей казалось, что все хорошие песни сложены про нее. Но сейчас она пела не «просто так». Василика уже знала, что Георге Бокулей жив и вернулся в Гарманешти. Вот придет ночь, и Василика убежит отсюда, туда, к Георге!..

Девушка улыбнулась. Тарелка выпала из ее рук и громко стукнула о металлический тазик. Василика тихо засмеялась и снова запела:

Ты хотел на мне жениться,
Милый мой, любимый,
Как поспеет виноград твой,
Милый мой, любимый.
Виноград созрел душистый,
Милый мой, любимый,
У тебя ж другая в мыслях,
Милый мой, любимый.

Рупеску и Раковичану уже не слушали девушку. Генерал сообщил полковнику, что в Гарманешти из тюрьмы вернулся опасный коммунист Мукершану.

— Зашевелились. Вы правы, генерал: железногвардейцы наши действительно ни черта не сделали! Его надо

убрать, генерал. Обязательно убрать! И как можно скорее. Действовать быстро и решительно. Не поручить ли это дело лейтенанту Штенбергу? Он местный житель, кровно заинтересованный в ликвидации Мукершану. А командир из него все равно никудышный. Пусть попробует свои таланты в другом. Как вы на это смотрите, генерал?

— Кажется, большой либерал. Нерешителен.

— Не верю в его либерализм.

— Что ж, попробуем. Нынче же поговорю с ним об этом.

— Забот-то нам прибавляется, генерал, — меланхолически заметил Раковичану.

— Да-а-а, — тяжко протянул Рупеску.

И они надолго замолчали.

...А за дверцей землянки звенел, не умолкая, девичий голос:

Винограда лист зёленый,
Крошка Мариона.
— Что в лице ты изменилась,
Крошка Мариона?

2

Немало пришлось в те дни потрудиться нашим политработникам. Нужно было разъяснить Заявление Советского правительства не только румынскому населению, но и своим солдатам. Последние, как известно, всегда считают себя политическими деятелями и прежде всего сами стараются разобраться во всем. Вообще-то красноармейцы довольно ясно представляли себе свои цели и задачи с переходом государственной границы. Каждый из них хорошо помнил слова Верховного Главнокомандующего: добить фашистского зверя в его собственной берлоге.

Однако в Заявлении были места, которые истолковывались солдатами по-разному. Часто среди них разгорались горячие споры. Парторг Шахаев сразу это почувствовал и встревожился. Нужно было немедленно разъяснить солдатам важный документ, но старшему сержанту казалось, что сам он не вполне подготовлен для этого. Он решил обратиться к начальнику политотдела.

Демин, очевидно, сразу же догадался, с чем пожаловал к нему парторг. Спросил:

— Что, брат Шахаев, худо?

— Не так уж худо, товарищ полковник. Но в общем трудновато.

— Трудновато?.. Нет, Шахаев, пожалуй, очень трудно все-таки. Нам казалось, что мы провели немалую разъяснительную работу среди бойцов перед тем, как вступить в Румынию. Все как будто предусмотрели. Но едва шагнули на землю этой страны, встало столько вопросов, — батюшки мои, хоть за голову хватайся!.. Вот пришел ко мне сегодня местный поп, спрашивает: о чем ему сейчас, в данный, так сказать, момент, просить бога? И глядит, волосатая бестия, этак хитро на меня. А чорт его знает, что ему посоветовать? «Иди, говорю, батюшка, и молись, как молился всегда. С небесным политотделом связи не имею». Ушел, недовольный ушел... Такие-то вот, Шахаич, дела! А ведь приходил этот попик неспроста... Ну, что у тебя там, давай, выкладывай все сразу.

— Да вот... потолковать хотелось бы...

— За советом пришел?

— За советом, товарищ полковник, — несколько смущенный тоном начподива, сказал Шахаев.

— Ну, давай посоветуемся. Но ты не думай, дорогой товарищ, что начальнику политотдела всегда все ведомо. Давай уж вместе обсудим.— Маленький, аккуратный, попрежнему энергичный, Демин прошел за свой столик, за которым сидел над какими-то бумагами до прихода Шахаева. — Присаживайся! Гуров, — окликнул он инструктора, — убери свои листовки! Дай человеку присесть.

Вечером у разведчиков проходила беседа. На ней присутствовали все солдаты. Объявив тему беседы, Шахаев спросил:

— Кто желает высказаться, товарищи?

— Я желаю! — поднялся с земли Али Каримов. До этого он сидел, сложив ноги по-восточному, и нетерпеливо ожидал, когда перейдут к делу. Его вечно удивленные глаза на этот раз были беспокойно-злыми. — Как же понимать нада, товарищи? — начал он, поворачиваясь лицом к разведчикам, разместившимся в саду. — Выходит, Антонеска опять у власти останется?

— Это почему же? — сердито спросил его Ванин.

— А ты не перебивай меня. А вот почитать нада, — Каримов с непостижимой быстротой извлек из кармана брюк измусоленную газету, нашел нужное место и, сбиваясь от волнения, начал читать: «...Советское Правительство заявляет, что оно не преследует цели приобретения какой-либо части румынской территории или изменения существующего общественного строя Румынии». Понял, Ванин, о чем тут речь? Вот разъясни нам, а я кончил! — и Каримов, взглянув на посрамленного, по его мнению, Сеньку, гордо пошагал на свое место.

— Ванину слово! — раздалось несколько голосов.

— Ванину!— по-петушиному пропел Кузьмич.— Пусть разъяснит! Скажи-ка, Семен...

— К порядку, хлопцы! — остановил расходившихся солдат Пинчук. — Ишь, як вас подмывае. У меня в колгоспи на собрании и то бильш було порядку... Ну, Семен, будешь говорить?

Сенька поднялся нехотя. Все ожидающе поглядывали на него.

— Как же это, ребята, а? — растерянно развел он руками.

— А вот так! — не утерпел Каримов.

— А ты меня не перебивай! — зло одернул его Ванин, досадуя больше на себя, чем на Каримова. Ему, повидимому, нужно было выиграть время, чтобы собраться с мыслями, и он охотно вступил бы в любую дискуссию, не касавшуюся этого вопроса. — Я тебя не перебивал?

Каримов посмотрел на Сеньку.

— Как это не перебивал? А кто же...

— Та замолчи, Каримыч! Хай говорит. Продолжай, Семен! — Петр Тарасович грозно глянул на азербайджанца, и тот скорехонько умолк.

Шахаев сидел молча. Он решил пока не вмешиваться в солдатский спор.

— Как же это, ребята, а? — повторил Сенька, беспомощно разводя руками.— Выходит, Каримов прав. Я присоединяюсь, — закончил он, готовый уйти на свое место.

— К кому присоединяешься? Говори точнее, — остановил его Пинчук.

— К Али Каримову.

— Добре. Ну, сидай. Хто еще будэ говорить?

Охотников не нашлось. Выкрикивали с мест.

— Тут надо разобраться! — подал вновь свой голос Кузьмич.

— Разберутся и без нас, — ответил ему флегматичный и, казалось, ко всему безразличный повар Михаил Лачуга.

— Як це — без нас? — Петр Тарасович потемнел. — А мы, по-твоему, що? Так себе... Ну, хто еще желает высказаться?

Поднялся Кузьмич.

— Насчет территории там все правильно указано. У нас своей земли хватит. А вот касаемо обчественного строя, тут что-то непонятное есть. Антонескова этого у власти ни в какую нельзя оставлять...

— А его и не оставят, — уверенно произнес уже давно порывавшийся выступить Вася Камушкин, которого ранее останавливал предостерегающий взгляд парторга: «Обожди, мол, пусть сначала солдаты говорят». — Его, Антонеску, мы будем судить по всем строгостям советских законов, как военного преступника. А режим мы не будем здесь устанавливать. Это дело самих румын.

— А ежели они сами не справятся? Была же здесь когда-то революция, подавили ее. Аким нам рассказывал об этом... — Сеньке, видимо, хотелось взять реванш за свой провал, и он старался срезать каверзным вопросом Камушкина, который высказал — Ванин в душе отлично понимал это — стоящую мысль.

— Справятся. Теперь справятся! — твердо сказал комсорг.

Кузьмич сердито посматривал то на Пинчука, то на Камушкина, стараясь привлечь к себе внимание, но, очевидно, все уже забыли, что слово предоставлено сибиряку. Оскорбленный, он махнул рукой, прошел на свое место и затих там, прикусив по обыкновению свой левый ус.

— Не кипятись, Семен, — одернул своего дружка Аким, до этого молча наблюдавший за перепалкой разведчиков.— Комсорг правильно говорит. Румынский народ сам должен решить, какая власть ему по душе...

— Веди беседу, Тарасыч, — шепнул парторг Пинчуку, который, заслушавшись ораторов, вдруг совсем было забыл о своих обязанностях.

— К порядку, товарищи! К порядку! — закричал во всю мочь спохватившийся «голова колгоспу». — Просите слово!

— У меня вопрос! — неожиданно заговорил Никита Пилюгин, не поднимаясь.

— К кому вопрос? — спросил Пинчук.

— Ко всем.

— Вопросы потом.

— А я сейчас желаю.

— Пусть спрашивает, — вновь шепнул Шахаев.

— Ну давай, що у тебя там? Да поднимись! Що не уважаешь товарищей! — прикрикнул Петр Тарасович.

Никита нехотя поднялся.

— А что с королем Михаем теперь будет? — наконец, проговорил он и, не дожидаясь ответа, сел.

— Какой он там Михай! — решил блеснуть своей осведомленностью Сенька. Он еще не терял надежды реабилитировать себя в глазах разведчиков. — Другое у него имя немецкое. Гоген... Гоген... Фу, чорт, не выговоришь никак, язык поломаешь. Гогенцоген какой-то...

— Гогенцоллерн, — подсказал Аким.

— А ты откуда знаешь? — как всегда, удивился Ванин и, не ожидая ответа, продолжал: — В общем — никакой он не румын. Выгонят его, надо полагать. Ни Антонеску, ни короля румынский народ не потерпит!

— Вот теперь ты правильно сказал. — Шахаев встал. — Правильно говорили здесь Камушкин и Ерофеенко. Антонеску, коль попадет он в наши руки, мы, конечно, будем судить по советским законам за те преступления, которые его вояки совершили в нашей стране. С королевским дворцом решит сам румынский народ. Мы пришли сюда не за тем, чтобы устанавливать свой общественный строй. Мы пришли, чтобы освободить Румынию от фашизма. Надо думать, что освобожденный нами румынский народ сделает правильные выводы и в отношении государственного устройства в своей стране. Но от нас с вами, товарищи солдаты, не в малой степени зависит, чтобы румыны сделали правильные выводы. Я как-то уже говорил об этом Каримову. Наше поведение в этой стране должно быть безупречным, — Шахаев глянул почему-то на Никиту Пилюгина. — Каждый из нас несет здесь частицу своего великого и светлого Отечества. Не

забывайте об этом. Только такой вывод мы должны сделать для себя из Заявления Советского правительства!

Солдаты долго еще не отпускали парторга. Каждого что-нибудь волновало, беспокоило, и он подходил к Шахаеву, чтобы с глазу на глаз потолковать с ним, уточнить не совсем ясное, посоветоваться. В помощь себе парторг привлек Акима, который давно уже был среди разведчиков вроде агитатора, и, конечно, Васю — комсомольского вожака. Лейтенанту Забарову пока что было не до бесед — он целыми днями пропадал на передовой.

3

В день, когда о Заявлении Советского правительства уже было известно всему селу, у начальника политотдела находился посетитель, с которым Демину особенно хотелось встретиться.

За небольшим столиком, на котором, кроме коробки папирос, ничего не было — все бумаги Демин убрал в ящик, — против начподива на раскладном походном стуле сидел человек, которому на вид было не более сорока — сорока трех лет, с коротко остриженными седеющими волосами. Лицо его, широкое и, казалось, очень добродушное, принимало какое-то счастливое, детское выражение, когда к нему обращался Демин с вопросом,— полковник уже успел заметить, что такое выражение придавали лицу собеседника его голубые, немножко прищуренные глаза и только тогда, когда эти глаза улыбались.

Признаться, Демин не таким представлял себе гостя. Судя по многим литературным произведениям, перед ним должен был бы сидеть человек с нахмуренными бровями, с бледным лицом, на котором пятнами проступает болезненный румянец; время от времени он должен отворачиваться и, прикрыв рот платком, долго и трудно откашливаться; затем, извинившись и виновато, болезненно улыбнувшись, продолжать беседу...

Однако, рассматривая собеседника, Демин пришел к выводу, что он, Демин, никогда бы и подумать не мог, что этот человек одиннадцать лет просидел в тюрьме и вынес там почти нечеловеческие мучения; скорее можно предположить, что человек этот прожил очень веселую и беззаботную жизнь. Но это было бы мимолетное и, конечно, неверное впечатление. Едва речь заходила о фа-

шистах, о застенках сигуранцы, о полицейских пытках, лицо румына мгновенно менялось, приобретало строгое и даже немного жесткое выражение.

— Расскажите о себе, товарищ Мукершану! — попросил Демин. Он внезапно ощутил, что привычное, дорогое слово «товарищ» способно доставлять какое-то особенное, волнующее удовольствие, когда называешь так человека из чужой страны, но родного нам по духу, по убеждениям, по борьбе за ту цель, которую мы уже достигли. Если, конечно, собеседник — именно такой человек, а не...

Вот опять перед полковником встал вопрос, который нужно решать самому, решать безошибочно. Документы в порядке — коммунист, подпольщик, как будто бы все правильно. Но... но такой документ может оказаться у любого разведчика, у агента сигуранцы. Остается одно: определить, понять. «Вот тут-то ты и не должен промахнуться, начальник политотдела! — мысленно говорил себе Демин. — Эх, дружище, как ты еще зелен, как много тебе еще надо жить и учиться, чтобы решать такие вопросы не спеша, спокойно и, главное, правильно. Ну что ж, назвался груздем, так...»

— Я вас слушаю, товарищ Мукершану! — попросил он снова, догадавшись по взгляду, что гость молчит, заметив его внезапную задумчивость.

Мукершану улыбнулся и начал спокойно, неторопливо рассказывать. Он говорил по-русски, и Демин спросил, не был ли Мукершану в Советском Союзе.

— Нет, не пришлось, — сказал Мукершану с явным сожалением. — Учился в тюрьме. Помог один товарищ, хорошо знавший русский язык.

Родился Николае Мукершану в бедной крестьянской семье. Рано ушел батрачить, потом сбежал от хозяина в город, на завод. Стал рабочим. В 1921 году вступил в коммунистическую партию.

— Как видите, по своему партийному стажу я ровесник своей партии, — улыбнулся Мукершану в этом месте своего рассказа.— Компартия Румынии образовалась в 1921 году в результате раскола румынской социалистической партии. С 1924 года компартия работала в глубоком подполье, и принадлежность к ней жестоко каралась правящими классами страны. Многие сотни моих товарищей были замучены в застенках сигуранцы... — го-

лос рассказчика дрогнул, на висках собралась сухая смуглая кожа. — Многие тысячи были сосланы на каторгу и брошены в тюрьмы, многие были вынуждены покинуть страну... Но партия жила и действовала! — вдруг громко и горделиво проговорил он, испытывая чувство младшего брата, рассказывающего старшему и любимому брату о своих, несомненно, славных делах, заранее зная, что эти дела будут приятны его слушателю и одобрены им. — Да, жила и боролась! — продолжал румын, все более оживляясь, и в эту минуту Демин поверил в него и уже знал, что не ошибся. Теперь он с особым вниманием слушал этого человека, с радостью узнавая от него, как румынской компартии постепенно удавалось освобождаться от оппортунистических и сектантских элементов и в руководстве и на местах.

После пятого съезда румынской компартии в 1932 году коммунисты стали играть заметную роль в массовом рабочем движении страны. Они возглавили крупные выступления рабочих в 1933 году в Гривице и Плоешти. Руководитель этого выступления Георгиу был арестован и приговорен к пятнадцати годам тюремного заключения...

— Вы слышали о нем? — спросил Мукершану.

— Слышал и слышал много, — ответил полковник и, в свою очередь, спросил:

— Вам тоже пришлось участвовать в этих выступлениях?

— Только в одном — плоештинском. Мне удалось в тот раз скрыться от полиции... Впрочем, ненадолго. В том же 1933 году арестовали и меня, — и Мукершану рассказал о руководимом им выступлении в селе Гарманешти, подавленном правительством самым свирепым образом.

— Где сейчас Георгиу? — спросил Демин.

— Он бежал из тюрьмы. Сейчас поднимает все демократические силы для свержения фашистского режима Антонеску. Мы хотим создать единый демократический фронт. Необходимо, чтобы с нами теснее объединилась, в частности, массовая организация трудового крестьянства — «Фронтул Плугарилор». С этой целью Центральный Комитет послал сотни своих работников в деревни. Я, разумеется, попросился в свой родной уезд, где меня знают.

Мукершану замолчал. Но его глаза говорили: «Ну, вот и вы пришли к нам на помощь. Вот мы и вместе!»

Демин, должно быть, догадался о состоянии румына, улыбнулся ему широко и сердечно, так что его всегда немножко усталые глаза осветились неожиданно ярким, задорным и веселым светом. Начподив спросил:

— Вы полагаете, что вам здесь будет легче работать?

— Я надеялся. Но это не так.

— Почему? — удивился Демин. — Вас здесь хорошо знают еще по тридцать третьему году.

— Именно поэтому работать мне тут оказалось куда труднее.

— Понимаю... Скажите, пожалуйста, товарищ Мукершану, вы женаты? — неожиданно спросил полковник и сам удивился своему вопросу не меньше, чем румын.

Мукершану, однако, ответил:

— Женат... то есть был женат.

Он посмотрел на Демина, положил на стол большие жилистые, рабочие руки, сказал доверительно и просто:

— Убили мою... Анку.

Долго молчали. Демин испытывал неловкость. И чтобы, очевидно, положить конец тяжкому молчанию, попросил:

— А не можете ли вы рассказать мне об этой крестьянской организации?

Мукершану, казалось, даже обрадовался этой просьбе начподива. Охотно заговорил:

— «Фронтул Плугарилор?» Это, товарищ Демин, массовая политическая организация крестьян, созданная в 1933 году. Еще в предвоенные годы она поддерживала нас в борьбе за создание Народного фронта. Во время войны руководитель этой организации заключил союз с нами для совместной борьбы против Антонеску. Теперь мы решили еще крепче связаться с «плугарями». Для нас это важно в борьбе не только с правительством Антонеску, но и с партией Маниу [1]. Вы ведь знаете, что национал-царанисты имеют некоторое влияние на крестьян. Центральный Комитет решил, кроме своих работ-

---

[1] Маниу — глава реакционной румынской национал-царанистской партии, злейший враг румынского народа.

ников-профессионалов, двинуть в села сотни и тысячи передовых рабочих.

Начподив и Мукершану проговорили до позднего вечера. Демин вышел проводить румына.

— Желаю вам удачи, дорогой товарищ! Я ведь понимаю, как вам трудно. Ваш народ переживает сейчас исторический момент. Но вам все-таки легче, чем было нам в семнадцатом году, да и потом — в годы гражданской войны. Красная Армия пришла к вам как армия-освободительница. Она разобьет фашизм, а остальное будет зависеть от вас самих. Есть люди, которые очень будут вам мешать, Мукершану.

— Мы знаем их.

— Они есть не только в вашей стране.

— И это мы знаем. До войны восемьдесят семь процентов нефти в Румынии принадлежало восьми крупным иностранным компаниям...

— Вот-вот! Это надо всегда иметь в виду. А что касается Красной Армии, она выполнит свою миссию, — сказал Демин.

Мукершану взял его за руку.

— Спасибо вам, товарищи! Будьте уверены: мы сделаем что надо!

До них долетали солдатские голоса, смех, веселая перебранка. Это, должно быть, разведчики шумели во дворе Бокулея. Демин прислушивался к их голосам долго, потом улыбнулся. Сказал тихо и как-то торжественно:

— Вот их благодарите! — и кивнул своей большой круглой головой в сторону солдатских голосов.— Сколько вынесли эти ребята, пока дошли сюда!

Начподив проводил Мукершану к дому Суина Корнеску, вернулся к своей землянке, но не зашел в нее, а присел рядом, на спиленном дереве. До него попрежнему доносился веселый говор бойцов, и этот говор сейчас для полковника был особенно приятен. Он слушал его, охваченный своими горячими, уже не раз приходившими ему в голову мыслями.

Небо было усеяно звездами. Вечерняя прохлада стлалась над повлажневшей землей. Тянуло волнующим запахом почек и молодых трав. За горой, на переднем крае, пулеметы лениво постукивали короткими очередями. Где-то внизу, в овраге, шумела вода.

«Вы женаты?..» Фу ты, чорт!.. Дернуло же за язык!» — Демин вздохнул. А в голову почему-то лезли наивные, давно услышанные стихи:

Папы нету дома
И не может быть,
Потому что папа
Должен немцев бить.

«Откуда они взялись?» — и вдруг отчетливо вспомнил Веселую Зорьку, снежную пыль за окном, усатого солдата, стоящего в дверях комнаты. «Пинчук. Старшина разведчиков. О чем думает сейчас этот мудрый мужик? А думать есть о чем!» — Демин поднялся и пошел в землянку, все еще захваченный мыслями. Вспоминались сегодняшние встречи, беседы...

— Какое... совершается! — почти беззвучно прошептал полковник и глубоко вздохнул.

4

— Прекратить разговоры! — сердито прикрикнул на солдат Забаров, который был явно не в духе. Три раза ходил он со своими разведчиками в поиск и все три раза «язык», приведенный ими, оказывался румынским. Румынские солдаты хотя и охотно, но давали весьма ограниченные сведения. Все они в один голос заявляли, что, кроме гвардейского королевского румынского корпуса, на этом участке стояли и немецкие эсэсовские части. Точного же расположения этих частей и их наименования пленные румыны не знали, потому что офицеры им ничего не рассказывали, а сами они не выходили из своих окопов.

...Допрос пленного капитана Гуров производил при генерале Сизове, полковнике Демине, Забарове и Ванине, который упросил лейтенанта взять его с собой.

Захваченный в последнем поиске румынский офицер, к великому огорчению Федора, также не смог дать нужных сведений. Ему было известно, что где-то рядом с их корпусом находились немецкие части,— об этом им очень часто и очень охотно говорил их командир батальона, да он и сам, с его ротой, хорошо чувствовал присутствие гитлеровских частей: солдатский и без того скудный рацион с каждым днем все более ухудшался, хотя над кор-

пусом и шефствовала сама Мама Елена. По ее высочайшему повелению корпус этот только теперь, в критический момент, был брошен на защиту «великой румынской империи».

Обо всем этом пленный капитан рассказывал подробно, но его слова мало утешали генерала Сизова. Лишь полковник Демин живо заинтересовался одной деталью.

— Плохо, говорите, кормит вас Мама Елена? — спросил он через переводчика, которым был Георге Бокулей.

— Плохо,— простонал офицер.— Но Мама Елена тут не при чем. Интенданты наши — сволочи. Воруют...

Начподив долго молча наблюдал за пленным, потом поморщился.

Генерал Сизов, поняв настроение Демина, резко махнул рукой и приказал:

— Уведите его!..

— ...В общем, вот уж форменный мамкин сынок попался! — резюмировал Сенька свой рассказ. — Я еще ночью узнал, что он за тип такой, когда мы с Акимом волокли его. Орет в наших руках: «Хайль, реджеле Михай! Хайль, реджеле Михай!» И так это в рифму у него получается. Аким даже позавидовал такой рифме!..

— Перестань болтать, Ванин! — остановил Сеньку Забаров. — Откуда ты все взял? Ничего ведь румын не кричал. Шел да помалкивал.

Но Ванин уже сидел на своем любимом коньке, и его трудно было оттуда вышибить.

— Товарищ лейтенант! — говорил он, скорчив оскорбленную рожу. — Вы же сзади шли и ничего не слышали. Спросите Акима. Орал, да еще как! А эту самую старую... Маму Елену раз десять упоминал. Вот провалиться мне на этом месте!

— Будешь врать, так и провалишься.

Обиженный, казалось, в самых лучших своих побуждениях, Сенька замолчал.

Начав врать, Ванин через минуту уже сам искренне верил в то, что подсказала ему его же собственная неудержимая фантазия. Эта искренность рассказчика и масса приводимых им деталей захватывали слушателей и заставляли их внимать сенькиной выдумке с большим терпением.

Забарова в первые дни командования разведчиками насторожила было эта черта сенькиного характера. Но

Федор скоро понял, что там, где речь шла о серьезных вещах, Сенька правдив до скрупулезности. Не кривил душой даже в тех случаях, когда правда складывалась явно не в его пользу. Подобный случай произошел совсем недавно. Как-то, возвратившись из штаба дивизии, Забаров увидел на своем дворе оседланного коня, привязанного к перильцу крыльца. Рядом стояли Кузьмич со скребницей и сияющий Ванин.

— Для вас, товарищ лейтенант, привели этого породистого конька-горбунка!

— Откуда это вы его привели? — полюбопытствовал лейтенант.

Кузьмич закусил рыжий ус и пробормотал что-то невнятное. Сенька вдруг глянул на ездового с нескрываемой злостью, зеленые глаза его посветлели.

— У одного тут мироеда ликвизировали, товарищ лейтенант. Фамилия его — Патрану. Хозяин наш говорит, что он житья тут никому не давал, с бедных людей три шкуры снимал. И к тому же еще — немецкий холуй! — ответил он прямо и вновь укоризненно посмотрел на смущенного Кузьмича.

— Коня отведи сейчас же туда, где вы его взяли. Если надо, без вас реквизируют. И притом — сами румыны. Придет еще такое время. А за самоуправство объявляю вам обоим выговор... за неимением гауптвахты.

— Есть выговор! — гаркнул радостно Ванин, будто ему объявили благодарность, и, подойдя к своему дружку Акиму, признался: — Отпущение грехов состоялось...

Прихвастнуть же любил Сенька по мелочам, для «веселия и облегчения души», как он сам признавался, хотя на этот счет у него были серьезные расхождения с Акимом, который не допускал лжи ни в большом, ни в малом и требовал этого от Сеньки, на что Ванин отвечал:

— Может, учитель и не может приврать, ему действительно неудобно, а мне можно. К тому же я не вру в таком... нехорошем смысле этого слова, а смешу, веселю вас же, чертей! Разве это преступление? Ты же, Аким, сам гогочешь, как застоявшийся мишкин битюг, когда Пинчук анекдоты рассказывает. А в них, анекдотах, — сплошное вранье. Кроме того, у Петра Тарасовича эти анекдоты вот с такой бородищей!

— Собственно, чего ты от меня хочешь? Чтобы я благословил тебя на ложь? Этого ты от меня, Семен, никогда не дождешься, — возражал Аким уже совершенно серьезно и сердито, и на этом их споры заканчивались. Аким отлично понимал, что Сеньку ему не перевоспитать.

...Забаров вернулся от командира дивизии еще более помрачневший. Глубже легли складки на его широком лбу и на рябоватых щеках. В глазах — знакомый разведчикам, сосредоточенный блеск. Гимнастерка была расстегнута и обнажала могучую волосатую грудь с вытатуированным орлом. Лейтенант дышал тяжело и шумно.

К нему подошел Шахаев.

— Ну?

— Приказано ночью вновь выйти в поиск. Генералу нужны сведения о немцах. Вот так-то, брат мой Шахай! — Федор впервые назвал парторга этим коротким именем.

— Обязательно — немца?

— Обязательно.

Помолчали. Парторг поворошил седые жесткие пряди волос. Потом сразу выпрямился, сказал с редким для его чистой русской речи восточным акцентом:

— Возьмем «языка». Немца возьмем!

— Каким образом? Ты что-нибудь придумал?

— Не я... Как вы полагаете, товарищ лейтенант, где находятся немцы?

— В том-то и дело, что не знаю.

— Не допускаете ли вы, что гитлеровцы, выставив румын под пули, сами упрятались в дотах и преспокойно лакают там ром и жуют галеты?

Парторг замолчал, дожидаясь ответа. Забаров некоторое время думал. Потом тоже выпрямился, скупая улыбка робкой тенью прошлась по его лицу и остановилась где-то в уголках больших обветренных губ.

— Кто это придумал?

— Мы узнали от одной девушки. Зовут ее Василикой. Невеста нашего друга Георге Бокулея. Прошлой ночью она вернулась с той стороны. Служила поваром у корпусного румынского генерала. Говорит, что в районе дотов ее чуть не задержал немецкий патруль...

— Ну, это еще надо проверить. Вы осторожнее с этой девицей.

— Разумеется. Но в ее рассказе много правдоподобного. Ведь это так похоже на гитлеровцев!.. Я думаю, товарищ лейтенант, с проверки ее показаний мы и начнем.

— Спасибо тебе, друг!.. — худые острые плечи Шахаева хрустнули под свинцовой тяжестью забаровских ладоней.

— За что же мне?

— А вот за это самое!.. Ну, хватит. Давайте лучше помозгуем, как в доты пробраться.

— Мы уж тут думали немного об этом, — Шахаев расстегнул свою полевую сумку, вынул лист бумаги, разрисованный красными и черными линиями, испещренный точками.

— Что это?

— Схема расположения дотов.

— Ну, ну, — поощрительно закивал Федор, наклоняясь над бумагой.

— Построены они у них в шахматном порядке, таким образом, чтобы каждый дот был защищен огнем соседних укрепленных точек, — знаешь, на манер линии Мажино, недаром румынам помогали строить эти укрепления французы! Ближе всех расположен к нам вот этот,— Шахаев показал на кружочек, отмеченный крестом. — Теперь нужно только узнать, какие у дотов двери, как они открываются. Времени у нас для этого нет.

— Время будет. Я сейчас же пойду к начальнику разведки и с ним — к генералу. Дай мне эту бумажку.

Часа через два Забаров вернулся из штаба дивизии. Он сообщил Шахаеву, что их план одобрен, а на подготовку дано пять дней. На шестой — отправляться.

— Целых пять дней! — гудел Федор, довольно потирая свои тяжелые, горячие руки. — Да мы так подготовимся, что фашистов вместе с дотом принесем!..

Но веселость Забарова была минутной.

— Трудно будет, — выдохнул он шумно. И умолк.

Почти целую неделю, предшествовавшую поиску, забаровцы пробыли на переднем крае, ведя наблюдение с различных пунктов. Михаил Лачуга, Пинчук и Кузьмич носили им туда пищу в термосах, с трудом выпрошенных Петром Тарасовичем у скуповатого и до смешного бережливого Докторовича — начальника АХЧ. Пинчук

чуть ли не под присягой дал ему слово, что все термосы вернет в целости и сохранности. Докторович термосы отпустил, однако в качестве надзирателя послал к разведчикам свою верную суровую помощницу — толстущую Мотю. Она ежедневно и неутомимо конвоировала ребят до самого переднего края и обратно, с пристрастием исполняя предписания своего начальства. В последний день Пинчук попробовал уговорить Мотю остаться. Он взывал к ее совести, Матреной Ивановной величал, — ничего не помогло.

— Проклятая девка! — всердцах проворчал старшина. — Возьми такую в жинки — душу вымотает.

— А я за такого носатого еще и не пошла бы! — ответила острая на язык Мотя. — Мне больше Лачуга нравится. Он — щербатый, да это и лучше: кусаться не будет...

— Нужна ты мне со своей любовью, — пробормотал смущенный Лачуга, пристраивая за спиной термос. — Без тебя хватит...

— Так уж и хватит. Шурка-то, повариха, небось, отставила тебя. Помалкивал бы лучше.

— Ну, молчу. Только отстань.

— А вот не отстану. Может, приглянулся ты мне, чудак такой! — Мотя зажмурила глаза, подбоченилась и выгнула опаленную солнцем бровь.

— Перестань крутиться-то, вертихвостка, язви тя в корень! — неожиданно зашумел на нее Кузьмич. — Ни стыда, ни совести!

Угомонить Мотю было не так-то просто.

— Что, аль завидки взяли, старый? Ишь, усы-то накрутил!

— Тьфу ты, сатана!.. — ездовой натужно покраснел, отвернулся, плюнул. — Типун тебе на язык! Кобыла гладкая!..

Мотя подкралась к Кузьмичу сзади, обхватила его худую, тонкую шею пухлой, горячей рукой, заглянула через плечо в его лицо и с шутливой нежностью провела пальцем по усам.

Старик с трудом вырвался и, забыв о своих годах, с молодецкой прытью утек. Вслед ему катился озорной девичий смех.

Позже Кузьмич говорил разведчикам, что такого позорища он еще никогда не испытывал и что при случае

непременно высечет кнутом эту толстущую Мотю, а подвернется Докторович — и его, чтоб не присылал такую. Солдаты смеялись, с той поры частенько напоминали Кузьмичу о Моте, уверяя, что она влюблена в него, и спрашивали, как поживают его усы.

5

Перед поиском разведчики целый день спали.

Вечером Забаров разбудил всех и приказал одеваться. На задание отправлялись Забаров, Шахаев, Ванин, Камушкин, Аким, Каримов, Никита Пилюгин и еще четверо молодых разведчиков. Шла с ними и Наташа.

Сейчас лейтенант проверял разведчиков особенно тщательно. Заставлял каждого несколько десятков метров пробежать, прислушиваясь, не гремит ли что; велел всем захватить фляги с водой, побольше взять гранат.

Моросил мелкий, не по-весеннему назойливый дождь. За реденькими тучами медленно плыл бледный серпик месяца, в его призрачно-неровном трепетном свете чуть серебрились мокрые лепестки цветущих черешен. Напоенный влагой воздух был чист и живительно легок. Перестрелка, время от времени вспыхивавшая на переднем крае, казалось, идет где-то совсем близко, метрах в двухстах отсюда.

Разведчики миновали село, прошли КП дивизии, не спеша поднялись на гору, обогнули балку, в которой стояла, видимо временно, батарея Гунько, хитро замаскированная разбитыми румынскими фургонами, и вскоре достигли переднего края. На нем еще не было траншей и окопов полного профиля. Земляные работы были в самом разгаре.

Забаровцы остановились отдохнуть. По соседству с ними сидела группа солдат. Оттуда долетал чей-то негромкий высокий голосок:

— ...Проберитесь, говорит, в деревню Стольничели, влезьте на крышу, поднимите флаг али еще что, а мы заметим — и вперед!.. Вот ведь чего захотел!.. Как же можно так? В деревне — немцы. Мы будем флажком помахивать, а немцы любоваться, так, что ли, говорю, по-вашему?..

Послышался сдержанный смешок. Рассказчик, переждав, продолжал:

— ...Нет, говорю ему, так не попляшет. Мы сейчас не на своей земле воюем. Тут тебя не всякий укроет. То, говорю, дорогой товарищ, шаблон, что вы предлагаете. Тут другая стратегия нужна...

Второй голос, басовитый, с хрипотцой, поддержал:

— Что верно, то верно. Там, на родине, кругом свои люди были, мы могли на них надеяться, когда шли в тыл к немцам, а тут поосторожнее надо...

Третий выкладывал как давно выношенное и обдуманное:

— По одному шаблону нельзя воевать. Точно!

Потом разговор быстро переметнулся на другую тему:

— Расскажите, товарищ старшина, что за девушку вы на днях с Федченкой задержали?

— Румыночка одна. Хороша собой, прямо скажу. Домой, говорит, пробираюсь, в село Гарманешти.

Шахаев сразу узнал голос Фетисова.

— Ну, и куда же вы ее, Василику эту самую, — так, кажись, ее звали?

— В штаб батальона отправил. Там разберутся.

Смолкли. Потом кто-то задумчиво кинул в темноту:

— А природа тут, товарищи, хорошая... Пейзаж — да и только!

— Пейзаж ничего... подходящий, — согласился второй.

— Садов много, слов нет. А люди живут — не дай и не приведи!..

— В домах блохи кишмя кишат. Лохмотья кругом...

— Зато бояре наслаждение в жизни имеют.

— Какие бояре? Их уж кои веки не стало. При Грозном Иване да при Петре Великом, при тех — да, были...

— Это у нас не стало, а тут есть.

— Помещики, должно.

— Их тут боярами величают...

— Почему их до сих пор не столкнут, не свернут им шею?

— Свернут еще. Потерпи маленько.

— К тому дело идет.

Шахаев прислушивался: ему нравилась беседа солдат.

По старой памяти он решил заглянуть к беспокойному старшине. Еще не видя Фетисова, парторг вновь услышал его голос:

— А ты не так. Вот — смотри, — кому-то объяснял он в темноте. — На колено становиться нельзя. Противник

может заметить — и нет тебя. Надо уметь окапываться лежа... Дерн мешает?.. А ты его сначала подруби перед собой. Дай-ка мне лопату. Вот так...— послышался хруст разрубаемых травяных кореньев. — Возьми-ка лопату. Вот так... Теперь от себя поддевай пласт... Так, так... молодец!.. Воевать, брат, надо с умом. Небось помнишь, как Чапаев говорил: подставлять свою голову всякой глупой пуле мы не имеем права. Так-то, Федченко!.. Письма из дома получаешь?.. Ну, что пишут?.. Спалили?.. Ах, сволочи! Ну, ничего: хату колхоз построит... А с фашистами надо поквитаться, как ты думаешь?.. Правильно, добрячками на войне нельзя быть, Федченко. Врага надо бить со злом. Постой, постой, ты опять приподнялся... Я же тебе показывал, как надо копать лежа. А ну-ка, начнем сначала...

Фетисов скоро умолк, и перед парторгом выросла его небольшая плотная фигура. Шахаева он узнал сразу и, как всегда, обрадовался:

— Ну, ночные духи!.. Опять витаете в пространстве?

— Опять.

— А я вот тут уроки новичкам даю. Учу помаленьку.

— Я слышал. Ну, и каковы успехи? Понимают?

— Еще как! Народ смышленый. Через неделю они у меня станут докторами окопно-траншейных наук.

Фетисов весело и заразительно захохотал. Засмеялся вместе с ним и рядом стоявший солдат:

— Дает нам жизни товарищ гвардии старшина! — похвастался он и захохотал еще громче.

— Так ты уже теперь старшина? — спросил Шахаев.— Поздравить тебя надо.

— Так то еще на Днепре...

— Что с твоими минами? — вдруг вспомнил разведчик. — Послал в Москву?

— Послал. А бронебойку с оптическим прицелом я уже оборудовал. Вчера впервые пальнул в амбразуру румынского дота. Жаль только, не узнаешь результатов. А подполковник Тюлин — теперь он командует нашим полком — одобрил мою затею.

Шахаев попросил Фетисова дать им проводника до боевого охранения.

Дождь перестал, но реденькие тучки все еще не открывали неба. Справа, внизу, светилась серебристая полоса реки Серéт. За ней темнел город Пашканы. Там то

и дело поднимались к небу красные снопы искр, сопровождаемые тяжкими, глухими взрывами. Город бомбили немцы. Время от времени на землю катился неровный тоскующий стон ночных бомбардировщиков. Одинокий прожектор, установленный где-то возле реки, энергически шарил по небу, ощупывал его, стараясь отыскать коварную стальную птицу. Иногда это ему удавалось. В его мощном луче плыл ослепленный самолет. Раздавалось несколько частых зенитных хлопков, вокруг бомбардировщика возникали белые барашки разрывов, не принося, однако, самолету никаких повреждений. Самолет не спеша поворачивал на юго-запад, и прожектор «вел» его до тех пор, пока огненное жало не упиралось в вершины Карпат, причудливо выхваченные вдруг лучом прожектора.

Двумя часами позже Фетисов вновь встретил разведчиков в расположении своего подразделения. Они возвращались с поиска и вели с собой пленного немецкого унтер-офицера. Произошел редкий, но возможный на войне случай: наши разведчики за своим боевым охранением столкнулись лицом к лицу с немецкими разведчиками, которые, очевидно, тоже шли за «языком». В короткой схватке забаровцы троих убили, а одного — командира группы — захватили в плен и вот теперь вели его в штаб дивизии.

ГЛАВА ПЯТАЯ

1

Вечером Шахаев и Аким вернулись из политотдела дивизии. Аким — сразу к Наташе. Неуклюжими руками обнял ее, приподнял несколько раз.

— Наташа!

— Что с тобой? — с радостным предчувствием спросила она.— Медведь ты мой... скажи, что случилось?..

А в его руке уже трепетала маленькая коричневая книжечка.

— Вот!.. — задыхаясь, воскликнул он, показывая Наташе кандидатскую карточку.— Вот!..

— Поздравляю тебя, мой дорогой! — она крепко обняла его тонкую шею.

— Наташа... любимая моя, славная!.. Родная!..

Каждый вечер похаживала к разведчикам Мотя. Для отвода глаз приставала к Кузьмичу. Вот сейчас она подошла к нему.

— Не любишь, значит, Кузьмич, меня,— вздохнула притворно, а глазами искала того, в белом колпаке...

Лачуга млел от жарищи, исходившей от котла, но больше от скорой встречи с милушкой, которая вот сейчас побранится немного с Кузьмичом, потом — Михаил это хорошо знал — подойдет к нему. В нетерпеливом ожидании он забыл про все на свете: бухнул непомерно большую горсть соли в суп, не думая о том, какое тяжкое возмездие получит от Пинчука.

Мотя подкралась робкой и тихой цесаркой.

— Здравствуйте вам...

Он обрадованно раскрыл щербатый рот, смущённо сопел.

— Может, помочь?

— Не надо, я сам...

Она приблизилась к нему.

— Прогуляемся чуток?

— Погодь малость, покормлю хлопцев, тогда... — мишкины уши горели, в голове была какая-то муть.

Она присела рядом, стала ждать.

2

После успешного выполнения задания разведчикам приказано было отдыхать ровно десять дней. Пленный немец дал ценные сведения, и поэтому командование расщедрилось.

Забаров проводил с разведчиками занятия, Шахаев — политинформации; на это уходило в день часов пять-шесть, остальным же временем каждый располагал, как хотел. Пинчук и Кузьмич — эти два неутомимых государственных мужа — решили, по совету Шахаева, помочь хозяину дома. Обоих старых солдат попрежнему раздражало то обстоятельство, что в хозяйской хате совершенно отсутствовала труба, принадлежность, с точки зрения человеческой, прямо-таки необходимая. Дым от печки, как в старой русской деревенской бане, выходил через дверь и единственное окно, печь топилась хозяйкой по-черному. Сенька, вспомнив слова Никиты Пилюгина, сказанные

им в первый день вступления в Румынию, теперь не давал ему покоя.

— Где же труба, Никита? Ты бы поискал. Может, ее хозяин прячет от нас. И кухни во дворе что-то не видать...

Никита отмалчивался. Но от Сеньки отвязаться было нелегко.

— Поищи же, Никита, трубу. Будь другом!..

— Отстань ты от меня, — проворчал Пилюгин.

Сначала Никита был твердо убежден, что «у румын обычай такой — жить без трубы — и всё. Не полагается по ихним понятиям». Но Бокулей-младший объяснил ему, что дело тут не в обычае. По румынским законам за трубу надобно было платить государству налог и притом немалый. Оттого-то трубы и маячили лишь над богатыми домами. За окна тоже нужно было платить налог. Поэтому Бокулеи довольствовались одним крохотным, подслеповатым оконцем. Узнав об этом, Пилюгин помолчал, пошмыгал носом и пробурчал неопределенное: «да-а».

Пинчук же возмутился. Сердце и разум «головы колгоспа» никак не могли примириться с таким «безобразием». Поразмыслив малость, он решительно объявил хозяину:

— Точка. Зараз таких законив немае. Ставь трубу!

А спустя час хозяин привез из боярской усадьбы воз крепкого каленого кирпича.

— Старый, вишь, конюх там один остался, Бокулей говорил, — рассказывал Кузьмич Петру Тарасовичу. — Ионом прозывается. Тезка, стало быть, мой... Помог Бокулею кирпичи уложить. Старый, вишь, боярин умер, а молодой — на фронте... Его, Иону, охранять оставили в имении. Вот он и охраняет... Просит еще приезжать, коль, что надо будет... Русских, вишь, любит. Против турок в семьдесят седьмом, говорит, вместе с русскими воевал под Плевной. До сих пор помнит...

Золотые Кузьмичовы руки немедленно приступили к делу. В три дня он сложил в доме Бокулеев новую печь, в русском дородном стиле, занявшую пол-избы. А на четвертый день над крышей из высокой кирпичной трубы впервые весело и беспечно заструился дымок. Во дворе стоял хозяин, глядя на трубу мокрыми, покрасневшими глазами. Потом, испуганный, начал просить у Пинчука какую-то бумажку, чтобы, значит, не брали с него налоги.

— Не будут с тебя налог брать, не будут, — растолковывал мужику Петр Тарасович, отчаянно жестикулируя руками. — Ты сам теперь хозяин всему. Понял?

— Бун, бун!.. Карашо!.. — радостно пролепетал сообразивший, наконец, старик, торопливо смахивая с глаз слезы. — Бун, карашо!..

— Бун, бун!.. — «бунел», как в бочку, довольный Пинчук.

Между тем за глухой стеной дома, обращенной к востоку, стучали топоры и пронзительно визжала пила. Там под руководством «главного инженера-строителя», каковым прослыл Кузьмич, солдаты прорубали новые окна. Хозяин направился туда. «Главный инженер», потный и возбужденный, встретил его словами:

— Давно бы окна надо тут прорубить. Солнце-то на востоке всходит. А то в твоем дому — темно, сыро... Жена и дочь хилые... Ничевошеньки ты не понимаешь!

Наутро в хате, залитой солнечным светом, хлынувшим с востока через новые большие окна, были двое: Кузьмич и Александру Бокулей, порядком «клюнувши». На радостях хозяин извлек из каких-то потайных домашних недр кувшин винца, нивесть для какого торжественного случая припасенный, и они вдвоем с «инженером» скорехонько его опустошили. Подогретый вином, ездовой рассказывал румыну историю про свою непутевую жену Гликерью, бежавшую с белым казачишкой из дому. Хозяин слушал старого солдата с великим вниманием, хотя не понимал из его рассказа ни единого слова. Нередко там, где надо было по ходу рассказа выразить соболезнование, румын улыбался и восклицал:

— Бун!.. Карашо... Карашо, Кузмытш! — и лез целоваться.

Петра Тарасовича дома не было. Накануне он узнал от Наташи и Василики, которая уже поселилась в доме Бокулеев, что дочь хозяина, семнадцатилетняя Маргарита, заражена фашистами нехорошей болезнью. Пинчук решил отвезти девушку в наш армейский госпиталь, что стоял в городе Хырлэу, в тридцати километрах от Гарманешти. Убитая горем мать Маргариты теперь воспрянула духом и в знак благодарности грела для солдат воду.

Петр Тарасович охотно взялся помочь семье хозяина. Ему хотелось, чтобы там, где прошла Красная Армия,

было все чистым, здоровым, светлым. Глядя на худенькое, бледное, истомленное тяжелой болезнью лицо девушки, он шептал в адрес фашистов:

— Ось гниль яка... Всю Европу опоганили...

Больше всех страдал от безделья Сенька Ванин. Его неуемная молодая энергия искала выхода. Послонявшись возле Кузьмича и Лачуги, он вновь шел допекать Никиту Пилюгина. Последнее задание, в котором неплохо показал себя Никита, несколько смягчило Сеньку в отношении Пилюгина. Тем не менее он попрежнему донимал его.

— Опять сидишь один, — говорил он ему. — Нет бы пойти к хлопцам, побеседовать с ними вместе, анекдоты хотя б послушать... Ну, неисправимый же ты единоличник, Никита!.. А ведь что ты есть один? Ничто! — и Сенька пускался в глубокие и рискованные философские рассуждения. — Вот взять, к примеру, наш последний бой с немецкими разведчиками. Один бы ты там ничего не сделал. Умер бы от страху. А все вместе мы легко управились с немцами, потому как мы — сила... Ты — опасный индивидуалист, Никита, — вот ты кто.

— Отвяжись ты от меня! — стонал Пилюгин. — Что ты ко мне прилепился?.. «Индивидуалист»...

— А то и прилепился, чтоб ты понял...

Но тут появлялся Шахаев, и Сенька покорно умолкал. Однако, отойдя с парторгом от Пилюгина, жаловался:

— Мозолит мне глаза наш Никита, товарищ старший сержант. И зачем вы только с ним возитесь?..

Шахаев хмурился.

— У Никиты много недостатков, как, между прочим, немало было их и у тебя, Семен, да и сейчас еще кое-что осталось, — втолковывал он Ванину. — А мы — коллектив, сила большая, как ты сам говоришь. Вот и надо перевоспитать Никиту в духе уважения к коллективу. Грош нам цена, если мы не сделаем этого. Ты вот уже и сам отделенный, а рассуждаешь не по-командирски... Раньше с Акимом зря спорил об отношении к немцам, а вот теперь Никите покоя не даешь. А ведь я считал, что ты уж совсем избавился от своей болезни.

Сенька безнадежно махнул рукой:

— Не верю я в Пилюгина. Его советская власть за двадцать с лишним лет не воспитала, а вы хотели сразу...

— Надо верить. Ты вот что: чем попусту Никиту одолевать, занялся бы полезным делом.

— Каким? — насторожился Ванин.

— А вот каким: ты — опытный разведчик. Почаще беседуй со своими солдатами, особенно с новичками. Расскажи им о своих поучительных поисках. Да и в газету об этом напиши. Сейчас в дивизии много молодых бойцов. Им пригодятся твои советы. Меня и редактор просил, начподив — тоже.

Предложение Шахаева написать в газету Сеньке особенно понравилось, оно льстило ему. Целый день корпел он над бумагой. Поломал дюжину карандашей. Переживая муки незнакомого творчества, искусал все губы, даже похудел. К вечеру, однако, статья была готова. Сенька перечитал ее раз и два — и задумался. Не будучи вполне уверенным в своих писательских способностях, на что, конечно, имел веские основания, он после долгого размышления сделал следующую приписку:

«Прошу товарищей из газеты отредактировать мои ошибки и все недостатки в моем изложении выслать мне в письменной форме».

Не страдая избытком скромности, ниже поставил подпись:

«Кавалер четырех орденов, гвардии ефрейтор
Ванин Семен Прокофьевич.»

Затем запечатал статью в конверт и хотел было отдать пакет Кузьмичу, по совместительству исполнявшему у разведчиков должность почтальона, но раздумал. Он вспомнил, что редакция располагалась недалеко от них, и решил отнести пакет сам, тем более что в одном доме с редакцией размещалась и полевая почта: был чудесный предлог встретиться с Верой...

Отпросившись у Шахаева, временно исполнявшего обязанности командира взвода, Семен отправился в редакцию. По дороге он увидел большую группу румынских крестьян. Среди них стоял Александру Бокулей. Он показывал всем на свой дом, хохотал, щелкал языком. Рядом с Бокулеем был невысокий человек, без шапки, с коротко остриженными седыми волосами. Че-

ловек этот тоже глядел на дом Бокулея, говорил крестьянам что-то радостное.

Это был Николае Мукершану. Он первый поклонился разведчику. За ним то же самое сделали остальные. Ванин приосанился, молодецки козырнул и продефилировал дальше, борясь с нетерпеливым желанием вступить с иностранцами в пространную беседу.

Во дворе, где размещалась редакция «Советского богатыря», Ванин увидел любопытную сцену. Красный от злости наборщик гонялся по двору за огромным гусаком (редакции подарили этого гусака еще на Украине, и наборщики возили его все время с собой). Гусак вытягивал свои белые саженные крылья, гортанно гоготал, носясь по двору, как планер. Путь ему пересекал шофер Лавра. На крыльце стоял секретарь редакции Андрей Дубицкий и командовал:

— Лови, лови его!.. Лавра, забегай слева!.. Слева, говорю, забегай!.. Не слышит, чорт!..

— Что случилось?— осведомился у секретаря Сенька, готовый броситься в погоню.

— Весь петит из кассы выклевал, куршивый гад! — ответил тот и снова закричал: — Лови, лови!..

— Какой аппетит? — ничего не понял Ванин. Однако, подхлестнутый командой секретаря, помчался на помощь Лавре и наборщику. Гуся загнали в хлевушок и там при активном сенькином содействии обезглавили.

Содержание гусиного зоба было выпотрошено на чистую бумагу.

Присев на корточки, наборщики принялись выискивать крохотные свинцовые буковки, легкомысленно выклеванные пернатым из оставленной на земле кассы.

Гуся сварили. В трапезе участвовал и новый военкор — Семен Ванин. Он аппетитно жевал гусиное мясо и уверял наборщиков, что проглотил не меньше десятка этого... как его...

— Петиту?

— Во-во!

— Так мы и тебя, как гуся, выпотрошим.

— Ну, ну, попробуйте!

И без того светлое настроение Ванина поднялось теперь еще выше. Он уже собирался было навестить свою любушку, но прибежал Никита Пилюгин и позвал Ванина в подразделение.

Сокрушенно охнув и зло посмотрев на Пилюгина, Сенька быстро распрощался с товарищами из редакции.

— Пойдешь с капитаном Гуровым и Бокулеем делать для румынских солдат передачу, — сказал Шахаев, несказанно обрадовав этим Ванина.

В окопе, который находился ближе всех к румынским траншеям, установили ОЗУ. Бокулей взял рупор, приготовился было говорить по написанному, но вражеский пропагандист опередил его. На ломаном русском языке от неприятельского переднего края кричали:

— Русский солдаты! Мама Елен приказала вышвырнуть вас за Прут.

Это было уже слишком. Сенька вырвал у Бокулея рупор и что есть моченьки заорал:

— Эй, ты, гнида продажная!.. Щенок блошиный! Скажи своей Маме Елене, чтобы того... приготовилась... Скоро в Бухарест... придем!..

Стенки окопа посыпались от азартного солдатского хохота. Поощренный смехом бойцов, Сенька набрал в легкие воздух, чтобы выкрикнуть еще что-нибудь такое, похлеще, но Гуров отобрал у него рупор.

— Этак ты мне наагитируешь...

Довольный произведенным эффектом, Сенька распрощался с капитаном и Бокулеем и отправился к своим товарищам.

Разведчики уже спали. Только Забаров сидел с коптилкой и писал письмо Зинаиде Петровне.

«Неужели она меня любит? — думал Федор. — И почему бы ей не написать прямо: люблю!»

Он хмурился. А из темного окна на него глядели ее лукавые, смеющиеся глаза. Они, эти глаза, говорили: «Ты не думай, что я уж очень о тебе убиваюсь. Я просто так...»

Федор злился, моргал и писал что-то несуразное и путаное.

Потом разорвал написанное в мельчайшие кусочки и выбросил на улицу. За окном с минуту вихрилась бумажная метель.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

1

Земля все меньше пáрила по утрам, высыхала, морщилась, лик ее мрачнел. Морщились и мрачнели худые лица румынских крестьян, трескались искусанные губы,

в глазах стояли безысходная тоска, отчаяние: кормилица-земля высыхала, а в нее не было брошено еще ни единого зернышка. Лошадей и волов угнали отступавшие немецкие и румынские части. Пахать было не на чем. Только Патрану да еще несколько кулаков с утра до поздней ночи пропадали в поле, не давая отдыха батракам.

Сбившись кучками, обтирая потные лбы бараньими шапками, крестьяне толковали меж собой:

— Пропадем все.

— Помрем с голоду.

— Лавку купец закрыл. Соли негде достать... От цынги помрем...

— Земля травой зарастает...

— Нам помогут! — прозвучал вдруг голос Мукершану.

— Кто поможет? Кому мы нужны...

— Русские.

Все с недоверчивостью и вместе с тем с тайной надеждой посмотрели на Мукершану.

— А то у них других забот нет...

— До нас им...

— Вот вы не верите, а я говорил сегодня с их генералом. Обещал помочь вспахать землю на своих лошадях.

— Мы уже тебе однажды поверили, Мукершану. В тридцать третьем. Пошли за тобой. Ну, и поплатились. Сколько нашей крови пролилось. Теперь вот опять обещаешь...

Мукершану вспыхнул, но сдержался:

— Чьи ты слова говоришь, Кристанеску? Вижу — не свои,— глухо проговорил он. — Патрану, должно быть...

— Чужой головой не живу, своя на плечах. Только ты лучше бы уехал отсюда.

— Никуда я отсюда не уеду. Меня прислала сюда моя партия, которая желает всем только хорошего. Когда-нибудь ты это поймешь. Думаю, что скоро поймешь... А насчет русских — все правда. Обещали помочь...

Крестьяне заволновались. Новость эта так поразила их и была, казалось, столь неправдоподобна, что в нее трудно было поверить даже самым доверчивым людям.

— Да, да, помогут! — тверже сказал Мукершану, зорко всматриваясь в угрюмые лица крестьян. Он думал:

«Насколько легче было проводить работу там, на заводах Решицы, среди металлистов». Невольно вспомнил слова товарища из ЦК, провожавшего Мукершану в села:

— Будь осторожен, Николае. Действуй осмотрительно. С крестьянами трудно будет. Заморочили им голову король и партия Маниу.

О своем решении помочь крестьянам вспахать землю и посеять Сизов и Демин сообщили в штаб армии. Там одобрили и в свою очередь сообщили в штаб фронта. Через несколько дней пришел приказ командующего фронтом, предписывавший войскам, находившимся во втором эшелоне, в свободное от занятий время приступить к немедленной помощи бедным румынским крестьянам. Этот акт удивил советских солдат, даже такого последовательного гуманиста, как Аким.

— Собственно... что это значит? Ничего понять не могу, — говорил он Шахаеву. — Три года румыны грабили нашу землю, вместе с гитлеровцами уничтожали наши села, людей. Вспомните одну только Одессу... А теперь — извольте радоваться: мы должны еще пахать им землю... Ни черта не понимаю!..

— Мне странно слышать это от тебя, Аким! Ты подумай хорошенько, — спокойно советовал ему парторг.— Ты теперь коммунист. Подумай, и все будет понятно. А на партийном собрании мы поговорим об этом подробнее.

— Нет, нет. Это уж слишком. Это — ненужный либерализм.

— Что ты говоришь, Аким? — подвернулся откуда-то Сенька. — Я не узнаю тебя. Ты, кажется, местию воспылал. Что-то это на тебя не похоже!

— Ненужный либерализм. Лишнее это, — продолжал Аким, не слушая Ванина.

— Ты уверен в этом? — спросил Шахаев.

— Конечно!

На этот раз Аким кривил душой: полной уверенности в этом своем убеждении у него сейчас не было. Это отлично видел парторг и спокойно продолжал:

— Не век же нам жить с этими людьми в ссоре. К тому же... — парторг взглянул на Александру Бокулея, на то, как он заботливо ладит свою ковырялку, готовясь к выезду в поле (по распоряжению Забарова Михаил Лачуга передал хозяину на время посевной своего

битюга). — К тому же народ был обманут... Мы должны показать им путь к иной, новой жизни. Не для мести мы сюда пришли. Нам же станет лучше, когда вокруг нас будут друзья, а не враги.

— Разумеется. Но очень часто забывается наша доброта. Возьми Финляндию: свою самостоятельность она получила из рук советской власти, а вот уже третий раз воюет против нас,— сказал Аким.

— Там у власти все время находились реакционные правительства, которых меньше всего интересовал народ.

Приказ командования совершенно не удивил старых хлеборобов — Пинчука и Кузьмича. Он показался им вполне естественным, как было естественно то, что советская власть всегда за бедных.

Петр Тарасович поглядел на возню хозяина с сохою, горестно покачал головой:

— Нема дурных, щоб я такой штуковиной пахав!.. Кузьмич, запрягай лошадей: пусть хозяин плуг поедет шукать. Теперь Бокулей знает, где его найти... — распорядился он.

К полудню Бокулей-старший привез из усадьбы Штенбергов новенький сакковский однолемешный плужок. Погрузить его на повозку хозяину помог все тот же старый конюх Ион, которого Бокулей всерьез уже называл своим другом. На этот раз Ион сам пожаловал во двор к Бокулеям: старому воину захотелось своими глазами посмотреть на русских солдат, на этих славных потомков героев Измаила и Плевны.

В полдень по селу загремел дробный стук колотушки. Скликали народ на сход, чтобы объявить о великодушном решении советского командования. Крестьяне собирались у ворот группами. Перед каждой такой небольшой толпой останавливался человек с колотушкой и читал бумагу. Люди сначала слушали молча и сумрачно, хмурые и настороженные: раньше им читали только о новых налогах, о мобилизации, и эта колотушка всегда больно била по сердцу. Узнав, наконец, в чем дело, стали размахивать шапками, кричать:

— Бун!

Среди крестьян то и дело появлялся голубоглазый, седоватый человек. Он переходил от одной группы к другой, провожаемый на этот раз дружественными взглядами и словами.

— Бун, Мукершану!

— Бун, якой там бун, — ворчал Пинчук, прислушивавшийся к крестьянским голосам и к грохоту колотушки. Он сразу помрачнел: — Мироеды проклятые, клуб для крестьян не могли построить... Собираются, бедняги, прямо на вулице, як в древнейши времена. Не бун це, не бун!..

В центре села — небольшая площадь. Там собралось народу побольше. На арбе, этой импровизированной трибуне, стояли Александру Бокулей и его сын Георге. Рядом с ними — Суин Корнеску. Он говорил своим густым, низким голосом, люди радостно орали ему в ответ, а Бокулей-старший, вытирая все время потное лицо, счастливо улыбался.

Вдруг чей-то вкрадчивый, осторожный голос прервал оратора:

— А ведь земля-то не наша, Суин, а Штенбергов. А вдруг вернется боярин, что тогда?.. Шеи пообломает!.. Мукершану — что не агитировать? Чем он рискует? Чуть что — в город подастся, а мы расплачивайся, как в тридцать третьем... Я не против того, чтобы землю эту распахать — зря же пропадает. Только не нажить бы беды. Подумай об этом, Суин Корнеску.

Человек, сказавший эти слова, отделился от толпы и растрепанным грачом заковылял по улице, прочь от митинговавших.

Толпа притихла, неприятно пораженная, потом зашумела с новой силой:

— Это мы еще поглядим, кто кому обломает!

— Патрану хорошо так говорить. У него своей земли по горло.

— А может, он прав, господа? Вдруг боярин и впрямь возвратится...

— Слушать Патрану — с голоду сдохнешь!

Последние слова, должно быть, долетели до черного человека, он резко оглянулся, сверкнул цыганскими глазами и поковылял быстрее.

2

Вечером во дворе Бокулеев шла энергичная подготовка к выезду в поле. Кузьмич подкармливал своих, и без того сытых, лошадей. Пинчук в сарае сортировал

семенную пшеницу, добытую Бокулеем-старшим все в той же боярской усадьбе, не без помощи, разумеется, конюха Иона. Хозяин едва успевал подносить мешки.

— Эх, триера нема! — сокрушался Петр Тарасович, могучими ударами широченных ладоней встряхивая огромное кроильное решето, подвешенное у крыльца дома.— Мабуть, рокив четырнадцать не видал такой штуки, — говорил он про решето. — Як, бывало, заладишь триер...

Тугая, необъятная его спинища взмокла. От нее валил пар. Сладко ныли натосковавшиеся по лихой работе руки, звенело в ушах.

— Ух, добре! Давай, подсыпай, хозяин! Шевелись!— торопил он. Крупное тяжелое зерно золотой россыпью шелестело в решете. — Давай!..

Михаил Лачуга укладывал на повозку небольшой котел, продукты, жестяные тарелки, ложки, сунул под сиденье ездового на всякий случай бутылочку румынской цуйки[1]. «Выпьют с устатку», — подумал он. Специально для Петра Тарасовича Михаил Лачуга завернул в бумагу кусок свиного сала со шкуркой — знал, плут, слабость полтавчанина... Наташа положила в повозку пакет с медикаментами: «Мало ли что может случиться». Комсорг Камушкин быстро намалевал плакат и под ним большими буквами вывел надпись: «Слава гвардейским пахарям!» Плакат на высоком шесте укрепили в повозке. Возле него села сияющая Василика, держась одной рукой за шест, а другой обняв Мотю. Мотя вызвалась поехать в поле в качестве поварихи. Она отпросилась у начальника и с вечера явилась к разведчикам, чтобы принять участие в сборах.

Всяк старался что-нибудь сделать для пахарей.

Сенька отдал Кузьмичу свой трофейный нож, а Никите Пилюгину, отправлявшемуся вместе с Пинчуком и Кузьмичом в поле погонщиком, строго-настрого наказал «перевыполнить все нормы и стать, наконец, настоящим человеком».

— Не бери пример со своего батьки, — внушал ему Семен.— Тот мужик темный, а ты ведь при советской власти родился. Это понимать надо!

---

[1] Цуйка — румынская водка.

В общем все были заняты делом, суетились, хлопотали. И подразделение сейчас больше походило на полеводческую колхозную бригаду, готовившуюся к первому выезду в поле. Забаров посмотрел на своих солдат и подумал: «Как легко эти люди из воинов становятся тружениками. С какой же яростью будут работать они после войны!..» Перед ним сейчас были не просто разведчики, а будущие инженеры, начальники цехов и строек, председатели и бригадиры колхозов, агрономы — люди, которым суждено не только разгромить врага, но и возродить разрушенное врагом, украсить свою родную землю, политую их кровью, построить то великое, ради чего так много отдано драгоценных жизней.

Пинчук досортировывал последние пуды пшеницы. Покончив с делом, он взял из рук хозяйки большой кувшин с холодной водой и осушил его до дна. Громоподобно крякнул:

— Ох, добре, мамо! Из какой криницы брала? Бун!

На зорьке празднично-торжественные выехали в степь.

Едва выехали за околицу, над передней повозкой, где трепетал красный флаг, взвился звонкий, беззаботный голос Василики:

— Марица, Марица, я тебя люблю,
Тебе я в подарок ярких бус куплю.
— Ну, что же, купите,— это не беда,
Я бус не носила, право, никогда.

Счастливая и беспечная, она своими большими черными глазами смотрела то на Георге, смущенно улыбавшегося и тихо подпевавшего своей подруге, то на Мотю, то на жмурившегося от солнца Кузьмича. Перекликаясь с жаворонками, над степью звенело:

— Куплю я лимон, куплю я апельсин,
Я рад все отдать за поцелуй один.
— Ну, что же, купите,— это не беда,
Плодов я таких не ела никогда.

Четверо суток не возвращались пахари с поля. За это время «бригада» Пинчука вспахала и посеяла наделы двум семьям. Половина первого дня ушла на дележку давно брошенного (лет двадцать назад) помещичьего клина. Мукершану и Суин Корнеску предлагали крестьянам разделить всю землю, принадлежавшую боярину Штенбергу, но гарманештцы не решились: они все-таки

боялись возвращения старой власти. Боязнь эту усугубил Патрану, который не пожалел ночи, чтобы обойти чуть ли не все крестьянские дома и сказать мужикам то, что говорил он Суину на стихийно возникшем митинге. Он также не забыл сообщить односельчанам и то, что Советская Армия якобы собирается уходить за Прут и что в Гарманешти не нынче-завтра будут войска румынского короля.

Делили брошенный клин по числу душ в семье. Главными в этом деле были Суин Корнеску и Александру Бокулей. У Петра Тарасовича, наблюдавшего за разделом, мелькнула мысль, что на этом господском клине можно было бы создать неплохой бригадный участок. Ему было жалко смотреть, как люди режут клин на куски. Колхоз бы сюда. В конце концов Пинчук решил, что так оно и будет. «К тому дило иде...»

Усталые, загорелые, с приятной тяжестью во всем теле, пахари возвратились в Гарманешти накануне 1 Мая. Лачуга приготовил для них великолепнейшее кушанье. Сенька искусно сыграл на губах туш, пританцовывая перед Никитой. Пилюгин улыбался. Мотя немедленно стала помогать Михаилу у котла.

— Коханка моя... То-то будет добрая жинка...— шептал Лачуга в ее чуткое ухо, спрятанное в завитушках пропитанных солнцем и овеянных ветром золотистых волос.

У крыльца, наполненный тихой грустью, звучал голос Акима:

Темнеють доты
Чужи напроты —
Ничого бильш нема.
А там десь, дома,
Весна знайома
Зелени руки пидийма.

— Хорошие стихи, Наташа? — тихо спросил он девушку, которая, прижимаясь к нему, невидящими глазами смотрела куда-то вдаль.

— Хорошие. Ты написал? И почему по-украински?

— Нет. Сержант один[1]. Вчера в «Советском богатыре» прочел.

Вражеский пулеметчик пускал куда-то вверх короткие очереди трассирующих пуль.

[1] Александр (Олесь) Гончар — автор известной трилогии «Знаменосцы». В то время был в Румынии в одной из наших дивизий и часто выступал в газете со своими стихами.

3

Разведчики спали на улице, на свежей траве под черешнями. Бодрствовали лишь часовой да Александру Бокулей. Румын всю ночь следил за солдатами — как бы кто не разделся или не сполз с постели во сне: к утру холодно, а весенняя земля коварна.

Утром пришла газета с первомайским приказом.

Забаров читал приказ Верховного Главнокомандующего перед строем солдат, как и положено командиру подразделения. Густой его голос звучал напряженно:

«...Наши задачи не могут ограничиваться изгнанием вражеских войск из пределов нашей Родины. Немецкие войска напоминают теперь раненого зверя, который вынужден уползать к границам своей берлоги — Германии для того, чтобы залечить раны...»

Строй солдат стынет в торжественном безмолвии. Забаров продолжает:

«Но раненый зверь, ушедший в свою берлогу, не перестает быть опасным зверем. Чтобы избавить нашу страну и союзные с нами страны от опасности порабощения, нужно преследовать раненого немецкого зверя по пятам и добить его в его собственной берлоге. Преследуя же врага, мы должны вызволить из немецкой неволи наших братьев поляков, чехословаков и другие союзные с нами народы Западной Европы, находящиеся под пятой гитлеровской Германии».

Забаров замолчал и глянул на своих солдат. Из простых и мудрых слов приказа, будто освещенная яркой вспышкой магния, стала для них еще более ясной и глубоко осознанной цель их большого похода. Что-то могучее приподнимало бойцов, каждый чувствовал себя легким и стремительным, словно за спиной вырастали крылья.

В первомайском приказе также говорилось о том, что успехи Красной Армии могли бы оказаться непрочными и они были бы сведены на нет, если бы Красную Армию не подпирали с тыла весь наш советский народ, вся наша страна.

Старшина и ездовой долго и обстоятельно обсуждали эти слова, по-государственному оценивали дела советских людей и свои собственные.

Только сегодня Петр Тарасович получил от своего заместителя Юхима письмо. Тот присылал Пинчуку ежемесячные подробные отчеты о проделанной работе. В первом своем письме Юхим сообщал о восстановленных колхозных конюшнях и амбарах, постройке десяти жилых домов для колхозников, о других, уже более мелких работах и что во всех этих делах большую помощь колхозу оказывал райком партии.

В ответном письме Петр Тарасович давал свои советы и указания. Он приказывал Юхиму организовать снегозадержание, попросить агронома в районе послать на агрономические курсы и на курсы зоотехников девчат и хлопцев, хорошенько готовиться к посевной. Все это в точности было исполнено старательным и дисциплинированным Юхимом. Теперь же он сообщал о более радостных и значительных делах: восстановлена мельница, принято решение о строительстве клуба, в колхозе без малого закончен сев колосовых...

— Оце добре! — торжествовал Петр Тарасович. — Бачиш, як народ за дило взявся!.. — а самому было больно до слез, что все эти большие дела вершатся в колхозе без него. Украдкой от Кузьмича теребил свои бурые обвислые усы, кряхтел.

Потом уселся писать ответ. Сначала передал многочисленные приветы и поклоны, потом решил рассказать, что увидел на чужой земле.

«А зараз, дорогие колгоспники и колгоспницы, — писал Петр Тарасович,— сообщаю вам трохи, як тут живут и працюють люди. Земля в Румынии, слов нет, добрая, много леса на ней, садов, виноградников и другой всякой благодати. Дороги тоже добрые, гравием посыпанные — вид ихний портят только черные христовы распятья, яки стоят на каждом шагу... Часто идут дожди, богато солнца. А крестьяне румынские живут погано, а оттого погано вони живут, що колгоспив не мают. Земля вся на мелкие лоскутки порезана, сеют на ней одну кукурузу, яка все соки земли повысосала. Ниякого севооборота тут не соблюдается, тракторов або комбайнов немае. Пашут сохами, как в старые времена, а жнут серпами...»

Пинчук поставил три точки и задумался. Для большей убедительности решил сообщить кое-какие цифры,

которые уже успел занести в свой блокнот. Отыскав нужную запись, продолжал:

«75 процентов крестьян составляют бедные, а 700 тысяч семей крестьянских хозяйств вовсе не имеют земли и скота. Вони живут в темных и грязных хатах. В хатах этих немае окон и труб, бо за окна та за трубы надо платить налог. А денег у бедных, конечно, нема, на спички — и то нет... Они за кусок мамалыги батрачут у кулаков — я бачив одного такого мироеда, руки мои чесались — так хотелось проучить его! — вин и про нас, червоноармийцев, поганый слух распускае, мутит народ, як в нашем селе в тридцатом годе Иван Пивинок... Дети батраков и бедняков мрут, як мухи, от голода та болестей, бо врачей в селах немае. Кулаки та помещики — боярами их здесь прозывают,— так те, вражины, живут в большом удовольствии, в красивых и светлых домах под черепичной крышей, с окнами и трубами. У них — самые жирные земли и богато земли... Но недолго властвовать мироедам и тут, столкнут их бедные люди! Зараз народ румынский дуже обозленный на богатеев. Все пытают у меня, як мы живемо и працюемо в колгоспи. Рассказываю им. Слухают, и завидки их берут. Вот, кажуть, нам бы таке!.. Так що вы, дорогие колгоспники и колгоспници, гордитесь своей артелью и жизнью, укрепляйте колгосп, щоб ще краще жилось...»

Засим Петр Тарасович приступил к изложению задания. Писал он часа три, все письмо густо уснастил цифрами, а также цитатами из газет, сообщающими о восстановлении народного хозяйства на землях, которые были оккупированы гитлеровцами и ныне освобождены. Призывал брать пример с передовых колхозов, требовал поставить «на должную высоту дило соцсоревнования».

Пинчук, конечно, знал, что там, на месте, есть райком партии, райисполком, правление колхоза, сельсовет, в общем есть кому позаботиться о его родной артели, и все-таки сердце его болело, заставляло хлопотать. Так, сам того не замечая, он все еще пытался руководить своей артелью, будучи на фронте. Его письма нередко обсуждались на общем колхозном собрании. И чернобородый, кряжистый Юхим называл их не письмами, а «директивами». Соберет народ и скажет:

— От головы колгоспа, нашего уважаемого Петра

Тарасовича Пинчука, дирехтива прийшла. Ось вона! Зараз обсудим...

Пинчуковы «директивы» пронумеровывались и подшивались в «дело» аккуратнейшим счетоводом — его же собственной жинкой, успешно окончившей ускоренный курс бухгалтеров. Теперь она, его Параска, числилась сельской интеллигенцией, наравне с учительками и библиотекаршей. Это обстоятельство и радовало Петра Тарасовича и пугало. Радовал рост жены, пугала боязнь отстать от нее: в письмах Параски все чаще стали попадаться мудреные словечки, которых без помощи Акима и Шахаева Пинчук понять не мог.

— Вернусь с фронта, сдам ей дела, грамотейке, а сам махну в Полтаву учиться,— вслух рассуждал он, однако плохо веря в то, что говорил. Колхозные «дела» Петр Тарасович считал не сданными им никому. Может быть, еще и потому он так часто отсылал Юхиму свои «директивы».

В ту майскую ночь он долго не мог заснуть: видел родное село, пахнущий свежей стружкой и сырыми дубовыми щепками новый клуб, на сцене — длинный стол, накрытый красной материей, за столом — Параска председательствует, бородач Юхим читает колхозникам пинчуково письмо...

Ворочался, кряхтел, не давал заснуть и Кузьмичу.

— Что с тобой, Петро?

— Так щось...

И шумно вздыхал.

4

Начальник политотдела дивизии полковник Демин с утра провел совещание с работниками своего аппарата. Инструкторы получили от него задания и разошлись по полкам.

После совещания чисто выбритый Демин направился в село.

Всюду было оживленно.

Приказ Верховного Главнокомандующего взбудоражил румын. Во дворе Суина Корнеску собралось человек сорок. Окруженный ими, Николае Мукершану старался разъяснить смысл приказа.

Демин поздоровался с крестьянами, которые, судя по их улыбающимся физиономиям, уже хорошо знали его, молча стал слушать, что говорит Мукершану. Тот зачитывал выдержки из приказа, уже переведенные на румынский язык.

«Под ударами Красной Армии трещит и разваливается блок фашистских государств. Страх и смятение царят ныне среди румынских, венгерских, финских и болгарских «союзников» Гитлера,— звучал его голос. Строгие, резкие черты очень явственно обозначились сейчас на лице Николае, оно посуровело, стало сосредоточенным. Возле висков собралась сухая темная кожа. Обведя крестьян строгим взглядом, Мукершану наклонился над листом и продолжал читать: — Теперь эти гитлеровские сподручные, страны которых оккупированы и оккупируются немцами, не могут не видеть, что Германия проиграла войну. У Румынии, Венгрии, Финляндии и Болгарии есть только одна возможность избегнуть катастрофы: разрыв с немцами и выход из войны. Однако трудно рассчитывать на то, что нынешние правительства этих стран способны порвать с немцами. Надо полагать, что народам этих стран придется самим взять в свои руки дело своего освобождения от немецкого ига».

В этом месте Мукершану сделал паузу, и румыны зашумели:

— А сумеем ли мы этого добиться?

— Как мы можем себя освободить!

— У нас нет оружия.

— В стране — немцы.

— У Антонеску большая армия.

Мукершану переждал, потом поднял руку.

— Успокойтесь, товарищи! — крикнул он, и лицо его вдруг вновь осветилось.— Успокойтесь, товарищи! — повторил он, видимо, испытывая несказанную радость от того, что может, наконец, свободно и открыто, во весь голос произносить дорогое для него слово «товарищи».— Тут сказано, что нам надо с вами делать. Вот послушайте,— и Мукершану прочел:

«И чем скорее народы этих стран поймут, в какой тупик завели их гитлеровцы, чем быстрее прекратят они всякую поддержку своих немецких поработителей и их сподручных — квислингов в своей собственной стране, тем меньше жертв и разрушений понесут эти страны от

войны, тем больше они могут рассчитывать на понимание демократических стран».

Румыны закричали еще громче:

— Мы одни не справимся.

— Будет ли помощь со стороны русской армии?

— Не оставят ли нас одних?

— Говорят, русские собираются уйти за Прут.

— Антонеску нам головы поснимает!..

Теперь гарманештцы все повернулись к полковнику Демину. По лицам крестьян он понял, что их волнует. Улыбнулся:

— За нашей помощью дело не станет, товарищи! Разгромим гитлеровцев и армию вашего Антонеску — разве это не помощь? Красная Армия пойдет только вперед, будет воевать до полного уничтожения фашизма!

Мукершану быстро перевел его слова. Один древний старик — это был конюх Ион — подковылял к Демину, обнял начальника политотдела и уколол его щеку седыми усами, пахнущими табаком и мамалыгой.

— Внука... внука моего убил он, Антонеску проклятый... — прошепелявил старик и часто заморгал мутными слезившимися глазами.

Между тем Мукершану продолжал:

— Товарищи! В бескорыстной помощи русских мы не можем, не имеем права сомневаться. Им, русским людям, наш народ обязан своим национальным возрождением. Дружба русского и румынского народов своими корнями уходит в далекое историческое прошлое. Румынская земля не раз была полита русской кровью во имя братской помощи нашему веками угнетаемому народу. В трудные времена своей жизни румынский народ находил поддержку у русского народа. Благодаря этой поддержке в 1859 году удалось объединить румынские земли в единое государство.

Мукершану шагнул вперед и высоко поднял правую руку, как бы призывая к вниманию, хотя и так все слушали его внимательно.

— А в 1877 году русские помогли нам изгнать турок. Они, русские солдаты, такие же крестьяне, как вы, рука об руку боролись вместе с румынскими солдатами и своей кровью завоевали независимость Румынии. До сих пор есть еще живые свидетели тех славных дел. Есть такой и в Гарманешти. Вот дедушка Ион. Ему девяносто лет.—

Мукершану быстро подошел к старому конюху, положил руки на его острые, узкие плечи. — А ну-ка расскажи нам, дедушка, как ты вместе с русскими турок бил в семьдесят седьмом. — Мукершану улыбнулся и вдруг, к немалому удивлению гарманештцев, запел озорным, задорным голосом:

Плевна вся огнем горит,
Ох, аман, аман!

Старый солдат встрепенулся. Тусклые глаза его оживились. Крякнул, покрутил седенькие усы и старческим скрипучим голосом подхватил:

Там Осман-паша дрожит,
Ох, аман, аман!

Лист бессмертника цветет,
Ох, аман, аман!

Мукершану приглушил свой голос, чтобы люди могли слышать старого воина.

Турка в Плевне страх берет,
Ох, аман, аман!

Плевна вся горит огнем,
Ох, аман, аман!

Войско русское кругом,
Ох, аман, аман!

После этих слов Ион на минуту смолк, глянул, счастливый, на полковника Демина, на подошедших разведчиков и запел погромче, покраснев от натуги:

На коня залез Осман,
Ох, аман, аман!

Турок все кричит: «Аман,
Ох, аман, аман!»

«Ох, аман,— сказал Осман,—
Ох, аман, аман!»

Турок в страхе штурма ждет,
Ох, аман, аман!

Зуб на зуб не попадет,
Ох, аман, аман!

Русский Плевну с боя взял,
Ох, аман, аман!

В плен Осман-паша попал,
Ох, аман, аман!

Крестьяне весело переглядывались и подпевали древнему Иону. Замолчав и подождав, когда крестьяне утихли, Ион начал:

— Служил я тогда в четырнадцатом пехотном полку,— давайте-ка присядем, ноги мои слабые стали... Да, в четырнадцатом, значит. Три месяца стояли под самой Плевной. Зима в тот год — ох, лютая выдалась. В окопах многие померзли в ожидании, а Османа все нет и нет. Потом мы сами налетели на турок — и началось! — Ион заерзал на бревне, глаза его вновь оживились. — Рукопашная завязалась. А к туркам вдруг — подмога. Если б не русские, пропали бы мы: ведь к концу-то войны, помню, винтовок у нас уж не было, провианта не было, одежды нехватало. А морозы-то, я говорю, стояли страшные...

Подумав, старый воин закончил:

— С русскими, как с родными, обнимались, делили все пополам: и горести и радости. Да... Сдался тогда Осман-паша! Шесть лет я отмотал в армии, а вернулся — опять конюхом стал у Штенбергов. В этом-то деле, значит, ничего не изменилось... Ну, да ладно! — заторопился старик. — Теперь вот, может, изменится! Похоже на то!— Дед бойко встал на ноги и подошел к Пинчуку, который уже давно приблизился, силясь понять рассказ старика. Они, не сговариваясь, обнялись и троекратно, по-мужски поцеловались — два мудрых солдата.

— Правильно, дедушка, — улыбаясь, сказал ему Мукершану, — изменится. Обязательно! Ведь и сами русские у себя очень многое изменили. Пример нам дали! Спасибо за рассказ!

Мукершану вернулся на свое прежнее место и, как бы продолжая правдивую повесть старого воина, стал рассказывать о том, как во время первой мировой войны Румыния сохранила свою национальную самостоятельность опять-таки с русской помощью!

— Только отъявленные негодяи и сволочи, только враги румынского народа могли забыть и растоптать эти исторические факты! Что ему, Антонеску, интересы народа! — воскликнул Мукершану. — Он еще в 1907 году с неслыханной жестокостью подавлял крестьянские восстания. Многие помнят эту кровавую расправу. Вон Суин,— оратор показал на Корнеску, который стоял ря-

дом с полковником Деминым,— он сам на своей спине испробовал полицейских нагаек.

Корнеску мрачно кивнул головой. Мукершану напомнил о том, что руки Антонеску обагрены кровью не только румын, но и других народов. В 1919 году он, как опытный и хладнокровный палач, участвовал в свержении советской власти в Венгрии. В 1941 году он ввязал страну в безумную войну против советского народа — великого и могучего друга румын.

— Так можно ли, товарищи, ну, подумайте сами, можно ли дальше терпеть этого проклятого палача у власти?! — закончил Николае.

Крестьяне разом заговорили. Суин Корнеску задрал рубаху и показывал стоявшим рядом с ним односельчанам рубцы на своей спине. Александру Бокулей что-то сердито шептал, шевеля потрескавшимися губами. Его сосед сжимал и разжимал толстые, искривленные тяжелой работой пальцы.

— Что нам делать, скажи? — спросил кто-то из толпы.

Мукершану стремительно повернул голову в сторону спрашивавшего, сразу же начал, словно давно уже ожидал этого вопроса:

— Что делать? Нам надо объединить свои усилия. Только в сплочении — наше спасение и наша победа, товарищи! Сегодня, в день 1 Мая, мы уже одержали одну большую историческую победу. Центральный Комитет нашей партии сообщил мне, что достигнуто соглашение об объединении социал-демократов и коммунистов в один общий Демократический фронт, который ставит своей целью свержение ненавистного режима Антонеску. Многие из вас являются членами «Земледельческого фронта», многие сочувствуют ему. Надо, чтобы и эта организация примкнула к Демократическому фронту, и тогда этот фронт — фронт народа — будет непобедим!— Мукершану немного помолчал, потом громко заключил: — Мы одержим победу! Да здравствует Красная Армия — освободительница! Да здравствует народная Румыния!

Дружный одобрительный гул прокатился по толпе.

После Мукершану стал говорить Корнеску, заверивший коммунистов, что «Фронтул Плугарилор» поддержит их славную борьбу.

Захваченные словами ораторов, люди не заметили, как во дворе появился Патрану. Он обратился к Мукершану, но так, чтобы слышали все:

— Умную речь вы сейчас сказали, Николае. Я еще мальчишкой помню вас — такой разумный, смышленый был малец. Вот и теперь... Только, Николае, как бы опять это... самое. Как бы кровопролития снова не было... Может, через короля все это? А? Может, оно и лучше бы все получилось, по-мирному! Ведь король — он глава всему!

— Нет, уж лучше без короля! — коротко бросил Мукершану.

— Гляди, тебе виднее,— пробормотал Патрану, неожиданно перейдя на «ты».— Я ведь всем добра хочу, — и он смолк, присмирел нахохлившись.

Крестьяне не расходились до позднего вечера. Речи ораторов в одних будили безотчетную тревогу, ощущение чего-то непривычного, нарушающего веками установившийся порядок вещей, а потому и опасного; в других — желание что-то немедленно предпринять, действовать; в третьих — и таких было большинство — беспокойную и робкую тень надежды, предчувствие какого-то небывалого праздника. Эти, последние, долго не отходили от Мукершану и полковника Демина, засыпая их бесконечными вопросами.

Мукершану терпеливо и даже с радостью отвечал на них. Он, пожалуй, больше всех сейчас понимал и чувствовал, что в окружающих его измученных жизнью людях пробуждается и ищет выхода давно дремлющая, придавленная темнотой и страхом могучая сила и что приход Красной Армии в Румынию явится тем толчком, который заставит эту силу вырваться наружу и смести с лица земли все то, что мешает простым людям свободно дышать и жить человеческой жизнью.

Крестьяне уходили со двора Корнеску удовлетворенные, со смутной, но уже родившейся и жившей в них верой в свои силы и оттого гордые и счастливые. Может быть, уже в тот день забитые эти люди, пусть не совсем ясно, но уже видели перед собой путь к новой жизни и себя хозяевами этой жизни.

Уходили, забыв накрыть головы шапками. Как сняли их там, во дворе, так и держали до сих пор в черных, узловатых руках. Ночью во многих домах пели скрипки

и рожки: крестьяне отмечали праздник 1 Мая — впервые открыто, свободно. Пили цуйку, плясали, до рассвета по селу разливались звуки родной дойны [1].

5

Полковник Демин, вернувшись к себе, долго ходил по землянке, взволнованный не меньше румын. Задумчивые складки легли на его большом выпуклом лбу. Демин старался мысленно проникнуть в события, которые разворачивались на его глазах; он понимал, что это — события величайшей исторической значимости. Ему было ясно, что люди, с которыми он провел целый день, уже больше не станут безропотно служить капиталистам и не станут главным образом потому, что встретились с людьми из совершенно иного мира.

Полковник хотел пройти в блиндаж командира дивизии, поделиться с генералом охватившими его большими чувствами, но раздался телефонный звонок и отвлек его. Звонили из медсанбата. Врач сообщал, что туда доставлен тяжело раненный разведчик, он наотрез отказывается эвакуироваться в госпиталь, просит свидания с начальником политотдела, уверяет, что знаком с полковником Деминым и хочет его немедленно увидеть.

— Вообще странный какой-то солдат, — закончил начсандив.

— Как его фамилия? — спросил Демин.

— Камушкин.

— Камушкин? Комсорг разведчиков? Когда ранен?

— Два часа тому назад. Возвращался с ответственного задания, добыл, говорят, интересные сведения, и вот...

Полковник взглянул на циферблат: стрелки показывали два часа ночи.

— Состояние?

— Опасное.

— Сейчас буду.

Вася Камушкин родился в ту студеную зиму, когда молодая Советская республика прощалась со своим вождем — Владимиром Ильичем Лениным. Если бы

---

[1] Румынская национальная песня.

мальчик, качавшийся под бревенчатым потолком в своей зыбке, мог тогда глядеть, то увидел бы в родной своей хате много взрослых людей — мужчин и женщин. Они непрерывно приходили и уходили. Дверь, не переставая, хлопала, холодный пар врывался в дом. Печальная мать кутала Васю в теплые одеяльца, боялась простудить. Люди говорили тихо, будто совершая какое-то таинство. Многие из них всхлипывали не стесняясь. А мальчик безмятежно дремал на руках матери, взявшей его из зыбки покормить, и не знал, что с молоком ее он как бы уже впитывал в себя все то, что завещал человек, смерть которого оплакивал весь мир в ту лютую и трагическую январскую стужу. Мать прижимала Васю к своей груди. Спи, малютка! Пусть великое горе не касается твоего крохотного сердца. Вырастешь — все поймешь и узнаешь, а в лихие годы окрепшими руками поднимешь знамя с образом Ленина и понесешь его сквозь огонь вперед, по родной стране и далеко за ее рубежи. А пока спи...

Вася рос вместе со своей юной республикой. Он помнит, как его старшая сестра, Ленушка, прочла ему рассказ о Володе Ульянове, мальчике, которому суждено было стать вождем всего человечества. Вася заставлял сестру читать этот рассказ дважды и трижды и незаметно для себя заучил его наизусть. Однажды он вернулся с улицы и, сияющий, встал у порога. На его груди пламенел красный галстук. И алее галстука горели васины щеки. Ленушка, увидев брата, радостно засмеялась, звонко крикнула:

— Будь готов!

— Всегда готов!

А годы шли да шли.

Вася в группе товарищей и подруг — студентов художественного училища, таких же юных, здоровых жизнерадостных и, понятно, озорных — шел в райком комсомола за получением комсомольского билета. В райкоме ему задали один лишь вопрос, хотя Вася был совершенно уверен, что его будут спрашивать не меньше часа и обязательно «зашьют». Но его только спросили:

— Задача комсомольца?

— Быть всегда впереди, любить Советскую Родину и защищать ее до последней капли крови! — звонким, срывающимся голосом ответил он и робко посмотрел на

человека в черной, военного покроя, гимнастерке. Тот встретил его взгляд улыбкой.

— Правильно! — и протянул Камушкину маленькую книжечку.

Вася взял ее, прочел: «Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи», затем мысленно сократил слова, соединил начальные буквы этих слов вместе, получилось: «ВЛКСМ». Долго смотрел на ленинский силуэт, чувствуя, как сердце буйно гонит по жилам молодую горячую кровь. Силуэт оживал, перед встревоженным волнением взором парня вставал ленинский образ и слышались слова:

— Будь готов!

И сердце отвечало:

— Всегда готов!

Впрочем, Вася был уже не пионером, а комсомольцем.

— Ленушка!

Сестра обняла брата и поцеловала.

А на другой день, с походными сумками за плечами, он и Ленушка снова шли в райком комсомола, чтобы прямо оттуда отправиться на фронт.

Вслед за ними прибежала мать.

— Вася, сынок мой!.. Ты еще так молод!..

В ответ она увидела упрямую складку меж красиво взлетавших над ясными спокойными глазами бровей сына, решимость на его веснушчатом лице.

— Мама, я — комсомолец.

И сразу поняла старая, что этим сказано все и что уже нельзя остановить его. С вокзала уходила печальная и гордая. А из красных товарных вагонов неслось:

Уходили, расставались,
Покидая тихий край.
«Ты мне что-нибудь, родная,
На прощанье пожелай...»

Мать остановилась, подняла голову. Ветер волновал седые ее волосы. Прошептала, глотая слезы:

— Благословляю... вас!

А осенью 1941 года уже дважды раненный и все-таки не покинувший поля боя комсорг Камушкин услышал и другое благословение:

«— Пусть осенит вас победоносное знамя великого Ленина!»

В тот день немцы еще трижды пытались прорваться через наши рубежи, но так и не смогли. Вечером комиссар полка лично обходил все окопы и благодарил героев. Он особенно долго тряс руку комсорга третьей роты Васи Камушкина. Потом, пристально взглянув в смелые открытые глаза, в веснушчатое лицо парня, спросил:

— Какого года рождения?

— Двадцать четвертого, — ответил Вася и увидел, как лицо комиссара вдруг оживилось.

— В тот год, значит, когда я вступил в партию... по ленинскому призыву, — задумчиво произнес он и неожиданно попросил:

— Дайте ваш комсомольский билет.

Камушкин подал.

Комиссар, а вслед за ним и Вася долго вглядывались в силуэт Ленина, и каждый вспоминал свое: Камушкин — тот день, когда его принимали в комсомол, а маленький большеголовый комиссар... Что же вспоминал он? И почему потемнело его такое спокойное до этой минуты и светлое лицо? Может быть, перед ним встала далекая студеная и скорбная зима, когда над всей страной плыли звуки траурных мелодий и током высочайшего напряжения проходили через людские сердца слова Великой клятвы?

Вернул Камушкину билет и, почти не пригибаясь, быстро пошел по траншее. Вася глядел в широкую плотную спину комиссара, а видел своего отца, убитого кулаками в дни коллективизации...

Так встретился Вася Камушкин с полковником Деминым. И сейчас, после тяжелой операции, когда из него извлекли четыре осколка, комсорг почему-то вспомнил об этой встрече и попросил передать начальнику политотдела, что очень хочет его увидеть.

Демин приехал.

Вася хотел было приподняться, но полковник быстро остановил его.

— Тебе нельзя, — и поправил под головой солдата подушку. — Ну, как дела, орел? Царапнуло? Ничего, ничего! — проговорил начподив с ласковой шутливостью в голосе.

— Не о том я... — тихо сказал Камушкин, хватаясь за грудь. — Горит всё...

— Ладно, помолчим...

— Нет... я должен сказать вам... — комсорг вдруг вытянулся, уперся ногами в стенку.— Хочу попросить вас... оставить меня на комсомольской работе... — Он чувствовал, что теряет силы, и торопился: — Я вступил в партию, но не хочу расставаться с комсомольским билетом... Помните, товарищ полковник, ту зиму... под Москвой?.. Ну, вот... Пусть в моем кармане будут лежать оба билета: партийный и комсомольский, как родные, — отец и сын. Скажете Шахаеву?..

— Обязательно скажу.

— Вот и хорошо... ведь правда, хорошо?.. И капитану Крупицыну скажите...

— Нет Крупицына... Погиб он. Разве ты забыл?

— Неправда!.. Капитан жив... и я, и Алеша Мальцев — все живы!.. Все!..

Минутой позже Камушкин потерял сознание. Демин вызвал врача.

— Проверьте мою кровь!

— Зачем, товарищ полковник? — удивился врач. — Разве у нас нет доноров?

— Ну, быстро! — резко сказал Демин.

Из медсанбата он возвращался уже утром, ослабевший немного, но бесконечно счастливый. Всю дорогу до Гарманешти он думал о комсорге Камушкине. «Каких чудесных сынов посылает Родина сюда, в чужие страны, своими знаменосцами!»

Полный гордого чувства, вернулся он в свою землянку.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

1

Доклад начальника штаба подходил к концу. Стоя у большой карты, с которой была сдернута занавеска, начштаба говорил против обыкновения громко и уверенно: ему казалось, что на этот раз он сообщает командующему важные сведения. Наконец-то удалось выяснить, что за противник стоит против их корпуса. Правда, сведения эти получены не от своей разведки, а из штаба немецкого генерал-полковника Фриснера, но об этом можно умолчать. Нельзя же докладывать Рупеску, что все попытки румынских разведчиков проникнуть в окопы неприятеля кончались неудачей...

— Ну, идите, полковник! — сказал корпусной генерал своему начальнику штаба. — Разведку вести непрерывно — это сейчас главное, — и когда тот скрылся за дверью, обернулся к Раковичану, смиренно сидевшему в дальнем углу землянки и в который уж раз перечитывавшему советскую листовку с первомайским приказом. — Каково, полковник?.. Русские говорят: «Не так страшен чорт, как его малюют». Я мог бы применить эту пословицу по отношению к генералу Сизову с его дивизией, если б остался в том возрасте, когда людям свойственна излишняя самоуверенность. Сизов — опасный противник...

— Совершенно верно, генерал! — быстро поддержал Раковичану, выходя из темного угла. — В тоне вашего начштаба нетрудно было уловить нотки этой самоуверенности, которая, пожалуй, покинула уже самого Гитлера. И я очень рад, что вы не разделяете излишней оптимистичности вашего помощника. Сизов — очень опасный противник, и то, что он с хода не смог овладеть укреплениями, не должно изменить нашего мнения о нем. Начальнику штаба, повидимому, не все известно. Он повторял лишь то, что сказано в разведсводке, разосланной штабом генерал-полковника Фриснера. А в сводке этой, по вполне понятной причине, не указано, что дивизия, которой командует господин Сизов, обороняла Сталинград, что она пленила одного из самых блестящих наших генералов — командира первой кавалерийской румынской дивизии Братеску, с которым, кстати, я имел честь познакомиться еще задолго до войны, когда генерал Братеску был на дипломатическом поприще. Я не думаю вас запугивать — боже упаси! — но трезво оценивать силы врага всегда полезно, о чем следовало бы помнить вашему уважаемому начальнику штаба. Он корчит из себя Наполеона, хотя глуп, как вот эта пробка, — Раковичану с силой рванул штопор, и бутылочная пробка со звонким хлопком вылетела из горлышка.

Рупеску был немало удивлен этой странной для представителя верховного командования речью.

— Русские не пройдут, они падут здесь костьми. Это, кажется, ваше утверждение?

— Мое. Я и теперь могу его повторить, если вам угодно... — Раковичану замолчал, очевидно испытывая некоторое замешательство и быстро придумывая подходящий выход из неловкого положения. — Да, я мог бы

подтвердить это и сейчас, если б нас с вами окружало поменьше глупцов, вроде вашего начальника штаба... Кстати, генерал, я хотел бы порекомендовать вам на эту должность одного толкового офицера. Но... ладно... об этот потом!.. — Полковник налил себе коньяку и медленно выпил. Помолчал, о чем-то размышляя. — Политическая обстановка в стране значительно ухудшилась, генерал. Мы с вами уже успели убедиться в этом. Коммунисты обнаглели, они действуют почти в открытую. Им удалось объединиться с социал-демократами в один так называемый Демократический фронт. Вероятно, к ним присоединится и Земледельческий союз. Круги, к которым я принадлежу, оценивают этот факт как весьма печальный. При первом же серьезном ударе русских правительство маршала Антонеску может полететь вверх тормашками. И мы должны заранее подготовиться к этому нежелательному для нас, но вполне вероятному варианту... Что вы думаете о... генерале Санатеску? Не является ли он подходящей фигурой?

— Фигурой?

— Именно. Нам нужны сейчас только фигуры. Подходящие, разумеется. Так как же вы полагаете, Санатеску подойдет?

— Вполне. Я служил под командованием его превосходительства. Это — наш!

— Продолжайте, генерал!

— Более яркого ненавистника русских трудно найти...

— Ну, это мне известно, — Раковичану усмехнулся.— Он когда-то помог мне скоординировать кое-какие операции в Одессе и в Южной Украине... Не сможет ли он продержаться хоть немного у власти?

— Думаю, что сможет. Санатеску тщательно скрывает свою ненависть к русским. Более того, он разыгрывает из себя оппозиционера...

— Ну, нам это только наруку! — обрадовался полковник, быстро наполняя теперь уже обе рюмки. — Выпьем, генерал, за Санатеску!

— За его превосходительство выпью с удовольствием!

Чокнулись. Выпили. Долго молчали.

— Россия!..— раскрасневшись не то от коньяка, не то от поднимавшейся в груди мутной, давящей злобы, заговорил, наконец, Раковичану.— Чорт бы ее побрал!..

Вот вчера нашему трибуналу опять пришлось расстрелять одного солдата. Знаете, генерал, о чем разглагольствовал этот негодяй? Только, мол, Россия поддерживала румын в их освободительной борьбе!

— К сожалению, он прав, этот красный хам,— мрачно выдохнул Рупеску, вытирая платком вспотевшую вдруг толстую шею. — И это страшно, когда солдаты начинают интересоваться историей. А история — в пользу русских, что сейчас широко используется коммунистами в их пропаганде... Тудор Владимиреску, например, боролся против турецкого владычества бок о бок с русскими. А в русско-турецкой войне 1828—1829 годов принимали участие два румынских полка под командованием полковника Соломона... Потом семьдесят седьмой год... Вон когда началось это роковое для нас единение! — генерал выпил еще рюмку коньяку, желая, очевидно, хоть немного охмелеть: только в таком состоянии положение дел не казалось ему слишком мрачным. Но хмель почему-то не брал его. И он продолжал все тем же унылым тоном: — Я не сказал вам, мой милый полковник, еще об одной неприятности. Сформирована из румын, представьте себе, добровольческая дивизия и названа именем бунтаря Тудора Владимиреску. Сейчас она дислоцирована недалеко отсюда, где-то чуть севернее Пашкан, готовая воевать против нас...

— Пустяки! — поспешил успокоить генерала Раковичану. — Знаю. Хотя нелишне и там иметь своих людей. Надо нам позаботиться об этом. И вообще, генерал, мы должны максимально активизировать свою деятельность в этом направлении, особенно в связи вот с этим, — полковник потряс листовкой.— Главное — всеми силами и средствами возбуждать у румын ненависть к русским. Вместе с этим беспощадно расправляться с теми, кто сочувствует русской армии и помогает ей... Ваш бывший адъютант, генерал, оказался несостоятельным и в этом чрезвычайно важном для нас деле. Он до сих пор не выполнил нашего задания...

— Трудно перейти передний край русских. Русские с непостижимой быстротой создали свою оборону с густой сетью траншей и окопов, с колючей проволокой, минными полями и с отлично организованным боевым охранением, — словно извиняясь за молодого Штенберга, проговорил Рупеску.

— Ладно, скажите ему, что перебросим на самолете ночью. Пусть готовится. И не только он. И святой отец тоже. Попу крестьяне верят больше. Пусть читает свои проповеди там, а тут мы можем закапывать солдат в землю и без его пения. Да предупредите его, что в случае невыполнения нашего приказа он сам пойдет туда, «где нет ни радости, ни печали...» [1] — незаметно полковник перешел на тон приказа, к чему уже давно привык корпусной генерал. — И вообще, господин Рупеску, ваш бывший адъютантик наделал нам много пакостей. Только его высокий титул и близость с королевским двором не позволяют нам швырнуть его в штурмовой батальон в качестве рядового... Вот вся эта романтическая история с его возлюбленной... Девчонка, повидимому, рассказала о нашем расположении, и мы должны подумать о том, чтобы перенести свой командный пункт в другое место. Да и разведчики генерала Сизова действуют преотлично... Скольких уже офицеров они перетаскали и из вашего корпуса?

— Эти опасения сильно преувеличены. Василика глупа и вряд ли может толком рассказать что-либо русским, — уклонился Рупеску от прямого ответа.

— Как бы она не оказалась умнее нас с вами, — глухо пробормотал обозленный Раковичану и вдруг заговорил опять о том, что, видимо, больше всего волновало и тревожило его. — Майский приказ Сталина, господин генерал, — это пренеприятнейший для нас документ. И нам нужно принять решительные меры, чтобы парализовать его губительное действие. Во все пункты должны быть посланы наши агитаторы. Поднять на ноги бояр, богатых крестьян, жандармов, лавочников, примарей — всех, кому стало неуютно жить с приходом русских... Пусть поймут, что речь идет об их существовании. И этим операциям, генерал, вы должны уделять столько же внимания, как и боевым. Если не больше. Я сегодня покину ваш штаб. Меня ждут другие дела, более важные, там, в Бухаресте, и напоследок, как ваш искренний и преданный друг, хотел бы предупредить вас вот о чем: русских трудно выбить из захваченных ими позиций. И, пожалуй, совсем невозможно вышибить их из голов так называе-

---

[1] Слова взяты из молитвы, которую читают румынские священники при похоронах солдат.

мых простых людей, если русские туда проникнут... Я хотел бы также предупредить вас, мой дорогой генерал, и о том, что именно по этим вашим делам круги, которые я представляю, будут судить, как велика и важна услуга, оказанная вами. Со всеми вытекающими отсюда последствиями, конечно. Надеюсь, вы поняли меня?

— Я вас понял! — взволнованно проговорил Рупеску, торжественно пожимая холодную ладонь своего собеседника.

— Вот и отлично! Ну, что ж, желаю вам успехов! До скорой встречи в... ставке генерала Санатеску!

Они еще раз многозначительно переглянулись и обнялись.

2

Жизнь разведчиков вошла в свое обычное русло. Армия готовилась к большим боям, и их чуть ли не каждый день посылали в поиск. Часть бойцов находилась все время на передовой, вела наблюдение за неприятелем, изучая его оборону. Разведчики несли потери. Тяжелое ранение комсорга было особенно удручающим событием для них. И вновь, как раньше, в дни тяжелых сражений, воскресла в памяти солдат и зазвучала их старая песня:

Закури, дорогой, закури.
Ведь сегодня до самой зари
Не приляжешь, уйдешь ты опять
В ночь глухую врага искать.
Ты к суровым походам привык,
Мой товарищ боец-фронтовик,
Вижу я по туману волос:
Много ты пережил, перенес.

Дивизия генерала Сизова продолжала стоять в обороне, совершенствуя свои позиции. В недалеком тылу шла боевая учеба пополнения. Там штурмовались доты, воздвигнутые по приказу командира дивизии, точь-в-точь такие же, как у противника, и расположенные в таком же шахматном порядке. Оттуда целыми днями доносились пушечные и минометные выстрелы, разрывы снарядов и мин, пулеметная трескотня, крики «ура»: пехота атаковала «вражеские позиции», следуя не за условным, а за настоящим огневым валом, для чего была специально вызвана батарея Гунько. Сам Гунько неизменно нахо-

дился на батарее и командовал огнем. По всему было видно, что он доволен. Он весело прикрикивал на своих молодцов.

— Первое!..

И Печкин, бывший наводчик, а теперь командир орудия, оставшийся в числе немногих невредимых после июльских боев на Донце, так же весело и задорно отвечал:

— Есть, первое!..

Наводил пушку тот самый маленький, щуплый пехотинец, которого Гунько задержал у своих позиций утром 5 июля 1943 года, — теперь один из самых храбрых и опытных бойцов на батарее. Гунько немного потолстел, но это нельзя было назвать полнотой, — он только как бы стал шире, «осадистей», как он сам шутил, еще увереннней и спокойней в движениях.

— Огонь!.. — командовал он все тем же свежим, отчетливым голосом, какой был у него там, на Донце, и артиллеристы, повинуясь этому голосу, быстро работали у орудия, действия их были точны, как бы заранее рассчитаны. Гунько так натренировал батарею, что огневой вал ложился впереди пехоты лишь настолько, чтобы осколки не задевали своих и чтобы подразумеваемому неприятелю за этим валом не было видно бегущих в атаку пехотинцев. Чувствовалось, что командир батареи употребил немало сил и умения, чтобы добиться этого, и что, добившись, наконец, испытывал большое одушевляющее удовлетворение.

Генерал Сизов, полковник Павлов и подполковник Тюлин, солдаты которого обучались, подолгу находились в районе учений. То, что делалось сейчас тут, для них было важнее всего.

— Хочу ночью вывести сюда второй батальон, товарищ генерал, — доложил Тюлин.

— Правильно, — одобрил Сизов, которому все больше нравился этот молодой, в свое время допускавший немало ошибок, командир полка. — Завтра поучите людей преодолевать минное поле.

— Слушаюсь!

— Только избегайте шаблона. Перед тем, как отдать приказ, больше думайте. А то вот был у меня на финском фронте такой горе-офицер, который при любых случаях отдавал один устный приказ: «Ворваться. Забро-

сать гранатами и с криками «За Родину!» — вперед!» Помнится, такой приказ он отдал солдатам, выделенным для борьбы с финскими «кукушками». Лозунг, как видите, у него был неплохой, а пользовался он им неумно. Можно ли, в самом деле, забросать гранатами «кукушку», которая укрывается на вершине ветвистой сосны?.. Конечно, нет. Разведчиков, уходящих в поиск, такой приказ мог бы, безусловно, погубить. Шаблон — вот не менее страшный второй наш противник. И с ним надо бороться самым решительным образом...

Генерал, казалось, нисколько не изменился со времени Курского сражения. Только голова его покрылась сединой да под черными, зоркими глазами легли чуть заметные полукружья мешков, не придававших, однако, его лицу старческой рыхлости.

Все усилия комдива были направлены на то, чтобы время, которое оставалось до наступления, употребить с максимальной пользой для войск. Для этого генерал не жалел ни своих сил, ни сил своих подчиненных.

3

Седьмого июня солдаты прочли в газетах «Сообщение штаба верховного командования экспедиционных сил союзников» о высадке англо-американских войск на северном побережье Франции. Сообщение было дано союзниками сенсационно. «...Мы вступаем в весьма серьезный период, и мы вступаем в него вместе с нашими великими союзниками с чистым сердцем и в доброй дружбе». По поводу этого патетического заявления маленький артиллерист из батареи Гунько, бывший пехотинец, заметил, свертывая папиросу:

— В «весьма серьезный период» им нужно было вступить пораньше. Поздновато они хватились. Мы и без их помощи, глядишь, дотопали бы до Ла-Манша. Карты у нас есть. И географию мы знаем неплохо. Так что ли, Ваня?

Ваня, замковый первого орудия, прочищая банником ствол пушки, не прерывая своего занятия, охотно согласился:

— Так.

Впрочем, к сообщению союзников скептически относились далеко не все советские солдаты. Большинство из них было настроено положительно и встретило откры-

тие второго фронта с радостью, полагая, что это приблизит час долгожданной победы. В те дни не многие знали о том, что значит «чистое сердце» союзников и что по своей «доброй дружбе» англо-американцы оттягивали открытие второго фронта с единственной целью — устранить как конкурента Германию, обескровить СССР, а затем стать господами положения.

А пока что маленький артиллерист был недоволен лишь одним — опозданием союзников. Он был глубоко убежден, как, впрочем, были убеждены в этом все наши солдаты, что Красная Армия управилась бы с немцами один на один.

— Ты как полагаешь, сержант, управились бы? — донимал он Печкина.

— Еще бы. Не в такое время управлялись!

— Во-во! — радостно перебивал Громовой. — А как ты думаешь насчет сроков?

«Насчет сроков» у Печкина с маленьким артиллеристом были расхождения. Первый все-таки полагал, что после открытия второго фронта дела с разгромом немцев пойдут быстрее.

— Нисколько! — горячо отстаивал свою точку зрения Громовой.

В поддержку своих доводов он приводил очень много убедительных, по его мнению, аргументов. Но когда и их оказалось недостаточно, призвал на помощь замкового — того самого солдата, к которому обращался первый раз. Но Ваня, продолжая орудовать банником, лишь промычал:

— Не мешайте вы мне...

Первые дни сообщения союзников о ходе операций на западном фронте интересовали наших солдат. Они следили по картам, отмечали продвижение англо-американских войск. Но потом бойцы совершенно охладели к этим сообщениям — и охладели по разным причинам. Одних, к числу которых принадлежал и бывший пехотинец, вовсе не устраивало медленное, «ярдовое», как иронически называли солдаты, продвижение союзных войск; другие ни черта не могли понять из (как будто нарочно запутанных) многословных сводок штаба верховного командования экспедиционных сил. Замковый Ваня, например, так и заявил, читая одно из сообщений:

— Филькина грамота. Разве тут что поймешь? Пу-

скай сами читают, кто их составлял. А мне время дорого. Орудие надо чистить...

— Правильно, Ваня! — одобрил бывший пехотинец, собираясь куда-то.

Учения кончились, и батарея стояла на отдыхе в одном километре от села Гарманешти. Поэтому Громовой решил проведать своего приятеля — разведчика Сеньку Ванина, с которым он подружился уже давно, должно быть, с той поры, когда впервые встретились по пути на Харьков в 1943 году.

— Разрешите, товарищ капитан? — попросил солдат, подчеркнуто произнося слово «капитан», — звание это Гунько получил совсем недавно.

Командир батареи разрешил.

В это время у разведчиков произошло такое событие. В «Советском богатыре», наконец, появилась сенькина статья с интригующим клишированным заголовком: «По вражьим тропам». Шахаев, по совету которого Ванин взялся за перо, немедленно провел громкую читку. Статья читалась в присутствии автора, который скромно умалчивал о том, что от его собственного стиля не осталось ровным счетом ничего, если не считать громкой подписи, которую редакция сохранила полностью. Напротив, Сенька настойчиво уверял всех, и особенно Акима, в том, что редакция не сократила и не изменила ни одной строчки в его тексте и что, надо полагать, из него, Ванина, в конце концов выйдет толк.

— Он, если и был, уже давно из тебя вышел, — съязвил Пинчук. — Наврал в своей статье целый короб; должно быть, у союзников научился врать-то. Это они только в своих сводках так брешут, — и, глядя на нововленного писателя с недоверием, спросил: — А заголовок тоже ты придумал?

Сенька хотел было ответить утвердительно, но решил, что этому, пожалуй, уж никто не поверит. Признался:

— Заголовок они сами сочинили. У меня был другой... А насчет вранья ты, Петр Тарасович, брось. Я шутить сам умею!

Никита Пилюгин смотрел на Ванина с нескрываемой завистью. Во время чтения статьи молчал. А потом не выдержал, заявил:

— Не его это статья. И никакой он не автор! — Слово «автор» больше всего возбуждало в Никите зависть, хотя он и не знал, что это слово означает.

Оскорбленный «автор» требовал возмездия для Пилюгина, обозвал Никиту страшным словом «клеветник». Спорщиков несколько утихомирил Шахаев. Но Ванин все-таки не остался в долгу у Никиты. Он немедленно рассказал разведчикам историю с никитиным отцом, о котором как-то в минуту откровенности поведал Сеньке сам Никита. История эта следующая:

В хлев Пилюгиных глухой зимней ночью забрался волк и порезал всех овец. Обнаружив это несчастье, никитина мать обрушилась на мужа с такой бранью, что тот вынужден был спасаться бегством к соседу своему, Патрикею. Но оказалось, что и у соседа та же беда: волк зарезал и у него двух овечек. Вместо того, чтобы посочувствовать ему в горе и поделиться своим, никитин отец страшно обрадовался и бегом помчался домой. Прямо с порога он крикнул своей жене: «Не реви, дура!.. Чай, не у нас одних, у Патрикея тоже!»

— Я тебе говорил, Никита, что и ты в батюшку своего удался, — заметил Ванин в конце своего рассказа.

Сенька, очевидно, еще долго отчитывал бы своего обидчика, если б не увидел входившего во двор бывшего пехотинца: при посторонних браниться не хотелось — это было бы не в правилах разведчиков, превыше всего ставивших честь своего подразделения и ревниво оберегавших ее. Приятели потолковали вволю, а когда артиллерист, разжившись у Ванина закуркой, ушел, Сенька заговорил, присаживаясь рядом с Пилюгиным на Кузьмичевой повозке:

— Нет, Никита, я — автор. Самый что ни на есть настоящий автор! И кто знает: может, когда и писателем стану, буду ро́маны писать, как Лев Толстой. А что ты думаешь? — заторопился Сенька, перехватив недоверчивый взгляд Пилюгина. — Захочу, вот и стану писателем. Человек, он все сможет, коль захочет. Вот, например, сказать про тебя: захочешь стать настоящим разведчиком — и станешь. На один уровень со мной подымешься. Понял?.. Впрочем, вряд ли. И насчет писателя, конечно, я того, хватил лишку,— продолжал Сенька уже с едва уловимой грустью.— Для этого тонкость в голове нужна. А у меня нет такой тонкости. Вот у Акима — у того полу-

чится. В общем, учиться нужно нам с тобой, Никита, вот что я тебе скажу, — подытожил Ванин с неожиданной серьезностью и, приподнявшись, соскочил с повозки. Подумав, сообщил: — Пойду соберу своих ребят, потолкую с ними.

— О чем это? — удивился Никита.

— Знаю — о чем.

— А все-таки?

— Может, о международной обстановке вопрос засвечу. Ишь ты, какой любопытный! Приходи в мое отделение, послушаешь, — и ушел, оставив Никиту в недоумении.

4

Аким Ерофеенко вот уже несколько минут находился в блиндаже начальника политотдела. Демин вызвал разведчика, чтобы сообщить о намерении командования послать его, Акима, на курсы политработников. До прихода Ерофеенко Демин был уверен, что Аким охотно согласится поехать на эти курсы. Однако полковник ошибся. Спокойно выслушав сообщение начподива, Аким попросил:

— Разрешите, товарищ полковник?

— Пожалуйста, говорите. Я вас слушаю.

— Если можно, оставьте меня у разведчиков.

— Почему? — Демин даже привстал из-за стола. — Вы человек грамотный. Теперь вот вступили в партию. Из вас хороший политработник выйдет.

— Возможно, товарищ полковник, политработник выйдет из меня и неплохой. Но я прошу, очень прошу, товарищ полковник, не посылать меня. — Аким спокойно глядел на Демина.

— Да почему же? — еще более удивился начподив, пристально всматриваясь в худощавое, умное лицо этого странного солдата. — Должны же вы расти, в конце концов!

— Все это так, но я прошу...

— Однако же упрямый ты, братец мой, — перейдя на «ты», улыбнулся Демин.

— Я ж — хохол, товарищ полковник.

— Ну, ладно. Но, может быть, ты все-таки скажешь о причине своего отказа. Ведь есть же какая-нибудь причина?

— Разумеется. Но боюсь, что мне, собственно, трудно будет сказать о ней.

— А ты все-таки попробуй. Глядишь, и получится.

— Видите ли, товарищ полковник, — начал Аким задумчиво. — Я хочу... Понимаете, я хочу закончить эту войну... как бы вам сказать... непосредственно, своими руками, знаете ли... Остаться до конца солдатом...

— Ну, ну! — поощрил Демин, видя замешательство Акима.

— Вот вчера я разговаривал с одним румыном. Учителем работает в Гарманешти. Узнав о том, что я интеллигент, он удивился: «И вы — рядовой солдат?» — «Рядовой, — говорю, — что ж тут такого? У нас есть рядовые и поученее меня». — «Как же так? — удивляется румын еще больше. — У нас, — говорит, — такие, как вы, все по штабам да по канцеляриям сидят. Могли же вы писарем хотя бы стать». — «Мог бы,— отвечаю ему.— У нас,— говорю, — каждый второй солдат может писарскую службу нести...» — Вы, товарищ полковник, удивляетесь, к чему, собственно, это мое сообщение?

Демин улыбнулся.

— Нет. Продолжайте.

— И кто же, спрашиваю я этого румына, воевать станет, если все эти солдаты подадутся в писаря? Смеется. «Не понимаю», — говорит. А тут, собственно, и понимать-то особенно нечего. Со временем у нас в стране все станут интеллигентами. Так что же, выходит, в окопах и сидеть некому будет. Ведь Родину придется нам еще защищать и, может быть, не раз...

— Понимаю. — Демин подошел к Акиму и положил свою руку на его острое, худое плечо. — Мечтатель ты, однако, Ерофеенко, мечтатель... А впрочем, я не настаиваю. Можешь оставаться у разведчиков. Только знаешь, ефрейтор, ты не все сказал. Ей-богу, не все. Лучше уж говори до конца, а то сам за тебя скажу. Ты все еще думаешь о том случае с предателем Володиным? Так ведь?

— Это правда, товарищ полковник. — Аким вздохнул, потрогал очки. — Думал о нем. Мне все еще кажется, что я в неоплатном долгу перед ротой, перед своими товарищами солдатами.

— Ну, это ты зря...

Договорить Демину помешал ординарец. Он вошел с улицы и доложил:

— К вам — румын, товарищ полковник.

— Хорошо, зовите. Ну что ж, Ерофеенко, отложим наш разговор до другого раза. До свиданья!

Аким вышел. Через минуту в блиндаж протиснулась широкая плотная фигура Мукершану, который уже несколько месяцев находился в Гарманешти.

— Пришел с вами проститься, Федор Николаевич! — тщательно произнес он имя и отчество Демина, точно радуясь, что может произносить их правильно.

— Очень рад вас видеть, товарищ Мукершану. Садитесь, пожалуйста! — быстро пригласил начальник политотдела, протягивая навстречу Мукершану обе руки. На щеках Демина выступил румянец, очень красивший его лицо, и это оттого, что он не успел убрать вместе с бумагами фотографию жены и сына, на которую сейчас — Демин видел это — посмотрел Мукершану долго и внимательно, даже, как показалось полковнику, с тоской и скрытой завистью.

Мукершану понял смущение Демина и то, отчего оно произошло. Теперь Николае уже сам не мог удержаться, чтобы не спросить:

— Жена? — он показал на снимок, с которого прямо на них смотрела молодая женщина с очень строгим и вместе с тем очень простым лицом, освещенным большими спокойными глазами. На руках она держала сына, круглое личико которого ничего не выражало, кроме того, что должно было выражать лицо ребенка, — удивленно-наивной радости и тщетного желания понять, что делается вокруг и для чего все это.

— Жена и сын, — ответил полковник по возможности спокойно.

Мукершану теперь сам смутился и поспешил перейти к делу:

— Центральный Комитет посылает меня в Бухарест. Там формируются рабочие дружины для защиты столицы от гитлеровцев и для свержения фашистского режима Антонеску.

— Желаю вам удачи, товарищ Мукершану. Помните, что Красная Армия не оставит вас, придет к вам на помощь!

— Спасибо, Федор Николаевич! — Мукершану крепко сжал в своих рабочих ладонях маленькую энергичную и твердую руку Демина. — Мы держим экзамен перед

вами, перед своими старшими товарищами, пришедшими к нам на помощь!

Мукершану хотел сказать что-то более сильное, но волнение помешало ему. Он замолчал, порывисто обнял Демина, и они крепко поцеловались.

— Спасибо за все, за все!..

— Желаю удачи!.. — повторил Демин. — В селе, должно быть, вы неплохо поработали. Крестьяне, надо полагать, многое поняли?

Мукершану задумался, лицо его потемнело. Заговорил глухо:

— Поняли, конечно, кое-что. Но, к сожалению, далеко не все, — он поморщился, признался с какой-то беспощадной для себя решимостью: — Тут и я допустил ошибку: больше митинговал. А нужно было говорить с каждым в отдельности. А вот что теперь у людей на душе — не знаю. Что ж, будем учиться. Борьба только начинается. До свидания, Федор Николаевич!

Полковник, как и в тот вечер после первой их встречи, долго прислушивался к твердым, медленно угасавшим шагам удаляющегося от него человека.

— Счастливого пути, товарищ! — тихо, про себя, проговорил начподив.

«Мне положение казалось куда лучше, — подумал он. — А оно вон, оказывается, как!» Потом достал политдонесение, заготовленное инструктором. Стал читать, недовольно морщась. «Вот развез! — мысленно ругал он инструктора. — Преамбула на целую страницу. А кому она нужна, это преамбула?» Позвал ординарца.

— Верните это Новикову, пусть сократит на три четверти!

«Ну же и писучий, дьявол!.. А что, если в донесении сообщить разговор с Ерофеенко?.. Любопытные, оригинальные мысли у этого солдата. И — все сложно, интересно», — Демин вынул блокнот и стал торопливо что-то записывать в него.

Мукершану по узкому деревянному настилу, под которым где-то далеко внизу плескалась вода, перешел через овраг, разделявший село на две неравные части, поднялся на гору и зашагал по узкой аллее, между густых зарослей черемухи и одичавшей вишни. Ночь

была безлунная, теплая и немножко душная, как бывает перед дождем. Слева, в кустах, звонко щелкала и свистала какая-то, должно быть, совсем крохотная птичка. Мукершану остановился и, улыбаясь, попытался изобразить свист и щелканье пичуги. Но у него ничего не получилось. Радуясь озорному птичьему веселью, Мукершану вместе с тем чувствовал какую-то неловкость, что-то беспокоило его. «Что бы это могло быть?» — подумал он. Пташка помолчала, как бы прислушиваясь, и когда человек затих, она залилась еще энергичнее, засвистала и защелкала звонко и рассыпчато, будто обрадовалась, что так, как она, человек не может свистать и щелкать.

— Тень-тень-тень... тин-тин-тин... кеть-кеть-кеть... киви-киви-киви... — неслось из кустов.

Мукершану, заслушавшись пением озорной птахи, остановился и еще раз сам пощелкал языком, и снова птичка слушала и, дождавшись, когда он замолчал, защелкала и засвистала громче и задорнее, будто смеясь над беспомощностью человека.

Мукершану весело захохотал.

— Тень-тень-тень... киви-киви-киви... — ритмично и сочно звенело в кустах, от которых уже чуть веяло освежающей прохладой упавшей росы.

Мукершану присел на камне под кустом, в котором щелкала и свистала невидимая и бесстрашная пичуга, и, прикрыв лицо руками, задумался. Чувство легкого беспокойства не покидало его. И вдруг он вспомнил. Ах, да, да... все это связано с тем фотоснимком молодой женщины со строгим и ясным взглядом, который он видел у начальника политотдела. Конечно, поводом его беспокойства был именно этот фотоснимок. И Мукершану уже видел лицо другой женщины: на него смотрели веселые глаза подруги, товарища по партийной работе, родные и милые глаза Анны, которую расстреляли полицейские в 1933 году в Гривице, во время железнодорожной забастовки.

Сорокапятилетний здоровый, сильный человек, Мукершану, может быть, только сейчас подумал, что подобно всем людям, живущим на земле, он мог бы быть мужем, отцом, пользоваться радостями, которые дает человеку семья, — такими радостями, которых у него не было. Грусть охватила его, но то была необычная грусть, она не давила сердце, не обливала его жгучей горечью, она

была смешана с той неповторимой и великой радостью человека, который готовит счастье другим — всем этим обездоленным Бокулеям и Корнеску, отцы, деды, прадеды которых и сами они жили в вечном рабстве, женились, любили, плодились только для того, чтобы увеличить число рабов и несчастных на своей бедной земле...

Невидимая пичуга вспорхнула, с ветки на ветку перебралась поближе к сидевшему человеку и затрещала над самым его ухом. Мукершану открыл лицо и беззвучно засмеялся.

— Киви-киви-киви... — смеялась и птаха.

Напротив зашумели кусты. Там мелькнуло что-то черное, живое. Грохнул выстрел. Пуля тонко пропела над самой головой Мукершану. Он упал в канаву. Раздался второй выстрел, и темное пятно метнулось из-за кустов в переулок. Стало тихо-тихо. Бойкая пташка замолчала. Мукершану поднялся, вышел на дорогу и быстрыми твердыми шагами направился к дому Суина Корнеску.

Там он молча собрался и, уже уходя, тихо сказал провожавшему его Суину:

— В селе орудует враг. Будьте осторожны. В меня сейчас стреляли.

Патрану и поп, дрожа от страха и нетерпения, ожидали молодого боярина Штенберга в саду, укрывшись под деревом. Когда раздались выстрелы, они не выдержали, покинули свое укрытие и побежали к калитке, где должны были встретить лейтенанта.

— Ну что? — спросил Патрану, открывая калитку запыхавшемуся Штенбергу. Но тот не дождался, когда ему откроют, и, как лягавая, затравленная собака, легко перемахнул через забор.

— Ну что? — повторил свой вопрос Патрану. — Что?

— Наповал!.. — прохрипел офицер, трясущимися руками отвинчивая пробку фляги, в которой бултыхалась водка. — Готово!..

— Слава те... Одного покарал бог... Щенком помню его... — перекрестился поп.

— Работал у меня! — сказал Патрану, истово крестясь вместе с попом. — Вредный! Всех бы... Всех!..

— Ты вот что, господин Патрану, не очень-то увлекайся!.. Осторожней надо!.. А то, знаешь, они могут бы-

стро... — лейтенант выразительно черкнул ребром своей белой ладони по горлу. — А ты нам еще нужен будешь!.. Списки готовы?.. — спросил он отрывисто, выплеснув на землю остаток водки.

— Готовы, ваше благородие!.. Готовы, господин лейтенант!.. Всех записал: и тех, что митинговали, и тех, что землицу вашу меж собой поделили. Вот они — Корнеску, Бокулей...

— Ладно!.. Сам разберусь!.. А сейчас — спать!.. Да... не знаешь, где находится Василика?..

Патрану промолчал, сделав вид, что не расслышал слов боярина. Штенберг резко повторил свой вопрос.

— Я не хотел вас огорчать, господин лейтенант. Эта паршивая девчонка вышла замуж за старшего сына Александру Бокулея.

— За Георге?

— Так точно, за него... Вернулся! Вместе с русскими пришел. Вот бы кого...

— Хорошо! — резко остановил офицер. — Дойдет очередь и до него...

Сунув списки в карман мундира, размягший, лейтенант неровной походкой направился к каменному сараю, где укрывался уже третьи сутки. Вспомнив все свои нерешительные действия, все колебания и раздумья, он сейчас сам удивился тому, что оказался в конце концов способным на столь рискованный поступок. А получилось — здорово! Все в порядке. Вот только Василика.

Вскоре он спокойно спал.

5

С утра Бокулей-старший выехал косить пшеницу на том самом участке, где вспахать и посеять ему помогли русские солдаты. Взяв в руки крюк, румын долго не решался взмахнуть им. Подумав, он положил его у межи, засучил рукава и, как пловец, разгребая желтые тяжелые волны и радостно щелкая языком, вошел в пшеницу. Острые усики колосьев больно щекотали его бороду, потное лицо, но старик будто и не чувствовал ничего. Он плыл по желтой реке все быстрей и быстрей, то пел, то насвистывал, то, захватив охапку жаркой и духмяной пшеницы, плотно прижимал ее к своей груди. Затем крестьянин вернулся на прежнее место, отыскал межу, от-

делявшую его полосу от соседнего надела, и стал быстро ходить по ней взад и вперед, смешно подпрыгивая. Василика, приехавшая вместе со свекором вязать снопы, глядела на него и улыбалась. Ей хотелось похохотать над ним, но она стеснялась. Александру Бокулей — и это знала Василика — боялся, что сосед не заметит межи и станет косить его пшеницу. И чтобы сосед заметил и не захватил чужой делянки, старик решил получше протоптать межу, которой до этого почти не было видно. Вместо межевого кола [1] он еще раньше выкопал небольшую канавку, которая, однако, сейчас сильно заросла.

С Александру Бокулея ручьями катился пот, а он все прыгал и прыгал на меже. В том месте, где тяжелые колосья, откинутые ветром, перевешивались в сторону соседнего поля, Бокулей торопливо, но осторожно собирал их в руку и перегибал спелые восковые стебли в свою сторону. При этом он что-то сердито ворчал себе под нос, словно бы делал выговор непокорным колосьям за непочтительность к законному хозяину. Убедившись, что межа стала достаточно заметной, крестьянин начал косить. Крюк долго не хотел подчиняться его рукам. И неудивительно: ведь румын впервые в своей жизни пользовался этим странным орудием. Крюк смастерил для хозяина Пинчук, убедив старика, что косить им все же спорее.

— Не комбайн эта штука и даже не лобогрейка, но все же ей легче працювать, чем серпом, — говорил он, вручая Бокулею-старшему крюк. Кузьмичу Петр Тарасович приказал обучить старика пользоваться этим нехитрым приспособлением, но тот не успел, был занят на другой работе: три дня подряд возил к переднему краю боеприпасы, помогая полковым обозам.

В конце концов старик приноровился, и дело пошло. Работал он до одури, до знобящей дрожи во всем теле. Василика, напевая свои песенки, еле поспевала за ним вязать снопы.

— Поторопись, Василика, поторопись, соловушек! — улыбался ей свекор.

Они собирались было уже перекусить, как из ближайшей балки выскочил всадник и в одно мгновение очу-

[1] Межевой кол у румынского крестьянина нередко ночью переставляют богачи, чтобы украсть у бедняка клок земли.

тился рядом с ними. Василика тихо вскрикнула, выронила горшок с молоком и, бледная, стала пятиться назад: во всаднике она узнала молодого Штенберга. Тот плотно сидел в седле, не спеша вынул саблю из ножен, шевельнул короткими черными усиками, подрагивая скулами, прошептал:

— Жнешь?

— Жну... — торопливо ответил старик и некстати поздоровался. — Буна зиуа! [1]

— Буна сяра! [2] — в руках офицера ослепительно и ядовито блеснула сабля.

Василика с пронзительным криком бросилась к нему, но опоздала. Боярин уже успел взмахнуть саблей и рубануть наотмашь по бараньей шапке старика. Бокулей-старший не успел и простонать. Он упал на землю и только слышал, как затрещала сухая стерня под копытами топтавшегося на месте жеребца. Крестьянин попытался было приподнять голову, но острая боль пригвоздила его на месте. Все вокруг было раскаленным. Горячей была земля, она обжигала старику скрюченные, уродливые пальцы, мокрую спину, голые пятки. Воздух тоже был горяч, сушил глотку, ноздри...

Омертвев, Василика широко открытыми от ужаса черными неподвижными глазами смотрела на молодого боярина, торопливо освобождавшего ногу от стремени. Она даже не смогла закричать, когда он схватил ее на руки и понес к коню. Придя в себя, она стала вырываться, кусать ему лицо, руки. Он не чувствовал боли, все время твердил:

— Василика... Василика...

Молодой боярин пытался взобраться вместе с Василикой на коня и не мог: девушка сопротивлялась, царапалась, отталкивала его от себя. А в это время за горой, на немецких артиллерийских позициях, чуть ли не одновременно прогремели два орудийных выстрела: должно быть, немецкие наблюдатели заметили странную возню на пшеничном поле. Снаряды разорвались в пяти шагах от Штенберга и девушки. Василика коротко вскрикнула и, быстро бледнея, обвисла на руках лейтенанта. Бросив ее, боярин побежал к тому месту, где стоял конь: конь

[1] Добрый день (*рум.*).
[2] Добрый вечер (*рум.*).

барахтался на стерне, по его крупному телу волнами проходили судороги. Штенберг метнулся в пшеницу, пробежал немного и упал, чтобы отдышаться.

А вдали, где-то далеко за Пашканами, синели Карпаты, равнодушные к этой маленькой человеческой драме. В недокошенной пшенице дружно и бойко застучали неутомимые молотобойцы-кузнечики. Им тоже не было никакого дела до крестьянина, распластавшегося на земле, и до несчастной Василики. Выскочила из норки мышь, бисерным глазком посмотрела на человека и опять скрылась в норке. Выбежал откуда-то заяц, сослепу налетел было на крестьянина, страшно перетрусил, дал прыжка вбок и исчез в пшенице...

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

1

Дивизия генерала Сизова получила приказ начать демонстративное наступление 19 августа, за день до общего прорыва вражеской обороны на территории Румынии.

За неделю до штурма вражеских укреплений небольшая группа разведчиков и саперов получила необычное задание. Она должна была на этот раз не только захватить «языка», но и взорвать центральный неприятельский дот, ликвидации которого командование придавало большое значение: дот был едва ли не самым серьезным препятствием на пути наших полков, уничтожение его нарушило бы всю огневую систему обороны противника на значительном участке и создало бы в ней ничем не заполнимую брешь. На подготовку к выполнению этого задания ушло много времени, а когда все было готово, генерал лично вызвал Забарова и сказал:

— Это, может быть, лейтенант, самое ответственное задание из всех заданий, выполняемых вашим подразделением. Но я надеюсь, как всегда, на своих разведчиков. С вами пойдут лучшие саперы-подрывники, — и генерал крепче обычного пожал руку Забарова.

Федор решил действовать двумя группами. Первая группа, во главе с ним, захватывает «языка» и немедленно возвращается в свое расположение. Вторая, под командованием Шахаева, с одним сапером врывается в дот и подготавливает его взрыв. Так как задача пер-

вой группы была несколько легче, во всяком случае, не новой для разведчиков, лейтенант взял с собой в основном молодых разведчиков, а с Шахаевым остались «старички» — Сенька, Аким и Каримов. Парторг неожиданно попросил в свою группу еще и Никиту Пилюгина. Узнав об этом, Ванин шепнул на ухо старшему сержанту:

— Куда вы его? Подведет он нас всех.

Шахаев резко остановил Ванина:

— Не твое дело. Понял?

Ванин решительно ничего не понял, но промолчал: он слишком любил парторга и верил ему, а потому не мог спорить с ним, как с другими.

В полночь разведчики, еще днем выдвинувшиеся на передний край, отправились в путь. Все заметили, как Никита, шедший вначале позади группы, бочком-бочком пробираясь по траншее, обогнал Акима, Сеньку, Каримова и зашагал рядом с парторгом. Тот, заметив Пилюгина, спросил:

— Боишься, Никита?

— Оно бы ничего... — уклончиво пробормотал Пилюгин, — да маскхалат у меня неважный... порванный весь...

— Никита опять жалуется, — шепнул Акиму Ванин.— И чего только Шахаев возится с ним?

— А чего он с нами возился? Забыл? — напомнил Аким, но Сенька оскорбился:

— Ты стал невыносимый, Аким. Тебе нельзя ничего сказать. Сразу начнешь философию разводить...

— Какая тут философия?.. Ты, собственно, зря возмущаешься. И чем? Тем, что парторг из Никиты хочет сделать хорошего солдата?

— Э, напрасные хлопоты. Уж я этого Пилюгина знаю! Да и ты вот не взял его в свое отделение.

— Не взял, потому что не дали. А вот вернусь с задания и попрошу, чтобы Никиту перевели ко мне.

Разведчики приумолкли. Над их головами с знакомым шепелявым свистом пронесся тяжелый неприятельский снаряд, за ним пролетело еще несколько. Разрывы лихорадили землю. Стенки свежей траншеи тихонько осыпались. Потом раздались орудийные выстрелы позади разведчиков, и вновь в темном воздухе зашелестели снаряды, только теперь они летели в обратном направлении.

У нейтральной полосы разведчики встретились с двумя саперами, которые еще накануне сделали проход в не-

приятельском минном поле и проволочном заграждении и теперь проверяли, не загородил ли вновь враг этот проход. Убедившись, что все в порядке, они присоединились к разведчикам для выполнения основной задачи: один шел с группой Шахаева, другой — с Забаровым. Где-то впереди и слева скороговоркой протатакал пулемет, косые трассирующие очереди пронеслись мимо. Забаров проводил их глазами и спросил у сапера, все ли в порядке. Сапер утвердительно кивнул головой. Пулемет снова дал несколько очередей. Шахаев почувствовал, как чьи-то руки крепко ухватились за его маскхалат. Оглянулся — Никита.

— Ты что?

Пилюгин не ответил. Да и без слов было все ясно.

— Ничего, ничего... — чуть внятно проговорил парторг. Немного приподняв голову, он с удивлением увидел недалеко перед собой темную покатую громадину, смутно возвышающуюся на фоне неба; по правую и левую стороны, только чуть подальше, тоже сутулились железобетонные чудища, страшные в своем слепом и угрюмом безмолвии.

Забаров дал знак прекратить движение. Привычное чувство близкого поединка овладело им. Он весь подобрался; пальцы больших рук, отяжелевшие от прихлынувшей к ним крови, туго сжимали автомат. Лейтенант резко взмахнул рукой, и разведчики разделились на две группы. Забаров со своей группой двинулся вперед, обходя дот с двух сторон.

Шахаев взял левее, быстро выдвинулся далеко за укрепления, перехватил траншею, соединявшую основную линию немецкой обороны с центральным дотом, и остановился здесь, ожидая дальнейших событий. Вокруг было тихо. Только один раз раздались чьи-то шаги, чужая речь, но скоро все угомонилось. И вдруг — точно ножом по сердцу — тишину вспугнул тяжелый чугунный звяк, затем — короткий, сдавленный хрип. Возле дота замелькали, засуетились человеческие фигуры. Огромный силуэт метнулся вправо, за ним — другой, третий...

Оставив Сеньку и Каримова для прикрытия, Шахаев с остальными разведчиками и сапером побежал по траншее к доту. Тяжелая чугунная дверь была открыта и тихо, со ржавым скрипом покачивалась. Заскочив в дот и держа автомат наготове, парторг включил электриче-

ский фонарик, огляделся. На полу, с рассеченным надвое черепом, лежал убитый немецкий солдат. Стальная желтая пулеметная лента плоским червем опутывала его; один конец ленты находился в приемнике крупнокалиберного станкового пулемета, установленного на бетонированном заступе амбразуры. На железной койке, стоявшей слева от входа, лежали мундир и брюки другого немца, которого, повидимому, разведчики уволокли в одном белье. В амбразуре, как и предполагали в штабе дивизии, были установлены два пулемета и одна легкая противотанковая пушка.

Внутри дота — сложенные штабелями ящики с боеприпасами. Шахаев осмотрел все это и уже соображал, как лучше и вернее подорвать дот, как вдруг за дверью послышалась близкая стрельба. Парторг понял, что это вступили в бой Ванин и Каримов. Приказав Акиму, Никите и саперу остаться в доте, Шахаев выбежал в траншею, но тут же был сбит сильным тупым ударом в плечо. Выскочивший вслед за ним Никита Пилюгин втащил его обратно в дот.

— Перевяжите меня. Я ранен, кажется, — попросил Шахаев и почувствовал легкое головокружение.

Аким и Никита подняли его, положили на койку. Кровь, смочив гимнастерку и маскхалат, пробилась наружу. Шахаев, страдающий малокровием после тяжелого ранения на Днепре, сейчас быстро терял силы. При свете зажженных Акимом немецких карбидных ламп лицо его было матовым; прямые белые пряди волос прилипли к высокому, покрытому капельками испарины лбу; губы плотно сжаты. Аким и Никита с трудом перевязали его.

— Оставьте меня. Помогайте Сеньке и Каримову... Скажите, чтобы отошли в дот... Держаться в доте... в доте... — он тихо застонал и вдруг заговорил бессвязно: — Начподив... Акима... вручения. Пинчук, — приготовить... — и вовсе умолк.

Страшный, раздирающий душу крик заставил Акима вздрогнуть.

— Товарищ старший сержант!.. Парторг!.. Зачем вы... Постойте!.. Не надо!.. Пропадем мы без вас!..

Никитин вопль вывел Шахаева из минутного забытья.

— Что ты, Никита? Вот чудак!.. — улыбнулся укоризненно-ласково. — Что мне сделается... Сейчас отдохну и пойдем бить их, сволочей...

Стрельба за дверью разгоралась. Автоматные очереди мешались с трескучими разрывами ручных гранат; в дверные щели уже тянул знакомый, горький дымок сгоревшего пороха. Немцы стреляли разрывными; иногда такие пули попадали в железобетонные стенки дота; за дверью мигали короткие вспышки, острые осколки бетона стучали по стальной плите двери. Так длилось до самого утра. Перестрелка не прекращалась. Сенька и Каримов, очевидно, находились на прежнем месте.

Утром, когда первый косой луч солнца отточенным, сияющим и холодным лезвием блеснул в амбразуре, а немного окрепший Шахаев намечал план дальнейших действий, за дверью разорвалась граната и вслед за этим послышалось страшное многоэтажное ругательство. Затем дверь распахнулась, и в нее вместе с клубами удушливого дыма ворвался весь залитый кровью и оборванный Сенька Ванин.

— Где у вас патроны?.. Патроны давайте! Дот окружают! Не выходите!.. Не выходите отсюда, товарищ старший сержант! Отстреливайтесь из амбразуры, а то все погибнем! — хватая у Никиты и Акима заряженные диски автомата, кричал он. Потом вновь выскочил, захлопнул за собою дверь.

Шахаев попытался приподняться, но не смог. К тому же он и сам понял, что выходить из дота теперь уже не было никакого смысла: расстреляв все патроны, Ванин и Каримов вынуждены были также укрыться во вражеском доте. Шахаев удовлетворен был хотя бы уже тем, что дот этот выведен из строя и немцы не могут им воспользоваться, когда наши начнут штурм. Немцы боялись приблизиться, но они плотно окружили разведчиков, пристреляв выход из дота. Теперь советским солдатам можно было только взорвать дот, сделав его своей братской могилой. Но с этим Шахаев не спешил...

Так начался беспримерный поединок маленькой группы советских бойцов с гитлеровцами, поединок, о котором потом долго говорили и писали и который вошел в историю дивизии под именем «обороны Шахаева». Более двух суток длилась эта оборона. Первый день немцы пытались ворваться в дот и захватить разведчиков живьем, но скоро вынуждены были отказаться от этой попытки: шахаевцы косили их автоматными очередями и, на мгновение открыв дверь, забрасывали гранатами.

Один немец и сейчас лежал возле двери вниз лицом; в дверную щель разведчики видели, как большая фиолетовая муха деловито прохаживалась по его мундиру, пропитанному потемневшей кровью. От трупа начал исходить тяжелый запах, проникавший внутрь дота.

Неожиданно для всех Никита первый выскочил оттащить труп подальше от дота, но не успел этого сделать: пуля впилась ему в ногу, и он еле влез обратно. До этой минуты Никита как-то не выказывал признаков уныния, изредка пытался даже шутить, подтрунивать над другими, а сейчас, поняв, что выйти из дота уже невозможно, что кругом засели немцы с пулеметами, он вдруг загрустил, пал духом, рана показалась ему смертельной. Никита начал стонать. Шахаев, приказав перевязать ему ногу, первое время молчал, потом стон солдата стал раздражать и его. Забыв о боли, парторг сполз с койки, наклонился над Пилюгиным.

— Зачем стонешь, Никита? — спросил он спокойно и строго, так, чтобы слышали все. — Ну, зачем? Ты же хорошо знаешь, в каком мы положении. Твои товарищи ранены тяжелее тебя. Сенька, например... Однако он, видишь, молчит... Что с того, что ты разжалобишь нас? Немцы только обрадуются, если мы раскиснем. Вот перевязали тебя и больше ничем помочь не можем. Терпеть надо. Ты солдат... — помолчав, закончил тихо и сурово: — Советский солдат!

Но Никита будто и не слышал Шахаева. Вытягивая шею, стонал:

— Воды...

Сенька поморщился и ничего не сказал. Аким глядел на Никиту своими кроткими голубыми близорукими глазами и тоже молчал.

Шахаев отвязал от ремня свою флягу, сунул ее горлышко в рот Никите. Сильные и жадные глотки солдата вызвали и у парторга невольные глотательные движения, он облизал сухие, горячие губы. Пилюгин минуту спустя просил снова:

— Воды...

Шахаев наклонился над ним вновь:

— Нет больше воды, Никита. И ты это знаешь. Зачем же спрашиваешь?

Немцы подтянули пушки и открыли огонь по доту. Крутой изгиб траншеи мешал им попадать в дверь. Сна-

ряды с оглушительным треском ударялись о железобетон; мелкие осколки, отлетая от внутренних стен дота, впивались в разведчиков, добавляя к их ранам новые; солдаты лежали, уткнув лица в землю, боясь, что осколки попадут в глаза. Сенька насчитал около сорока прямых попаданий в дот, и примерно такое же количество снарядов упало поблизости. Чтобы заглушить боль от мельчайших осколков бетона, впившихся в тело, Ванин крепко сжал зубы и про себя считал, отмечая каждое попадание: «Сорок один... сорок два... пятьдесят... пятьдесят три...»

— Гитлерята паршивые! — вдруг выругался он. — Стрелять-то не умеют. Жаль, что рация у Акима поломалась. Передать бы на батарею Гунько. В два счета разделалась бы она с нашим дотом. И всё тут...

Шахаев насторожился.

— Это что, Семен, капитуляция?

Сенька покраснел.

— Что вы, товарищ старший сержант... К тому это я, что плохая артиллерия у немцев... А нам — что?.. Коли не будет иного выхода...

— Не будет иного выхода!.. Сеня!.. Ванин!.. Друг ты наш веселый, тебе ли, старому разведчику, сталинградцу, говорить такие слова! — Шахаев сел посреди дота, в центре, сложил ноги по-восточному, калачиком, прищурил и без того узкие глаза. Добрые, умные и мудрые искринки вспыхнули в щелках припухлых век; нездоровый румянец выступил на худых его щеках. Он глядел то на одного, то на другого, и казалось, все светлеет вокруг, даже на губах Никиты скользнуло подобие улыбки. Вместе с тем бойцы чувствовали, что парторг тревожился, словно хотел сказать что-то и не находил нужных, сильных слов. Первым это заметил Аким; он перестал копаться в поврежденной рации, внимательно глянул на старшего сержанта. Откинул назад непокорную светлорусую прядь Ванин, заиграл живыми смелыми глазами, будто желая сказать: «Посмотри-ка на нас, товарищ парторг! Мы вовсе не унываем!.. Мы еще и веселиться можем! Чего там!»

Шахаев, поняв состояние солдат, неожиданно предложил:

— Давайте, товарищи, споем... русскую! Она — для всех!

— Русский петь нада... Всем нада!..— горячо и обрадованно подхватил Каримов.— Все любят русский песня... Карош русский песня! Петь нада!

Немцы то ли сделали перерыв на обед, то ли еще по какой причине, но только прекратили обстрел.

— Давай, затягивай, Семен,— попросил Аким.

Однако Ванин, неожиданно помрачнев, проговорил:

— А песня не получится. Нет запевалы. Кузьмича нет...

Шахаев посмотрел на него долго и пристально и сразу понял, что не в песне дело: просто солдат вспомнил, что где-то совсем недалеко отсюда есть старый добрый Кузьмич, Пинчук, Наташа, Забаров, все разведчики, все наше, и там — жизнь. А тут...

Начался третий день «обороны Шахаева». И парторгу показалось, что дальше держаться невозможно, что нельзя еще хотя бы на несколько часов оттянуть то, что должно было произойти. Показалось это и по взглядам солдат и еще больше по словам Сеньки: «А песня не получится». Что ж, вот как будто сделано все, что должно и возможно было сделать; все физические и духовные силы иссякли; можно, пожалуй, и кончать. Кто обвинит их в этом?

— Зажигай!..— хрипло приказал саперу Шахаев, видя, что солдаты знают, что он хочет отдать этот последний приказ, и давно ожидают его от командира.

Сапер долго не мог зажечь, спички ломались. Солдаты сбились вокруг парторга, обнялись.

2

В подразделениях все было готово. Еще накануне ночью несколько тяжелых батарей было выдвинуто к переднему краю. Зарывать в землю многотонные махины артиллеристам помогли саперы и пехотинцы. Выдвинулась далеко вперед и батарея Гунько. Бывший наводчик, а два дня назад получивший звание старшины Печкин являлся чуть ли не главным помощником командира батареи. Он бегал возле орудий, покрикивал на сержантов и солдат, торопил их. Подвизался в качестве бывалого артиллериста и Громовой. Он успел обрести осанку завзятого пушкаря — солидная медлительность, полное презрение к неумолкавшей ни на минуту пальбе, нетороплн-

вая походка вразвалку, вполне соответствующая и роду войск и чину паренька: он принял от Печкина расчет, и не какой-нибудь, а первый, по орудию которого, как известно, производится пристрелка репера и строится параллельный веер. Фамилия у него была звучная и как-то мало походила к его щупленькой фигурке, а еще меньше — к тонкому голоску. Ванин серьезно советовал ему изменить фамилию и прозываться Колесницыным-Пророковым, что, по мнению разведчика, звучало бы еще внушительнее. Но Громовой никогда не верил ни в Илью-пророка, ни в его огненную колесницу, а потому от предложения Ванина отказался.

Сейчас Громовой, выверяя прицельные приспособления, спрашивал нового наводчика Ваню, парня молчаливого и на вид угрюмого.

— Дострельнем до Бухареста, Ваня, а?

— Поднатужимся ежели...— неохотно отвечал тот, недовольный, видимо, тем, что Громовой не доверял его умению, сам проверял прицел.

— Ежели поднатужимся, то и до Берлина...

— Коли танки подсобят,— проворчал Ваня.

— Танков хватит. На днях мы со старшиной ездили в лес, за Гарманешти, в артмастерскую, так в этом самом лесу их видимо-невидимо...

— Кого?

— Танков, темнота! Кого, кого!..

— Так бы и сказал.

— Так и говорю. Стоят в лесу, загорают, все новенькие, с иголочки. Танкисты на меня даже с завистью поглядели. «С передовой?» — спрашивают. «С передовой,— отвечаю.— Откуда же мне быть!» — «А мы,— говорят,— вот скучаем тут, держат нас на привязи».— «Успеете,— говорю,— навоюетесь!» Понял, еловая твоя голова, об чем речь? Целые скучающие бригады стоят за нашей спиной. Стало быть, резервы у нас богатые. Вот завтра как шандарахнут! Видал, кто вчера на нашем энпе был? То-то оно и есть. Командующий фронтом тут появлялся! А ты...

Громовой не договорил. Его отвлек батарейный связист, выкрикивавший в трубку:

— «Клен», «клен»!.. Я — «акация». Проверка!

— Дуб ты, а не акация,— заметил сердито Громовой, обиженный тем, что ему не дали довести до конца «стра-

тегическую мысль», как он сам назвал свои рассуждения.— Кто ж так орет в трубку? Немцы могут услышать. У них от страху слух-то, поди, заячий теперь, всякий шорох слышат.

Под зеленой сеткой, которой было прикрыто орудие, сидели артиллеристы и негромко разговаривали. Как всегда в свободную минуту, они обсуждали вопросы большой политики, весьма важные с их точки зрения проблемы.

— А что будет с Антонеской, товарищи? — спрашивал один, очевидно, только для затравки: солдатами не раз обсуждался этот вопрос, и участь Антонеску в сущности была давно уже предрешена ими.

— Повесят, что ж ему еще,— отвечал второй боец таким тоном, словно бы оскорбился тем, что его товарищ не понимает таких простых вещей.

— С Гитлером бы их на одной перекладине...— мечтательно проговорил первый и неожиданно добавил:—Его, Антонеску, теперь, кажись, и сами румыны повесили б...

— Кто знает?

— Что ж там знать? Повесили б, говорю тебе!

— А почему ты так думаешь?

— Почему, почему?.. Тоже мне новый почемукин объявился!.. Что ты ко мне пристал? — зашумел солдат, должно быть, больше сердясь на себя оттого, что не мог сразу ответить. Он помолчал, подумал и уже уверенно выложил:

— Ты видал, что в Гарманешти творится? Подняли румыны голову. Митинги у них там и прочее. По шапке хотят они своего Антонеску. А откуда у румын взялась такая храбрость, как ты думаешь? — наступал на своего оппонента солдат.— А я скажу тебе — откуда. Силу простой румын, трудовой то есть, почувствовал, потому что мы с тобой сюда объявились. Мы хоть в ихние дела и не влезаем, а духу придаем, смелости в общем. К тому же мы их не обижаем. Стало быть, их обманывали насчет нас, головы им морочили то есть... А кто морочил? Ясное дело, Антонеску, этот Ион паршивый! Понял теперь?!

Сквозь сетку брызгами лился яркий полдневный свет, рябил мельчайшими бликами бронзовые лица артиллеристов, нагревал стальные тела орудий.

— Снять сетки! — скомандовал старший на батарее, и огневые ожили.

— Гляньте, ребята, пехота уже навострила уши! — крикнул Громовой, показывая на стрелков, которые, облокотившись на кромки окопов, напряженно всматривались вперед, на подернутые текучим маревом седые горбы дотов.

Недалеко от батареи Гунько расположился со своим молодым помощником старшина Фетисов. Он и Федченко, тот самый юный солдат, которого Фетисов когда-то обучал окопному искусству, приготовились бить по амбразурам дотов. По должности старшины роты ему, Фетисову, находиться бы не здесь, но он упросил командира роты и комбата разрешить ему произвести «эксперимент», испытать новое свое изобретение — бронебойку с оптическим прицелом. Адъютант старший батальона, лейтенант Марченко, только что возвратившийся из госпиталя, плохо верил в затею Фетисова и сказал ему:

— Бросил бы ты, старшина, заниматься ерундой. Ничего из этого не получится. Мы с таким оружием, какое у нас есть, успешно колотим и добьем врага.

Фетисов удивился таким словам Марченко, но спорить с начальником не полагалось. За старшину, однако, вступился комбат и разрешил испытать новое оружие. А когда Фетисов отошел, комбат сказал, обращаясь к адъютанту старшему:

— Не понимаю я тебя, Марченко. Ведь грамотный ты человек. Штабное дело поставил в батальоне неплохо. И вдруг не уразумел простых вещей. Ведь для нас Фетисов — клад!

3

Генерал Сизов с самого утра находился на своем наблюдательном пункте. Сюда позже пришел и начальник политотдела. Демин вместе с работниками своего аппарата последние дни почти все время находился в полках, проверяя готовность подразделений, накоротке совещаясь с заместителями командиров по политической части, с парторгами, комсоргами и агитаторами. Сейчас полковник делился с генералом своими впечатлениями.

— В первом батальоне Тюлинского полка были? — спросил Сизов.

— Был.

— Как там Марченко себя чувствует?

— По-моему, с ним все в порядке. Хлопочет, ни себе, ни другим покоя не дает. Не без заскоков, конечно. Не хотел, например, дать старшине Фетисову испытать свое изобретение. В батальоне этом есть такой удивительный вояка!

— Фетисов-то? Знаю о нем. Еще по Днепру! Конструктор-рационализатор?

— Вот-вот! Какая светлая голова! Вы знаете, что он придумал? Бронебойное ружье с оптическим прицелом, то есть снайперскую бронебойку. Буду, говорит, по амбразурам дотов бить. Каково!

— Ловко придумал, ничего не скажешь! — от души похвалил генерал.— Наверное, в дивизии таких много, только мы их плохо знаем. Ваши политработники, Федор Николаевич, в первую очередь должны присматриваться к таким людям и сообщать о них нам. Мы, начальники, должны учиться у таких своих солдат. Ведь это золотой народ. Сколько полезного они могут подсказать нам!

Демин помрачнел. «Начальник политотдела, и упустил такой важный вопрос»,— подумал он про себя осуждающе.

— Выберем подходящее время и место. Проведем вроде слета бывалых воинов,— сказал он.

— Хорошая мысль. Обязательно созовем такой слет. А пока что дайте указание своим работникам, чтобы присматривались к людям, искали в ротах своих Фетисовых...— генерал еще что-то хотел сказать, но подошел адъютант и показал на часы.

— Пять минут осталось, товарищ генерал.

— Хорошо. Передайте командирам полков, чтобы не отходили от аппаратов,— лицо комдива приняло свое обычное суровое выражение, которое,— Демин знал это,— станет радостно воодушевленным, как только начнется дело.

Сизов снова обратился к полковнику Павлову:

— Так вы, Петр Петрович, полагаете, что разведчики всё еще находятся в доте?

— Да, Иван Семенович, так. Иначе немцы не стали бы стрелять по своему же доту,— ответил Павлов, чаще обычного встряхивая контуженным плечом.— И Забаров

убежден в этом. А ведь он, сами знаете, ошибается редко. Он очень просил меня, чтобы артиллеристы не трогали центрального дота.

— А если разведчиков уже нет? Вы понимаете...

Оба замолчали.

— Понимаю,— после некоторого раздумья сказал Павлов.

— Если в доте в самую последнюю минуту окажется враг, то это — сотни наших жертв, и полки не прорвутся...

— Вы — командир дивизии, принимайте решение сами,— глухо проговорил до этого молчавший Демин.

Лицо генерала налилось кровью. Он подошел к стереотрубе, глянул в нее, потом оторвался и снова заговорил, обращаясь к офицерам, но только уже на другую тему:

— Как видите, опять на нашу долю пришлась самая неблагодарная задача...

— Делать вид, что мы-то и являемся гвоздем всего дела, главным направлением? — начальник политотдела устало улыбнулся, вспомнив, что точно такую же задачу дивизия выполняла на Донце.— А мне думается, Иван Семенович, что это — самая благодарная задача: обманывать противника, путать все его карты.

— Так-то оно так. Но люди...— генерал поморщился, помрачнел.— Впереди сплошные доты, а у нас артиллерии... сами знаете. Половину орудий пришлось отдать левому соседу. Вся надежда на тяжелые пушки. А сегодня отправили все тому же левому соседу еще две минометные батареи.

— Очевидно, так нужно.

— Разумеется,— сказал генерал и сразу стал прежним — спокойно-сосредоточенным. Плечи его по обыкновению приподнялись, и весь он сделался каким-то упругим. Обернувшись к Павлову, сказал твердо:

— Петр Петрович, центральный не трогать.

Павлов и Демин облегченно вздохнули, но через минуту беспокойство охватило их с новой силой: «А вдруг в доте будут немцы?»

Генерал позвонил командиру полка Тюлину:

— Направление держать на центральный дот.

Положил трубку, присел, откинул тяжелую голову назад, прижавшись затылком к холодной стенке блиндажа.

Долго молча глядели друг другу в глаза — начподив и генерал. Им, должно быть, было очень тяжело. Потом Сизов быстро встал на свои твердые, сильные ноги, как-то встряхнулся, громко и торжественно сказал:

— Петр Петрович, начинайте!

4

Из кармана полинялых, истертых до блеска, словом, видавших виды брюк Владимира Фетисова выглядывала аккуратно свернутая кумачовая головка маленького флажка,— такие флажки покупают наши люди своим детям в дни больших революционных праздников.

Рядовой Федченко давно уж присматривался к этому флажку, но все не решался спросить старшину, зачем он ему понадобился. Наконец, не выдержал и легонько ткнул по карману Фетисова.

— Это... для чего, товарищ старшина?

— А что, помешал он тебе?

— Нет, просто так. Интерес разобрал. Зачем, мол, этот флажок старшине спонадобился. Первое мая прошло, а до Октябрьской далековато...

— У нас и ныне праздник. Разве не знаешь, какой день? Вот сейчас...

Близкий и оглушительно резкий выстрел орудия Печкина оборвал речь Владимира.

«Началось!..» — с ликующей дрожью в голосе прошептал Фетисов, чувствуя, как колючий, лихорадящий ток побежал по его жилам.

Разом с орудиями Гунько заговорили другие батареи, подали свой голос тяжелые пушки. Но артподготовка была необычно короткой и совсем, пожалуй, нестрашной для неприятеля,— она вовсе не походила на те, которые предшествуют крупным наступательным операциям.

Едва открыли огонь батареи, в воздух врезались и певуче огласили окрестность красные ракеты. Тут же мимо Фетисова и Федченко, справа и слева, а то и перепрыгивая через них, на гору, к хмуро насупившимся и молчавшим дотам, побежали пехотинцы из роты Фетисова, наступавшей на самом левом фланге полка. Старшину так и подмывало вскочить на ноги и присоединиться к атакующим. Но вспомнив, что он находится

здесь с другой задачей, еще плотнее прильнул к бронебойке. Бегущие пехотинцы сквозь оптику прицела казались ему сказочными великанами. От вражеских укреплений их отделяло совсем малое расстояние. Вот бы еще одна, две перебежки — и...

Прямо в прицелившийся глаз Владимира из одного дота ударили частые, яркие вспышки первой короткой пулеметной очереди. В черном зеве амбразуры змеиным жалом замигало что-то красное и зловещее. Поднявшиеся было для очередной и, может быть, последней перебежки советские стрелки дрогнули, словно в недоумении потоптались немного на месте, потом опять побежали вперед, но уже не так дружно, как вначале. Сперва ткнулся в землю, не достигнув цели, один, за ним — другой, третий. И вот уже все пространство, отделявшее Фетисова от противника, вдруг стало до жути пустынным. Над ним медленно рассеивалась дымовая завеса, поставленная нашими артиллеристами и саперами.

Орудия Гунько первыми открыли огонь по этому доту. Фетисов хорошо видел, как от его покатых боков серо-голубыми, ослепляющими брызгами разлетались бетонные осколки. Но это не приносило доту особого вреда,— пулемет попрежнему хлестал по залегшим цепям советских пехотинцев. Артиллеристы пытались и никак не могли угодить в амбразуру, жарко плюющуюся смертельными плевками пулеметных очередей.

Фетисов весь горел, готовясь произвести выстрел из своего ружья. Первый раз он не смог преодолеть волнения и промахнулся. Второй выстрел — неприятельский пулемет, моргнув, смолк. Но пехотинцы не поднимались: нелегко солдатам расстаться со спасительной в этих случаях землицей. Им еще не верилось, что пулемет немцев замолчал навсегда. Фетисов, обливаясь потом, дрожа от внутреннего возбуждения, в бессилии кусал губы, кричал что-то залегшим солдатам, но в общей сумятице боя его никто не слышал.

— За мной, Федченко! Не отставай только!..— хрипло крикнул он напарнику, ловко подхватывая тяжелое ружье.— Вперед, дружище!..

Владимир бежал, падал, проваливаясь в небольшие воронки и спотыкаясь о камни и обрывки колючей проволоки. С разбегу подлетел к доту, какая-то безумная и страшная сила внесла его на огромный раскаленный ку-

пол. Перед глазами удивленных и одновременно смущенных стрелков над дотом рдяно загорелся флажок. И недружное солдатское «ура» встряхнуло тяжкий полдневный августовский зной и молодым, все более набиравшим силы громом покатилось наверх,— туда, к дотам, где в руках человека пламенно вспыхнул красный маленький флажок!

5

— Огонь! — коротко прокричал в трубку Павлов, учащенно дыша, как было всегда с командующим артиллерией перед большим делом. Услышав вслед за своим голосом грохот орудий, он встряхнул контуженным плечом, не заметив даже, как почти совсем вылез из траншеи наблюдательного пункта.

Это было ровно в два часа дня 19 августа 1944 года, когда дивизия генерала Сизова начала свою небольшую, но исключительно важную, тяжелую и кровопролитную операцию, предшествовавшую грандиозному наступлению Второго и Третьего Украинских фронтов на Ясско-Кишиневском направлении.

Огромная высота с многочисленными дотами быстро покрылась белыми дымками разрывов, точно на ней вдруг вырос и буйно расцвел большой сад. Вся оставшаяся артиллерия дивизии наполовину била дымовыми снарядами, чтобы прикрыть атакующие роты. Для настоящей артподготовки орудий явно нехватало. Выстрелы были редковатые. Они не сливались в сплошной, торжествующий и лихорадящий землю гул, к чему уже давно привыкли наши артиллеристы. Но нет худа без добра: эту артподготовку немцы и румыны приняли за простой налет, который производился с нашей стороны почти ежедневно, в одно и то же время, то есть в половине дня, так что противник к нему привык и не придавал ему особого значения. Именно на это и рассчитывал генерал Сизов. Когда враг понял свою оплошность, было уже поздно: советские пехотинцы под прикрытием дыма с непостижимой быстротой достигли траншей, в которых сидели румыны, немедленно растеклись по ним и теперь приближались к дотам. С наблюдательного пункта было хорошо видно, как маленькие фигурки стрелков, подобно быстрым ручейкам, бежали по вымоинам. Отличались

они от обычных ручейков разве только тем, что катились не вниз, а вверх.

— Смотрите, смотрите, товарищ генерал! — радостно кричал адъютант, показывая на фигуру пехотинца, взобравшегося на один дот. В одной руке пехотинец держал, точно скипетр, что-то черное и длинное, во второй — флаг, и вид солдата был царственно-грозен на вершине седого дота. — Вот герой! Ну, конец фашистам!.. Сейчас драпанут!

— Замолчи ты! — резко остановил молодого розовощекого офицера Сизов. Генерал старался увидеть центральный дот и не мог: дот заволокло дымом.

Комдив не разделял радости своего юного адъютанта: считал ее преждевременной. Опытным глазом генерал приметил, что зеленые ручейки наших пехотинцев кое-где уже приостановились, а в других местах бег их всё более замедлялся. Только в центре да на левом фланге тюлинского полка пехота попрежнему продвигалась вперед и исчезала в тучах дыма и пыли. В нашу стрельбу уже вплелся отчетливый клекот чужих пулеметов и автоматов, из-за горы разом ударила румынская и немецкая тяжелая корпусная артиллерия. Крупповский металл с буревым ревом проносился в воздухе. Район дотов, которого достигли наши полки, мгновенно закрыла стена черного дыма. Враг не жалел снарядов. Не успевал рассеяться дым от первого залпа, как второй обрушивался на наступающих. Вот теперь было уже совсем похоже на настоящую артподготовку. Залпы орудий и шестиствольных немецких минометов вскоре слились в один протяжный и все заглушающий гул. Земля дрожала под ногами. Высота совершенно исчезла.

Лица работников штаба дивизии, находившихся на НП вместе с генералом, до этой минуты веселые и оживленные, теперь вытянулись. Но Сизов был попрежнему спокоен, даже, пожалуй, слишком спокоен для таких минут.

Только полковник Павлов понимал, отчего был спокоен генерал: дивизии удалось главное — обмануть противника, который, судя по усилившемуся артиллерийскому огню, снял с других участков несколько пушечных полков и подтащил их сюда. Именно это-то и нужно было командованию армии, отдавшему приказ дивизии Сизова об отвлекающей операции.

Теперь важно было во что бы то ни стало удержать высоту до утра, до той самой минуты, когда войска всего фронта начнут решительный штурм. Поэтому слово «держаться», как и там, на Донце 5 июля 1943 года, чаще и крепче других слов произносилось Сизовым, разговаривающим с командирами полков и батальонов.

Мимо наблюдательного пункта по оврагу стали проходить раненые. Их встречали медицинские работники, перевязывали и отправляли в медсанбат. Один из раненых, с забинтованной головой, почему-то не пошел вместе с другими в медсанбат, а вернулся обратно, направляясь к высоте, окутанной сплошной завесой дыма и тонущей в громе разрывов. Генерал приказал догнать солдата и привести его на НП.

В раненом начальник политотдела узнал своего ночного собеседника — старшину Владимира Фетисова.

— Почему не пошел в медсанбат? — строго спросил его генерал.

Серые, умные глаза старшины удивленно посмотрели на полковника Демина, как бы прося у него защиты. Потом они так же удивленно и прямо глянули на Сизова.

— Ранение-то пустяковое, товарищ генерал. Царапнуло малость голову — эка важность!.. Я не хотел и сюда-то итти, да лейтенант Марченко выгнал. Отнял ПТР и прогнал...

— Ну, как твое изобретение? — уже мягче спросил комдив: он только сейчас понял, что перед ним Фетисов.

— Неплохая штука получилась. Два дота ослепил...

— А кто это из ваших солдат вздумал на дот взобраться?

Фетисов помолчал.

— Я, товарищ генерал... Свою роту подзывал: поотстали ребята. Это там меня... — Фетисов легонько коснулся своей головы в том месте, где из-под марли проступало темное пятно.

Генерал долго наблюдал за ним. Потом подозвал штабного офицера, который во время больших боев всегда находился вместе с комдивом, взял из его рук одну коробочку, быстро раскрыл ее, извлек орден Красного Знамени и слегка дрожащей рукой прикрепил его на вылинявшей, мокрой от пота, забрызганной побуревшей кровью и рваной гимнастерке Фетисова. Потом порыви-

сто подтянул оторопевшего воина к себе, обнял и поцеловал в жесткие, обветренные сухие губы.

— Спасибо тебе, старшина! Спасибо, солдат!

Владимир стоял, вытянув дрожащие руки по швам, и ничего не мог ответить. Только губы шевелились. Он, должно быть, хотел сказать что-то, но язык онемел, не подчинялся ему. По черным от копоти и пыли щекам, небритым и худым, катились слезы, оставляя за собой светлые ручейки-дорожки. Пальцы больших солдатских рук, что еще полчаса тому назад так крепко держали тяжелое бронебойное ружье, теперь не смели шевельнуться и только чуть-чуть вздрагивали.

— А в медсанбат тебе пойти все-таки надо, старшина, — сказал Демин.

Фетисов побледнел, но не изменил положения, стоял перед начальником по команде «смирно» и лишь обиженно возразил, совладев с волнением:

— Нет, товарищ полковник, я пойду... туда...— Он, не поворачиваясь, качнул головой вправо, как делают солдаты по команде «По порядку номеров, рассчитайсь!» — На высоту... Там я нужен. Коммунистов в нашей роте мало. Я, ротный да еще один боец, которого, может, уже...

— Пусть идет, — сказал генерал. — Иди, Фетисов!..

Владимир обрадованно заулыбался, неловко пожал протянутые к нему руки, повернулся четко, как положено по уставу, через левое плечо, и пошел. Начальники долго провожали глазами его быстро удаляющуюся нескладную, но плотную фигуру.

6

— Стоп! — Шахаев вскочил на ноги, выдернул горящий шнур. Он сделал это в тот момент, когда огонь уже был в нескольких сантиметрах от тола.— Стоп!.. Еще можно держаться! Понятно? Дер-жать-ся!

Только минутная слабость заставила его принять преждевременное решение о взрыве дота: ради чего же проведены эти долгие часы невероятных страданий, ради чего умер час тому назад от внезапно вспыхнувшей гангрены Али Каримов? И Шахаев скрипел зубами:

— Держаться!

Это всегда жестокое «держаться», но в их условиях таящее в себе какую-то надежду, все читали на его лице: и в горячем блеске раскосых глаз, и в тугом перекатывании желваков под смуглой кожей, и в напряженных, едва заметных, но все же заметных на его чистом высоком лбу складках.

— Держаться, Никита, держаться! — в горле Шахаева давно пересохло, и он хрипел, повторяя одно это слово с каким-то злобным торжеством. — Вон, посмотри на Сеньку и Акима — орлами выглядят!

Один из «орлов», Ванин, пригорюнившийся, лежавший в позе, выражавшей абсолютное равнодушие к окружающему его, тут вдруг собрал силы, приподнялся, сел, ободрился и даже как-то выпятил грудь, тряхнул за плечо Пилюгина:

— С нами не пропадешь, Никита! Ты ведь тут не один. Понял?

Однако усталость, голод, потеря крови, огромное духовное и физическое напряжение взяли свое. Тяжелый туман наволочью закрыл глаза Шахаева. Это случилось в тот момент, когда где-то отдаленно и глухо грянул артиллерийский залп и вслед за ним послышались уже совсем близко от дота разрывы снарядов. Парторг попытался было сообразить, что это значит, но туман, закрывший ему глаза, сгустившись, приглушил и сознание.

...Очнулся Шахаев на руках Забарова. Остальных — Сеньку, Акима, Никиту, сапера и мертвого Каримова — несли другие разведчики, пехотинцы и артиллеристы.

— Что это? — тихо и слабо спросил Шахаев.

— Разве не видишь? Наступают наши!

Шахаев закрыл глаза, застенчиво, неловко улыбнулся и уткнул свою белую голову в широкую и горячую грудь Забарова.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

1

В жаркий и душный полдень, скрипя и взвизгивая, во двор Бокулеев вкатилась длинная арба. В ней, на соломе, лежали рядом тихо стонущий, чуть живой Александру Бокулей и навсегда умолкшая Василика. Лица их были залиты бурой засохшей кровью. К жесткой седой бороде хозяина прилипли комочки горячей суглини-

стой земли, в усах запуталась пшеничная ость, рубаха разорвана, от нее веяло неистребимым степным духом — тонким смешением кисловатого запаха засохшей березки и острогорького — полыни. Старик шевелил губами, силился что-то сказать и не мог. Скрюченные дрожащие руки судорожно рассекали воздух, будто он хотел ухватиться за что-то. Лицо красавицы Василики было неузнаваемо — оно все вспухло и затекло. Руки ее были в крови. Сейчас они покойно, в какой-то страшной неподвижности, лежали на высокой полуоткрытой смуглой груди.

Почти немедленно из дома выбежали мать, Маргарита (она недавно возвратилась из русского полевого госпиталя, выздоровевшая, успокоенная), Георге, Наташа. Вслед за ними подошли Лачуга, Пинчук и Кузьмич. Последний по приказу Пинчука сразу же помчался в медсанбат за врачом. Наташа бросилась к хозяину, чтобы оказать ему первую помощь. Ей мешали жутко заголосившие хозяйка с дочерью.

Бокулей-младший, окаменевший, с трясущимися губами, смотрел неподвижными, широко раскрытыми глазами на арбу, чувствуя, как все оборвалось и похолодело у него внутри.

В полчаса двор Бокулеев заполнился встревоженными односельчанами. Окружив крестьянина, который случайно наткнулся на Бокулея-старшего и его невестку в поле и теперь привез их на своей арбе, одни расспрашивали его, выкрикивая что-то гневное, другие стояли молча, с выражением угрюмой свирепости на худых сморщенных лицах. К этим последним и обращался черный Патрану. Скорбно сложив на животе руки, он говорил кротко:

— Сказывал вам — не связывайтесь с боярином. Не послушались. Вот теперь и... Вам же добра желал... — голос его был вкрадчив и осторожен, видимо, на Патрану подействовало предупреждение молодого Штенберга — не лезть на рожон. — Господин Бокулей сам... — он осекся, встретившись сначала с мертвенно бледным лицом Георге и потом с тяжелым взглядом стоявшего рядом с ним Суина Корнеску.

— Добиток! [1] — глухо выдавил Суин. — Убивать нас,

[1] Скотина, животное (*рум.*).

наших сыновей и дочерей?.. И только за то, что мы люди и хотим жить?.. Прочь отсюда!..

Патрану поспешно выбрался из толпы и, припадая на одну ногу, бойко поковылял со двора. И всё же не удержался, чтобы не крикнуть:

— Погоди же! И ты поплатишься за это!..

Но слов Патрану никто из крестьян не услышал, и кулак был рад этому.

Хозяина и Василику внесли в дом. Туда же вошел только что привезенный Кузьмичом врач. Крестьяне остались во дворе и среди них — Суин Корнеску. Лицо его теперь скорее было торжественным, чем суровым.

— «Трэяска Романия Марэ!»[1] — сказал он, обращаясь к гарманештцам, и глаза его насмешливо и зло сверкнули. — Вот приманка, на которую нас всех, дураков, ловили... Погубили наших сыновей. А теперь и нас хотят!.. Нуй бун! (плохо!) — Суин нахмурился. — Этак всех нас перебьют. По-иному надо жить. Как говорил нам Мукершану, как живут русские, вот так! — он вдруг приблизился к крестьянам, своей правой рукой взял за руку одного из них, левой — другого, подтянул к себе, быстро прошел с ними вперед, остановился и проговорил взволнованно: — Вот как надо! Поняли?.. Поняли?.. — повторил он и вдруг, вновь нахмурившись, закончил тихо: — Теперь я знаю, кто стрелял в Мукершану... И это не последний выстрел. Поняли ли вы меня?

Должно быть, крестьяне не совсем поняли, что хотел сказать им Корнеску. Но некоторым стало страшно, и эти потихоньку, стараясь быть незамеченными, покидали двор Бокулеев. У других на лицах уже явственно было видно отражение злости и решимости.

В селе ударил бубен, и оставшиеся крестьяне тоже начали медленно расходиться, но не по одному, как это делали первые, а по двое, по трое. Видно было, как они что-то говорили друг другу, размахивая шапками и посохами.

Пинчук с каким-то смешанным, тревожно-радостным чувством смотрел им вслед, давно поняв, что вокруг совершалось нечто такое, что когда-то уже было пережито им самим. Это ощущение уже не покидало его на протяжении всего похода через Румынию. Оно жило в нем

---

[1] Да здравствует великая Румыния! (*рум.*).

и наполняло грудь счастливым сознанием того, что все, что сейчас творилось на его глазах в этой стране, пришло сюда вместе с ним оттуда, с Востока, и что он, Пинчук, несет на себе за все это немалую долю личной ответственности.

— Ось воно... яки дела-то! — неопределенно пробормотал он, не в состоянии выразить словами то, что жило в его груди и мозгу.

2

Конец первого и весь второй день после возвращения группы Шахаева Кузьмич, Петр Тарасович и Наташа провели в больших хлопотах. Нужно было помочь разведчикам, более двух суток проведшим во вражеском доте, быстро восстановить свои силы. К счастью, ранения солдат оказались легкими, так что не пришлось отправлять даже в медсанбат. Наташа, еще не веря своему счастью, с осунувшимся лицом, хлопотала больше всех. Она тщательно промыла раны, бережно забинтовала их, сказав при этом каждому:

— Ну, вот и хорошо! Вот и все!

Акиму она улыбалась только издали, словно боясь выделить его среди других. Он, очевидно, хорошо понимал это — смотрел на нее близорукими, влюбленными глазами и ничего не говорил.

Наташе помогала Маргарита. Несмотря на большое горе, постигшее брата, она не могла скрыть своего счастья: здорова!

— Доамна докторица!.. Доамна докторица! [1] — неумолчно звенел ее голос.

Маргарита кипятила воду, стирала солдатское белье, зашивала порванное обмундирование. Потная, раскрасневшаяся, она восторженно смотрела на Наташу. Изредка, оставив свое занятие, подбегала к ней и, крепко обняв за шею, целовала.

— Минунат... [2] Я... лублу Натайша!.. — и убегала, смеясь приглушенным, радостным смехом.

Когда все уже было сделано, Маргарита подходила к старшине и просила новой работы. Пинчук, разумеется, находил для нее эту работу.

---

[1] Госпожа врач! (*рум.*).

[2] Чудесный, прекрасный (*рум.*).

Сам Петр Тарасович занимался обмундированием. Он так успешно провел переговоры с Докторовичем, с таким пафосом рассказал ему о подвигах разведчиков, что начальник АХЧ, растроганный (что с ним случалось чрезвычайно редко), распорядился выдать подразделению Забарова для всех солдат совершенно новые брюки, гимнастерки, сапоги и маскхалаты, не забыв, однако, произнести свое неизменное:

— Мне дали, и я даю...

Вечером, когда разведчики, помывшись в бане и переодевшись в чистое белье, легли спать, Петр Тарасович приказал сибиряку и Лачуге налаживать «зверобойку», то есть гениальное в простоте своей приспособление — железную бочку для пропаривания солдатского белья.

Сделав это распоряжение, усталый, но довольный результатами своего труда, Пинчук в самом добром и великолепном расположении духа вошел в хату — перекинуться словечком с больным хозяином, что доставляло «голове колгоспа» немалое удовольствие. Бокулей-старший встретил его радостной улыбкой, собравшей смуглую сухую кожу у черных, блестевших, как у дочери, глаз. Он чуть-чуть приподнялся на кровати, приветствуя старшину:

— Буна сяра, домн Пинштук!

— Буна сяра, хозяин! — добродушно поздоровался Петр Тарасович, пожимая худую, повитую синими венами, руку Бокулея. — Як живемо?

Пинчук присел рядом с кроватью, на которой лежал хозяин, и посмотрел в его желтое, заросшее густой, жесткой щетиной лицо. Петру Тарасовичу хотелось чем-то помочь этому бедному румыну. Хозяин заговорил первым. Пинчук чувствовал, что тот спрашивает его о чем-то очень важном, — это было видно по возбужденному лицу Александру, по тому, как крестьянин отчаянно жестикулировал своими тонкими, худыми руками. Пришлось позвать Бокулея-младшего. Георге, все еще грустный и, казалось, вдвое постаревший от пережитого, охотно, однако, согласился быть их переводчиком. Оказалось, что хозяин просил Пинчука рассказать о жизни русских крестьян в колхозах. Петр Тарасович и раньше много рассказывал румыну об этом, но сейчас старик хотел знать все, что касалось колхозов: этот вопрос, повидимому, уже

давно и сильно занимал его. Пинчук добродушно улыбнулся, пригладил книзу отвислые свои усы, что делал всегда перед большой и милой его сердцу беседой: о колхозе он готов рассказывать хоть сотни раз...

— Как у вас обрабатывают землю? — спросил Бокулей-старший и стал напряженно слушать, словно боясь пропустить хотя бы одно слово из того, что скажет Пинчук и затем переведет сын.

Петр Тарасович с удовольствием повествовал. Он говорил о тракторах, о МТС, севообороте, о плугах и, увлекшись, вникал в такие подробности, будто только вчера его оторвали от колхоза.

— А как же оплачивается труд колхозника? — спросил хозяин, который во все время пинчуковой речи был серьезен и озабочен, как бывает серьезен и озабочен человек, решающий очень большой и сложный жизненный вопрос, для чего ему надо взвесить все, все — до последней мелочи. Сейчас Бокулей-старший напоминал крестьянина, который после многих бессонных ночей решился, наконец, расстаться со своим гнездом и переехать на новые, еще неведомые ему земли. Для него уже было совершенно ясно, что жить прежней жизнью он больше не может, что надо ехать на эти новые земли, более плодородные, но он все еще страшится, потому что земли эти для него неведомые. «Но надо ехать, надо ехать!..»

Петр Тарасович догадывался о состоянии румына и поэтому старался рассказывать так, чтобы ничего уже не оставалось неясного для собеседника. Он долго и подробно говорил о трудоднях, о том, что бедному и среднему крестьянину не надо бояться колхоза, что над колхозником никогда не висит угроза остаться на зиму без куска хлеба. Но едва Пинчук отвечал на один вопрос, как Бокулей-старший задавал ему другой. Крестьянина интересовало все: есть ли у колхозника право на свой дом, свой огород, свой скот; как одеваются колхозники; довольны ли они своей жизнью в колхозе; нет ли таких, которые хотели бы выйти из колхоза и жить отдельно; действительно ли колхозники живут в своих домах или при вступлении в колхоз их помещают в казармы и они едят из одного котла; каков урожай в колхозе; какие у колхозников обязанности...

Петр Тарасович не только терпеливо, но и с удовольствием отвечал на все эти вопросы. Под конец он вспо-

К стр. 471

тел, расстегнул ворот гимнастерки, стягивавший его толстую шею. Лицо Александру было попрежнему озабоченно и серьезно, брови хмурились, лоб морщился — сложная внутренняя работа шла в его голове. Только один раз он оживился, удивленно взглянул на Пинчука, будто хотел спросить, так ли он понял старшину. Это случилось в тот момент, когда Петр Тарасович сообщил, что девяносто шесть процентов всей земли в Советском Союзе обрабатывается машинами и что пашут землю на глубину в тридцать пять сантиметров.

— У нас пашут на семь сантиметров и то редко, — глухо проговорил Бокулей-старший.— И урожаи бедные. Вот вы говорите, что у вас по двадцать — двадцать пять центнеров с гектара бывает, а в отдельных случаях и выше... Да... А у нас в три-четыре раза меньше...

Теперь он казался Пинчуку совсем маленьким, высохшим. Петру Тарасовичу почему-то хотелось взять его на руки и поднять.

— Ничего, будет и у вас так! — тихо и взволнованно проговорил он и вдруг быстро встал и вышел из дому. Через пять минут он вернулся с какой-то брошюрой и толстой потрепанной книгой.

— Возьми, почитай, — и он положил книги перед хозяином. — Прочитаешь — будэ все ясно...

Бокулей-старший с благодарностью принял пинчуков подарок, хотя не только по-русски, но даже по-румынски читать не мог: в Гарманешти почти все крестьяне были неграмотны. Петр Тарасович знал это, однако его нисколько не смутило такое обстоятельство:

— Будут и в Румынии все грамотны, як в моем колгоспи, — и неожиданно даже для себя Пинчук рассказал, что из одной только их артели вышли три инженера, десять учителей, шесть зоотехников, одиннадцать агрономов, девять врачей. И даже один генерал! — добавил он с необыкновенной важностью и гордостью, пряча улыбку в своих добрых усищах. — Ось як живемо!

— А что это за книги? — спросил его Бокулей-младший, показывая на подарок Петра Тарасовича.

— «Устав сельскохозяйственной артели» и «Поднятая целина» Михаила Шолохова. Е у нас такий добрый письменник, якый колгоспну жизнь дуже знае — як вона создавалась и прочее...

Хозяин внезапно вытащил из-под подушки, очевидно, заранее приготовленные какие-то желтые старые листы и подал их Пинчуку, торжественно, насколько позволял его слабый голос, сказав:

— От деда моего, гайдука Василиу, сохранились. Почитай!

— Благодарствую. — Пинчук принял листы, осторожно свернул их и спрятал в кармане. Он приготовился было вновь пуститься в долгую беседу с хозяином, но ему помешал вбежавший с испуганным и растерянным видом Кузьмич.

— Що таке? — спросил его Петр Тарасович.

— Беда, товарищ старшина! Целый конфуз, язви его...

— Да що случилось, скажи?

— Никита... — Кузьмич часто моргал глазами и не мог больше сказать ни единого слова.

Пинчук понял, что от ездового он ничего не узнает, и сам выбежал во двор. К нему навстречу, с огорода, где дымилась потихоньку железная бочка, шел Лачуга, неся черный, курящийся паром вещевой мешок, из которого что-то капало...

Петр Тарасович ахнул: он вмиг понял, что произошло.

...Никита Пилюгин по рассеянности — этот недостаток разведчики обнаружили в нем недавно — положил свое белье и старое обмундирование в вещевой мешок, куда еще раньше поместил свой НЗ — сухари и несколько банок мясных и рыбных консервов. Кузьмич, которому старшина приказал собрать и пропарить в бочке солдатскую одежду, этого не знал и положил в бочку никитин мешок вместе с обмундированием и бельем других солдат. При высокой температуре консервные банки вздулись, лопнули и...

— Якого ж... ты глядев, старый чорт! — напустился Пинчук на перетрусившего Кузьмича.— Що вы со мной зробилы! Всех посажу!..

Михаил Лачуга, поняв, что дело их — «табак», с не свойственной ему прытью юркнул в сад и укрылся там. Кузьмич же, покорно потупившись, ждал, что будет. Его, однако, спасла Наташа, которая появилась во дворе: при ней Петр Тарасович не мог скандалить. Решил это дело отложить до более удобного случая.

Солнце уже село за Карпатами. На небе появились звезды. В какой-то крестьянской избенке пела скрипка,

слышались негромкие голоса. Недалеко, за селом, приглушенно ревели моторы, глухо, но отчетливо шлепали по дороге стальные гусеницы танков. Высоко, прячась среди звезд, гудел ночной бомбардировщик.

Пинчук постоял немного, подумал о чем-то и быстро пошел к тому месту, где отдыхал Аким. Петр Тарасович решил показать Ерофеенко бумаги, подаренные хозяином. «Может, переведут в политотделе»,— подумал старшина.

3

На другой день разведчики поспешили на прощанье навестить могилу Али Каримова, — она была рядом со свежей могилкой Василики. Кладбище находилось недалеко за селом. К разведчикам присоединилась вся семья Бокулеев, кроме хозяина: старик был еще слаб. Маргарита и Наташа несли венки, сплетенные ими из живых цветов. Шли молча. Горькая печаль тенью легла на загорелые лица солдат. Был печален и Сенька: Али — первый их товарищ, которого схоронили они на чужой земле. Аким шагал позади Ванина, чувствуя какую-то смутную вину перед погибшим Каримовым. Он долго не мог найти объяснения этому своему странному состоянию. Наконец, понял: он вспомнил про Николая Володина, и это имя каким-то образом связывалось в голове Акима с гибелью Каримова. Каким именно — он еще не знал точно. Но через минуту ему стало ясно и это. В его голову пришла до безумия нелепая мысль: а вдруг снаряд, от которого пострадал Али, именно этот снаряд, а не какой-нибудь другой, сделан руками Николая Володина? Ведь известно же, что Володин работал на немецком заводе, выпускающем снаряды. Уничтожь Аким предателя там, в родном селе, при встрече с ним, не было б Володина, не было б этого снаряда — убийцы Каримова, не было б и этого горя разведчиков...

В груди Акима зажглось что-то, выросло в острое, жгучее и досадное чувство, которое обжигающим комом подкатывалось к горлу, затрудняя дыхание. Глаза его, потеряв свой кроткий голубой цвет, измученно мигали.

Подошли к двум невысоким могильным холмикам. Здесь уже собралось много гармонештских жителей —

стариков, ребятишек, женщин и девушек с нарядными венками. Шахаев, волнуясь, заговорил:

— Граждане Гарманешти! Сегодня мы собрались на могилах двух юных бойцов... Я не оговорился, товарищи! Да, двух бойцов! Василика тоже пала в борьбе, как настоящий боец. Она решила пойти вместе с классом, к которому принадлежала, и погибла в борьбе. Храните же о ней светлую память, товарищи! Рядом с Василикой — могила советского солдата. Вместе со своими соотечественниками, — Шахаев махнул рукой в сторону разведчиков, — он пошел защищать свою страну. Вместе со всеми советскими воинами он нес освобождение своим согражданам и вам, трудовому румынскому народу. Так не забывайте же и этой святой могилы и имени этого солдата. И когда создадите в своей стране подлинно народную республику, то будьте готовы в любую минуту пойти на ее защиту, как поступил парень, с которым мы пришли сюда проститься!

Наташа сильнее стиснула руку Акима. Солнечные брызги путались в золотистых завитках ее волос, выбившихся из-под пилотки, скатывались по разрумянившимся от возбуждения щекам. Глаза ее, которые сейчас были, казалось, еще больше и еще синее, чем обычно, смотрели грустно.

По лицам многих румынских девушек катились слезы. Наташа посмотрела на них и заплакала сама. Но грусть ее была какой-то необыкновенной, легкой, она не давила на сердце своей тяжестью, а как бы освещала девушку изнутри.

Соединились воедино печаль и радость, образовав одно большое и сложное чувство, в котором Наташа и сама не могла разобраться. У людей с чуткой и нежной душой такое бывает часто. Аким понял ее состояние, и ему сделалось немного легче. Он внезапно заговорил. И речь его, сбивчивая, странно поразила всех:

— Кто, кто же напишет о вас книгу?.. Наши милые, чудесные товарищи!.. Такую книгу, чтобы о ее страницы... обжигались сердца... чтобы, читая ее, люди будущего стыли от удивления... от гнева и восторга!.. Прощай, Али!.. Прощай, Василика!.. — помолчал, трудно глотнул воздух и закончил: — Еще раз прощай, Каримыч!.. Не обижайся на нас... что оставляем тебя здесь. И тут будут наши друзья... Будут, Али... Уже есть!..

— Мы будем хранить его могилу, — тихо, почти клятвенно сказала по-румынски Маргарита, будто узнала, о чем говорил этот высокий, сутулый русский солдат.

Разведчики отдали салют.

Девушки положили венки.

С кладбища румынки уходили, взявшись за руки. И среди них, как среди самых дорогих подруг, шла Наташа. Девушки пели песню, слов которой Наташа не понимала, но песня была, — Наташа знала это, — созвучна ее большому чувству, и она мысленно подбирала слова, в которых объединялись и печаль, и радость, и светлая надежда, и любовь, и горячая клятва.

Ветер распугал редкие тучки, небо очистилось и стало еще светлее. На пригнутых виноградных лозах висели тяжелые и прозрачные, но еще зеленые гроздья...

Подошли к селу. Не подошли, а будто подлетели на крыльях песни. Зеленые улицы купались в солнечном море. Кругом было свежо, дышалось легко и свободно. В центре села Наташа распрощалась с девушками. Она шла в свое подразделение и думала, что у нее и у ее родины теперь будет много-много подруг и друзей. Наташа улыбнулась своей мысли и, счастливая, побежала к домику Бокулеев, над которым трепетал на легком ветру красный флаг, уже давно установленный Пинчуком.

4

К вечеру разведчики покидали село. Незадолго до этой минуты к Петру Тарасовичу подошел Аким.

— В политотделе перевели те бумажки, что дал тебе хозяин, помнишь? — сказал он, присаживаясь рядом со старшиной на ступеньках крыльца. — Любопытный документ, Тарасыч! Очень любопытный... В нем говорится о том, к чему сто лет тому назад стремились передовые люди Румынии. Не случайно сохранил эти бумажки дед Бокулеев. В них, в этих бумажках, отразились вековые чаяния обездоленного люда...

— Да ты читай, Аким, — нетерпеливо поторопил Пинчук. — Це дуже интересно.

— Называется этот документ «Изяславская Прокламация 1848 года». С этим манифестом выступил румын-

ский революционер Николай Балческу. Вся прокламация очень длинная, и на досуге ты, Тарасыч, прочтешь ее всю. А сейчас зачитаем только... только... Ну вот, хотя бы это, — Аким нашел отчеркнутое им и прочел:

> «Румынский народ желает установить справедливость для всех, особенно для бедных. Бедняки, селяне, землепашцы, кормильцы городов, настоящие сыны Родины, которые столько времени носили считающееся позорным имя Румына, которые выносили на своих плечах все трудности и в течение многих веков обрабатывали землю бояр и обогащали их, кормили прадедов, дедов, родителей и, наконец, нынешних землевладельцев, эти люди имеют право потребовать великодушия у землевладельцев и справедливости у Родины — предоставления им участка земли, достаточного для пропитания их семьи, а также пастбища для скота, участка, который был уже давно окуплен их трудами на протяжении столетий».

— «Великодушия у землевладельцев»! Як бы не так! — вдруг зашумел возмущенный Пинчук. — Жди от помещиков великодушия!..

— В этом-то, Тарасыч, и вся беда. Народ был еще страшно наивен. И за это жестоко расплачивался... А что, Тарасыч... — Близорукие глаза Акима мечтательно сузились... — А что, Тарасыч, не исключено, что вот только теперь и, может быть, только потому, что пришли сюда мы, сбудутся, наконец, эти вековые упования бедных румын, а?

— А як же! Понятно, сбудутся. К тому дело иде, — твердо выложил Пинчук, удивив Акима определенностью своих убеждений. — А ты як думал?

— И я так же, — с радостью подтвердил Аким.

Провожать разведчиков вышла вся семья Бокулеев во главе с хозяином, хотя ему это стоило больших трудов: он был еще очень плох и еле держался на ногах. С горы, от боярской усадьбы, спустился во двор Бокулеев старый конюх Ион, который давно уже сдружился с советскими разведчиками. Жена хозяина, одетая по-праздничному, вручила Пинчуку огромный сноп пшеницы, увитый цветистыми лентами, как золотые косы де-

вушки. Растроганный, Кузьмич бережно уложил подарок в повозку.

Вместе с разведчиками в поход собрался и Бокулей-младший. Мать заплакала, но он что-то сказал ей и она замолчала. Должно быть, Георге удалось убедить ее, что иначе он поступить не может. Его горячо поддержал старый Ион, сказавший на прощанье:

— Иди, иди, сынок. С русскими не пропадешь. Хаживал я с ними! Иди!

В саду стоял Никита Пилюгин, но не один. Разведчики с удивлением увидели рядом с ним Маргариту.

— Ишь ты, чорт непутевый! Видал тихоню? — засмеялся Сенька. — Вот еще адеменитор[1] новый объявился!..

Румыны провожали разведчиков до соседнего села, а потом еще долго стояли на одном месте, толкуя меж собой о чем-то. Под косыми лучами уплывающего за горы солнца ярко светился коричневый лоб Бокулея-старшего да какая-то медная бляшка на качуле[2] Иона.

Солдаты уходили вперед, не думая в эту минуту о том, что принесли они с собой в души этих простых хлеборобов. Теплый, ласкающий ветер, ожидание близкой окончательной победы постепенно отогнали грусть, навеянную на солдат посещением могил Каримова и Василики. Разведчики заметно повеселели. Вася Камушкин, сидевший на повозке рядом с Кузьмичом,— об этом позаботился Шахаев, так как Вася был все еще слаб после тяжелого ранения, — насвистывал какую-то мелодию; сам Кузьмич понукал одноухую Маруську, которая все время хитрила, отпуская постромки. Наташа была задумчива. Аким держал ее под руку, будто шли они не по фронтовой дороге, а по тропинке парка культуры и отдыха где-нибудь в районном городке. Только Пинчук сидел нахохлившись да щипал свои усы. Петр Тарасович был не в духе. Перед самым выездом из Гарманешти он получил от Юхима письмо. Тот сообщал ему, что с построй-

---

[1] Соблазнитель (*рум.*).

[2] Качула — черная меховая шапка с загнутым набок верхом и пером, прихваченным трехцветной розеткой, которую носили румынские солдаты времен турецкой войны 1877 года.

кой клуба вышла неувязка: нехватает транспорта, в колхозе к тому же не оказалось своих специалистов, а район пока не дает.

«Мабудь, придется отложить до моего приезду», — подумал Петр Тарасович с некоторой грустью: отсрочка строительства клуба не входила в его планы

— Погоняй, Кузьмич! — пробасил он, вынимая из широченного кармана шаровар кисет.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Утром 20 августа знойное синее небо стало вдруг серым. Воздух звенел от разрывов снарядов и буравящих его сотен советских бомбардировщиков и истребителей. Огромные столбы пыли и дыма закрыли солнце. Все, что долгие месяцы накапливалось, укрывалось в лесах, оврагах, садах, в земле, что приводилось в готовность и усиливалось изо дня в день: людские массы, оружие, боевая техника в невиданных еще количествах, все, что зрело для Седьмого сокрушительного удара, — вся эта грозная сила, наэлектризованная одним мощным зарядом — нетерпеливым стремлением двинуться вперед и смести преграждающего путь врага, — по одному приказу пришла в движение, и неприятельские укрепления затрещали под ее напором.

Танковые полки и бригады, посадив на свою броню пехоту, на полной скорости мчались вперед по дорогам и без дорог, по разным направлениям. Казалось, что-то стихийное было в этом потоке, и им нельзя было руководить, направляя его к одной разумной цели. Между тем управление было, и оно было отличным: танковые

экипажи разговаривали между собой по радио, командиры машин — с командирами взводов, те — с командирами рот, ротные — с батальонными и так — до командира бригады, корпуса, армии, фронта — до Ставки Верховного Главнокомандования.

В первые часы наступления немцы и румыны пытались еще оказать сопротивление, на отдельных участках фронта оно было упорным. Но уже к двенадцати часам дня вражеская оборона рухнула едва ли не на всем протяжении — от Пашкан до Ясс. Войска Второго Украинского фронта почти прямолинейным движением своих ударных группировок устремились на юг, чтобы уже 25 августа в районе Леушени — Леово встретиться с войсками Третьего Украинского фронта и замкнуть кольцо окружения вокруг войск генерал-полковника Фриснера.

Немцы откатывались вглубь страны, на юг, даже не подозревая о том, что путь им отрезают войска маршала Толбухина. Советские танки и самолеты настигали отступающих. Почти все дороги были завалены поверженной неприятельской техникой и трупами немецких солдат. В кюветах лежали с перебитыми ногами и распоротыми животами немецкие битюги, барахтаясь в искромсанных упряжках. Настигнутые нашими танками, одни из немецких солдат тут же падали на землю, прятали свои головы как бы только затем, чтобы не видеть своего смертного часа; другие, обезумев, с дикими криками бежали в степь; многие офицеры стрелялись...

Неудержимый наступательный порыв, достигший ко второй половине дня наивысшего напряжения, порождал своего рода соревнование: одна дивизия стремилась обогнать другую, первой ворваться в город или селение.

2

Генералу Рупеску удалось со своим корпусом избежать полного разгрома на линии укрепрайона. Его штаб снялся в ночь с 19 на 20 августа и, эскортируемый кавалерийским эскадроном, двинулся на юго-запад, через Роман, в сторону Бакэу, поближе к Трансильванским Альпам, где Рупеску надеялся укрыться со своим соединением, вернее, с его остатками, от стремительно наступавших советских войск.

На очередном пятиминутном привале, во время заправки машин, к закамуфлированному лимузину генерала подскакал на взмыленном коне вестовой.

— Вам пакет, господин командующий! — громко крикнул он, резко осаживая коня. — Из Бухареста! — и подал Рупеску пакет с пятью сургучными печатями.

Генерал, торопясь, долго не мог отодрать эти печати и страшно злился, по обыкновению багровея. Наконец, ему удалось раскрыть пакет, и из него прямо на запыленные узкие брюки генерала скользнула бумажка, заполненная аккуратными, ровными, немного угловатыми, как колонки цифр, строчками. Рупеску сразу же узнал почерк полковника Раковичану и стал жадно читать:

«Дорогой друг! — писал Раковичану. — Случилось нечто ужасное. Лавина русских полчищ двинулась вглубь нашей страны. В Бухаресте творится такое, что не передашь словами. Появились вооруженные рабочие отряды, тайно и заблаговременно сформированные коммунистами. Во главе одного такого отряда стоит — кто бы вы думали? — Мукершану! Да, да, господин генерал, тот самый Мукершану, которого «убил» по вашему приказанию лейтенант Штенберг. Он обманул вас. Полагаю, вы сделаете из этого факта необходимые выводы. Впрочем, оставьте его в покое. Есть дела поважнее, генерал.

Да, есть дела важнее.

Антонеску арестован.

Король в замешательстве. Очевидно, его принудят отдать приказ о выходе Румынии из войны на стороне немцев. Полагаю, однако, что от этого мало что изменится в положении страны: двор переориентируется — и все. Место немцев займут, конечно, американцы — сами понимаете! Разницы между теми и другими большой нет, да и драка между ними совершенно иного свойства. Американцам, например, преотлично удалось сохранить свои капиталы в нашей стране даже в тот момент, когда здесь господствовали немцы. Надеюсь, когда-нибудь вы узнаете подробности. Строжайшая тайна! Мне — и то удалось разнюхать все случайно...»

Рупеску возмущенно шмыгнул носом и оторвался от чтения. «Мне — и то!» — повторил он, качая головой. — «Ну что за наглая самоуверенность у полковника! И этот вечно снисходительный тон. Выскочка! Он позволяет себе постоянно разговаривать со мной свысока. Что же,

однако, удалось ему разнюхать? — не без зависти подумал генерал. — Что за строжайшая тайна?..»

А Раковичану «разнюхал» следующее.

В Румынии, как и во многих других странах, попавших в зависимость Гитлера, американским предпринимателям пришлось в отдельных случаях прибегнуть к операции по маскировке своих авуаров[1]. Соответствующие акции передавались в собственность некоторым, связанным с американским капиталом, трестам в нейтральных странах, а зачастую — и в самой Германии или на территориях, включенных в состав Третьей империи. Таким образом, американское предприятие за одну ночь становилось предприятием с нейтральным или даже с... германским и редко с румынским капиталом. Представители американских деловых кругов не прекращали вести переговоры и совершать коммерческие сделки со своими врагами.

«В столь тяжкий для нашей родины час, мой дорогой друг, нельзя терять голову, — писал далее Раковичану. — У нас осталось право выбрать покровителя. Сделать это нетрудно, если иметь в виду, что песня Гитлера, повидимому, уже спета, а деловые круги Америки очень заинтересованы в нас. Нужно анализировать и нужно действовать. Причем действовать хитро. Ваш коллега генерал Санатеску (помните, мы говорили с вами о нем) — благороднейший человек, он готов взять на себя верховную власть в стране, против чего двор не возражает: наши соображения полностью разделяются реджеле Михаем и Мамой Еленой. Санатеску их устраивает. Не далее как вчера я имел честь провести с ним двухчасовую беседу. Прелестный господин и аристократ, словом — наш, и это не мешает ему на всех перекрестках бранить режим Антонеску и расхваливать русских «освободителей». Вот это, я понимаю, камуфляж! Его превосходительство генерал Санатеску просил меня передать вам, чтобы и вы, мой дорогой друг, действовали по его образу и подобию. Пока что у нас нет иных путей. Не исключена возможность, что уже завтра вы станете союзником русских. Так не жалейте красивых слов, клянитесь им в союзнической верности, в горячей сыновней любви, бейте себя в грудь, плачьте, ревите белугой в своем

[1] Авуары — вклады в банк за границей.

искреннем раскаянии. Проклинайте Гитлера и Антонеску, особенно нажимайте на последнего, окрестите его палачом, людоедом, извергом рода человеческого. Русским это понравится. А нам — наплевать. Антонеску сошел со сцены, и мы ничего не теряем. Действуйте же, мой милый генерал, и знайте, что так надо. Действуйте, но, повторяю, не теряйте голову. Никакого общения ваших солдат с русскими не должно быть. Бойтесь этой заразы. Пусть это будет вашей первой заповедью. И вот вам вторая — уповайте на американцев!

Желаю вам, генерал, успеха. Ваш И. Раковичану».

Рупеску перечитал письмо еще раз, теперь уже не отрываясь, и задумался. История сделала какой-то резкий скачок, и вокруг вершилось что-то непонятное и потому страшное. «Что же это такое?» — в который раз спрашивал себя генерал, все ниже и ниже опуская тяжелую голову под огромной запыленной фуражкой, напоминавшей своими размерами решето. «Неужели все к чорту!.. Король, бояре, генералитет — все! Не может быть... Что же это?..» И уже вслух глухо и трудно выдохнул: «Негодяи, жалкие торговцы!.. Им ничего не стоит продать родину. Лишь бы купец побогаче. Проходимцы!.. Ну, а ты куда же? К какому берегу?» — мысленно спрашивал себя генерал.

Ответа не находилось.

В тот день, когда Рупеску получил это письмо, в пяти километрах от Бухареста в лесу на небольшой полянке сидело человек сорок рабочих. Были среди них металлисты, нефтяники, шахтеры, каменщики, ткачи, железнодорожники. Судя по их исхудавшим лицам и по горящим, воспаленным глазам, люди эти только что возвратились с нелегкого задания и теперь обсуждали результаты своего похода. Им еще не верилось, что все кончилось так благополучно, что их открытое выступление обошлось без жертв.

— А вы видели, как перетрусил тот жандармишка, когда мы подходили к зданию сигуранцы?

— Что там жандарм: немцы и те разбежались от склада с оружием.

— А другой отряд, сказывают, проник прямо во дворец. Как у них там, Николае, все благополучно?

— Все обошлось, как нельзя лучше.

— Ну, и дела! Николае, а сегодня ночью вновь двинем?

— Да, Николае, куда мы теперь?

Вопросы эти были обращены к невысокому, коренастому человеку, с короткой прической, который сидел посреди сгрудившихся вокруг него рабочих. На коленях у этого человека лежал немецкий автомат. Вооружены были и остальные: кто автоматом, кто винтовкой, кто револьвером. Один из них, шахтер, с темными, узловатыми руками, по виду самый старший, спросил, беспокойно глядя прямо перед собой:

— Ну вот, сделали мы это дело. А дальше что? Скажи, Николае, что будем делать дальше? — Рабочий, повидимому, знал Мукершану уже давно. — Не по домам же будем расходиться?..

— Только не это! Дома нам сейчас делать нечего, Лодяну. — Мукершану встал. За ним начали подниматься и другие. Однако он попросил: — Сидите, товарищи. Я так лучше увижу всех. Дóма нечего делать! — повторил он строже и, испытывая знакомое ему одушевление, заговорил горячо. — Мы совершим величайшее преступление перед страной, перед нашим исстрадавшимся, бедным народом, если не воспользуемся благоприятно сложившейся обстановкой. Красная Армия стремительно приближается к Бухаресту. Через неделю, самое большое через две она будет здесь. История нашего революционного движения не предоставляла еще нам более удобного момента взять власть в свои руки и навсегда покончить с буржуазно-помещичьими порядками. Мы покроем себя неслыханным позором, если упустим этот исторический момент. Не стыдно ли будет нам, передовому классу, если в такое исключительное время мы станем отсиживаться дóма? Помните, товарищи, кроме нас, рабочих, в Румынии нет силы, способной поднять весь народ на революционную борьбу и довести эту борьбу до победного конца! Мы с вами, друзья, сделали только первые шаги. Теперь мы должны пойти дальше, на решительный штурм прогнившего старого строя. Другого пути у нас нет! Вокруг нас, рабочих, объединяются все прогрессивные элементы страны...

— Ты, верно, не понял меня, — обидчиво перебил угрюмоватый шахтер. — Неужели я колеблюсь?..

— Я уверен в тебе, Лодяну. Разве старый шахтер

подведет? Но ты спросил, что нам делать дальше. И вот я отвечаю. Вчера кто-то меня спросил, кажется ты, Лодяну, пойдут ли за нами крестьяне? Вопрос уместный, ибо беднейшее крестьянство — наш главный союзник в борьбе. И от того, к кому оно примкнет, будет зависеть исход этой борьбы. Вот почему многих из нас с вами партия посылала в деревни и села. Мы хорошо знаем, чего хотят крестьяне. Им нужна земля. Получить ее они могут только с нашей помощью, с помощью рабочих. Убедить крестьян в этом — значит завоевать их на свою сторону. Думаю, что нам удастся это сделать! Бедные крестьяне — а их большинство! — пойдут за нами!

— Конечно, пойдут. Куда же им еще! — выкрикнул рабочий в железнодорожной гимнастерке. И вдруг приблизившись к Мукершану и силой усаживая его рядом с собой, застенчиво улыбаясь, попросил: — Говорят, Николае, ты видел русских солдат. Расскажи нам о них, Николае! Какие они из себя?

Взволнованнее задышали рабочие. Освещенные улыбками, помолодели их худые лица.

— Расскажи, Николае!

— Ты давно обещал!

— Что ж вам сказать о них? — Мукершану уселся поудобнее, пригласил всех поближе к себе. — Веселые ребята, эти русские. Вот их ничто не устрашит и не остановит. И очень надеются, что свою кровь они проливают на нашей земле недаром, что мы, их братья по классу, будем действовать решительно.

— Да уж не подведем! — глухо проговорил шахтер. Его дружно поддержали:

— Антонеску вышвырнули. На этом не остановимся.

— Гривица [1] больше не повторится! — железнодорожник яростно щелкнул затвором своей винтовки.— Умнее стали...

— Наш вождь Георгиу думает так же, как вы, товарищи! Разрешите от вашего имени заверить партию, что мы не остановимся на полпути... — Мукершану хотел еще что-то сказать, но его перебили:

— Пусть Георгиу не сомневается. Мы все пойдем за ним! А ты, Николае, рассказывай нам о русских!

---

[1] Имеется в виду забастовка железнодорожников в Гривице в 1933 году, разгромленная правительством.

— Давай, Мукершану!

— Мы слушаем тебя!

— Что ж, это можно,— Мукершану положил свои тяжелые руки на вороненое тело автомата — Сначала только вот о чем: Центральный Комитет поручил мне отобрать десятка два рабочих-добровольцев и отправиться с ними в армию. Надо, товарищи, чтобы и армия пошла за нами и в решительный момент поддержала нас. Кто желает пойти со мной?

— Записывайте меня, — первым попросил шахтер.

Но Мукершану возразил:

— Нет, Лодяну, тебе надо остаться. У тебя пятеро детей, жена больная. Да и возраст твой не призывной. Так что будешь работать среди молодых рабочих в своей шахте. К тому же у тебя в армии служит брат. Парень он, помнится, толковый.

— Разумный, ничего не скажешь, — с тихой гордостью за младшего брата проговорил шахтер.— Только обижаешь ты меня, старика, Николае...

— Ничего, ты тут нужнее, — успокоил его Мукершану.

Добровольцами оказались почти все. И Мукершану пришлось самому решать, кого взять с собой в армию; пожилых семейных рабочих он уговорил остаться на своих местах.

3

Дивизия генерала Сизова в полдень встретилась с большим препятствием. Путь ей преграждала неглубокая, но бурная и довольно широкая горная речушка Молдава, к тому же сильно порожистая. Движение полков застопорилось. Ждать, пока саперы наведут переправу, было просто невозможно: в войсках распространился слух, что левый сосед, овладев городом Тыргу-Фрумос, будто бы уже подходит к Роману — городу, взятие которого входило в задачу дивизии Сизова. Слух этот еще больше подогрел и без того разгоряченные солдатские души. Растерянность, вызванная встречей с злополучной речушкой, длилась всего лишь несколько минут.

— Что ж вы стоите, как мокрые курицы?.. Гвардия!.. — с этими словами широкоплечий пехотный старшина, с перевязанной головой, не раздеваясь и не разу-

ваясь, высоко подняв над собой бронебойное ружье, вошел в воду. — За-а мно-ой! — закричал он, и солдаты, один за другим, хохоча и задыхаясь от холодной горной воды, кинулись в речку.

— Это же Фетисов повел свою роту! — крикнул кто-то из сержантов.— Ну и ну!.. Вот — чортушка!..

— Даешь Романия Марэ! [1] — неслось отовсюду.

Стрелковые батальоны быстро форсировали реку. На другом ее берегу солдаты разувались, выливали из сапог и ботинок воду; взбудораженные, повеселевшие и охмелевшие от радости стремительного движения, они строились в колонны и с песней шли вперед, пропадая в тучах пыли.

Вьюги да бураны,
Степи да курганы,—

неслись звуки, рожденные еще в огневые дни Сталинграда, —

Грохот канонадный,
Дым пороховой...—

рвалась песня к желтому небу...

Мы идем к победам,
Страх для нас неведом.

Река ревела, билась меж сотен солдатских ног, заливала лица бойцов сердитыми брызгами, многих сваливала, готовая унести куда-то. Но таких быстро подхватывали под руки их товарищи, и волны реки в бессильной ярости отступали. В музыку водоворотов вплетались, как гимн мужеству, слова неумолкавшей песни:

Страх для нас неведом!..

Какой-то солдат попал в колдобину, нырнул с головой, потом вновь появился на поверхности, фыркая и отдуваясь. Пилотку его уносило вниз по течению. Он попробовал было ее догнать, но скоро убедился, что это ему не удастся. А солдаты кричали со всех сторон:

— Держи, держи ее, Федченко!..

Но маленький солдатик, ученик Фетисова, без сожаления махнул рукой:

— Хай плыве. Мабуль, в Черном море жинка моя, Глаша, поймае... — он говорил это без улыбки. Худень-

---

[1] Великая Румыния (*рум.*).

кое конопатое лицо солдата было серьезно-сосредоточенным.

«Глаша!»

Это слово больно резануло сердце старого сибиряка. Кузьмич так прикусил ус, что несколько рыжих, прокуренных волосинок, откушенных им, упало в воду. Ездовой размахнулся, с силой огрел лошадей, наискосок, сразу обеих, длинным, сплетенным в форме змеи кнутом. Одноухая дрогнула всем своим холеным крупом, испуганно фыркнула и махнула в воду, увлекая за собой и вторую кобылицу. Повозка подпрыгивала на подводных камнях, ее заносило течением. Но сильные, разгоряченные лошади влекли бричку за собой. Рассвирепевший Кузьмич, привстав, не переставая, сек их. Сидевшие на повозке Пинчук, Камушкин и Пилюгин, не понимая причины этой внезапной ярости безобиднейшего старика, с изумлением следили за ним. На блестевших спинах лошадей вспыхивали молнии от беспорядочных и злых ударов кнута.

— Ты сказывся, чи що? — не выдержал Пинчук, когда лошади уже вынесли повозку на противоположный песчаный и отлогий берег. — Ось я возьму кнут да тебя потягаю им, старого биса! — пригрозил он тяжело дышавшему Кузьмичу.

На левом берегу оставался из разведчиков один Михаил Лачуга. Он ждал, пока его битюг напьется.

— Швыдче!.. — поторопил его старшина.

Труднее было переправить артиллерию. Первой вышла к реке батарея капитана Гунько. Петр, увидев на берегу полковника Павлова, подбежал к нему:

— Товарищ полковник, первая батарея прибыла к месту переправы!

Павлов — сухой, подтянутый, с вечно подрагивающим плечом, не понял будто, для чего ему докладывают об этом. Он сердито посмотрел на Гунько.

— Там... там давно надо быть!.. — полковник махнул в сторону противоположного берега. Серые быстрые глаза его вдруг потеплели. — Ладно, начинайте переправу!..

Старый офицер, Павлов до такой степени был влюблен в свою артиллерию, что, казалось, другие рода войск для него ничего не значили.

— Артиллерия все решает! — часто повторял он.

Артиллерийские офицеры любили своего начальника, хотя имели немалое основание быть в обиде на него: Павлов не баловал их чинами.

— Четвертый год в армии — и капитана тебе подавай!.. Нет, послужи еще, братец, послужи!.. — говорил он какому-нибудь командиру батареи, дерзнувшему намекнуть о повышении в звании.

Звание советского офицера для полковника Павлова было святыней, он очень строго относился к повышению в звании своих офицеров, кандидатов для этого отбирал придирчиво, не спеша. Поэтому присвоение очередного звания какому-нибудь уж особенно отличившемуся офицеру было событием не только в жизни этого офицера, но и всех артиллеристов части. Артиллеристы пользовались особой привилегией командования: туда отбирали самый крепкий личный состав. Павлов был суров со своими подчиненными, но вряд ли офицеры согласились бы по своей воле сменить его на другого начальника.

Строгость Павлова, конечно, была хорошо известна и Гунько. Поэтому он с некоторым душевным трепетом готовился сейчас к переправе. Волнение офицера, должно быть, передалось и его солдатам.

— Начнем, товарищ капитан! — крикнул Печкин по возможности бодро и весело. — Давай, заводи! — приказал он шоферам.

Тяжелый грузовик сердито фыркнул, выбросил клубы едкого, вонючего дыма и осторожно пополз к воде.

— Газуй сильней, а то застрянешь! — звонким девичьим голосом крикнул командир расчета, маленький Громовой, стоявший на подножке. — Газуй, Федя!..

«Федя» нажал, что называется, на всю железку. Тягач взревел и на полной скорости помчался вперед, гоня перед собой зеленый водяной вал. Но вот стальное сердце машины «зашлось» от быстрого бега, заработало с перебоями, мотор зачихал, захлебнулся и смолк. Это случилось как раз на середине реки. Расчет мгновенно спрыгнул в воду; над рекой понеслось такое знакомое русскому трудовому люду, подбадривающее, объединяющее несколько сил в одно общее усилие:

— Раз, два — взяли!.. Еще... взяли!..

— Давай, давай, солдаты, поднажми!.. Ну, орлы!.. — кричал с берега полковник Павлов, подрагивая правым плечом больше обычного. — Давай!..

Это «давай!», поминутно выкрикиваемое в разных местах, в различных тонах и с разной силой, подхлестывало солдат, как кнутом. Они кричали, распаляя друг друга, раззадоривая и подогревая. Те, что стояли на берегу и не желали лезть в воду, вдруг бежали в реку и присоединяли свою силу к усилиям многих и тоже кричали, как позволяла только глотка: «давай!»

Румыны, преодолевая страх, выходили из своих бункеров и издали с неудержимым любопытством наблюдали за необычайными действиями этих непонятных и удивительных людей. Одни говорили: «Что же это?.. Что же будет теперь?.. Куда они идут?.. Как жить будем?..» Другие — тихо, с испугом оглядывались — не осуждают ли, невольно шептали: «Витеж!» [1].

От реки катился и плескался неумолчный гул. Смех, незлобивая брань, крики «давай, давай!», стук колес — все это сливалось в какую-то стройную, торжествующую музыку, наполнявшую сердца странно-беспокойным и вместе с тем добрым чувством к этим барахтавшимся в воде бронзовотелым людям.

Первые машины были вытащены на руках. Но почти на том же самом месте застряла третья, со снарядами в кузове. Она быстро погружалась, засасываемая песчаным дном. Снарядам грозила опасность. Солдаты облепили машину со всех сторон.

— Взяли!.. И-и-и-ще — взяли!.. Раз, два — взяли!..

Бойцы пьянели от собственных криков и усилий. Пристроившись к какой-нибудь части машины или пушки, каждый отдавал все свои силы, которые в такие минуты удваивались. На помощь артиллеристам спешили пехотинцы.

— Давай! Давай! — кричали всюду, взвинчивая, возбуждая и взбудораживая себя.

Никита Пилюгин долго не хотел лезть в воду. Он стоял на берегу в нерешительности: под его гимнастеркой был черный смокинг, и Никите не хотелось портить заграничное приобретение. Костюмец этот он считал своей собственностью, купленной в стране, где эта самая частная собственность была почти в своем первобытном и первородном виде. Расстегнув ворот гимнастерки и сунув туда руку, Никита с нежностью гладил атласные, иссиня-

[1] Отважные, бравые (*рум.*).

черные лацканы смокинга. Но крики, подхлестывающий рев, доносившийся от реки, подмывали и Никиту. Он чувствовал, как неудержимая дрожь бежала по всему его телу и ноги готовы были, не спрашиваясь хозяина, понести Пилюгина прямо в этот водоворот борьбы огромного людского коллектива со стихией. Еще через минуту Никита без всякого сожаления забросил свою покупку в воду. Быстрое течение подхватило ее и понесло. Роскошный смокинг мокрым грачом поплыл по воде, покачиваясь и все уменьшаясь в размере. Снять сапоги и брюки у Никиты нехватило терпения. Прыгая в воде и гогоча от освежающего холода, он достиг застрявшей машины. Найдя свободное место у борта кузова, уперся своим огромным плечом и, выкатывая глаза, гаркнул что есть моченьки:

— Раз, два — взяли!!

Десяток молодых глоток поддержали:

— И-и-и-ще — взяли!.. Раз, два!..

Никита ощутил, как кузов под его плечом чуть-чуть подался, солдат напряг силы и, испытывая еще никогда не переживаемое им ощущение слитности со всей этой ревущей и хохочущей солдатской массой, закричал буйно и радостно:

— Братцы!.. Пошла, пошла!! Товарищи, пошла!.. Давай, давай!..

По его лицу текли светлые капли: водяные ли брызги катились, пот ли, или это были слезы — трудно понять...

Несколько осмелевших румын в черных безрукавках, из-под которых выглядывали белые длинные рубахи, подкатили к берегу огромную замшевшую в сыром подземелье бочку. Один из них сильным ударом вышиб чоп. Вино ударило вверх мощным красным фонтаном. Тот, кто вышибал чоп, не успел отбежать, и теперь с его подбородка падали на землю кровяно-рдяные капли.

Солдаты подбегали к бочке и угощались.

Марченко, батальон которого переправлялся в это время, хотел было запретить пиршество, но его остановил прибывший на переправу начальник политотдела:

— Пусть выпьют по кружке. Они этого заслужили. Только следи, чтобы не перепивались. А то вон, вижу, тот старикашка уже в третий раз подходит. Твой?

— Нет, — охотно отрекся от солдата Марченко, обрадовавшись, что боец действительно не принадлежал к его батальону. — Из подразделения Забарова! — с удовольствием пояснил лейтенант.

Старикашкой, которого заприметил полковник Демин, был Кузьмич, как известно, любивший выпить. На самом деле он не в третий, а в четвертый раз подходил к бочке. На худых, впалых его щеках горел здоровенький румянец. Кузьмич был навеселе. Однако четвертую кружку ему помешал выпить Пинчук. Заметив на ездовом взгляд начальства, Петр Тарасович взял Кузьмича за руку и отвел его к повозке, как неразумное дитя.

— Стало быть, и выпить нельзя,— обиделся Кузьмич, произнося эти слова слегка заплетающимся языком. — Эх, язви тя!..

Солдаты, выпив по кружке, бежали в воду. До позднего вечера над рекой не умолкал шум. Левее переправлялись вброд тяжелые танки. Задрав высоко вверх длинные стволы, словно боясь захлебнуться, они по самые башни погружались в воду. На берег выползали обмытые, блестя высветленными траками, мчались вперед на предельных скоростях, заставляя содрогаться землю.

Пыльные деревья уже бросили в реку свои изломанные, длинные тени. На берегу стало прохладней, а в воде — теплей. Еще слышнее стали крики, дальше разносил их повлажневший воздух:

— Раз, два — взяли! И-и-и-ще — взяли!.

Устроившись на повозке, Камушкин быстро-быстро набрасывал карандашом в свой альбом штрихи будущей картины. Мольбертом ему служила спина Кузьмича, вздремнувшего после трех-то кружек. Пинчук, увлеченный переправой, не мешал им. Лишь в редкие минуты Вася отрывался от альбома. Закидывал назад волосы, остановившимися глазами смотрел в одну точку. Бесстрашная невидимка-мечта уносила его на своих легких крыльях в чудесное сказочное царство, которому нет ни конца, ни края, где, куда ни кинь взгляд, синеют одни безграничные дали. Начиналось с малого... Кончится война. Камушкин возьмет свой альбом и отправится в Москву, прямо в студию Грекова. Знаменитые художники посмотрят его рисунки, переглянутся между собой,

потом кто-нибудь из них не выдержит, улыбнется и скажет: «Товарищи, перед вами — талант!» Студия, разумеется, немедленно забирает Камушкина к себе. Он учится, а потом начинает писать одну картину за другой. И что ни картина, то — шедевр. Имя Камушкина мелькает в газетах, художника осаждают репортеры. Он отправляется в длительное путешествие по стране: бывает у колхозников, на заводах, у полярников, в воинских гарнизонах. Долгие годы не появляются его картины. Проходит десять, двадцать лет. Никто, конечно, не подозревает, что художник создает великое полотно, может быть, такое же, как репинские «Запорожцы», а может... а может, и лучше. Через двадцать лет картина заканчивается. Она так велика, что ее нельзя установить в «Третьяковке», для нее Советское правительство строит специальное здание, которое с этого момента становится самой притягательной точкой на земном шаре. Назовет он свою картину просто и величественно: «Коммунизм». К ней устраиваются паломничества. Мир спешит увидеть еще небывалое творение искусства. Камушкину аплодируют, обнимают его, целуют...

На этом месте смелая жар-птица — тщеславная васина мечта возвращалась к своей исходной точке. Горячий румянец покрывал лицо комсорга: он стыдился, что так далеко зашел в своих мыслях. Тем не менее он ждал, когда бойкая и смелая подружка-мечта вновь расправит крылья и понесет его в свое безграничное далеко. Камушкин вздрагивал от звучного храпа ездового.

— Ну... тише же,— умоляюще шептал он, дотрагиваясь до фиолетового кузьмичова носа, выводившего какую-то увертюру.

— Рисуешь, Рафаэль?

Начальник политотдела! Вася сразу узнал его голос. Художник и не заметил, как Демин подошел к их повозке.

— Рисую, товарищ полковник... — сказал Камушкин, обернувшись к начподиву.

— Добро! Но выглядишь ты плохо. Почему отказался ехать в госпиталь?

— Не мог я. Такие события!..

— События... — Демин поглядел на реку, словно бы там и вершились эти самые события, о которых думал Камушкин. Добавил мечтательно: — Да, события, бра-

тец! — и перевел взгляд на румын, которые, кучками сбившись у своих домов и переговариваясь меж собой, неотрывно смотрели в сторону переправлявшихся советских войск.

— Брав![1] — говорили они уже смелее, указывая на русских солдат.

До румын доносились гул моторов, голоса красноармейцев, ржание лошадей, скрип повозок, лязг гусениц, свист бичей, громыхание походных кухонь, из которых сыпались на землю красные искры, отчетливо отбиваемый шаг ротных колонн — все те особенные и хорошо знакомые фронтовикам звуки, что рождаются ночным передвижением крупных войсковых масс. Румыны прислушивались к этим звукам с таким же робким и вместе с тем светлым, приподнято-обнадеживающим душевным трепетом, с каким люди прислушиваются к первому весеннему водяному потоку, сорвавшемуся с гор и с неудержимою, торжествующей силой хлынувшему в долину, когда бывает и боязно, но больше — радостно и весело.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

Разгром гитлеровцев на Ясско-Кишиневском направлении совершался по гениально разработанному плану. Вспугнутый и сильно раненный фашистский зверь вначале, как и ожидалось, метнулся на юго-восток, но напоролся на перерезавшие ему путь наши войска. Тогда он устремился на запад, но убедился, что и там уже не пройти. Многотысячная гитлеровская армия, состоявшая из двадцати двух дивизий, была зажата в могучих тисках Второго и Третьего Украинских фронтов.

Оставив огромную группировку немцев у себя в тылу (там было достаточно сил, чтобы окончательно добить окруженного врага), советские войска рванулись вперед, вглубь Румынии. Города мелькали, как в калейдоскопе. Ни днем ни ночью не приостанавливалась неутомимая погоня за другими группировками гитлеровцев. Если пехота слишком отставала от механизированных частей, ее

---

[1] Храбрый, мужественный (*рум.*).

сажали либо на коней, либо на танки. Ночные городишки наполнялись звонким цокотом сотен конских копыт и лязгом танковых гусениц.

Наступление было таким ошеломляюще-быстрым, что гитлеровцы не успевали разрушать города. Ночью над узкими улицами горели электрические и газовые фонари, по тротуарам расхаживали пестрые и важные, как индюки, полицейские.

Не всем было известно, что это наступление повлечет за собой серьезнейшие последствия.

Пока был еще конец августа, и об огромном, историческом значении своего похода советские солдаты могли только догадываться.

Разведчики Забарова давно уже мчались на конях далеко впереди своей дивизии. Им навстречу бесконечной вереницей двигались румынские солдаты. Их даже нельзя было назвать пленными: в плен румын никто не брал. Увидев советских солдат, они торопливо прикладывали руки к своим рыжим остроконечным пилоткам, кричали:

— Армата Рошие!.. Армата Рошие!..[1]

Вместо винтовок румыны несли различные ременные вещи — уздечки, чересседельники, а также то, что могло им пригодиться в хозяйстве: топоры, вилы, лопаты; один даже волок на себе обыкновенное ярмо. Должно быть, эти крестьяне, виноградари, кузнецы и землепашцы меньше всего думали о «Великой Румынии от границ Болгарии до Южного Буга». Они робко подходили к разведчикам и, потея под своей ношей и толстыми ранцами, смуглолицые и большеглазые, говорили что-то непонятное, перебивая друг друга.

— Куда путь держите, служивые? — простецки обратился к ним на всякий случай Ванин. — Отвоевались, что ли? Давно бы так!

Румыны загалдели еще горячей.

Георге Бокулей, ехавший вместе с забаровцами, переводил.

— Они спрашивают, что им делать, куда итти?

— Куда ж им еще? Путь-дорога у них теперь одна — домой. Пускай начинают жить по-человечески,— солидно

---

[1] Красная Армия (*рум.*).

выкладывал Сенька, взявший в свои руки инициативу в беседе с румынами. — Так и переведи, Бокулей, им.

— А все же, куда они идут сейчас? Спроси их, Георге, — сказал Забаров.

Но румыны сами догадались, что хотят от них узнать.

— Акасэ... акасэ! [1] — дружно заговорили они.

— Ну, и идите к себе в акасэ, — распоряжался Сенька. — Скажите, я приказал вас демобилизовать.

Забаров и Шахаев не возражали против сенькиного «приказа».

— Нуй бун разбой! [2] — не унимались румыны.

— О чем это они? — осведомился Ванин у Бокулея.

— Говорят, что война — плохое дело.

— Так это у них война «разбоем» называется? Подходящее названьице. Со стороны Гитлера да вашего Антонеску война и была чистым разбоем. Всю Одессу... Так вот скажите им, Бокулей, что мы пришли сюда всякому разбою конец положить. Так и переведи. И пускай сматываются на все четыре стороны!..

Многие румыны тотчас же сворачивали с дороги, направляясь по домам. Но были среди них и такие, которые боялись итти домой: над ними все еще довлели суровые армейские законы.

В одном месте Бокулей соскочил с коня и закричал:

— Фрате!.. Димитру!..

В солдате, гнувшемся под ранцем, Георге узнал своего родного брата. Это был рядовой стрелок из румынского королевского корпуса, стоявшего в районе Гармалешти против полков генерала Сизова. Еще раньше разведчики со слов Георге Бокулея знали, что брат его, Димитру Бокулей, был свидетелем расстрела капрала Луберешти. Может быть, поэтому разведчики смотрели на младшего Бокулея с некоторой неприязнью.

— Ну как, отвоевался, гвардеец?.. Как поживает твоя Мама Елена? — спросил Сенька, и выпуклые глаза его налились кровяной мутью, что было явным признаком наступающего озлобления. Он холодно предложил отпускную и этому солдату, но Димитру пожелал остаться с братом. И чтобы ему не отказали, быстро поведал разведчикам интересную новость, объяснившую, наконец,

---

[1] Домой! (*рум.*).

[2] Разбой — война (*рум.*)

причину того, почему румынские войска прекратили всякое сопротивление.

— Капитуляция, значит? — полюбопытствовал Никита Пилюгин, с удовольствием произнося слово, о существовании которого вряд ли подозревал раньше. — Полная?

— Тут что-то другое, — сказал Забаров, показывая на румынскую газету, которую услужливо сунул ему Димитру Бокулей. — А ну, Георге, переведи! — попросил Федор.

Бокулей стал читать сначала про себя. Разведчики видели, как загорелое, конопатое лицо солдата светлело. Бокулей тряхнул желтой шевелюрой и перевел:

«В критический для Румынии час я решил для ее спасения прекратить военные действия против объединенных наций, создать правительство национального единства и выполнить волю страны, заключив мир с объединенными нациями. С этого момента все военные действия против советской армии и состояние войны с Великобританией и США будут прекращены».

Это было заявление короля Михая.

Забаров заметил:

— Разумно, а как посмотрят на это немцы?

— Они уже бомбят Бухарест. Направили к городу свои войска, — ответил Георге Бокулей. — Вот тут об этом пишут. Говорят, рабочие в Бухаресте восстали против Антонеску и немцев.

— Так... — задумчиво сказал Шахаев, который все время до этого молчал, занятый какими-то своими мыслями. — Так, — повторил он, а сам думал об одном и том же: о румынском коммунисте Мукершану, — парторг знал от начальника политотдела, что Мукершану находится в столице Румынии. — Кто же сейчас в румынском правительстве — Антонеску? — обратился он к Бокулею.

— Создано новое правительство во главе с генералом Санатеску.

— Сатанеску, говоришь? — быстро переспросил Ванин, тщательно подчеркнув умышленно искаженную им фамилию генерала. — А кто он такой, этот Сатанеску, из каких слоев?

— Пишут, что Санатеску находился в оппозиции к фашистскому режиму Антонеску, — ответил Бокулей.

— «Сатанеску-Антонеску!»—проскандировал Семен.— Не одна ли они пара сапог?

— Как так?

— Что значит: в оппозиции? — не унимался Ванин, теперь уже повернувшись к Шахаеву.

— Оппозиция — несогласие. Значит, этот был несогласен с фашистским режимом.

— А чего ж он раньше не проявлял своего несогласия? Антонеску не трогал его, он не трогал Антонеску. Хорошенькое несогласие!.. Нет, дружки, тут что-то того... — и Сенька, пошевелив у своего правого виска пальцами, энергично сплюнул. — Не по душе мне ваше новое правительство, Бокулей! Разобраться в нем надо. Гляди, как бы вас опять не надули!..

— Придет время, народ разберется. Он ведь сейчас очень разборчивый стал, народ, — успокоил Сеньку парторг.

Разведчики замолчали. По обеим сторонам дороги темной стеной стояли запыленные сосны. В кюветах валялись опрокинутые повозки, армейские кухни, убитые лошади, вывалившиеся из черных разбитых ящиков снаряды, противотанковые и зенитные патроны, противоипритные накидки, противогазы, фляги в серых потертых чехлах, кучи винтовок и автоматов; кое-где застряли, накренившись в одну сторону, темнорыжие танки с большими черными крестами на бортах.

Где-то высоко над головами разведчиков гудели самолеты. По рокоту моторов они не были похожи ни на русские, ни на немецкие.

— Американцы...

— Опять Плоешти бомбили.

— Может, и не Плоешти — у них там нефть. Бухарест разрушают да заводы румынские. Ишь зачастили, когда не надо-то!

— Боятся, как бы народу румынскому не досталось...

— Пораньше-то их не было.

— Их, поди, хватил удар, когда они узнали о нашем наступлении.

— Не по нутру им это, ясное дело,—воскликнул Семен.

Кони понесли разведчиков под гору, где раскинулся город Бакэу. В городе забаровцы, к удивлению своему, увидели казаков генерала Плиева и, не задерживаясь, направились дальше. Однако за городом им пришлось

остановиться. Они встретили казака, который, схватив одного перепуганного румынского капрала за шиворот, злобно тряс его.

— В душу... я тебе покажу, мамалыжник ты несчастный!..

— За что ты его? — бледнея и едва сдерживая себя, спросил подскакавший к казаку Аким.

— Вот, видишь?.. — казак, багровый от ярости, сунул в руку Акима фотографию, на которой был изображен румынский солдат, уводивший со двора украинской колхозницы корову. — Узнаешь этого молодчика?.. В кармане у него нашел. Бережет, грабитель!..— и казак занес было руку, чтобы ударить румына, но Аким с удивительным проворством нагнулся и перехватил руку казака.

— Не сметь!.. — задыхаясь, хрипло проговорил он, блестя очками на горбатом ястребином носу. — Не смей бить!..

Казак, не ожидавший такого оборота дела, молча и растерянно смотрел на худого длинного солдата, сутуло и неловко сидевшего на коне.

Аким заметил эту растерянность и заговорил уже мягче:

— Дура!.. Неужели не понимаешь, кто ты есть и зачем мы тут? Разве мстить мы пришли этому несчастному капралу? Посмотри, как он дрожит весь! Лечить ведь мы пришли его от этого страшного яда, которым отравляли фашисты. Нас ведь с тобой учили только одному ремеслу — как сделать людей счастливыми. Может, ради этого нас и послали сюда. А ты с кулачищами... Чорт с ней, с той коровой. Колхоз другую купит! Не о мщении мы должны сейчас думать. Нам надо, чтобы румыны были нашими друзьями. Придет время, когда он, — Аким кивнул в сторону румына, — сам разорвет в клочья этот фотоснимок. Со стыдом, с презрением к тем, кто послал его в нашу страну. Верни ему снимок, — и Аким, соскочив с коня, отдал снимок румыну.

Сенька, наблюдавший за своим другом, на этот раз не испытывал желания возразить Акиму, вступить с ним в спор, как делал он в подобных обстоятельствах раньше: слова Акима показались ему разумными и понятными. Разведчик чувствовал, что он и сам сказал бы казаку, если не такие в точности слова, то во всяком случае очень похожие на них.

С той поры, как Ванин перешел границу родины, он сильно изменился. Сейчас он с непохожею на него осторожностью относился к своим словам и поступкам. В его действиях уже не было прежней бесшабашности; даже балагурство, без которого он, конечно, не мог прожить и одного дня, теперь имело несколько иное свойство: в нем все чаще проскальзывали серьезные нотки. Должно быть, это происходило оттого, что Сенька, подобно многим нашим бойцам, хорошо понимал, что пришел он на чужую землю не только затем, чтобы разгромить врага,— это было ясно каждому, — но он чувствовал, что благодаря его приходу на этой земле должно было произойти что-то очень важное и значительное, что это важное и значительное должно было родиться и развиться из того, что несли с собой он, Семен Ванин, и его товарищи.

— Вот же человек! Не понимает, что он делает!.. — сказал Сенька о казаке, прислушиваясь к тому, что отвечал Акиму кавалерист. Сенька сгорал от нетерпения вступить в беседу с казаком, но должен был признаться, что лучше Акима ничего не может сказать.

2

К вечеру забаровцы достигли возвышенности, покрытой густым лесом. Тут было тихо и безлюдно. В глубине леса на разные лады щебетали невидимые птицы, колотил носом дятел; глухое эхо далеко разносило его рассыпчатую дробь. От темного и сырого леса веяло прохладой и первозданными запахами грибной плесени и сгнившей замшелой коры. Темная лесная громада звала, манила в свои могучие объятия, шепча что-то ласковое тяжелыми лапчатыми листьями, чуть тронутыми осенним желтым тлением.

Разведчики спешились, чтобы немного поразмяться, перекусить и сообщить командованию свои координаты, а также обо всем случившемся и замеченном. Кое-кто без привычки от быстрой езды натер ягодицы и теперь ходил с трудом. Наташа заметила это и снабдила смущенных «кавалеристов» какой-то мазью. Те немедленно укрылись в лесу. Забаров помогал Акиму наладить рацию. Посланный с разведчиками Михаил Лачуга готовил провизию. Он расстелил на поляне чистую плащ-палатку и теперь раскладывал на ней разные яства: консервы,

красную от паприки[1] румынскую колбасу, копченку. Посреди палатки стояла литровая бутылка, смущая своей красной снегиревой головкой Семена Ванина. Он ходил вокруг соблазнительно сверкающего напитка на почтительном удалении и сокрушенно вздыхал.

Но выпить Ванину так и не удалось: помешал румынский офицер, вдруг вывернувшийся из-за деревьев на коне.

— Кто здесь старший, господа? — спросил он по-русски, подрагивая пушистыми белыми усами и перебегая маленькими глазками с одного разведчика на другого. Одет он был не по-фронтовому пышно, новый зеленый мундир опутан аксельбантами и прочими аксессуарами.

— С кем имею честь? — отозвался в тон румыну Забаров, отходя от рации.

— Переводчик их превосходительства корпусного генерала Рупеску, — отрекомендовался бойкий офицерик.— Разрешите теперь вам задать вопрос: с кем имею...

— Перед вами — советские разведчики. Что угодно их превосходительству? — поддерживая взятый тон, спросил Забаров, удивляя хлопцев и особенно Никиту Пилюгина изысканно-утонченными выражениями.

— Корпусной генерал Рупеску получил распоряжение короля перейти со своим корпусом на вашу сторону, чтобы иметь честь драться бок о бок с доблестными русскими войсками против немцев. Предварительно их превосходительство желали бы договориться с вашим командованием о практической стороне дела.

— Где находится ваш корпус?

— В пяти километрах отсюда, за лесом. Выстроен со всем личным составом и вооружением.

— Я пошлю с вами моего офицера. Он поможет их превосходительству благополучно привести корпус в наше расположение и представить моему генералу.

— Вы очень любезны, господин...

— Полковник, — подсказал Забаров.

Сенька было прыснул, но лейтенант так свирепо посмотрел на него, что разведчик вмиг вытянулся в струнку.

— Капитан Ванин! — позвал Федор. — Вы поедете с господином переводчиком в качестве проводника.

[1] Красный перец (*рум.*).

Бедный «капитан» разинул рот в явном замешательстве. Но тот же суровый взгляд быстро заставил Сеньку обрести соответствующий его новому чину вид. Он, по обыкновению, выпятил грудь, ловким движением рук завязал у горла маскхалат, чтобы не было видно ефрейторских погон, и бодро гаркнул:

— Слушаюсь, товарищ полковник!

— Подойдите сюда, капитан!

Забаров раскрыл карту, показал на обведенную красным кружочком боярскую усадьбу, шепнул: «Сюда приведешь. Только держись с достоинством, понял?» — «Будьте уверены!» — прошептал Семен.

Ванин вскочил на своего коня, погарцевал на месте и, подмигнув разведчикам, помчался вслед за румыном, держа на всякий случай, по своей профессиональной привычке, автомат наготове.

Забаров сообщил по радио командованию дивизии о случившемся и получил указание о дальнейших действиях.

Не успели еще скрыться из виду Ванин и румын, на полянку, где разместились разведчики, вылетел другой всадник. Он с такой силой натянул поводья, что буланый жеребец взвился вверх и с минуту, храпя, топтался на задних ногах.

— Здорово, ребята! — с этими словами лейтенант Марченко, запыленный и смуглый, как араб, спрыгнул на землю и своей неслышной рысьей походкой подошел к Забарову. — Здравствуй, Федор! Здравствуйте, ребята! Не ожидали?

— Признаюсь, нет, не ожидал. Ты как сюда попал?

— Противника ищу. Воевать не с кем, — Марченко сказал это с искренностью, и все поверили, что он действительно страдает от того, что воевать вдруг стало не с кем: румыны прекратили сопротивление, а немцев на этом участке пока не было видно.— Чорт знает что! Вам, разведчикам, лучше, — продолжал он сейчас уже с наигранной беспечностью, изредка бросая короткие взгляды на Наташу. Та, должно быть, первая поняла истинную причину внезапного появления бывшего их командира и, внутренне сжимаясь, старалась не смотреть на лейтенанта. — Впрочем, к вам я по старой памяти завернул. Скучаю... — Марченко замолчал, и Наташа не заметила,

как он оказался рядом с ней. Чувствуя, что в горле пересыхает, он заторопился:

— Можно вас... на одну минуту?

— Пожалуйста, — она и сама не знала, как вырвалось у нее это слово.

Свернули на просеку. Остановились. Туда же, вслед за хозяином, подошел и конь.

— Я вас слушаю, — тихо проговорила она, легонько, но настойчиво высвобождая ладонь из его горячей, чуть вздрагивавшей руки. — Что вы хотели? Говорите.

— Зачем ты спрашиваешь об этом?.. Разве ты не видишь... Наташа!.. Да знаешь ли ты, что я не могу больше так... нет сил... Из госпиталя сбежал, чтобы тебя... скорее увидеть. И вот сейчас... сто верст проскакал... разыскивал... — он говорил это, трудно и часто дыша, наклоняясь к ней все ниже и ниже.

— Оставьте это, товарищ лейтенант. Вы же знаете, что я люблю... — она подняла глаза и, испугавшись, замолчала: что-то страшное, дикое было в его взгляде. В глубине до предела расширенных зрачков она увидела отчаянную решимость.

В одно мгновение он поднял ее на руки, быстрым, коротким движением запрокинул ей голову и стал жадно и исступленно целовать в губы, шею, глаза, щеки. Потом отпустил, шумно выдохнул и, застонав, метнулся к коню. Одним прыжком оказался в седле и, гикнув, поскакал прочь, злобно пришпоривая буланого.

Ошеломленная, то холодея, то пылая вся, глядела она ему вслед, еще не веря, что все это случилось с нею наяву, а не во сне.

3

Первые минуты, находясь среди своих ребят, Ванин не думал, что ему будет страшно ехать в расположение пока что неприятельских войск. Правда, Сеньке очень хотелось взглянуть на «их превосходительство», но все же было жутковато. Отъехав с километр, Сенька сделал попытку успокоить себя, уверяя, что в сущности получил самое что ни на есть пустяшное задание. Но хитрость не удалась: Сеньке решительно было грустно. «Пропадешь ты, Семен Прокофьевич, ни за понюшку табаку»,— невесело размышлял он. Не радовало его и новое звание, ко-

торым он был столь быстро и великодушно удостоен. Поэтому у Сеньки сразу отлегло от сердца, когда их догнал Шахаев, посланный в самый последний момент Забаровым, очевидно, не совсем надеявшимся на дипломатические возможности гвардии ефрейтора Семена Ванина.

Румынский корпус действительно был сосредоточен в пункте, указанном переводчиком. Огромная поляна была заполнена войсками. Тысячи солдат, сложив винтовки в козлы, валялись на траве, отдыхая, подложив под головы ранцы. На дороге, уходящей куда-то вниз, находилась боевая техника: колонна тяжелых шкодовских грузовиков с прицепленными к ним черноствольными орудиями, приземистые рыжие танки, мотоциклы, бронетранспортеры. Опушку леса полукольцом охватывали легковые машины. В них пестрели нарядные генеральские и офицерские мундиры. Переводчик направился туда. Румынские солдаты с любопытством осматривали русских, одетых в зеленые кистястые маскхалаты. Под их взглядами Ванин сразу обрел свою обычную лихую и гордую осанку, пришпоривая коня, натягивая одновременно удила, заставляя скакуна пританцовывать.

Так они приблизились к передней большой зеленой машине. Сидевший в ней грузный человек, опутанный, как и переводчик, золотыми шнурками, поправил фуражку на маленькой для его огромного тела голове, не то сердито, не то просто вяло глянул на подъехавших. Шахаев дал понять Ванину, чтобы тот начинал: парторг решил ограничить свою миссию лишь наблюдением за действиями Семена.

— Честь имею... — начал с достоинством Ванин, быстро научившись премудростям выспренних выражений. — Представитель советского командования еф... капитан Ванин! — быстро поправился он.

Переговоры длились несколько минут. Генералу, по всей вероятности, уже давно надоело торчать на этой поляне, и он решил поскорее покончить с делом. К тому же он очень боялся внезапного появления русских казаков, что, как он полагал, помешало бы ему сохранить корпус как войсковую единицу. Генерал сказал что-то своему переводчику, и почти немедленно к головной машине подкатил роскошный открытый лимузин.

— Их превосходительство просят господ русских офицеров ехать впереди колонны!

Как раз в это время к головной машине подошел румын, лицо которого разведчикам показалось знакомым. Они всмотрелись и узнали Николае Мукершану. Шахаев приложил руку к пилотке, приветствуя его. Мукершану также узнал разведчиков и, приблизившись к ним, сказал:

— Здравствуйте, товарищи! Вот мы и опять встретились. Вы удивлены?.. Ничего удивительного, только сегодня из Бухареста. Решил послужить в армии.

Шахаев, пожимая руку Мукершану, заметил, как генерал поморщился и нетерпеливо завозился в своей машине. Должно быть, то же самое заметил и Мукершану. Он усмехнулся и попрощался с разведчиками.

Шахаев и Ванин спешились, передали своих коней румынским солдатам и, свободно откинувшись на спинку сиденья, устроились в лимузине. Огромная кавалькада, окруженная многочисленной конной свитой, медленно двинулась за Шахаевым и Ваниным. Возле их машины то и дело появлялся бойкий переводчик и сообщал вопросы своего начальника. Генерал беспокоился, не станут ли советские солдаты разоружать его корпус по дороге, удастся ли господам русским офицерам предотвратить это нежелательное для обеих сторон обстоятельство. Сначала Ванин отвечал терпеливо и вежливо. Но скоро (он даже сам не заметил, когда это произошло!) ему надоели и переводчик и генерал.

— Скажи своему начальнику, что ничего с ним не случится, — уже не придерживаясь принятого в высших сферах изысканного тона, ответил он.

Переводчик ускакал и, к удовольствию Сеньки, больше не появлялся.

Шахаев сидел молча и думал об этой неожиданной встрече с Мукершану, о том, как он расскажет о ней полковнику Демину, который, конечно, пожелает увидеть румынского товарища. Теперь старшему сержанту казалось понятным то, что румынский король уже на третий день наступления советских войск сделал свое заявление, и то, что вот этот, ехавший сейчас вслед за ними, генерал, который произвел на парторга неприятное впечатление, переходил со своим корпусом на нашу сторону в то время, когда корпус мог бы еще сражаться. Во всем этом Шахаев видел действия таких людей, как Мукершану. Парторг вспомнил из истории, как наша партия

в предреволюционные годы посылала в армию своих людей и какие это имело серьезные последствия. Шахаеву было приятно от мысли, что опыт партии, членом которой он состоял, пригодился Мукершану и его товарищам, которых — Шахаев чувствовал это — было немало в румынском корпусе.

Занятый своими мыслями, Шахаев предоставил действовать Сеньке. По мере приближения к нашим войскам беспокойство Ванина стало возрастать. Забаров приказал ему привести весь румынский корпус в район боярской усадьбы в полной сохранности, чтобы со стороны румын не было никаких жалоб. Теперь Ванин сомневался, что ему это удастся. Он видел перед этим, как наши пехотинцы бесцеремонно спешивали румынских кавалеристов и кавалеристами становились сами. Может произойти то же самое и с его колонной, и тогда их превосходительству придется топать на своих двоих... Поразмыслив хорошенько, Ванин выработал, с согласия Шахаева, свою тактику, коей и воспользовался при виде большой встречной колонны нашей пехоты.

Остановив румын, он вырвался вперед, крикнул:

— Передайте по колонне! Командующий армией приказал: румын не трогать, потому как они будут воевать против немцев на нашей стороне!..

Весть эта мгновенно пронеслась по ротам. Солдаты солидно гудели:

— Разве мы не понимаем?

— Кто их будет трогать, коли они за нас теперь.

— Давно бы надо одуматься.

— Ребята, не безобразничать!

— Знаем без тебя!..

И все-таки, воспользовавшись темнотой, румын помаленьку тревожили.

Но инциденты были ничтожные, и о них все забыли, едва достигли помещичьей усадьбы. Шахаев ушел к разведчикам, а Ванин, разыскав своего начальника, доложил:

— Товарищ майор, в качестве «языка» мы с Шахаевым целый румынский корпус привели. Воевать против немцев имеют желание!..

— Знаю, слышал. Сейчас доложу генералу.

Со двора доносился шум моторов, людские голоса: туда въезжали машины румынского генералитета. Выглянув в окно, Сизов понял, что произошло.

— Дали мне задачу ваши разведчики, — сказал он вошедшему майору. — Что я с ними буду делать? Ну, уж ладно, посылай генералов ко мне!

Обрадованный благополучным путешествием, румынский корпусной генерал Рупеску подарил лимузин Сеньке. Ванин поблагодарил, распрощался с румынами и, неистово сигналя, помчался прямо на полевую почту: не встретиться с Верой в такой знаменательный для него день и не похвастаться перед ней столь успешным выполнением необычайного задания уже было свыше сенькиных сил.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

Просторный кабинет Сизова был полон румынских генералов и старших офицеров. Они сидели за сервированным длинным столом, сияя золотом и серебром эполет, шнурков, а некоторые — еще и желтыми лысинами. Подбородки у всех были досиня выбриты. Подвыпившие офицеры провозглашали один тост за другим. То и дело раздавались крики:

— Бируйнца! [1]

— Траяска Армата Рошие! [2]

Корпусной генерал Рупеску, сидевший рядом с Сизовым, повернув к комдиву красное жирное лицо, обливаясь потом, непрерывно повторял:

— Фрате бун!.. Фрате бун! [3]

Сизов со сдержанной улыбкой кивал головой на излияния толстого, удивительно круглого генерала.

— Господа! — трудно приподнявшись на короткие, ослабевшие от хорошего вина ноги, хрипло закричал Рупеску. — Господа! Прошу, господа!.. Реджеле Михай!..

Послышались ленивые, негромкие хлопки. Заглушая их, в комнате раздался звонкий, юношески восторженный голос молодого румынского офицера:

— За товарища Сталина, господа! За его здоровье! — и, чокнувшись со своим соседом, офицер залпом выпил рюмку. Все сделали то же самое. Рупеску бросил косой

---

[1] Победа (*рум.*).
[2] Великая русская армия (*рум.*).
[3] Родной брат (*рум.*).

взгляд на своего раскрасневшегося от бушевавшего в нем юношеского восторга офицера, но ничего не сказал. Потом Рупеску поднялся еще раз и провозгласил новый тост:

— Господин генерал! Господа русские офицеры! Еще вчера мы стояли друг против друга как враги. А сейчас сидим за одним столом как товарищи. Я прошу, господа, выпить за дружбу наших народов. Отныне в отношениях румын и великого русского народа наступила новая эра — эра вечной дружбы и доброго сотрудничества. Завтра мои войска пойдут в бой и будут драться бок о бок с доблестной русской армией против фашистских варваров до полного их уничтожения. Мое правительство, правительство его превосходительства генерала Санатеску, — с видимым удовольствием подчеркнул Рупеску, — приказало мне поддерживать с советским командованием теснейший контакт. Король Михай и Мама Елена преисполнены уважения и признательности к советскому правительству, к его армии, к господину Сталину. Совместно пролитая кровь в борьбе с врагом будет символом нашей нерушимой дружбы. За дружбу, господа! — генерал торопливо опрокинул свою рюмку, в который уж раз попытался досуха вытереть лысину и торжественно сел, глядя перед собой остановившимися блестящими глазами.

Румынские офицеры смотрели на Сизова, ожидая от него ответного тоста, большинство — с чувством удивления, оттого что находились в одной комнате и чокались с теми, в кого только еще вчера стреляли.

Сизов быстро встал на свои упругие, сильные ноги, сказал коротко:

— За победу, господа!

И снова румыны закричали, звеня стаканами:

— Бируйнца!

— Бируйнца!

Расчувствовавшись, лезли целоваться с советскими офицерами, которые, улыбаясь, вежливо отстранялись от объятий, несколько охлаждая пыл румын. Рупеску продолжал любезно расхваливать Красную Армию, ее солдат, офицеров и генералов. Склонившись к Сизову, он вдруг сказал:

— Девятнадцатого августа вы здорово обманули нас, господин генерал. Мы никак не могли предположить, что

вы начнете наступать в полдень да еще при такой слабой артподготовке. Немецкому командованию пришлось бросить против вас еще две свежие дивизии, спешно снятые из района Тыргу-Фрумос. Это была роковая ошибка немцев. К тому же центральный дот был заранее захвачен вашими солдатами. Должен вам сказать, это потрясающий случай!.. Не могли бы вы показать мне этих ваших героев?

— Двух из них вы уже видели, господин генерал. Это те солдаты, что сопровождали вас сюда, в боярскую усадьбу.

— Солдаты? — удивленно спросил Рупеску. — Но... позвольте... разве это были солдаты? Мне говорили, что — офицеры.

— Солдаты, господин генерал.

Рупеску, широко раскрыв рот, отчего нижняя, тяжелая губа его отвисла вниз, долго глядел на Сизова.

Переводчик, тоже озадаченный, но очень веселый, с трудом сдерживая улыбку, терпеливо ждал, когда же его превосходительство обретет дар речи.

2

За боярской усадьбой в огромном черешневом саду стоял неровный гул солдатских голосов. Там устраивались румынские роты и батареи. Чаще других раздавались слова:

— Акэса!

— Армата Рошие!

— Нуй бун разбой!

Слышались команды взводных и унтер-офицеров:

— Скоатець байонета! [1]

Во двор заходили и советские солдаты. Вокруг них сейчас же собирались толпы румын, образовывая круг, и начинался удивительный, но хорошо знакомый воюющему люду разговор...

— Нушти руссешти? — первым долгом осведомлялись наши бойцы, только потому, что значение этих слов, для удобства произношения несколько искаженных, было известно им.

---

[1] Снять штыки (*рум.*).

— Ну штиу, — отвечали румыны и в свою очередь, также без всякой цели, спрашивали, называя русские слова, которые были знакомы им:

— Русский карош? Русский не будет фук-фук?

— То-то «карош». Небось забыли об этом, когда Транснистрию пошли завоевывать, — говорил какой-нибудь советский солдат с добродушной грубоватостью и, хитро сощурившись, спрашивал, будучи глубоко уверенным в том, что от нелепого соединения русских слов со знакомыми румынскими получается правильная и понятная фраза: — Разбой-то, значит, того, нуй бун?.. — По понятиям бойца, сказанное им должно было означать: война-то, значит, плохое дело?..

Другой наш солдат, нарочно коверкая русский язык и полагая, что от этого он станет понятнее иностранцу, старательно втолковывал:

— Сперва твой пришел к нам. А зараз наш пришел к вам. Понятно, нет?..

Батарея капитана Гунько стояла по соседству с румынскими артиллеристами. С разрешения командира маленький Громовой, захватив с собой молчаливого Ваню-наводчика, раньше всех оказался среди румын. Сейчас он, снисходительно похлопывая румынского солдата по плечу, осведомлялся:

— По-русски шпрехаешь? Нет, стало быть. Жаль... — и глубокомысленно заключал: — Ну, ничего. Зашпрехаешь когда-нибудь. Теперь все по-русски говорить захотят...

Но вскоре Громовому повезло. Угрюмейший Ваня-наводчик где-то раскопал румына, который сносно «шпрехал» по-русски. К тому же румын этот оказался парнем на редкость словоохотливым. С ним Громовой и пустился в пространную беседу.

— В Одессе, что ли, по-русски говорить-то научился? — первым долгом поинтересовался командир орудия.

Румын с отчаянным испугом замотал головой.

— Не был я в Одесса.

— Ну, добре. А зачем же дрожишь так?

— Говорят, русские убьют нас всех. Выведут в горы и убьют... — губы солдата как-то сразу опустились, затряслись.

Громовой засмеялся.

— Кто же сказал вам такое?

— Лейтенант Штенберг. Он — приятель нашего командира батареи, приходил к нам и рассказывал.

— Сволочь он, этот Штенберг. Наверно, боярский сынок?

— Да, боярский, — подтвердил румын.

— Так и знал! — воскликнул Громовой с возмущением.— А вы не верьте ему, вражине! Не верьте таким,— успокаивал он румын. — Мы ведь — советские! Понимаешь?..

— Ну штиу.

— А вот это понимаешь? — Громовой взял солдата за обе руки и сильно стиснул их в своих ладонях. — Понимаешь?..

— Не понимаю...

— Ну, что мне с тобой делать? — в отчаянии развел руками маленький Громовой. — Понимать нужно. А то вас замордуют этак-то...

К артиллеристам подошла группа румынских пехотинцев. В ней особенно выделялась своим гигантским ростом фигура одного солдата. Солдат этот молча присел рядом с Громовым и стал внимательно слушать, о чем говорил русский. Должно быть, великан не все понимал из слов Громового, и его брови над большими темными глазами вздрагивали, хмурились, выдавая напряженную, трудную работу мысли. Наконец, он не выдержал и спросил румына, с которым разговаривал Громовой:

— О чем вы... с ним?

Солдат коротко рассказал.

— Русский говорит, что они не тронут нас. Лейтенант Штенберг, командир нашей роты, обманул нас, — закончил солдат.

— Я так и знал, — великан потемнел еще больше. — Вот змея!.. Прикидывается еще добреньким. Послушай, солдат! — вдруг оживился угрюмый румын. — Ты хорошо говоришь по-русски, попроси у этого товарища... знаешь что? — на минуту растерялся, покраснел, потом быстро выпалил: — Звездочку красноармейскую!..

— Что ты говоришь? Как можно?

Великан, умоляюще глядя на солдата, владевшего русским языком, повторил:

— Попроси же! Ну, что тебе стоит...

Это был брат старого шахтера, тот самый Лодяну, которого по решению трибунала разжаловали из офицеров в рядовые — одновременно с расстрелом капрала Луберешти.

— Попроси, — твердил он.

Но Громовой и сам понял, чего хочет этот богатырь. С минуту поколебавшись, сержант стянул с головы пилотку, отвинтил звездочку и собственноручно прикрепил ее к пилотке румына.

Румынки из соседнего села приносили солдатам еду: разрезанную суровой ниткой дымящуюся мамалыгу, яйца, молоко, брынзу. Получили свою толику и собеседники Громового.

— Кушяй... товарыш!.. — угощал Громового Лодяну.

Сержант охотно взял предложенный ему кусочек мамалыги. Усердно хвалил, подмаргивая молодым румынкам:

— В жизни не ел такого! Просто объяденье!

В другом конце сада пела скрипка, гулко стучал барабан, насытившиеся солдаты отплясывали батуту[1]. Организатором веселья был бухарестский железнодорожник, который пришел в корпус вместе с Мукершану. Постепенно и все солдаты перебрались туда, и до самого утра под темными деревьями не умолкал шум.

3

Ванину стоило немалых трудов разыскать ночью, да еще в незнакомом, неизученном поселке дивизионную полевую почту. Но не было еще случая, чтобы он не доводил своего плана до конца.

— Как это ты нас нашел, Сеня? — обрадовалась Вера, с удивлением глядя то на сверкающий лимузин, то на Семена, стоявшего в наполеоновской позе под лучами фар.

— Какой же был бы из меня разведчик? — снисходительно улыбнулся Семен. — Садись вот, прокачу, соскучился, честное слово.

— Я сейчас, Сеня! Только начальника спрошу!

Вера скрылась за дверью и через минуту появилась снова, прямо с ходу чмокнув Сеньку в запыленные губы.

---

[1] Батута — румынский народный танец.

— Разрешил... Ну, куда же мы?

— Садись, там видно будет...

Он усадил ее рядом с собой, включил скорость, дал газ, и машина в минуту вырвалась из поселка.

— Сеня, чья это? — спросила Вера, ежась и от ночной прохлады, и от легкой дрожи, вызванной близостью любимого.

— Румынский генерал подарил! — гордо сказал Семен. И на всякий случай спросил: — Не веришь?

— Верю, Сеня...— сразу согласилась девушка, не сомневаясь, что он соврал, но не желая именно в такой момент портить ему настроение.

Покатав на машине Веру и доставив ее обратно на почту, Ванин поехал искать свое подразделение. Разведчиков он нашел сравнительно быстро. На одном доме, тускло освещенном электрической лампочкой, увидел большую, неуклюжую надпись углем:

«ПИНЧУК ТУТОЧКИ».

Толстая стрела, устремленная вниз, категорически подтверждала, что Пинчук именно «туточки», а не где-нибудь еще.

Семен дал несколько протяжных, скрипуче звонких гудков. Ему хотелось обязательно вызвать кого-нибудь из хлопцев и поразить своим приобретением. Ворота открыл Михаил Лачуга.

— Где ты взял эту штуковину, Сенька? — спросил он, скаля в улыбке большой щербатый рот.

— Во-первых, я тебе не Сенька, а господин капитан, — предупредил Ванин, который, оказавшись среди своих ребят, снова впал в обычный свой шутливо-беззаботный тон, — а во-вторых, не видишь разве, что соответственно чину мне вручена персональная машина!..

Лачуга захохотал. Засмеялся и Сенька.

— Ну, ладно. Давай дорогу.

Через минуту он уже рассказывал окружившим его разведчикам про свои похождения, про то, как он «пленил» целый румынский корпус во главе с генералом. Быль ловко сдабривал великолепной захватывающей небылицей, на что был большой мастер. Аким под конец сенькиного повествования не выдержал и заметил:

— У тебя, Семен, получается похлеще, чем у Кузьмы Крючкова.

— Ну, ладно, ладно,— проворчал Сенька.— Ты, Аким, безнадежный маловер. Кузьма Крючков врал, а я... Да вот спроси Шахаева.

В доме за маленьким круглым столиком трудились Пинчук и Шахаев. Петр Тарасович уговорил-таки парторга написать письмецо секретарю райкома, чтобы тот помог Юхиму насчет строительства клуба. Лицо старшины было попрежнему сильно озабоченным. Нелегко, видимо, было ему управляться с двумя хозяйствами: маленьким, но очень канительным хозяйством разведчиков и большим, не менее канительным хозяйством колхоза.

Шахаев давно наблюдал за Петром Тарасовичем: тот хмурился, щипал усы, кряхтел, на крупном лице его появились капельки пота. Очевидно, очередная «директива» давалась ему трудно.

«Дорогой товарищ Пинчук! — думал Шахаев, глядя, как хлопочет этот неуемный и неутомимый человечище.— Скоро, скоро вернешься ты к своему любимому делу! Как же оно закипит в твоих сильных золотых руках! Только зря ты сейчас волнуешься — есть кому позаботиться о твоей артели!»

Деловую обстановку нарушил вошедший в комнату Ванин. Он был, что называется, в форме. Плутоватое лицо сияло хитрой ухмылкой, а в выпуклых глазах — зеленый озорной блеск, и весь он имел гордую осанку.

— Что, товарищ старшина, опять директиву строчите? Бедной вашей Параске скоро их подшивать некуда будет, входящих номеров нехватит... Вот бы селектор для вас установить на кузьмичовой повозке. Надели бы наушники да и слушали, что в вашем колгоспі робится. А так разве можно управлять — одними директивами. Этак руководят только плохие начальники, для которых и имя придумано подходящее: бюрократы...

— Замолчи же ты!.. Зарядив, як пулемет!.. Ось я тебе покажу бюрократа! — загремел Пинчук, подымаясь из-за круглого стола. Лицо его и вправду не предвещало ничего хорошего. Ванин решил, что разумнее всего будет поскорее ретироваться.

Вслед за Сенькой вышел на улицу и Шахаев. Вышел, как ему думалось, освежиться ночным воздухом, но уже в следующую минуту строго уличил себя: «Ты же вышел увидеть ее, Наташу...»

Где-то в глубине двора раздался и тут же смолк ее голос. Парторг, словно бы желая утихомирить свое сердце, крепко прижал руку к груди и быстро прошел во двор, к тому месту, откуда доносилась румынская речь. Там вели беседу братья Бокулеи.

— Кто вам сказал такое про русских? Вот уже от третьего солдата слышу, — говорил старший. — Ты посмотри на меня — жив и, как видишь, здоров. А я ведь провел среди них несколько лет. Русские — не фашисты. Они совсем другие люди, Димитру. Я не могу тебе объяснить всего, но ты сам поймешь, когда побудешь среди них. Убивать они нас не станут. Это какая-то сволочь наговорила про них такое. Мы еще найдем этого человека. Мы очистим нашу армию от негодяев, Димитру. Армия должна служить народу. Про русских говорить такое может только наш враг.

— А вдруг правда, Георге? — с беспокойством спросил младший Бокулей.

— Ты что же, родному брату не веришь?

— Никому сейчас верить нельзя.

— Глупый ты, Димитру! Ну, ладно, не веришь мне, но верь в советских людей. Это — особенный народ, они всегда — за правду!.. — Георге Бокулей говорил быстро и горячо.

Шахаев присел рядом и слушал, с трудом вникая в смысл беседы.

— Может, нам домой уйти... Все же лучше будет, — глухо сказал младший брат. — Мать, отец — старые...

— Можешь итти, я тебя не задерживаю. Но я останусь, — резко ответил Георге и, вдруг обернувшись к Шахаеву, сказал:

— Вот мой брат Димитру все хнычет. Перед ним одна дорога — домой. А вы, русские, всегда бодрые.

Шахаев заговорил без обычной для него мягкой ласковой улыбки:

— Право, уж не такие мы бодрячки, Георге, как тебе показалось. Больно и нам, иногда до слез больно. Но мы не из той породы людей, которые любят хныкать.

На бревне, под ореховым деревом, листья которого сильно пахнут анисовым яблоком, сидели Наташа и Аким. Наташа спросила:

— Ты, наверное, сердишься на меня, Аким?

— Откуда ты это взяла?

— Не притворяйся, сердишься!

— Но ведь ты сама мне все рассказала. Разве ты виновата, когда он...

— Не надо, Аким, об этом, — быстро прервала она его и поспешила перевести разговор на другое: — Ты очень много пишешь в свой блокнот в последнее время. Зачем это?

— Для нас обоих, — сказал Аким серьезно. — Когда мы будем с тобой жить вместе...

— А когда это будет? — перебила она.

— После войны, конечно... И вот тогда я стану часто читать тебе свой дневник.

— Всегда? Это же надоест.

— Нет, не всегда. Когда будем хныкать из-за какой-нибудь пустяковой житейской мелочи... Словом, если нас вдруг потянет к благополучьицу этакого мещанского пошиба, к маленькому и слепому семейному счастьицу, не счастью, а именно счастьицу, — вот тогда-то я и открою свой дневник, чтобы наша хата опять наполнилась грохотом сражений, боевыми кличами, предсмертными словами погибших друзей, мы увидим их кровь, мужественные лица... и нам станет стыдно. И устыдившись, мы вновь будем видеть дальше и глубже...

— Мечтатель ты мой!

— Нам нельзя не мечтать, Наташа!

— Понимаю, — проговорила она тихо и немножко печально, чувствуя, что он сказал именно то, что крепко жило и в ее сердце. Помолчав, она сказала задумчиво: — Мы слишком часто демонстрируем свое счастье, Аким. Особенно я. И перед кем? Перед солдатами, которые пока что лишены его. Перед Шахаевым, например... Нехорошо это.

Говоря так, Наташа ожидала, что Аким будет возражать ей, уговаривать, убеждать, и вообще постарается рассеять ее мысли, но вместо этого он с обидной для нее поспешностью согласился:

— Да, да, ты, пожалуй, права, Наташа. Лучше нам держаться подальше друг от друга. — Аким взял себя в руки и произнес последние слова твердо, хотя ему было очень тяжело говорить их.

Испуганная, оскорбленная, Наташа ответила как можно спокойнее, даже холодновато:

— Так лучше, конечно.

— Да. — Аким в последний раз коснулся губами ее пушистых и влажных ресниц, почувствовал, как они дрогнули от этого прикосновения. — До свиданья!

— До свиданья, — ответила она все так же холодновато. Но, едва он скрылся в темноте, разрыдалась.

Шахаев стоял на улице, возле дома, в котором расположились разведчики. Он думал сейчас о братьях Бокулеях, с которыми только что беседовал.

— Как все всколыхнулось! Потому, что мы пришли сюда!.. — задумчиво, вслух проговорил Шахаев, запрокидывая на сложенные на затылке руки свою большую белую голову. — Столетие — недвижимо. Подспудно разве... глубинные течения. И вдруг... Сколько людей будет искать своих путей-дорог!.. Какая еще жестокая классовая битва разгорится!..

От боярской усадьбы до него доносились неясный гул чужой и нашей речи, урчание автомобилей, конское ржание, цокот копыт. С неба катился на землю ровный рокот ночных бомбардировщиков.

Шахаев, не отрываясь, глядел на одну звезду, которая показалась ему какой-то особенной. Большая и яркая, она как бы трепетала на темном куполе небес, излучаясь и струясь, бросая во все стороны свет более яркий, чем все другие. Парторгу подумалось, что, может быть, это горит одна звезда московского Кремля и что выдалась такая ночь, когда она горит необычайно ярко и светит необыкновенно далеко, так, что ее видно отовсюду. И всем! И он стал всматриваться в нее еще напряженней...

Ночь. Впереди — мрачно проступающие на мутном горизонте горы. Где-то вверху, над крышей домика, мягко похлопывает красный флаг. Шахаев улыбается. Это все Пинчук придумал! С той поры, как перешли румынскую границу, возит он с собой этот флаг.

— Без нашего родного флага дышать трудно... — бережно завертывая его в чистое полотно, говаривал Петр Тарасович.

Флаг легко трепещет по ветру... Его шелест рождает в сердце Шахаева чудесные звуки:

От Москвы до самых до окраин...

Песня звучит все громче и громче. Тает в далеких ущельях. А он, затаив дыхание, прислушивается к ней, будто настраивает свое сердце на нужную, до трепета душевного родную волну своей прекрасной, единственной в мире, раскинувшейся от края до края, от моря до моря, социалистической державы. Невольно поворачивает лицо на восток, туда, где уже занимается утренняя зорька, откуда скоро придет и сюда свет. Исчезает огромное расстояние, отделяющее его от родимой земли, ощутимее становятся нити, связывающие солдат с советской землей, солдат, ушедших в чужие края, чтобы принести свет и другим людям.

Шахаев возвращается во двор. Ему хочется немедленно рассказать товарищам обо всем, что он пережил и перечувствовал сейчас. Однако разведчики уже спят. Бодрствует один лишь Кузьмич. Он хлопочет возле коней, которых теперь у разведчиков более десятка.

В открытом лимузине в обнимку с Акимом спит Сенька. Луна освещает его загорелое, ничем не омраченное лицо. Он по-детски сладко причмокивает губами.

Ветерок, усилившийся к утру, гасит звезды. С гор неслышно сползает туман. Усталое желтое око месяца тускнеет.

Где-то голосисто поет петух. Ему сразу же откликаются другие в разных концах поселка.

На домах появляются белые флаги. Их становится все больше и больше — здесь, вон там... и там... и дальше. Везде!

...Румыния прекратила сопротивление.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

Фронт отодвинулся. Советская Армия ушла далеко вперед. Не слышно было даже орудийного гула. В селе не осталось ни единого русского солдата, а жизнь в Гарманешти не угомонилась, не вернулась в свои прежние, привычные берега, как возвращается река после весеннего паводка, на что так уповал черный Патрану. Возбуждение не только не спадало, но все более увеличивалось, с каждым днем становилось шире, принимая грозные размеры. Теперь крестьяне-бедняки открыто и настойчиво требовали земельной реформы, по собственной

воле избрали в некоторых селах народные советы, писали длинные послания в Бухарест, угрожали.

Словом, было отчего призадуматься хромому Патрану. В его доме чуть ли не каждую ночь проходили долгие совещания людей, которым, по словам полковника Раковичану, «стало неуютно жить с приходом Красной Армии». Сюда огородами, через виноградники, тайком пробирались: сельский поп, бывший примарь, жандарм, тоже бывший, лавочник, управляющий имением помещика Штенберга и, наконец, содержательница корчмы и публичного дома, вдовая Анна Катру, известная тем, что умудрялась всучить по высокой цене самую что ни на есть никудышную еду и цуйку гарманештскому или проезжему посетителю ее заведения. О любом кушанье или напитке у нее имелось в запасе высказывание какой-нибудь знаменитости, коим она ловко пользовалась. Видя, что посетитель колеблется, раздумывая, заказать или не заказать блюдо, которое ей особенно хотелось поскорее сбыть, она пускала в ход эти высказывания. И кто же мог устоять перед словесными чарами знаменитого поэта или, скажем, романиста!

Перед всеми этими людьми, страшный в неразрешимости своей, встал вопрос: «Что же будет теперь? Куда теперь?»

Молчали. Вздыхали. Кряхтели.

— Ну, что вы головы повесили! — говорил, наконец, с упреком Патрану. С этого он начинал вчера, позавчера, неделю и две недели назад. — Русские, как кривец, прошумят, пробушуют — и нет их. А мы останемся. Они, вон они уже где — не видно, не слышно, к Венгрии приближаются. Не русских, своих надо бояться. У нас своих хамов развелось — хоть отбавляй. Земли захотели!.. — Сегодня старик говорил более горячо. — Ну, дождетесь же вы, Корнеску да Бокулеи!.. Вот только уйдут совсем ваши русские...

— Христова правда! — не дал договорить ему поп. Соскочив со скамьи, он принялся неистово креститься. — Христова правда... Не сдобровать им, этим оборвышам проклятым. Адским огнем их...

— У нас один путь, господа! — прервал его хозяин.— Мы не беззащитны, и наши сельские хамы должны скоро в этом убедиться. Слава богу, новое правительство — за нас...

— Совершенно верно! — живо подтвердил управляющий. — Мой господин, молодой боярин Штенберг, вчера прислал мне письмо, в котором подробно говорит об этом. Никакой земельной и вообще реформы не будет, господа!..

— Слава те, святитель наш! — снова подскочил поп.— Пресвятая матерь-богородица!

— ...Король остается с прежними функциями, — торжественно повествовал управляющий, все более воодушевляясь. В этом месте его речи содержательница корчмы и публичного дома всхлипнула, жандарм оглушительно шмыгнул носом и встал во фронт, застыв изваяньем у порога, а лавочник чмокнул в щеку бывшего примаря. — Лейтенант Штенберг пишет, что... — управляющий широко улыбнулся. — Он пишет, что Америка, великая Америка, господа, решила взять шефство над нашей бедной страной!.. И еще пишет лейтенант, — управляющий резко снизил голос до шепота,— он пишет, чтобы мы не сидели сложа руки, а действовали... Коммунистов и всех, кто им сочувствует, помогает, всех... понимаете?..

Поп вновь закрестился и бочком-бочком стал было пробираться к двери, но Патрану ловко подцепил его своими железными волосатыми пальцами за рясу и, водворив на прежнее место, пообещал:

— Сболтнешь где, отец Ион, конец тебе! Вот этими руками удавлю... Бог простит меня!

— Что вы, что вы, сын мой! — всплеснул пухлыми дланями перепуганный насмерть поп, подальше отодвигаясь от Патрану.

Проговорили до полуночи. Под конец собрания кто-то спросил:

— А где же твой Антон, Патрану?

— В город, в Ботошани, уехал, — ответил хозяин, побыстрее выпроваживая гостей.

На этот раз Патрану солгал: он не сказал, что послал своего старшего сына проводником большого отряда немцев, прорывавшихся в горы из ясско-кишиневского кольца через тылы русских войск.

Прошло уже несколько дней, а старший сын не возвращался. Это сильно тревожило старика. Проводив последним управляющего и закрыв за ним калитку, Патрану присел на крыльце. Не спеша раскурил трубку.

Задумался. Под сараем младший, нелюбимый его сын играл на скрипке, выводя что-то жалобное, хватающее за душу.

— Леон, перестань пилить! — злобно прикрикнул на него отец и, застонав, тяжело вошел в дом.

Струна, тоненько взвизгнув, дрогнула, замерла, и вязкая, густая тишина повисла над усадьбой Патрану.

2

Раньше всех поднялся со своими верными помощниками — Кузьмичом, Лачугой и Наташей — старшина Пинчук. По случаю большой победы он решил переодеть разведчиков во все чистое. До выезда ему хотелось перегладить гимнастерки, брюки и белье. Наташа попросила у хозяйки дома гладильную доску и с помощью Кузьмича вынесла ее во двор. Михаил Лачуга выгреб из-под котла угли и насыпал их в большой утюг, добытый Пинчуком еще в Шебекене, на Донце. Угли разгорались плохо. Лачуга ходил по двору, раскачивая дырявый утюг, как кадило.

За этим занятием и увидел его Ванин, проснувшийся в своем лимузине.

— Христос воскресе, отче Михаиле! — провозгласил он, натягивая гимнастерку.

— Воистину воскресе! — просвистел в щербатые зубы Лачуга.

— Кому это ты кадишь, отче Михаиле! — выдерживая тон, продолжал Сенька, теперь уже причесывая голову. Свежесть утра бодрила разведчика, и ему хотелось поозоровать. — Слишком тяжело твое кадило, — упирая на «о», говорил он. — Им ты можешь легко проломить наши головы!

— Ничего, твой лоб выдержит, — успокоил Лачуга, отчаянно кадя утюгом. Из утюга сыпались в разные стороны красные искры, по двору поплыл вонючий сизый дымок. Лошади под навесом брезгливо фыркнули, обрызгали хлопотавшего возле них Кузьмича зеленой слюной.

— Не лю-у-у-бишь? — ехидно спрашивал ездовой буланого иностранца, косившего на Лачугу огненный глаз. — Ишь ты, нежный какой! Ваше благородие, язви тя в корень!..

Двор с каждой минутой становился оживленнее. Вслед за Сенькой проснулись Аким, молодые разведчики, прибывшие в подразделение Забарова вместе с Никитой Пилюгиным, и, наконец, сам Никита. Они шумно плескались у белого тазика, поставленного возле крыльца хозяйкой. Когда холодная вода попадала на спину, Никита так неистово кричал, что на него удивленно оборачивались кузмичовы питомцы.

Умывшись, солдаты всей гурьбой отправились под навес проверить своих лошадей. Присоединившийся к ним Ванин сообщил:

— Вот что, донцы-кубанцы, отъездили вы на своих сивках-бурках. Скоро должны появиться с соответствующим предписанием настоящие казаки генерала Плиева,— слово «настоящие» он произнес подчеркнуто.

Молодые разведчики отнеслись к сенькиной новости с недоверием, сочтя ее очередным «розыгрышем». Но минут через тридцать во двор действительно вошли два казака. Один из них, тот с которым еще в пути поскандалил из-за румына Аким, со сдвинутой на ухо кубанкой, по всей видимости старший, подал Забарову бумажку. Федор прочел и приказал Кузьмичу выводить коней.

Сеньке хотелось немного задержать кавалеристов, о которых он наслышался столько интересных историй. Он рассматривал гостей с нескрываемым любопытством, а на широкие красные лампасы поглядывал даже с завистью. Потом осведомился с обычной для него бесцеремонностью:

— Из-под Рязани, чай, родом будете, товарищи донские казаки?

Один из плиевцев густо покраснел: похоже, он в самом деле был откуда-то из тех мест. Из-под шапки паренька торчал старательно закрученный темнорусый клок, долженствующий, видно, обозначать лихой казачий чуб.

— Вот ты, чубчик кучерявый, откуда? Не земляк ли мой? — приставал Ванин, быстрым и хитрющим своим глазом приметив смятение кавалериста.

Простоватый парень не стал врать, чистосердечно признался:

— Ярославский я, с Волги...

— О, из самых коренных казачьих поселений! — притворно серьезничал Сенька, довольный тем, что удалось

втянуть плиевцев в беседу. — Это ведь ваши прадеды спускались в древние времена на своих стругах вниз по Волге, а потом и заселяли донские да кубанские степи? Это мне Аким наш, учитель по профессии, рассказывал, — соврал Семен для большей убедительности. — Про них и песня сложена. Знаете, конечно: «Вниз по Волге-реке, с Нижня-Новгорода, снаряжен стружок как стрела летит»? Так-то вот, ярославец-кубанец!

Второй плиевец, который, очевидно, был всамделишным казаком, громко хохотал. Но Ванин, словно бы не заметив этого, не меняя голоса и выражения лица, продолжал, показывая на стоявшего рядом с разинутым от великого внимания ртом Никиту:

— Вот у него тоже в жилах течет казачья кровь. Не глядите, что он такой смирный. По глазам-то он монах, а вообще — герой! Он у нас одну румынку уже соблазнил... Предки нашего Никиты были близкими родственниками Емельяна Пугачева. А пра-прабабушка... она... числилась, значит, в любовницах у Стеньки Разина. Это он из-за нее сбросил в Волгу персидскую княжну, потому как никитина пра-прабабушка была — ох и ревнива... чорт ее задери!.. В общем, слыхали песню: «Из-за острова на стрежень»?

Шутка понравилась всем. В конце концов ярославский казак предложил Никите прокатиться на одном из коней, чтобы он, плиевец, мог, значит, своими глазами увидеть, что в никитиных жилах и в самом деле течет казацкая кровь. Никита, неожиданно для разведчиков, принял предложение.

— Выбирай любого! — сказал он бойко и с вызовом казаку.

Ярославец, пряча хитрую улыбку, подошел к буланому, к тому самому, что косил на Лачугу свой злой огненный глаз. Опытным взором кавалериста плиевец сразу же обнаружил в этом коне буйный нрав — до этого никто из разведчиков на нем не ездил, Кузьмич водил его на привязи за повозкой.

Буланого оседлали и вывели на улицу. Никита небрежно вставил левую ногу в стремя и тяжело перекинул свое длинное тело в седло. Казаки с любопытством наблюдали.

— Шпоры, Никита! — голосом завзятого кавалериста скомандовал сгоравший от ожидания потехи Сенька.

Никита привстал на стременах и сильно пришпорил. Конь вздрогнул, дико всхрапнул. Потом почти вертикально встал на задние ноги и с этого положения резко опрокинулся на передние, высоко подбросив зад. И тут, к великому своему позорищу и к удовольствию плиевцев, бесстрашный наездник вылетел из седла, сделав в воздухе двойное сальто-мортале, и со всего размаха шлепнулся на землю. Конь несколько раз взглянул, вскинул фонтаном пушистый хвост, совершил еще нечто более непристойное, увеличивающее и без того большой конфуз ездока, и с победным ржанием поскакал вдоль улицы.

Никита тут же вскочил на ноги, вгорячах пробежал немного вслед за вздорным жеребцом, потом остановился. К нему уже подбегали разведчики, которые вышли было поглядеть, как Никита «утирать нос казакам станет». Незадачливый джигит готов был провалиться сквозь землю. Но при виде приближающихся разведчиков и плиевцев он еще хорохорился и улыбался глупейшим образом, бормоча в свое оправдание:

— Ноги не успели в стремена встать... А то бы... я... чорта с два...

Казаки, прибежавшие засвидетельствовать никитин провал, сдержанно, но ехидно посмеивались, похлопывая черенками кнутов по голенищам.

— Что зубы скалите? — огрызнулся Пилюгин. — С вами, что ли, не случалось такое? Подумаешь!..

— Так их, так их, Никита! — подзадоривал Сенька, обливаясь слезами от хохота. — А ты разозлись да еще попробуй. Продемонстрируй высший класс джигитовки.

— А что? И попробую! — решительно объявил Никита. Но от предложения плиевцев сделать это сейчас же великодушно отказался...

Вслед за казаками к разведчикам из штаба дивизии прибежал связной и передал приказание немедленно сдать легковую машину, которую подарил Сеньке румынский генерал. Ванин самолично пригнал свой «персональный» лимузин в помещичий двор, дав себе зарок никогда больше не иметь дела с трофейной техникой. Он имел все основания быть мрачным, но неожиданная встреча с Верой заставила его забыть «лихие беды». Краснощекая и веселая толстушка, приносившая в штаб почту, ласково поговорила с парнем, и Сенька обрел свой обычный беззаботный вид.

По дороге в расположение разведчиков он напевал:

Встань, казачка молодая, у плетня,
Проводи меня до солнышка в поход.

Вернувшись к себе, увидел, что разведчики спешно готовятся к выезду. Лица ребят были озабочены, строги. Все торопливо проверяли автоматы, снаряжали диски. Забаров и Шахаев рассматривали у крыльца карту. Они были также чем-то сильно обеспокоены. Наташа укладывала в мешок недоглаженное белье. Лачуга и Кузьмич грузили на повозку котел.

Братья Бокулеи уходили в составе румынского корпуса воевать против немцев. Георге Бокулей приблизился к Шахаеву:

— До свиданья, товарищ старший сержант!

— До свиданья, Бокулей! — сказал парторг. — Не грусти, брат! Теперь мы пойдем по одной дороге. И еще встретимся. Вон там! — и разведчик показал на синеющие вдали Трансильванские Альпы.

3

Только в пути Ванин узнал, почему разведчики так быстро снялись со своего места.

Из ясско-кишиневского мешка прорвалась большая группировка немецко-фашистских войск и, двигаясь по тылам фронта, нападала на наши обозы, грабила местных жителей, сжигала румынские села. По последним сведениям, фашисты подходили к городу Бакэу, в котором стоял штаб нашей гвардейской армии. Самому штабу и всем армейским тыловым учреждениям — госпиталям, складам, авторемонтным и другим мастерским — угрожала непосредственная опасность. Многочисленная банда с яростью обреченного уничтожала все на пути своем, стремясь прорваться к немецким войскам, засевшим в Трансильванских Альпах. Одна группа прорывавшихся, численностью до двух полков, была только в суточном переходе от Трансильвании.

Командующий гвардейской армией приказал генералу Сизову срочно выступить со своими полками на ликвидацию прорвавшейся группы. Разведчики были высланы вперед. Забаров получил задачу: обнаружить главные силы немецкой группировки и немедленно сообщить об

этом в штаб дивизии. До подхода наших полков разведчикам надлежало действовать самостоятельно, по обстановке.

— Может быть, придется вступить в бой, — добавил штабной офицер, передавший приказ генерала. — Вступайте смело, только все время радируйте. Я нахожусь на северо-восточной окраине Бакэу. Там же и КП генерала.

В полдень забаровцы миновали город и поднялись в лес, что начинался сразу же за городской чертой. По предварительным данным, немцы должны были находиться уже в районе этого леса. Разведчики двигались быстро, но осторожно, придерживая на груди автоматы и стараясь не задевать за деревья. Только чуть потрескивали ветки под ногами. Забаров часто останавливался и слушал. Кроме обычных лесных звуков: щебетания каких-то невидимых птиц, глухого стона совы, грустного плача горлинки, мышиной возни под сухими прошлогодними листьями, — слух разведчика ничего не мог уловить. В лесу было тихо, сумеречно и безлюдно. Если на минуту затаить дыхание, то можно услышать тревожный перестук сердца в собственной груди. Ничто еще не говорило об опасности — лесная тишина была совсем мирная и спокойная, — но тревога нарастала с каждым шагом, уводившим солдат вглубь леса.

Так прошли километров пять. Забаров остановился и передал на КП свои координаты, сообщив также, что немцев до сих пор не встретил. Внешне лейтенант сохранял спокойствие. Но разведчики догадывались, что командир их сильно озабочен. И было отчего: Федор сам высказал перед командованием дивизии твердое убеждение в том, что немцев надо искать именно в этом районе. И вдруг он, которому поверили, ошибся! Вдруг колонна пройдет южнее? Может быть, фашисты уже ворвались в город и уничтожают штаб армии?..

По спине лейтенанта гадюкой прополз отвратительный холодок. Под гимнастеркой зябко шевельнулись широкие лопатки. Над самой его головой взмахнула крыльями сорока и, оглашая лес сварливым стрекотом, улетела в чащу. На носок сапога Забарова забралась темная жаба. Лейтенант с омерзением отшвырнул ее. Вся эта лесная тварь мешала ему сосредоточиться.

— Вы напрасно беспокоитесь, товарищ лейтенант. Мы идем правильно, — шепнул Шахаев.

Федор взглянул в его раскосые глубокие глаза и тихо проговорил:

— Спасибо, друг.

Парторг сделал вид, что не слышит слов командира. Он как-то беззаботно тряхнул головой и окинул присмиревших солдат веселым взглядом. Ребята заулыбались. Ванин столкнул Никиту с поваленного бурей дерева, на котором тот сидел в глубокой философской задумчивости. Разведчики негромко засмеялись.

— Вперед! — скомандовал Забаров и зашагал дальше.

Лес постепенно стал редеть, и, наконец, показалась его опушка. Выйдя на нее, солдаты увидели в нескольких стах метрах перед собой, внизу, небольшое село, окруженное садами. Уже с первого взгляда бойцы поняли, что в селе творится что-то жуткое. Крайние дома пылали. По единственной улице метались румыны.

— Товарищ лейтенант, немцы! — приглушенно крикнул Никита Пилюгин.

Фашисты были всюду: и во дворах, и на огородах, и на противоположной окраине леса. Один гитлеровец — его хорошо видели разведчики — бегал от дома к дому с горящим жгутом соломы.

Рацию! — приказал Забаров.

Аким быстро наладил радиостанцию.

Сообщив о немцах в штаб, лейтенант решил не вступать в открытый бой, а дождаться подхода полков. Однако уже через несколько минут он был вынужден изменить свое решение. На глазах разведчиков немцы начали строиться в колонны, намереваясь двигаться дальше. Забаров сообразил, что они пойдут по лесной просеке, которая была единственной в этом месте и вела в горы.

— Огонь — только по команде, — давал распоряжения Забаров. — Без необходимости не подниматься. Расстреливать в первую очередь офицеров и эсэсовцев. «Ура» кричать непрерывно и как можно громче!..

Разведчики обложили просеку с двух сторон. Солдаты залегли за пнями и в наспех выкопанных неглубоких ячейках. До них отчетливо доносились отрывистые немецкие голоса, должно быть, команды.

Зубы самого молодого разведчика выстукивали частую дробь. На коротком его носу выступили прозрачные капельки. Солдат все время посматривал на лейтенанта

и комсорга Камушкина, которые лежали по правую и левую стороны от него. Чтобы зубы не очень стучали, солдат закусил ими горьковатую ветку, но через минуту выплюнул зеленую жвачку. Зубы стучали часто, с короткими паузами, как морзянка...

Послышался ровный топот ног. «Шу-шу-шу-шу-шу»,— шелестели сухие листья под ногами немецких солдат. Фашисты беззаботно болтали. Видимо, гитлеровцы считали себя в полной безопасности. Но вот, точно гром, лесную тишь рассек Забаровский голос:

— Огонь!

Автоматы грянули дружно. Пули смертельными пчелами впивались в колонну. Грохнулся на землю шедший впереди офицер — высоченный, длинноволосый блондин, с расстегнутым воротом зеленого френча и завернутыми по локоть рукавами. От него метнулся в сторону парень в румынской одежде и, мелькая высокой бараньей шапкой, скрылся в лесу. Лес огласился воплями раненых и перепуганных гитлеровцев.

— Огонь! — прорываясь сквозь эти крики, гремел невидимый Забаров.

Немцы, что шли задними, отхлынули. А на просеке и рядом с нею валялись те, что шли первыми. «Ура, ура, ура...» — неслось по лесу, и эхо множило этот клич, разносило далеко во все стороны. Разведчики кричали до хрипоты. Когда на просеке остались одни убитые и раненые немцы, Забаров приказал прекратить стрельбу.

— Ложись! — хрипло крикнул он бойцам, которые начали было подниматься.

Из села вновь появились гитлеровцы. Только теперь они шли не колонной, а цепью, делая короткие перебежки. В лесу засвистели немецкие пули. От стволов деревьев отлетали мелкие щепки. Разведчики подпускали немцев близко и расстреливали в упор. Гитлеровцы отступали, но потом снова шли в атаку. Так повторялось несколько раз. Среди разведчиков появились раненые. Наташа ползала от одного к другому, перевязывала, помогала отползти в безопасное место.

С каждым разом атаки немцев становились все злее, отчаяннее. Немцы, повидимому, решили прорваться во что бы то ни стало. Они не обращали внимания на потери и лезли напролом. Перебегающие фигуры гитлеровцев находились всего лишь в двадцати-тридцати метрах

от залегших разведчиков. Вот тогда-то Забарову пришлось поднять своих бойцов в контратаку. Немцы снова отступили.

В разгар контратаки Забаров, вставший во весь рост из-за своего укрытия, не видел, как в него из-за дерева целился гитлеровец. Рядом с лейтенантом оказался Ванин. Он-то в последнее мгновение и заметил угрожавшую командиру опасность. Стремительным прыжком вбок Сенька загородил собой Забарова. В тот же миг немец дал очередь. Схватившись за грудь обеими руками, Ванин еще некоторое время стоял на месте, как бы не понимая, что же, собственно, случилось с ним. Потом тихо застонал, поморщился и упал на землю, лицом вверх. Он уже не видел того, как Шахаев подскочил к гитлеровцу сзади и разрядил в него весь свой автомат.

Шахаев и Аким подбежали к нему одновременно.

— Сенька!.. Семен!.. — кричал Аким, тряся товарища за плечи. — Наташа! Сюда, скорее!.. Сенька тут!..

Он и парторг дрожащими руками разрывали на Ванине гимнастерку, быстро темневшую от крови. С их помощью подбежавшая Наташа перевязала его. Сенька вдруг шевельнулся, открыл глаза и, увидев Акима, тихо сказал:

— Вот... Аким... — он болезненно улыбнулся: — Ну... не обижайся на меня. Дай мне твою руку... Вот так. Хорошо. — И, переведя взгляд на девушку, попросил: — Ты, Наташа, пока... не говори... ей... Вера — дуреха... такая... реветь еще будет, не го... — Сенька захлебнулся хлынувшей из горла кровью и замолк.

Наташа отвернулась, закрыла лицо руками, плечи ее затряслись. Бледный, растерянный Аким поднял друга и пошел вглубь леса, твердя, умоляя:

— Сенька!.. Сенька!.. Что ты наделал?.. Как же это... не надо!.. — Волосы Акима растрепались, длинными русыми прядями липли к горячему мокрому лбу. Наташа еле поспевала за ним. Аким шагал и не слышал, как позади громовыми раскатами гремело солдатское «ура» подоспевших наших полков, как трещали сучья под ногами мечущихся в панике гитлеровцев, как тревожно гудел лес, — ничего не слышал Аким. Он уходил все дальше и дальше, словно хотел унести товарища от смерти. Наташа все время просила его остановиться. Но он не слы-

шал и ее: тяжелое, трудное и редкое дыхание беспомощно обвисшего на его руках Сеньки поглотило для Акима все остальные звуки.

4

Подоспевшие полки дивизии завершили разгром немецкой колонны. В лесу вылавливали одиночек. Разведчики в этом уже не принимали участия. Забаров стал собирать их в одно место. Долго не могли найти Никиту Пилюгина. Забеспокоились. Но вот кто-то из солдат заметил, как от одного дерева перебежал немец, а за ним — Никита. Немец — к другому дереву, Никита — за ним. Автомат Пилюгина был наготове, но Никита почему-то не стрелял. Здоровенный и неуклюжий, он пытался, видимо, поймать гитлеровца живьем. Вот немец подскочил к толстому, в несколько обхватов, дубу и стал бегать вокруг него, ускользая от разведчика, который все время намеревался оглушить его прикладом. Наконец, Никите удалось схватить врага за шиворот. Тяжело отдуваясь, Пилюгин приволок его к разведчикам:

— Видали... голубчика!..

Гитлеровец дрожал, пугливо озираясь.

— Видели, — строго сказал Забаров. — Но почему ты в него не стрелял?

— Как почему? — удивился Никита. — Во-первых, товарищ лейтенант, эта мразь поджигала дома. Факельщик он фашистский! И я сам видел, как он убил румынку, которая просила не палить ее дом... Стало быть, не такой он казни достоин, как смерть в бою...

— Так. А во-вторых?

Никита смутился. Потом, взглянув на новую кожанку немца, просиял и, улыбаясь во весь большой свой рот, пояснил:

— Шкуру не хотелось портить. Дорогая очень... шкура.

Лес огласился хохотом.

— Так ты что же, хотел воспользоваться ею? — спросил Забаров еще строже, показывая на кожанку.

Никита не стал кривить душой. Признался:

— Отцу хотел послать, — и пояснил: — Ведь тут, товарищ лейтенант, в Румынии-то, частная собственность... Что, стало быть, раздобыл, то и твое. А я это того.., в бою...

Лейтенант потемнел.

— Вот что, Пилюгин, то, что ты поймал этого негодяя, — хорошо. А за то, что ты вздумал заняться барахольством, придется тебя жестоко наказать. Я просто выгоню тебя, нам не нужны такие разведчики.

Никита испугался. Он не ожидал, что дело примет такой оборот. Потупившись и не зная, куда деть свои тяжелые, жилистые руки, он стоял, готовый, казалось, зареветь.

— Товарищ лейтенант... простите!.. Больше никогда этого... Чорт меня попутал. Оставьте с разведчиками,— последние слова он выговорил с трудом, с дрожью в голосе.

Федор бросил на солдата короткий и суровый взгляд. Густые его брови резко разошлись. Он сказал к неописуемой радости Никиты:

— К Шахаеву обращайся. На его усмотрение.

Пинчук и Кузьмич, задержавшиеся на старом месте, разыскали разведчиков только к вечеру. Забаровцы находились в румынском доме и допрашивали немецкого «факельщика», пойманного Пилюгиным. В другой комнате Наташа, Аким и Шахаев хлопотали возле Сеньки.

На вопросы Забарова эсэсовец отвечал быстро, но односложно:

— Зачем ты сжигал дома?

— Мне приказали.

— Женщину тоже ты убил?

— Яволь!

— Для чего ты это сделал?

— Она мне мешала.

— Ты кто: зверь или человек?

— Я — солдат.

— По-твоему: зверь и солдат — одно и то же?

Гитлеровец молчал, тупо глядя в большое, чуть рябоватое лицо русского богатыря с темными, угрюмыми глазами.

— Тогда, может быть, ты скажешь, как с тобой поступить? — Забаров сощурился. — Зверей, как известно, уничтожают...

Эсэсовец вдруг вздрогнул, все наигранное спокойствие покинуло его, надменность вмиг исчезла с его лица, сме-

нилась выражением ужаса, животного страха. Он упал на колени и потянулся к запыленным сапогам Забарова синими, потрескавшимися губами.

— О, господин офицер! Не убивайте меня! Майн мутер, фрау, кинд!.. — лепетал он.

— Встать! — крикнул Забаров.

Эсэсовец в одно мгновение вытянулся перед ним.

— Подлец! — Федор ненавидящими глазами смотрел на фашиста. — Подлец ты, хуже зверя! У зверя есть достоинство. Он не просит о пощаде. А из вас вытряхнули даже и это!.. — Федор отвернулся, и в его глазах отразилось какое-то беспокойство. Он глухо проговорил: — Неужели у них найдутся еще последователи?.. Куда хотели пробраться? — спросил он фашиста, сдерживая глухую ярость, распиравшую грудь.

— В Италию.

— К американцам, значит?

— О, да!

— Так и знал. К ним перекочевываете...

Присутствовавший при допросе молодой разведчик вдруг страшно возмутился:

— Товарищ лейтенант! Плюньте вы на него!.. Что вы от него хотите? Известное дело — фашист!.. Выведите его вон за огород — и дело с концом! — боец покраснел от злости.

— Нет, судить его будут вон они, — и Забаров показал на хозяина дома, с ненавистью наблюдавшего за гитлеровцем. — Я думаю, что этот суд будет не менее справедливым. Мы принесли людям право судить всех негодяев!..

Забаров еще что-то хотел сказать, но его отвлекла группа румын, тащивших под руки какого-то парня. Парень этот, с виду тоже румын, упирался, но его крепко поддерживали за руки два дюжих мужика, а сзади подталкивал хлопец его же лет. Один из румын, неплохо говоривший по-русски, отделился от толпы и первый подбежал к лейтенанту.

— Поймали, господин офицер! — сообщил он, низко поклонившись Федору. — У немцев проводником был, в горы их вел. Сжигал вместе с ними наши дома!..

Крестьяне вытолкали вперед звеновато озиравшегося и тяжело, загнанно дышавшего смуглого парня, с крупными и нахальными глазами агатового цвета.

— Как тебя зовут, ларень? — спросил Забаров через переводчика.

— Антон Патрану, из Гарманешти.

— Ого, земляк наш, язви его! — не выдержал Кузьмич. — Да я его, сукиного сына, кажись, там видал как-то. Это того, хромого, сынок, у которого мы еще с Сенькой конька для вас, товарищ лейтенант, помните, хотели, стало быть, ликвизировать?..

— Куда ж ты их вел? — вновь спросил Забаров.

— Куда приказывали, туда и вел, — безразличным тоном отвечал парень. — Не по своей же воле пошел. Заставили!

— А дома жечь тоже заставили?

— А девок насиловать?

— А лошадей последних из хлева уводить? — загалдели румыны, размахивая черными худыми руками.

— Нет уж, парень, ты перед ними оправдывайся. Пусть они судят тебя по совести! — Федор указал на крестьян и передал им Патрану и эсэсовца.

Разведчики прощались с Семеном. На улице уже стояла санитарная машина, собиравшая раненых. Ванин, бледный и постаревший, совсем не походил на прежнего Сеньку. Дышал часто и неровно. Его вынес Забаров на руках и осторожно уложил на носилки. Наклонился над ним и долго-долго всматривался в лицо солдата, говоря что-то про себя, должно быть, непривычно ласковое. Наташа и Аким провожали Ванина. Они сели в машину. Шофер включил скорость, и зеленая машина с красными крестами на бортах исчезла за поворотом. Разведчики стояли на улице с непокрытыми головами. Грусть, глубокая грусть светилась в их глазах.

5

В корчме Анны Катру тихо, пусто, уныло. Жиденький свет сочится сквозь мутное оконце, падает на шарообразные, лоснящиеся щеки вдовы, хозяйки этого заведения, лениво, протирающей мокрой тряпкой запыленные бутылки и кружки, и, отражаясь, выхватывает из темного, укромного уголка фигуру священника, расположившегося за маленьким столиком.

Отец Ион утомлен. Только что окончилась обедня, во время которой он впервые прочел свою новую длинней-

шую проповедь гарманештцам. Проповедь была туманной. Об одном лишь говорил он ясно и определенно — это о том, какие кары божьи ожидают тех, кто дерзнет свернуть с пути истинного, начертанного богом, кто попытается изменить существующий порядок вещей, ниспосланный все тем же всемогущим, всеведущим, всевидящим и всемилостивейшим богом. Особливо же пригрозил Ион той своей пастве, что отважилась «пощупать» боярскую усадьбу.

— Нечестивцы, безумцы! — обрушивался на них святой отец. — Опомнитесь, ибо будет поздно! Стезя, на которую вы встаете, поведет вас прямо в огниво вечное. За дерзновенные богопротивные деяния свои, братия, будете держать ответ перед самим Иисусом Христом!..

И вот сейчас Иона сидит вялый, весь обвис, словно мешок, из которого вытряхнули содержимое.

— Подай-ка что-нибудь, сестра, — просит он притворно-слабым голосом, — голоден я и сир... Что у тебя там?

Анна Катру подносит на тарелке что-то красное, дурно пахнущее.

— Сосиски с паприкой,— певуче говорит она.— Вку-усные... «Солнцем осиянные, горячите кровь мою!» — сказал о них поэт. — Вдова подмигивает попу, пододвигая к его носу тарелку. Отец Ион, однако, морщится, отмахивается от еды.

— Постой, сестра, постой!.. Ну уж, и блудлива ты! Грех, сестра, грех обманывать божьего слугу. Поэт не об этих сосисках говорил. Вид у них мерзостный и дух отвратный. Грех продавать этакое зелье. Принеси-ка что-нибудь другое...

— Нет ничего другого, отец Ион.

— А не врешь, сестра?

— Не вру, батюшка.

— Ну, и времечко наступило! Господи, господи! — поп поднимает глаза к потолку, вздыхая, крестится.— Ну, давай, сестра, сосиски... и эту, как ее...

— Цуйку?

— Да, сестра... А потом, — святой отец многозначительно смотрит на хитрющую содержательницу, — эту, как ее...

— Девку?

— Молодицу...

— А я что ж, не гожусь уже? — хозяйка темнеет.

— Стара, — утвердительно кивает поп. — Стара, и вид у тебя, как вот у сиих сосисок, — прегнусный... Грех меня попутал с тобой.

— Не грех, а блуд, — поправляет его содержательница.

— Грех и блуд — понятия одинакового свойства, — выкручивается попик. — Плоть грешит, сестра. Плоть умирает, а дух надобно беречь в чистоте!.. Так-то, дочь моя!..

В то позднее сентябрьское утро, когда в корчме вдовы Катру шла эта ленивая беседа, а над крышей хаты Александру Бокулея, играя и лаская глаз и сердце, вился сизый, кучерявый, как барашек, дымок, во двор Бокулеев вошел Суин Корнеску. Против обыкновения он не закрыл за собой калитку, тяжелым шагом приблизился к хозяину.

— Буна зиуа, Александру.

— Буна зиуа, Суин.

Бокулей поздоровался с соседом и снова наклонился над плугом. Он счищал с него остатки грязи. Делал он это с редким усердием и удовольствием.

— Пахать? — спросил Суин.

— Угу, — простодушно и радостно отозвался Бокулей, вновь разгибаясь и чувствуя сладкую боль в спине и пояснице.

— Напрасный труд.

— Как так? — испуганно спросил Александру.

— Запретили. Боярскую землю нельзя трогать.

— Кто?! — ошеломленный этим известием, Бокулей смотрел в суровое и угрюмое лицо соседа и со слабой надеждой старался угадать, не шутит ли он. — Кто запретил? — повторил он сразу охрипшим голосом, поняв, что Суин говорил правду.

— Правительство. Землю приказано вернуть хозяевам, боярам, значит.

— А... эта... реформа? Разве ее не будет?

— Как видишь...

Крестьяне замолчали и не смотрели друг на друга, словно бы они сами были виноваты в том, что не будет земельной реформы. Из открытой двери дома до них доходил теплый запах мамалыги. На крыльце появилась Маргарита и позвала отца завтракать. Он сердито отмах-

нулся от нее и, затащив плуг под сарай, вернулся к Суину. Тот, опершись на длинную палку, угрюмо смотрел в одну точку.

— А где Мукершану? Что он... думает? — Бокулей посмотрел на соседа с вновь пробудившейся надеждой.

— В армии он. Прислал мне письмо с одним раненым. Говорит, чтобы не отдавали землю помещикам.

— Как же не отдашь? Тридцать третий год повторится...

— Соберем крестьян, поговорим.

Корнеску распрощался с хозяином и, огромный, медленно пошел со двора. На улице он остановился. Над плетнем еще некоторое время маячила его шапка да кольцами поднимался табачный дым.

На этот раз по селу не гремел бубен — крестьяне собрались во двор Корнеску сами. Пришли не только бедняки и батраки, но и зажиточные. Среди последних был и Патрану. Он слушал ораторов молча, смиренно поглядывал прямо перед собой, сложив на груди руки. Только один раз не вытерпел: на слова Суина «Возьмем землю силой!» кротко заметил:

— Не дело ты говоришь, Суин. Кровопролитие одно выйдет, и все. У правительства — армия, полиция. А у тебя что? На русских надеешься? Они, слава богу, не вмешиваются в наши дела. И правильно поступают. Сами разберемся как-нибудь. Жили по старинке — и будем жить...

По толпе прокатился недобрый гул... Патрану почуял, что гул этот против него, и быстро умолк. Но из толпы уже вихрились, выплескивались злые, горячие выкрики:

— Хорошо тебе жить по-старому!.. Двадцать пар волов, пятнадцать работников держишь. Лучшую землю скупил у нас. А нам, значит, опять с голоду подыхай?.. Армией ты нас не запугаешь. У меня в ней два сына служат, против немцев воюют, а против отца они не пойдут!.. — Александру Бокулей протиснулся к Патрану. — Не пойдут, говорю!.. Это твой щенок пошел с фашистами... Вот и поплатился! Давно ли ты закопал Антона-то! Гляди, как бы и тебя туда не отправили!.. А мои против крестьян не пойдут!

— Не скажи, Александру, — сдерживая себя, все так же кротко проговорил Патрану. — Прикажут, и пойдут. Солдат — человек подневольный...

— Таких солдат уже нет. Недаром наши сыны рядом с русскими идут сейчас по Трансильвании. Кое-чему научились! — за Бокулея ответил Корнеску, который поднялся на арбу и продолжал: — Прошу потише. Давайте обсудим толком, как быть.

Крестьяне угомонились, но ненадолго. Лишь только речь зашла снова о земле, злые, тоскливые выкрики раздались с новой силой:

— Задушат!

— Всех перебьют!

— Долой буржуазное правительство! — прозвучал чей-то хрипловатый и вместе с тем молодой голос. Толпа вмиг смолкла. Потом взметнулся, задрожал другой голос:

— Никакого кровопролития! Патрану прав: куда нам против правительства! Жили и будем жить, как прежде...

— Мы у рабочих помощи попросим. И с ними не совладают. Так и Мукершану говорил.

— Где он, ваш Мукершану? Только смуту развел, а сам скрылся. Он уже один раз поднимал нас. Что из этого вышло — сами знаете!

— Тогда было другое время. А теперь фашизм разгромлен Красной Армией. Неужели мы не сможем воспользоваться этим? Надо объединиться с рабочими! — Суин окидывал толпу темными воспаленными глазами.— Русские рабочие и крестьяне одни, без посторонней помощи, взяли власть в свои руки. А отчего же нам не взять ее, когда нам оказали такую великую помощь? Нужно только объединиться вокруг компартии. Она одна приведет нас к победе!..

— Что ты говоришь, Суин? Побойся бога! Забыл, что святой отец в своей проповеди говорил?

— Святой отец говорил это с чужого голоса: ему за это платят! Сколько тысяч лей получил он только от одного Штенберга?

Крестьяне приумолкли. Теперь говорил один Суин Корнеску, а остальные молча и внимательно слушали его. Порядок установился с той минуты, когда двор покинули Патрану и еще несколько его единомышленников.

...Разошлись в полдень. Но село еще долго волновалось. Женщины бегали из дома в дом, разнося тревожные слухи:

— Всех, кто будет брать землю, заберут сигуранцу и посадят.

— Нет сейчас сигуранцу.

— Есть. Опять ввели. Патрану говорил — он-то уж знает!

— Нуй бун Патрану!

— Рэу! [1]

— И сынок у него старший такой был — оторвали ему голову крестьяне под Бакэу.

— Туда ему и дорога!

Недовольство крестьян ширилось, поднималось, вырастая в глухую, еще не созревшую, но страшную силу.

А через несколько дней в Гарманешти произошло событие, которое еще больше накалило обстановку. В одну глухую полночь на окраине села одновременно вспыхнули два дома. Огненные столбы врезались в небо, осветили все село, как гигантскими свечами. Во дворах завыли собаки, протяжно, тоскливо, тревожно, с хватающим за сердце хриплым стенанием.

— Бокулеев и Корнеску дома горят!

— Проклятие!

Отовсюду бежали люди. Откуда-то катился душераздирающий вопль женщин.

Возле пылающих строений быстро собрались толпы мужчин, женщин и ребятишек. Крыша на доме Бокулея уже сгорела, и только труба, как сказочный великан, не покорилась слепой стихии огня: раскаленная, длинная, она будто повисла в воздухе, — та самая труба, которую сложили золотые руки Кузьмича. Показывая на нее, ребятишки орали.

— Кошуриле каселор! [2]

Освещенная заревом, в огороде под яблоней, стояла жена Александру Бокулея. Растрепанная и бледная, она прижимала к груди несколько обгорелых початков кукурузы — все, что успела отнять у огня. Ее держала под руку Маргарита, говорила что-то матери, должно быть, утешала. Сама Маргарита казалась совершенно спокойной.

— Мама, мамочка! Не надо, родненькая, плакать!.. Будет у нас новый дом! Мама! — говорила она, ласкаясь, утирая своей теплой рукой слезы с глаз матери.

Александру Бокулей в это время находился во дворе. Безвольно опустив руки, он равнодушно смотрел на кре-

[1] Дурной, злой (*рум.*).
[2] Труба (*рум.*).

стьян, суетившихся возле догорающего дома, стаскивавших баграми обуглившиеся ломкие стропила. Особенно усердствовал Патрану. Он храбро подступал к самому пламени, упрекая мужиков в трусости. Те слушались его, тоже кричали, употребляя позаимствованное у советских солдат слово:

— Давай! Давай!

У дома Суина собралось народу побольше, и там удалось даже спасти часть крыши.

Только на рассвете, усталые, со свинцовой угарной тяжестью в голове и тошнотворной болью в груди, мужики разошлись по домам. Не раздеваясь, они падали на пол и спали, как убитые, весь день. Проснувшись, заставляли жен долго лить на их головы холодную воду, как обычно делали после буйной попойки.

В этот день не ложились спать Патрану, бывший примарь, поп, управляющий помещичьим имением, жандарм, собравшиеся в кабачке вдовы Катру. Они не знали, чем все это может кончиться, но сердца их чуяли недоброе. Жизнь делала резкий, крутой поворот, и они не могли ничего изменить и своими делами, сами того не ведая, только ускоряли приближение того страшного для них события, которое должно было совершиться.

ГЛАВА ПЯТАЯ

1

А события развивались с непостижимой быстротой. Вслед за Румынией вышла из войны на стороне гитлеровской Германии Болгария. Вступившие на болгарскую территорию 8 сентября войска Третьего Украинского фронта на другой день, в 10 часов вечера, прекратили военные действия против Болгарии. Болгария объявила войну Германии. Не задерживаясь, войска маршала Толбухина двинулись к югославским границам.

Успешно продвигался вглубь Румынии и Второй Украинский фронт. Однако северо-восточный его фланг, где действовали одна наша гвардейская армия и румынский корпус, встречал упорное сопротивление немцев и мадьяр, оседлавших все выгодные позиции в горах Трансильванских Альп. Продвижение замедлилось.

Овладев — сравнительно легко — городом Тыргул-Окна, дивизия генерала Сизова и румынские части поднялись в горы. К исходу дня 6 сентября, преодолевая упорные контратаки гитлеровцев и венгерских гонведов, они подошли к важному узлу шоссейных и железных дорог — городу Сибиу. Попытка взять этот пункт с ходу не принесла успеха. Более того, сильная контратака немцев и мадьяр заставила румын немного отойти и создать угрожающее положение на левом фланге дивизии Сизова.

Комдив настойчиво предлагал румынскому генералу вернуть утраченные позиции, не дожидаясь утра. Однако Рупеску на ночные действия не отважился.

— Вы молоды и горячи, господин генерал,— говорил он, обращаясь к Сизову и едва скрывая раздражение. Тщательно выбритые, жирные складки его массивного подбородка были красны и чуть вздрагивали. — Вам не приходилось воевать в горах. А я в этих местах сражался еще в пятнадцатом. Ваши старые офицеры могли бы это засвидетельствовать... А, простите, где вы воевали?

— Под Сталинградом, господин генерал! А также имел честь, как вы уже сами знаете, драться с вашим превосходительством в районе дотов. Разве вы это забыли?

Рупеску долго не мог справиться с приступом неожиданного кашля. Потом выдавил:

— О, нет-нет, не забыл.

— Вот и чудесно. Надеюсь, вы не откажете мне... в некотором умении? — Сизов хитро сощурился.

Рупеску поморщился, но, спохватившись, быстро забормотал:

— О, да, да... разумеется.

Сизов незаметно улыбнулся. Потом спросил:

— Значит, вы не намерены действовать ночью?

— Нет.

— В таком случае я сам возьму у врага позиции, которые вы соизволили ему оставить, — голос комдива был тверд и решителен. Слова эти он произнес с горячей внутренней силой.

Румынский генерал деланно рассмеялся:

— Отважные вы, русские!.. Ладно, ладно!.. Атаку сегодня возобновлю.

— Ну, вот и отлично! Желаю успеха! — сказал Сизов, провожая Рупеску к машине, стоявшей у крыльца.

Едва лимузин тронулся с места, Рупеску помрачнел, нахохлился и молча ехал до самого своего штаба. По дороге вспомнил про последнее письмо Раковичану, привезенное уже сюда, в горы. Член нового правительства, между прочим, писал в этом своем послании:

«Ведете себя отлично, мой милый генерал! Но не увлекайтесь. Чем дольше пробудут русские в горах, тем лучше для нас — кое-что успеем сделать. Отсюда делайте для себя некоторые практические выводы. Я, как вам известно, человек по призванию не военный, поэтому не могу предложить вам какие-либо тактические приемы. Их вам подскажет обстановка. Есть еще один вопрос, на который вам, генерал, следовало бы обратить самое пристальное внимание. Вы вступили в районы, наполовину заселенные венгерцами. Помните одно: ваши солдаты должны рассматривать мадьяр, как своих ярых врагов и соответственно этому поступать с ними...»

— Хорошо ему там рассуждать! — угрюмо пробормотал Рупеску, удивив этими словами ничего не понявшего шофера.

Вернувшись в свой штаб, корпусный генерал немедленно отдал распоряжение возобновить атаку.

2

Но атака не удалась. Командир роты, которому была поручена операция, повторил те же самые действия, которые днем уже привели его к неудаче. Кончилось дело тем, что рота отступила еще дальше, потеряв пять человек убитыми и семь ранеными. Утром, за час до новой, третьей по счету атаки, вместо того, чтобы продумать ее хорошенько, командир роты собрал в одну кучу всех своих солдат и стал ругать советское командование, по вине которого, как он утверждал, рота понесла эти «бессмысленные потери».

— Морочат голову нашему генералу! — черные маленькие усики Штенберга (это был он) по обыкновению вздрагивали. — Чорт знает, что творится!..

— При чем же тут русские, господин лейтенант? — глухо спросил взводный командир, судя по виду, бывший рабочий. Ночью, во время атаки, его взвод достиг было

старых позиций, но, не поддержанный всей ротой, отступил, потеряв этих двенадцать человек. — Русские тут не виноваты, — прибавил он, невольно коснувшись красноармейской звездочки на своей пилотке.

— А вам нравится, Лодяну, что нами командуют эти... советские? Вы забыли, очевидно, историю с капралом Луберешти! Так я вам могу ее напомнить. Вам доверили снова командование взводом. А вы... вы преклоняетесь перед русскими!..

— А вы, господин лейтенант, хотели бы, чтобы нами попрежнему командовали немцы? Так я вас понял? — Сказавший эти слова близко подошел к Штенбергу. Тот узнал в подошедшем нового командира соседней роты, Мукершану, которого пытался убить еще там, в Гарманешти. При любой встрече с этим человеком Штенбергу становилось не по себе.

Братья Бокулеи, по странному стечению обстоятельств попавшие в роту молодого боярина, глядели на него откровенно ненавидящими глазами.

— Где ваша национальная гордость, Мукершану? — выкрикивал Штенберг. — Вы — румын, и пресмыкаетесь перед русскими!..

— Что-то вы не говорили о национальной гордости, господин лейтенант, когда вас отшлепал по лицу немецкий офицер. Помните? —Мукершану неторопливо присел на высокий длинный камень. — Это было у Гарманешти, недалеко от вашей родовой усадьбы. Мне солдаты рассказывали: Отхлестал, говорят, вас тот офицер тогда здорово. Вы, однако, молчали, спрятав куда-то «достоинство румынского боярина», — Мукершану говорил спокойно, и это спокойствие для Штенберга было особенно обидным.

— Я попросил бы вас не говорить таких вещей при моих солдатах!

— Почему вы не просили немца не делать этого при ваших подчиненных?

— Прошу еще раз замолчать. Вы понесете ответственность!

— Вы сами, господин лейтенант, завели этот разговор при солдатах. Я вас отлично понимаю. Вы пытались возбудить в них ненависть к русским. Безнадежное занятие!

— Я хотел напомнить, что мы — румыны и что нам...

— Вы — румын? — Мукершану вдруг приподнялся с камня, и коренастый, упругий, вплотную приблизился к тонкому лощеному офицерику. — А позвольте вас спросить, что в вас румынского? Фамилия у вас немецкая, порядки в своем имении вы завели прусские! — слова Мукершану тяжело и глухо падали на стоявших рядом солдат, тревожа и возбуждая в них угрюмую злобу к Штенбергу. Они настороженно сверлили его недобрыми взглядами. Голос Мукершану звучал все сильнее и резче. Молодой боярин несколько раз пытался безуспешно остановить его.

— Нам сейчас нечего делить, господин Мукершану,— сказал он примиряющим тоном. — Мы идем одной дорогой, одним путем.

— Нет, господин лейтенант, между вами и нами — громадная разница. Вы пошли этим путем только потому, что вам деваться некуда. Мы же встали на него добровольно и идем рука об руку с русскими. И нам радостно итти по этой дороге, ибо только она приведет нас к настоящей жизни.

Штенберг покраснел, не выдержав, крикнул:

— Замолчите! Вы — коммунист!

— Именно поэтому я и не могу молчать. Вы — трус и подлец! — Мукершану, казалось, вот-вот схватит ротного. — Вы не желаете воевать с фашистами. И с этими мыслями водили людей в атаку. Клевещете на русских, а следовало бы поклониться им и учиться у них воевать по-настоящему. Вон, полюбуйтесь!.. Могли бы вы взобраться на ту вершину?.. А русские, — Николае, отвернувшись от Штенберга, смотрел теперь на солдат, — на руках втащили туда пушки, и благодаря этому мы сидим здесь спокойно и болтаем попусту!.. Взгляните, взгляните, как они бьют!

Откуда-то сверху доносились резкие орудийные выстрелы и вслед за ними, в ту же почти секунду, раздавались звуки взрывов. Но самой батареи не было видно. Ее застилало медленно и величаво плывшее по ущелью, разорванное острой грудью горы белое облако. Другое облако, поменьше, сиротливо плутало меж скал, не находя выхода. Внизу в зеленой и узкой долине паслись косматые яки. При каждом выстреле они вздрагивали и удивленно поднимали вверх тупые морды, тревожно

мыча; некоторые бежали к стыну[1], прилепившемуся на склоне горы.

— Забраться с пушками выше облаков! Снилось ли это вам, господин лейтенант, вам, бывшему офицеру горнострелкового полка?! — продолжал Мукершану, снова переводя взгляд на побледневшего боярина.— А вы знаете, кто командует этой советской батареей? Парень, совсем молодой парень, ваш, наверное, ровесник. Я вчера познакомился с ним. Славный малый. Его зовут Гунько. Офицеры из нашего корпуса, артиллеристы, не верили, что Гунько поднимется со своей батареей на эту вершину. И знаете, что ответил он им на это? Он сказал: «Нам многие иностранцы не верили. Сначала они не верили, что мы построим в своей стране социализм... Мы его построили. Потом не верили, что мы сможем отстоять Сталинград. Мы его отстояли. А как мы там сражались, вам расскажут ваши же соотечественники из кавалерийского корпуса генерала Братеску, когда вернутся из плена на родину. Наконец, нам едва ли верили, что мы придем сюда, вот в эти горы. А мы, как видите, пришли». Представьте себе, господин лейтенант, наши офицеры не нашлись, что ответить ему.

Взводный Лодяну слушал Мукершану, чувствуя, как в его груди дрожит, рвется на волю нетерпеливое желание подойти к этому человеку и обнять его. Он знал, что румынских солдат и командиров всегда разделяла невидимая черта скрытой, с трудом сдерживаемой ненависти и неистребимого недоверия: солдаты не любили своих командиров, хотя глубоко прятали это в своих сердцах. Лодяну сейчас было приятно от сознания того, что в отношении к Мукершану это чувство у него и у солдат его взвода заменяется другим — счастливой доверчивостью, горячей симпатией, подлинной привязанностью.

— А вы слышали, господин Мукершану, какое указание дало правительство нашему корпусу? — вдруг спросил Штенберг, обращаясь одновременно и к Мукершану и к Лодяну с очевидной целью одним ударом сразить обоих своих противников. — Не слышали? В таком случае вам следовало бы помолчать...

---

[1] Стын — деревянное помещение с несколькими изгородями, жилье пастухов и место дойки скота.

— О каком правительстве вы говорите? — спросил Мукершану.

— О румынском, разумеется, — молодой боярин оживился: он заметил беспокойство во взгляде Мукершану.— Вам должно быть известно...

— Так какие же распоряжения дало правительство?

Штенберг взял обоих командиров под руки и отвел в сторону.

— Есть строжайшее указание: не допускать общения наших солдат с советскими...

— Это почему же? — удивился Лодяну, которого эта весть, повидимому, совершенно поразила. Он давно уже облачился в комбинезон советских танкистов и с гордостью носил на своей пилотке красную звезду, подаренную ему Громовым. — Почему? — глухо повторил он.

— Вы — наивный человек, Лодяну! — сказал боярин, подрагивая подбородком и шевеля усиками.

— Не хотите, чтобы наши солдаты... как это вы говорите... «заразились коммунизмом»? Напрасно надеетесь, господин лейтенант, — возразил Мукершану. — Не знаю, получится ли вот из Лодяну коммунист, но честным румыном он хочет быть. А быть честным — значит жить для румынского народа, который больше всего нуждается в дружбе с русскими. А это ведь и значит — быть вместе с коммунистами! Свет идет с востока. Это сейчас понимают миллионы.

— Стало быть, вы не доверяете нашему правительству?

— Нет. Я не могу верить людям, которые спокойно жили при фашистской диктатуре Антонеску.

— Но они были к ней в оппозиции. И, между прочим, вы, как старый подпольщик, это хорошо должны знать! — лейтенант поджал тонкие бледные губы, сощурился.

— Оппозиция Маниу и Братиану, например, ничуть не более, как дымовая завеса. Возможно, им не очень нравились немцы, в чем я, впрочем, тоже не уверен. Сейчас же они желали бы продать свою страну другому купцу, что побогаче и, возможно, пожаднее...

— Кого вы имеете в виду?

— Американских капиталистов, конечно. Тех самых, о которых вы, господин лейтенант, прожужжали своим солдатам все уши, захлебываясь от восторга, хотя вам,

в ком течет прусская кровь, это не к лицу... Видите, мы уже не такие наивные люди, как вам показалось.

Сказав это, Мукершану собирался уйти. Но Штенберг остановил его.

— Нет уж, извольте выслушать меня до конца! Что ж вы хотите, чтобы у нас была советская власть?

— Я не вижу в ней ничего плохого, — спокойно ответил Мукершану. — Я не помещик, чтобы бояться народной власти...

Штенберг резко повернулся и первым побежал к солдатам.

— Через полчаса атака. Русские торопят! — крикнул он, делая особое ударение на последних словах.

Но атаку отложили. Роту Штенберга на короткое время выводили в тыл, в небольшое венгерское селение, на пополнение.

Боярин радостно встретил это распоряжение генерала Рупеску.

3

Лейтенант Марченко возвращался со своим ординарцем Липовым из штаба полка, где проводились трехдневные сборы старших адъютантов батальона. Настроение Марченко было самое великолепное: на сборах он показал высокую тактическую выучку и хорошее знание штабной службы, за что получил личную благодарность командира полка. Офицер ехал на своем буланом и, насвистывая что-то веселое, любовался горами и медленно плывшими над ними, словно стая лебедей, легкими белыми облачками.

На вершине одной горы Марченко придержал коня. Перед ним, внизу, лежало небольшое горное селение. Остроконечные серые крыши из дранки напоминали чешуйчатые горбы громадных сазанов, заснувших на дне прозрачной реки. Село разделяла надвое горная река, стремительно вырывавшаяся из смутно черневшего вдали ущелья. Шум воды не был слышен отсюда, и лейтенанту казалось, что он смотрит немую кинокартину: движение есть, а все беззвучно. Марченко вздохнул полной грудью и, гикнув, поскакал вниз, поскакал так быстро, будто хотел с ходу перемахнуть через селение и очутиться, подобно сказочному Иванушке, на противоположной вер-

шине, запахнувшейся, точно шубой из шкуры белого медведя, нежным, иссиня-белым облаком. Марченко знал, что на этой вершине притаилась батарея его старого дружка, капитана Петра Гунько.

«Может, к разведчикам... к ней завернуть?» — думал он с радостным и тревожным чувством, сознавая в душе, что ему не побороть этого желания. Наташа, последняя встреча с ней, его поступок, теплота ее губ — все это бурно жило в нем, не давало покоя, звало куда-то, обещая что-то...

В двухстах метрах от первых домиков лейтенант внезапно остановился: в селении творилось что-то непонятное. Женщины, дети, старики бежали в горы, отовсюду слышались вопли, ругань, выстрелы.

— Липово́й, не отставай!.. Приготовь оружие! — крикнул Марченко и пришпорил коня. У крайнего дома он увидел румынского офицера, щегольски одетого, с тонкими черными усиками. Офицер тащил за волосы молодую женщину-венгерку. Женщина кричала, отбивалась, тянула за собой, точно хвост, двух черноглазых ребятишек, вцепившихся в ее нарядную сборчатую, широкую юбку. Офицер злобно бил женщину по лицу ременной плеткой и кулаком. Лицо женщины заплыло кровоподтеками и было страшным.

Бледный, как стена, Марченко налетел на румына и, не помня себя, с размаху ударил его по голове рукояткой пистолета.

— Что ты делаешь... бандит? — заорал он в бешенстве, занося руку вверх, чтобы ударить еще раз. Но офицер, выпустив женщину, упал на землю и пополз на четвереньках в сторону, твердя:

— Господин русский!.. Господин русский!..

Марченко уже не слышал его. Он поскакал в следующий двор, где румынские солдаты и офицеры избивали мадьяр. На помощь лейтенанту с противоположной горы спустился Гунько с группой своих артиллеристов. Вместе им удалось сравнительно быстро навести порядок. Селение опустело. Напуганные венгры укрылись в горах и не хотели возвращаться. Большинство румын разбежалось.

Не стал скрываться от русских только Лодяну.

— За что вы их? — почти задыхаясь от ярости, спросил маленький Громовой, узнав в здоровенном румыне своего

старого знакомого. — Эх, ты!.. А я тебе еще... звездочку... отдай! — Он быстро протянул руку к голове румына...

Лодяну, потрясенный случившимся не меньше Громового, долго не мог ничего сказать. Он инстинктивно схватился за красноармейскую звезду, защищая ее. И только немного успокоившись, сообщил через своего солдата, говорившего по-русски:

— Я ведь ничего не знал. Я со своим взводом стоял за селом. Меня туда выслал командир роты. Теперь мне понятно, для чего он это сделал. Лейтенант Штенберг боялся, что я помешаю ему. Это его рук... Он еще вчера подбивал солдат на это. Мадьяры, говорит, захватили наши, румынские, земли. Венгры — наши враги, их надо проучить...

Бывший пехотинец сокрушенно покачал головой.

— Вот вражина! Это, значит, тот, что про нас разные сволочные слухи распускал? Ох же и тип! Вроде татаро-армянской резни устроил, — вспомнил он случай из истории, о котором узнал еще в школе от преподавателя. — Мадьяры — такие же люди, как и все. В дружбе надо жить, а вы... Поглядели бы на нашу батарею — сколько кровей в ней смешалось! И русские, и украинцы, и белорусы, и узбеки, один еще удмурт служит у нас. И все мы, как братья, как одна семья. Понял, Лодяну?— и важно подытожил: — Вот как надо жить!

На этом беседа Громового, любившего «просвещать» румын, не закончилась бы, если бы его не позвал Гунько: нужно было возвращаться на батарею.

— Ладно,— улыбнулся маленький Громовой, пожимая широкую руку Лодяну.— Носи звездочку. Тебе — можно!

А Марченко, распрощавшись с артиллеристами, дав Гунько слово обязательно заглянуть на его батарею, поскакал разыскивать разведчиков.

В горах день казался короче. С разукрашенных в аквамариновый цвет каменистых вершин по узким горным дорогам катились серые потоки полковых обозов. Из-под приторможенных колес и конских копыт летели красные брызги искр. Из ущелий темными черепахами выползали танки, готовясь к новому наступлению на город. Селение, куда входили танки и обозы, утомленное и испуганное, оцепенев, чего-то ждало, упрятав в своих недрах обитателей. В нем было прохладно, но душно и сумеречно, как в глубоком колодце без воды. Деревья,

неподвижные и запыленные, странно отпугивали, удручая взор. Хотелось поскорее подняться на гору, вздохнуть свежестью. Казалось, и само село пыталось когда-то вскарабкаться на вершину, но, обессилев, сползло обратно, сюда, в душную яму, оставив на скатах горы следы своего падения в виде многочисленных полуразрушенных землянок, совершенно развалившихся беседок и древнего замка, серого, мрачного, щербато скалившегося у самого края обрывистой горы. Запыленные дома, увитые цепким и уже высохшим плющом, стояли, будто покрытые плесенью и опутанные липкой паутиной. Нарастал все ширившийся грохот наших танков. И вместе с ним росло в душе нетерпеливое желание — поднять село и его жителей наверх, к солнцу, свету, воздуху...

На другом конце селения, в небольшом, брошенном каким-то перетрусившим купчишкой доме устраивались хозяйственные мужи разведчиков. Страдая от духоты и пыли, Пинчук забрался на крышу и командовал оттуда стоявшим внизу Кузьмичом.

— Подать флаг! Ось я его туточки зараз закреплю!

Он пристроил древко возле трубы. Красное полотно легонько колыхнулось. Пинчук жадно потянул носом воздух. Ему показалось, что стало немного свежее, легче дышать...

— Э-гей, Тарасыч! — услышал он чей-то удивительно знакомый голос внизу.

Возле домика статный конь погарцовывал под лейтенантом Марченко.

— Здравствуйте, товарищ лейтенант! — обрадовался Пинчук. — Якими судьбами к нам?

— К Забарову я... Он где?

— В штаб вызвали. Слет какой-то готовят. И Шахаев там, и Аким, и...

Петр Тарасович осекся.

— И она, значит, там? — глухо спросил лейтенант.

— С ними пошла, — как бы извиняясь, ответил Петр Тарасович и поспешил успокоить: — А вы обождите, товарищ лейтенант. Зараз, мабудь, придут.

4

Чем дальше уходила дивизия в горы, тем труднее, тернистее становился ее путь. Она медленно пробивалась вперед, как корабль, затертый торосистыми льдами. Горам

не было конца. Перевалив через одну гряду, солдаты видели перед собой другую, еще более высокую и скалистую. В горах трудно было поддерживать постоянное, локтевое соприкосновение с соседом и оттого порою думалось, что дивизия осталась одна против двух врагов — немцев, усиливших свое сопротивление, особенно в районе этого города Сибиу, и скалистых великанов, которые тоже грозились раздавить, проглотить вдруг ставший там странно маленьким и незаметным огромный и сложный организм дивизии.

Новые условия подсказывали и новые формы войны. Советским солдатам приходилось овладевать ими в ходе непрекращающихся боев. Накопился уже кое-какой опыт ведения горной войны. Его следовало распространить, сделать достоянием всех бойцов, отделений, рот и полков. С этой целью и был проведен слет Героев Советского Союза и бывалых воинов дивизии.

Небольшой зал помещичьей усадьбы с наскоро сооруженной сценой наполнился до отказа солдатами, сержантами и офицерами. С переднего края бойцов сняли ночью, и на совещание они пришли с оружием, многие в касках. Под светом электрических ламп вспыхивала сталь винтовок, автоматов, ручных пулеметов, боевые ордена и медали. За спинами гвардейцев, как всегда, покоились набитые нехитрым солдатским добром вещевые мешки. Бойцы, загорелые, обветренные, с любопытством оглядывали друг друга в этой непривычной для них обстановке. Кашляли осторожно, прикрываясь пилотками. В руках каждый держал блокнот с золотым тиснением: «Участнику 1-го слета Героев Советского Союза и бывалых воинов». Над этим потрудились работники типографии армейской газеты.

Участников слета приветствовал начальник политотдела. Он пришел сюда, все еще не избавившись от тяжелого впечатления, вызванного последним событием — избиением румынами мадьярского населения. Демину показалось, что он только в эти дни по-настоящему глубоко понял, насколько трудна и запутана обстановка, в которой приходилось ему и офицерам политотдела работать. Он хорошо видел, что сейчас не только он, начальник политотдела соединения, становился полпредом своего великого государства, но и каждый солдат его дивизии. Полковник понял это особенно тогда, когда заметил то

острое, неудержимое внимание, которое вызывали к себе наши бойцы у солдат чужой армии и местного населения.

«Да, да, совершается историческое, грандиозное!» — думал он, глядя на бойцов, сдержанно гудевших в зале, тех самых бойцов, которых всей душой любил и раньше, а теперь, кажется, готов был поклониться в ноги каждому. Вместе с этим горячим чувством жило и другое, что беспокоило его. Он без труда разгадал это другое. Оно рождено тем, что начподив в душе считал себя не вполне подготовленным к новой обстановке. Раньше было все просто и привычно: с одной стороны — твоя дивизия, советские люди; на противоположной стороне — враг и только враг, к которому нужно воспитывать лишь ненависть. Теперь же один из вчерашних твоих врагов стал твоим союзником и идет рядом с тобой, в одной боевой цепи. И это было бы только хорошо и несложно, если б в румынской армии не происходило тех глубоких процессов диференциации, которые так хорошо видел Демин и которые были результатом того, что в Румынию пришла Советская Армия.

Полковник посмотрел в зал, и ему стало вдруг легко и свободно. Он привык при затруднительных обстоятельствах приходить в эту солдатскую гущу, где так часто находил ответ на мучивший его вопрос.

Начподив стоял за длинным столом, накрытым красной материей, лаская солдат своим добрым и умным взглядом. Ему долго аплодировали. Он несколько раз поднимал левую руку, чтобы остановить бойцов, потом громко зааплодировал сам, приветствуя гвардейцев. Генерал Сизов, сидевший рядом с полковником, офицеры штаба, политотдела, редактор газеты поднялись разом и громко захлопали в ладоши. Перед комдивом лежало несколько исписанных карандашом листов — он приготовился к докладу. От разведчиков за столом сидел Шахаев.

— Товарищи гвардейцы! — начал Демин, дождавшись, когда зал утих.— Многие тысячи километров прошли мы вместе с вами. И нам следовало бы давно собраться вот так. Теперь, когда мы попали в необычные условия, этот слет стал необходим, как воздух. Мы должны будем здесь потолковать с вами о том, как лучше вести войну в горах, как лучше, с малой кровью,

бить врага. Мы не имеем права терять дорогих нам людей, пришедших сюда от священных стен Сталинграда, оставив за собой ее, дорогую родину!.. — Демин на минуту замолчал, и вдруг лицо его сделалось усталым и беспокойным. — Нельзя нам терять своих товарищей, — повторил он глухо, тяжело вздохнув. Обыкновенное отцовское, человеческое чувство отразилось на его лице.— Там, на родине, ждут вас матери, жены, невесты. Давайте же будем воевать умно, с головой. Здесь, в горах, это особенно необходимо. За нашей спиной много побед. Но мы совершим преступление, непоправимую глупость, если решим, что уже всего достигли, если не учтем изменившейся обстановки. — Говоря это, начальник политотдела почему-то все время глядел на лейтенанта Марченко, сидевшего рядом с Забаровым в первом ряду. Лейтенант краснел, брови его озабоченно шевелились, каштановые глаза темнели.

Начальник политотдела продолжал:

— Вы — ветераны, золотой фонд нашей гвардейской дивизии, ее ядро; вы прошли со своей,— он тепло улыбнулся,— славной Непромокаемо-Непросыхаемой весь ее тяжелый путь. У вас накопился богатый боевой опыт. Вы постоянно в непосредственной близости к врагу. И неудивительно, если мы, ваши начальники, хотим поучиться у вас, посоветоваться с вами, как лучше воевать. И собрали вас затем, чтобы вы здесь выступили со своими мыслями и соображениями по поводу горной войны. Думаю, что мы не станем ограничивать регламентом наших ораторов. Как вы, товарищи?

— Не ста-а-а-анем! — громко прокатилось по залу.

— В таком случае приступим к нашей работе. Слово для доклада предоставляется командиру нашей дивизии генерал-майору Сизову.

Доклад комдива был коротким. Чувствовалось, что Сизову нужно было только дать направление совещанию, уточнить, детализировать его задачи. После доклада начались выступления.

— Слово имеет лейтенант Забаров!— объявил Демин.

Федор вздрогнул и, удивленно, растерянно двигая густыми бровями, посмотрел на Демина. Полковник улыбнулся ему, закивал своей большой лобастой головой. Забаров, чувствуя легкую дрожь во всем теле и особенно в ногах, поднялся со своего места. Гигант встал неда-

леко от стола, и на сцене как-то вдруг стало тесно. На широком лбу лейтенанта легли обычные напряженные складки. Большие неловкие пальцы перелистывали блокнот. В зале — тишина, изредка нарушаемая легким покашливанием. Большинство бойцов знали Забарова или слышали о нем, о его подвигах и теперь нетерпеливо наблюдали за Федором, ожидая, когда он заговорит. На груди Забарова вспыхивала Золотая Звезда Героя. Забаров посмотрел еще раз в блокнот, потом, придумав первое слово, махнул рукой и заговорил без записей, приблизясь к краю сцены.

— Сталинградцы! — тяжелая рука лейтенанта рассекла воздух. — Я хочу прежде всего напомнить вам, что мы — сталинградцы, что это о нас гремит по всему свету слава. И будет греметь вовеки!

Зал всплеснулся яростными аплодисментами. Но Забаров обвел солдат строгим взглядом, и все быстро смолкли.

— Мы в Сталинграде получили такой опыт, который годится в любых условиях. Годится он и в этих наших боях. Но я имею в виду, товарищи, прежде всего мужество и стойкость сталинградцев. Вот это годится! Но это вовсе не значит, что мы вот тут, в горах, должны действовать теми же методами, применяя ту же тактику, что и в Сталинграде! — Федор заметно возбуждался. Он чувствовал, что в его голове родилась и билась большая, горячая и важная для всех мысль. И он ловил ее, сначала неудачно. Замолчал, посмотрел еще в зал и, вдруг поняв, что хотел сказать, начал смело и громко: — И все-таки Сталинград не мог нам дать методы на все случаи нашей боевой жизни. Вот перед нами горы. Называются они Трансильванские Альпы. Мальчишками, когда учились в школе, мы видели их только на карте. Учительница показывала. А теперь пришли сюда сами. В неведомые для нас горы... Враг же заранее подготовился к обороне, оседлал все выгодные позиции. А некоторые из нас еще по инерции продолжают и здесь воевать так, как воевали раньше, в совершенно другой местности и обстановке...

Генерал Сизов внимательно следил за разведчиком и думал, что в этом зале уже чувствовалось что-то новое, смелое и дерзкое, что так часто возникает в солдатской массе и что было сейчас созвучно его душе. Он смотрел

на Федора и все время поощрительно кивал ему головой, будто говоря: «Так, так, лейтенант. Продолжайте. Вы еще не сказали главного...»

Забаров и сам понимал, что находится лишь на подступах к этому главному, и злился на себя за то, что никак не перейдет к нему.

— Уличные сталинградские бои — сложное дело. Но они все же нечто совершенно другое, чем война в горах!— загудел он, радостно сознавая, что подходит к самому существенному, к тому, что, собственно, он и хотел сказать в своем выступлении.— Сталинград требовал от своих защитников непрерывной. изобретательности в борьбе с врагом. Помните статью генерала Чуйкова? Как она здорово помогла нам!.. Мы понимали тогда, что так, как мы действовали, скажем, сегодня, завтра уже действовать нельзя, потому что враг мог распознать нашу тактику. Успехи разведчика Марченко, ныне лейтенанта, в том и заключались, что он там, в Сталинграде, придумывал каждый день новое для своих поисков, учил этому нас, и мы были неуловимы для врага. И пехотинцы наши придумывали новые формы борьбы. Кто был там, тот помнит, как, например, хитро воевал со своим стрелковым отделением Фетисов... Он тогда еще сержантом был. Вот он — старшина, здесь сидит, может сам рассказать... В горах же нужны особые приемы. Почему вчера полковые разведчики не смогли выполнить задачи? А я вам скажу, почему. Их командир отделения — вон он сидит, в заднем ряду (все шумно завозились, завертели головами, отыскивая этого командира) — неправильно оценил условия горной войны. Он избрал путь во вражеский тыл через горное ущелье, заросшее густым лесом. На первый взгляд, он принял наилучшее решение. В самом деле, по ущелью легче всего пробраться, как казалось Вдовиченко... так, кажись, ваша фамилия, товарищ старший сержант?.. Но он не учел одного: он забыл, что и враг знает отлично это, что противник постарается поставить в этом ущелье свою засаду. Если бы Вдовиченко подумал побольше, он повел бы разведчиков не по ущелью, а через самую высокую и открытую гору, где их меньше всего ожидал бы противник. Наш Ерофеенко, например, со своим отделением захватил «языка» именно через этот путь. А почему? Да потому, что Аким избежал шаблона — лютого врага разведчиков. Все мы с вами восхи-

щаемся батареей капитана Гунько. Офицер этот избрал для себя самый трудный путь: он взобрался с орудиями на большую высоту, хотя мог бы установить пушки в другом месте. Но теперь он держит под огнем весь город, ему видно все, как на ладони, а враг не может его достать. И Гунько добьется победы.

— Правильно! — не выдержал полковник Павлов, с суровой лаской глядя на смуглощекого офицера, сидевшего в третьем ряду, в кругу своих артиллеристов: Печкина, Громового, наводчика Вани. — «Представляю к новой награде»,— решил про себя Павлов, гордясь тем, что об его артиллеристах говорят с такой похвалой.

— Мы должны бить врага там, где он нас меньше всего ожидает... — продолжал Забаров. Его густой рокочущий бас еще долго гудел в зале, и никто не желал его перебивать. Все слушали разведчика внимательно. Демин и редактор газеты что-то торопливо записывали в свои блокноты.

После Забарова выступили еще многие бойцы. Говорили стрелки, артиллеристы, минометчики, связисты, — последним в горах было особенно трудно. Выступил даже представитель транспорта — ездовой разведчиков Кузьмич. Он продемонстрировал перед участниками слета новый колесный тормоз, придуманный им вместе со старшиной роты Пинчуком. Чтобы затормозить повозку при спуске с горы, ездовому не надо было останавливаться и слезать на землю: он нажимал на педаль, и два стальных полукружья, плотно прижавшись к колесным шинам, прекращали вращение. Изобретение было простым и надежным. Неожиданно им заинтересовался командир дивизии Сизов, которому казалось, что присутствующие не поняли устройства нового тормоза. Вместе с Кузьмичом (в котором боролись гордость и растерянность) он стал демонстрировать тормоз перед солдатами сам.

— Вот язви тя!.. — вспоминал потом Кузьмич. — На пару с генералом работали. Он — за помощника. Ну и ну!.. — И старик с неостывающим удивлением качал головой.

Наконец, выступил «дивизионный мудрец» старшина Фетисов. Его появления на сцене ждали все с большим любопытством. Изобретения Фетисова возбуждали огромный интерес у гвардейцев. Некоторые верили в них, а многие относились либо скептически, либо с насторо-

женностью. Фетисов взобрался на сцену со всем своим сложным хозяйством, завалив пол экспонатами. У него был помощник — ефрейтор Федченко. Шахаев узнал солдата. Он помнил, как там, перед румынскими дотами, Фетисов учил этого бойца искусству окапывания. Фетисов был сейчас похож на факира: сам он имел вид загадочно-строгий и торжественный, будто и впрямь собирался показывать фокусы. На специальном столе, длинном, как для чистки оружия, лежали мины, знаменитая бронебойка, патроны. В левой руке старшины — рыжий немецкий ранец, в правой — какой-то странной формы предмет такого же цвета да и из такого же материала.

— Вы, товарищи, зря улыбаетесь, — сердито начал Фетисов и потряс в руке ранец, как большую пестрожелтую обезглавленную курицу. — Вы, конечно, много видели этих ранцев. Видели и бросали их по дорогам. И то сказать: глупо, безмозгло устроены они. Это верно. Положить в них ничего не положишь, а тяжесть большая. Но бойцы нашей роты все-таки не бросали их. Мы полагали, что когда-нибудь да сгодятся они нам. И пригодились. Вот, полюбуйтесь, что мы из них смастерили, — и Фетисов поднял ранец, что был у него в правой руке. Собственно, это был уже не ранец — какие-то ленты с кармашками, сумочками, крючками...

— Этой шуткой можно подпоясаться,— Фетисов подпоясался, и все увидели в кармашках, на ленте, обоймы патронов, как у матроса периода гражданской войны.— А вот тут можно уложить харч, гранаты, медикаменты,— и он перекинул вторую ленту через плечо.— Сюда можно вложить свернутую плащ-палатку. Видите, умещается очень много. И все это располагается на вашем теле так, что вы почти не чувствуете тяжести. Можно лазать по любым горам! Понятно?

— Понятно! Ясно! — закричали в зале.

Начальник политотдела громко зааплодировал. Все присоединились.

Фетисов смущенно топтался на месте, потом деловито стал собирать свое имущество.

— Вы что же, Фетисов?— улыбаясь, спросил Демин.— Про остальное-то не рассказали ведь... Просим!

...Старшину еще долго не отпускали со сцены.

Выступивший после Фетисова маленький Громовой

говорил о взаимной выручке в горах. При этом он демонстрировал перед участниками слета какие-то веревки, с помощью которых можно легко помочь товарищу при подъеме на крутую гору.

Слушая артиллериста, Демин улыбался, согреваемый крепким и бодрым чувством. Демин любил солдат за их непосредственность, любил их мудрость, накопленную в суровых походах. Его всегда удивляла и радовала их трогательная, сердечно-грубоватая заботливость о товарище, будто они видели себя в нем, в товарище, и любовались своим благородством и силою своею не в себе, а в товарище. Начальник политотдела всегда восхищался этим солдатским тактом, тщательно скрываемым самими же бойцами подчас за грубыми выражениями, крепко присоленными словами. Во взаимоотношениях бойцов была настойчиво последовательная суровость, предохраняющая их от расслабляющей и поэтому порою вредной на войне нежности друг к другу. Глядя на солдат, Демин чувствовал, что зал этот наполняется чем-то ободряюще смелым, что поможет дивизии выйти целой и невредимой из стиснувших ее горных ущелий на широкий и солнечный простор.

5

Со слета Марченко и Забаров шли вместе. Марченко был мрачен:

— И чего он глядел на меня так?

— Ты не горячись,— спокойно перебил его Забаров.— А подумай. За последнее время ты здорово изменился. Но что-то есть в тебе еще такое... нет-нет, да и выскочит наружу. А Демину хочется видеть тебя прежним сталинградским Марченко, понимаешь? Видел, как внимательно слушал он твое выступление? Я заметил даже, как он поморщился, когда ты произнес фразу: «Война без крови не бывает». Фраза, как фраза. Не ты один ее повторяешь. Ничего как будто в ней неправильного нет: в самом деле, на войне льется много крови. И все-таки начподиву не нравится, когда так говорят командиры. И я понимаю его. Ею, этой самой фразой, некоторые горе-командиры частенько пользуются, чтобы оправдать себя, плохо проведенный ими бой, свои большие потери. Угробил людей попусту да и говорит, что война без крови

не бывает... А я так гляжу на это дело: проиграл бой, потерял понапрасну людей — и нечего скрываться за спасительную формулу: «Война требует крови». Надо у нашей партии учиться ценить людей, дорожить каждым человеком, как величайшей ценностью. Всю вину принимай на себя, коли по твоей глупости погибли люди. Не знаю, как ты, а я фразу эту... знаешь, просто ненавижу! Она понижает в нас, командирах, чувство ответственности. Определенно — понижает! Мешает нам больше и глубже думать о наших операциях... Я понимаю, почему ты повторил ее на слете. И скажу тебе прямо, хоть знаю, что рассердишься. На днях ты послал третью роту в обход, а зря! Зря ведь! Если бы ты подумал хорошенько, то тебе бы стало ясно, что посылаешь людей... на верную гибель! Понимаешь ты это? И притом совершенно напрасно. Хорошо, что командир полка вмешался и отменил твое решение, а если бы он...

Марченко вспылил:

— Что вы меня все учите?

— Значит, так надо!

— А тебе известно, что я благодарность от командира полка на сборах получил? Нет. Ну вот, а говоришь... Оставь, Федор, лучше меня в покое. Я сам уже многое перетряс в своем чемодане! — Марченко стукнул себя по лбу. Он шел легко, своей обычной рысьей походкой. Забаров посмотрел на него:

— Хорошо, если так.

— Конечно, так. Вот поглядишь, скоро командовать батальоном буду. А там и... Хотя вряд ли... Знаешь, Федор, со мною чертовщина какая-то происходит: то я поверю в себя, скажу себе мысленно: «Вот возьмусь за дело попрежнему и даже лучше прежнего и еще покажу им всем, что может Марченко!» То вдруг захандрю — и нет этой веры. Руки, понимаешь, опускаются. К чорту! Вот так и верчусь на одной точке...— Марченко помолчал, потом резко заговорил: — Слушай, Федор, ну помоги мне, будь товарищем!.. Не могу, понимаешь!.. Чорт знает, что такое!.. Дня не проживу спокойно. Все... все о ней... Поговори с Наташей. Боюсь за себя, говорю как другу. Наделаю что-нибудь такое, что и не расхлебаешь...

— Погоди, погоди! — испугался Забаров. — Да ты что, сдурел? Ведь она любит другого. Как же...

— Знаю. Но, понимаешь, не могу... и боюсь, что...

Марченко внезапно смолк, круто повернулся и почти побежал прочь. Забаров проводил его своим тяжелым взглядом. В последнюю минуту Федор увидел его тонкую, стройную фигуру почти у края отвесной скалы. Марченко, как абрек, перепрыгивал с камня на камень, поддерживая на боку ненужную ему саблю. Солнце нехотя погружалось за перевал, окрашивая горы в зеленовато-голубой, нарядный цвет. Но откуда-то снизу по скале ползла вверх черная тень от уродливой тучи.

Забаров зябко поежился и быстрым шагом направился к домику купца, где располагались разведчики. В эту минуту грудь его наполнило острое ощущение сложности жизни; он думал о Марченко, о запутанной судьбе этого, в сущности неплохого, офицера, а потом невольно мысли его обратились на себя, на свое собственное неустроенное личное. Умевший хорошо командовать разведчиками, он оказался совсем беспомощным в таких, казалось бы, простых делах, как любовь. Что-то не клеилось у него с Зинаидой Петровной. Не клеилось, да и только! Затем стал думать о солдатах. Вспомнил о Никите Пилюгине, который был ранен вскоре после Семёна Ванина. Потеря этого солдата почему-то особенной болью отзывалась в сердце лейтенанта. Вместе с Шахаевым Федор приложил немало усилий, чтобы Никита, этот «музейный единоличник», как назвал его однажды Пинчук, стал в ряд их лучших разведчиков. И, кажется, дело шло к этому. На их глазах Пилюгин медленно, но неуклонно перерождался. И вдруг теперь, выйдя из госпиталя, он попадет в другую роту? Смогут ли там правильно понять его, не погубят ли в нем то хорошее и здоровое, что успели посеять в его душу они с парторгом и вся славная боевая семья разведчиков?..

Охваченный этими мыслями, Забаров вошел в дом. Первое, что он спросил, — это нет ли писем. Их не было. Федор глубоко вздохнул и вынул из своей сумки все старые письма Зинаиды. Перечитывая каждое по нескольку раз с терпением и надеждой, как старатель, в груде песка отыскивающий драгоценные золотые блестки, Забаров искал в сдержанных, скуповатых письмах подруги крупинки девичьей ласки, которая была так нужна сейчас его большому и неуютному сердцу. И он находил: их редкое, согревающее и освещающее душу мерцание обнаруживал между тесных строк письма, в тщательно за-

черкнутых словах, в многоточиях. Даже в кляксах! Поиски эти доставляли ему огромное наслаждение; напряженных складок на чуть рябоватом крупном лице становилось меньше, темные глаза делались задумчивы и теплы.

— Зина... Зинуша!.. Любимая моя!.. — шептал он и плотно закрывал глаза.

Чувств было так много, что они не умещались даже в его широкой и просторной груди, и он, смущенно улыбнувшись, позвал:

— Шахай!..

Но парторга не было. Он с Акимом и Наташей сидел в зале боярской усадьбы, ожидая начала киносеанса. Говорили о нем, о Забарове, вспоминая его выступление на слете. Наташа больше слушала. Наивные, ослепленные любовью своей, не понимали они с Акимом, что уже через несколько дней забудут о данном друг другу слове и будут встречаться, как встречались всегда. Ощущая теплоту ее руки, Аким тихо рассказывал:

— Я слушал лейтенанта и думал, что есть на свете два типа людей. С внешней стороны они как будто одинаковы. Но у одного только и есть эта внешняя сторона. Сними с него оболочку — под ней пусто. Другой содержит в себе что-то такое, что освещает по-иному и его внешнюю сторону, заставляет уважать человека с первого взгляда. Вот к этому типу людей, мне кажется, принадлежит наш командир роты.

— Ты прав, Аким, — согласился Шахаев. — Вот, знаешь, писатель Бажов нашел очень хорошее и меткое слово для определения богатого внутреннего содержания человека — «живинка». Она, эта живинка, и составляет душу человека, все то ценное в наших людях, что отличает их от других людей. О таких, как Забаров, надо говорить: «Этот человек с живинкой!» Так называет Бажов своих уральских умельцев. Но это вовсе не значит, что одни люди рождаются с живинкой, а другие — без нее. Нет, эта живинка в человеке воспитывается так же, как и все другие ценные качества.— Он задумался. Узковатые глаза его смотрели куда-то далеко. — Огромной заслугой нашей партии, — медленно продолжал он, — между прочим, является как раз то, что она сделала советских людей... по крайней мере большинство из них, людьми с живинкой... ну... с богатым духовным содержа-

нием. Людьми мыслящими, умеющими жить по-новому, строить прекрасную жизнь, что, собственно, и возбуждает такой большой интерес иностранцев к нам...

Аким слушал парторга, как всегда, немножко с удивлением. Удивляли его не только и не столько сами слова Шахаева, ясные, очень простые и глубокие в своей простоте, но и то, что этот уже седой, но в сущности еще очень молодой человек обладал такими большими и разносторонними знаниями, много читал и успел о многом подумать.

В зале погас свет.

Начался киносеанс.

Шахаев почувствовал, как на его руку плотно легла горячая рука.

Это была рука Акима.

6

Фильм растревожил сердце Акима, и он думал о нем несколько дней. Картина рассказывала о фронтовой дружбе двух солдат, и это вновь с особо острой болью заставило разведчика вспомнить о Семене. С потерей Ванина чего-то нехватало — большого и значительного для Акима, нарушалась какая-то стройность в его душе. Аким грустил, грустил тяжело и открыто. Наташа видела все, но не пыталась успокаивать его. Он удивлял и радовал ее своей товарищеской преданностью. Следила за ним украдкой, наблюдала сосредоточенно-тревожный и грустный взгляд его голубых, кротких глаз. Хорошие чистые слезы путались в длинных и темных ее ресницах. Однажды Наташа не выдержала и сказала ему:

— Что ты, Аким... он вернется...

Аким обрадованно поднял на нее глаза, но нужное слово благодарности у него не нашлось, он проговорил тихо и задумчиво:

— Разумеется.

Ему вдруг захотелось увидеть Шахаева, но старшего сержанта не оказалось поблизости. Парторг находился возле Михаила Лачуги, готовившего в саду ужин. С некоторых пор Шахаев все пристальнее и внимательнее присматривался к Лачуге. Солдат этот все больше нравился ему. У парторга был неплохо натренирован глаз

на хороших и ценных людей. Шахаеву как-то подумалось, что Михаил мог бы стать неплохим коммунистом, и сейчас он решил спросить повара, как тот думает насчет вступления в партию.

На вопрос Шахаева Михаил долго не мог подобрать ответа, ворошил свои белые волосы, смущенно поглядывая на Мотю, которая давно уже стала служить у разведчиков и сейчас сидела тут же на бревнышке. Эта бой-баба за последнее время как-то переродилась, уже не задирала больше старого Кузьмича, никому не дерзила, говорила тихо и певуче, точно любовь к Михаилу вытеснила из нее все бойкое и нахальное, сгладила, сравняла грубые и колкие черты ее характера.

— Ну, так как же? — повторил свой вопрос Шахаев.

Лачуга шумно вздохнул, горько улыбнулся:

— Не гожусь для партии, товарищ старший сержант.

— Почему?

— Малограмотен я. Да и в политике плохо разбираюсь.

— Это можно поправить,— порторг расстегнул свою неизменную сумку и вынул оттуда томик «Краткого курса».— Вот возьми, почитай.

— Что вы! Не одолею! — и печально улыбнулся, обнажая щербатую челюсть.

— Ничего, возьми. Одолеешь. Поможем.

Михаил взял книгу и благодарно пожал руку парторга.

Шахаев ушел удовлетворенный. Теперь он почти наверняка знал, что Лачуга со временем будет хорошим коммунистом. А это значит, что после войны в какое-то украинское селение придет новый руководитель, может быть, председатель колхоза, подобно Пинчуку, или бригадир, в крайнем случае.

Хорошо!

Шахаев тихо напевал какую-то свою, бурятскую песенку. Извиваясь, она то поднималась вверх, путаясь в вершинах яблонь, то срывалась вниз и стелилась по земле, покрытой густой желтеющей травой.

— Хорошо! — кончив петь, громко проговорил он и рассмеялся. Потом резко оборвал смех, помрачнел: — А что же с Ваниным? Почему я до сих пор не могу узнать, что с ним?

Не заходя в дом, Шахаев направился к начальнику политотдела, надеясь с его помощью навести справки о Ванине.

А он поправлялся: ранение было не столь уж серьезным — просто разведчик потерял тогда много крови. В этот день ему впервые разрешили немножко погулять на улице. Щуря на солнце беспечальные, чуть-чуть посерьезневшие светлые глаза, худой и слабый, переполненный радостным желанием жить до скончания мира, он выбрался за городок, в котором стоял армейский госпиталь, и по узкой дороге направился к лесу, к тому самому, где он был ранен. Дойти туда ему не удалось. Встретился какой-то капитан, спросил Сеньку, кто он и откуда. Ванин ответил и, незаметно для себя, рассказал всю историю своего ранения. Глаза капитана загорелись, он схватил разведчика за плечи и потащил в сторону, твердя:

— Голубчик! Вот здорово, чорт возьми! А мы давно тебя, брат, ищем!

Капитан оказался, как уже догадывался Ванин, корреспондентом армейской газеты. В редакции и в самом деле слышали о подвиге разведчиков, да не смогли найти Семена.

Офицер привел его в большой дом, где трудилось еще несколько журналистов.

Ванин рассказал обо всем заново. Капитан записал его рассказ в свой блокнот и поблагодарил разведчика. Вначале Ванин чувствовал себя в незнакомой редакции несколько стесненно. Но уже через пятнадцать-двадцать минут он весело и беспечно болтал с журналистами, подогреваемый их острыми шутками и каламбурами. Труженики пера ему явно понравились: они чем-то, должно быть своей веселостью, напомнили ему разведчиков. Среди них будто и не было старших и младших. Все — равные, одинаково остроумные и легко возбуждающиеся.

Уходил Семен от своих новых знакомых неохотно. Давно он уж так не дурачился, как в этот день. По дороге в госпиталь вспомнились ему разведчики, Вера, и сердце больно заныло.

«Через неделю убегу», — решил он твердо.

И, несколько успокоенный принятым решением, вошел в свою палату.

За окном сгущались тени. Сентябрь дышал в открытую форточку прохладой, манил куда-то в горы, наверное, в царство ветров, туч и орлов — туда, где скрылись, как в океане, друзья-товарищи, боевые его побратимы.

Эх, путь-дороженька! Далеко увела ты русского солдата!

Ванин разделся, лег на койку и, убаюканный ожиданием чего-то светлого в будущем и усталым колебанием дремотной тишины, быстро заснул крепким сном выздоравливающего человека, наливающегося новыми и всесильными соками жизни.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

1

Георге Бокулей с трудом вставил обойму в свою винтовку. Сердце солдата стучало часто и громко. Перед его глазами неотступно стояло лицо Василики — то прекрасное, каким оно было всегда, то обезображенное, каким оно было у нее мертвой. «Василика, солнце мое!.. Колокольчик ты мой звонкий!..» Георге делал много ненужных движений: надевал каску, вновь сбрасывал ее, перематывал зачем-то обмотки, застегивал и расстегивал ворот грубошерстного мундира. Брат его, Димитру, был все время рядом с ним и беспокойно следил за Георге.

— Что с тобой? — спросил он.

Но Георге Бокулей молчал. Он боялся, что ответ выдаст его окончательно. Веки его отяжелели. Он стал плохо видеть. Перед ним все плыло, волнообразно качаясь: и горы, и сосны, и бродившие в долине черные яки, и редкие деревянные домики горных трансильванских поселенцев. В древних камнях свистел ветер; небольшое облако, выбравшись, наконец, из ущелий, закрыло солнце, и вокруг стало сумеречно. Сумеречно и тревожно. Солдаты готовили оружие, гранаты, патроны. Приближались минуты атаки. Георге Бокулей, с холодным и злым выражением на лице, напряженно ждал ракеты и, наверное, потому не заметил ее. Он вздрогнул от грянувшего вдруг где-то впереди русского «ура» и быстро выскочил из окопа. «Ура-а-а-а», — катилось с гор, все

нарастая, как грозный обвал. Впереди румынских солдат бежал Лодяну. Бокулей искал глазами боярина. Увидел его тонкую фигуру левее роты. Штенберг понемногу отставал, уклоняясь все более влево...

Бокулей не слышал своего выстрела. Только на миг увидел, как качнулась стройная фигура офицера. Штенберг упал наземь, покатился под гору.

С горы цепь за цепью, волнами, двигались, бежали советские роты. Лодяну старался не отставать от русских пехотинцев и неожиданно крикнул, оглянувшись на бегущих вслед за ним румын:

— Равнение... на русских!

Слова эти, как-то вдруг вырвавшиеся из груди его, в великий смысл которых Лодяну вряд ли тогда вдумывался, он выкрикивал еще и еще раз и радовался, что горы, повторяя, усиливают их. Он задыхался от охватившей все существо его боевой радости, он слышал за собой близкий топот многих солдатских ног, чувствовал горячее дыхание товарищей и кричал с еще более торжествующей силой:

— Равнение на русских!

Немцы отстреливались, но уже ничто не могло остановить прорвавшегося с гор живого потока. «Ура» докатилось до ближайших домов города и, будто ударившись о них, разлилось по узким улицам, переулкам, дворам и огородам.

Через полчаса город был освобожден. Со всех дворов вели пленных немцев и мадьяр.

На городской площади, против маленькой ратуши, толпы румынских солдат смешались с толпами наших бойцов. Румыны обнимали советских солдат, просили красноармейские звездочки и, получив, торжественно прикрепляли их на своих выгоревших пилотках.

Группа румын окружила, взяла в полон старшину Владимира Фетисова. Дивизионный изобретатель прямо-таки растерялся.

— Что они хотят от меня? — спрашивал он Георге Бокулея, который был среди этих солдат.

— Они просят, чтобы вы, товарищ старшина, распорядились назначить командиром роты нашего Лодяну. Больше они никого не хотят.

— Как же я могу? Ведь это дело румынского командования.

— Солдаты боятся, что к ним пришлют опять такого же, как Штенберг.

— Не пришлют такого... —на всякий случай успокоил Фетисов, хотя вовсе не знал, что за командир был Штенберг, — хорошего пришлют.

Слова Владимира подействовали. Румыны мало-помалу успокоились. Но на площади еще долго стоял гул: румынские солдаты никак не хотели уходить от советских бойцов. Они впервые так близко видели красноармейцев.

2

На южной окраине городка разместился штаб румынского корпуса.

Генерал Рупеску испытывал некоторую неловкость перед начальником политотдела Деминым, навестившим его, очевидно, не случайно. Однако Рупеску старался не выказывать своей неловкости. С подчеркнутой веселостью он крикнул своему денщику:

— Коньяк и две рюмки!

Демин улыбнулся:

— Решили поклониться Бахусу, господин генерал?

Генерал засмеялся и кокетливо погрозил полковнику своим коротким пальцем.

— Не скрою. Люблю выпить. Особенно — когда есть к тому причина.

— Какая же причина, господин генерал?

— А наша победа? Наша дружба? Разве за это не стоит выпить?

— За дружбу — стоит, — сказал Демин и, усмехнувшись добавил: — Надеюсь, вы делаете все для нее, для дружбы румын с русскими?

— Разумеется, все, что в моих силах, — охотно подтвердил генерал и натужно закашлялся, закрывая рот, а вместе с ним и все лицо платком.

— Разрешите с вами не согласиться, господин генерал!

— Что? — Рупеску поморщился.

— Зачем вы запрещаете своим солдатам общение с нами? Зачем ваши офицеры сейчас разогнали своих солдат с площади? Не кажется ли вам, что так друзья не поступают?

— Порядок, господин полковник, порядок требует. Армейская дисциплина, сами знаете...

— Не нравится мне такой порядок.

— Вы что же, господин полковник, хотели, чтобы я не подчинялся приказам моего правительства?

— Нет. Но мы хотели бы иметь искреннего союзника. Солдаты ваши — тоже.

— Солдаты должны воевать, с кем им прикажут. И дружить с теми, с кем им повелят,— генерал приподнялся и комом покатился по комнате, обтирая багровую шею платком. — Солдат есть солдат!

— Солдата, о котором вы говорите,— такого солдата уже нет, господин генерал. Нет таких и в вашем корпусе. Есть солдаты, которые хотят думать.

— Не полагаете ли вы, господин полковник, что знаете моих солдат лучше, чем я?

— Полагаю, господин генерал. И в этом нет ничего удивительного. Мне, советскому офицеру, легче понять душу простого солдата. Поэтому я утверждаю, что ваши солдаты желают настоящей дружбы с нами, иначе их не заставил бы никто проливать кровь сейчас за наши общие интересы. Разумеется, вы не хотели бы этого, как не желаете того, чтобы румыны и венгры жили в вечном мире и дружбе. Вы сознательно закрываете глаза на тот факт, что ваши офицеры жестоко избивают венгерское население здесь, в Трансильвании.

— Мадьяры — наши исконные враги. Они и для вас враги, такие же, как и для ваших румынских союзников...

— Такие же враги, какими еще вчера являлись для нас наши сегодняшние румынские союзники. Именно поэтому мы решительно против вашей междоусобицы. — Демин видел, как от его слов морщится и сжимается этот генерал, против своей воли ставший нашим союзником.

— Я — румын, господин полковник, и превыше всего ставлю национальную честь своего народа, — патетически проговорил Рупеску. — Мадьяры оскорбили эту честь, и моя совесть не позволяет мне быть к ним снисходительным. И я... И я никому не позволю...

— Успокойтесь, пожалуйста. И разрешите мне усомниться в справедливости ваших утверждений.

— Как вам угодно, — сухо пробормотал генерал.

За окном, у крыльца, громко разговаривали румынские солдаты из генеральской свиты. Они говорили о русских, говорили без устали, неутомимо. Русские попреж-

нему возбуждали в них острый, иногда пугающий и всегда смутно обнадеживающий интерес. Румынам было непонятно, отчего русские не дают им бить мадьяр; непонятным было многое из того, что делали советские солдаты. И все же румыны чувствовали, что с приходом советских войск в их страну одновременно ворвалось что-то новое, возбуждающе свежее, отчего должно произойти какое-то важное изменение, и они догадывались, что это изменение — к лучшему. Повинуясь внутренней, еще не совсем ясной, но сильной воле, они все более проникались уважением к советским бойцам — ко вчерашним своим врагам, о которых им все время говорили только плохое. Так же, как когда-то у Георге Бокулея, в душе румынских солдат пробудилась и росла, тревожа мозг и сердце, непонятная сила, которая готова была вырваться наружу потоком сердитых, негодующих слов к тем, кто их так долго обманывал. Солдаты были охвачены чем-то могучим, совершенно незнакомым, еще до конца не осмысленным и не осознанным ими, но уже не столь пугающим, как раньше. Они переживали состояние детей, перед которыми впервые открывался огромный, неведомый, захватывающе манящий и прекрасный мир. И то, что боярин Штенберг был убит рукою какого-то ихнего товарища, что еще утром беспокоило их и пугало, казалось преступным,— теперь представлялось закономерным, неизбежным и даже необходимым, как закономерным, неизбежным и необходимым было все то, что вершилось сейчас на их глазах.

Прислушиваясь к солдатскому гомону за окном, Демин, повидимому, думал как раз об этом.

— И вам не уничтожить уважения ваших солдат к моей армии, к моей стране,— продолжал полковник,— как бы вы ни старались это сделать. Я должен, как представитель советского командования, заявить вам, господин генерал, что вы и ваше правительство не выполняете условий перемирия. Румынская армия, в том числе и ваш корпус, господин генерал, до сих пор заполнены ставленниками Антонеску, явными и тайными агентами Гитлера. Сторонников Антонеску, офицеров, вы повышаете в должностях, а его противников, друзей румынского народа и Советского Союза, всячески терроризируете. Демократически настроенных офицеров вы увольняете из армии или разжалываете в рядовые...

— Это неправда!

— Нет, это правда. Вот свежий факт. Почему вы сегодня отдали приказ об отстранении от должности командира взвода Лодяну? Не потому ли, что он из рабочей семьи и стоит за дружбу с нами и так же, как мы, ненавидит фашизм?

— В его взводе скрывался и скрывается солдат, убивший ротного офицера — лейтенанта Штенберга. Лодяну отказался помочь следственным органам обнаружить этого негодяя.

— А зачем вы распорядились об увольнении командира роты Мукершану? Он — что, тоже был причастен к убийству?

— Мукершану вел вредную пропаганду среди солдат.

— Призыв к дружбе с СССР вы считаете вредной пропагандой?

Припертый к стене, Рупеску молчал.

Демин колюче посмотрел на него, сказал:

— У меня к вам больше нет вопросов, господин генерал, — и, не попрощавшись, вышел на улицу. Он быстро направился в штаб своей дивизии.

3

После занятия города советскими и румынскими войсками Мукершану, еще утром сдавший роту другому офицеру, решил посетить шахтерский поселок, раскинувшийся за смутно маячившими невдалеке многочисленными копрами. В километре от поселка он встретил группу углекопов, сидевших на древних валунах и о чем-то угрюмо разговаривавших. За плечами шахтеров были приторочены котомки, в руках — посохи.

— Куда это вы собрались? — спросил Мукершану, присаживаясь рядом с шахтерами.

— А вы кто будете? И какое вам до нас дело? — в свою очередь спросил пожилой рабочий, откинув с головы брезентовый капюшон, которым укрывался от мелкого холодного дождя, спустившегося с какой-то приблудной тучки.

— Есть дело, коль спрашиваю.

Шахтеры с ленивым любопытством посмотрели на незнакомца, почуяв в его голосе неподдельную заинтересованность.

— Кто же ты, однако? — переспросил все тот же пожилой углекоп.

— Солдат. Не видите, что ли?

— Видим. Мало ли их тут бродит! Интересуетесь только вот зачем?

— Сам рабочий, вот и интересуюсь.

Все по профессиональной привычке поглядели на руки Мукершану. Удовлетворенные, загудели:

— Не обманываешь, похоже.

— А зачем мне вас обманывать?.. Покидаете, значит, шахты? — Мукершану нахмурился. — Эх, вы!..

— Какое, однако, твое дело? — разозлился пожилой шахтер, который, повидимому, был тут за главного. Мукершану подозревал, что это по его инициативе рабочие собрались в свое странствие.

— А ты зря сердишься, старик. Я плохого вам не сделал. Но только настоящий шахтер свою шахту не оставит.

— Свою?.. А ты погляди на нее! — все более раздражаясь, воскликнул рабочий.— Купаться в ней, в шахте-то? Уж больно вода черна; ты бы сам попробовал.

— Воду можно выкачать.

— Пусть хозяин сам качает. Сумел залить — пусть и откачивает. А мы с голоду не хотим умирать... Да что ты к нам прицепился?.. Откуда ты объявился? Пошли, чего его слушать!..

— Я сказал — откуда. А ты зря, старик, торопишься. Батраками, что ль, к помещику? Не советую — плохой это хлеб. Возвращайтесь-ка к себе на шахту и принимайтесь за дело. Так-то оно будет лучше.

— Хозяину капиталы скоплять? Нет уж, хватит.

— Не хозяину, а себе,— спокойно возразил Мукершану и быстро сообщил: — Ваши будут шахты, поняли?

Рабочие недоуменно зашумели:

— Как бы не так!

— Вырвешь у них — руки пооборвут.

— Не пооборвут. Коротки теперь у них руки.— Мукершану приблизился к пожилому рабочему, доверительно заговорил: — Что ты косишься на меня? Где это ты видел, чтобы рабочий обманывал рабочего? Вот возьми, почитай! — и Николае показал шахтеру документ, в котором указывалось, что он, Мукершану, рабочий с завода Решицы, является членом румынской комму-

нистической партии. — Ну, что ты скажешь на это, старина?

— Простите за грубые слова, товарищ, — голос старого рабочего стал мягче, взгляд потеплел. — Откуда мы знали?.. Что же, однако, нам делать? С голоду пропадаем. Детишки пухнут.

— Вижу и понимаю. Но покинуть шахты и уйти в деревни — не выход из положения. Стране нужен уголь. Коммунистическая партия не даст помереть вашим детишкам.

— Значит, вы советуете нам вернуться?

— Да, советую.

— Ну, что ж. Мы вернемся. Только знаешь, товарищ, недолго мы протянем, если так продолжаться будет...

— Знаю, — тихо проговорил Мукершану.

— Ну, что ж, пошли... До свиданья, товарищ! — старый шахтер протянул было руку Мукершану, но тот сказал:

— Я с вами пойду, погляжу, как там у вас...

— Милости просим.

Шахтеры медленно повернули обратно.

4

Дивизия генерала Сизова с каждым днем пробивалась вперед и вперед, поднимаясь все выше и выше в горы. Дорог тут мало, да и те, что вились по ущелью, были заминированы немцами. Все мосты через многочисленные горные речушки взорваны, на их восстановление у командования дивизии не было времени. Оно имело задачу — как можно быстрее преодолеть Трансильванские Альпы, вывести соединение на равнину и двинуться полным ходом к венгерской границе, которую уже пересекли, совершив большой обходный рейд, кавалеристы генерала Плиева.

Радио приносило радостные вести, советские войска наступали всюду. Правда, на западе что-то не особенно спорилось у союзников, но о них как-то не думалось в те дни.

Полк Тюлина шел впереди. Используя метод, предложенный на слете сержантом Громовым, пехотинцы поднимались вверх, связавшись друг с другом веревками, как

настоящие альпинисты. Веревки эти и прочные широкие ремни с медными крючками нашлись в повозках старшины Фетисова, предусмотрительно собравшего их при разгроме горного батальона противника.

Сам Тюлин и еще несколько бойцов-разведчиков поднялись за облака.

— Прекрасный командир! — вырвалось у генерала Сизова, смотревшего вверх. — Погляди, как организовал дело!

При встречах с Тюлиным Сизов уже ни разу не напоминал ему о прошлом, о тех далеких днях, когда генералу приходилось частенько журить этого офицера.

— Молодец! — искренне подтвердил Демин, которого всегда радовал рост людей. — Со временем из него получится толковый командир дивизии.

— Безусловно.

— И что еще важно — он стал больше заниматься политработой в полку, чего раньше с ним не было. Сейчас нередко сам беседует с замполитами, парторгами и комсоргами. Советует им, что надо делать, учит.

Среди камней, земляных глыб и кустарников перемещались серые цепочки бойцов, медленно, но неуклонно набирающих высоту. А по единственной тропинке, за ночь немного расширенной саперами, поднимались обозы. Откуда-то сверху катилось точ-в-точь как при форсировании Молдавы в первые дни наступления:

— Раз, два — взяли!

— Давай, давай!

Было странно, удивительно и отрадно слышать это чисто русское «давай, давай» в чужих непроходимых дебрях.

За советскими солдатами поднимались румынские, хотя генерал Рупеску считал дальнейшее продвижение в горах безумием и предлагал Сизову двигаться в обход.

— Тут ни един тшорт не проходиль, — пытался говорить он по-русски, нажимая на колоритное слово «тшорт».

— Вот и хорошо. Обрушимся на врага неожиданно,— отвечал на это Сизов. — К тому же нам, советским людям, не привыкать двигаться непроторенными путями. Вы, господин генерал, беспокоитесь совершенно напрасно. Вашим солдатам будет легче: они пойдут вслед за советскими...

Рупеску промолчал. Но, отойдя от Сизова, тихо прошептал, багровея:

— Вслед за советскими. Это-то меня больше всего и беспокоит...

Румынские солдаты старались не отставать от наших бойцов. Неподалеку от Сизова и Демина стоял высокий румынский офицер и следил, как поднимался в гору его взвод, изредка покрикивая на подчиненных:

— Давай, давай! — и радостно улыбался, утирая потный лоб пилоткой, на которой виднелась красная пятиконечная звездочка. — Давай!.. Карашо!

Это был Лодяну. По распоряжению Рупеску его отстранили было от командования взводом, но солдаты заявили, что с другим командиром они не будут воевать. Корпусному генералу пришлось отменить свой приказ.

— Вот он, офицер новой румынской армии! — сказал генералу Сизову начальник политотдела. — Посмотрите, как воодушевлен, как горят его глаза! Никаким Рупеску не свернуть этого с избранного им пути!

Внимание начальников отвлекли Пинчук и Кузьмич, поднимавшиеся сейчас со своей повозкой вслед за полковыми обозами.

— А где же сноп, который подарили вам румынские крестьяне в Гарманешти? — вспомнил Демин, заметив, что на возу нет снопа пшеницы.

Отстав немного от обоза, Петр Тарасович объяснил:

— Обмолотили мы его, товарищ полковник.

— А куда зерно дели? Лошадям, поди, стравил?

— Ни. Отослал в свой колгосп, щоб посеяли на нашей земле.

— Это для чего ж? — удивился Демин.

— Як бы семена дружбы... Не век же нам с румынами в ссоре жить, — прибавил старшина, вспомнив слова Шахаева, сказанные в беседе с Акимом. Подумав, обобщил: — Воны — соседи нам. А с соседями треба жить дружно. Хай будуть нашими друзьями!

Демин и генерал улыбнулись.

— Верно, товарищ Пинчук. Румынский народ должен быть и станет нашим надежным другом. Семена этой дружбы сеете вы, советские солдаты, потому что несете освобождение всем народам. Этого ни один народ не забудет. У народа хорошая память,

— А як же? Забыть того нельзя!.. Я вот так разумию. — Пинчуку хотелось изложить и свой взгляд на положение вещей, но он увидел, что Кузьмич поднялся уже высоко, и надо было спешить.

— Разрешите итти, товарищ генерал? — попросил он. И, получив разрешение, быстро зашагал вперед, твердо и основательно ставя свои короткие, немного кривые ноги на незнакомую землю.

За горами стояло огромное зарево от опустившегося там солнца, будто где-то далеко, за хребтами, били тысячи батарей; пламя зарниц пылало, трепетало на горизонте, дрожало на потных лицах солдат, карабкавшихся по камням все дальше и выше.

Выше!..

5

Горы редели.

В районе реки Мурешул, куда с трудом пробилась дивизия, их уже было меньше, и сами они походили на большие возвышенности, покрытые лесом и виноградниками. После занятия селения Тургу-Муреш и города Регин дивизия получила приказ переправиться через эту реку, захватить плацдарм и затем двигаться дальше, снова в горы, которые далеко и смутно проступали перед беспокойными взорами наших солдат.

Лейтенанту Забарову было приказано в следующую ночь пробраться на противоположный берег реки, выяснить систему вражеской обороны и, проникнув в ближайшее село, узнать по возможности, как велика численность неприятеля.

Задача была сложная, и Забаров решил действовать силами почти всех разведчиков. Саперы с вечера приготовили несколько маленьких плотов, спрятав их на левом берегу. Плоты, однако, были закреплены недостаточно прочно, и их унесло вниз по течению. Саперы и разведчики обнаружили это, когда вышли к реке, чтобы начать переправу.

— Придется отложить до следующей ночи, — сказал командир саперов.

— Что отложить? — как бы не поняв, переспросил Забаров. Его огромная фигура неясно возвышалась в су-

мраке ночи. Дождевые капли громко стучали о маскировочный халат.

— Переправу, — пояснил сапер.

— Вон оно что! — Федор тяжело, с шумным свистом вздохнул.

Разведчики, наблюдая за ним, ждали, что будет дальше. Они не знали точно, как станет действовать их командир, но о том, что переправа не будет отложена, знали наверняка: разведчики не помнили случая, чтобы лейтенант оставил не выполненной до конца поставленную перед ним задачу. Некоторое время он стоял неподвижно, как изваяние, на берегу реки. Шахаев следил за ним.

— Можете итти, — глухо проговорил Федор, обращаясь к саперам.

— Мы останемся. Поможем вам чем-нибудь...

— Вы уже «помогли»... Идите!

Когда саперы ушли, он помолчал, потом повернулся к разведчикам, обнял суровым взглядом их темные, мокрые фигуры, вымолвил то, что уже давно было решено им самим, но в последние минуты обдумывалось лишь в деталях:

— Так, значит, вплавь. Снять маскхалаты. Голубевой остаться здесь и ждать нашего возвращения. Остаться и тем, кто не умеет плавать. Есть такие?

Таких не оказалось.

— Добро! Да, совсем было забыл. Наташа, тебе надо бы сбегать к старшине. Пусть он доставит сюда спирт и сухое обмундирование.

— Не надо к нему ходить, товарищ лейтенант. Пинчук знает об этом и через час будет тут.

Забаров посмотрел молча на темную квадратную фигуру парторга, на смоченные дождем его белые прямые волосы и стал быстро стаскивать с себя маскхалат. Все начали делать то же самое. Раздеваясь, Семен — он прибыл недавно из госпиталя одновременно с Пилюгиным — не преминул уколоть Никиту:

— Наташа, ты гляди тут в оба. Особенно за никитиными штанами присматривай. Неровен час, убегут еще...

— Баламут ты, Ванин, больше никто! — возмутился за себя и за Наташу Пилюгин. Прыгая на одной ноге, он никак не мог снять штанину. Потом снял все-таки

и долго смотрел на Ванина Семен не видел его взгляда, но догадывался, что взгляд этот тяжелый и сердитый.

— Что ты на меня уставился, Никита? Уж не кажется ли тебе, что ты — Юпитер и от взмаха твоих ресниц содрогнется Олимп, то есть я?..

Про Юпитера и Олимп Семен вычитал в книге, подаренной ему капитаном из армейской роты. У Ванина была удивительно цепкая память. Читал он не очень много, но прочитанное запоминал крепко и навсегда и, главное, умел искусно применить в жизни.

Никита, конечно, не слышал ни про Юпитера, ни про Олимп. Но само это мифологическое сравнение показалось ему обидным. Он проворчал:

— Сам ты и есть форменный Юпитер...

Первыми в воду вошли Забаров и Шахаев. Ледяная, она обожгла разведчиков, как кипятком. Некоторое время шли по дну, скользкому, устланному ракушками, которые неприятно лопались под ногами. Комсорг Камушкин, самый низкорослый среди разведчиков, уже плыл. Быстрое течение относило его в сторону, но он напрягал все силы, чтобы не оторваться от остальных. Вскоре вынуждены были плыть уже все. Забаров давал направление. Среди шума дождя не слышно всплесков воды, и это было только наруку солдатам. Даже вражеские ракеты — извечные и опаснейшие враги разведчиков — на этот раз были на пользу бойцам: забаровцы ориентировались по ним. Ракеты часто взмывали вверх, но их свет не мог пробиться к плывущим сквозь частую сетку дождя, угасал, едва вспыхнув в сыром воздухе.

На середине реки течение было еще более быстрым. Разведчикам приходилось делать большие усилия, чтобы держаться нужного направления. Ребята коченели, но напряжением воли заставляли себя забыть о холоде. Самое неприятное творилось с Шахаевым: парторг чувствовал, как железные обручи судороги сжимали его ноги, и ноги отказывались подчиняться. Вот когда малокровие подкараулило старшего сержанта!

«Неужели конец?» — подумал он, чувствуя, как ставшие вдруг тяжелыми и твердыми, словно сырые поленья, ноги тащат его на дно. «Рано, брат, нельзя», — прошептал он сквозь стиснутые зубы. И та же сила, что помогла ему, тяжело раненному, там, на Днепре, продержаться

до конца, теперь удерживала его на поверхности воды. Шахаев плыл, глубоко погрузившись в воду. Над рекою серебрилась одна лишь его седая голова. Но вскоре отказала правая рука — ее тоже скрутило судорогой. Чтобы не утонуть, Шахаев энергичнее стал грести левой, но и эта рука быстро уставала. «Ну, вот теперь, кажется, действительно конец», — подумал парторг с холодным спокойствием, напряженно глядя то на небо, то на невидимый почти берег.

По его лицу хлестали и хлестали струи дождя.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

1

Петр Тарасович Пинчук, Кузьмич и Лачуга, которые ведали хозяйством разведчиков, в дни марша редко видели их: те шли всегда где-то далеко впереди дивизии. Иногда появлялся какой-нибудь раненый боец, отдыхал денек-другой и снова уходил к Забарову.

Однажды пришел с перевязанной головой самый молоденький разведчик. Его царапнула в горах снайперская пуля мадьярского гонведа. Разведчик подал старшине бумажку, на которой рукой комсорга Камушкина было начертано:

«Товарищ старшина!

Убедительно прошу взять с собой этого хлопца. Он отличный разведчик. Вчера, недалеко от Мурешула, мы его приняли в комсомол, — Ванин и я дали ему рекомендации. Геройский подвиг совершил парень: захватил в плен немецкого полковника. В медсанбат он не хочет, боится — отправят в тыл. А парню, сами знаете, хочется встретить День Победы тут, на фронте. Мне тоже жаль отпускать Голубкова. Комсомольцев у меня не очень много осталось. Так что пусть он лечится у вас. Медикаментами Наташа его снабдила. Вы только найдите ему местечко в кузьмичовой повозке. Кузьмича я тоже об этом прошу.

Пожалуйста, товарищ старшина!

С приветом — ваш В. Камушкин».

Пинчук хотел было позвать ездового, но вспомнил, что Кузьмич отпросился у него сходить к начальнику

политотдела, потому что у него, Кузьмича, «есть к товарищу полковнику большая просьба». Однако вскоре сибиряк возвратился, и старшина отдал ему соответствующее распоряжение.

«Тыловики» заботливо приняли молодого разведчика. Дальше он ехал в повозке Кузьмича, утоляя любопытство старика бесконечными рассказами о последних поисках в горах. Рассказывал о комсорге Камушкине, какой он смелый парень, о Ванине, от которого ему, молодому разведчику, порядком попадало и которого тем не менее парень уважал (Семен был земляком новенького разведчика и, очевидно, на этом основании считал себя вправе поучать хлопца, хотя тот находился в другом отделении). Только о себе ничего не поведал синеглазый и словоохотливый солдат.

В село, затерянное в Трансильвании, в котором им предстояло остановиться на ночевку, в пяти-семи километрах от Мурешула, они въезжали уже под вечер. Вместе с ними туда же втягивалось штабное хозяйство дивизии. Скрип колес, храп лошадей, крики повозочных, команды начальников отделений, надрывный стон вечно перегруженных машин — все сливалось в один неприятно-резкий, но привычный уху фронтовика гам.

— Погоняй, погоняй живей!..

— Гляди, мост не выдержит!..

— Трофим, у тебя там что-нибудь осталось?.. Кишки к ребрам примерзли, честное благородное... Замерзаю! Дождь хлещет — спасу нет!..

— Кажись, кто-то выпил... Так и есть — фляга пуста... Кто же это?

Шум медленно плыл над селом, пугая его жителей, притаившихся в нетерпеливом и робком ожидании.

Кузьмич свернул в узкий переулок, доехал до его конца и остановился у немудрящей хатенки, на стене которой чья-то заботливая рука написала условный знак, показывавший место расположения разведчиков. То, что хата стояла на отшибе, вполне удовлетворяло Кузьмича.

— Тут-то оно поспокойней: бомбить поменьше будут, язви их в корень! — рассудил он, подойдя к хижине и решительно барабаня крепким кулаком по ветхим воротам.

За время своего заграничного путешествия Пинчук и Кузьмич успели уразуметь некую премудрость из жизни хозяйственной братии,

— Знать свое место треба,— часто говаривал Петр Тарасович сам себе. Это означало, что никогда ему, старшине, не следует совать свой нос в хорошую хату. Во-первых, потому, что хорошие хаты почти всегда находятся в центре села и, значит, их перво-наперво бомбят немецкие бомбардировщики; во-вторых, — и это, пожалуй, было самое важное,— в хороших хатах богатеи живут, народ несговорчивый насчет, скажем, фуража для лошадей и всего прочего. Пинчук и Кузьмич не хотели иметь с ними дело еще и по «классовым соображениям», как пояснял Петр Тарасович. С бедными же у них как-то всегда все получалось по-хорошему: они до сих пор не могли забыть своей большой дружбы с Александру Бокулеем из Гарманешти и старым солдатом конюхом Ионом из боярской усадьбы Штенбергов.

— Як там твоя труба, Кузьмич, стоит, чи ни? — частенько спрашивал ездового Пинчук.

— А что ей сделается? Уж коли я сложу, так не развалится, — не без хвастливости отвечал сибиряк. — Целую вечность будет стоять, язви ее!.. Все развалится вправ, а моя труба будет стоять. Вот проверь!

...На стук в ворота хозяин вышел не скоро. Он отворил их только тогда, когда к стуку Кузьмич присоединил свои крепко присоленные слова.

— Йо напот! Здравствуй, товарищ, — заулыбался старикашка — румынский мадьяр.

— Здравствуй, здравствуй! А что испугался-то, съем, что ли, тебя?

— Думал, румынские офицеры...

— Что, безобразничают?

Старик-мадьяр горестно кивнул головой.

— Не будет этого вскорости. Еще друзьями-братьями станете, как, скажем, в нашей стране. Тыщи разных народностей живут вместе, и все товарищи друг дружке...

Кузьмич говорил с хозяином по-русски, не растрачивая попусту тот немногий запас венгерских слов, которые они на всякий случай успели разучить с Пинчуком по дороге: сибиряк знал, что почти все венгерские мужчины его лет и старше побывали в русском плену после первой мировой войны и вполне сносно изъясняются по-нашему.

— В России был? — спросил для верности Кузьмич старика, помогавшего ему распрягать лошадей.

— Был, — ответил тот. — Россия хороший...

— Хороший-хороший, а небось сына против русских воевать послал? — допытывался Кузьмич, довольный тем, что Пинчук, захватив спирт и теплую одежду, выехал к разведчикам на Мурешул и ему, Кузьмичу, теперь никто не мешал беседовать с иностранцем.

— Сына... под Воронежем... убили... — признался мадьяр, и ездовой заметил, как его большие, земляного цвета руки знобко затряслись, худое лицо сморщилось, глаза стали мокрыми.

— Эх вы, вояки... — неопределенно пробурчал Кузьмич, отводя лошадей под навес. — А овсеца мерки две у тебя найдется? — крикнул он оттуда хозяину.

— Нет, товарищ. Я имел мало земли. Овес негде сеять. Много земли у графа Эстергази, у меня — мало...

Кузьмич посмотрел на старика и сразу подобрел.

— Как тебя зовут?

— Янош, — охотно ответил крестьянин и заулыбался.

— А меня Иваном величают, Иваном Кузьмичом. Янош и Иван — одно и то же. Тезки, стало быть, мы с тобой... а?

— Тетка, тетка, — весело залопотал венгр.

— Вот что, «тетка», овса-то все-таки надо достать,— уже серьезно заговорил Кузьмич. — Тылы наши с фуражом поотстали малость. Сам знаешь, горы. А лошадей кормить надо. Понял?

Хозяин на минуту задумался, потом, что-то сообразив, взял у Кузьмича мешок и вышел на улицу. Вернулся с овсом только ночью.

— Со складов графа Эстергази, — воровато и испуганно озираясь, словно за ним следил сам граф, проговорил он и печально добавил: — Узнает, убьет... Тут вот и листовки ночью с самолетов разбрасывали такие... Пишут в них: если будете, мол, помогать русской армии и грабить графские имения, всех перевешаем...

— Кто же разбрасывал эти поганые бумажки, язви его в душу? — возмутился Кузьмич.

— Написано с одной стороны по-румынски, а с другой — по-мадьярски. Немцы, наверное.

— Они, стало быть,— согласился Кузьмич и успокоил хозяина: — А ты, Иван, то бишь... Янош, того... не пугайся. Песенка графа спета.

Убрав коней, Кузьмич и хозяин вошли в дом. Молодой разведчик уже спал. Лачуга в другой комнате с по-

мощью хозяйки что-то готовил для разведчиков Пинчука все еще не было.

Венгр, принявший ездового за старшего, провел его в горницу, где Кузьмича ждала уже постель. Но спать сибиряку не хотелось, и они разговорились с хозяином, который к тому времени уже успокоился совершенно и так пообвыкся, что то и дело шлепал Кузьмича по плечу своей тяжелой ручищей.

— Видал я у тебя, Янош, под сараем соху. Клячонка, небось, еле тащит ее. А у нас трактор, — неожиданно похвастался сибиряк. — Выехал в поле с четырехлемешным — сердце поет, радуется, стало быть...

— Трактора и тут есть... У богатых.

— То я знаю, — солидно подтвердил Кузьмич. — Да вам-то от этого какая же польза?

— Никакой, — вздохнул крестьянин и неожиданно спросил: — А земли у тебя, Иван, много?

— Больше, пожалуй, будет, чем у вашего... этого, как его... — вспоминал Кузьмич, — ну, как его, чорта... Газы, что ли?

— Эстергази, — подсказал хозяин.

— Ну, да! Он. Так вот, поболе, чем у него.

— Так ты тоже граф? — изумился старый мадьяр, подозрительно косясь на просмоленные шаровары ездового и на его заскорузлые руки.

Кузьмич рассмеялся.

— Граф? Нет, брат, не граф, язви его, а подымай выше!

— Кто же?

Кузьмич помолчал. Потом сказал серьезно:

— А вот угадай!

— Нет, — Янош улыбнулся, — никакой ты не граф, ты наш... крестьянин. Но почему у тебя столько земли? Я слышал, что у вас так... но...

— А вот потому, садовая твоя голова, что живем да работаем мы сообща.

И Кузьмич, поощряемый нетерпеливым любопытством хозяина и еще более нетерпеливым желанием рассказать правду о своей стране, о людях ее, в сбивчивых, но все же довольно ясных и простых выражениях поведал чужестранцу о своем житье-бытье. Мадьяр, как завороженный, слушал необыкновенную и волнующую повесть старого хлебороба о колхозах, где простой народ стал хозяи-

ном своей земли — ему принадлежат все богатства, где человек ценится по его труду...

— И это все правда, Иван? Мы слышали кое-что. Да ведь и другое говорят. — Руки крестьянина легли на острые плечи Кузьмича, как два тяжелых, необтесанных полена. — Правда, Кузьмытш?..

— Я уже очень стар, Янош, чтобы говорить неправду. Не в нашей это привычке обманывать людей...

— А можем... мы у себя... сделать такое?

— Можете, Янош, ежели не будете бояться ваших... Стервогазей.

Беседа длилась долго и закончилась далеко за полночь.

В эту ночь Кузьмичу приснился удивительный сон.

...Сидит он в своей хате и читает за столом книгу. Его молодая жена Глаша прядет шерсть ему, Кузьмичу, на носки. Течет, течет из ее белых проворных рук черной струей нитка и накручивается на жужжащую вьюшку. Одной, быстрой и маленькой, ногой Глаша гоняет колесо прялки, другой — качает зыбку. Зыбка мерно, как волна, плавает из стороны в сторону под бревенчатым потолком, певуче поскрипывая на крючке, а Глаша поет:

Придет серенький волчок,
Схватит дочку за бочок...

Голос Глаши светлым и теплым ручьем льется в сердце Кузьмича, приятно бередит грудь. Кузьмич оставляет книгу, хочет подойти к жене, но вместо нее видит Яноша, который качает не зыбку, а рычаг кузнечного горна и просит Кузьмича: «Расскажи, Кузьмытш, как строили вы свою жизнь». Иван начинает рассказывать и...

Сонные видения обрываются. Ездового разбудил вернувшийся старшина и приказал быстро запрягать: предстояло перебраться в другой пункт.

Старый Янош стоял у своих ворот и на прощанье махал вслед кузьмичовой повозке своей шляпой.

— Ишь, як подружились вы с ним за одну ночь, — заметил Петр Тарасович, устраиваясь на повозке Кузьмича рядом с молодым разведчиком. — А мне и не пришлось побалакать с хозяином, — добавил он с сожалением.

К стр. 582

Идя по чужой земле, Пинчук пытливо наблюдал, что творится на ней, как живут тут люди, что было у них плохого и что — хорошего. Встречаясь с местными жителями, больше крестьянами, он подолгу с ними беседовал, при этом всегда испытывая непреодолимое желание научить их всех уму-разуму, наставить на путь истинный, подсказать правильную дорогу. Иногда он увлекался настолько, что Шахаеву приходилось останавливать не в меру расходившегося «голову колгоспа». Петр Тарасович, например, никак не мог согласиться и примириться с тем, что почти вся земля в Румынии засевается кукурузой, а не пшеницей или житом. Он, конечно, понимал, что для румынского крестьянина-единоличника посев пшеницы связан с большим риском. На подобный риск могут отважиться разве только помещики да кулаки. Случись засуха (а она частенько наведывается в эту бедную страну) — пшеница не уродится, и мужик останется с семьей без куска хлеба, ему никто не поможет. Кукуруза же давала какой ни на есть урожай в любой год и гарантировала крестьянина, по крайней мере, от голодной смерти. Пинчук это знал, и все-таки его хозяйственная душа была возмущена таким обстоятельством.

— Колгосп вам надо организовывать! — решительно высказался он однажды еще в беседе с Александру Бокулеем. — Треба вместе робыть, сообща. Берите всю землю в свои руки и организуйте колгосп. Тогда не будете бояться сеять пшеницу и жито! — Петр Тарасович заходил так далеко, что высказывал уже Бокулею свои соображения насчет того, с чего бы он, Пинчук, мог начать строительство артели в селе Гарманешти.

— По началу — кооперация, як полагается. А там — и колгосп.

Он даже раздобыл в политотделе дивизии брошюру «О кооперации» В. И. Ленина и с помощью Шахаева да Акима разъяснил содержание этого исторического документа румыну.

Александру Бокулей всегда слушал Пинчука с большим вниманием, однако из слов Тарасовича понимал далеко не все. Пинчук видел это и, чтобы успокоить себя, говорил свое обычное:

— Поймут колысь...

Кое-что нравилось Петру Тарасовичу в этой стране. Дороги, например, да виноградники. Ему казалось, что

и в его колхозе можно заняться культивированием винограда. Мысль эта вскоре перешла в крепкое убеждение. Но Пинчук решил отложить это дело до своего возвращения.

«Не смогут зараз», — подумал он про своих односельчан и шумно вздохнул.

...Кузьмич погонял лошадей, а сам тихо чему-то улыбался. Впрочем, хитро глянувший на него старшина знал, чему. У Кузьмича — большая радость. Он только что вчера разговаривал с начальником политотдела, который пообещал сразу же после войны отпустить сибиряка домой вместе с парой его лошадей. Рассказывая по возвращении из политотдела о своей беседе с полковником, Кузьмич с удовольствием повторял каждое слово начподива.

— Так и сказал: га-ран-тирую! С конягами возвернешься — были бы, мол, живы. Вот, язви тя в корень, дела-то какие! Ну ж, и доброй души человек, я тебе скажу. Век не забуду его.

Было хорошо наблюдать, как радуется этот пожилой человек, как молодеет у всех на глазах.

— У него румын тот сидел, как его... Мукершану, кажись, по фамилии-то. И то полковник принял меня. Вот какой он человек! — продолжал Кузьмич, которому, похоже, доставляло большое удовольствие вспоминать о своем разговоре с начальником политотдела.

— Таких, як наш полковник Демин,— мабуть мало,— подтвердил Пинчук.

2

...Всплеск воды возле парторга услышал плывший рядом с Шахаевым Никита Пилюгин.

— Что с вами, товарищ старший сержант? — испуганно крикнул он.

Шахаев хотел ответить, но не смог. В глазах парторга качалась зыбкая, красноватая муть. Он тонул. Сильная длинная рука Никиты обхватила его.

— Ложитесь ко мне на спину, товарищ старший сержант, — услышал Шахаев глухой, сдавленный волнением голос солдата и тотчас же почувствовал под собой длинное, упругое, все из тугого сплетения мускулов, тело. Никита плыл легко и быстро, будто на нем вовсе не было никакого груза.

Часто в горах, углубившись в неведомые ущелья, разведчики испытывали чувство оторванности от всего остального мира. Сейчас, ночью, в холодных волнах чужой, незнакомой реки это чувство было еще более острым. Оно усиливалось тем, что неизвестно было, как встретит их затаившийся противоположный берег, который был страшен в своем зловещем, коварном молчании.

— Аким, ты вроде очки потерял, — попытался пошутить Ванин. Но шутка не получилась. Сам мастер шутки понял это и больше уже не открывал рта вплоть до правого берега.

Дождь хлестал еще озлобленнее. Темнота сгустилась. Правее от разведчиков чуть виднелись фермы взорванного моста. Оттуда катился свирепый рев водяного потока, стиснутого массой исковерканного железа. Невольно хотелось взять еще левее, чтобы не оказаться случайно в зеве страшного чудища, которым рисовался теперь мост.

Наконец, все с радостью ощутили под ногами скользкое дно реки. Правый берег бесшумно двигался навстречу разведчикам черным мохнатым зверем. Солдаты осторожно сближались с ним. В прибрежных кустах затаились, слушали. Шахаев усиленно растирал свои ноги и правую руку.

— Пошли, — приказал Забаров.

И ночь поглотила их...

Через два часа они вновь появились на этом месте. Передохнули и поплыли обратно. На этот раз благополучно достиг своего берега и Шахаев — Никита ни на метр не отставал от парторга, следя за ним.

На берегу разведчиков ожидали Наташа и Пинчук. Отойдя в безопасное место, забаровцы переоделись в теплое привезенное старшиной обмундирование, выпили немного спирта, согрелись. Петр Тарасович уехал обратно, захватив с собой мокрую одежду солдат.

Уже рассветало. Шахаев вспомнил про стихи, найденные разведчиками еще накануне в кармане убитого немцами мадьярского солдата и переведенные на русский язык сестрой убитого — жительницей Трансильвании Илонкой Бела, учительницей по профессии:

Я твой и телом и душой,
Страна родная.

Кого любить, как не тебя!
Люблю тебя я.
Моя душа — высокий храм,
Но даже душу,
Тебе, Отчизна, я отдам
И храм разрушу.
Пусть из руин моей груди
Летит моленье:
«Дай, боже, родине моей
Благословенье!»
Иду к приверженцам твоим...
Там, за бокалом,
Мы молимся, чтоб вновь заря
Твоя сверкала.
Я пью вино. Горчит оно.
Но пью до дна я,—
Мои в нем слезы о тебе,
Страна родная!

Фашисты убили этого солдата за то, что он подговаривал своих товарищей перейти на сторону русских. Перед глазами Шахаева и сейчас стояло лицо мадьяра — продолговатое, с плотно закрытыми глазами, с легким шрамом на левой щеке. Должно быть, в нем билась та же горячая мысль, что и в большом сердце Шандора Пэтефи, кому принадлежали эти стихи.

— Какая судьба! Ведь и тот погиб солдатом! — вспомнил Шахаев биографию великого венгерского поэта и с волнением спрятал стихи в свой карман.

Мысль эта немного согрела Шахаева. Несколько дней он чувствовал себя беспокойно, как бы обижался на самого себя. Случилось это после того, как он не смог вызвать на откровенность одного разведчика, совершившего грубый проступок — оскорбившего своего товарища.

«А ты считал себя неплохим воспитателем, — строго журил он себя в мыслях. — Врешь, брат, не умеешь...» — и он горько улыбнулся. В большой пилотке, прикрывшей его седую голову, парторг казался очень молодым. Лицо его было без единой морщинки.

— Вот ведь какая штука-то, Аким!

— А что? — не понял тот, но забеспокоился.— Случилось что-нибудь?

Шахаев объяснил.

Аким кротко улыбнулся:

— Слушай: талант воспитания, талант терпеливой любви, полной преданности, преданности хронической,

реже встречается, чем все другое. Его не может заменить ни одна страстная любовь матери...

— Знаю, это же Герцена слова, — печально и просто сказал Шахаев, вновь удивив Акима. — Однако что же делать с бойцом? — добавил он, говоря о солдате, совершившем проступок.

На другой день, когда разведчики уже были в селе, Шахаев повторил свой вопрос:

— Что же делать?

— По-моему, ничего не надо делать.

— Как? — теперь не понял Шахаев.

— Очень просто. Вон полюбуйтесь, пожалуйста!

В глубине двора, куда указывал сейчас Аким, у водонапорной колонки умывался тот самый солдат, о котором шла речь. Наташа качала воду и что-то строго говорила ему. Солдат что-то тихо, смущенно отвечал ей. До Шахаева и Акима долетали только обрывки его слов:

— Дурь напала... Стыдно... Все на меня. А парторгу да комсоргу не могу в глаза глядеть. Стыдно...

— То-то стыдно. Раньше-то куда глядел, что думал?

— Раньше... кто знал... Собрание, должно, комсомольское будет?.. Хотя бы не было...

— Обязательно будет. А ты как думал, товарищам твоим легко? — уже отчетливее слышался голос девушки.

— Удивительный человек... твоя Наташа! — сказал Шахаев, не заметив в волнении, что проговорил с акцентом, что с ним бывало очень редко. Потом, спохватившись, сконфузился, кровь ударила ему в лицо, благо на смуглых щеках это почти не было заметно.

Аким усмехнулся.

— Не только в ней дело. Все разведчики обрушились на парня, и это на него подействовало сильнее всего. Пожалуй, надо посоветовать Камушкину не проводить собрания, хватит с него и этого.

— Ты — умница, Аким.

Вскоре разговор их перешел в другую область. Мечтатель и романтик, Аким любил пофилософствовать. Часто втягивал в спор Шахаева. Сейчас разговор их начался с честности и правдивости человека, вернее с воспитания таких качеств в людях. Оказалось, они придерживались прямо-таки противоположных точек зрения в этом вопросе. Совершенно неожиданно для Шахаева Аким заявил:

— Иногда беседуешь с человеком и видишь, что он врет тебе без всякого стеснения, самым наглым образом. А ты сидишь и слушаешь, будто он правду рассказывает. Искренне будто веришь каждому его слову. Глядишь, устыдился, перестал врать...

— Чепуха!— не дождался акимова вывода парторг.— Человек, увидевший вруна в своем собеседнике и не сказавший ему об этом прямо, а делающий вид, что верит его вранью, совершает такую же подлость, как и тот, кто говорит неправду. Жуткую глупость ты сморозил, Аким! Да ведь ты сам не придерживаешься выдуманного тобою вот только сейчас, так сказать, экспромтом, правила. За безобидное вранье Ванина и то ругаешь! Ну, и нагородил!..

Спорили они часто. Но никогда раньше Шахаев не доходил до такой резкости. Обычно парторгу было жалко разрушать сказочный дворец, воздвигнутый воображением Акима, уничтожать образы, созданные его стремительной фантазией. Шахаеву нравилась в Акиме эта приподнятая мечтательность, нравилось то, что мысль Акима находилась в постоянном полете. Парторг и сам любил помечтать, пожить мысленно той жизнью, которая — он был глубоко убежден в этом — придет через немногие десятилетия, проникнуть нетерпеливым и пытливым взором и глубже — в манящее «далеко», пройти по светлой путь-дороженьке.

Сейчас же Аким нес явный и несусветный вздор, который было обидно слышать от такого умного парня.

— Учитель ты, Аким, а договорился до ерунды! — с прежней горячностью продолжал Шахаев. — Твоей методой, знаешь, кто пользуется?

— Кто? — спросил Аким.

— Геббельс. Он врет без устали. А немцы, разинув рты, верят ему. К счастью, не все, но верят. Согласно твоей философии — лучше было бы ее назвать филантропией — Геббельс должен был уже давно устыдиться и перестать брехать. Но он не перестает. И не перестанет, конечно, до тех пор, пока ему не вырвут язык... Капиталисты и помещики веками обманывают народ, нагло врут ему. К сожалению, часть народа еще верит им, что только на руку эксплуататорам... Подумай, до чего ты договорился, Аким! А это, знаешь, идет все от твоего неправильного понимания гуманизма. По-твоему, все люди —

братья. И Семен хорошо делал, что колотил тебя за это. Я заступался за тебя, а зря. Не следовало бы!..

Аким, не ожидавший такого оборота дела, молчал, тяжело дыша. Белые ресницы за стеклами очков обиженно мигали. Лицо было бледное.

— Вам легко быть таким жестоким со мной. А что, собственно, я сказал?.. Ну, не подумал как следует. Что ж из того?..

— Нет, Аким. Я был более жесток к тебе, когда не замечал твоих глупостей. Подумай об этом.

— Хорошо, подумаю.

Аким пошел от парторга еще более сутулый и неуклюжий.

«Ничего, выдюжит», — подумал парторг, твердо решивший в самое ближайшее время провести партийное собрание с повесткой дня «О честности и правдивости советского воина». Мысль эта окончательно успокоила его. Он вошел в дом и подсел к Пинчуку, который за столиком читал очередное письмо-сводку, полученное от Юхима из родного села. Операция по форсированию Мурешула была почему-то временно отменена, и разведчики два дня отдыхали.

3

С утра с гор подул свежий, прохладный ветер. Солдаты надели стеганки и брюки.

Во дворе Никита Пилюгин и Семен Ванин, сидя на плащ-палатке, чистили свои автоматы. Семен, по-своему привязавшийся к этому мрачноватому парню, как обычно, «подкусывал» его — «с воспитательной целью».

Никита, видимо, был в хорошем настроении, напевал какую-то песенку, на Ванина не обижался, да, впрочем, и слушал его рассеянно, в связи с чем реагировал на шутки с некоторым запозданием.

— Ты, Никита, — заметил, наконец, Семен, — как та жирафа. Ноги простудит, к примеру сказать, нынче, а насморк у ней будет — аккурат через год, так что...

Договорить Ванину помешали «фокке-вульфы». Они появились из-за гор, что стояли в пяти-шести километрах за Мурешулом, и высыпали, как из мешка, на село трескучие «хлопушки» — маленькие бомбочки с удлиненным

взрывателем, вроде мин, разрывающиеся над поверхностью земли и дающие огромное количество мелких осколков. Разведчики укрылись в щели. После бомбежки Ванин все же закончил:

— В Гарманешти Маргарите ты тоже пел, а, кажись, она на меня засматривалась украдкой...

— Врешь, на меня.

— Неужели на тебя? — страшно удивился Семен. — Чего же это она в тебе нашла?

— А в тебе?

— Ну, я — другое дело...

Еще долго Ванин подтрунивал над Никитой, но тон его был простодушно-снисходительный, не звучали в нем, как прежде, язвительные, злые нотки. Их беседу прервал Забаров.

Федор вернулся из штаба и приказал собираться. В течение последних дней генерал готовил одну небольшую, но важную операцию, в которой должно было участвовать под командованием Ванина отделение разведчиков. Из первого батальона тюлинского полка командование выделило полуроту.

Таким образом, был создан подвижной отряд, командиром которого назначили старшего лейтенанта Марченко, только что получившего повышение в звании. Отряду приказывалось выйти в тыл к немцам в районе большого горного селения за Мурешулом, чтобы облегчить пехотинцам взятие этого селения.

В сумерки отряд уже находился далеко от командного пункта дивизии. Высланные вперед, в горы, разведчики Ванина вернулись и доложили, что путь свободен, поблизости никаких признаков присутствия неприятеля не обнаружено: было совершенно очевидно, что немцы сидели в селе. Ванин сообщил об этом старшему лейтенанту Марченко, и отряд двинулся. Разведчики шли впереди. Некоторое время не отставал от них и Марченко. Он украдкой наблюдал за Наташей, которую Забаров послал с отделением Ванина, и Марченко хотелось кому-то сказать, чтобы следили за девушкой, хранили ее, не пускали в опасные места, но сейчас он почему-то боялся это сделать. Старший лейтенант видел, как она прощалась с Акимом. Марченко даже слышал, как Аким сказал ей:

— Береги себя, Наташа. Ты ведь знаешь...

Теплым, ласкающим взглядом она провожала его высокую тонкую фигуру, согреваемая большим своим негаснущим чувством.

— Наташа, тебе лучше при ячейке управления остаться, — наконец сказал Марченко и покраснел. Она быстро-быстро взглянула на него, поняла все, весело улыбнувшись, тряхнула пышными волосами:

— Нет, я пойду с Ваниным!

И по тому, как она это сказала, и по тому, что она нисколько не смутилась при этой, второй, встрече с ним, Марченко, и по веселой, беззаботно-беспечной ее улыбке, и особенно по тому, что она разговаривала с ним с той же независимостью, как и со всеми, Марченко, пожалуй, впервые по-настоящему понял, до чего ж он был ей безразличен. И ему стало страшно. Он никогда еще не чувствовал себя столь одиноким.

В горах разгуливал холодный ветер. Сосны и могучие буки шумели. Где-то стучали пулеметы. «А что впереди, что ждет там?» — тревожно думал каждый.

Ущелье кончилось. Поднявшись в гору, разведчики увидели село. Оно горело, подожженное самим противником. Это озадачило Марченко.

— Не оставляют ли немцы его? — спросил он у Семена.

— Нет, товарищ старший лейтенант. Они зажгли несколько домов, чтобы не быть захваченными врасплох в темноте-то, — высказал свое предположение Ванин, и оно оказалось правильным.

На восточной окраине села без умолку стучал немецкий пулемет.

Немцы не спали.

Командир отряда собрал всех бойцов и повторил задачу. Атака должна быть предпринята ровно через час, одновременно с атакой, которую начнет с фронта переправившийся полк Тюлина.

Теперь все напряженно всматривались в темноту, ожидая, когда на дальней горе три раза взовьется красная ракета.

Она взвилась точно в назначенное время. Вслед за ракетой в воздух рванулось и покатилось вниз, к селу, грозным и страшным во тьме валом неудержимое «ура». Испуганной скороговоркой зататакали у всех окраин селения немецкие пулеметы. По освещенным пожаром

улицам и огородам забегали согбенные фигуры. На шоссе из черной тьмы выползло несколько «тигров». Развернув башни, они ударили из пушек. Воздух сразу накалился.

— Вперед!

Эта команда была подана не голосом, а ракетой. Отряд, развернувшись в цепь, легко обходя танки, быстро двинулся к селу. Пылающие дома летели навстречу бойцам, как красные большие взлохмаченные птицы. Уже дохнуло горячим воздухом от взмаха их огненных крыл. «Ура-а-а-а» — крылья вырастали и за спинами бегущих солдат. Кто-то упал, тихо и коротко вскрикнув, — кого-то, значит, сразила шальная пуля; кто-то крепко выругался, швырнул вперед гранату: она разорвалась у крайнего дома, забрызгав его стены красными от зарева мелкими осколками. Трассирующие пули вышивали темное полотно неба — будто множество невидимых пучков тянули за собой в разных направлениях яркие нити.

— Беречь гранаты! В огороды, в огороды заходи!.. Держись темной стороны!.. Не выбегай на освещенные улицы! — кричал Марченко. Изредка его стремительная поджарая фигура мелькала в отсветах зарниц.

Наташа задыхалась, но не отставала от разведчиков. Один только раз она задержалась, чтобы перевязать упавшего солдата. Но он уже не нуждался в этом: вмиг остеклянившиеся его глаза смотрели вверх, в багровое небо, удивленно, как бы спрашивая: «Что же это такое? Зачем это? Как же теперь?» Пламя дрожало в этих больших неживых глазах. Наташа поправила на себе сумку, разогнулась. С ужасом заметила, что вокруг никого не было. Разведчики, наверное, уже находились в селе.

— Сеня-а-а! — позвала девушка, но в ответ ей несся неумолкаемый гул боя.

Наташа побежала в село.

А там творилось неладное. Пехотинцам так и не удалось прорваться через вторую линию вражеской обороны, огненной подковой прикрывавшей селение с восточной стороны. Застигнутые было врасплох в самом селе, гитлеровцы оправились; на улицах и огородах завязался неравный бой. Немецкие танки, что стояли на шоссе, двинулись к селу. Один из них сразу же подорвался на мине, что успели поставить саперы. Огненный столб поднялся

над дорогой, и Наташа на миг увидела Ванина. Она опять крикнула:

— Семен!

Но в грохоте боя ее голос не был слышен даже ей самой. «Аким», — невольно прошептала она.

Марченко сообщил по радио генералу обстановку и получил приказ немедленно оставить село и вернуться на исходный рубеж.

Отряд вышел из боя. Из отделения разведчиков не вернулась Наташа. Ванин доложил об этом Марченко и собирался было отправиться на поиски, но старший лейтенант остановил его.

— Я сам пойду! — сказал он.

Приказав своему помощнику вести бойцов к исходному пункту, Марченко сразу же исчез. Забыв про опасность, просто не думая о ней, он метался по селу, как безумный. Выбежав из села, старший лейтенант увидел что-то белое впереди себя, думал — камень, но все-таки приблизился к этому месту. Перед ним стояла Наташа. Не спрашивая ее ни о чем, он схватил девушку за руку и побежал. Пот ручьями катился по его бледному лицу.

— Ничего... ничего... Сейчас выйдем. Тут недалеко... Ничего... — шептал он сухими губами, тяжело дыша, открыв по-птичьи рот, задыхался.

Уже рассветало, когда они спустились в ущелье, которым отряд заходил в тыл к немцам. Марченко присел передохнуть и вдруг увидел человек пять гитлеровцев. Немцы наблюдали за ними, загородив дорогу, Марченко быстро схватил Наташу за руку и забежал за огромный голубой камень. Укрывшись там с девушкой, старший лейтенант снял из-за спины автомат, вынул из кармана гранаты, приготовился к бою. Немцы стали приближаться, перебегая от дерева к дереву, от камня к камню. Наташа большими округлившимися глазами глядела то на них, то на исказившееся в страшной злобе и решимости лицо Марченко. Марченко стрелял, бросал гранаты. Наташа торопливо снаряжала для него опустевший диск. Первые минуты немцы не открывали ответного огня. Они, видимо, хотели взять советского офицера и девушку-бойца живьем. Но быстро убедившись, что это им не удастся, они открыли огонь сразу из всех пяти автоматов. Пули ударялись о камень, высекая из него, словно водяные, голубые брызги. «Спасти, спасти ее или уме-

реть!» — стучало в груди Марченко. Никогда еще за всю войну не дрался он так яростно, как сейчас. Он стрелял и радовался, когда пуля настигала врага. Красивое лицо его было страшным в эту минуту. Старый, опытный фронтовик, Марченко с первой же минуты понял, что его позиции выгодней позиции немцев, и решил защищаться до конца.

Когда был убит последний немец, Марченко почувствовал, что не может подняться на ноги. Силы покинули его. Но он был впервые бесконечно счастлив. Он видел склонившееся над ним лицо Наташи, благодарно устремленный на него взгляд больших девичьих глаз с еще более живым и подвижным от слез мигающим огоньком. И ему стало, как никогда, радостно, тепло.

Скоро силы вернулись. Марченко приподнялся, и они медленно и молча пошли в расположение дивизии. Возле штаба распрощались — все так же, молча.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

1

«Дорогие, милые братья Георге и Димитру!

Пишет вам это письмо ваша сестра Маргарита. Все мы живы и здоровы, чего и вам желаем. Только у нас большое горе. Дом наш сгорел: кто-то поджег ночью нас и нашего соседа Суина. А землю, которую — помнишь, Георге? — нам пахали русские, у нас хотят забрать и вернуть ее боярину. Как жить будем — и не знаем. Управляющий боярской усадьбой грозит, говорит, что всех в тюрьму посадит, кто землю брал. На днях привезли с фронта убитого молодого боярина Штенберга — так ему и надо, собаке! Это за твою, Георге, Василику, за папу, за всех нас. Хоронили его рядом с могилой старого боярина. Памятник поставили большой-пребольшой, много цветов наложили, только они за день все посохли, осыпались. А на могиле Василики и русского солдата растут розы — это мы с подругой посадили.

Мама все плачет. Живем мы в землянке, выкопанной еще русскими солдатами. Отец Ион в церкви проповеди читает, говорит, что наш дом сгорел потому, что у нас во дворе жили советские бойцы-безбожники. Мама плачет. А я не верю. У всех стояли русские, а сгорели только

наш дом да Суина. Сейчас у нас очень неспокойно, по ночам стрельба, кто в кого стреляет — не поймешь, скрипки и рожки умолкли. Хотя бы вы поскорее приезжали домой, а то мама не дождется. Когда я пою, мама ругает: «Допоешься, говорит, как Василика!» А я все пою да пою. И пусть! Что же теперь делать: плакать, что ли? Ведь скоро будет лучше, я это знаю, а сердце меня еще ни разу не обманывало. Увидишь русских, Георге, передай им от меня привет, особенно высокому Никите. Он мне понравился. Я даже... не знаю, но когда я о нем думаю, мне немножечко грустно и хочется петь...»

— Что ж, любопытное письмецо! — прервал генерала полковник Раковичану, не дождавшись, когда Рупеску дочитает до конца. — Сразу видно, что наши друзья в деревне не сидят сложа руки. А пожары — это что, дело рук Патрану?.. Так и знал. Молодец! Вот так надо действовать, генерал!.. Однако я приехал к вам, мой милый, не для чтения сентиментальных девичьих посланий. Есть дела поважнее, коль скоро личный советник его превосходительства совершил это путешествие. — Раковичану сделал многозначительную паузу, оглядел в зеркало плотно облегавшую его тело форму, эффектно бросил на стол огромную фуражку, стянул — палец за пальцем — с левой руки белоснежную перчатку и продолжал: — Впрочем, то, что вы подвергаете строгой цензуре солдатскую почту и даже лично просматриваете некоторые письма, заслуживает всяческого одобрения. Полководец должен знать состояние своего тыла. Приехал же я к вам, генерал, чтобы сообщить мнение верховного штаба о ваших действиях. Не скрою, мой друг, там считают их недостаточно решительными и эффективными. Более того, вы не выполняете некоторых важнейших директив правительства. Известны, например, случаи тесного общения ваших солдат с русскими. Я имею в виду день взятия города Сибиу. Да я и сам по дороге в ваш штаб видел много румынских солдат с красными звездами на пилотках. Что это значит? Чем вы командуете, генерал, — королевским корпусом или какой-нибудь там пролетарской дивизией? Это раз. Потом, ваше миндальничанье с этими... мадьярами. Правда, тут кое-что сделано, но этого совершенно недостаточно. Вы имели прямые указания действовать более решительно. Нет размаха, генерал! И потом... вам так и не удалось задержать русских в горах,

что для нас было очень важно. А теперь им до Венгрии — рукой подать...

— В Венгрию они и без того вступят через Югославию, — вставил свое слово мрачный Рупеску. — Там им Тито помогает.

— Тито?.. — неопределенно пробормотал Раковичану и вновь многозначительно усмехнулся. Подумал о чем-то своем и быстро перевел разговор в нужное для него направление. — Знаю, генерал, нелегко вам тут. Русских трудно обмануть. Но все-таки нужно было работать более тонко и энергично. Впрочем, этого уже не вернешь. Давайте лучше поговорим, что будем делать дальше. Ведь вы, надеюсь, не собираетесь ложиться на обе лопатки? Ну, вот. Так слушайте: вам, генерал, уже известно, что мы разбрасываем листовки, в которых угрожаем страшными карами местному населению, сочувственно относящемуся к русским и помогающему советским войскам. Правда, это должны были делать немцы. Да господину Геббельсу, видно, сейчас не до листовок. Что ж, поможем ему. Мы люди не гордые. Заподозрить же нас в этом никто не сможет. Кому же придет в голову столь «вздорная» мысль? Но и вы, генерал, не должны стоять в стороне от этого дела. Я привез несколько сот тысяч таких листовок. Подберите надежных офицеров. Пусть разбрасывают по селам... И, наконец, последнее. Коммунисты должны быть изолированы или совершенно изгнаны из армии. Таково категорическое распоряжение правительства. А в вашем корпусе их немало. Я слышал, что в одном из ваших полков и до сих пор служит известный вам коммунистический пропагандист Мукершану. Так ли это?

— Служил. А сейчас — нет.

— Убрали! — даже подскочил обрадованный Раковичану, разумея под этим словом совершенно определенный смысл.

— К сожалению, нет. Сам ушел.

— Бол-ва-ны! — потерял всякое самообладание Раковичану. — Выпустить такую птицу! Да вы что... думаете что-нибудь или нет?.. Что стоило вам приказать одному из своих офицеров шлепнуть его во время боя, как, скажем, шлепнул какой-то ловкий солдатик этого вашего... Штенберга... Нет, генерал, вы еще до сих пор не осознали до конца всей опасности, которую представляют

коммунисты. Милый мой, они подбираются к власти. Понимаете ли вы, что это значит? И подумали ли вы хоть один раз, что станет с вами, если коммунистам удастся осуществить их планы? Куда вы тогда? В Америку? Я уже как-то говорил вам, что в Штатах околачивается дюжина эмигрантских правительств, так что этого бесполезного гнилья там хоть отбавляй. Американцам разместить хотя бы бывших королей да бывших премьеров, а таких, как вы, мой милый, они будут оценивать по делам иного свойства... Так боритесь же, не задирайте руки вверх раньше времени! Боритесь, пока американцы еще не отказались от нас. А то — плюнут, и все! Чорт с вами, скажут, живите как хотите. Подыхайте в коммунистических застенках — нам-то что? — Раковичану обиженно замолчал.

Рупеску хмуро усмехнулся.

— Ну, этого они никогда не сделают, полковник. И давайте будем откровенны: не за мой живот вы печетесь, а скорее за свой карман.

— А вам бы давно пора бросить разыгрывать из себя патриота! — разозлился Раковичану. — Когда коммунисты начнут сдирать с вас ваш блестящий генеральский мундир — врете, вспомните американцев, кого угодно! Самого чорта на помощь призовете!

— А если я буду служить... коммунистам?

— Не будете, — коротко и спокойно бросил Раковичану.

— А вдруг?..

— Послушайте, генерал, что-то я не вижу традиционного коньяку на вашем столе, — вместо ответа оживленно заговорил Раковичану. — Распорядитесь-ка принести. С дороги это не лишне. Выпьем, тогда и поговорим. Тогда уже неофициально. Я ведь многое еще вам не сказал. Но коммунистам служить не бу-де-те!

2

У реки Мурешул немцы решили во что бы то ни стало остановить советские войска. Сюда ими были подброшены новые части.

Полки генерала Сизова, переправившиеся через реку, вот уже второй день вели кровопролитные бои.

— Белов! Белов!.. Где Гунько?.. — кричал в трубку полковник Павлов, отыскивая его. — Передайте ему: держаться до последнего! Бить по танкам прямой наводкой. Пехоту уничтожать картечью и бризантными! Бронебойщиков выдвинуть вперед. Пусть бьют по транспортерам!..

— Ни в коем случае не оставлять захваченных окопов! — в свою очередь приказывал командирам полков генерал Сизов. — Не бояться танков, уничтожать их противотанковыми гранатами. «Тигры» пропускать. С ними справятся орлы Павлова!..

Полковник Демин говорил работникам политотдела, отправляя их в батальоны:

— Разъяснить солдатам, что своих позиций они не должны уступать врагу. Отсюда мы скоро двинемся — освобождать Венгрию. Смотрите также, чтобы солдаты при любых обстоятельствах были накормлены, а раненые своевременно эвакуированы.

Все эти разговоры происходили на второй день немецкого контрнаступления, после того как была отбита шестая по счету атака фашистских бронетанковых сил. Село Голубой Камень, которое еще с вечера было невредимым, теперь представляло собой сплошные развалины.

Ожидалось новое, еще более ожесточенное наступление немцев. Оно началось рано утром артиллерийской подготовкой. В несколько минут все вокруг почернело. Так продолжалось минут сорок. Когда огненный вал перекатился вглубь, капитан Гунько выглянул из своего укрытия. Долго он не мог разобраться в царившем вокруг хаосе. Откуда-то вывернулся Печкин, доложил, что в его взводе все орудия целы. Во втором — повреждены две пушки и легко ранено трое бойцов.

Капитан оглянулся вокруг. С удивлением увидел на своих прежних местах пехотинцев — их каски тускло поблескивали над траншеями сбоку и впереди батарей. Было странно видеть живых людей после такого огня.

— Приготовиться к бою! — передал на батареи Гунько.

Быстрый и острый взгляд его желтоватых глаз различил в дальних виноградниках движение чужих танков. Наводчики, прильнув к панорамам, ловили их в перекрестья прицелов.

...Час спустя, улучив минуту на то, чтобы сделать себе перевязку, Гунько подумал, что немецкая артподго-

товка в сравнении с тем, что творилось потом, была сущим пустяком. Пятнадцать неприятельских танков догорали в виноградниках, подожженные артиллеристами. Но и артиллерия пострадала: несколько орудий было разбито, многие повреждены.

«А немцы все-таки не столкнули нас с плацдарма», — радостно подумал офицер так же, как когда-то там, на Донце.

— Ну как, хлопцы, живем? — спросил он солдата, придя на бывшую свою батарею.

— Живем, товарищ капитан! — отвечали бойцы. Несмотря на осень, все они были раздеты. Черные от копоти, грязные гимнастерки расстегнуты, рукава засучены.

— Батарея Гунько никогда не погибнет! Она рождена для победы! — добавил маленький Громовой простуженным, хриплым голосом и внушительно хлопнул замком, засылая в казенник новый снаряд: замковый и наводчик в его расчете были ранены. Возле орудий дымилась гора стреляных гильз.

Теперь батареей командовал молодой офицер Белов, и все-таки бойцы называли ее по имени старого командира. И это нисколько не огорчало Белова. Более того, он сам гордился тем, что командует батареей прославленного на всю дивизию капитана Гунько. Лейтенант Белов уже успел пройти святую и суровую школу фронтового братства, понял великую силу боевых традиций. Он отлично знал нерушимую любовь солдат к их прежнему командиру, и посягать на эту любовь было бы не только в высшей степени несправедливым в отношении старшего товарища, но и преступным с точки зрения службы. Белов, напротив, сам поддерживал, сколько мог, солдатскую любовь к Гунько, и бойцы, не могли не оценить благородства их нового, еще совсем юного начальника. Поэтому слова Громового «Батарея Гунько никогда не погибнет!» относились не только к Гунько: они в сущности означали также, что солдаты верят в него, Белова, и что в этой вере — их непобедимость.

Зазвонил телефон. Гунько снял трубку.

— Полковник Павлов поздравляет с успехом, товарищи! — крикнул он, кладя трубку. — Представляет всю вашу батарею к награде!

Все гаркнули «ура», даже раненые подняли с земли перебинтованные белой марлей головы.

Старший лейтенант Марченко сидел в своем блиндаже и тщетно пытался вызвать по телефону комбата, еще с вечера ушедшего в роты. Странное одиночество все более овладевало старшим адъютантом, несмотря на то, что в блиндаже, кроме него, находились еще два человека — ординарец Липовой и телефонист. С той минуты, как Марченко окончательно понял, что он безразличен Наташе, чувство одиночества с каждым днем усиливалось, обострялось. Он мрачнел; всегда франтоватый и аккуратный, сейчас стал реже бриться, на вопросы комбата часто отвечал невпопад, рассеянно. С ним говорили, пытались ободрить, но это только больше злило его, приводило в ярость. А вот сейчас ему вдруг захотелось, чтобы рядом с ним был со своим невозмутимо-спокойным лицом комбат или замполит — человек тихий и тоже при всех обстоятельствах спокойный.

Землю била лихорадка. От близких разрывов блиндаж встряхивало, на головы его обитателей сыпалась сырая глина.

Марченко неудержимо захотелось немедленно, вот сейчас же, сию минуту оказаться там, где шел бой, на самой передовой.

— Липовой, смотри тут... — сказал он каким-то странно незнакомым голосом и вышел из блиндажа, сам не зная, за чем именно должен смотреть Липовой.

Старший лейтенант не узнал окружающей местности. Вместо посадки, которая узкой полоской тянулась отсюда к горам, теперь торчали одни расщепленные пни. Вершины деревьев, срезанные снарядами и минами, загородили дорогу, по которой ночью приезжала батальонная кухня. В воздухе стоял острый запах взрывчатки, всегда вызывавший неприятное чувство. Следы прогулявшейся здесь смерти были очень свежи. Недалеко от блиндажа, у деревца, чудом уцелевшего от вражеской артиллерии, лежал убитый немецкой миной буланый конь Марченко. Ночью, прискакав из штаба полка, старший лейтенант привязал его к этому дереву. На лошадиной морде до сих пор была торба с овсом. Далее виднелись несколько трупов наших солдат — их еще не успели убрать санитары. В одном убитом Марченко узнал связиста, который не далее как полчаса назад забегал в его блиндаж узнать, работает ли телефон: это, должно быть, линейный надсмотрщик. Марченко хорошо запомнил лицо сол-

дата: крупное, рябоватое, обветренное, с ясными глазами, которые никак не шли к двум глубоким морщинкам на широком лбу.

Все вокруг было мрачным, пугающим, грозящим смертью. Старшего лейтенанта передернуло. Он побежал. Все быстрее и быстрее. Туда, к переднему краю, где бушевал бой: туда, туда!.. Возле какого-то холма из глубокого окопа торчала голова бронебойщика, сосредоточенно целившегося во что-то. Парень сидел без каски и без шапки, — Марченко сразу же узнал его. Это был, конечно, старшина роты Фетисов. Мельком взглянул, куда он так тщательно целится. Из туманной и сырой дали по полю ползли немецкие танки. Возле них вспыхивали султаны разрывов — наша артиллерия била по врагу. Но танки шли.

Марченко побежал дальше, чувствуя, как все более наполняется бодрым чувством боевой радости.

Навстречу ему по небу бежали перепуганные стада угрюмых туч. По исковерканной земле по-пластунски ползли их серые, лохматые тени. То там, то здесь рвались вражеские снаряды и мины. Попискивали слепые убийцы-пули. Старший лейтенант не слышал их нудного пения. Он бежал, он торопился. Падал, спотыкаясь о сваленные деревья и проваливаясь в воронках. Вскакивал и снова бежал, бежал еще быстрее. Скорее, скорее!..

Сейчас он стремился только к одному — как можно быстрее оказаться среди своих боевых товарищей, быть вместе с комбатом на НП, помогать ему руководить боем, быть с ними, только с ними, всегда — в их рядах...

Между тем вдали показалась новая волна вражеских машин. Немецкая артиллерия опять обрушилась на занятые советскими войсками позиции.

3

Разведчики сидели в большом бункере, за селом, рядом с КП дивизии. Сейчас генерал использовал забаровцев в качестве связных: телефонные линии часто рвались, рации, как назло, портились, и Сизов посылал разведчиков на наблюдательные пункты командиров полков узнать обстановку. Это было далеко не легкое и не безопасное поручение. НП находились почти в боевых порядках пехоты и все время обстреливались противником;

нужно было обладать большой смелостью и быть к тому же искуснейшим пластуном, чтобы добраться к командиру полка. Такими, разумеется, являлись разведчики. Их-то и посылал лейтенант Забаров с распоряжениями командира дивизии.

Возвращаясь с очередного задания, Аким поровнялся с пехотинцем, который вел в село пленного немецкого солдата. Боец, очевидно, был крайне недоволен таким поручением, а стало быть, и немцем, жаловался разведчику:

— Понимаешь, друг! В самый разгар боя вызвали. «Веди, — говорят, — этого типа в штаб дивизии. Он, — говорят, — прелюбопытная птица. По-русски наяривает, только держись!..» — «Да, — говорю, — товарищ лейтенант, некогда мне этим делом заниматься. Пусть, — говорю, — посидит в блиндаже, подождет, пока мы фашиста поколотим!» Куда там — и слушать не хотят! Веди да и только. Вот и веду эту падаль...

— Возвращайся в свою роту. А этого мне передай. Мне все равно в штаб.

— Вот выручил! Спасибо, друг! — обрадовался пехотинец. — А ты кто будешь? — вдруг встревожился он.

— Разведчик.

— А кто командир?

— Забаров.

— Ну, тогда все в порядке. Знаю ваших разведчиков. Мне о них старшина Фетисов говорил. И вашего Шахаева знаю — Фетисов познакомил. Живой он, Шахаев?

— Живой.

— Привет ему. От старшины Фетисова, скажи, да от Федченко. Не забудешь?.. Ну, до свиданья! Спасибо тебе. А я побегу.

Близорукий Аким только теперь хорошенько разглядел лицо пленного. И остолбенел:

— Ты?! Володин?..

Пленный опустил голову.

— Аким... Я тебя сразу... узнал.

Аким молчал. Волнение было так сильно, что в первые минуты он не мог ничего сказать.

— Как же это ты... в такую шкуру залез? — наконец, выдохнул он. Очки потели, застилали глаза. — Ведь ты, кажется, ненавидел войну, убежал от нее... Убежал и...— Аким посмотрел прямо в глаза Володину — ...работал на

немецком артиллерийском заводе. Только не пытайся врать! Мы знаем это точно! Эх, сволочь! Гадина!

— Работал. Но... но воевать взяли насильно. Насильно, клянусь, Аким, клянусь тебе нашей прежней дружбой, нашей...

— Молчи! — прервал его Аким. Он сказал это очень тихо, но так властно, что Володин сейчас же умолк. — Молчи! — машинально повторил Аким и добавил: — Ну?! Что же мне с тобой делать?

В следующую секунду Аким сам удивился нелепости и странности своего вопроса, потому что уже с первой минуты знал, как поступит с ним.

Очевидно, по голосу Акима Володин понял это.

— Аким! — начал он снова. — У меня — сын!

— Сын? Его советская власть воспитает. Чтобы он навсегда забыл о тебе.

— Но... но я же в плену у вас, а пленных... не...

— Ты не пленный, а предатель, — оборвал его Аким.

И Володин понял, что пришел конец. Ослабев, с трудом приподнялся. Приготовившись к смерти, он не поверил своим ушам, когда Аким сказал:

— Шагом марш! Ну!.. Да перестань дрожать!

Сдав Володина в штабе, Аким впервые распрямился во весь рост, будто снял тяжелый и долго носимый груз. Приподнятый изнутри, точно могучей пружиной, какой-то неведомо-освежающей и охмеляющей силой, он шел прямо, стараясь не думать больше о человеке, с которым были связаны самые дорогие воспоминания детства.

Навстречу Акиму мчались к передовой только что переправившиеся через реку советские танки. На каждом сидело по нескольку автоматчиков. Аким, глотая воздух широко открытым ртом, не выдержал, закричал:

— Вперед, родные!.. Вперед, милые!..

В бункере, где кроме бойцов, находились и жители села, спасавшиеся от немецких бомб и снарядов, Ванин и Камушкин разучивали румынскую народную песенку.

— Как вы хорошо поете! Откуда вы знаете душу румына? Надо самому быть румыном, чтобы спеть эту песню! — проговорил старик, когда Семен и комсорг смолкли.

— Мы, дедушка, знаем душу простых людей всего мира, — ответил Камушкин.

Старик, когда ему перевели эти слова, наклонил седую голову в знак согласия. Камушкин ответил ему низким, почтительнейшим поклоном, даже Семен на этот раз не упрекнул Васю за его «интеллигентские» штучки.

Вошел Аким странно взволнованный. Ванин сразу заметил это.

— Ты что, Аким?

Но Аким промолчал. Ванин переспросил настойчивее.

— Потом, Семен, потом...

Аким прилег на солому.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

1

После многодневных и тяжелых боев у Мурешула дивизия генерала Сизова во взаимодействии с другими соединениями, наступавшими слева и справа от нее, сломила сопротивление противника и, преодолевая его отдельные заслоны, устремилась к венгерской границе. Трансильванские Альпы оставались позади. Однако на пути наших войск вставал другой неприятель — многочисленные мелкие и узкие речушки, рожденные снеговыми горными вершинами. Казалось, наступление должно было застопориться. Но оно не только не приостановилось, но набирало все более стремительные темпы. Вся изобретательность, сноровка, изворотливость, хитрость и находчивость, бесстрашие — будто все, что накопили наши солдаты и выстрадали за долгие годы войны, теперь слилось в единую несокрушимую силу, перед которой отступали все преграды. Высокий темп наступления только подогревал бойцов, веселил их души.

У забаровцев в эти дни произошло знаменательное событие. Когда дивизия получила приказ совершить марш в Венгрию, Шахаева и Наташу отправили в глубокий тыл, в румынские города и села, освобожденные дивизией, где сейчас готовились к открытию памятников погибшим советским воинам. Демин давно уже подумывал об отдыхе парторга. Теперь такой случай представился. Проводить старшего сержанта и Наташу собрались все разведчики. Забаров обнял парторга, поцеловал его. А Никита Пилюгин неожиданно попросил:

— Привет там... передавайте...

— Возвращайтесь быстрее, — Аким взглянул на Шахаева, и тот, поняв взгляд, сразу ответил:

— Не беспокойся, Аким, обязательно догоним!

— Товарищ старший сержант! — вдруг окликнул его Ванин. — Вы... еще здесь нас догоните, на румынской земле?

— Обязательно, Ванин! Мы еще на румынской земле разберем... тот вопрос, ясно? — серьезно и многозначительно ответил Шахаев.

— Спасибо, товарищ старший сержант... — необычно тихо сказал Семен, пожимая руку парторга.

Проводив Шахаева и Наташу, разведчики двинулись в путь.

Наступление развивалось: горные реки преодолевались неожиданно легко и быстро. Саперы прокладывали мосты на естественных сваях от камня к камню, от одного поваленного бука к другому, — таких мостов было много. По ним двигались войска: пехота, танки, артиллерия, машины с боеприпасами и, наконец, обозы. Под куполом неба — неумолчный рокот наших самолетов. Они, как казалось, спокойно и величаво плыли на юго-запад, первыми пересекая рубежи новой страны.

— Как здорово летят, черти! Гляньте, ребята! — говорил Ванин, задрав кверху голову и щурясь на солнце. От ватных брюк разведчика шел пар: переходя по бревну через ручей, Семен поскользнулся и бултыхнулся в воду. Настроение его, однако, нисколько не испортилось. Напротив, разведчик стал еще более болтлив, непрестанно задирал шедшего рядом с ним Никиту, пугал несуществующим распоряжением об откомандировании Пилюгина из подразделения разведчиков, дурил и вообще был в своей «форме».

Разведчики по обыкновению шли впереди полков. Но в одном месте они были удивлены. Переправившись через очередную горную речушку, они увидели на ее правом берегу наших пехотинцев и артиллеристов.

— Как вы сюда попали? — спросил Забаров капитана Гунько, с биноклем в руках примостившегося на ветвистом дереве.

Артиллерист засмеялся.

— Завидно?

— Нет. Просто удивительно, как это вас... угораздило?

— Ничего особенного. Мы идем рука об руку со второй стрелковой ротой. А ею командует чудесный офицер.

— Кто же? — спросил Федор.

— Младший лейтенант Фетисов.

— Фетисов? Младший лейтенант? Верно? — переспросили разведчики хором.

— Он самый. За Мурешул получил орден Красного Знамени и офицерское звание. Из своей бронебойки он там пять немецких танков угробил.

— А что же сейчас он придумал для переправы через эту реку? — спросил Забаров, наверняка зная, что переправа не обошлась без какой-нибудь выдумки Фетисова.

— Штука простая. Под Турго-Мурешем, при разгроме немцев, его рота захватила много немецких плащ-палаток. Он, Фетисов, пропитал их каким-то... машинным маслом, что ли, и палатки стали почти непроницаемыми для воды. Ну... нашелся в роте искусный шорник. Вместе с Фетисовым сшили они большие мешки, вроде, как бы сказать, наволочек. Да, а потом и соединили их. Теперь мешки набиваем сухой травой и, пожалуйста, — плыви куда хочешь! По шесть человек перевозят...

— Прямо-таки Ноев ковчег! — позавидовал Ванин.

— А пушки як же? — допытывался Пинчук, который, оставив за себя ездового, на этот раз решил итти вместе с разведчиками, полагая, что будет им необходим в столь трудное время.

— Орудия перевозим так: соединяем четыре «лодки Фетисова», как мы теперь называем эти сооружения, настилаем на них досок и — «раз-два, взяли!» — закатываем на них пушку. Вот и все!

— Добре! — похвалил Петр Тарасович, с завистью поглядывая на спрятанные в кустах огромные пестрые мешки и сожалея, что не ему первому пришла в голову эта простая идея. Как-никак, а хозяйственное самолюбие Пинчука было немного ущемлено. Ему сейчас страсть как хотелось увидеть «вновь испеченного» офицера, но времени не было: Забаров торопил вперед.

Самым, однако, удивительным было не то, что два подразделения переправились на трофейных плащ-палатках, — на фронте бывают чудеса и помудрее, — а то, что переправа проходила под сильным огнем врага и плацдарм был занят после короткого, но жаркого боя. Об этом свидетельствовали трупы вражеских солдат в при-

брежных кустарниках. Зная исключительную скромность Гунько и Фетисова, Забаров сам сообщил по радио в штаб об их подвигах.

В полдень разведчики остановились в одном большом графском имении. За три часа до их прихода здесь полноправной хозяйкой была паника: залы, коридоры и все комнаты были завалены книгами, исковерканной мебелью, оленьими рогами, перинами, подушками, распоротыми тюфяками, портретами, картинами. В углах валялись вверх ногами белые и бурые медведи, набитые трухой, свернутые кое-как медвежьи и тигровые шкуры.

— Кому принадлежало это имение? — обратился Ванин к румынам и венграм, столпившимся во дворе и с любопытством наблюдавшим за разведчиками.

— Графу Эстергази, пан офицер! — охотно ответили две молоденькие венгерки.

«Пан офицер» приосанился. Прищурил на девушек озорные, плутоватые глаза, солидно вымолвил:

— Что за чорт? По Трансильвании шли — и там с этим графом встречались, тут — то же самое!

— И в Венгрии и в Австрии у него есть усадьбы. И еще в Словакии.

— Вот так паук! — возмутился разведчик. — И как вы его терпели?

Минут через десять вынув из своих карманов два нарядных платочка, подарил их венгеркам. Те вспыхнули, но платочки взяли.

— Кессенем сейпен, пан офицер! Спасибо!

Ванин уже готовился завести с мадьярками длительную беседу. Но ему помешали. Пинчук позвал в дом, сказав:

— Пойдем, Семен, бо скажу Вере. Вона тебе задаст!..

— Никита, за мной! — скомандовал Ванин Пилюгину, не желая оставлять его одного с этими хорошенькими девицами. — Что уставился? Румынку влюбил в себя, чортов молчун, теперь венгерочку — туда же?.. А ну, марш за мной!

В доме разведчики вместе с пожилыми румынами и венграми решали сложную проблему.

— Что ж, теперь у нас будет советская власть? — спрашивал один крестьянин, который знал русский язык и, судя по всему, был вроде уполномоченного от его односельчан.

Петр Тарасович подумал. Он пожалел, что нет сейчас с ним Шахаева.

— Сами решите, яка власть для вас найкраще, — сказал он с достоинством, вспомнив, что так отвечал иностранцам парторг. — У вас своя голова на плечах.

— Так, господин офицер, так, — соглашался крестьянин, кивая плешивой головой. — А что делать теперь с имением графа?

Пинчук ответил, не колеблясь:

— Только не растаскивать. Воно теперь не графское, это имение, а ваше. Построите в нем техникум сельскохозяйственный. Агрономов будете готовить для кол... — Петр Тарасович хотел сказать «для колхозов», но быстро поправился: — для крестьян.

Ванин, которому было обидно, что Пинчук монополизировал беседу с крестьянами, решительно возразил:

— Почему же сельскохозяйственный? Тут и строительный техникум можно было бы разместить. Или, скажем, ремесленное училище какое. Помещение в самый раз. Выбросить только разную графскую дрянь — и всё. Так ведь, Аким?

— Собственно, что вы спорите? Ни под сельскохозяйственный, ни под строительный техникум это здание не подходит, — сказал Аким. — Всякому человеку, мало-мальски разбирающемуся в делах государственных, ясно, что если уж открывать в этом здании училище, то только педагогическое...

— Ишь ты, очкастый! Видал, куда гнет! — расхохотался Семен.

Через час дружески распрощавшись с крестьянами, разведчики тронулись в дальнейший путь. Шли быстро, поддаваясь общему, обнявшему всех, стремлению первыми достигнуть границы нового иностранного государства. Один за другим мелькали маленькие румынские города и села. Горные стремнины, вражеские засады —все оставалось позади. И уж вот она недалеко, Венгрия! Но опять встретилась какая-то река. Тут враг вновь дал ожесточенный бой нашим войскам.

Первой форсировала реку рота младшего лейтенанта Фетисова. Ей пришлось в течение десяти часов отбивать бешеный натиск не только пехоты, но и немецких танков. Генерал Рупеску, вышедший со своим корпусом вслед за

дивизией Сизова, решительно отказался начать немедленное форсирование реки, ссылаясь на страшную усталость своих полков, на нежелание румын покидать пределы родной земли. Однако два румынских полка, не подчинившись приказу Рупеску, переправились вместе с русскими. Сизов ночью перебросил на западный берег реки все свои части, и враг не выдержал, начал отступление. Роты, свернувшись в походные колонны, устремились на запад.

Ванин, воспользовавшись попутной машиной, мчался обратно к реке, навстречу двигавшимся вперед нашим войскам. Разведчик вез в штаб армии пакет. Его спутниками были два корреспондента армейской газеты, с которыми он познакомился еще во время своего пребывания в госпитале. На трофейном «татре» они спешили в редакцию, чтобы оперативно поместить в газете материал о подвиге солдат Фетисова. Семен не знал, что в пакете, который он вез, находились наградные листы на всю роту во главе с ее командиром — младшим лейтенантом Владимиром Фетисовым.

Однако переправиться на левый берег было не так-то легко. Паром перевозил в первую очередь раненых и поврежденную технику. Лица журналистов вытянулись. Корреспонденты хотели было обратиться к начальнику переправы, но Сенька отсоветовал делать это, уверяя, что такая попытка наверняка кончится провалом. Хитрость разведчика спасла положение. Ванин быстро сориентировался в обстановке. В его голове немедленно созрел план: переправить журналистов под видом тяжело раненных. Изложив свой замысел, он получил согласие действовать. Журналисты легли в кузове пикапа. Ванин накрыл их шинелями, валявшимися на дне кузова, и приказал тихонько стонать, а если станут проверять — стонать как только можно... Сам он забрался в кабину, дал газ и тронулся к парому вслед за санитарной машиной.

Перед самым паромом его задержал сапер.

— Кого везешь?

— Не видишь, раненых, — грубовато ответил Семен.

— Чернов, проверь! — крикнул кому-то сапер. — Может, врет он...

Ванину стало тоскливо: этак могут и по шапке надавать...

Однако в кузове, как по команде, раздались дружные стоны, выражавшие крайнее страдание. Высокий солдат в маскхалате, должно быть Чернов, махнул рукой:

— Раненые.

И пикап Семена проскочил на паром.

План удался. За это корреспонденты угостили разведчика доброй чаркой коньяка после того, как он отнес пакет в штаб. Расстались они друзьями.

2

Старинный город стоит на границе Румынии с Венгрией. Древний замок возвышается над ним, бросая на землю, на деревья мрачные зубчатые тени. Ветер жутко свистит в бойницах его башен, спугивая таких же древних его жителей — во́роно́в.

Перебив ночью сонных немецких патрулей, забаровцы пробрались в замок. Теперь ребята осматривали это сооружение. В зале, где в давние времена какой-то завоеватель подписывал акт о капитуляции своего противника, бойцы задержались.

— А капитуляция была безоговорочной? — полюбопытствовал Ванин, обращаясь к Акиму.

— Тогда, кажется, и слова такого не было, — ответил Аким.

Между тем Ванин развалился на железной ржавой кровати, на которой, как свидетельствует мемориальная дощечка, почивал завоеватель, и с подчеркнутой развязностью задымил сигаретой.

— Аким, я похож на Бонапарта? — спросил он.

Аким промолчал. Он вспомнил про Наташу и загрустил. По времени Шахаев и она должны были уже возвратиться.

Ванин, очевидно, поняв состояние друга, оставил его в покое, обратился к Никите, перечитывавшему уже, кажется, в десятый раз письмо отца. Толстые губы Пилюгина шевелились. На обожженном ветром лице солдата была скупая, робкая улыбка.

— Никита, удели мне внимание, оставь письмо-то.

— Что? — не понял Никита и заморгал глазами.

— Похож я на Наполеона, как ты думаешь?

— Хорошо, что не похож. Наполеона-то все же наши поколотили. Помнишь, Аким читал нам «Войну и мир»?

Из города поднялся в замок Пинчук. Он забрался на башню и водрузил там свой неизменный красный флаг, уже порванный в нескольких местах и полинявший.

— Хай вся Венгрия бачит, что мы идемо!

Флаг захлопал по ветру, забился. Пинчук, сняв пилотку, стоял, подставив ветру свою большую круглую бритую голову. Усы его шевелились. Разведчики, поднявшиеся вслед за ним, стояли также без пилоток и всматривались вдаль, туда, где белели домики венгерских селений; вот так же вглядывались они когда-то в правый берег Прута, готовясь ступить на румынскую землю.

Семен присел, разулся и, свесив мозолистые ноги, стал нежно гладить их руками.

— Ну ж и потопали вы, друзья мои самоходные! Нет на вас ни одного нетронутого местечка. Ничего!.. Коли надо будет, еще столько прошагаем!.. А то и побольше! Куда хочешь дотопаем, хоть на край света! — Зеленые глаза его вдруг потеплели, голос дрогнул. — Дойдем!

Пинчук улыбался. Но улыбался не так, как всегда — просто, открыто и ясно. Сейчас в его улыбке скрывалось что-то плутоватое, хитрое. Это первым заметил Ванин.

— Вы что-то таите от нас, товарищ старшина? — спросил он, усиленно подчеркивая последние слова, давая понять Петру Тарасовичу, что он, Ванин, строго придерживается воинской субординации и не забывает о повышении Пинчука в звании.

Тронутый такой почтительностью, Петр Тарасович сразу открылся:

— Шахаев с Наташей вернулись! Зараз сюда...

Но Аким уже не слушал старшину. Подошвы его сапог гремели по лестнице. Разведчики устремились за ним.

— Аким, шею не поломай! — орал ему вслед Ванин, стараясь догнать дружка.

Аким выскочил из ворот замка и помчался вниз по ступенчатой тропинке навстречу поднимавшимся уже в гору Шахаеву и Наташе. В одном месте он споткнулся, перелетел через голову, потерял очки, но искать не стал, — не чувствуя боли, бежал к идущим ему навстречу улыбающимся девушке и седоволосому Шахаеву. Разведчики не хотели отставать от Акима. Даже Забаров, забыв про свое солидное положение, делал гигантские прыжки и обогнал Акима. Лейтенант, подхватив правой

рукой Шахаева, а левой Наташу, легко приподнял их и понес в гору. На ходу передал Акиму раскрасневшуюся, смущенную Наташу, а парторга понес вперед, сопровождаемый громко и радостно галдящей толпой солдат.

— Очень спешили... — говорил Шахаев, растерянно и застенчиво улыбаясь от такой торжественной встречи. — Хотелось вместе с вами вступить в Венгрию. Потом партсобрание надо провести — давно уже лежит у меня заявление Ванина.

К его большой радости сейчас же примешалось что-то такое, от чего стало немножко грустновато, словно бы что-то дорогое он вдруг потерял. Он оглянулся и не увидел рядом с собой Наташи. Покраснел, застыдился и быстро заговорил, расспрашивая, как тут и что, все ли в порядке, все ли живы и здоровы.

— А вам всем привет от гарманештцев! — говорил он взволнованно. — А Никите... — Шахаев помолчал, улыбаясь. — Танцуй, Никита! Вот оно, письмо!

Пилюгин подхватил из рук порторга пакет и, страшно покраснев, отошел в сторону, стараясь уединиться.

— Не прячься, Никита! Все равно не прочтешь. По-румынски она написала, — крикнул ему вдогонку Шахаев, увеличивая смущение солдата.

— Пуд мамалыги надо в один присест скушать. Говорят, сразу по-румынски будешь знать. Попробуй, Никита! — посоветовал Ванин.

Аким и Наташа приотстали, присели на большом светлосером камне.

— А ты похудела, — сказал он, целуя ее.

— И ты тоже, — отвечала она, улыбаясь ему и своему счастью. Она чувствовала, что знакомое ей нечто большое и значительное вновь наполняет ее грудь.

— Друзья вы мои боевые! — говорил в это самое время парторг, стоя на площадке башни и всматриваясь в серую даль черными, чуть раскосыми глазами. — Какое счастье быть среди вас!.. И как хорошо, что дальше мы пойдем опять вместе.

Ветер трепал его прямые седые волосы, откидывая их назад, открывал высокий и чистый лоб. Смоляные брови шевелились.

Флаг порхал, хлопал и бился над его головой. Где-то внизу раздавались редкие орудийные выстрелы. На одном уровне с башней замка кружился «ил» — коррек-

тировщик. Вокруг него вспыхивали маленькие белые облачка разрывов зенитных снарядов, самолет ловко и спокойно лавировал между ними, продолжая делать свое дело. Выше, невидимые в густой синеве неба, гудели истребители — охрана корректировщика.

— Хлопцы, а гляньте, як Кузьмич своих коней нарядил! Спуститесь и посмотрите. Уздечки покрасил, як за невестой собрался, — сообщил Пинчук.

Никита долго ждал удобной минуты, чтобы поговорить с парторгом. Наконец, он не выдержал и, конфузясь, попросил Шахаева спуститься с ним вниз.

— Что с тобой, Никита?

— Ничего, товарищ старший сержант. Письмо от отца получил. В колхоз старика приняли. Говорит, не стерпел. Страшно одному стало. Война, люди все сообща, рука об руку идут, а я, говорит, как волк, один... пользы от меня никакой. Подумал, подумал да и пошел в правление. Теперь, пишет, понял, каким был раньше дураком... Да вот прочтите сами, товарищ старший сержант!..

Шахаев взял из слегка дрожавших рук солдата письмо. Стал читать. Знакомая мудрая улыбка светилась на его лице. Она озаряла парторга всякий раз, когда он видел, что новый человек, сбросив с себя ненужное, отжившее, гордый и сильный, вступал в строй таких же гордых и сильных из огромной армии строителей величественного здания, название которому — коммунизм.

— Ну что ж, Никита, поздравляю! Это хорошо. Это здорово!..

Никита выпрямился, приподнял плечи и, счастливый, свободно и легко вздохнул.

— Спасибо вам!

Парторг обнял его. Они расцеловались.

Михаил Лачуга принес прямо на башню еду, несколько бутылок вина. Расстелили палатку, уселись по-восточному, стали обедать.

В приготовлении обеда повару помогала Мотя. Мотя похудела и оттого была статной, обрела грациозные, плавные движения, голос ее стал нежнее, черты лица смягчились, но конопинок на щеках и носу прибавилось, они как бы слились в отдельные большие пятна. В ее глазах, не оттененных белыми ресницами, — ожидающе-беспокойный блеск, словно бы она прислушивалась

к чему-то невидимому, но ощущаемому ею. Иногда она неожиданно и странно улыбалась, казалось, без всякой причины. В такие минуты взгляд ее был обращен в себя. С полуоткрытым ртом, склонив чуть-чуть набок голову, она ждала чего-то.

— За победу, товарищи! — Шахаев поднял кружку. Золотистое вино заискрилось, плеснулось ему на руку.

— За ваше возвращение! — сказал Забаров, глядя на парторга и Наташу.

Над головами солдат громко и радостно хлопал пинчуков флаг.

3

Коммунисты-разведчики расположились прямо на башенной площадке замка. Тут было ветрено, холодновато, зато безопасно: ни мина, ни вражеские шальные пули не могли сюда залететь. Меж древних бархатисто замшелых камней, на которых сидели разведчики, сочился свет, озаряя посерьезневшие лица солдат. Невдалеке смутно маячила гора, от которой бежал, юрко извиваясь и стремясь вниз, к утонувшей в легком тумане долине, ручей, сочившийся из отвесной скалы прозрачной студеной водицей, — будто скала эта плакала и никак не могла выплакать свои слезы. На одном уровне с башней медленно, лениво ползло облако.

— Ну, что ж, товарищи, начнем? Коммунисты все налицо.

Ванин вздрогнул. Его зеленые, всегда озорные глаза округлились, расширились, лицо побледнело. Голос Шахаева показался Ванину каким-то незнакомым, чужим. Семен невольно быстро-быстро пробежал глазами по лицам коммунистов — своих боевых побратимов, на какой-то миг увидел близоруко щурившегося и протиравшего очки Акима: «Что думает он сейчас? Наверное, выступит»; Петра Тарасовича, важно щупавшего свои еще более побуревшие усы: «Этот обязательно выступит»; Забарова, сосредоточенно глядевшего на Ванина: «Может припомнить глупые мои проделки за всю мою службу разведчиком»; Шахаева, обнажившего в застенчивой улыбке вспыхнувшие под косым солнечным лучом зубы; комсорга Камушкина, подбадривавшего Семена своим веселым взглядом.

— На повестке дня у нас один вопрос: прием в партию младшего сержанта Ванина Семена Прокофьевича. Нет возражений против такой повестки дня? — Голос председательствующего звучал для Ванина глухо, отдаленно, но удивительно точно попадал в цель — в усиленно бьющееся, всегда такое отчаянное и вдруг вот сейчас, в кругу своих же дружков-приятелей, струхнувшее сердце Семена.

— Слово для информации предоставляется парторгу старшему сержанту Шахаеву, — торжественно объявил Пинчук, которого почему-то почти на всех партийных собраниях избирали председателем. Сейчас он не удержался, чтобы не взглянуть своими добрыми глазами на вконец растерявшегося Семена.

Шахаев поднялся с камня, не спеша расстегнул свою знаменитую полевую сумку, и Ванин даже не заметил, как в руках парторга оказался столь знакомый лихому разведчику лист: когда-то чуть не целую ночь просидел над этим листом Семен.

— В нашу партийную организацию поступило заявление от младшего сержанта Ванина с просьбой принять его кандидатом в члены партии.

Парторг прочел заявление, анкету, рекомендации: две — от коммунистов (Шахаева и Забарова) и одну — от комсомольской организации.

— Может, послухаем Ванина, товарищи? Хай расскажет свою автобиографию.

— Мы, собственно, Ванина и так хорошо знаем. Не первый год служим вместе.—Аким снял очки и вновь принялся протирать их. — По-моему, не следует заслушивать.

Однако любивший во всем порядок Пинчук запротестовал:

— В таком диле, товарищ Ерофеенко, торопиться нельзя. Мы не в бою зараз. Треба все як следует обмозговать, обсудить, а потом уж и решать. Хай Сенька... простите, хай товарищ Ванин расскажет нам свою биографию. Послухаем, товарищи? Добре. Слово предоставляется командиру отделения разведчиков гвардии младшему сержанту Ванину. Прошу, товарищ Ванин! — Пинчук сел на камень.

Семен встал, оглянулся вокруг, помучил с минуту в руках выгоревшую пилотку, потом положил ее рядом с собой на камень.

— Давай, Семен, рассказывай! — ободрил Пинчук, не выдержав до конца взятого им самим сугубо официального тона. — Мы слухаем тебя. Давай. Тут усе свои.

— Родился я... значит, — Ванин прокашлялся, но голос его не стал от этого громче, — родился, значит, в городе Саратове, в семье рабочего-судостроителя, в 1923 году. Окончил семилетку, потом пошел работать на шарикоподшипниковый. Началась война — добровольцем уехал на фронт. Стал разведчиком.

Ванин замолчал.

— Все?

— Все.

— Дуже мало, — разочарованно пробормотал Пинчук и нахмурился. — Яки вопросы будут к Ванину? — и, не дожидаясь, когда слово возьмут другие, сам строго спросил: — Почему прямо из семилетки на завод пошел? Отчего не вчився бильш?

— Да по дурости. Учиться надоело — захотелось скорее работать... А потом — мать. Тяжело ей стало с тремя — у меня ведь еще два младших братишки... Пошел работать — все помощь маме... — Голос Ванина оборвался: разведчики с удивлением глянули на его как-то вдруг обрезавшееся лицо, на вздрагивающие побелевшие губы. Таким они видели Ванина впервые, словно он взял да и показал им сразу все то, что так долго скрывал за постоянным балагурством: большое, доброе и нежное человеческое сердце.

Петр Тарасович собирался было задать Ванину еще несколько вопросов насчет того, нет ли кого из родственников Семена, лишенных права голоса, уехавших за границу; не подвергался ли он, Ванин, на своем заводе административным и профсоюзным взысканиям, не имел ли отклонения от генеральной линии партии и так далее, то есть все те вопросы, которые требовалось, как думал Пинчук, задавать в подобных случаях для полного порядка. Однако Петр Тарасович сразу же забыл о своем намерении и только спросил, тихо и отечески ласково:

— А що ж, Семен, батька твий не робив, чи що?

— Нет у нас батьки. Вообще-то он есть... только...

— Бросив?

— Бросил... Связался с какой-то и уехал. Куда — не знаем. В Астрахань будто... В общем — бывает...

— Бывает, — подтвердил Пинчук глухо и заторопился: — Яки ще будут вопросы? Немае бильш вопросов? Сидай, Семен. Кто желает слово?

— Да что тут говорить? Не знаем, что ли, мы Ванина!.. Вот хоть один факт взять: при каких обстоятельствах он был ранен? Я думаю — и напоминать не надо, все и так помним. — Камушкин даже покраснел от возбуждения. — Давайте голосовать!

Ванин потупился и развел руками:

— Ну, это тут при чем? Стоял ближе всех, вот и... шагнул к товарищу лейтенанту. Другой бы стоял, другой так же...

— Прав Камушкин, — сказал Пинчук. — Що тут много балакать? Приступим к голосованию. Кто за тэ, щоб принять Ванина кандидатом в члены нашей партии, прошу поднять руки, — голосують только члены партии, — не удержался Тарасович, покосившись на Акима, который все еще был кандидатом.

Семен не видел, как поднялись руки, как просияли лица его товарищей; они вдруг все зашумели, окружили его, сгрудились плотнее, не дождавшись даже, когда председательствующий Пинчук громоподобно объявит: «Принят единогласно!» — ничего не слышал разведчик, кроме гулко и тревожно бьющегося в груди сердца.

— Ну, Семен, поздравляю! — над Ваниным склонилось лицо Акима, и было это лицо такое хорошее, такое славное, что Ванин порывисто обвил руками худую шею товарища и долго не отпускал Акима от себя. Большая, грубая и теплая рука тряхнула Семена за плечо, глухой голос вспугнул на мгновение застывшую тишину:

— Поздравляю, Ванин!

— Спасибо, товарищ лейтенант!.. Спасибо, товарищи!

Шахаев стоял в сторонке и улыбался. Седой, коренастый, узкоглазый, он был бесконечно родным для Ванина. Откуда-то появились и беспартийные разведчики, — должно быть, поднялись на башню, чтобы поздравить его, Ванина. Зачем-то присел рядом громадный и неуклюжий Пилюгин.

— Ты что... Никита?

— Вот... пришел поздравить...

— Спасибо, спасибо, Никита!.. Только — знаешь что?.. Виноват я перед тобой. — Ванин говорил быстро и сбивчиво. — Ругал тебя часто, подсмеивался... Такой уж ха-

рактер, знаешь, дурацкий. Не могу без этого... самого, без шуток... Но ругань и смех — это еще полбеды, Никита. Всех ругают и над всеми смеются, когда есть за что. А вот не верил я в тебя — это плохо... Шахаеву да лейтенанту говори спасибо: они поумнее меня оказались...

— Да брось ты, Семен, с кем греха не бывает!

Но Ванин перебил сердито:

— Нет, Пилюгин, меня нечего оправдывать! Не нужны мне сейчас адвокаты, да и никогда я в них не нуждался. Коль нужно, сам оправдаюсь... Говорю, виноват перед тобой — значит виноват. — Ванин замолчал, торопливо развертывая кисет. — Давай закурим вот.

Пилюгин крепче сжал плечо Семена.

— Ты мне тоже немало помог. И твоя ругань на пользу пошла, ведь совсем слепым я был, как кутенок...

— Что-то жарко... — Ванин расстегнул ворот гимнастерки. — Вот хорошо! Гляди, Никита, какое облако!.. Будто живое, глянь! Ползет, как белая медведица, — осторожно, мягко... Аким! — позвал он друга. — Погляди, ведь здорово, а? Ну, глянь же!..

4

Утреннюю тишину, лениво и блаженно дремавшую в прохладе синих лесов и гор, вспугнул мощный артиллерийский залп. Он ударил внезапно, бодро, молодо, как первый весенний гром; потом отдельные залпы слились в единый оглушающий, приподнимающий, освежающий гул. Из-за леса, точно стаи гигантских птиц, потревоженных этим гулом, появились самолеты-штурмовики, и в воздухе стало шумно, тесно, оживленно.

Разведчики сидели в боевом охранении и с нетерпением ожидали конца артиллерийской подготовки. Они должны были вместе с пехотинцами войти в первое венгерское селение. В длинном извилистом окопе собрались почти все разведчики. Пинчук тоже находился здесь, оставив Кузьмича командовать хозяйством. Он часто посматривал на светящийся циферблат своих часов и качал головой, словно командующий, который видел, что его войска опаздывают или начинают слишком рано дело.

— Вы что, товарищ старшина, поглядываете на часы? — осведомился Ванин, вновь, как на румынской

границе, принарядившийся, прицепивший к гимнастерке все свои ордена и медали. — Недовольны чем, должно?

— Мабуть, пора...

Едва артиллерийский вал откатился вглубь вражеской обороны, над виноградниками поднялись советские стрелки. Их было не так уж густо, но бежали они вперед быстро, и «ура» гремело бодро, весело и молодо, как первый артиллерийский залп. Охваченные великой силой боевой радости, разведчики выскочили из окопа и, перепрыгивая через воронки и сухие, свесившиеся и трещавшие под ногами виноградные лозы, полетели вперед, как на крыльях, тоже крича «ура». Они легко обогнали пехотинцев и, не встречая сопротивления, бежали все быстрее и быстрее.

Разведчиков заметили мадьяры, повыскакивали из бункеров, что лепились по обе стороны дороги на подступах села.

Одна смелая венгерка остановила Акима и, приподнявшись на носки своих сафьяновых красных сапожек, поцеловала его. Тот растерялся, снял очки и не знал, что делать.

— Мы вас очень, очень ждем! — сказала девушка по-венгерски. С ее круглого румяного лица доверчиво смотрели большие, ясные и влажные глаза, цвет которых даже трудно было определить: они все время странно менялись — то казались карими, то темносиними...

Аким виновато посмотрел на Наташу и с радостью увидел счастливую, возбужденную улыбку на неподдающемся загару ее лице. Она, казалось, была чем-то встревожена, немножко напугана, но, несомненно, счастлива; розовые пятна горели на ее щеках; она кивала Акиму головой, и он знал, что Наташа поощряла его к разговору с венгеркой, давая знать, что ее не огорчит и не расстроит. Перед нею в это раннее утро уже возникали и проступали все явственнее, становясь ощутимее, картины недалекого будущего — их жизнь с Акимом, и оттого она краснела, испытывая необычайную радость и счастливую смущенность. Когда Аким отошел от венгерской девушки, его место тотчас же занял Семен, как бы невзначай позванивавший своими орденами и медалями.

Пинчук направился в село. На дороге заметил большой иллюстрированный немецкий журнал. Приподнял его, на обложке увидел портрет Гитлера. С гадливостью

бросил журнал на землю и, прицелившись, с удовольствием припечатал свой сапожище так, что его каблук пришелся прямо на усики и кособокий рот фашистского фюрера. Потом Петр Тарасович вспомнил что-то, полез в карман, вынул большой потертый бумажник, извлек из него фотографию выпускников седьмого класса, ту, что подобрал в сорок третьем году в своей школе, и, глядя на девочку с вмятыми немецким сапогом косичками, сурово сказал:

— Ось за тебя ему... проклятому! — и стал с яростью втаптывать в землю фашистский журнал с портретом фюрера... — Як це они...— он задумался...— ага, «хайль». Так вот, подыхайль, Гитлер. Так со всяким будем, хто пиде до нас разбойничать! Со всяким!

Свершив этот акт правосудия, он не спеша, вразвалку, направился к дому, в который перед тем зашли Забаров, Шахаев и другие разведчики.

— Отдохнем тут малость, — задумчиво проговорил какой-то солдат из молодых.

Забаров посмотрел на него пристально, потом сказал:

— Отдыхать нам не придется. Нас ждут. Ну, пошли, товарищи! Задерживаться не будем...

И разведчики, выйдя со двора, двинулись дальше.

Шахаев взглянул на Федора.

«Да, этот нигде не задержится!» — почему-то подумал про него парторг.

— Не будем задерживаться! — вырвалось вдруг у Шахаева, и он радостно засмеялся.

Петр Тарасович вернулся, чтобы «подтянуть свои тылы», как он для солидности называл свое хозяйство. Кузьмича, Михаила Лачугу и Мотю он застал на старом месте. Однако лошади сибиряка были запряжены, и сам Кузьмич, торжественный, уже сидел на повозке, очевидно, ожидая команды. Старик страшно обрадовался, завидя вернувшегося Пинчука.

— Тронулись, стало быть, товарищ старшина? — нетерпеливо спросил он.

— А все собрал?

— Все как есть до мелочей!

— Ну, хай будет так. Тронулись, Кузьмич!

Они проехали город, и колеса кузьмичовой повозки, ошинованные им самим еще под Сталинградом, с веселым и смелым грохотом покатились дальше, к границам

второго иностранного государства. Повозку обгоняли тяжелые танки «ИС», которым, казалось, не будет конца, «катюши», уже не прикрытые брезентом, как это было раньше, машины с боеприпасами. В воздухе стайка за стайкой плыли штурмовики, веселя солдатскую душу.

Пинчук вынул из кармана бумажку, на которой уже успел записать некоторые мадьярские слова, позаимствованные от пленных венгерских солдат и от местного населения Трансильвании. Петр Тарасович полагал, что вовсе не лишне было бы знать язык народа, которому он, Пинчук, и его товарищи несли освобождение.

— «Йо» — це будэ «добре» по-мадьярски. «Йо напот» — здравствуйте. «Мадьярорсак» — то будэ «Венгрия». «Оросорсак» — Россия.

Петр Тарасович замолчал и задумался. Он морщил лоб, дергал себя за свисающий ус, напрягая память. Ему очень хотелось вспомнить, как будет по-венгерски слово «дружба».

— Знал ведь, а позабыл. Ось старый дуралей! — ругал он себя. — Самое главное слово позабыл!..

Он подумал еще, просиял весь и радостно крикнул:

— Вспомнил, вспомнил, Кузьмич, як называется то слово!

Вена — Москва
1946—1953

ОГЛАВЛЕНИЕ

Книга первая

ГРОЗНОЕ ЛЕТО

Книга вторая

ПУТИ-ДОРОГИ

МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВ — „СОЛДАТЫ"

Редактор *Ковалевская Т. П.*

Оформление книги *Бабича О. С.*
Рисунки *Пинкисевича П. Н.*

Технический редактор *Соломоник Р. Л.*
Корректор *Заозерская М. А.*

Сдано в набор 17.11.53 г. Подп. к печати 12.2.54 г.

Формат бумаги 84 × $108^{1}/_{32}$ — 19,75 п. л. = 32,39 усл. п. л. + 5 вкл. — 0,25 п. л. = = 0,063 усл. п. л. 33,492 уч.-изд. л. Г-03031

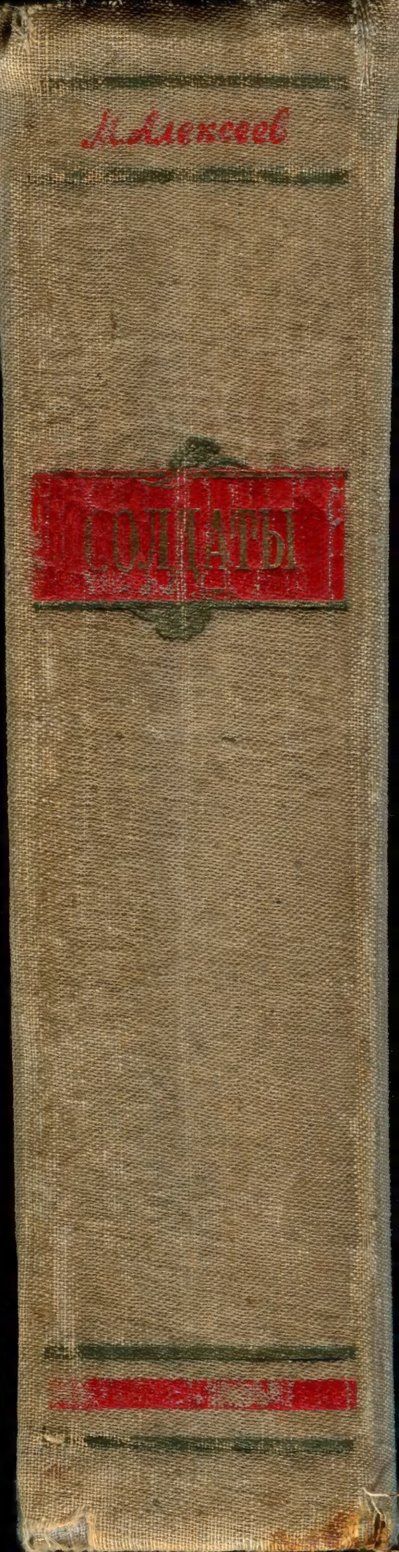
Военное Издательство Министерства Обороны СССР

Москва, Тверской бульвар, 18
Изд. № 1/6988 Зак. № 1493

2-я типография имени К. Е. Ворошилова Управления Военного Издательства Министерства Обороны Союза ССР

Цена 12 р. 10 к.

Цена 12 р. 10 к.


М. Алексеев
СОЛДАТЫ